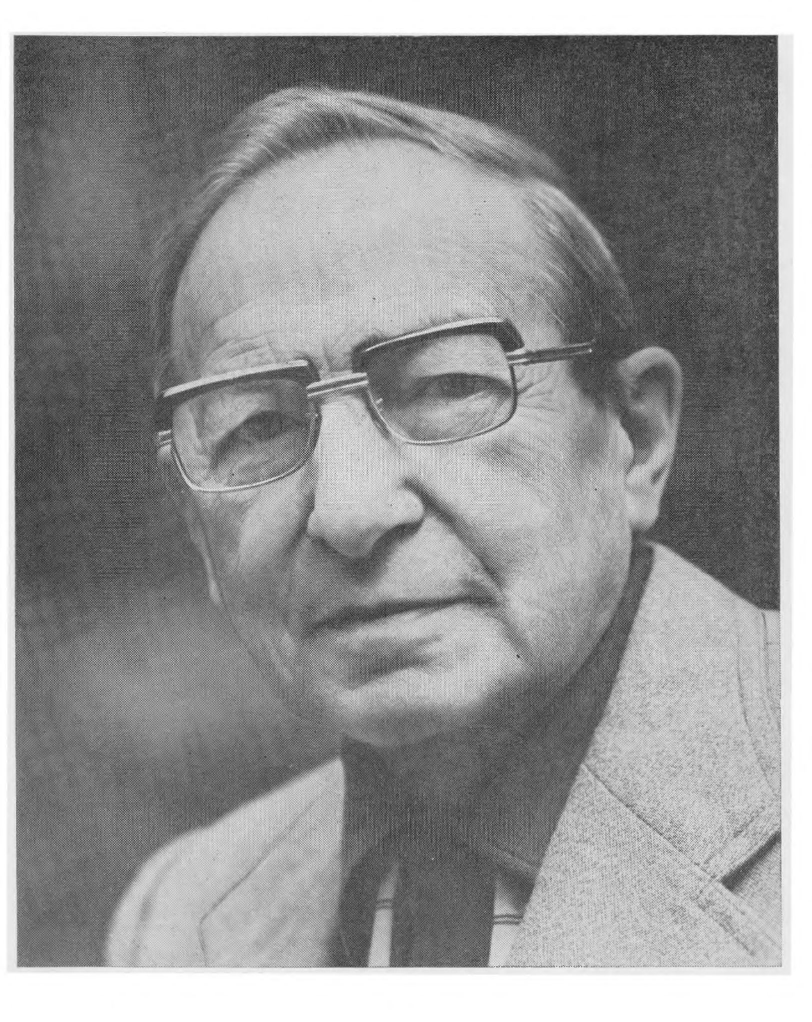
В·КАВЕРИН

1

В·КАВЕРИН

1



МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1980

В. КАВЕРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ВОСЬМИ ТОМАХ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1980

В. КАВЕРИН

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ТОМ ПЕРВЫЙ

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ

СКАНДАЛИСТ, ИЛИ ВЕЧЕРА НА ВАСИЛЬЕВСКОМ ОСТРОВЕ

РОМАН

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1980

Р2
К 13

Оформление художника
М. ШЛОСБЕРГА

К $\frac{70302-408}{028(01)-80}$ подписное 4702010200

ОЧЕРК РАБОТЫ

1

Я родился в 1902 году в городе Пскове, в семье музыканта. В 1912 году поступил в Псковскую гимназию. Друг моего старшего брата Юрий Тынянов, впоследствии известный писатель, был первым литературным учителем, внушившим мне горячую любовь к русской литературе.

Шестнадцатилетним юношей я приехал в Москву, где в 1919 году окончил среднюю школу. В те годы я писал стихи, но, встретив суровую оценку со стороны известных литераторов, решил оставить литературные занятия. Не прошло и полугода, как я понял, что это было слишком поспешное решение, но я искренне верил, что отныне посвящаю себя научной деятельности. В 1920 году я перевелся из Московского университета в Петроградский и одновременно поступил в Институт восточных языков, убежденный, что сперва нужно изучить литературу с теоретической стороны, а уж потом испытать свои силы. В действительности получилось иначе. Дом литераторов объявил конкурс для начинающих писателей, и я немедленно принялся за свой первый рассказ «Одиннадцатая аксиома». Моя первая книга (1923) называлась «Мастера и подмастерья». В сборнике фантастических рассказов действовали монахи, черти, алхимики, студенты, а также — автор, который время от времени собирал своих героев, чтобы узнать у них, как ему поступать дальше. Это была, конечно, детская игра, — Горький тем не менее отнесся к ней с поразившей меня серьезностью и ответственностью. Мне очень повезло, что в юности я встретился с этим необыкновенным человеком. Вслед за появлением каждой моей новой книги я получал от него письмо, содержавшее требовательную, но добрую критику и советы, причем не только литературные, но и житейские.

Он учил меня — и делал это со всей щедростью великого человека. В годы ленинградской блокады почти весь мой архив погиб, но письма Горького, завернутые в кальку, я в течение всей войны носил в полевой сумке. Так мне удалось сохранить их. О нашей первой поразившей меня встрече я рассказал впоследствии в повести «Неизвестный друг».

В 1923 году я послал Горькому книгу «Мастера и подмастерья». «Мне кажется,— ответил он,— что Вам пора перенести Ваше внимание из областей и стран неведомых в русский, современный, достаточно фантастический быт. Он подсказывает превосходные темы — помните: «Тут сам черт ногу сломит» — о человеке, который открыл лавочку и продает в ней мелочи прошлого,— человек этот может быть антикваром, которого нанял Сатана для соблазна людей, для возбуждения в них бесплодной тоски о вчерашнем дне».

Юноша, получивший это письмо, не мог, разумеется, пройти мимо столь характерного для Горького «подсказа», который в полной мере совпадал с мнением моего учителя и друга Юрия Тынянова, высказавшего даже это мнение в печати. Оба были правы, но переход от «стран неведомых» к русской современности был далеко не прост. Нарочитая, подчас мнимая новизна должна была смениться подлинной, а кто же, едва взяв в руки перо, осмелится «врезаться» в блистательную традицию русской фантастики, которую озарил своим бессмертным именем Гоголь?

Именно эти старательные попытки читатель найдет в первом томе этого Собрания сочинений. В нем «неведомые», условно-литературные страны («Хроника города Лейпцига») перемежаются с русской действительностью («Ревизор») и уже тем самым отражают далеко не установившийся творческий почерк. Так случилось, что я на много лет ушел от фантастической прозы и вернулся к ней лишь в конце тридцатых годов. Однако этот жанр никогда не переставал привлекать меня. Мне по-прежнему нравятся герои, которые носят железный пояс, чтобы не «лопнуть от зависти» и так метко попадают соседу «не в бровь, а в глаз», что приходится немедленно вызывать «скорую помощь». Время от времени я возвращаюсь к сказкам, а недавно, собрав их в единый цикл, написал повесть «Ночной Сторож, или Семь занимательных историй, рассказанных в городе Немухине в тысяча девятьсот неизвестном году» — повесть, которую читатель найдет во втором томе этого Собрания.

2

Моя литературная юность сложилась счастливо. В университете я учился у строгих учителей: у академика В. Н. Перетца — древней литературе, Б. М. Эйхенбаума — истории литературы XIX века, Ю. Н. Тынянова — теории литературы. Я слушал лекции академика Л. В. Щербы по лингвистике. Чему учили нас, студентов-филологов двадцатых годов, эти выдающиеся ученые? Прежде всего внушали, что мы должны внести в науку новое. В. Н. Перетц неоднократно говорил, что филолог может утвердить себя, изучая лишь области нетронутые, не исследованные другими. Он требовал от нас безусловной преданности науке, и это была требовательность грозная, неумолимая, сказывавшаяся в большом и малом. Работая над очередным рефератом, я остановился перед греческим текстом.

— А, вы не знаете греческого? — укоризненно спросил меня Перетц.— Ну что ж, придется заняться.

— Но ведь мой реферат назначен на март.

— Отложим. Прочтете в мае.

Вполне разделяя требовательность старшего поколения, Б. М. Эйхенбаум, Ю. Н. Тынянов, Виктор Шкловский щедро делились с нами своими сомнениями и колебаниями, своей гордостью за великую литературу, в которой они работают. Они учили нас этой гордости, этой соотнесенности собственной работы — как бы она ни была мала — с работой Шахматова, Веселовского, Потебни. Они требовали, чтобы мы знали не только историю, но и атмосферу развития нашей литературной науки, и мы вместе с ними подсмеивались над педантизмом Пыпина, сетовали на поверхностность талантливого Венгерова, поражались гениальным догадкам Буслаева и Всеволода Миллера.

В особенности многому научил меня Юрий Тынянов, глубокий ученый, не терпевший ни малейшего пустословия в науке. Его лучшие статьи написаны скупым языком, через который нам подчас приходилось «пробиваться». Не стесняя ни в чем своих учеников, он учился вместе с нами. Каждая его лекция была основана на тонком чувстве истории. На семинарах ему подчас достаточно было лишь своеобразно переставить материал, которым располагал докладчик, чтобы получить неожиданную, но всегда точную картину.

Посещение лекций было необязательным в начале двадцатых годов. Конечно, мы не пропускали семинары, ко-

торыми руководили любимые профессора. Но если семинарами руководили нелюбимые, то есть бездарные, профессора — мы не ходили на семинары. Много времени мы проводили в архивах и библиотеках, работая над рефератами, с которыми выступали часто, независимо от того, входили ли они в курсовую программу. Предмет можно было сдавать не только во время сессии, но и тогда, когда студент был готов к испытаниям. Конечно, этот свободный выбор был ограничен: экзамены второго курса нельзя было сдавать на третьем. Но зато мы могли серьезно заниматься не всеми предметами — понадобятся они нам потом или нет,— а только теми, которые действительно отвечали нашим интересам. В двадцать лет мы были взрослыми людьми, которые должны были выбрать свой путь — в науке и в жизни.

Мешало ли нам отсутствие внешней, ограниченной рамками программы занятий? Нет, помогало. Свободно распоряжаясь своим временем, я учился в двух вузах одновременно и окончил и тот и другой. Многие мои товарищи, ныне видные ученые, выступили с работами задолго до окончания университета.

Мы были тесно связаны с литературой своего времени, и многочисленные диспуты, дискуссии, доклады в литературных и философских обществах были для нас тем же университетом, такой же школой ответственной любви к искусству, принесшей нашему поколению неоценимую пользу.

3

К «Серапионам» меня привел Шкловский, представив не по имени, а названием рассказа — «Одиннадцатая аксиома», который был послан Горькому и о котором, по-видимому, знали будущие «Серапионовы братья». Они собирались каждую субботу в комнате Михаила Слонимского в «Доме искусств». Впоследствии Ольга Форш назвала этот дом «Сумасшедшим кораблем» и рассказала о странной жизни его обитателей, полной неожиданностей и вдохновения. Но ничего странного не находил в этой жизни студент-первокурсник, ходивший с высоко поднятой головой по еще пустынному, осенью двадцатого года, Петрограду. Еще бы не гордиться! Он только что приехал из Москвы, где чуть ли не ежедневно бывал в знаменитом «Стойле Пегаса». Он неоднократно видел Маяковского, Есенина; он присутствовал на вечере буриме, где предсе-

дательствовал Валерий Брюсов и московские поэты выступали со стихами на заданные темы. Он сам писал стихи, почти не сомневаясь в том, что именно ему удастся совершить переворот в русской поэзии. Однажды он даже побывал у Андрея Белого, который показал только что вышедшие «Записки мечтателя» и говорил с ним так, как будто он, мальчик, едва окончивший школу, был одним из этих мечтателей, избранников человечества и поэзии...

Потом Шкловский ушел, а я стал несколько пренебрежительно, как и полагалось столичному поэту, прислушиваться к разгоравшемуся спору. В нем принимали участие все. Но главными противниками были Федин и Лунц, я это почувствовал сразу.

Спор шел об основном — о столбовой дороге нашей литературы.

Со всей страстью, в которой трудно было отличить убеждение от литературного вкуса и которая тем не менее двигала в бой целые полки доводов (неопровержимых, как мне тогда казалось), Лунц нападал на Федина, слушавшего его терпеливо, не перебивая.

Знаменитый тезис — сначала «что», то есть сначала содержание, а потом «как», то есть форма, лежал в основе концепции Федина, и он умело превращал его из оружия обороны в оружие нападения: так много необозримо нового вошло в те годы в жизнь России, утверждал он, такой никому еще не ведомый, трепещущий материал рвется в литературу, что трудно представить себе необходимость первоочередного изучения ее законов, на котором настаивал Лунц.

Это было лишь началом длинного спора, под знаком которого прошли вечера двадцать первого года.

Другой запомнившийся спор касался вопроса о стиле. Выбор между двумя направлениями — разговорным и так называемым «орнаментальным» — предстоял в ту пору любому из нас. Орнаментализм был представлен сильными писателями, энергично действовавшими и вовсе не желавшими упускать из-под своего влияния молодежь. Достаточно сказать, что Замятин руководил одной из студий «Дома искусств». Ремизов поражал воображение оригинальностью самого своего отношения к литературе. Андрей Белый был в расцвете своего дарования, и казалось, что его перо еще способно высоко поднять изысканную прозу символистов. Можно смело сказать, что орнаментализм оказал заметное влияние на раннюю прозу Всеволода Иванова,

Никитина. Другие «братья» обошли это направление, опираясь на широкую — от Лескова до Чехова — классическую традицию русского реализма. Что касается меня, то среди первых шестнадцати, оставшихся в рукописи, рассказов можно найти подражания Бунину и Белому, Гофману и Эдгару По.

Важно отметить, что среди «Серапионовых братьев» были Иванов, Зощенко, Федин, Тихонов — люди, уже успевшие многое увидеть и понять, писатели, относившиеся к литературе как к делу жизни. Революция переломила быт, в литературу пришли люди не из кабинетов, а с фронтов гражданской войны, люди действия, а не созерцания.

Я уже упоминал, что мы много спорили о литературе. Мне было трудно согласиться с теми, кто считал, что нужно непосредственно, просто отражать то, что происходит вокруг нас, я считал таких писателей натуралистами, «бытовиками». Смутно чувствуя все значение процессов, происходивших в стране в начале двадцатых годов, я еще не знал жизни и не понимал, как надо писать о ней.

Первым выходом из этого круга узколитературных представлений была повесть «Конец хазы», в которой я пытался изобразить бандитов и налетчиков нэповских лет, «блатной» мир Ленинграда. Собирая материал для «Конца хазы», я читал уголовную хронику, ходил на заседания суда и, случалось, проводил вечера в притонах, которых в ту пору было еще немало. Я готовился к работе именно так, как это делали мои старшие товарищи К. Федин, Н. Тихонов, неоднократно и справедливо упрекавшие меня в незнании жизни, в стремлении укрыться от нее за стенами студенческой комнаты, заваленной книгами по истории литературы. Опыта еще не было, я собирал «материал», стремясь уложить его в сложнейшую схему. Мне хотелось передать своеобразие преступного мира — и не только в воровском языке.

Вот несколько строк из автобиографии, относящейся к 1924 году: «...словесный орнамент отжил свой век... только в сложной конкретности сюжета, построенного на мощных обобщениях современности, можно искать выход из того тупика, в котором очутилась теперь русская проза» («Писатели. Автобиографии и портреты современных русских прозаиков», М., «Современные проблемы», 1926).

Это было наивно. Конечно, никакого «тупика» не было. Но без изучения современности мне уже стало трудно и неинтересно писать.

Зимой 1928 года я встретился у Юрия Тынянова с одним литератором, живым и остроумным, находившимся в расцвете дарования и глубоко убежденным в том, что ему ведомы все тайны литературного дела. Говорили о жанре романа, и литератор заметил, что этот жанр был не под силу даже Чехову, так что нет ничего удивительного в том, что он не удается современной литературе. У меня нашлись возражения, и мой собеседник с иронией, в которой всегда был необыкновенно силен, выразил сомнение в моих способностях к этому сложному делу. Взбесившись, я сказал, что завтра же засяду за роман — и это будет книга о нем. Он высмеял меня, но напрасно. На другой же день я принялся писать роман «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове».

По-видимому, только молодость способна на такие решения и только в молодости можно с такой откровенностью ходить с записной книжкой по пятам своего будущего персонажа. Он смеялся надо мной, сыпал шутками, блистал остротами, подчас необычайно меткими и запоминавшимися на всю жизнь,— я краснел, но записывал. Вероятно, он был вполне убежден, что из романа ничего не выйдет, иначе, пожалуй, был бы осторожнее в этой необычной дуэли.

Мне вспомнилась эта история потому, что роман был первой попыткой обратиться к собственному жизненному опыту и работа над ним впервые заставила меня увидеть смутные очертания реалистической прозы. Живой, «видимый невооруженным глазом» герой не мог существовать в безвоздушном, условно-литературном мире.

4

В конце двадцатых годов я стоял перед выбором, от которого зависела вся дальнейшая жизнь: наука или литература?

Мои друзья, впоследствии известные ученые — Л. Я. Гинзбург, Н. Л. Степанов, Б. Я. Бухштаб — одновременно со мной кончили университет и продолжали с увлечением заниматься историей русской литературы. Они жили в атмосфере открытий, и для того, чтобы удержаться на этой высоте, не отстать от них, надо было отдать науке все душевные силы.

В середине двадцатых годов я написал и защитил (при Институте истории искусств) диссертацию «Барон Брам-

беус. История Осипа Сенковского, журналиста, редактора «Библиотеки для чтения». Защита продолжалась четыре часа; у меня были серьезные оппоненты: В. Шкловский, Ю. Оксман, Б. Эйхенбаум, В. Сиповский.

Книга была издана, и выбор, казалось, сделан. Но недаром и стиль, и композиция ее напоминали биографический роман и недаром в собственно филологическом смысле она была поверхностна по сравнению с глубокими работами моих друзей, посвятивших жизнь науке. Вопреки собственным ожиданиям я вернулся к прозе.

Вот тогда-то я и начал писать повесть «Черновик человека», которая теперь кажется мне чем-то вроде метафоры, предсказавшей мои книги, в той или иной степени автобиографичные, и прежде всего трилогию «Освещенные окна».

Это была пора, когда мне посчастливилось познакомиться и подружиться с Леонидом Александровичем Андреевым, одним из учеников И. П. Павлова, физиологом и хирургом, человеком прямым, мужественным, обаятельным и — подобно своему учителю — обладавшим железным терпением. Знакомство совпало с той полосой работы, когда я почувствовал необходимость уйти от фантастической прозы и взглянуть на действительность трезвыми, размышляющими глазами.

У Леонида Александровича был парадоксальный ум. Однажды в разговоре со мной он развил теорию «конституционной вражды», утверждая — разумеется, в шутку — что в человечестве с доисторических времен сохранилась борьба конституций, то есть особенностей биологического вида. И для примера он указал на явление беспричинной ненависти между незнакомыми людьми, далекими друг от друга.

Эта теория, которая в конце повести излагается от имени одной из подопытных собак, показалась мне подходящей «рабочей гипотезой» для «Черновика человека». Не встречался ли и я с явлением бессмысленной и необъяснимой вражды со стороны человека, с которым у меня не было никаких отношений — ни плохих, ни хороших?

Для того чтобы решить подобный вопрос, надо было взглянуть на историю собственной жизни — задача неожиданная для человека двадцати семи лет. Ответ был положительный: да, встречался. И рассказ об этой встрече читатель найдет в трилогии «Освещенные окна». Однако работа над «Черновиком человека» оказалась необходимой и важной совсем в другом отношении. Можно сказать, что

повесть — если сравнить ее со всеми предшествующими произведениями — была движением вперед. Само название «Черновик человека» дано очень точно. Это именно черновик, выполненный со всей тщательностью, на которую я был тогда способен. Пожалуй, можно даже назвать его конспектом. Но благодаря этому конспекту я впервые задумался о проблеме противостояния двух основных жизненных явлений, о пользе мужества, чести, добра и опустошающей бесцельности зла. Именно этот поединок впоследствии оказался — разумеется, в углубленном виде — основным тематическим стержнем моих романов «Исполнение желаний», «Два капитана», «Открытая книга».

Конспективность повести «Черновик человека» не случайна. Я писал ее как бы со связанными руками. Оставив позади «театр прозы» с его острыми поворотами и фейерверком неожиданностей, я робко вглядывался в обыкновенную жизнь, стараясь писать о ней так, чтобы светлые и темные черты чередовались в последовательности действительной, а не мнимой. Вот откуда взялись главы, состоящие из одной фразы, беглые намеки и лаконичность, подчас затрудняющая чтение. Впоследствии я понял, что и эта повесть была для меня школой реалистической прозы.

5

Летом тридцатого года я поехал в Сальские степи, чтобы посмотреть знаменитый зерносовхоз «Гигант». Ничего особенного не было в этой поездке. В «Гигант» ездили тогда очень многие,— работники совхоза даже жаловались, что делегации мешают работать. Но для меня, комнатного, погруженного в книги человека, эта поездка оказалась двойным открытием — открытием новых людей в новых, еще небывалых обстоятельствах и открытием собственной возможности писать об этих людях. Впрочем, в последней возможности пришлось убедиться не сразу. После десяти лет работы я, как начинающий литератор, бросился записывать решительно все, не имея никакого понятия о том, что буду писать — очерк, роман, пьесу. Вернувшись, я с глубокой тщательностью (на которую даже не считал себя способным) написал книгу путевых рассказов «Пролог».

Наступление на косный мир сложившейся в течение веков деревенской жизни, борьба за сознание крестьянина, остановившегося в изумлении перед тем, что совершили

люди «Гиганта»,— вот тема этой маленькой, но очень дорогой мне книги.

Каждый из нас может предъявить свой счет критике — кто длинней, а кто короче. Меня резко критиковали и до «Пролога». Но счет хотелось бы начать именно с этой книги. Мне труден был переход, о котором рассказано выше. Я сомневался в своих силах, боялся, что у меня нет — или почти нет — того писательского зрения, без которого нечего было надеяться на удачу в новом, непривычном для меня жанре реалистического очерка-рассказа. По инерции, которая еще и до сей поры властвует над некоторыми критическими умами, меня встретили в штыки. Книга была разругана без малейшего снисхождения. Один из рецензентов обвинил меня, к моему изумлению, в контианстве. Почему не в кантианстве, которое в равной мере не имело ни малейшего отношения к моим путевым рассказам,— это осталось для меня неразрешенной загадкой.

6

Трудно передать то ощущение, с которым писались первые главы романа «Исполнение желаний». Как будто впервые в жизни я взял в руки перо — так неловко, неумело приставлялась строка к строке, фраза к фразе. Мне казалось, что я совершенно разучился писать,— грустная догадка после тринадцати лет почти ежедневной работы! Все нужно начинать снова. Но как начинать? Стоит ли?

Я продолжал работать, преодолевая робость, даже ужас, охватывавший меня, когда после долгих часов труда удавалось написать лишь несколько фраз. И постепенно мне стало ясно, что решительный поворот в сторону реального изображения жизни должен был повлечь за собой совершенно иную, чем прежде, стилевую манеру. До сих пор я писал стилистически сложно, не только не стремясь к простоте и отчетливости языка, но, нужно сознаться, стесняясь этой простоты, если она невольно проступала. Теперь я стал писать самым обычным разговорным языком, в той единственно возможной манере, которая была продиктована переходом к совершенно новому для меня изображению действительности.

Но дело было не только в этом. Прежняя стилевая манера как бы позволяла мне обходить те впечатления и размышления, то знание жизни, которым я действительно обладал, но которое казалось мне попросту скучным для

художественной литературы. Теперь я догадался, что напрасно считал себя человеком, лишенным опыта и жизненных наблюдений.

Я знал Ленинградский университет двадцатых годов, в котором старое и новое столкнулись с необычайной остротой и силой. Для меня был ясен тимирязевский бунт одних профессоров и средневековая косность других. Мне была понятна жизнь архивов, застывшая, но хранящая тысячи тайн, и чтение рукописей было для меня увлекательным и азартным делом.

Опыт был, но, чтобы воспользоваться им, нужно было сделать (разумеется, для себя) открытие в литературе. Все пригодилось для «Исполнения желаний», даже семинар по древнерусской письменности, даже огромный рваный плащ, в котором (дань увлечению немецкими романтиками) я некогда ходил на этот семинар. С ключом в руках, очень веселый, я бродил по всему своему хозяйству и открывал разные потайные ящики и ларцы, хранившие полузабытый материал, от которого я до сих пор не видел никакого толку.

Впоследствии, перечитывая толстовские дневники, я понял, что беспощадный самоанализ был для Толстого ничем иным, как школой самопознания — психологической школой, определившей многое в его гениальных произведениях. Каждый из нас стремится выразить себя в своих книгах, и, работая над «Исполнением желаний», мне удалось впервые сознательно воспользоваться собственной, пока еще очень маленькой, школой самопознания.

Роман писался долго, более трех лет. Ключ, открывший для меня собственную юность, не мог, к сожалению, помочь в другой очень важной стороне дела. Пришлось оценить недавнее прошлое взглядом исторического романиста. Именно исторического, хотя действие романа происходит в конце двадцатых годов, а писался он в середине тридцатых. Огромное расстояние, которое пробежала страна за этот короткий срок, превратило современный материал в исторический, требующий другого, куда более сложного метода изучения.

Не полагаясь на память, я перелистывал газеты и журналы, расспрашивал товарищей по университету, словом, выстраивал (пока еще очень несмелой рукой) исторический фон, декорацию эпохи. Дело немного облегчалось тем, что я был все-таки историком литературы, учившимся у очень строгих и требовательных учителей, так что чувство-

вал себя свободно в библиотеках. Но изучение людей, как известно, не является задачей истории литературы.

Не говорю уже о том, как много хлопот доставила работа над сюжетом «Исполнения желаний». Я всегда был и остался писателем сюжетным и никогда не понимал, почему это могучее оружие находится в пренебрежении у многих писателей и критиков, считающих, что сюжетность и второсортность — близкие, если не тождественные понятия. За пристрастие к острому сюжету критики преследовали меня всю жизнь, и, если бы не Горький, внушивший, еще когда я был юношей, что мне следует дорожить этой своей склонностью, я, вероятно, стал бы в конце концов писать бессюжетные, скучные произведения. Огромное значение композиции, над которой с таким упорством трудились Толстой, Тургенев, Достоевский, недооценено в нашей прозе.

7

В 1936 году в санатории под Ленинградом, где я отдыхал, зашла речь о романе Островского «Как закалялась сталь». Почтенный профессор холодно отозвался о книге. Его собеседник, молодой ученый, горячо возразил ему, и меня изумило волнение, с которым он защищал любимую книгу: он побледнел, он не мог удержаться от резких выражений.

Спор этот глубоко заинтересовал меня — в ту пору я задумал роман, посвященный истории современного молодого человека.

Мы оказались за одним столиком. Новый знакомый был сумрачен, утомлен, и мы разговорились не сразу. Но день ото дня наши отношения становились все ближе. Это был человек, в котором горячность соединялась с прямодушием, а упорство — с удивительной определенностью цели. Он умел добиваться успеха в любом деле, будь то даже партия в карамболь, которым мы тогда увлекались. Ясный ум и способность к глубокому чувству были видны в каждом его суждении.

В течение шести вечеров он рассказал мне историю своей жизни — необыкновенную, потому что она была полна необыкновенных событий, и в то же время похожую на жизнь сотен других советских людей. Я слушал, потом стал записывать, и эти сорок или пятьдесят страниц легли в основу романа «Два капитана».

Вернувшись домой, я с жаром принялся за работу и закончил ее в три месяца с непривычной легкостью и быстротой. Рукопись была отправлена в один из московских журналов и возвращена с вежливым, но вполне определенным отказом.

Неудача была болезненная, острая. Я отложил рукопись и принялся за давно задуманную книгу о великом русском геометре Лобачевском.

...Я не написал роман о Лобачевском, хотя провел более полугода за чтением печатных и рукописных материалов. Мне казалось, что без ясного понимания того, чему была отдана жизнь ученого, написать о нем невозможно, а в математике я никогда не был силен. И после долгого раздумья я вернулся к первому, неудавшемуся наброску «Двух капитанов».

Прошло ли время, необходимое для того, чтобы оценить написанное другими глазами, или помогло изучение Лобачевского — не знаю. Но, перечитав рукопись, я сразу понял, что в ней не хватает основного — взгляда главного героя на собственную жизнь, идеала, которому он следовал, картины советского общества, которому он был обязан своим развитием. Между мной и моим героем была огромная разница в возрасте, образовании, происхождении. Я искал сложных решений там, где для него все было просто. «Вы знаете, кем бы я стал, если бы не революция? Разбойником»,— мне вспомнились эти слова, которыми закончил рассказ мой собеседник. Увидеть мир глазами юноши, потрясенного идеей справедливости,— эта задача представилась мне во всем ее значении. И я решил — впервые в жизни — писать роман от первого лица.

С первых же страниц я намеревался не давать воли воображению. И действительно, даже столь необычные подробности, как немота маленького Сани, не придуманы мной. Его мать и отец, сестра и товарищи написаны именно такими, какими они впервые предстали в рассказе случайного знакомого, впоследствии ставшего моим другом. Но воображение все-таки пригодилось. О некоторых героях будущей книги я знал очень мало. Например, Кораблев был нарисован лишь двумя-тремя чертами: острый, внимательный взгляд, неизменно заставлявший школьников говорить правду, усы, трость и способность засиживаться над книгой до глубокой ночи. Остальное должен был дорисовать автор.

В сущности, услышанная мной история была очень

проста. Это была история мальчика, у которого было трудное детство и которого воспитали люди, ставшие для него родными и поддержавшие мечту, с ранних лет загоревшуюся в его прямом и справедливом сердце.

Почти все обстоятельства жизни этого мальчика, потом юноши и взрослого человека, сохранены в «Двух капитанах». Но детство его проходило на Средней Волге, школьные годы в Ташкенте — места, которые я знаю сравнительно плохо. Поэтому я перенес место действия в свой родной городок, назвав его Энском. Недаром же мои земляки легко разгадывают подлинное название города, в котором родился и вырос Саня Григорьев! Мои школьные годы (последние классы) протекли в Москве, и московскую школу начала двадцатых годов было легче изобразить, чем ташкентскую, которую я никогда не видел.

Когда были написаны первые главы о детстве Сани Григорьева в Энске, мне стало ясно, что в этом маленьком городке должно произойти нечто необычайное — случай, событие, встреча. Роман писался в годы, принесшие огромные, захватывающие воображение победы в Арктике, и я понял, что «необычайное», которое я искал,— это свет арктических звезд, случайно упавший в маленький, заброшенный город.

И, вернувшись к первой странице, я рассказал историю утонувшего почтальона и привел письмо штурмана Климова, открывшее вторую линию романа. Казалось бы, что общего между трагической историей девятилетнего мальчика, оставшегося сиротой, и историей капитана, пытавшегося пройти в одну навигацию Великий Северный морской путь? Но общее было. Так впервые мелькнула мысль о двух капитанах.

Должен заметить, что неоценимую помощь в изучении летного дела оказал мне старший лейтенант С. Я. Клебанов, героически погибший в 1943 году. Это был талантливый летчик и прекрасный, чистый человек. Я гордился его дружбой. Работая над вторым томом, я наткнулся (среди материалов Комиссии по изучению Отечественной войны) на отзывы однополчан С. Я. Клебанова и убедился в том, что они думали о нем так же, как я.

Трудно или даже невозможно с исчерпывающей полнотой ответить на вопрос, как создается та или другая фигура героя литературного произведения, в особенности если рассказ ведется от первого лица. Помимо наблюдений, воспоминаний, впечатлений, в книгу вошли исторические

материалы, которые понадобились для рассказа о капитане Татаринове.

Не следует, разумеется, искать это имя в энциклопедических словарях. Не следует доказывать, как это сделал один мальчик на уроке географии, что Северную Землю открыл Татаринов. Для моего «старшего капитана» я воспользовался историей двух отважных завоевателей Крайнего Севера. У одного взял мужественный и открытый характер, чистоту мысли, ясность цели — все, что отличает человека большой души. Это был Седов. У другого — фактическую историю его путешествия. Это был Брусилов. Дрейф моей «Святой Марии» совершенно точно повторяет дрейф брусиловской «Святой Анны». Дневник штурмана Климова, приведенный в романе, полностью основан на дневнике штурмана «Святой Анны» Альбанова — одного из двух оставшихся в живых участников этой трагической экспедиции. Однако только исторические материалы показались мне недостаточными. Я знал, что в Ленинграде живет художник и писатель Николай Васильевич Пинегин, друг Седова, один из тех, кто после его гибели привел шхуну «Святой Фока» на Большую землю. Мы встретились, и Пинегин не только рассказал много нового о Седове, не только с необычайной отчетливостью нарисовал его облик, но объяснил трагедию его жизни — жизни великого исследователя и путешественника, который был не признан и оклеветан реакционными слоями общества царской России. Кстати сказать, во время одной из наших встреч Пинегин угостил меня консервами, которые в 1914 году подобрал на мысе Флора, и, к моему изумлению, они оказались превосходными. Упоминаю об этой мелочи по той причине, что она характерна для Пинегина и для его «полярного» дома.

Впоследствии, когда первый том был уже закончен, много любопытного сообщила мне вдова Седова.

Летом 1941 года я усиленно работал над вторым томом, в котором хотелось широко использовать историю поисков знаменитого летчика Леваневского. План был уже окончательно обдуман, материалы изучены, первые главы написаны. Известный ученый-полярник В. Ю. Визе одобрил содержание будущих «арктических» глав и рассказал много нового о работе поисковых партий. Но началась война, и мне пришлось надолго оставить мысль об окончании романа. Я писал фронтовые корреспонденции, военные

очерки, рассказы. Однако, должно быть, надежда на возвращение к «Двум капитанам» не совсем покинула меня, иначе я не обратился бы к редактору «Известий» с просьбой отправить меня на Северный флот. Именно там, среди летчиков и подводников Северного флота, я понял, в каком направлении нужно работать над вторым томом романа. Мне стало ясно, что облик героев книги будет расплывчат, неясен, если не рассказать о том, как они перенесли тяжелые испытания войны и победили.

По книгам, по рассказам, по личным впечатлениям я знал, что представляла собой в мирное время жизнь тех, кто, не жалея сил, самоотверженно трудился над превращением Крайнего Севера в гостеприимный край — открывал его неисчислимые богатства, строил города, пристани, шахты, заводы. Теперь, во время войны, я увидел, как вся эта энергия была брошена на защиту родных мест. Мне могут возразить, что в каждом уголке нашей страны произошло то же самое. Конечно да, но суровая обстановка Крайнего Севера придала этому повороту особенный характер.

8

На одном литературном вечере в общежитии МГУ — это было вскоре после войны — зашла речь о том, что у нас совершенно нет книг, посвященных росту творческого сознания в науке. «А между тем,— сказала одна пылкая девушка, очень сердившаяся за это на советскую литературу,— наука проникла в самую глубину нашей жизни».

Девушка была совершенно права. Но едва ли она ясно представляла себе тот объем труда, который нужно вложить в произведение, посвященное людям науки.

В сущности, на протяжении всех пятидесяти лет работы я с разных сторон подходил к подобному произведению. Мой первый рассказ, «Одиннадцатая аксиома», был послан на конкурс начинающих писателей под девизом: «Искусство должно строиться на формулах точных наук». Я пытался рассказать жизнь Лобачевского. В «Исполнении желаний» изображены поиски и надежды молодого историка литературы. В конце шестидесятых годов я опубликовал роман «Двойной портрет», а в конце семидесятых — роман «Двухчасовая прогулка», оба рассказывают о жизни наших биологов. Мне всегда казалось, что самые принципы научного творчества поучительны и важны для писателя, неда-

ром изучение их всегда с такой плодотворностью отражалось в литературе.

Но как подойти к делу? На каком научном материале остановиться? Должен ли он иметь познавательный характер или войдет в общий исторический фон?

Эти и многие другие вопросы решились сами собой, когда я остановился на микробиологии. Русскую микробиологию всегда вели вперед люди сильного характера, смелые оптимисты, готовые к самопожертвованию и ясно представляющие то место, которое предстоит занять этой молодой науке среди других наук о природе. Таковы Мечников, Заболотный, Гамалея. Эти высокие традиции сохранились и в наше время.

Работая над «Двумя капитанами», я окружил себя книгами по авиации и истории Арктики. Теперь их место заняли микробиологические труды, и они оказались гораздо сложнее. Прежде всего нужно было научиться читать эти труды не так, как читают их сами ученые. Восстановить ход мысли автора, прочесть за сухими, краткими строками научной статьи то, чем жил этот человек, понять историю и смысл борьбы против врагов (а иногда и друзей), которая почти всегда присутствует в научной работе,— вот задача, без решения которой нечего было и браться за подобную тему. Нужно понять то, что ученый выносит за скобки,— психологию своего творчества.

Другая — и еще большая — трудность заключалась в том, что в основе задуманного романа (я принялся за него вскоре после «Двух капитанов») лежала история женщины, рассказанная ею самой.

Герой «Двух капитанов» был все-таки близок мне, несмотря на всю разницу возраста и образования. В «Открытой книге» рассказ ведется от лица девочки, потом девушки, потом от лица вполне сложившегося человека — голос рассказчицы, ее отношение к близким, к самой себе, к своему делу меняются от части к части. Меняются стилевые особенности, подчеркивающие ступени развивающегося сознания. Присоедините к этому необходимость профессионального колорита — ведь героиня трудным путем приходит в сложную, быстро развивающуюся область науки...

И в прежних книгах немало труда стоило мне то, что лишь приблизительно можно назвать историческим фоном. Действие трилогии «Открытая книга» происходит в течение тридцати пяти лет. Нечего говорить, как важно было показать характерные черты этого времени — и не только

характерные, но тесно связанные с развитием науки. Память легко обманывает, и каждый, даже незначительный, факт прошлого требует тщательной проверки. Ошибиться нельзя даже в мелочах. Попробуйте допустить неточность, и двадцать читателей с обидной снисходительностью немедленно на нее укажут. Во второй части романа я отправил своих героев на сельскохозяйственную выставку в двухэтажном автобусе. «Ошибка! — уличили читатели.— На выставку в 1940 году ходил двухэтажный троллейбус». В «Двух капитанах» я воспользовался весьма неразборчивым факсимиле письма лейтенанта Брусилова к матери, и один дотошный школьник не только добрался до источника, но и доказал мне, что два слова брусиловского письма были прочитаны неверно.

Но не только потому «Открытая книга» писалась так медленно и с таким трудом, что надо было читать книги по микробиологии или тщательно изучать «исторический фон». На протяжении почти десяти лет мне приходилось бороться за эту книгу главным образом с критиками, которые то упрекали меня за то, что я слишком много занимался темой любви, как будто в нашей стране перестали влюбляться, тосковать, читать стихи, мечтать или даже умирать от любви; то убеждали расстаться с моими «неполноценными героями» и заняться другими, положительными во всех отношениях. Однако мне удалось перешагнуть через настойчивое стремление направить роман по другому пути, нисколько меня не интересовавшему и, в сущности, далекому от поставленной задачи. Это не относится к серьезным критическим разборам романа, которые помогли мне нарисовать — разумеется, по мере сил и умения — духовный рост человека в связи с ростом его научного сознания.

Сюжет романа — история открытия, оказавшего глубокое влияние на развитие медицинской науки, начавшего в этой науке новую эру. Но, работая над третьей частью, я понял, что история Тани Власенковой давно вышла за пределы этого сюжета.

Роман — итог долголетних наблюдений; в характере героини я стремился соединить черты, присущие многим женщинам, работающим в нашей науке. Однако в третьей части, рассказывающей о тяжких бедствиях войны, об испытаниях, постигших нас в послевоенный период, я шел по следам лишь одной, вполне определенной биографии. Типична ли она — пускай об этом судит читатель. Сталин-

град, научная дуэль с оксфордским ученым, арест Андрея не выдуманы мной. Имена, конечно, изменены. Начиная с третьей части книга как бы сама стала писать себя, мне оставалось только следить, чтобы главная тема не утонула в подробностях — болезненно памятных, слишком многочисленных и, следовательно, требующих отбора.

Лев Толстой говорил, что его герои действуют не так, как он им приказывает, а так, как они не могут не действовать. Думаю, что этот закон является одним из самых важных законов реалистической прозы.

9

Именно этот закон руководил мной при работе над романом «Двойной портрет», который, мне кажется, стоит выше других моих книг о людях науки.

Я не буду касаться подробностей — их читатель найдет в книге «Вечерний день», входящей в это Собрание. Мне хочется отметить только одну черту, которая в «Двойном портрете» имела решающее значение. Восемь лет работы над «Открытой книгой» не прошли даром. Я понял, что в романе о людях науки познавательная сторона (стоившая так много труда), в сущности, не является предметом искусства и нужна только в том случае, когда она органически входит в сюжет.

Основная цель деятельности Татьяны Власенковой не изменилась бы, если бы она была физиком или астрономом. В любом случае ее научные поиски были бы неразрывно связаны с нравственной позицией в жизни, и это, кстати, перекликается с упомянутой выше мыслью Толстого: люди науки, подобно литературным героям, действуют так, как они не могут не действовать. Интересы науки и интересы общества в данном случае должны совпадать. В «Двойном портрете» не нашлось места для деклараций. Роман построен на остром столкновении между истинной и ложной наукой, и чтобы объяснить всю сложность этого столкновения, я был вынужден ввести автора — старая находка, которой еще в конце двадцатых годов я воспользовался в романе «Художник неизвестен». Но в недавней книге «Двухчасовая прогулка» декларация понадобилась, и ее произносит главный герой — биолог Коншин. Вот как он рисует портрет человека науки: «Дело в том, что порядочность неразрывно связана с независимостью от мелочей, от предвзятости, от ложных отношений. Там, наверху, в

сфере идей, где, казалось бы, кончается логика, он должен мыслить с полной, окончательной искренностью. Он просто вынужден быть порядочным человеком, потому что знает, что его открытие будет проверено в сотнях лабораторий. На него смотрят тысячи глаз. Он — перед лицом совести, а с ней шутки плохи. Потому что когда ученый лишается совести, наступает самое страшное: научная смерть».

Следует отметить еще одну особенность, от которой я отказался после «Открытой книги»,— уникальность, мировое значение научного подвига, неразрывно связанные с сюжетом. В «Двухчасовой прогулке» нет уникальности. Читатель не имеет никакого представления, чем занимается Коншин. Герои этой книги полны стойкости, мужества, глубокого интереса, сильного воображения и такими — это подразумевается — они должны оставаться, занимаясь не только открытиями, обнадеживающими человечество, но и самой будничной, повторяющейся, ежедневной работой.

10

Сюжет, бегло рассказанный на страничке фронтового блокнота, с первого взгляда показался невероятным. Именно поэтому захотелось превратить его в повесть.

Я начал с того, что отправился к адмиралу А. Г. Головко, одному из самых лучших наших флотоводцев, и спросил, не приснился ли мне этот сюжет, записанный со слов одного моряка в 1943 году.

— Может быть, рассказчик сочинил эту историю?

— Нет,— ответил адмирал.— Он рассказал вам правду.

Я взялся за работу немедленно и очень скоро почувствовал, что у меня не хватает — мало сказать, материала — чувства материала, воздуха литературы. Действие происходит на Крайнем Севере, а я не был там без малого двадцать лет. Среди героев — торговые и военные моряки. С торговыми я почти не встречался, а военных знавал давно, работая военкором на Северном флоте.

Я отложил едва начатую работу и по совету А. Г. Головко отправился на Крайний Север.

Нужно было найти очень старый пароход торгового флота, принадлежавший некогда Соловецкому монастырю,— он входил в «божественную» флотилию, состоявшую из трех пароходов: «Вера», «Надежда» и «Любовь». Увы, приехав в Мурманск, я узнал, что его давно отправили на

разделочную базу! Мне было предложено осмотреть другой пароход, не менее старый. По всем его каютам и трюмам вместе со мной проворно лазал почтенный, уходящий на пенсию капитан дальнего плавания. Сперва он рассказал историю своей жизни, потом историю парохода — трудно сказать, какая из них была интереснее.

Действие повести происходит на движущемся судне, и необходимо было ясно представить себе его путь — сначала на карте, а потом на деле. В середине дня мы пошли из Мурманска на одну из военно-морских баз на берегу Кольского залива. Я понял в этот день, что не заметил в годы войны всей красоты северной природы — тогда было не до красоты. В то время природа Крайнего Севера взвешивалась на весах — сперва обороны, а потом — наступления.

Писать на быстро идущем катере трудно, но я не отрывал карандаша от блокнота. Команда помогала мне. Рулевой пригласил на мостик, где записывать под свежим ветром стало еще труднее. Моторист, не забывая своих обязанностей, показывал светлые фигуры облаков на темно-синем раскачивающемся небе.

На катере был коренной северянин, старый моряк. В конце концов и он втянулся в наше занятие, обнаружив, к своему удивлению, что сорок лет прожил перед лицом беспрерывно совершающегося чуда.

Вот как выглядело это чудо, когда мы шли на базу: под освещенными снизу неподвижными облаками стоял застывший, тихий пожар, а в глубине этого размазанного, как на полотнах Ван-Гога, пожара другие, легкие облака стремительно летели прямо в каменную линию сопок. Маленькая луна, стоявшая спиной к солнцу, затерялась в огромном, опрокинувшемся овале неба. Все казалось неподвижным в этом овале, и все было в беспрерывном, плывущем движении.

Вернувшись в Мурманск, я встретился с новым консультантом, новым доброжелателем будущей повести — опытным моряком. Но на этот раз разговор шел в другом направлении. Надо было узнать о своих героях больше, чем я хотел сообщить читателю. Для того чтобы отчетливо представить себе человека, о котором ты пишешь, нужны подробности, которые подчас остаются в черновиках, в набросках. Черновик характера — вот понятие, занимающее в рукописи гораздо большее место, чем в книге. Именно в этих черновиках нужно искать ключ к жизни героя, ту сущность, без которой нельзя нарисовать его образ.

Последние дни на Крайнем Севере были отданы Мурманску. В годы войны моряки называли его «свободной охотой». Я бродил по городу без цели, записывая все, что могло (или не могло) пригодиться. Немцы сбросили на Мурманск едва ли не больше бомб, чем на Мальту. Рубленый деревянный город был сожжен дотла. На месте пепелища поднялась большая красивая столица Заполярья. Но мне был нужен старый город, а я не мог его найти, как ни искал. Исчез бесследно знаменитый квартал «Шанхай», в котором когда-то шумно проводили время моряки, приходившие сюда со всех широт на иностранных пароходах. Современный стадион построен в центре города, на месте громадного оврага. Удалось найти лишь несколько старых, почерневших деревянных домов. Я зарисовал их. И, вернувшись в Москву, принялся за повесть «Семь пар нечистых».

11

Лет восемь тому назад мне позвонил почтенный ученый, с которым я встречался очень редко — на новогодних вечерах в доме общих знакомых. Он производил впечатление человека сдержанного, скромного, прожившего такую же сознательно ограниченную, сдержанную жизнь. Мне не случалось слышать его мнений ни в политических, ни в научных разговорах. Вместе с тем он был всегда прелестно старомоден, естественно вежлив, за столом неизменно читал сатирические стихи, написанные к случаю и попадавшие, видимо, прямо в цель, для меня иногда неясную, потому что я был все-таки далек от этого давно сложившегося круга.

И вдруг этот человек — будем называть его Р.— неожиданно позвонил по телефону и спросил, не хочу ли я познакомиться с многолетней перепиской между ним и... Он назвал незнакомую фамилию, которую я сразу же забыл.

В юности, занимаясь древней русской литературой, я проводил целые дни в архивах, и с тех пор чувство острого интереса к тайне неопубликованной рукописи не покидало меня. Когда Р. позвонил, оно зажглось, как в старину зажигался трут от искры кремня — неярко, но надежно и деловито. Я поблагодарил, и вскоре он привез три аккуратно переплетенных коричневых тома.

Неловкость прикосновения к чужой, неизвестной жиз-

ни невольно окрасила наш разговор. Это были именно прикосновения, застенчивые с его стороны и более чем осторожные с моей.

— Она жила в Турции, на Корсике, в Париже. Мы переписывались до конца 1935 года... Здесь много о живописи,— заметил он, когда я стал перелистывать письма.— Она была художницей.

— Трудная жизнь?

— О да.— Р. помолчал.— Вам, может быть, покажется странным, что письма переплетены. Я сделал это осенью сорок первого года, когда бомбили Москву. Подобрал по датам и переплел.

Я спросил о судьбе его корреспондентки — жива ли она?

— Не знаю.

— И вы не пытались разыскать ее?

— Она сама нашла бы меня, если бы это оказалось возможным,— сказал он поспешно.

Я сидел на диване, он в кресле поодаль. В комнате постепенно устанавливались сумерки короткого дня, и мой гость как будто ушел от меня, может быть, потому, что он как раз и был цвета этого раннего зимнего вечера со своим правильным бледным лицом и желтовато-седой шевелюрой. Я зажег лампу, все преобразилось. Но странное ощущение, что он все-таки ушел, осталось. Таким был и разговор: мы говорили о письмах и в то же время как будто старались забыть о них.

— Но ведь если она жива...

— Ну и что ж! — слабо улыбнувшись, сказал он.— Она привыкла к неожиданностям с моей стороны.

Потом я проводил его и, вернувшись к себе, взглянул на три коричневых тома как на воплощение чужой, неведомой жизни, вдруг ворвавшейся ко мне и потребовавшей заботы и вдохновенья. Но, может быть, в этих письмах нет ничего, кроме плоской обстоятельности, столь же скучной в наши дни, как и в начале века?

Я был занят тогда романом «Двойной портрет» — глубоко волновавшей меня работой, и письма пролежали в архиве — не помню, может быть, год. Потом я купил сильную лупу и попросил мою добрую знакомую, машинистку, знающую языки (в письмах было много иностранных выражений) открыть для меня этот неведомый мир, состоявший из писем с вложенными в конверты засушенными цветами, секреток, заклеенных цветными облатками, ста-

ромодных телеграмм и торопливых — иногда в два-три слова — открыток...

...Упорная, последовательная, тщательная работа продолжалась долго. В сущности, она почти не отличалась от труда текстолога, изучающего варианты вновь открытого текста. Ведь будущей героине — я назвал ее Лизой Тураевой — не могло и в голову прийти, что когда-нибудь не только Р. прочтет ее торопливые, неразборчивые, подчас беспечные письма.

Когда работа была окончена — на столе лежал свод писем с 1910 по 1935 год, писем из Перми, Казани, Санкт-Петербурга, Москвы, Парижа, Бонифачо (Корсика) и Стамбула. Передо мной постепенно, год за годом, стала раскрываться жизнь девочки, потом женщины, смелой, взыскательной, воспитавшейся в суровой школе искусства, внутренне свободной, всегда стремившейся к задаче, которая была выше ее сил.

Как же должен был я в этом случае поступить? Имел ли я право воспользоваться этими письмами,— ведь самые близкие из моих друзей никогда не открывались передо мной с такой искренностью и полнотой?

Я мог бы придумать занимательную историю о том, как попали ко мне эти письма. Более того, я начал писать ее. Склонность к странностям и неожиданностям, так долго украшавшая мою жизнь, снова пригодилась бы, и читатель, может быть, поверил бы этой истории, если бы она была написана достоверно. Но впервые в жизни захотелось отстранить или даже забыть свою любимую склонность. Что-то ложное почудилось в самой попытке подтвердить подлинность этих писем событиями, созданными воображением.

Прежде всего я должен был, без сомнения, узнать, жива ли будущая «Лиза Тураева». Удалось найти в Москве людей, которые некогда знали ее, а через них — ее парижских знакомых. Седьмого февраля 1967 года я получил письмо от ее соседки — грустное письмо, в котором бегло (и неточно) была рассказана жизнь моей героини. Упоминалось о том, что она умерла весной 1938 или 1939 года. В этом письме были и другие, драгоценные строчки: «У нас в комнате висят три ее вещи: мой портрет маслом, натюрморт — пионы и акварель — скалы на Корсике».

Я не мог написать роман о художнице, не зная ее картин.

Идя по следам «Лизы Тураевой» изо дня в день, из ме-

сяца в месяц, я сам как бы невольно становился ею. На столе появились книги, и в частности, о византийском искусстве, которым занималась моя героиня. Я вспомнил, что образ Византии впервые возник передо мной очень давно, в начале двадцатых годов, когда я был студентом Ленинградского университета. Фотографии ранних работ «Лизы» сохранились у Р.— она присылала ему и оригинальные рисунки, среди которых есть несколько превосходных. Я попросил его показать все, что у него сохранилось. Он приехал — и это была совсем другая встреча, убедившая меня в том, что я уже работаю над романом, хотя не написал еще ни одной строчки. Теперь ни я, ни, кажется, он не чувствовали неловкости вмешательства в чужую жизнь. Теперь я не только узнал свою будущую героиню, я полюбил ее. Читая ее письма, я уже не мог размышлять над ними, как прежде, с холодностью профессионала. Впервые с такой вещественностью я понял знаменитую фразу Флобера: «Эмма — это я».

Разговор начался осторожно, издалека. Снова была зима, но не вечер, а утро с заледеневшим после оттепели снегом на ветках распрямившихся елей. И Р. был другой. Он не позволил встретить себя на станции, пришел сам и, снимая шубу, сказал, что давно не дышалось ему так легко: «Надо жить за городом, вы правы». Я усадил его на веранде, среди солнечных зайчиков, вдруг начинавших бродить по стенам, когда ветер встряхивал лес.

— Не знаю, чем я заслужил ваше доверие, но подарок, который вы мне сделали, переоценить невозможно. Вы помните, я спросил вас: «А если она жива...»? Теперь я почти убежден, что она сама разрешила бы мне опубликовать эти письма. Она сказалась в них отчетливо, живо, и, может быть, самое дорогое заключалось в том, что она не только любила вас. Она вас понимала.

У него был серьезный, вспоминающий взгляд, когда я приписал Р. теорию сознательного одиночества и подтвердил ее цитатами из писем.

— Нет, не одиночество, почему же? — мягко возразил он.— Скорее страх перед машинальностью. Мещанство зависимости — вот что меня тогда пугало. Молодость-то ведь была задавленная, нищая! Много унижений в том возрасте, когда складывается характер, много чтения и мало сна. Спать хотелось постоянно — опасное, кстати сказать, состояние! Вы помните чеховскую Варьку, которой так хочется спать, что она душит ребенка? Были, конечно, и

теории. Кратко одну из них можно было выразить так: «Ну, подождите же, я вам еще покажу!»

— Это относилось к женщинам?

Он улыбнулся, лицо смягчилось, глаза потеплели.

— Мы познакомились на гимназическом балу в Симбирске, и я, разумеется, не придал этой встрече значения. Но она была уже и грациозная, и смелая, словом, та самая, которую вы сегодня решили защищать от меня.

Он снова улыбнулся, на этот раз грустно.

— А я в те годы как раз добрался до своей гамсуновской свободы. Это было в тысяча девятьсот двенадцатом году — Гамсун был тогда моим богом. Зарабатывал я уроками очень недурно, до тридцати пяти рублей в месяц. И мечтал о свободе личности, не прописной, а подлинной — предприятие для нашего великого столетия почти фантастическое.

Мы стали рассматривать рисунки будущей «Лизы Тураевой», которые он принес. Снова понадобилась сильная лупа. Даже по фотографиям ее единственной выставки в Париже был виден бесспорный, оригинальный талант.

Р. снова заговорил:

— Жизнь шла между нашими редкими встречами. Сестер своих я вырастил, мать обеспечил, устроил. В двадцать восемь лет я был уже профессором Казанского политехнического института. Работы мои печатались не только у нас, но и за границей. Это, кстати сказать, и помогло мне поехать в Париж. Знаменитый ученый хлопотал о моей визе. Ему, конечно, не могли отказать. И вот Париж...

Все осталось по-прежнему — свежее зимнее утро, много света на застекленной веранде и сам Р., сидевший в кресле, как на сцене, среди солнечных зайчиков, вспыхивавших, когда ветер раскачивал сосны. Но что-то новое появилось в его ровном голосе, в бледном лице. Словно где-то в самом себе он снова остановился перед невидимой, непреодолимой преградой...

Весной 1968 года я провел две недели в Праге. Меня пригласил Союз чехословацких писателей.

Для меня Прага — город монументального, разноцветного и легкомысленного средневековья, место действия моих юношеских рассказов, в которых бесшумно, как в театре теней, действуют ландскнехты, фокусники и монахи. Я люблю Прагу. Без дела я бродил по садам и паркам, обедал в уютных маленьких ресторанах под Пражским градом и подолгу сидел на берегу Влтавы.

Рукопись «романа в письмах», разумеется, осталась в Москве, но я продолжал думать о нем. Более того, казалось, что он исподволь, неслышно идет за мной по пятам, прислушиваясь к тому, о чем думалось и говорилось в Праге.

Я вспомнил, что здесь до середины двадцатых годов жила Марина Цветаева, с которой была хорошо знакома моя «Лиза Тураева»,— и в тот же день стоял на Шведской улице, пытаясь полусловесно-полуграфически нарисовать в блокноте виллу, в которой, по словам моей спутницы — чехословацкого литературоведа, жила Цветаева. Впоследствии выяснилось, что это ошибка.

Моя спутница занималась Цветаевой, знала круг ее знакомых, и в назначенный день мы пришли в дом «пани профессорки» — так она почтительно называла хозяйку этого единственного в своем роде дома. Две комнаты были полны произведениями искусства — живописью, керамикой, бронзой, стеклом, деревянной скульптурой. Пани профессорка в течение многих лет читала лекции в Карловом университете. Я рассказал ей историю будущей книги, и она заинтересовалась именно той стороной, о которой мне не хотелось говорить.

— Как, любили друг друга двадцать пять лет? — с женским любопытством спросила она.— А, понимаю! Они почти не встречались. Я не верю в эту исключительность. Может быть, вы пишете новую Манон Леско?

Я засмеялся. Пани профессорка — живая, быстрая старая дама, с еще красивым лицом — была умна.

Ее коллекции не мешали нам говорить о Цветаевой, может быть, потому, что во всем, что она рассказывала, был оттенок беглости. Многое отбрасывалось, но как-то так, что самое главное все-таки оставалось. Так рассказала она о «разреженном пространстве», которое самопроизвольно возникало вокруг Цветаевой, и одних — самовлюбленных, праздных — отталкивало, а других — привлекало.

Перешли к живописи — и первой была показана иконка Гончаровой, на доске, состоящей из двух половинок. Потом из каморки, которая была битком набита холстами, стоявшими вдоль стен, пани профессорка вытащила работу, автора которой я узнал с первого взгляда. Это был портрет женщины в черном, в высокой кружевной наколке, молящейся, стоя на коленях. Она была написана на фоне, в котором грозно-предостерегающе сливались цвета, и в том, как она выплывала из этого фона, было заметно уси-

лие, отразившееся в ее задумчивом, прекрасном лице. Портрет был мастерский, передававший, кстати сказать, и то незамечанье собственной красоты, которое свойственно гордым женщинам, не ставящим ее ни в грош и даже презирающим впечатление, которое они производят. На пустом уголке полотна была небрежная подпись: подлинная фамилия моей героини.

— Ну как? — спросила пани профессорка.

Я ответил, что работа первоклассная и что меня глубоко занимает судьба художницы, о которой я собираюсь написать роман.

— В самом деле? Как-то в Париже меня повез к ней маршан, и я купила у нее две картины. Вторая называется «Малярия в Порто-Веккьо». Я подарила ее.

Жизнь, о которой я рассказываю в романе «Перед зеркалом», в сущности, проста. Но над ней стоит знак истории. Я не стремился перекинуть мост между людьми двадцатых и шестидесятых годов. Искусство не останавливается, даже когда оно умолкает. В знаменитом армянском музее древних рукописей Матенадаран хранятся неразгаданные, еще никем не сыгранные ноты. Мало надежды, что молодые люди нашего времени услышат в моей книге великую музыку русской живописи начала двадцатых годов с ее мерным чередованием отчаянья и надежды. Но даже отзвуки, если они донесутся до них, заставят задуматься о многом.

12

Трилогия «Освещенные окна» не просто «связана» с книгой «Неизвестный друг» — она представляет собой нечто вроде расширенного и углубленного варианта этой книги. Корней Иванович Чуковский, мнение которого всегда было для меня бесценным, предсказал, что читатель холодно встретит повесть «Неизвестный друг»: «Он не простит вам иронии над самим собой». Именно с этого разговора начинается трилогия «Освещенные окна», и оценка К. Чуковского не была забыта, когда я принялся за работу. И еще одно: впервые я решил не давать воли воображению, без которого до сих пор не обошлась ни одна моя книга. Только правда, только то, что я пережил, только то, что я услышал от моих родных и друзей, которым я доверял безгранично! И надо признаться, это было трудное решение, тем более что, рассказывая правду, я не отка-

вывался от опыта художника-романиста — опыта, который дался мне с большим трудом.

Я уже писал о том, как в начале тридцатых годов добрался в «Исполнении желаний» до реалистической прозы. Но это было совсем другое. Работая над «Освещенными окнами», я искал «поэзию достоверности» — ведь в достоверности, если она основана на нравственной задаче, всегда есть оттенок поэзии, как бы жизнь ни была трудна. Разумеется, слово «я» очень часто встречается в трилогии, но мне кажется, что читатель не должен укорять меня за это. «Я» бывает всякое — самоограниченное, самовлюбленное, не умеющее или не способное видеть себя со стороны. В «Освещенных окнах» «я» — всматривающееся, останавливающееся перед загадками детства и юности и пытающееся их разгадать. Я писал эту книгу не как бесстрастный очевидец нашей литературной жизни, а как участник, для которого была бесконечно дорога каждая истинная удача, каждый заслуженный успех. Не надо забывать, что это была пора, когда впервые появились Бабель, Зощенко, Тихонов, Тынянов.

К «Освещенным окнам» тесно примыкают другие автобиографические книги — «Собеседник» и «Вечерний день». Нельзя назвать их продолжением трилогии «Освещенные окна», но не составляет никакого труда перекинуть мост, который соединит их прочно и надежно. Мне кажется, что этому может в особенности помочь «Вечерний день» — книга, разделенная на главы-десятилетия (от двадцатых до шестидесятых) и представляющая собой как бы фон на котором, то замедляя, то ускоряя свое развитие, существовала наша литература. В основе ее лежит мой архив — неопубликованные заметки, дневники, письма. Эту книгу, пожалуй, можно назвать отражением моего архива — отражением далеко не полным, может быть, даже неясным, но искренним в той мере, в которой должна быть искренней и правдивой документальная проза. Впрочем, неполнота объясняется просто: я воспользовался лишь частью архива, насчитывающего более тысячи «единиц хранения».

13

Меня часто спрашивают, как я работаю. Боюсь, что, если бы я попытался ответить на этот вопрос, со мной случилось бы то же, что с сороконожкой, которая, стараясь

объяснить, как она ходит, запуталась и разучилась ходить. В ранние годы я тщательно разрабатывал план — главу за главой. Так было с романом о Лобачевском: план был обстоятельный, а роман остался ненаписанным. Потом я стал свободнее обращаться с планом. Я уже знал, что он сильно меняется, когда начинаешь писать.

Как правило, мне не удается написать больше одного печатного листа в месяц. Завидую людям, которые пишут быстро, и постоянно стараюсь узнать их секрет. Один из моих друзей работает так: быстро пишет все, что приходит в голову, а потом оставляет из написанного одну треть. Я попробовал писать, как он, и выбросил из написанного половину. Получилось еще медленнее. Иной опытный писатель много раз отделывает, оттачивает написанную фразу и больше к ней не возвращается. Я пишу иначе: передо мной лежат два листа бумаги. На одном набрасываю фразу, потом, обдумав, переношу на другой. Это и есть черновик. На его полях я, в свою очередь, делаю поправки. За черновиком следует два или три варианта.

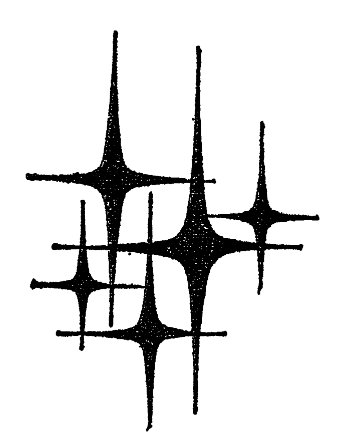
Другая, и, может быть, не менее трудная, работа начинается, когда возвращаешься к старым книгам, надеясь сделать их отчетливее, стройнее. Дважды — в 1935 и в 1955 годах — я возвращался к роману «Исполнение желаний». С каждым новым изданием старался улучшить роман «Открытая книга». Все это в полной мере относится к настоящему Собранию. Готовя его к печати, я не мог оставить без перемен многие, прежде казавшиеся мне вполне законченными страницы. Но ранние рассказы и повести, написанные молодым человеком, я оставил без изменений. Первый том печатается по текстам двадцатых годов.

...Время от времени я кладу перед собой на письменный стол еще одну рукопись; многие страницы ее перечеркнуты, отдельные главы еще не нашли своего места. Она принадлежит к числу тех книг, которые пишутся годами. Давно задуманный роман для детей будет до некоторой степени связан с моими первыми книгами. Но в нем должны сказаться итоги моей постоянной работы. Это то, что некогда называлось «волшебным романом», недаром я всю жизнь преклонялся перед гением Германа Мелвила, написавшего «Моби Дик». Волшебство, чудеса, превращения не только занимательны в будущей книге, но и полны нравственного смысла.

1963—1980

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ

(1921—1931)



ХРОНИКА ГОРОДА ЛЕЙПЦИГА ЗА 18... ГОД

ГЛАВА I

Студент Борнгольм превращается в статую

Человек кричал звонко:

— Господин скульптор, господин скульптор,— и бил молотком в двери.

Никто не откликался.

Он постучал сильнее и крикнул с отчаянием:

— Скульптор!!!

Послышались тяжелые шаги за дверью, задребезжала цепь — и заспанный голос спросил:

— Кто там?

— Отворите, ради бога отворите, господин скульптор!

— Это вы, Генрих? — спросил голос.

— Да, да, это я, Генрих. Отворите же...

— Сейчас, сейчас,— ворчал скульптор, отворяя двери.— Не мешало бы вам избрать другое время для разговоров, а не будить меня ночью, чтобы переполошить всю улицу.

И в самом деле: засветились огонечки в окрестных домах, и тени задвигались в освещенных окнах.

Они вошли, и дверь затворилась за ними, а это была толстая, дубовая дверь, обитая медью, с изображеньями орудий ремесла ваятелей, с засовом и цепью. За такую дверь было очень трудно проникнуть, но я забрался на крышу и, опускаясь по широкой трубе вниз, очутился в небольшом углублении между кирпичами, у самого основанья каминной трубы. Там я уперся ногами в уступы, рядом с решеткой, и начал внимательно слушать.

— Дорогой скульптор,— говорил Генрих дрожащим голосом,— если вы это не сделаете, то я все равно найду иной и окончательный выход, который поможет мне разом покончить со всеми моими несчастьями.

— Подождите,— отвечал скульптор спокойно и раздумчиво.— Я никак не пойму, для чего вам все это понадобилось. Мне недорого стоит применить к вам мое искусство, но я боюсь, что вам это обойдется дорого. Хорошо ли вы обдумали ваше решенье, дорогой мой Генрих?

Но Генрих уже плакал, как ребенок.

— Стыдитесь,— снова заговорил скульптор явственно и шумно.— О чем вы плачете? Поймите, что то, что вы требуете, навсегда лишит вас возможности двигаться и говорить, если только нашему шальному сочинителю не вздумается когда-нибудь оживить статую.

— Что бы ни случилось,— отвечал Генрих, хрипя и откашливаясь,— мне безразлично, и я не хочу знать об этом. Я думаю лишь о том, что лучше навеки умолкнуть, превратившись в бронзу, чем далее терпеть эти невыносимые мученья.

И я слышал, как он задрожал и заскрипел зубами.

Я сидел в камине и думал, что они у меня немного слишком сентиментально разговаривают. Но было уже поздно поправлять их, потому что скульптор затопил камин.

Едкий дым ослепил меня, и я едва удержался, чтобы не вскрикнуть. Поднимаясь по уступам кирпичей прежней дорогой, я услышал еще раз хриплый голос студента, который гулко отдался в каминной трубе, а потом ночной воздух освежил мою голову и я, спустившись с крыши, пошел по улице, тщетно пытаясь собрать убегавшие мысли.

ГЛАВА II

Синий конверт не попадает по назначению

Старый профессор N. шел по городу Лейпцигу, высоко поднимая сморщенное лицо и опираясь на палку. Профессор был очень ученый человек: всю свою жизнь он изучал философию Канта, и даже в самом раннем детстве его кормили исключительно немецкой мудростью. Кухарка варила ему чрезвычайно питательную кашу из немецких философов конца XVII века, а просвещенная нянька

вместо колыбельной постоянно напевала ему наиболее плавные места из «Критики чистого разума».

Многие думали, что он и есть сам Кант, но старый профессор опровергнул это ложное мнение рядом статей в философском ежегоднике. Словом, он был человек преученейший и мудрый.

Профессор шел медленно, поправляя изредка сползавшие очки и отвечая на низкие поклоны с важностью и полным сознанием собственного достоинства.

В уме его проплывали глубокие мысли, и он с нежностью думал о новом доказательстве правоты германского философа, которое он сегодняшний день намеревался изложить в пространном на сей предмет собеседовании.

Впрочем, поток его умозаключений был неожиданно прерван несколько странным происшествием.

Мимо него пробежал студент. В этом, однако, не было еще ничего, что заметным образом отвлекло бы профессорское внимание от глубокомысленных занятий его. Но студент, несмотря на сильный мороз, был без шапки и пальто его было распахнуто. Поведение же его было явно предосудительно. Он бежал, толкая прохожих и нимало не обращая внимания на суматоху, поднимавшуюся вокруг него, и, пробежав несколько, вдруг останавливался и начинал шарить по плитам руками.

Лицо его обличало крайнюю растерянность и недоумение. Я тотчас заметил все это и не замедлил приписать эти признаки некоторому известному мне приключению.

Добежав до профессора, он остановился и глянул на него полубезумными глазами.

— Простите, вы... не заметили ли вы...— проговорил он быстро,— не заметили ли вы нечто, так сказать, продолговатое?

Профессор молчал. Я подумал: «Не раньше ли времени замолчал профессор?»

— Видите ли, это чрезвычайно ценная вещь,— заговорил студент с нервностью,— более того, это нечто совершенно незаменимое.

Профессор вежливо отозвался:

— Вы о чем изволите говорить?

— Милостивый государь, милостивый государь,— продолжал студент, схватив его за пуговицу и, видимо, решаясь изложить все свои горести.— Если бы вы знали, если бы вы знали...

Два бюргера остановились на минутку и, переглянувшись, проследовали далее, помахивая тросточками и избегая левой стороны тротуара.

Профессор позабыл на минуту Канта.

— Мне кажется,— начал он, оборотясь к студенту,— что наилучшей касательно вас возможностью представляется мне непререкаемая необходимость привести себя в более спокойное состояние духа.

— Да, да, да,— заторопился студент,— маленький конверт. Спрашиваю, не видали ли вы где-нибудь маленького конверта? Случайно, так сказать, обронил, а ныне никак не могу найти и употребить в дело.

И, не дождавшись ответа, он повернулся и побежал дальше.

Профессор постоял с минуту, поглядел вслед убегавшему и, покачав головой, с непреложностью направился к месту своего назначения. Но беспутной судьбе было угодно во второй, а впоследствии и в третий раз нарушить его спокойствие.

В тот самый момент, когда богоподобный швейцар распахнул перед ним священные двери университета, в тот самый, именно в тот самый момент, когда правая профессорская нога уже перешагнула порог, а левая приподняла каблук с явным намерением последовать примеру правой, в тот самый (а не в какой-либо другой) момент, когда швейцар, похожий на Юпитера, раскрыл свой бородатый рот с целью пожелать профессору доброго утра, а последний придержал рукой дверь, дабы войти в священное здание университета с подобающей ему торжественностью, так вот в это самое мгновение, столь обильно уже определенное, профессор оглянулся.

Причем направил взгляд свой не по прямой линии, но значительно ниже, под углом в 40 градусов. На том месте, куда, сперва непроизвольно, а потом с большим вниманием поглядел профессор, лежал небольшой, продолговатый, синего цвета конверт.

Это и послужило причиной к тому, что левая профессорская нога не только заняла прежнее положение, но соответственно повороту правой, хотя и с явным недовольством, повернулась на каблуке. Профессор наклонился и поднял конверт. Затем опустил его в боковой карман, и далее все пошло как следует.

Юпитер наконец поздравил профессора с добрым утром, этот последний взамен одолжил ему шляпу и палку. Сам

же направился вверх по лестнице, напевая сквозь зубы и с удовольствием думая, что вот сейчас он будет излагать новое и убедительное доказательство правоты великого германского философа.

ГЛАВА III

свидетельствует о веселом настроении автора

Было бы слишком поспешным из этих двух маленьких глав делать какие-либо заключения. Можно, конечно, предположить, что в конверте находилось последнее достояние разоренных родителей неосторожного студента. Или что неизвестный, но несомненно дурного поведенья молодой человек, ворвавшийся ночью в квартиру почтенного ваятеля, конечной целью своего посещения имел ограбление вышеупомянутой квартиры.

Но предположения эти нимало не заслуживают внимания.

Со своей стороны, я ни в коем случае не позволю себе заставить профессора сломать ногу на предпоследней ступени лестницы. Я не буду мешать ему подняться наверх по ней, ибо явственно сознаю, что это подчас является необходимым и, во всяком случае, естественным явлением.

Наоборот, все совершилось благополучно. Профессор поднялся на третий этаж и, свернув налево, по длинному коридору направился к аудитории.

ГЛАВА IV

О неожиданном действии синего конверта и о преступной роли автора в рассказе «Хроника города Лейпцига за 18.. год»

Маленькая аудитория была почти полна. Ах, это было не в наши печальные времена, когда требуется полтора часа, чтобы отыскать в университете студента, нелюдимого, с зверским взглядом, с заросшим лицом, пугливого и одичалого.

Аудитория была почти полна, повторяю я, и профессор, поклонившись с достоинством, подошел к кафедре, поправил очки и начал медленно и веско:

— В прошлый раз мы остановились на рассмотрении того взгляда метафизики, который пытается утвердить критицизм в трансцендентально-логическом истолковании...

Примерные студенты вынули карандаши, развернули кожаные тетради и стали записывать. Записали и как по команде выкатили глаза на профессора. И только один — вихрастый и небритый — заворочался на краю правой скамейки с недовольством и, склонившись к товарищу, сказал:

— Опять завел свою песню.— Он не был поклонником Иммануила Канта.

— Мы видели,— продолжал профессор,— что эта попытка влечет за собой все неизбежные следствия генетических предпосылок в теории знания и открывает широкие горизонты для веры и вероятности. Но логически мыслящий ум отличает область веры от области науки и проводит между ними точную границу имманентной постигаемости.

Профессор откашлялся на этой фразе, как он это делал с неизменной методичностью уже много лет. Именно ею старый профессор неоднократно уничтожал целые полчища метафизиков.

Но на этот раз нечто непонятное и вместе с тем явственное мешало ему говорить. Он откашлялся, поднес руку ко лбу и попытался вспомнить что-либо или понять необъяснимое ощущение. Наконец вспомнил и, не переставая плавно укачивать слушателей неопровержимыми построениями, осторожно опустил руку в боковой карман сюртука.

И рука, ощутив недавнюю находку, потянулась вверх, и небольшой продолговатый конверт блеснул синим пятном и упал на пол возле кафедры.

Вихрастый студент вскочил и подбежал к кафедре в тот самый момент, когда профессор с несвойственной ему легкостью наклонился, поднял конверт и положил его в боковой карман сюртука.

Студенческий лоб набил большую шишку на лоб профессорский, и, после обоюдных извинений, лекция продолжалась.

— Допустим,— начал снова профессор, и студенты с

неуклонностью выпучили глаза и схватили карандаши,— допустим, что гносеология поставлена в необходимость воспользоваться предпосылкой. Результаты от такого неорганического соединения...

— Пойдем в кабак,— говорил вихрастый студент товарищу,— все равно путного ничего не скажет.

— ...могут выразиться в ряде теорий, которым современная история философии уделяет свое место как в историческом аспекте, так и в попытках подойти к ним возможно ближе в смысле конгениального их понимания. Непременное стремление усмотреть трансцендентальную согласованность в миропонимании, выразителем которого они являются...

Дверь растворилась с треском. И давешний студент вбежал, пошатываясь и оставляя снежные следы на блестящем паркете. И вдруг как вкопанный остановился шагах в пяти от профессорской кафедры.

— Генрих,— тихо сказал вихрастый.

Студент оборотился, дико взглянул и вдруг с необыкновенным вниманием принялся разглядывать паркет.

«Необходимо,— подумал я,— необходимо заставить профессора разорвать конверт, покамест еще Генрих не вышел из аудитории. Пожалуй, если Генрих не увидит, как будет порван конверт, то у него не будет веской причины обратиться в статую».

Тогда я поднялся с задней скамьи и, приблизившись к профессору, сказал:

— Профессор, не будете ли вы так добры извлечь из вашего бокового кармана его содержимое?

И послушная рука, опустившись на мгновение и зажав большим и указательным пальцами указанный предмет, поднялась и продолжала раскачиваться в такт медленно произносимой речи.

— Эта необходимость, привнесенная извне,— говорил профессор, нимало не заботясь об упомянутом происшествии и даже не подозревая, вероятно, о моем присутствии,— в корне разрушает построение любой философской системы.

— Профессор,— продолжал я с кажущейся беззаботностью,— вы окажете мне большую услугу, соблаговолив разорвать конверт.

И тут на глазах изумленной аудитории профессорские руки, якобы совершенно машинально, поднесли конверт к профессорским глазам, которые не замедлили соответст-

венно с тем наметить наиболее удобное для разрыванья место, а именно небольшую дырку, явившуюся, видимо, следствием неосмотрительного заклеивания.

Вслед за тем руки произвели легкое движение, и в тишине явственно послышался треск и шелест разрываемой бумаги.

Все смолкло.

Я было удалился, но, вернувшись с полдороги, подошел к профессору и спросил:

— Вы плохо себя чувствуете, Herr Geheimrat?

Он как будто прислушивался: стоял, опираясь рукой, несколько подогнув колени, и молчал.

Молчал.

Студенты опустили карандаши, захлопнули тетради и равномерно покачали головами в знак сожаления.

— О идиот,— закричал вдруг в бешенстве Генрих,— о мерзавец, кто тебе позволил разорвать конверт?!

— Генрих,— сказал ему вихрастый студент,—ты пьян. Ты, должно быть, пропил свою...

Я прервал его:

— Не находите ли вы, господин Бир, что профессора нужно отвести домой?

Бир вдруг увидел меня и отвечал, растерявшись, что не находит болезнь профессора до такой степени серьезной.

Но я убедил его, и, взяв профессора под руки, мы повели его вниз.

Он молчал, неловко приоткрывая рот, и шагал равнодушно. Был значительно бледнее обыкновенного.

«Хм,— подумал я не без лукавства,— что бы это могло с ним приключиться?» — а вихрастый студент молча и с негодованием плюнул.

ГЛАВА V

кратко повествует о пропаже студента Борнгольма

Студент Роберт Бир думал вслух.

— Не кажется ли вам странным,— сказал он, вежливо поклонившись,— не кажется ли вам странным, господин Роберт, что ваш беспутный товарищ третью ночь не является ночевать?

Он помолчал, а потом прибавил, выпуская клуб дыма и грозно наморщив брови:

— Но если он живет у девчонки или ушел к красотке на Берлинерштрассе, то почему не скажет об этом мне, своему лучшему другу?

Он положил ноги на стол и стал нагибать стул к полу.

— Странно, что Генрих пропал с той самой поры, как замолчал старый профессор со своим Кантом.

Стол, которому суждено было служить собеседником покинутого товарища, был существом общительным и гостеприимным. Но столь непринужденное к нему отношение так оскорбило его, что, пошатнувшись в лучших своих чувствах, он заскрипел что-то непонятное и медленно, но с похвальной достоверностью стал падать.

Это и послужило причиной того, что студенческие ноги приподнялись и опустились на пол.

И Роберт Бир, поглядев на стол с укоризной, придал ему основное положение.

— Я поищу его у Диркенштейна,— сказал он.— Если его и там нет, то...— И тут он произнес несколько таких слов, которые я по присущей мне скромности передать не решаюсь.

ГЛАВА VI

должна была бы, по совести, быть на месте пятой

Время проходило своим обычным образом: 24 часа каждые сутки, 60 минут каждый час и 60 секунд каждая минута. Будущее превращалось в настоящее, а настоящее аккуратно превращалось в прошедшее.

Но для большей полноты и ясности моего рассказа, к сожалению, я принужден на время переместить эти привычные состояния и прошедшее сделать настоящим, а впоследствии даже будущим. Для того, однако, чтобы вся вина от последствий этого необдуманного поступка пала не только на одного меня, я тайным образом перевел часы на трое суток обратно.

Я очень коварно приобщил часы к своему преступлению, но теперь уже поздно раскаиваться. Они идут, они презатейливо тикают в моем боковом кармане.

Часы идут, повторяю я, и никакая дерзкая рука не остановит течения времени.

— Профессор,— сказал я, придерживая его одной рукой (мы ехали на извозчике, и трясло неимоверно),— скажите хотя бы адрес вашей квартиры.

Я превосходно знал этот адрес и спросил только с целью испытать, хорошо ли я придумал историю с конвертом и каково ее действие на господина профессора.

Но профессор не отвечал ни слова.

Зато отозвался Бир, который сидел с правой стороны на том же извозчике, и сказал адрес, перепутав названье улицы и номера дома и квартиры.

«Что случилось со стариком,— думал он,— и куда девался этот безумец Генрих? Почему он так странно держал себя и при чем тут продолговатый конверт?»

Последние слова он даже сказал вслух, так он был смущен необыкновенным происшествием.

Профессор молчал.

«Однако это неприятная история,— думал я, подпрыгивая на ухабах и не без некоторого недовольства собой,— ведь если он не сумеет говорить, то противники германского философа одержат верх по вопросам гносеологических разногласий».

Но тут извозчик подъехал к дому профессора.

Роберт Бир соскочил и побежал известить его семью о необычайной случайности.

Он постучал в дверь и подумал: «А ведь у профессора есть дочка»,— но в это время дочка профессора, голубоглазая Гретхен, отворила дверь:

— Herr Geheimrat несколько плохо себя чувствует, дорогая фрейлейн,— сказал он,— осторожно протягивая руку,— вы не волнуйтесь, это, так сказать, припадок молчаливости.

Голубоглазая дочка бросилась к профессору.

Подводя его к двери, я вынул часы, чтобы посмотреть, сколько времени прошло с той минуты, как я их переставил. Но часы выпали из рук и разбились.

Настоящее стало настоящим, прошедшее — прошедшим, и студент Роберт Бир отыскивает своего пропавшего друга.

ГЛАВА VII

О том, как Роберт Бир нашел своего друга

Снег был пушистый и белый, как и полагается снегу. Несмотря на то, что всем известно, что он только и может быть белым, а не какого-либо другого цвета, и только пушистым, а не твердым, как камень, несмотря на это, говорю я, многие уважаемые писатели ежегодно и с удивительным постоянством упоминают об этом в плодах своего старательного гения. Упомяну и я (надо подражать старшим): снег был пушистый и белый. Теперь, по крайней мере, я понимаю, что значит быть уважаемым.

Студент Бир был также отчасти пушист. Да, он был пушист, волосами пушист, и крупен носом, хотя все это нимало не определяло его характера.

Вот я уже продвинулся вперед: 1) снег был пушист; 2) студент был пушист.

Отсюда досужий ум может вывести глубоко важные заключения. Но я не выводил никаких заключений, я только следовал за ним в отдалении и кутался от зимней стужи в свою крылатку.

Студент говорил, лениво шагая и покачиваясь из стороны в сторону.

— Его нет у Диркенштейна, его нет у Глаубенштока, его нет у Мейера и Кунца. Его нет ни в одном из лейпцигских кабаков, он пропал. А если он пропал, то и я пропал. Ибо мне не перенести потери лучшего друга.

Голубой снег медлил, кружась и падая. Людная улица осталась позади студента. Он вступил в проулочек кривой и грязный.

Я вышел к нему из-за угла крайнего дома и сказал:

— Тут, направо, за шляпным магазином, торгует старуха Бах. Старуха — антикварий. У нее есть очень любопытные вещицы, и вы не потеряете времени, истратив его на посещение старухи Бах.

Студент не заметил моего присутствия, однако обернулся и минуту стоял, прислушиваясь.

А потом спокойно и медлительно направился к лавчонке, которую я указал ему.

— Добрый день, фрау Бах,— промолвил он, входя в лавку.

— Здравствуйте,— прошамкала старуха, сидевшая за прилавком, вздергивая ястребиный нос и откладывая вязанье.

— Мне сказали,— продолжал студент,— что у вас имеются любопытные вещицы по антикварной части.

Старуха соскочила со стула и подпрыгивающей походкой направилась к нему.

Подойдя, взглянула в упор, пристально разглядывая и как бы сравнивая, и старческое лицо ее дернулось в отвратительной гримасе.

Студент вздрогнул и сказал, сам не зная зачем:

— Не встречали ли вы случайно Генриха Боргнгольма, студента Лейпцигского университета, Генриха Борнгольма?

Старуха вновь уселась на стул и ответствовала:

— Нет, я не встречала студента Борнгольма, а если вам угодно купить что-либо в моем магазине, то посмотрите товар.

Она указала рукой на полки и открыла витрины.

Студент провел рукой по волосам, как бы отгоняя наваждения, и принялся осматривать.

Он осмотрел старинные чашечки с монограммами и позеленевшими надписями. Притронулся рукой к табакерке с портретом очаровательной красавицы, выложенным перламутром. Окинул внимательным взглядом золотые подвески и часы с изображением Христа и апостолов. Потом поднял глаза и сказал:

— Мне бы хотелось что-либо для свадебного подарка, уважаемая фрау Бах. Нет ли у вас какой-либо...

— Вы поглядите на полки,— прошамкала старуха.

И студент, как во сне, подошел к полкам.

Миновав золоченый прибор, нимало не отвечавший его заданиям, отстранив рукой рамки для карточек, по неизвестной причине попавшие в антикварный магазин, и пробежав глазами по нижним полкам, он уже рассеянным взором глянул на маленькую бронзовую статуэтку, что нашла себе приют в самом углу, полуприкрытая всяким хламом.

Взяв ее в руки, он отступил на шаг и крикнул:

— Генрих!

Ибо узнал в ней пропавшего друга.

Старуха засмеялась шепотом.

— Я нашел тебя, дорогой друг,— сказал студент, тоже засмеявшись.— Теперь тебе не удастся так легко покинуть нашу комнату.

И он задрожал мелкой дрожью и сказал, оборотясь к старухе:

— Вот эту вещицу я бы хотел купить у вас, фрау Бах.

ГЛАВА VIII

О природном лицемерии автора

Я принужден сознаться, что эта глава по совершенно неизвестной причине попала в наше повествование.

Теперь, когда оно зашло так далеко, что непременно потребует продолжения, я, разумеется, после длительного, после твердого размышления, решил несколько подурачить нашего благородного... Я хочу сказать: я решил несколько вспенить благородное лейпцигское пиво.

Тук... тук...

Тук...

Тук...

Это простучал молоток у двери. Я принял облик Генриха Борнгольма и взял молоток в левую руку: тук, тук...

Глуховатый мужской голос спросил:

— Что угодно? — и обладатель его, не ожидая ответа, отворил дверь.

— Это ты,— сказал он, отступая назад в явном изумлении.— Ты наконец вернулся?

— Простите,— холодно ответил Генрих в совершенном недоумении,— вы меня принимаете за кого-то другого.

— Что с тобою, Генрих? — вскричал Бир.— Ты, верно, пропил память за последние дни!

— Но я, право, не знаю вас,— по-прежнему холодно, но с вежливостью продолжал Генрих,— и крайне удивлен, что вам известно мое имя. Если вы студент Роберт Бир, то вы нужны мне по крайне важному делу. Однако я совершенно уверен, что доселе я никогда не встречался с вами.

— Полно шутить, Генрих,— закричал студент,— зайди ко мне, и поговорим. Мне самому нужно поговорить с тобой.

— Вы заставляете меня удивляться,— сказал Генрих,— я решительно не понимаю, чем была вызвана эта недостойная с вашей стороны шутка.

Наступило молчание.

— Ну, если ты — не ты,— сказал Бир, качая головой,— если ты — не ты, так это удивительное сходство.

— Прошу вас зайти,— сказал он немного спустя.— По-видимому, я просто обманут необыкновенным стечением обстоятельств. К тому же события последних дней несколько затуманили мою голову.

Они вошли в комнату, и Бир еще раз внимательно оглядел своего посетителя. Генрих не выражал больше никакого удивления и прямо приступил к делу.

— Если я не ошибаюсь,— начал он,— то вы были свидетелем того несчастного и крайне странного случая, который имел место на прошлой лекции профессора N.

— Да,— сказал Бир,— я действительно присутствовал на этой лекции и хорошо осведомлен относительно происшествия, о котором вы упомянули.

— Когда профессор потерял дар речи или когда столь необыкновенно была прервана его лекция, то на небольшом от него расстоянии находился студент Борнгольм.

Бир вытаращил глаза и опустился на стул в крайней растерянности.

— Этот студент Борнгольм,— продолжал Генрих,— вел себя чрезвычайно некорректно или, по крайней мере, странно. Когда профессор замолчал, пораженный своей необычайной болезнью, то он крикнул ему бранные слова, которые я не могу и считаю ниже своего достоинства повторять.

— Клянусь честью,— сказал Бир негромко, но твердо и уверенно,— клянусь честью, что ты — студент Генрих Борнгольм, которому вздумалось дурачить меня по неизвестной причине.

— Если вам угодно выслушать меня,— отвечал Генрих,— то будьте добры не прерывать меня неуместными замечаниями. Я действительно Генрих Борнгольм, но вас я не знаю и не встречал никогда.

Он помолчал с минуту и потом продолжал:

— Так вот этот студент нужен мне по крайне важному делу. Я полагаю, что вы дадите указанья относительно того, где он в настоящее время находится.

— Ну, если правда, что вы не тот самый, кого вы ищете, и не тот, кого я искал в продолжение трех дней, то разрешите мне показать вам вещицу, которая наиболее приближается с некоторых точек зрения к Борнгольму.

Так сказал Бир и, сняв со стола статуэтку, передал ее посетителю. Он сделал это с таким мрачным и необыкновенно серьезным видом, что я не выдержал и расхохотался, уронив статуэтку на пол и с ужасом думая, что сейчас раскроются все мои плутни.

ГЛАВА IX

Об ужасных последствиях неосторожности

На широком кожаном кресле, что стояло между окнами, рядом с письменным столом, лежал халат мышиного цвета и с голубыми цветочками, вышитыми нежными пальчиками фрейлейн.

Перед халатом, на маленьком столике, покрытом белоснежной салфеткой, стояла чашка кофе, за креслом, на котором он лежал, стояла голубоглазая Гретхен и мелодично плакала. Зимнее солнце очень ярко светило в окна и, вероятно, плохо действовало на мышиного цвета халат, потому что он беспокойно зашевелился и начал поднимать рукава.

«Метафизики одержат победу,— думал я, не без любопытства вглядываясь в исхудалый халат и чуточку приоткрывая дверцы книжного шкапа.— Пожалуй, старик замолчал надолго со своим...»

Но тут германский философ поглядел на меня со стенки с такой укоризною, что я в смущении тотчас снова скрылся в свое убежище.

Халат поднял рукав и нежно вложил карандаш в исхудалую руку. Но, должно быть, солнце очень мешало ему работать, потому что рука рисовала непонятные очертанья и, бессильная, падала.

— Что делать, Herr Geheimrat?

Я сидел в книжном шкапу и горько сетовал на себя за то, что причинил старику такое огорчение.

«Однако,— думал я,— часть вины падает на этого безумца Генриха, который потерял конверт и вызвал тем самым такие нежданные, такие плачевные последствия.

Вот,— продолжал я думать,— вот плоды неосмотрительного поведения и необдуманных деяний молодого возраста. Вот к чему ведут безумные мечтанья и в связи с этим таковые же поступки человека, который вместо бла-

городной работы в священном храме науки занимается бесплодной деятельностью в области невероятных событий».

Тут я разгорячился и чуть было не выскочил из шкапа. Но от порывистого движения дверцы его распахнулись. Я окончательно рассмотрел халат мышиного цвета и сказал:

— Здравствуйте, Herr Geheimrat!

ГЛАВА X,

которую надлежало бы поместить первой

Я поставлен в печальпую необходимость снова начать главу, и на этот раз о временах давно прошедших. Начипать всегда было труднее, чем кончать, тем более что если не кончить начатое, то результатом будет неоконченное, а если не начать, то результата не будет вовсе.

Я предпочел первое, ибо уже начал.

Студент сидел у письменного стола и думал. О чем он думал, неизвестно, но вернее всего — о белокурой Гретхен, дочери профессора. Заслуживает также внимания то предположение, что он и не думал вовсе, а по обычной рассеянности забыл раздеться и лечь в постель и спал теперь за столом, закинув бледное лицо на спинку кресла.

Так было ночью. Рассвет же застал его бодрствующим. Он склонился над столом, рука быстро выводила на бумаге первые строки: он писал письмо.

«Лейпциг, Берлинерштрассе, 11.

Фрейлейн Грете

Вчерашний день, благородная фрейлейн, вчерашний день вечером я говорил вам, что в случае неблагоприятного ответа с вашей стороны на ряд моих предложений я наложу на себя обет молчания.

Ах, фрейлейн Грета, вы знаете, вы знаете, что мне лучше навеки умолкнуть!!

Ах, фрейлейн Грета, если мне теперь нельзя говорить с вами, потому что вы обручены с фортепианным мастером Зонненбергом, так уж лучше умолкнуть для всех и навсегда оградить себя стеною молчания. Впрочем, я всегда

был молчалив, благородная фрейлейн, и некоторая планомерность, которую я вношу в упомянутое состояние, не принесет мне больших огорчений.

Отныне одиночество будет мне другом. Прощайте, прощайте, фрейлейн Грета.

Свидетельствую мое непременное уважение Herr'у Geheimrat'у.

Моя подпись: *Генрих Борнгольм.*

Год 18.. января 8 дня».

В воскресные дни на Берлинерштрассе шумно и весело. Летят огромные экипажи, чинные гуляют фрау и национальными цветами украшена улица.

В воскресенье на Берлинерштрассе прогуливался бледный молодой человек, молчаливый и сосредоточенный.

Он медленно проходил вдоль улицы и, дойдя до угла, которым кончалась она, плавно поворачивал и с легкостью шел обратно.

Если он и задерживался иногда у одного большого серого дома, то это легко приписать недостатку внимания и обычной рассеянности, которой он отличался.

Звонко кричали мальчики с содовой водой, и какие-то старухи в чепцах говорили, стоя у входа в дом, о своих хозяйственных соображениях.

Бледный молодой человек в студенческой форме гулял аккуратно два часа по воскресным дням, и в третий час своего пребывания на упомянутой улице покидал ее. Но на этот раз, в тот знаменательный день, что повлек за собой весьма многочисленные и нежданные последствия, он вернулся домой раньше.

Он поднялся на второй этаж и, погремев ключом, вошел в полутемную комнату, прилег на диван, перебросив ноги через спинку стула, и принялся думать.

Он думал печально, а потом уснул. И, проснувшись поздней ночью, увидел незнакомого человека, что сидел в его кресле и читал, наклонясь над книгой.

— Простите,— вскричал человек, внезапно обернувшись и тотчас отпрыгивая от стола на порядочное расстояние,— я очень извиняюсь, господин студент, что расположился тут, не имея на то вашего соизволения.

Он помолчал, как бы ожидая ответа, а затем продолжал:

— Мне передавали о вас столь любопытные вещи, что я осмелился посетить вас без особого приглашения. Впро-

чем, я почти уверен, что вы ничего не имеете против моего присутствия в вашем очаровательно-скромном жилище.

Генрих поднялся и, подойдя, поглядел на незнакомца с вниманием и спокойствием.

Тот завертелся на одном месте, подобно волчку, и вдруг, остановясь, вскочил на спинку кресла, схватив подбородок рукой и острым локтем ее опершись на колено.

— Nunc est bibendum! [1] — вскричал он и вытащил бутылку из кармана фрака.— Выпьем, дорогой студент.

Бокал звякнул о бокал, и незнакомец выпил оба. Потом принялся смеяться пронзительно и хрипло. Острая бородка взвилась вверх, пронзая воздух, колени вздрогнули и приподнялись выше, а худые лопатки под черным фраком заходили и заплясали, как бы в припадке неудержимого веселья.

Генрих стоял, крепко зажимая в зубах готовое улететь молчанье.

— Ваше молчанье,— вскричал незнакомец,— превосходно. Я должен сознаться, что это должно было стоить вам тяжелых усилий, господин студент. Впрочем, давно известно, что студенты города Лейпцига умеют хранить обещанья.

Студент города Лейпцига привстал с кресла, в которое он уселся взамен своего собеседника, и чуть не упал снова. Незнакомец как бы пронзал его всем своим видом, заостренностью тела и лица и необыкновенной угловатостью движений.

— Вы почти автомат, любезный Борнгольм,— говорил он, снова усаживая его в кресло и размахивая над ним своим цилиндром, отчего лицо Генриха розовело.

Но вот он отошел на несколько шагов, остановился, подергивая руками, и начал:

— Ваше благосклонное (смею ли верить, что точно благосклонное) ко мне отношение дает мне твердую уверенность в том, что вы не откажетесь согласиться на мое предложение, касающееся высокой ценности и удивительных достоинств вашего необычайного достояния.

Тут он присел на краешек стола с бесподобной легкостью.

— Дело в том, что существует весьма удобный выход из тягот того положения, в котором очутились вы, благодаря свойственной вам (льщу себя надеждой, что не только

[1] Теперь выпьем! *(лат.)*

вам, а также и другим студентам Лейпцига) твердости и удивительной выдержанности характера.

Генрих уколол молчание кончиком языка, и оно свернулось змейкой, стиснутое острыми зубами.

— Выход этот,— снова начал незнакомец,— представляется в заключении между нами торговой сделки с целью продажи мне вашего добротного товара.

— Молчанье,— продолжал он, останавливая рукой вскочившего было Генриха,— доброкачественно и хорошо обработано. Я не замедлю предложить за него достойную вас, а также достойную благородных причин, которыми оно было вызвано, цену. Цена эта,— тотчас продолжал он, едва переводя дух и, однако же, не забывая с осторожностью отойти от кресла,— подает мне некоторую надежду на благоприятный с вашей стороны, господин студент, ответ на ряд моих... моих предложений.

Нетерпение кратким путем прошлось по лицу Генриха и тотчас ушло туда, откуда явилось.

— Какого мнения вы,— продолжал незнакомец,— относительно дочери преученейшего профессора N., по имени...

Незнакомец понизил голос, как бы сам стыдясь своего предложения. Потом, осторожно и успокаивающе притронувшись к плечу его, сказал шепотом:

— ...по имени Гретхен? — и, как раньше, закружился волчком, вскинув кверху острую свою бородку.

Мысли вихрем завертелись в голове Генриха.

— Я хочу сказать,— продолжал его собеседник,— что взамен вашего молчания вы получите...

Молчанье затеяло в гортани студента столь бешеный танец, что левой рукой ему пришлось с силой упереться в нижнюю челюсть.

— ...ту самую, ту самую очаровательную Гретхен, которая послужила единственной причиной вашего отважного решения... Видите ли,— снова начал он, подходя ближе и наклоняясь к Генриху,— условие, которое я предлагаю вам, выгодно для нас обоих. Мою покупочку я использую презабавнейшим образом. Вы же ничего не потеряете, если взамен того, что отдадите мне, получите любовь белокурой Гретхен, дочери профессора философии и верного последователя Иммануила Канта. Не так ли?

Рот лейпцигского студента снова закрылся с треском. Он поднял голову и еще раз внимательно оглядел необы-

чайного посетителя, предлагавшего необычайную цену за необычайное достоянье.

— Я не тороплю вас с ответом, дорогой друг,— промолвил незнакомец с нежностью и скривился как бы под влиянием острой боли.— Два или три дня не будут иметь большого значенья для нашей сделки. Разрешите только заметить вам, что вот с помощью этих клещей и этой баночки клея (тут он извлек указанные предметы из заднего кармана фрака) вы сумеете вытянуть ваше молчанье и заклеить его в любой конверт среднего формата или лучше продолговатой формы, ну, вот хотя бы из числа тех, что я вижу сейчас на вашем столе.

Он указал рукой на пачку синих конвертов, аккуратной стопочкой лежавших на письменном столе студента.

— Ну, как?

И Генрих в знак согласия медленно опустил голову.

— Благодарю вас,— весело, но с вежливостью вскричал его собеседник,— благодарю вас, дорогой студент. Для окончания нашего дела разрешите мне написать вам адрес, по которому я попрошу вас отнести конверт.

Он записал адрес на листике бумаги, вырванном из записной книжки студента, и, повернувшись, исчез.

ГЛАВА XI,

написанная для тех, кто до сих пор ничего не понял

Приступая к этой главе, я чувствую стесненье в груди и боль под ложечкой.

Целый ряд непредвиденных несчастий обрушился на XI главу, начиная с того, что я позабыл написать ее своевременно и, написав несвоевременно, неожиданно утерял.

Дело обстояло следующим образом: кончая X главу моего незатейливого рассказа, я почувствовал себя крайне дурно. Причиной этого, вероятнее всего, было тяжкое предчувствие, которое жестоко сжало мое сострадательное сердце. Впрочем, этим не исключается другая причина, более материального характера, относящаяся главным об-

разом к области болезненного состояния моего неокрепшего тела.

Почувствовав себя дурно, я лег на диван и уснул.

Мне тотчас же приснилось, что XI глава в виде вороньего клюва тычет мне в правый глаз и вообще ведет себя совершенно непристойным образом. Тут было, несомненно, влияние X главы, но это не важно.

Проснувшись поздней ночью, я, как будто под влияньем внезапного вдохновения, закончил мою повесть последней главою и торжественно закричал во славу моего гения, разбудив тем самым двух братьев и старого дядьку, который погрозил мне костлявым пальцем и сказал, что всегда был уверен, что из меня, шаромыжника, ничего путного не выйдет и что, по его мнению, я окончу жизнь в ночлежном доме или на виселице.

Прошло много лет, когда я, умудренный опытом и горчайшими познаньями жизни, вновь принялся за свое юношеское произведение. Найдя его недовершенным, я вставил позабытую одиннадцатую главу.

Я прекрасно помню, что она говорила о старой дружбе студентов Бира и Борнгольма, и о том, как последний поселился в комнате первого, и о том, как тот же, последний, неожиданно исчез, и прочее и прочее.

Там также в самых трогательных выражениях, вполне свидетельствующих о нежной душе и сострадательном сердце автора, говорилось о том, как, приведенный в отчаянье потерей конверта, Генрих Борнгольм решил обратиться в статую. Словом, это была добросовестная, хорошая XI глава.

И она сбежала той же ночью.

Я знаю, я знаю, что меня будут упрекать в простодушии, быть может, в недостатке мужества, лишающем меня возможности честно сознаться в том, что я ее не написал.

Но она сбежала, говорю я вам, и там, где она была, совсем чистое место и совершенно девственное бумажное поле.

Я не виноват ни в чем и во всем подозреваю студента Бира. Это он, это он утащил главу, коварнейшим образом лишив меня возможности оправдаться в неясности моего рассказа.

ГЛАВА XII

О явном произволе автора над героями рассказа «Хроника города Лейпцига за 18... год»

Лунный свет несмело проникал через полуприкрытые ставни, падал бледной полосой на пол и тонкими блестками играл на иглах шитья, освещая старое лицо и узловатые руки старухи. Ах, эта старуха Бах из антикварного магазина! Сколько раз, когда, усталый от тяжкого дня или отягченный предчувствием, я закрывал глаза, выплывал передо мной этот крючковатый нос, эти выпуклые желтые веки без ресниц, это хищное лицо с отвислыми щеками и приподнятой верхней губой.

Все это выплывало предо мной с удивительной отчетливостью: старые губы шевелились, силясь выговорить мне свои язвительные речи, и я вздрагивал и думал: «Вот еще немного, и я напишу о вас, милая фрау Бах, и ваше очаровательное личико наконец оставит меня в совершенном покое».

Старуха любила до поздней ночи сидеть в антикварной своей лавочке. Она не ждала уже ни покупателей, ни продавцов, а все сидела за прилавком, покусывая серые губы и быстро двигая спицами вязанья.

Впрочем, иной раз, невзирая на позднее время, ее посещали старые друзья по темным делам и необыкновенным происшествиям.

Нынешний вечер она не ждала никого.

Малый светильничек распространял желтый свет вокруг и рядом с лунным опадал и прятался в тени.

Медные люди на огромных гравюрах смотрели вниз с непонятной мрачностью, а на полу, рядом с полосой света, быстро шевелились спутанные тени рук, спиц и вязанья.

В дверь постучали.

— Отворите, бабушка Бах, мне нужно увидеть вас на минуточку.

Старуха поднялась, отложила вязанье и отодвинула тяжкий засов.

— Простите, бабушка,— с нежностью начал вошедший,— простите, что зашел к вам так поздно.

Фрау Бах уселась за прилавок и, не отвечая, принялась за работу.

— Тут один студент должен был занести к вам письмо,— продолжал незнакомец чрезвычайно ласково,— продолговатый синий конвертик, а в нем моя покупочка.

— Знаю, знаю о ваших делах,— проворчала старуха,— я все знаю, мне не нужно рассказывать.

«Она ничего не знала,— подумал я,— ничего решительно, если бы я не рассказал ей о потере конверта и о том, кого она продала вчера студенту Роберту Биру».

— Мне никакого конверта не приносили,— продолжала она, поднимая на незнакомца хищные глаза и вновь откладывая вязанье,— а тот, кто должен был принести, того я вчерашний день...

— Как,— вскричал незнакомец,— вам не приносили конверта?

— Говорю вам, что тот, кто должен был принести, того я вчерашний день...

Стук в дверь прервал ее.

Незнакомец предупредительно отодвинул засов и скрылся в углу, между стеной и дверью.

Слабый светильник закачался от порыва ветра, медные люди нахмурились с совершенной ненавистью, фрау Бах поднялась навстречу новому посетителю.

— Ради бога простите, уважаемая фрау Бах,— быстро проговорил тот,— но чрезвычайно важное дело привело меня к вам в столь позднее время.

— Господин скульптор,— с достоинством начала уважаемая фрау,— господин скульптор, я вас слушаю.

— Три дня назад я приносил вам для продажи бронзовую статуэтку студента...

Скульптор притопнул ногой и в нетерпении подбежал к самому прилавку.

— Да, приносили.

— Так вот, не можете ли вы вернуть мне мою работу? Любезная фрау, любезная фрау,— продолжал он, схватывая ее за пуговицу и, видимо, решив изложить ей все свои горести,— если бы вы знали, если бы...

— Тсс,— сказал я шепотом,— я, кажется, уже начинаю повторяться.

— Верните мне ее, и за нее я отдам вам все мои работы.

— Статуэтку эту я вчера продала,— сказала фрау Бах, искривляя лицо столь необычайным образом, что на одной нижней губе можно было станцевать менуэт.

— Продали! — закричал скульптор, обеими руками хватаясь за голову,— да знаете ли вы, что вы продали?!

— Знаю,— сказала старуха,— знаю. Я продала, и за хорошую цену, студента Генриха Борнгольма.

— Студента Борнгольма? — сказал незнакомец, выступая из своего убежища и обращаясь не то к скульптору, не то к старухе, но с явным негодованием.— Вы, должно быть, с ума сошли, бабушка, да и вы, милостивый государь, вероятно, не в своем уме.

Светильничек отклонился в сторону, и длинные тени заколебались из стороны в сторону, протягивая огромные щупальца и уходя друг от друга.

— Чертова бабушка! — кричал скульптор, бегая по лавке и со всей силой теребя бороду.— Кому вы его продали?

— Молчите,— промолвил незнакомец,— кажется, постучали в дверь.

В дверь осторожно постучали.

«Дело идет к концу,— подумал я, а старуха плюнула с озлоблением и пошла отворить новому посетителю.

— Фрау,— быстро заговорил вошедший, нимало не обращая внимания на странные позы, в которых находились присутствующие: это был студент Роберт Бир, и в руке он держал что-то старательно завернутое.

— Дорогая фрау, тут на днях я купил у вас одну вещицу, вот она у меня в руках... Так не можете ли вы назвать мне имя того скульптора, который ее сделал.

Он быстро развернул пакет, и бронзовая статуэтка матово отразилась в лунном свете и отбросила тонкую тень.

— Генрих,— закричал скульптор, бросаясь к статуэтке и схватывая ее обеими руками,— это он, это Генрих Борн...

Бронзовый человечек хранил полную неподвижность и вечное молчанье.

— ...гольм,— окончил Бир,— так это вы сделали эту статуэтку?

Скульптор принялся лихорадочно быстро завертывать ее в обрывки бумаги.

— Так разрешите мне узнать,— спросил Бир с твердостью и непременным желанием выяснить наконец непонятный случай,— чем объяснить...

— Виноват,— вступился незнакомец, теряя терпение,— виноват, господин студент, разрешите мне у вас справиться, не известно ли вам что-либо точное касательно Генриха Борнгольма? Дело в том, что это лицо...

— Молчите,— закричал Бир, пугаясь, что и на этот раз ничего выяснить не удастся,— Генрих Борнгольм, или, вернее, тот шарлатан, который выдает себя за Генриха Борнгольма, находится сейчас у меня в квартире, а что касается до подлинного Генриха Борнгольма, то о нем-то я и хотел спросить у господина скульптора.

— Довольно,— сказал я, входя наконец в лавку,— что вы тут путаете, никак не могу разобрать? Да и стоит ли волноваться из-за такой мелочи?

Незнакомец вновь скрылся в тени. Он был умен и тотчас почувствовал мои намерения.

Я взял большущую лампу с синим абажуром и зажег ее ярким пламенем, чтобы перед разлукой еще раз внимательно поглядеть на присутствующих.

— Будет тебе, будет тебе, сочинитель,— проворчала фрау Бах,— что ты тут, как дома у себя, распоряжаешься?

— Молчите, фрау Бах,— промолвил я с полным спокойствием,— мне нужно сказать всем вам пару слов, прежде чем с вами проститься.

Я встал на стул, взмахнул руками и сказал:

— Вниманье! — и тотчас лица всех присутствующих обратились ко мне.

— Вниманье! Это последняя глава, дорогие мои, и нам придется скоро расстаться. Каждого из вас я сердечно полюбил, мне будет очень тяжела разлука с вами. Но время идет, сюжет исчерпан, и не было бы ничего скучнее, как оживить статуэтку, снова превратив ее в студента Борнгольма, а потом женить его на добродетельной Гретхен. По правде говоря, я не вижу в этой девушке больших достоинств и, уж наверное, не ее прочил бы в жены моему студенту. Подобно этому я вовсе не намерен вернуть достопочтенному Geheimrat'у дар речи. Он снова начал бы вбивать в студенческие головы мудрость германского философа, а я, подобно Роберту Биру, не поклонник Иммануила Канта.

— Много ты понимаешь в Иммануиле Канте,— прошептал Бир.

— Что касается до вас, дорогой незнакомец, то ведь мы старые друзья, и я сердечно надеюсь еще не раз встретиться с вами и в полной мере воспользоваться вашими услугами.

— Роберту Биру,— сказал я, помолчав с минуту,— желаю полного преуспеяния в науках — пусть только он пореже посещает Глаубенштока, Мейера и Кунца, а ста-

рушку Бах попрошу не являться ко мне поздней ночью, когда ветер бьет в окна и я наедине с одиночеством...

— Осмелюсь заметить,— перебил меня незнакомец,— желательно было бы получить от вас, дорогой сочинитель, некоторые разъяснения.

— Да? — сказал я и удивленно поднял брови.— Вам что-либо показалось неясным?

— Осмелюсь спросить,— продолжал незнакомец с вежливостью, но хитро улыбаясь,— относительно шарлатана, который...

— Тсс,— перебил я его осторожным шепотом,— о шарлатане ни слова. На вашем месте, дорогой друг,— продолжал я, обращаясь к незнакомцу,— я бы спросил, почему замолчал профессор.

— Вы подсыпали в конверт какое-нибудь ядовитое снадобье,— сказал Бир.

— Пустое,— отвечал я,— вы недогадливый юноша, Роберт Бир. Профессор замолчал, потому что...

Но тут старуха Бах потушила лампу. Я в темноте осторожно слез со стола, с нежностью пожал руки присутствующим и вышел.

1921

ПЯТЫЙ СТРАННИК

Театр марионеток

Серапионовым братьям

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я говорю не в укор и не в осуждение: я — человек из глины. Точнее: я хочу слепить человека из глины.

4 декабря 1921 года я сделал это необыкновенное открытие, которое, несомненно, будет иметь огромное влияние на всю мою последующую жизнь. Убедившись в совершенной непреложности странного случая, я пытался исследовать причины, которыми он был вызван, и пришел к следующим результатам.

Я не был рожден человеком из глины и стал таковым очень недавно, по-видимому, в октябре прошлого года или около того. Здесь было бы уместно напомнить странную еврейскую легенду, которая дает нам несколько весьма рациональных советов, касающихся того, каким образом оживить человека, сделанного из глины. Мне известно также, что многие раввины, нуждаясь в добросовестном служке синагоги, делали себе человека из глины и оживляли его, пользуясь упомянутыми советами.

Кроме того, я бы мог рассказать о том, что в одном из самых прекрасных городов Советского Союза живут и часто встречаются десять человек, которые и не подозревают даже, что они сделаны из самой лучшей глины. Но я этого не скажу, потому что я скромен и молчалив по природе. Прошли века, прежде чем я родился, и пройдут века, после того как я умру.

Если бы остальные четыре странника могли сказать то же самое, то пятый не написал бы столь странного предисловия.

Вечер наступает, куклы готовы к представлению, все на своих местах.

Внимание!

Занавес поднимается.

КНИГА ПЕРВАЯ

1

— Любезные сограждане! Я — рыжего цвета. Вы не должны сомневаться в том, что я — рыжего цвета.

И точно: клок ярко-рыжих волос торчал из-под колпака.

— Более того: я умен, я красноречив, я умею ходить по канату. У меня есть Пикельгеринг, любезные сограждане. Пикельгеринг, знаток схоластической философии и самая лучшая кукла из всех, которые вам когда-либо приходилось видеть.

Пикельгеринг высунулся из-под ситцевого полога, мигнул бубенчиком и поклонился с необыкновенным достоинством.

— Словом, я — самое достопримечательное на обоих полушариях, а что касается моих собственных полушарий, то они-то и есть самое во мне примечательное.

Полушария показались было из-под раздвинутых занавесок, но, как бы устыдясь обширного общества, вновь скрылись под приветливую сень полога.

— Но я буду краток. Я не хочу надолго задерживать на себе ваше благородное внимание. Позднее время не позволяет мне развернуть в пространной речи мои природные дарования. Любезные сограждане! Я — шарлатан!

И рыжий клок с упорством пронзил отсыревший в погребе воздух.

Мастеровые: кузнецы, кровельщики, стекольщики, портные-закройщики и портные, кладущие заплаты на старое платье, купцы, матросы и веселые девушки в одеждах голубых и синих, с желтой лентой в волосах, указывающей на их ремесло,— все смешалось между узкими столами в веселую дымную массу. За стойкой, на огромной бочке, сидела хозяйка, отличавшаяся от своего сиденья только цветом лица. Оно было кирпичного цвета.

Особняком от всех в дальнем углу сидела докторская тога.

— Благородный герцог Пикельгеринг вздыхает по своей возлюбленной герцогине,— закричал шарлатан.

Пикельгеринг сел и принялся вздыхать с треском.

— Не извольте беспокоиться,— продолжал шарлатан,— у него немного испортилась пружина. Однако, судя по гороскопу, составленному знаменитым, неподражаемым астрологом Лангшнейдериусом, ему суждена долгая и счастливая жизнь. Организм его крепок и вынослив, ибо он сделан мастером Лангедоком из Шверина, а куклам мастера Лангедока суждено бессмертие. Но ныне печаль по упомянутой герцогине заставляет его проливать горчайшие слезы.

И точно: благородный герцог проливал слезы, но почему-то не из того места, откуда они, по всем естественным законам, должны были бы проливаться.

— Освальд Швериндох, схоласт, ты жив или ты уже умер? — говорил с горечью человек в докторской тоге.— Если ты умер, то отправляйся на кладбище, если же ты еще жив, то что ты делаешь в этом грязном трактире?

— Я пьян,— отвечал он себе с некоторым достоинством,— я пьян, пивной стакан в моих руках, а колба в моем кармане.

Под привычными руками шарлатана герцогиня с величайшей охотой изменила благородному супругу. Но вот она заболела, и шарлатан мигом доставил к ней доктора с огромной бутылкой в руках.

Тогда Пикельгеринг очнулся от своей бесплодной мечтательности и под неустанным наблюдением умелого руководителя с грозным видом приблизился к виновной супруге. Виновная супруга встала на колени, склонила голову и покорно ожидала решения своей участи. Шарлатан решил ее участь, вытер пот со лба и закричал:

— Любезные сограждане, представление кончается!

Потом отошел в сторону, потянул за веревку, и ситцевые занавески скрыли под собой дальнейшие приключения грозного Пикельгеринга и злосчастной герцогини.

— Гомункулюс,— говорил схоласт, хлопая себя по карману,— ты меня слышишь, Гомункулюс? Ага, ты не слышишь меня, мерзавец, ты не слышишь меня, я тебя выдумал, а ты мертв!

Шарлатан сложил свои куклы и подошел к стойке.

— Хозяйка,— сказал он,— сегодня последний день

моей работы. Наступает ночь, я устал, и ты должна угостить меня пивом.

Одна бочка кивнула головой с благожелательством, а из другой шарлатан проворно нацедил себе кружку пива.

Человек в докторской тоге оторвался от предмета, который он созерцал с горечью, и, пошатываясь, подошел к нему.

— Любезный друг,— сказал он негромко,— все бренно, все пройдет, и на свете нет ничего вечного.

— Не смею противоречить,— отвечал шарлатан,— хотя и не имею возможности проверить ваше проникновенное заключенье.

Тога уселась напротив него, и некоторое время они пили молча.

— Дорогой шарлатан,— снова заговорил человек в тоге,— я не сомневаюсь, что вам известно мое имя и мое звание, потому что я — Освальд Швериндох, ученый-схоласт, и я выдумал Гомункулюса.

— Мой дед катопромант Вирнебург,— отвечал шарлатан,— научил меня многим фокусам, и если вам угодно...

— При чем же тут катопромант,— сказал схоласт,— я говорю о Гомункулюсе. Гомункулюс сидит в колбе, колба в моем кармане.

— Если вам угодно,— продолжал шарлатан,— я вскрою вас ланцетом и совершенно безболезненно удалю из вашей души мучащее вас несчастье.

— Пойми,— сказал схоласт,— пойми, Гомункулюс не оживает. Я сделал его, я его выдумал, я потратил на него всю мою жизнь, и теперь он не хочет оправдать ни моих надежд, ни расходов.

Кабачок пустел. Мастеровые покидали его парами, одна за другой. Слуги гасили свечи, а хозяйка зевала раз за разом с хрипеньем и легким свистом.

— Гомункулюс,— с задумчивостью повторил шарлатан,— не могу ли я, сударь, попросить вас показать мне вашего Гомункулюса?

— Вот он,— сказал схоласт и вынул колбу из заднего кармана тоги.

Точно: за тонкой стенкой стекла в какой-то прозрачной жидкости плавал маленький голенький человечек с закрытыми глазами и с полной безмятежностью во всех органах тела. Шарлатан взял его в руки, разглядел и осторожно поставил на стол.

— Herr Швериндох,— начал он с некоторым волнением в голосе,— вы ищете средства оживить вашего Гомункулюса?

— Совершенно верно,— отвечал схоласт,— я ищу его, будь оно проклято. Ищу — и не могу найти.

— Я же ищу нечто другое. Нечто необычайное и в высокой степени благородное.

Докторская тога уставилась лицом в рыжий клок и начала внимательно прислушиваться.

— Вы поймете меня! — вскричал шарлатан.— Во мне нашли убежище многие достоинства, и я прошу вас выслушать меня со вниманием.

Схоласт поставил локти на стол.

— Ночь близка, свечи гаснут, все разошлись, и я буду краток. Мой дед, катопромант, геомант и некромант Генрих Вирнебург, перед своим таинственным исчезновением призвал меня к себе и избрал своим единственным преемником и продолжателем. В моих руках согласно этому завещанию сосредоточилась вся власть черной, желтой, белой, синей, красной, голубой и зеленой магии.

Он вытащил огромную трубку, набил ее табаком, закурил и продолжал:

— Но я был одарен этой силой с одним условием: всю мою жизнь я не должен был касаться ни одной женщины. И вот, любезный ученый, и вот мне исполнилось восемнадцать лет.

Лицо его искривилось при этих словах, как будто он проглотил что-либо очень горькое, а рыжий клок пронзил воздух с особенным упорством.

— Любезный шарлатан,— сказал схоласт,— не огорчайтесь! На вашем месте я послал бы геоманта, катопроманта и некроманта к чертовой бабушке. Поверьте, что женщины стоят не только черной, желтой, белой, синей, красной, голубой и зеленой магии, но еще и фиолетовой и лиловой.

— Но женщины уходят,— печально отвечал шарлатан,— а магия остается... Словом, условие было нарушено, и все силы, которыми одарил меня дед, исчезли бесследно. Но вскоре затем тень его явилась ко мне и пообещала возвратить потерянное под новым условием. Под новым условием, дорогой схоласт, и это-то обстоятельство и заставляет меня бродить из города в город с куклами, в этом шутовском одеянье. Я должен найти ослиный помет.

— Ослиный помет?

Хмель мигом выскочил из головы схоласта и, хромая, побежал к двери. Там он поежился немного, как бы не желая выходить на холодный воздух, наконец скользнул в щелку и исчез.

Схоласт переспросил с изумленьем:

— Ослиный помет?

— Да, сударь, но не простой ослиный помет, который мы видим ежедневно, а ослиный помет из золота, усеянный драгоценными камнями. Я купил осла, чудесного осла; я ежедневно слежу за ним. Ничего, сударь! Ничего и ничего не вижу!

Лампы погасли. Поздняя ночь разогнала всех посетителей. И даже бочка, сидевшая за прилавком, покинула насиженное место и покатилась к двери.

— Пора,— сказал шарлатан, поднимаясь,— завтра утром я отправлюсь далее.

— Искать ослиный помет?

— Да,— с некоторой грустью в голосе ответил шарлатан,— да, именно ослиный, не птичий и не коровий.

— Все бренно,— сказал схоласт, выходя и глубоко задумавшись,— все минет, ничему не суждено бессмертия.

2

— Старая ведьма! Бочка с пивом, или, лучше сказать, бочка без пива, бочка с гнилой водой, пустая бочка, проснешься ты наконец или нет?

— Я не проснусь,— отвечала хозяйка,— я не проснусь, рыжая кукла, я просыпаюсь позднее.

— Мой осел ждет меня на дворе. Он уже снаряжен, куклы мои уложены. Ты мне скажи прямо: проснешься ты или нет? Или, точнее, уплатишь ты мне или нет? Если да, то я подожду немного. Если же нет, я ударю тебя поленом. Выбирай, старая ведьма, выбирай!

— Приходи за деньгами через час,— отвечала хозяйка,— не буди меня и не тревожь мой отдых. Моему истощенному телу нужно краткое успокоение.

— Пусть каждая минута будет занозой в твоих пятках,— отвечал шарлатан.

Он постоял еще минуту, а потом быстро побежал вниз, потому что он увидел, что мальчишки подобрались к его ослу с длинной хворостиной.

Он поймал одного из них и стал тягать за волосы. Мальчишка визжал, шарлатан ругался, а осел поднял голову и

с явным презреньем поглядывал на расправу. Наконец шарлатан закурил трубку, сел у крыльца и задумался.

«Я тощ,— мысленно сказал он себе,— сегодня ночью служанка Луиза говорила мне, что у меня ноги тонкие, как вязальные спицы, и очень холодный живот. Это почти необъяснимо. Тонкость колен еще может быть объяснена худым телосложением и высоким ростом, но как объяснить холодность живота? Но, с другой стороны, не ошиблась ли Луиза и не спутала ли она меня с кем-нибудь другим?»

Он пощупал рукой живот и продолжал говорить себе мысленно:

«Я думаю, что если это и в самом деле так, то мне должен помочь шарлахбергер. Сегодня на ночь непременно нужно выпить шарлахбергера. Но может быть, всему виной то обстоятельство, что у Луизы был слишком теплый живот?»

Он не успел еще решить этого в высшей степени сложного вопроса, как в ворота прошла и остановилась перед крыльцом докторская тога.

— Вы уже снарядили вашего осла, любезный шарлатан? — спросил схоласт.

— Как видите,— отвечал шарлатан, вставая,— мой осел и я сам готовы в путь.

— Чудесно,— сказал ученый,— я отправлюсь с вами.

Шарлатан принял сосредоточенный вид и поблагодарил за внимание. Схоласт потуже закутался в тогу и ответствовал благодарностью за готовность сопутствовать. Так они кланялись друг другу до тех пор, пока хозяйка не вышла на крыльцо посмотреть, что случилось. Шарлатан потребовал у нее уплаты, получил деньги и взобрался на осла. Он поехал к воротам в сопровождении ученого, который шел рядом с ним. Проезжая под воротами, он заметил молодую девицу, загонявшую кур в клети.

— Девица,— крикнул он,— не хочешь ли ты, кроме кур, изловить петушка? У меня есть такой петушок, какого ты у других не увидишь.

И осел засмеялся над неудачной шуткой.

3

Они странствовали вместе много дней. Шарлатан показывал фокусы, ученый давал ему уроки латыни. А по вечерам Швериндох вынимал колбу и начинал с тяжкими

вздохами рассматривать своего Гомункулюса. И Гомункулюс был недвижим по-прежнему и сидел в своей колбе с лихим и беззаботным видом.

Шарлатан же часто слезал с осла, поднимал ему хвост и глядел с ожиданием и надеждой.

После долгого пути они пришли в город Вюртемберг голодные и усталые.

4

— Вюртембержцы! — кричал шарлатан.— Приветствуйте шарлатана Гансвурста, его осла и его оруженосца. Я самый остроумный шут от Кельна до Кенигсберга, включая Прирейнскую область; моего осла зовут Кунцем, мой оруженосец из пакли.

Они проехали городские ворота, и сторож с огромными ключами за поясом тотчас побежал на площадь сообщить о приезде нового шута верхом на осле, с оруженосцем, сделанным из пакли.

В узких вюртембергских улицах из окон высовывались то веселые бородатые лица с трубками, то круглые, как дно бочки, рожи вюртембергских хозяев, то очаровательные личики девиц в белых чепцах с голубыми лентами.

На площади огромная толпа мигом окружила их.

— Кузнецу — железо, свечнику — воск,— кричал шарлатан,— кровельщику — черепицу, а шарлатану и фигляру — кукол и вюртембержцев! Мы счастливо приехали, дорогой схоласт, в городе — ярмарка.

И точно: в Вюртемберге была ярмарка. В двенадцать часов судьи проехали по городу на городских конях, приняли у стражника ключи от города, на обратном пути проверили часы на главном рынке и вернулись в магистрат, чтобы избрать особого бургомистра для управления городом во время ярмарки.

В деревянных лавках торговали купцы городов и пригородов.

— Любезный шарлатан,— отвечал схоласт,— я держусь за хвост вашего осла, чтобы не потерять вас, но мне кажется, что я все-таки вас потеряю.

— Печнику — кирпичей и глины! — кричал шарлатан диким голосом.— Вюртембержцы, приветствуйте меня, я почтил вас своим приездом.

Пожилой бюргер сказал ему:

— Говори понятнее, шут. Здесь и без тебя много шуму. У нас уже есть один такой — как ты, и он говорит смешнее и понятнее. К тому же на шута ежегодно тратятся городские суммы.

— Каждому свое,— отвечал шарлатан,— лудильщику — олово, оружейнику — железо для шомполов, ворам — содержимое ваших карманов. Бюргер, взгляни, где твои часы?

В это время воришка стащил часы у пожилого бюргера. Он бросился за ним, а шарлатан двинулся далее, раздвигая толпу. Швериндох давно уже упустил хвост осла, а теперь, оттертый толпой, потерял и самого шарлатана. Некоторое время он видел еще рыжую голову, потом потерял и ее и остался один в незнакомом городе.

5

Наступила ночь. Усталый Гансвурст ехал на своем осле по окраинам города. Он был сыт и пьян, и хотел спать, и покачивался взад и вперед, как петля на виселице.

Было темно вокруг, огни уже не горели в окнах. Иногда навстречу ему попадались солдаты и слышалось бряцанье шпор и оружья. Но они оставались позади, и вокруг снова темнота и безлюдье. Но вдруг на повороте мелькнуло освещенное окно. Он очнулся от дремоты и поднял голову. Потом осторожно подъехал к окну и встал на спине осла на колени.

На высоком столе, усеянном ретортами, колбами, трубками, горел зеленоватый огонь. Расплавленное стекло тянулось и свивалось невиданными фигурами над раскаленной железной пластинкой. Высокий человек в остроконечной шапке и длинной тоге склонялся над огнем, и лицо его выражало самое напряженное вниманье.

— Как,— сказал шарлатан,— как, ученый Швериндох уже нашел себе пристанище в благородном городе Вюртемберге? Он уже производит опыты? Быть может, он уже нашел средство оживить своего Гомункулюса?

И Гансвурст постучал в окно.

Остроконечный колпак принял вертикальное положенье.

— Схоласт,— крикнул шарлатан,— отворите окно, я буду рад снова увидеться с вами.

— Кто меня зовет,— отвечал схоласт, приближая лицо к стеклу,— обойди угол, там дверь моего дома.

— Но куда я дену осла? — возразил шарлатан.— Осел — все мои надежды в будущем и настоящем.

— Значит, ты не житель нашего города,— сказал схоласт, и на этот раз лицо его показалось шарлатану незнакомым,— в таком случае привяжи осла к фонарю, а сам пройди туда, куда я указал тебе.

Схоласт отошел от окна и снова склонился над зеленым пламенем.

— Господи помилуй,— бормотал шарлатан, привязывая осла,— он так возгордился, что не хочет уже узнавать старых друзей. Но откуда взялся этот чудесный дом у моего ученого? И почему лицо его показалось мне таким старым? Я бродил по городу, шутил и показывал фокусы, а он в это время купил дом, кучу бутылок, свечи, уже оживил, наверное, свою проклятую колбу и даже успел состариться.

Привязав осла, он подошел к двери, толкнул ее и очутился в комнате, которую видел через окно.

Схоласт снял свой колпак, потушил зеленый огонь и, опираясь на палку, поднялся к нему навстречу.

— Любезный схоласт,— быстро заговорил шарлатан,— все бренно, все минет, ничему не суждено бессмертия.

— Да,— отвечал схоласт,— не смею противоречить. Ничему не суждено бессмертия.

— И этот дом,— говорил шарлатан,— и эти бутылки, этот колпак и комната — они исчезнут как дым.

— Исчезнут,— отвечал схоласт,— как исчезнем когда-либо и мы сами.

— Так для чего же вы все это купили? — продолжал шарлатан.— Или вы сделали все это в ваших бутылках?

— Чужестранец,— отвечал схоласт,— ты меня удивляешь. Ты говоришь со мною так, как будто мы знакомы много лет. Между тем я вижу тебя впервые.

— Впервые? — сказал шарлатан с обидой в голосе.— Мы расстались сегодня днем. Нас разделила толпа на площади.

— Чужестранец,— отвечал схоласт снова,— я не имею права не верить тебе, но ты меня удивляешь. Я видел много людей на своем веку, и, может быть, ученые работы несколько ослабили мое зрение.

— Освальд Швериндох, ученый-схоласт,— начал было шарлатан, подходя к нему ближе,— нас разлучила толпа

на площади. Поглядите на моего осла! Неужели вы и его забыли?

— Как ты назвал меня? — переспросил схоласт и нахмурил брови.— Ты принял меня за кого-то другого. Имя мое Иоганн Фауст.

6

Наступила ночь. Швериндох, усталый и голодный, шел по пустым улицам Вюртемберга.

— Гомункулюс,— говорил он, похлопывая себя по карману,— ты слышишь, Гомункулюс, я покинут, я оставлен всеми. Мой единственный друг — это ты, и ты никогда не покинешь меня, потому что я тебя выдумал.

Он сел на тумбу и сказал самому себе:

— Я встретил сегодня десятки, сотни людей, и у каждого из них есть дома жена, постель, ужин. А я не имею ни того, ни другого, ни третьего. Я ученый бакалавр! Я magister scholarium!

Улица была темна и безлюдна.

— Доктор Фауст,— закричал вдруг прямо перед ним чей-то голос,— что вы делаете здесь — один, поздней ночью, на улице города?

Швериндох поднял голову. Никого не было вокруг.

— С вами произошла какая-то странная перемена,— продолжал голос,— мне кажется, что на вашем благородном лице несколько разгладились морщины. Клянусь моим отражением, вы помолодели.

— Простите,— пробормотал огорченный Швериндох,— прошу прощения, мои глаза несколько ослабли от ученых занятий, но я никого не различаю в темноте.

— Это странно,— удивился голос,— с каких пор вы, дорогой учитель, перестали узнавать ваших добрых друзей?

— Друзей? — переспросил Швериндох, тщетно пытаясь разглядеть что-либо перед собой.— Осмелюсь просить вас напомнить мне, где и когда мы с вами встречались?

— Право,— с беспокойством продолжал голос,— право, я боюсь, дорогой учитель, что чрезмерные занятия слишком утомили вас. Не лучше ли вам будет отправиться домой и отдохнуть немного?

— Нет, нет,— вскричал Швериндох,— нет, нет, я прошу разъяснения. Где и когда мы с вами встречались и почему я не вижу вас?

— Извольте,— отвечал голос с обидой,— извольте. Мы встречались в вашем доме в Вюртемберге, и вы знаете меня так давно, что, вероятно, шутите, не желая признавать старого почитателя и друга.

— Непонятно,— отвечал Швериндох,— объяснитесь. Назовите мне ваше имя.

— Курт, сын стекольщика.

— Сын стекольщика? — переспросил Швериндох.— Это очень странное имя.

— Доктор, вы нездоровы,— сказал голос, и на этот раз с чрезвычайной решимостью,— ночь близится к концу, и вам пора домой, доктор!

С этими словами схоласт почувствовал, как нечто осязаемое схватило его под руки и повлекло по темным улицам Вюртемберга.

7

Шарлатан сидел против доктора Иоганна Фауста и смотрел на него с тайным почтением.

В окно заглянул уже серый утренний свет.

— Сорок лет тому назад,— заговорил доктор,— старый еврей из Лейпцига подарил мне белый порошок, который обладает чудесной силой в нахождении философского камня.

— Осмелюсь вас спросить,— сказал шарлатан тихо и с некоторой печальной вежливостью,— с какой целью вы ищете философский камень?

— Чужестранец,— отвечал, оборотясь, доктор,— ты получил приют в моем жилище. Ты — мой гость, но я прошу тебя не мешать мне работать.

— Простите,— промолвил шарлатан,— но среди моих немногих друзей есть некто Освальд Швериндох. Он ищет средства оживить Гомункулюса, и я подумал, что вы стремитесь к общей цели.

Доктор не отвечал ему. Подойдя к столу, он собрал пепел, оставшийся на стеклянной пластинке, смешал его с другим порошком и всыпал полученную смесь в реторту. Снова запылал маленький горн, и два пламени соединились в одно, раскаляя железо.

— Гомункулюс? — сказал он, вспоминая о вопросе Гансвурста.— Пустое. Гомункулюса выдумал я еще в молодые годы, но оживить его невозможно.

— Вероятно, так же невозможно,— пробормотал шарлатан,— как найти золотой помет, усеянный драгоценными камнями.

Он умолк. Голубая жидкость кипела в реторте, маленькие пузырьки, отделяясь от нее, через стеклянную трубку выходили под прозрачный колпак и оседали на его стенках блестящими каплями.

— Работай при восходе солнца,— снова сказал Фауст, и снова более себе, нежели своему собеседнику.— Он был уже в моих руках, философский камень.

Но шарлатан никогда не узнал о причинах исчезновения из рук Иоганна Фауста философского камня, потому что на улице раздались неверные шаги и дверь распахнулась под сильным ударом.

8

«Добровольное условие, дано в городе Вюртемберге в день седьмой месяца мая года 14.

Закреплено в оный день советником магистрата Фридрихом Бауером.

Мы, бургомистры и совет, выслушав согласные речи нижепоименованных граждан Вольных Германских городов о добром путешествии, ими замышляемом с целью разысканья многих полезных науке мираклей и соответствуя твердому настоянию, ими утвержденному, сим положили:

В день восьмой месяца мая года 14 доктор и магистр философии и многих наук Иоганн Фауст из Вюртемберга, схоласт и также магистр многих наук Освальд Швериндох, шут из Берна, именем Гансвурст, и мастеровой из Вюртемберга, цеха стекольщиков, именем Курт, покидают город для вольного путешествия сроком на полтора года. По прошествии же положенного времени должны возвратиться в город наш, и кто из них возвратится ранее прочих, имея цели свои решенными, тот получает право на открытые остальными странниками полезные науке миракли.

Таковая воля магистратом утверждена и печатью вольного Вюртемберга запечатана.

Советник магистрата *Фридрих Бауер.*

Примечание к памяти: упомянутый мастеровой Курт города нашего подлинного телесного вида при заключении сего договора показать не пожелал, отговариваясь неимением оного, и был признан существующим лишь по уверению почтенного доктора и магистра философии Иоганна Фауста.

Советник *Фридрих Бауер*».

КНИГА ВТОРАЯ

Путь схоласта Освальда Швериндоха

1

Дни проходят, и дни уходят, и Рейн протекает так же, как он протекал сотни лет тому назад. И, как сотни лет тому назад, на берегу его стоит Кельн, сложенный из камней. Город этот очень древний город, но камни, из которых он сложен, древнее его. Старая ратуша не однажды жаловалась дому бургомистра: «Разница лет между мною и моими камнями все та же, меня огорчает это постоянство». И она двигала стрелками своих часов с неизменной последовательностью: час за часом, минута за минутой, пока сторож Фрунсберг из Шмалькальдена не позабыл завести часы.

Это было ранним утром и в тот самый день, когда схоласт прошел через городские ворота. Он первый увидел, как стрелки часов дрогнули последний раз и остановились.

— Увы,— сказал он, пораженный горестью,— граждане города Кельна расточают драгоценное время бесплодно.

И так как он был человек добрый, то не замедлил сообщить о своем открытии первому встречному бюргеру.

— Herr,— начал он, подступая к нему очень вежливо,— Herr, простите меня за то, что я столь нечаянным образом нарушаю ваше спокойствие. Никакие обстоятельства не могли бы принудить меня к совершению такого поступка, но судьба наша неведома нам, и сторож ратуши, без сомнения, не подозревает об ужасном событии.

— Herr,— отвечал бюргер, также с вежливостью, однако же и с чувством собственного достоинства. Ему, впрочем, чрезвычайно понравилась обходительность Швериндоха.— Herr, не тревожьтесь о моем спокойствии, ибо мое спокойствие есть плод долгих размышлений и зрелого возраста. Впрочем, если вы чужой в нашем городе, то я сочту своим долгом дать вам приют. Позвольте также переспросить вас, какое замечание изволили вы высказать относительно сторожа ратуши?

— Herr,— отвечал Швериндох, отступая на шаг и низко кланяясь,— ваша догадка относительно моего происхождения поражает меня своей прозорливостью. Я действительно пришлец в вашем городе, и ваше гостеприимство

делает ему честь. Впрочем, Herr, я упомянул о том, что наша судьба нам совершенно неведома и сторож ратуши, быть может, напрасно не заботится о своей безопасности.

— Herr,— отвечал бюргер с величественностью,— вы должны знать, что наш город — это самый гостеприимный город во всей Германии, и мне, как бургомистру этого города, вдвойне и втройне надлежит оказать гостеприимство гостю. Впрочем, позвольте узнать, о какой беде, грозящей сторожу ратуши, изволите вы говорить?

— Herr,— отвечал Швериндох, с нежностью прикладывая руку к сердцу,— сам Яков Шпренгер не мог бы ожидать в вашем городе такого счастья, которое постигло меня, подарив встречу с одним из самых высоких его представителей. Я ученый схоласт Освальд Швериндох, а впрочем, упоминая незадолго перед тем о стороже ратуши, я имел в виду некоторое странное событие, случившееся на моих глазах в пределах вашего города.

— Herr,— отвечал бургомистр,— поверьте, ничто не заставило бы нас нарушить святые законы и что сам Яков Шпренгер остался бы доволен тем приемом, который мы оказали бы ему в нашем городе. Впрочем, Herr, что именно подразумеваете вы под странным событием, случившимся на ваших глазах?

— Herr бургомистр,— отвечал Швериндох, глядя на него с сожалением.— Наука бессильна перед законами природы, ничто не в силах задержать собою их течения, и лишь великий Аристотель est praecursor Christi in rebus naturalibus [1]. Впрочем, уважаемый Herr бургомистр, под странным событием, случившимся на моих глазах, я считал нечто действительно странное, случившееся действительно на моих глазах.

— Herr Scholast,— отвечал бургомистр,— я вполне согласен с истиной, только что высказанной вами. Тем более что сам я именуюсь в грамотах города «Magister civium» [2]. Впрочем, позвольте также узнать, что именно подразумеваете вы под чем-то действительно странным, случившимся действительно на ваших глазах?..

Так они дошли до дома бургомистра, и, лишь подходя к своему дому, бургомистр узнал о проступке сторожа Фрунсберга из Шмалькальдена. Он вернулся в магистрат.

---

[1] Предшественник Христа в делах, природы касающихся *(лат.)*.
[2] Глава граждан *(лат.)*.

К вечеру сторожа повесили, потому что часы не останавливались со времени короля Карла и король Карл завел их своими руками.

2

— Гомункулюс,—говорил Швериндох, поздней ночью ложась в постель в доме бургомистра,— Гомункулюс, ты слышишь меня, Гомункулюс? Я принят в доме бургомистра, я учитель его сына, но минет год, и учитель бургомистрова сына вернется в Вюртемберг с пустыми руками. Я говорю с тобою, а ты не слышишь.

Он с горечью смотрел на колбу, а в ней по-прежнему плавал голенький человечек с самым лихим и беззаботным видом...

— Схоласт,— промолвила медная статуя воина, которая стояла в углу комнаты, отведенной схоласту,— каждую секунду я шлемом своим ощущаю, как мимо меня протекает время: пройдет еще шестьсот лет, прежде чем ты оживишь своего Гомункулюса.

— Рыцарь,— перебил ночной колпак, с горделивым видом сидевший на голове Швериндоха,— опустите забрало и крепче сожмите губы. Я говорю: нет ничего проще, как оживить Гомункулюса.

— Я сплю,— сказал Швериндох,— я боюсь, что мне это только снится...

— Ночь еще только что началась,— отвечал рыцарь,— расскажите мне, что думаете вы об этом.

— Ночь приходит к концу,— сказал колпак,— еще не время оживить Гомункулюса. Четыре странника еще не прошли предназначенного им пути.

— Освальд Швериндох, бакалавр, magister scholarium, ты спишь? — И он ответил самому себе: — Я сплю, но вижу странные сны, похожие на правду...

— Я вижу лишь одного странника,— ответствовал рыцарь,— и не знаю, спит он или бодрствует. Ночь еще только что началась, расскажите мне о том, как оживить Гомункулюса.

— Ночь приходит к концу,— повторил колпак,— но чтобы оживить Гомункулюса, стоит лишь подыскать для него подходящую душу.

— Это надо запомнить,— сказал Швериндох, натягивая одеяло до подбородка.— Это мне нужно запомнить.

И он уткнулся лицом в подушку.

3

Бургомистра города Кельна звали Иоганн Шварценберг, и сына его звали Ансельм. Наутро Швериндох дал первый урок своему ученику.

— Sub virga degere,— сказал он, усаживаясь в кресло и кладя подле себя огромную розгу,— sub virga magistri constitutum esse [1].

Ансельм выкатил глаза и поглядел на него со страхом.

— Так, так,— сказал бургомистр,— точно, Herr Швериндох, вы говорите святые истины.

— Ансельм,— продолжал учитель,— вот книга, которую ты будешь читать вместе со мной.

Ансельм издал звук весьма неопределенный и, во всяком случае, не вполне одобрительный.

— Первое, что ты должен будешь изучить,— продолжал схоласт,— это наука грамматики. Septemplex sapientia заключает в себе семь наук, и на первом месте — грамматика.

— Что верно, то верно,— повторил бургомистр, с удовольствием поднимая палец,— на первом месте — грамматика.

Ансельм снова издал довольно гулкий звук, на этот раз неясный по месту своего происхождения.

— Что верно, то верно,— сказал бургомистр и с одобрением посмотрел на Ансельма.— Ну-ка, Ансельм, повтори-ка.

— Способный мальчик! — вскричал Швериндох.— У него удивительная память.

Ансельм повторил, и так они занимались несколько дней.

4

Однажды ночью схоласт сел на постели и принялся укорять себя:

— День проходит за днем, скоро уж минет положенный срок, а ты не достиг еще намеченной цели. К чему ведет пребывание в доме бургомистра? Какие меры принял ты для того, чтобы похитить для Гомункулюса неболь-

[1] Под розгой расти, под розгой учителя совершенствоваться *(лат.)*.

шую добротную душу. У кого же решил ты похитить эту душу, схоласт?

Он сидел на кровати и чесал голову в недоумении.

— У бургомистра,— сказал колпак шепотом,— я отлично знаю все качества характера бургомистра Шварценберга. Он в меру чувствителен, в меру благороден.

— Я полагаю,— продолжал схоласт думать вслух,— что лучше всего похитить душу у бургомистра. Я его знаю. Он обладает чувствительной и благородной душой. Но как это сделать? Какие меры принять для этого, схоласт?

— Я думаю, щипцами для сахара,— сказал колпак,— щипцами для сахара: бургомистр спит с полуоткрытым ртом.

— Эта мысль делает честь твоей сообразительности, схоласт. Щипцами для сахара, через открытый рот.

— Ты присваиваешь себе мои мысли,— сказал колпак, огорчившись.

Но схоласт повернулся на другой бок и уснул.

5

Дом бургомистра был очень велик и имел предлинные коридоры. В начале каждого коридора горела свеча, и всего в доме бургомистра каждую ночь горело семнадцать свечей.

Схоласт зажег восемнадцатую, оделся и отправился по коридору от комнаты, ему отведенной, до лестницы, над которой помещалась комната бургомистра.

— Gloria tibi, Domine[1],— сказал Швериндох, когда добрался до этой лестницы,— самая трудная часть пути пройдена.

В одной руке он держал свечу, а в другой большие щипцы для сахара. И в кармане у него была еще одна свеча и еще одни щипцы, поменьше.

— Торопись, схоласт,— говорил он, поднимаясь по лестнице, и от дыханья в руках его колебалось пламя свечи. Он собирался уже проскользнуть в комнату бургомистра, как вдруг на повороте встретился с Анной Марией, молоденькой служанкой. Увидев учителя в таком странном виде, со свечой и со щипцами в руках, она очень удивилась, но сказала, скромно опустив глаза:

[1] Слава тебе, господи *(лат.)*.

— Добрый вечер, Herr Швериндох.

— Добрый вечер, Анна Мария,— отвечал смущенный схоласт.

Так они стояли молча, покамест кто-то не затушил свечу. И схоласт хоть и не вернулся до утра в свою комнату, однако же не дошел в эту ночь и до комнаты бургомистра.

На следующую ночь он снова собрался идти, и снова зажег свечу, и взял с собой щипцы для сахара и другие щипцы, поменьше, и, повторяя в уме молитвы, добрался наконец до комнаты бургомистра.

Маленькая лампочка горела над кроватью бургомистра, и он спал, полуоткрыв рот, вытянув вперед губы.

— Sanctum et terribili nomen ejus,— прошептал схоласт,— initium sapientiae timor domini [1].

Колпак плясал на его голове, потому что голова тряслась неудержимо. Но он плясал от радости.

— Разумеется, это плохая плата за гостеприимство,— прошептал он на ухо Швериндоху,— и вы, разумеется, не должны были бы этого совершать. Но ведь если Гомункулюс оживет, вы получите право на все миракли, открытые Фаустом, стекольщиком и шарлатаном.

— Nisi dominus custodierat civitatem,— шептал схоласт, наклоняя свечу и пытаясь осветить бургомистра,— frustra vigilat, qui custodit eam [2].

— Щипцами для сахара,— советовал колпак, размахивая кисточкой,— стоит только поглубже засунуть щипцы, покрепче сжать их в руке, и вы, дорогой ученый, непременно вытащите душу. И эта душа, соединившись с вашим детищем узами химических соединений, подарит миру нечто вполне необыкновенное. Решайтесь, любезнейший Швериндох!

И видя, что Швериндох уже просунул щипцы сквозь полуоткрытые губы, он засмеялся и снова заплясал на его голове.

И схоласт потащил щипцы, переступая охладевшими ногами.

Коренастая, неуклюжая душа бургомистра была посвоему очаровательна — как-никак это была душа. Она

---

[1] Страшно, священно имя его, начало мудрости — страх божий *(лат.)*.

[2] Если бог не стережет город, то напрасно бодрствует охраняющий его *(лат.)*.

повисла на щипцах с необыкновенной легкостью, переливаясь всеми цветами солнечного спектра.

Схоласт стянул с головы колпак, подхватил бургомистрову душу другой парой щипцов и, не касаясь пальцами, осторожно уложил ее на дно колпака. Затем бросился вон из комнаты.

Бургомистр перевернулся на другой бок и крякнул. Немного погодя вздохнул с сожаленьем и опять крякнул.

От сильного дыханья ночник погас.

6

Пока луна еще не побледнела и звезды на небе, скорее! Ученый бакалавр, magister scholarium, скорее, скорее!

Он открыл колбу и вытащил из нее своего Гомункулюса. Маленький человечек лежал перед ним с равнодушным и спокойным видом, и во всех органах его тела была полнейшая беззаботность.

Схоласт дрожащими руками открыл его рот, взял щипцами бургомистрову душу и, сотворив новую молитву, попытался вложить ее в Гомункулюса, подобно тому как после урока с Ансельмом вкладывал в футляр свои очки. И вдруг остановился с изумлением.

— Схоласт,— говорил Гомункулюс,— четыре странника не прошли еще предназначенного им пути, а бургомистрова душа не подходит для меня по размеру. Ступай в ад, ступай в ад, схоласт, там много душ, и среди них ты найдешь для меня подходящую.

Тут он умолк, и Швериндох опомнился от своего изумления.

Но душа уже воспользовалась этой минутой и из открытого колпака улетела на небо.

— Что ты сделал? — сказал колпак, прыгая в руках схоласта от огорчения.— Что ты сделал, хозяин?

7

И тогда Освальд Швериндох вновь закупорил колбу, застегнул свою тогу и, даже не успев надеть на голову колпак, отправился на дно кукольного ящика, не получив даже платы, следуемой ему за уроки, которые он давал сыну бургомистра Ансельму, школьнику.

И пятый странник захлопнул за ним крышку ящика и промолвил:

— А вот:

КНИГА ТРЕТЬЯ

Путь сына стекольщика, по имени Курт

1

Память мне говорит — будь тверд, а судьба говорит иное. Я устал. Сегодня к ночи мне не дойти до Геттингена, а ночь будет дождлива и пасмурна. О сын стекольщика, будь тверд в испытаниях.

Так он говорил с горечью, и по дороге гулял ветер, а на небе зажигались звезды.

— Курт, если даже ты встретишь крестьянскую повозку, то никакой крестьянин не позволит невидимому человеку отдохнуть на своей повозке. Когда неловкий человек загораживает собою свет, нужный для работы, ему говорят: отойди, ты не сын стекольщика.

Он шел неутомимо и к ночи пришел в Геттинген и, проходя через городские ворота, повторял со вздохом:

— Память мне говорит — будь тверд, а судьба говорит иное.

2

Время в Геттингене проходит незаметно, и, если бы неизвестный изобретатель колесных часов не изобрел их в конце концов после долгих опытов и мучительных размышлений, геттингенские бюргеры, мастера, ученики и подмастерья жили бы, не замечая времени,— как животные или деревья.

Фрау Шнеллеркопф, содержательница гостиницы на Шмиденштрассе, не однажды говорила своему мужу, что в Геттингене не успеешь и глазом моргнуть, как жизнь уже окончилась и нужно звать пастора и платить ему за причащение талер,— на что Herr Шнеллеркопф отвечал глубокомысленно: «Und?..» [1] — и смотрел на часы. Часы тикали, время шло предлинными шагами, сын стекольщика

[1] Да? *(нем.)*

также шел предлинными шагами, покамест не постучался у дверей гостиницы.

Была поздняя ночь. Herr Шнеллеркопф уже спал, и его жена пошла отворить двери.

— Кто стучит?

— Я,— отвечал сын стекольщика,— сын стекольщика, уважаемая фрейлейн.

— Я не фрейлейн,— отвечала хозяйка,— что вам нужно?

— Переночевать в вашей гостинице, любезная фрау.

— Да, фрау,— отвечала хозяйка с достоинством.— Подождите, я зажгу свечу и отворю двери.

Она вернулась с зажженной свечой и отворила двери.

— Благодарю вас,— сказал сын стекольщика и вошел в комнату.

— Боже мой,— закричала хозяйка,— да где же вы? Я никого не вижу.

— У вас, вероятно, плохое зрение,— отвечал странник, оборотясь к ней,— впрочем, действительно меня трудно заметить. Вы совершенно справедливо отметили это печальное обстоятельство.

— Что это значит? — говорила фрау, поводя вокруг свечой.— Вы меня не испугаете. Я не пугливая женщина.

— Боже меня сохрани пугать вас,— отвечал сын стекольщика,— я человек грустного характера и тверд в испытаниях. Надеюсь, вы не будете возражать мне, что твердость есть одно из лучших качеств моего характера.

— Я вас не знаю и не знаю вашего характера,— возразила хозяйка.— Да и какой же характер может быть у человека, которого нельзя увидеть невооруженным глазом?

— Течение судьбы скрыто от людей,— в свою очередь возразил сын стекольщика,— но, поверьте, я совершенно не виновен в том, что мой отец слишком любил свое ремесло.

— В таком случае я не могу пустить вас в мой дом,— продолжала хозяйка, по-прежнему размахивая дрожащей свечой в воздухе.

— Любезная хозяйка,— сказал сын стекольщика,— вы не можете уверить меня в том, что у лучшей из геттингенских женщин столь жестокое сердце. Я очень давно в пути, я устал, и вы не можете оставить меня за дверьми вашего почтенного дома.

Фрау Шнеллеркопф задумалась.

— Хорошо,— сказала она наконец,— я провожу вас в комнату, но только, пожалуйста, с утра примите ваш настоящий вид.

— Увы,— отвечал странник,— увы, любезная фрау, вы никогда не увидите меня в моем настоящем виде, потому что я имею только один — ненастоящий, и в нем совершенно не поддаюсь описанию.

Фрау Шнеллеркопф проводила своего постояльца в отведенную ему комнату, пожелала ему доброй ночи и, озадаченная этим странным происшествием, вернулась к мужу. Herr Шнеллеркопф крепко спал, но, разбуженный женой, выслушал ее внимательно, сел на постели и сказал с изумлением: «Und?..»

3

Наутро сын стекольщика бродил по городу Геттингену, печально глядел вдоль узких улиц и снова говорил сам с собой:

— Я начинаю думать, что оживить Гомункулюса легче, чем найти самого себя. Но я все же найду себя, я верну себе вес и объем, я стану тем, кем был бы я, если бы судьба не сделала стекольщика моим отцом!

Он шел, внимательно разглядывая почтенных бюргеров и полных фрау, попадавшихся ему навстречу.

— Курт, Курт,— снова говорил он,— ведь и ты мог бы быть всеми уважаемым человеком! Ты мог быть толстым или тонким, высоким или низким. А теперь? На что ты тратишь теперь свою злосчастную жизнь?

Тут он наткнулся на седого старика с длинной палкой в руках, который шел по левой стороне улицы, высоко задрав голову и что-то пристально разглядывая на совершенно безоблачном небе.

— Невежа,— спокойно сказал старик, не опуская головы,— мерзавец, не уважающий старости и ученых познаний во всех областях наук.

— Простите, Herr,— отвечал сын стекольщика, несколько озадаченный,— но вы немного ошиблись в вашем поразительно полном определении моего ума и характера. Мой характер имеет твердость во всех испытаниях жизни, а что касается ума, то он проникает в самую суть человеческого познания.

— Не вижу,— сказал старик, еще выше задирая голову,— не вижу, ибо слежу за звездой Сириус, совершающей сегодня свой обычный путь по ниспадающей параболе.

— Не вижу,— ответил странник, в свою очередь задирая голову,— небо совершенно безоблачно и ясно.

— Что ты можешь увидеть? — с презрением отвечал старик.— Звезду Сириус можно увидеть лишь по личному с ней уговору.

— Если память мне не изменяет,— сказал сын стекольщика,— то, кроме Сириуса, по личному уговору можно увидеть Большую Медведицу и Близнецов.

— Левая лапа Большой Медведицы не поддается уговору,— с важностью продолжал старик,— что же касается головы и остальных лап, то ты не ошибся.

— Я не ошибся и относительно Близнецов.

— Что касается Близнецов, то это вопрос чрезвычайно спорный. На собрании астрологов в Бренне Близнецы были признаны достойными изучения. Вообще же говоря, прохожий, ты можешь за мной следовать до вечера. Вечером я опущу голову, увижу тебя, и мы подробнее поговорим об этих занимательных вопросах.

— Я очень боюсь,— отвечал сын стекольщика,— я очень боюсь, любезный астролог, что меня и по уговору нельзя увидеть. В этом отношении я гораздо неподатливее лапы благородного созвездия.

— В твоей речи,— сказал старик,— я замечаю логическую ошибку. Большая посылка не соответствует выводу. Ты не есть звездное тело. Следовательно, тебя можно увидеть без всякого уговора.

— Дорогой астролог,— возразил сын стекольщика,— я советую вам убедиться в истине моих слов. Что же касается вашего предложения пробыть с вами до вечера, то я не вижу в этом прямой необходимости. Я буду сейчас смотреть на Сириус, а вы смотрите на меня. Посмотрим, кто из нас скорее что-либо увидит.

— Бездельник,— возразил астролог,— не отвлекай скромного ученого от его высоких занятий. К тому же если бы даже я и пожелал согласиться с тобой, то я все равно не мог бы опустить головы, потому что у меня затекла шея.

Сын стекольщика прислонил к его глазам руку и сказал, смеясь:

— Вот вам ясное доказательство моих слов,— и другой рукой с силой дернул его за бороду.

— Парабола! — закричал старик.— Ты заставил меня упустить нисхождение!

— Я прошу прощения за мой дерзкий поступок,— отвечал сын стекольщика,— но взгляните на меня. Видите вы что-нибудь?

— Я ничего не вижу,— возразил астролог с спокойствием,— но не сомневаюсь, что мог бы увидеть тебя по уговору.

Вокруг них собралась толпа.

— Астролог Лангшнейдериус, по-видимому, сошел с ума,— сказал один бюргер другому и выпучил глаза на астролога,— он стоит посреди улицы и разговаривает сам с собой двумя голосами.

— Астролог Лангшнейдериус, по-видимому, сошел с ума,— сказал второй бюргер третьему и также выпучил глаза на астролога,— в его руках шляпа и палка, одежда наброшена на плечо, и он говорит сам с собой двумя голосами.

Но в это время виновники странного приключения последовали далее по геттингенским улицам.

4

— Ты очень напоминаешь мне,— начал старик, когда они добрались до его дома и уселись в кресла,— одного из учеников знаменитого арабского философа и врача Авиценны.

— В этом нет ничего удивительного,— сказал сын стекольщика,— потому что я, в сущности говоря, и есть ученик Авиценны.

— Давно ли ты оставил своего благородного учителя? — волнуясь продолжал старик.

— Недавно,— отвечал странник с некоторым сожаленьем в голосе,— недавно, всего лишь года два тому назад.

— Года два тому назад? — переспросил с изумлением астролог.— Ты, без сомнения, врешь, потому что Авиценна вот уже триста лет как умер.

— Прежде чем продолжать этот разговор,— сказал странник,— будьте так добры повернуться ко мне лицом. Несмотря на то что я оказал вам почтение, которое питаю ко всем дряхлым людям, вы сели ко мне задом и разговариваете не со мной, а со своим ночным горшком.

— Странник,— отвечал астролог и на этот раз действительно повернулся к нему спиной,— тебе должно быть из-

вестно, что зрение у астрологов вообще не отличается остротой. Кроме того, тебе, как ученику Авиценны, ведомы многие тайны нашей священной науки. Твое исчезновение есть, конечно, прямое следствие занятий магией и астрологией.

— Не совсем,— отвечал сын стекольщика, делаясь вдруг необыкновенно мрачным,— не совсем. Мое исчезновение есть прямое следствие сильной любви моего отца к своему ремеслу.

— Непонятно,— сказал старик,— значит, твоему отцу были известны эти тайны.

— Мой отец,— начал сын стекольщика,— был стекольщик. А моя мать, дорогой астролог, была пугливая женщина. Отец так любил свое ремесло, что каждую неделю высаживал все окна в нашем маленьком доме исключительно для того, чтобы вставить новые стекла, а что касается будущего ребенка, то не хотел иметь никакого другого, кроме как в совершенстве похожего на свое ремесло. Не знаю, как это случилось, но я родился, увы, совершенно прозрачным. Это обстоятельство однажды заставило моего отца вставить меня в раму. По счастливой случайности эта рама находилась в комнате доктора Иоганна Фауста, и я познакомился со знаменитым ученым, который руководил мною во время всей моей дальнейшей жизни. Так что вы грубо ошиблись, приняв меня за ученика Авиценны. Мой учитель — Фауст.

— Фауст? — сказал старик.— Не помню.

— И он, полюбив меня, сделал своим помощником по изучению тайн философского камня. Но не философскому камню отданы теперь все мои желания и силы. Я ищу другое.

— Что же ты ищешь?

— Самого себя.

— Самого себя? — повторил старик.— Но как же ты потерял себя и с какой целью теперь ты себя ищешь?

— Я ищу себя,— отвечал странник,— для того, чтобы стать худым или толстым, высоким или низким, чтобы жениться, поступить на службу, зажить наконец как человек.

— Стало быть, ты не знаешь даже, худ ты или толст, высок или мал, стар или молод. Ты не знаешь даже, есть ли у тебя голова на плечах?

— Не знаю.

— Не может быть!

— Да, ей-богу, не знаю,— отвечал сын стекольщика и заплакал.

Заплакал и старик. Но поздно было плакать, потому что пятый странник уже держал открытым ящик для кукол.

Вечером же старик сказал сыну стекольщика:

— В городе Аугсбурге живет некий Амедей Вендт. Явись к нему и скажи, что тебя послал астролог Лангшнейдериус, и он укажет тебе, где найти то, что ты ищешь.

5

— В путь, в путь! По дороге ветер. С неба сумерки, и зажигаются звезды. Память мне говорит — будь тверд, а судьба говорит иное.

Так он говорил, повторяя эти слова снова и снова, пока не добрался до города Аугсбурга.

Он долго искал Амедея Вендта в этом городе, но не нашел его, да и не мог найти, потому что Амедей Вендт родился ровно через двадцать лет после его путешествия.

Тогда он сел на камень и снова заплакал. А наутро он пустился в дальнейший путь.

6

Из Аугсбурга в Ульм, из Ульма в Лейпциг, из Лейпцига в Кенигсберг, из Кенигсберга в Вюртемберг, из Вюртемберга в Шильду, из Шильды в Билефельд, из Билефельда в Штеттин, из Штеттина в Бауцен, из Бауцена в Штеттин.

А когда он добрался до Свинемюнде, то оттуда прямо в ад, потому что хозяйка гостиницы в Свинемюнде сказала ему, что в аду он, без сомнения, найдет самого себя, что ад полон таких же проходимцев, которые всегда готовы попить-поесть за чужой счет...

Пятый странник захлопнул над ним крышку ящика и молвил:

— А вот:

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Путь шарлатана Гансвурста

1

Дорога убегала под ногами осла, он пофыркивал, поплевывал и бодро задирал морду в голубое небо. Шарлатан сидел, подпрыгивая, размахивая одной рукой, а другой придерживая у рта свою огромную трубку.

— Куда я еду? — говорил он с печалью.— Никто не знает даже моего имени, а меня зовут Гансвурст, и я очень добродушный человек, любитель театра и женщин.

Дымок вился за его головой, трубка хрипела и плакала, мимо уходили поля и кустарники, и леса, и бесплодные земли. Так он ехал много дней, осел его утомился, и утомился он сам, когда однажды, поздней ночью, добрался наконец до города Данцига.

— Отворите,— закричал он, остановившись у дверей гостиницы на самой окраине города,— отворите мне, я очень устал, и осел мой тоже устал. А ныне поздняя ночь, и уже пора отдохнуть в теплой постели от тяжелого путешествия.

Дверь отворилась, и он был впущен в гостиницу. По дороге он поцеловал девушку, отворившую ему дверь, и сказал:

— Девушка, я не должен бы был касаться тебя, но что стоит мой дед с его магией перед такими свежими губами,— и, добравшись до постели, тотчас упал на нее и уснул.

Осла же отвели к другим ослам, и там он жевал жвачку и жаловался соседям на легкомыслие своего господина.

2

Утром шарлатан откинул одеяло, сел на постели и принялся думать. Потом оделся и спустился вниз, в общую залу, где топился камин и за столом сидели посетители.

Он тоже уселся и попросил себе кофе. Но у него не было чем расплатиться, и он сказал девушке:

— Девушка, известно ли тебе, что у меня нет денег, чтобы заплатить за твой кофе?

— Кофе принадлежит моей хозяйке, сударь,— отвечала девушка,— а впрочем, сударь, вы, вероятно, шутите.

— А где же находится твоя хозяйка, девушка?

— Она еще спит, сударь, ее комната наверху.

Но в это время хозяйка гостиницы, высокая и худая женщина, спустилась по лестнице вниз.

— Хозяйка,— приветливо сказал шарлатан,— известно ли вам, что у меня нет денег, чтобы заплатить вам за кофе, за ночлег и за корм моего осла?

— Ты не уедешь отсюда, пока не заплатишь денег,— отвечала, хмурясь, хозяйка,— или оставишь взамен денег своего осла.

— Лучше останусь,— сказал шарлатан. И остался.

Так он жил три дня и все думал, а на четвертый снова пришел к ней и сказал:

— Хозяйка, я уплачу вам все деньги, но прежде вы должны подарить мне помет всех ослов, что останавливались за это время в гостинице.

— Помет стоит денег,— отвечала хозяйка,— если я отдам тебе его, то к твоему счету придется прибавить несколько талеров.

— Хорошо! — вскричал шарлатан.— Но вы должны провести меня в стойло.

И его провели в стойло.

— Ослы! — бодро закричал он.— Ослы, помогите бедному страннику, помогите шарлатану Гансвурсту, у меня к вам нижайшая просьба.

Ослы подняли морды и очень дружно закричали в ответ.

— Ослы! — продолжал шарлатан.— Видит бог, я всегда любил вас, я всегда заботился о вас, и мой осел не замедлит подтвердить вам это. Я назвал его Кунцем — в честь философа Кунца,— и вы видите, как он любит своего хозяина.

Кунц фыркнул и в знак одобрения трижды поднял и опустил хвост.

— Помогите,— продолжал шарлатан,— мне нечем заплатить за ночлег и за корм, хозяйка повесит меня, если я не заплачу ей за ночлег и за корм, а я еще молод и хочу жить. Испражняйтесь! — вдруг закричал он с отчаянием в голосе.— Я уже вижу, что ваш вчерашний помет не оправдал моих ожиданий.

Но ослы стояли неподвижно. И только один, самый молодой и глупый, поднял хвост, собираясь исполнить просьбу.

— Ну, ну,— говорил шарлатан,—ну, ну, понатужься, дорогой осел, помоги странствующему шарлатану.

И осел понатужился.

— Не то, не то,— закричал шарлатан,— не то. Золотом, золотом, не то. Золотом, усеянным драгоценными камнями!

Но это было не золото, потому что золото не пахнет.

Горожане, девушки и посетители гостиницы стояли за его спиной и переговаривались о том, что шут, должно быть, сошел с ума и может бог весть чего натворить в гостинице.

— Сударь,— сказала давешняя девушка, сжалившись над ним,— сударь, пожалуйте в вашу комнату. Вы, должно быть, очень устали, сударь, от долгого путешествия.

Тогда он отправился в свою комнату и лег на постель.

И он жил в этой гостинице до тех пор, покамест его не перестали кормить.

Однажды вечером девушка пришла к нему и сказала:

— Сударь, вам нечем заплатить, но если вы честный человек, я одолжу вам деньги.

— Девушка,— отвечал шарлатан,— когда-нибудь ты будешь жить в стеклянном дворце на берегу рая и ангелы будут поить тебя золотым вином из золотых бокалов.

Он крепко поцеловал ее в губы, а потом взял деньги и уплатил их хозяйке. Наутро же вновь уселся на своего осла и отправился в дальнейший путь.

3

Дорога убегала под ногами осла, а он пофыркивал, поплевывал и бодро задирал морду в голубое небо.

— Куда ты ведешь меня, пыльная дорога? — говорил шарлатан.— На краях твоих уже нет кустарников, и вдали не виднеется леса. Камни и пыль, куда я еду?

— В город Ульм,— отвечали камни, а пыль молчала и только кружилась вихрем под острыми копытами осла.

— Согласен,— вскричал шарлатан, и к вечеру ворота Ульма раскрылись перед ним.

4

— Ну,— говорил он, проезжая по ульмским улицам,— ну, умный странник, ну, шарлатан Гансвурст, что ты придумаешь в этом городе, чтобы найти золотой помет? Доколе будут продолжаться твои странствия?

И он склонялся на шею своего осла в великой печали. Так он доехал до площади, привязал осла к фонарю и уселся на крыльце дома в глубокой задумчивости.

— Траузенбах, золотых дел мастер,— сказал над ним чей-то голос.

Он поднял голову. Никого не было вокруг.

— Траузенбах, Траузенбах, золотых дел мастер,— настойчиво повторил голос, и тогда он догадался, что это он сам в задумчивости произносил эти слова.— И точно,— сказал он раздумчиво,— в городе Ульме проживает Траузенбах.

Осел поднял морду.

— *Золотых* дел мастер! — вскричал шарлатан и снова задумался. Потом весело вскочил, сел на осла и поехал дальше по ульмским улицам.

— Шут,— сказал ему пожилой бюргер, когда он остановился у небольшого домика с твердым намерением найти в нем Траузенбаха,— шут, ты знаешь, что, по закону вольного Ульма, в городе может быть только один шут, а всех прочих повесят на его воротах.

— Я кнехт,— с гордостью сказал Гансвурст,— я не шут. Я кнехт золотых дел мастера Траузенбаха.

— Ты кнехт Траузенбаха? — с изумлением переспросил бюргер.— Я очень хорошо знаю каждого из кнехтов Траузенбаха и могу поклясться, что не встречал тебя среди них.

— Вот ты не встречал, а я встречал,— объявил шарлатан. И он поворотил осла.

— Подожди,— крикнул бюргер,— там ты не найдешь дома Траузенбаха, а что ты чужестранец, я вижу по твоему ослу. Зайди-ка в этот дом, не найдешь ли ты там того, кого ищешь?

Когда же шарлатан въехал в ворота и слез с осла, бюргер позвал дочку и спросил у нее:

— Дочка, видела ли ты когда-нибудь этого человека среди моих кнехтов?

Девушка близко подошла к шарлатану.

— Мейстер,— сказал он, оборотясь к бюргеру,— простите мне, что я, только надеясь стать вашим кнехтом, уже назвал себя этим почтенным именем.

— Хорошо, хорошо,— отвечал мейстер,— заходи, заходи в дом.

Шарлатан вошел в дом.

5

Наутро мейстер обратился к нему с такими словами:

— Ты хочешь быть моим кнехтом, а у кого ты работал до сих пор?

— У Агриппы,— отвечал шарлатан,— у философа Кунца и у Никласгаузенского проповедника.

— Как? — удивился мейстер.— Я не знаю этих людей!

— Это были славные мастера,— промолвил Гансвурст,— они научили меня многому в нашем благородном мастерстве.

— Наше ремесло воистину благородно,— отвечал мейстер,— а наш цех — это самый богатый цех в городе Ульме. А ты мне нравишься, чужестранец, и ты будешь у меня первым кнехтом.

Так Гансвурст стал кнехтом у золотых дел мастера.

Он работал три или четыре дня, а потом явился к мейстеру и сказал:

— Мейстер, я сыт, и мой осел тоже сыт.

— Очень рад за вас обоих,— отвечал мейстер.

— Однако,— продолжал шарлатан,— чтобы стать мастером, нужно работать несколько лет кнехтом.

— Да, восемь лет,— отвечал Траузенбах,— восемь или девять, по соглашению.

— По соглашению,— сказал шарлатан,— или пять лет, или четыре года.

— Точно,— отвечал мейстер,— если одарить своего мейстера, то и меньше восьми лет.

— Или два года, или даже один год, по соглашению, мейстер.

— Точно,— повторил Траузенбах,— все зависит от того, как одарить своего мейстера.

Потом они помолчали немного.

«Кнехту не дают золота для работы,— думал шарлатан,— а если он сделает меня подмастерьем, я утащу золото и накормлю им своего осла».

Он теребил свой клок в раздумье и тяжком молчании.

— Имеешь ты, чем одарить? — спросил Траузенбах.

— Имею,— отвечал Гансвурст,— мы можем заверить обязательство в магистрате.

И они заверили обязательство в магистрате на пятьдесят талеров. Он сделался подмастерьем, а чтобы стать мастером, должен был выполнить образцовую работу.

6

На другой день мейстер передал ему золото в своей мастерской.

— Ты сделаешь кольцо,— сказал он,— кольцо, а на нем герб свободного города Ульма: два орла, а между ними знамя, а на знамени: «Stadt ohne Freiheit, Leib ohne Leben» [1].

— Хорошо,— отвечал шарлатан,— я сделаю это, не будь я странник Гансвурст.

На другой день с утра он отправился к своему ослу.

— Философ Кунц,— сказал он,— я придумал знатный способ вернуть себе власть синей, белой, красной, голубой и зеленой магии. Я размельчил золото в тончайший порошок — и ты съешь его с хлебом, а в помете твоем я найду это золото.

Осел глядел на небо жалобными глазами. А он смешал мякиш хлеба с золотым порошком и заставил своего философа съесть эту смесь. И осел съел.

— Мейстер,— сказал Гансвурст, возвращаясь к Траузенбаху,— к вечеру я отдам вам ваши пятьдесят талеров, и потом я подарю вам еще пятьдесят талеров, и ваших кнехтов я одарю, как граф или как купец, который может купить целый Ульм.

— В добрый час! — ответил мейстер и поглядел на него с уважением.

А Гансвурст затанцевал на месте и снова отправился к своему ослу.

— Ну, философ, ну, дорогой осел, как ты поживаешь, ты перевариваешь его, а? Ты его перевариваешь, любезный друг?

Он прикладывал ухо к животу осла и слушал, как тот переваривал. Но когда он пришел к вечеру, то нашел простой ослиный помет, и в нем не было ни золота, ни драгоценных камней. И тогда, горько плача, он оседлал осла и ночью бежал из города Ульма, оставив там мейстера Траузенбаха, и своих кукол, и все свои разбитые надежды.

Мейстер Траузенбах ругался день и ночь, и куклы лежали спокойно в углу мастерской, а разбитые надежды побежали вслед за своим хозяином.

---

[1] Город без свободы — тело без жизни *(нем.)*.

7

Дорога уходила под ногами осла, а он пофыркивал, поплевывал и задирал морду в голубое небо.

— Теперь я одинок,— говорил шарлатан,— я потерял даже моего Пикельгеринга.

Мимо него проходили поля и леса и снова поля и бесплодные земли.

— Куда я еду? — говорил он с печалью.— Куда лежит путь мой, в какие земли?

Дымок вился за его головой, прохожие чаще попадались по дороге, и он обгонял их, колотя пятками по пузу своего философа Кунца.

— В город Кельн,— отвечали придорожные камни.

И после трех дней пути он прибыл в город Кельн.

8

Фонари погасли, потому что уже наступило утро, солнце встало над шпилем ратуши, а луна, бледная и печальная, спряталась за башнями церкви святой Цецилии.

Но Гансвурст в туманном свете утра был еще бледнее и печальнее луны.

— День встает,— сказал он,— день встает, и ночь окончилась. А мне, шарлатану и страннику Гансвурсту, нечем прокормить себя и своего осла.

Осел услышал своего хозяина и покачал ушами.

Так они пробирались по кельнским улицам, а на площади Гансвурст слез с осла и, припав к нему на грудь, стал рыдать столь громким голосом, что почтенная старушка фрау Гегебенфлакс даже подумала, что шведский король снова собирается напасть на Пруссию с неисчислимым войском, а бородатый император, потонувший в реке по несчастной случайности, встал уже из гроба, чтобы предотвратить грозные беды, которые надвигаются на его милую родину.

И фрау Гегебенфлакс послала служанку на площадь.

— Увы! — кричал шарлатан совершенно невероятным голосом.— Увы, я гибну или уже погиб; о граждане города Кельна! Я не могу найти золотой помет, я не могу прокормить моего осла, и ни один осел в целой Германии не желает помочь мне в моих несчастьях. Вот уже год, как я покинул Вюртемберг, и скоро минет еще полгода, когда я должен буду вернуться туда с пустыми руками... Увы! —

возопил он снова.— Увы, с пустыми руками! А все другие, должно быть, нашли уже то, что они ищут. И схоласт Швериндох нашел душу для своего Гомункулюса, а сын стекольщика отыскал самого себя, и доктор Фауст — свой философский камень...

Так он рыдал, а осел качал ушами, переступал с ноги на ногу, или, оборотясь задом, помахивал хвостом над головой своего хозяина.

Тогда многие граждане Кельна покинули свои дома и собрались вокруг него, слушая печальную повесть о его бедствиях.

— Чужестранец,— сказала ему одна девушка,— что случилось с тобой? Ты проиграл деньги в тридцать одно или тебя покинула твоя возлюбленная? Если второе, то позабудь о ней и пойдем со мной. Я тебя утешу, чужестранец, хотя волосы твои рыжего цвета, а ноги напоминают палки.

— Нет, девушка, нет,— отвечал шарлатан,— нет, меня не покинула моя возлюбленная, но я не могу найти золотой помет, и приближается срок, когда я должен буду вернуться в Вюртемберг с пустыми руками.

— Послушай, шут,— сказал ему один кривой гражданин (который, затеяв, должно быть, подшутить над Гансвурстом, долго мигал соседям своим единственным глазом).— Пойдем со мной, я укажу тебе верный путь, чтобы отыскать то, что ты так долго ищешь.

Они покинули площадь и втроем направились дальше по улицам Кельна.

— Направо за углом этой улицы,— сказал кривой гражданин,— живет аптекарь Трауенбир. Он даст тебе такое снадобье, от которого твой осел начнет испражняться золотым пометом.

— Я не верю тебе! — вскричал шарлатан.

— Ты пойдешь к нему,— продолжал кривой гражданин,— и скажешь ему, что я прислал тебя за корнем готтейи. И когда ты получишь этот корень, то заставишь своего осла съесть его.

— Как! — вскричал шарлатан.— Корень готтейи? — Но, обернувшись, он уже не увидел никого, и только ветер кружился вокруг него и насвистывал в уши непонятные песни.

Наутро он отправился к аптекарю Трауенбиру и, придя, увидал маленького человека в длинном сюртуке с большой головой.

— Сударь,— начал он,— вы аптекарь Трауенбир?

— И не только аптекарь,— ответил маленький человечек, с необыкновенной быстротой набивая нос табаком,— а также доктор естественных наук, философии и алхимии, магистр университета в Лейпциге, цирюльник в Аугсбурге.

— Сударь,— перебил его шарлатан, с вежливостью пронзая воздух рыжим клоком,— ваши многочисленные достоинства поддерживают во мне счастливую уверенность в том, что вы поможете мне найти выход из всех моих злоключений.

Аптекарь, магистр, доктор и т. д. поднялся на ноги и с любезностью сунул табакерку к самому носу шарлатана.

Странник вежливо отказался и, закурив трубку, рассказал аптекарю о всех своих бедствиях. И аптекарь слушал его, покачивая головой с сочувствием, и, когда Гансвурст кончил, он вынес ему из задней комнаты корень готтейи...

И осел съел его. А когда съел, то взбесился и так ударил шарлатана копытом, что тому показалось, что он отправился прямо в ад за золотым пометом.

И пятый странник захлопнул над ним крышку ящика.

КНИГА ПЯТАЯ

Путь доктора философии и магистра многих наук Иоганна Фауста

1

Путь доктора Фауста был короче пути Швериндоха, и короче пути шарлатана Гансвурста, и короче пути сына стекольщика.

Вернувшись из магистрата, он молча уселся у камина. Но потом сказал самому себе:

— Вот слова моей молодости: «Я бы море превратил в золото, если бы оно было из ртути». Я стар и дряхл. Минуло время, я не нашел философский камень.

Звенели реторты. Он поднялся, зажег свечу и стал обходить свои приборы.

И это были первые века его путешествия.

2

— Свинец легкоплавкий, он отец благородных металлов. Краску, которая окрасит жидкое серебро — неверную ртуть,— назови философским камнем.

Он качал головой и шел дальше. Под ударами ног звенели реторты и колбы.

— Я стар и дряхл, глаза мои слабнут, голова седа — я не нашел философский камень.

— Металлы растут в земле,— сказала реторта, стоявшая на краю стола, между горелкой и тонкой колбой.— Ты помнишь, когда-то ты был уверен в этом.

И Фауст остановился молча и смешал вино с ядом.

И это были вторые века его путешествия.

3

Возьми кусочек боба, размельчи его в тонкий порошок и смешай с порошком красным. И тогда вся смесь станет красной. Возьми частицу этой смеси и раствори в ней тысячу унций ртути... Боже мой, как я был когда-то глуп и молод!

— Ртуть — Меркурий,— сказала та же реторта,— Солнце — золото, а свинец — Венера. Не забудьте о планетах, доктор. Но мы готовы; что ж, попытайтесь еще раз.

— Поздно,— отвечал доктор,— скоро смерть явится за мной. На плечи — саван вместо тоги схоласта. Я оставляю вас. Быть может, в аду я найду философский камень?

Он разбил приборы и растоптал стекла. И тогда выпил вино и яд и отправился в путь за философским камнем. С запада на север, где полная луна, по точным законам алхимии.

И это были третьи, и последние, века его путешествия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Милостивые государи и милостивые государыни: шарлатаны, ученые, мастера и подмастерья, города, страны, реки, горы и все небесные светила, все умершие, все живые и все еще не рожденные: занавес опускается!

Рассказ о четырех странниках окончен. Приходит время показать вам пятого странника.

Куклы в ящике, ящик за спину, палочка в руку — пятый странник отправляется в дальнейшее путешествие.

Октябрь — декабрь 1921 г.

ПУРПУРНЫЙ ПАЛИМПСЕСТ

Посв. Л. Тыняновой

— Да кто же ты, ради бога?
— Что-с? — отвечал старичок, примаргивая одним глазом.
— Штос,— повторил в ужасе Лугин.

Лермонтов

1

По дороге в Шмалькальден катилась карета. Пустынная дорога шла лесом. Ночь наступила давно, и кучер с опаскою поглядывал по сторонам. Но путник — старик в зеленом сюртуке и в шляпе, нахлобученной на лоб, не высказывал никакого беспокойства.

— Франц,— говорил он изредка, просовываясь в окошко кареты,— позднее время, Франц, а?

— Позднее время, господин Вурст,— отвечал Франц и постегивал лошадей.

В карете было полутемно. Дрожащий свет фонаря иногда освещал окно и исчезал снова.

— К утру поспеем в Шмалькальден? — говорил Вурст.

— Поспеем,— отвечал Франц,— темная ночь, господин ученый.

Так они ехали довольно долго. Старик начинал уже дремать под мерный скрип колес, как вдруг нежданный толчок заставил его привскочить на своем сиденье. В ту же минуту он услышал, как чей-то голос ругает Франца, поминая его родных и знакомых.

Карета остановилась и накренилась на бок.

Вурст поднял упавшую шляпу, отворил дверцу и соскочил.

Ночной ветер ударил ему в лицо. Он огляпулся и увидел, что карета его зацепилась дышлом за верх какой-то повозки, проезжавшей мимо.

Вурст подошел к повозке. В ней сидел пожилой человек, по одежде ремесленник.

— Сударь,— сказал Вурст, подходя ближе и кланяясь,— неожиданное приключение дает нам случай познакомиться. Ваш путь лежит из Шмалькальдена? Все ли благополучно в городе?

— Сударь,— отвечал человек приветливо,— меня зовут Кранцер. В Шмалькальдене все благополучно. Мое ремесло — переплетчик.

Ветер с силой ударил в глаза и загнул края шляп кверху. В свете луны мелькнула какая-то тень.

Чей-то плащ, как крылья, закружился в воздухе.

— Переплетчик Вурст,— сказал кто-то в свисте ветра, и высокие деревья на краю дороги вдруг склонили свои вершины с покорностью.

— Что это? — сказал Вурст. У него потемнело в глазах.

— Как? — спросил переплетчик.— Я говорю: в Шмалькальдене все благополучно.

— Да, да,— отвечал Вурст,— это вы носите такой широкий плащ, сударь? Впрочем, все в порядке. У меня, кажется, кружится голова.

— От головокруженья должно пить шалфей и растирать сукном пятки,— сказал переплетчик с важностью,— об этом пишет Фридрих Марцианус в шестом томе своего труда о болезнях.

Так они говорили минут десять, пока кучера, переругиваясь, исправляли поврежденное дышло кареты и верх повозки.

Но когда все было в исправности, то по непонятной случайности ученый Генрих Вурст уселся в повозку переплетчика, а переплетчик в карету Вурста. Темнота и рассеянность содействовали этой странной ошибке. Никто ее не заметил.

На утро каждый очутился там, откуда выехал накануне.

2

Держась за шаткие перила и протянув левую руку вперед, Вурст добрался до двери и отыскал замок. Он вынул из кармана ключ и отворил двери. В подвале было темно. Вурст зажег свечу.

При свете ее можно было увидеть множество книг, разбросанных в беспорядке по полу, обрезки бумаги, тряпки, готовые и недоклеенные переплеты.

— Поздно,— сказал Вурст и вытащил из кармана часы. Стук их послышался явственно.— Пора приниматься за работу.

Он засучил рукава, собрал обрезки и приготовил клей. Железный станок заскрипел под его руками.

— Чудесное ремесло,— говорил он, просматривая готовые переплеты,— я оставлю книги и сожгу пергаменты. В Штральвальде только один переплетчик. Я буду вторым переплетчиком в Штральвальде.

Он взглянул на заглавие книги, которую собирался положить под станок. Это был Morgan Koronis, «Ludwig Urnatella».

— Целые дни я разбираю свитки и читаю пергаменты,— сказал Вурст и улыбнулся,— а по ночам переплетаю книги. В работе и дни и ночи.

Нож в его руке опустился со свистом.

— Дни и ночи... Дни безмерны в свете, а ночь глубока. Адонай, призови молчание на все, что есть, что было, что будет. Я лечу за ветром, ветер летит за мной, снег овевает меня...

— Я пишу о старике философе? Я пишу о старике переплетчике?

Ночь крылами над жилищем моим, а день встает на востоке.

3

Каждый вечер переплетчик Кранцер подметал мастерскую, собирал работу и, выйдя на крыльцо дома, долго глядел сквозь рогатые очки на небо. Потом раскуривал трубку, возвращался обратно и по винтовой лестнице поднимался в каморку.

Тут он зажигал лампу, ставил ее плотно посредине стола и с важностью усаживался в поломанное кресло.

Так было и в тот вечер, когда Шмалькальден остался без своего переплетчика, с той разницей, что, поднимаясь по лестнице, Кранцер ушиб ногу. Он долго тер ушибленное место и почесывал бороду в недоумении. Наконец, сочтя это дурным предзнаменованием, он вошел в каморку, сел и развернул фолиант.

Каморка имела три угла и маленькое окошко. Груды книг лежали в беспорядке на столе и на полках. Пауки сплели частую сеть в углу полок.

— Переплетчик Кранцер,— сказал переплетчик с достоинством.

И ответил сам себе:

— Слушаю.

— Переплетчик Кранцер,— с удовольствием повторил старик,— ты окончил дневную работу, ты заработал достаточно денег, чтобы провести ночь в постели. Ты стар и дряхл, к чему же не покоишь ты по ночам свои старые кости?

— Да,— отвечал он самому себе, сдвигая брови,— страсть к науке овладела мной.

Время проходило мимо него, остроконечная борода поводила по строкам. Паук быстро перебирал сеть, бросался вниз, поднимался вверх, и тонкие нити изображались мгновенно и исчезали снова.

Когда на башенных часах прозвенело трижды, Кранцер встал и, закрыв фолиант, подошел к окну.

Узкие улицы расплылись в очках, плотный туман поднялся от шмалькальденских улиц, заостренные шпили церквей прорезали его с легкостью, и в тумане шагал подмастерье Шпигель с плащом на руке и сапожным мешком за плечами.

— Сапожники ходят без работы,— крикнул он, поравнявшись с домом.— Я пришел в чужой город, укажите мне дом переплетчика!

Он сел на камень и прибавил:

— Все спят, а от Гамбурга до Шмалькальдена — дальний путь.

И ветер свистнул ему в уши:

— Дальний путь.

4

Горбатый нос и хромая нога — недурное украшение для сапожного подмастерья. Я прохожу круг за кругом, путь за путем, на четыре стороны залетает неверная память. И возвращаюсь на круги своя, как все мы возвратимся в землю.

Я подмастерье Шпигель? Плащ через плечо — укрывает от ветра.

Я магистрант Гаусс? Гамбургский ветер говорит по-латыни.

Ветер не ветер, тень не тень, дух не дух — кто скажет, что не должно гулять по векам с плащом на руке и сапожным мешком за плечами?

Бей молотком в двери! На стук выйдет переплетчик Кранцер и скажет: «Я хозяин этого дома, сударь. Позвольте также узнать: вы пьяны или вы ищете переплетчика Кранцера, сударь?»

5

Свеча догорала. Наступило утро. Генрих Вурст отогнул рукава, взял в руки готовые книги и направился к выходу.

Он поднялся по лестнице, прошел коридор и отворил двери в свою комнату.

Шторы на окнах были полуспущены, мебель сдвинута, книги в беспорядке разбросаны на полу, в серой полосе света, проходившей через нижние части окна, сидел человек в темных очках и что-то читал, низко склонившись над столом.

На стук двери он обернулся.

— Добрый день,— начал он, поднимаясь,— вы утомлены бессонной ночью, господин Вурст. Впрочем, я задержу вас на одну минуту.

Господин Вурст поклонился молча.

— Сударь! — продолжал человек в очках.— Выслушайте меня! Я имею к вам небольшое дело.

— Как? — спросил ученый.— Прошу вас, присядьте.

Человек опустился в кресло.

— Странная случайность послужила причиной моего посещения. Я магистрант Гаусс и живу недалеко от вас в замке Гарденберг. На днях, разбирая старые бумаги моего деда, я наткнулся на древний свиток, по-видимому, иудейского происхождения. Не будучи знатоком того языка, на котором он написан, я просил в здешнем университете указать мне человека, который владел бы им свободно, и мне указали на вас.

— Я очень польщен вниманием, которое оказал мне здешний университет,— сказал Вурст, прикрывая глаза. (Такова была его привычка.)

— Я не сомневаюсь, сударь,— отвечал магистрант Гаусс, также прикрывая глаза,— что вы оправдаете его доверие.

Свет, проходивший в щели штор, стал яснее. Вурст поглядел на часы.

— Сударь,— сказал человек в очках, сбрасывая плащ и вытаскивая мешок из заднего кармана,— я полагаюсь на скромность и добросердечие, которое всегда отличало людей науки: вот пергамент, я его оставляю вам, сударь.

И правой рукой он вытащил из кожаного мешка пурпурный пергамент, бросил его на стол, накинул на плечи плащ и, повернувшись, побежал к двери.

— Сударь,— вскричал ученый, бросаясь за ним,— сударь, вы...

Но конец плаща только хлестнул его по руке.

Человек в очках спустился по лестнице и, прихрамывая, исчез в туманном свете утра.

6

Генрих Вурст вернулся к столу, поднял шторы на окнах и развернул свиток.

— Разборчивый текст,— сказал он, вглядываясь пристально,— доксостос — пергамент, он отделан с обеих сторон.

«...Говори, Ицхок. Когда ты говоришь, то и пауки тебя слушают. Говори, горшечник Ицхок. Может быть, у тебя гнилая грудь? Старый, скажи, может быть, ты болен проказой или другою дурной болезнью? Горшечник Ицхок, горшечник, ты позабыл умереть вовремя. Взгляни на себя: ты сед и дряхл, ты согнулся, как сухое дерево.

Вот дела мои, вот мои дни...»

Ученый провел рукой по глазам и молвил:

— Испорченный текст. Происхожденье позднее.

«...Разве не знают изделья мои в Кефар-Хананья и в Кефар-Сихин? Из черной глины я делаю простую посуду, горшки и кувшины для пищи делаю я и сосуды для храненья плодов. Из белой глины делаю я прозрачное стекло, и вазы для цветов, и светильники храмов.

Но что же мне делать с желанием моим? Высокий труд — читать священные свитки. Вот на западе угасает день, и уже запираю я двери мастерской, и вот путь мой в другое жилище. И там ждет меня священный свиток, ночью гляжу в точеные буквы...»

— Непонятно,— сказал Вурст,— о чем пишет этот старик?

И он задумался на минуту.

«...Чудесны буквы, и слова, и строки мои. Киноварью вывожу я их и медным цветом. Вот буква Элиф — как стройный юноша она, и вот буква, и она как молот, и другие буквы.

Заходит солнце — и вот желтый цвет пергамента моего, восходит солнце — и вот он пурпурный. Что делать тебе, горшечник Ицхок? Не лежит сердце твое к ремеслу твоему. Что делать?..»

— Это палимпсест [1],— вскричал Вурст, схватывая пергамент и поднося его близко к глазам.— Боже мой, это не простой пергамент.

7

— В Шмалькальдене чудесные улицы,— сказал магистрант Гаусс, подходя к переплетчику,— сударь, ночь — дурное время для серьезного разговора.

— Прошу вас войти в мой дом,— сказал переплетчик и, помолчав, прибавил с достоинством: — Как известно, переплетные мастера в Шмалькальдене гостеприимны и склонны к ученым занятиям. Наутро же мы будем обсуждать то дело, которое привело вас ко мне.

И они вошли в дом.

— Простите,— продолжал переплетчик, открывая двери,— что неожиданность вашего посещения заставляет меня предложить вам ночлег в столь неприглядной комнате.

— Я привык к путешествиям,— отвечал Гаусс,— прошу вас, не беспокойтесь.

И магистрант остался один в мастерской. Он сбросил плащ, расстелил его на скамье и сказал:

— Карета отправилась в Шмалькальден, а повозка в Штральвальд. Я хочу спать. Наутро Кранцер пойдет со мной к переплетчику Вурсту.

И он лег на скамью и уснул. Ему тотчас приснилось, что его зажали в огромном переплете с уголками из тол-

---

[1] Пергамент, с которого смыто то, что было написано на нем, для того, чтобы можно было воспользоваться им снова. В некоторых случаях удается уничтожить химическим путем позднейшее письмо и восстановить прежнее. *(Примеч. автора.)*

стой кожи. Кранцер положил его под станок и завернул винт. Он освободился от станка и стал бросать переплетами в Кранцера. Кранцер ушел, но тотчас вернулся, положил руку ему на плечо и сказал:

— Он неспокойно провел ночь. Боже мой, все переплеты разбросаны.

— Herr Кранцер,— начал подмастерье, садясь и протирая глаза,— ночь прошла незаметно.

— Незаметно,— отвечал переплетчик.

— В городе Штральвальде живет ученый Вурст. Не больше. Впрочем, нет: в городе Штральвальде живет переплетчик Вурст. Он болен.

— Простите, сударь,— сказал Кранцер,— но я такого не знаю.

— Он болен,— повторил магистрант.— Herr Кранцер, где ваше верхнее платье? Вам необходимо навестить больного собрата.— Вы знаете,— продолжал он, вскакивая на ноги и подходя к переплетчику,— хромая нога — недурное украшенье для сапожного подмастерья. Ученый Вурст опасно болен.

— Сударь,— возразил переплетчик,— я не умею лечить больных. Мои скромные познания не позволяют мне взять на себя столь высокую обязанность. К тому же дом мой нельзя оставить пустым.

— В доме останется ваша тень,— отвечал подмастерье,— и ничего не пропадет в ваше отсутствие. Чтобы она не скучала в одиночестве, я подарю ей мое отраженье в зеркале. И они спляшут превеселый танец в честь Амадея Гофмана.

Тут он подбежал к зеркалу, что стояло в углу мастерской, остановился на минуту и, взмахнув руками, быстро повернулся спиной к нему.

Его отраженье мелькнуло в потемневшем стекле, оттенилось в нем, так же взмахнуло костлявыми руками, и подмастерье Гаусс с неподвижной улыбкой кивнул испуганному переплетчику.

— Что касается вашей тени, Herr Кранцер, то с нею мы поступим еще проще. Выходя на улицу, я прищемлю ее наружной дверью.

Накинув плащ на плечо, Гаусс схватил переплетчика за руку, и они подошли к двери.

Протолкнув его за порог, так что тень при ясном утреннем солнце упала поперек выхода, он с силой захлопнул дверь.

Так они отправились в путь.

А тень и отраженье в зеркале, соединившись законным браком, станцевали чудесный танец в честь Амадея Гофмана.

8

От Шмалькальдена до Штральвальда три дня пути. В первый день переплетчик и сапожный подмастерье проделали треть пути, во второй день еще одну треть, а на третий день вечером ученый после долгой работы разобрал второй, древний полустертый текст пергамента.

«...Я писец Моисей ибн Бута, и лета мои преклонны. Сорок лет я ношу на поясе кисет ха софери, и сорок лет руки мои держат гусиное перо. Или тростник держат мои руки. Я был писцом при царе Египта, и вот я писец при царе Иудеи. Что же постыдного в том, что делаю я сосуды из глины, если руки мои тянутся к ней?

Разве Иегова наложил запрет на ремесло горшечника?..»

— В чем дело? — сказал Вурст, бледнея, и высоко поднял косматые брови,— ремесло переплетчика?

«...Толчением раздробляю я глину и мелкие камешки удаляю из нее и разбавляю в воде. И уже поет моя печь, пламенем согревая жилище. Тогда я вращаю на горшечном кружале изделия мои и затем обжигаю в печи. Я три дня обжигаю в печи изделия мои: и вот уже крепкие горшки из глины и другие сосуды из глины и сетчатое стекло, как прозрачная ткань.

...Однажды пришел ко мне Захария, сын Давида. Сказал: «Писец Моисей, все твои дела известны мне, известно мне твое ремесло, ремесло горшечника...»

Но тут дверь распахнулась.

9

— Господин Вурст,— сказал, входя, магистрант Гаусс,— взгляните на меня, я, кажется, очень бледен.

— Одну минуту,— отвечал ученый, не отрывая глаз от палимпсеста,— он тайно занимался переплетным ремеслом. Все это достаточно разборчиво. Одну минуту...

Зеленоватый свет лампы стал как бы точнее и прозрачнее. Все трое закрыли на минуту глаза, и лица их очертились с тонкостью.

— Как,— спросил магистрант Гаусс,— вы что-то сказали, сударь?

— Странный текст,— сказал ученый,— мне кажется, что он написан мною.

— Вы правы, сударь,— сказал Гаусс,— странный текст. Но я привел к вам переплетчика. Он зовется Кранцер и очень любит ученые занятия. Прошу вас, примите его, как гостя.

— Прошу извинения,— сказал Вурст и обернулся. Он вскочил, опираясь рукой на спинку кресла, и минуту глядел неподвижно.

— Прошу извинения за то, что, занятый ученой работой, я не оказываю вам должного гостеприимства. Присядьте, прошу вас. Я скоро окончу работу.

Переплетчик сел и задумался. Брови его сдвинулись, руки зажали одна другую.

— Я утомлен,— сказал Гаусс,— боже мой, я устаю от моих приключений. Пора, пора отдохнуть.

Он вновь закрыл глаза, и углы губ опустились в утомлении.

— Переплетное ремесло,— сказал Вурст после минуты молчания,— я очень люблю его, сударь. Быть может, я променял бы на него мои книги.

— В чем дело? — спросил переплетчик.— Магистрант Гаусс, не глядите на меня так своими очками. Почему вы надели очки? Я не знаю, зачем вы привели меня сюда, но мне кажется, что я прожил здесь всю мою жизнь.

— Это так,— отвечал Гаусс,— я недаром принес палимпсест ученому Вурсту. К тому же вам не следует беспокоиться за переплетную мастерскую.

— Мы обменялись ремеслами, и это предсказал палимпсест,— сказал ученый и поглядел на него со вниманьем.— Может быть, вы волшебник, магистрант Гаусс?

— Может быть,— отвечал Гаусс, и вновь лицо его сжалось в утомлении.— Вам пора исчезнуть. Вы переплетчик Кранцер. Вот переплетчик Кранцер. Я привел его к вам.

— Пора? — отвечал ученый в задумчивости,— пора, но как это сделать? Я знаю — пора, но почему должен исчезнуть я, а не переплетчик Кранцер?

— Почему,— отвечал магистрант.— Взгляните на него. У него очень костлявые руки и свинцовый лоб. Вы можете исчезнуть в тени. А его тень сторожит переплетные инструменты.

— Непонятно,— сказал Кранцер.— Прошу вас, позвольте мне уйти. Быть может, на свежем воздухе моя голова прояснится.

— Одну минуту,— сказал Гаусс.— Сударь, подойдите к Вурсту. Займите место его тени.

И он притушил зеленоватый свет. Полусумрак осторожно опустился сверху, срезая углы.

— Вы слышите меня, сударь? — повторил Гаусс,— где он? Переплетчик Кранцер, вы видите его? Или новая тень нравится вам не меньше прежней?

— Я тоже утомлен,— сказал Кранцер и подошел к креслу.— Мне очень хочется уснуть,— вы посторожите мой сон, магистрант Гаусс?

И он уселся в кресло и закрыл глаза. А тень его забилась в обивку кресла.

— Поздняя ночь,— сказал Гаусс устало,— пора в путь. Кажется, я никогда не окончу моего путешествия.

И, спустившись по лестнице, он плотно прикрыл за собой выходную дверь. И в лицо ему заиграл снежный ветер, а плащ полетел за ним чугунными крыльями.

1922

СТОЛЯРЫ

Моей матери

Вчера я закончил такого мерзавца из настоящего ливанского кедра. Волосы его — мочало; сердце — тугая пружинка; лицо — соборная роспись; прозвище — Петрушка.

Евг. Кумминг. Легендарная жизнь и достойная смерть Петрушки

1

К синей реке явилась святая княгиня Ольга и, просвещенная чудесным видением, приказала на том месте построить собор. Это было в X веке, а в XIII из серого камня сложили стену, чтобы защитить собор от ливонских рыцарей. Внизу на песчаных берегах ездили в чешуйчатых панцирях немцы, и псковичи смотрели, щурясь, сквозь дырки бойниц. Потом, освободясь от врагов, обнесли город новой стеною, понастроили дома, проложили вокруг дороги и лет двести, вплоть до своевольства Ивана, князя московского, жили спокойно и счастливо.

Возле собора устроили торговую площадь, на площади вечно толкались и кричали, колокола же в соборе перезванивали с благосклонностью. После Иванова своевольства в огорчении построили каменный собор — на месте прежнего, деревянного, и стали богомольнее.

Так прожили еще триста лет, а от смерти княгини Ольги более восьмисот, когда на берегу реки, недалеко от дегтярных лавок, срубил себе дом Ефим сын Сергея, мастер по столярному делу.

2

Древнейший крестьянский род столяра Ефима восходил к глуби времен. Последние потомки его и доныне живут в городе Ярославле под именем купцов Поздеевых,

отличаясь самым приметным образом густейшими золотисто-рыжими волосами на теле, по коему признаку их и узнают бывалые люди. Столяр Ефим, происходя из этого славного рода, носил, однако ж, фамилию Перегноя и, имея в себе означенный признак, был, кроме того, хром и сухощав. Характер угрюмый и нелюдимый заставил его много лет прожить в полном одиночестве. И лишь в поздних годах, уже явственно ощущая близкую старость, он стал задумываться над своею судьбою. И на третий год размышлений пожелал иметь сына.

В тот день никому не известный человек, рано утром спустившись к реке, заметил по дороге дом столяра Ефима и, заметив, решил украсть у него что придется. Но, подойдя к дому, он увидел столяра у окна с трубкой в зубах. Столяр сидел, закинув голову на спинку кресла, и, дымя обгорелой трубкой, говорил задумчиво сам с собою.

— Могу ли я себя назвать человеком благоустроенным? — спрашивал он и тотчас отвечал: — Да, я могу назвать себя человеком благоустроенным. Искусство моей работы вполне соответствует моему одиночеству.

— Сударь,— сказал никому не известный человек,— разрешите мне на короткий срок попросить у вас пять копеек.

— Благодаря старческим годам я не могу уже надеяться на продолжателя рода,— продолжал столяр, и он нахмурил рыжие брови в волненье,— но в соответствии своему ремеслу я намерен создать себе сына.

— Сударь,— сказал никому не известный человек,— поверьте, что только крайне отягченный материальными обстоятельствами, осмеливаюсь утруждать вас своей просьбою.

— Из дубового материала,— продолжал столяр, и он с силой задымил трубкой,— и в совершенстве по своему подобию. Из самого лучшего дуба, зубы из кости, глаза из стекла, по спине фанерой красное дерево.

Никому не известный человек поглядел на него с удивлением и, стащив молоток, что лежал с наружной стороны двери, отошел к реке.

Столяр, прихрамывая, походил по комнате, сел от окна к столу и снова задумался.

Рука его, согнувшись в локте, подпирала голову, дым летел от него клубами и свертывался над головой серой сетью. Так просидел он до ночи, а ночью засветил огарок

свечи, вновь разжег потухшую трубку и принялся выбирать дерево. Свет в полутемном сарае долго ломал его тень на досках и бревнах и наконец остановился неподвижно на коротком дубовом обрубке. Ефим долго хлопал по нему рукой, прислушиваясь к звуку, и, повернув из стороны в сторону много раз, подтащил к дому и ударил топором. Кусок дерева отлетел с легким звоном, и внутри как будто прозвенело что-то.

— Эге,— сказал Ефим и постоял минуту в спокойствии. Потом подхватил бревно топором и втащил в комнату.

Он плотно закрыл двери на ключ, торопливо походил вокруг обрубка и наконец принялся за работу.

— Ты у меня славный сын будешь,— говорил он, уставая и откидываясь назад,— искусным столяром тебя сделаю, сыне.

Так он проработал всю ночь и дерево рубил с такой осторожностью, что только к утру наметилась шея и мускулистые руки выступили из-под коры.

Ефим, почесывая спутанные волосы усталой рукою, присел на кровать и через минуту уже спал как мертвый.

Колокола над ним ударили ясным звоном, колокольный язык вплыл в комнату, тяжело качаясь, и сказал ему:

— Вставай, батька.

— Да я не сплю,— отвечал столяр и удивился. Он поднял голову, пососал потухшую трубку и присел на постели. Глаза его тотчас остановились на дубовом обрубке.

Весь он был испещрен плавными выемками по желтовато-серому телу. Ноги явственно выделялись, и широкие молодые ступни обнажались отчетливо. Шея едва выступила из-под плотной древесной массы, а на лице лежала еще не тронутая топором кора. Ефим посмотрел на него с любовью и вновь схватился за топор. Он работал до вечера, и к вечеру под каждым ударом, как бы от боли, завывало горячее древесное тело. Когда он встал, чтобы сменить заплывшую в бутылке свечу, был поздний час. Ефим отер пот со лба, отбросил в сторону топор и нож и остановился неподвижно.

— Сыне! Сыне! Молчишь? Сыне!

Плотный, смоляной, смугло-серый, с закрытыми глазами, с глухим лицом, недвижим как камень лежал на черной земле деревянный человек, сын столяра Ефима.

Ефим, маленький и худой, ходил вокруг него, прихрамывая, и взывал погодя минутку:

— Сыне! Сыне! Молчишь? Сыне!

3

Вечером этого дня Карл Фридрихович Шлиппенбах сдвинул на лоб очки. Это значило, что он находится в сосредоточенном состоянии духа. Он стоял возле стола, усеянного ретортами и трубками, и говорил сам себе в раздумье:

— Карл Фридрихович Шлиппенбах есть человек ученый или, может быть, человек гениальный. Да. Мой замечательный опыт удался как нельзя лучше. И я полагаю, что Herr Лукс ошибся в составе щелочи.

Он говорил столь громким голосом, что экономка Христиана Люциановна просунула в двери свою желтую голову с розовой наколкой и спросила:

— Was wollen sie, Herr? [1] — на что Карл Фридрихович ответил угрожающим взглядом. И она поспешила закрыть дверь.

Немец согнул сухопарую спину над кипящей ретортой и, схватив одной рукой бакенбарду, другой рукой близко поднес к глазам стеклянную трубочку.

— Если добавить серы,— заговорил он задумчиво,— то серные пары, поднимаясь к крыше цилиндра...

Но тут экономка вновь продвинулась в дверь и сказала:

— Карл Фридрихович, вас спрашивают.

Ефим, обеими руками обхватив своего деревянного сына, вошел в комнату.

— Nun? [2] — сказал Карл Фридрихович.

— Я к вам по серьезному делу, сударь,— сказал Ефим,— относительно продолжения рода...

— Nun? — повторил Карл Фридрихович.

— Одиночество моего характера,— начал Ефим,— утомляет мозги и сушит тело. По этой причине я решил столярным инструментом вырубить себе сына из древесного материала.

Ефим замолчал и, утирая пот, посмотрел на Карла Фридриховича исподлобья.

— Nun? — сказал Карл Фридрихович.

— Встревоженный этой мыслью,— продолжал Ефим,— я сделал себе сына. По причине старческого возраста без участия женского пола и без всяких хлопот.

---

[1] Что вам угодно, сударь? *(нем.)*
[2] Ну? *(нем.)*

Карл Фридрихович вытянул губы, наморщил лоб и сказал с негодованием:

— Nun?

— В настоящее же время,— продолжал Ефим, ничего не заметив,— утруждаю вас по причине полного его бесчувствия. Не взирая на все искусное столярное ремесло, лежит, подобный неживому обрубку дерева.

— Ты имеешь безусловное расстройство нервов,— отвечал строго Карл Фридрихович,— и пораженье психической концентрации восприятий.

— И прошу вас,— продолжал Ефим,— сделайте ему мозги и иную внутренность. Вы этому учены, а у меня на мозги и кишки ни топор, ни нож не берет.

Карл Фридрихович обернулся к столу, заставленному стеклом, и, подперев рукой гладко выбритый подбородок, задумался. Очки его на высоком и бледном лбу блеснули против вечернего лунного света.

4

На следующий день Карл Фридрихович не допил своего утреннего кофе. Настолько деревянный сын столяра Ефима отвлек его внимание от дел первостепенной важности.

Надев белый халат и высоко засучив рукава, он склонился над дубовым обрубком, и между взлетевших бровей с точностью пролегли глубокие прорезы. Запылало пламя, ударяя в стеклянное дно реторты, и Карл Фридрихович мешал студенистую жидкость стеклянной палочкой. Он варил эту жидкость до полудня, а после полудня она превратилась в серо-зеленый студень, вздрагивающий от прикосновения.

— Если он будет жить,— говорил Карл Фридрихович, протирая очки и глядя на свою работу со строгостью,— он будет иметь не глупую русскую, а настоящую немецкую голову: я не хочу, чтобы из-под моих рук вышел человек обыкновенный.

И он посыпал студень порошком неопределенного цвета. К вечеру, проделав дырочку в темени, он долго впускал в деревянную голову студенистую массу и с двенадцатым часом оставил работу и лег спать.

Когда к окнам вплотную приблизился серый утренний свет, сын столяра Ефима привстал на лабораторном столе

и с усилием разогнул руки. Зажмурив в зевоте глаза, он потянулся с хрустом, как бы просыпаясь, и, похлопав себя по желобчатому телу, с легкостью спрыгнул на пол. Потом пошел гулять по дому.

Карл Фридрихович проснулся от удара в лоб. Он привскочил на кровати, потирая ушибленное место, и в испуге раскрыл глаза. Перед ним, оттеняясь на светлой стене смугло-серым неподвижным телом, стоял сын столяра Ефима. Карл Фридрихович натянул одеяло до подбородка, почесал ниже спины и сказал в спокойствии:

— Nun?

5

Сын столяра Ефима, названный в крещенье Сергеем, рос, как молодой дуб. Тело его наливалось силой, и сквозь кожу проступал плотный, цвета осеннего листа, сок. Он ел за троих, ругался с грузчиками на баржах и рубил топором так, что щепки летали через крышу дома. И весь день он проводил на реке и в лесу, за рекою, а по вечерам Ефим учил его столярному мастерству.

Он стоял у верстака, раздвинув ноги, и равномерно двигал рубанком по тесно зажатой доске.

— Это работа по ясеню,— говорил он, уча Сергея,— и это я работаю рубанком. Бывает еще работа шерхебелем или фуганком. Когда нужно ровнять дерево комчатое или лубяное, то работают шерхебелем. А фуганком после шерхебеля и рубанка, чтобы стружка шла тонкая и змеистая.

Сергей же, не слушая его, вспоминал об Ирише, служанке в доме патера Владислава.

— Пилы тоже бывают разные,— говорил Ефим,— это вот пила лучковая со средним зубом, а это ножовка с мелкими зубьями, с обушком.

— Это коловорот,— продолжал он,— и прочие инструменты: шерхебель, рейсмус и малка. Все это ты, сынок, узнаешь в работе.

— Уж я узнаю, отец,— отвечал Сергей, не слыша.

— Что же до материала, то материал бывает разнообразный: сосна, ель, осина, липа, береза. Еще работают на ольховых, ясеневых, вязовых досках. Ну и на дубовых тоже,— прибавил он и поглядел на сына с осторожностью.

Так он учил его изо дня в день и достиг того, что Сергей овладел столярным ремеслом в совершенстве.

6

Однажды Сергей зашел далеко в лес за рекою. Он бежал, скользя босыми ногами по колкой земле, отдыхая, бросался на землю, и солнце ласково смотрело на него сквозь листву деревьев. Так он дошел до пригородных мест, потому что здесь, за городом, стоял дом патера Владислава. Но, проходя мимо лесной сторожки, он заглянул в окно и остановился в раздумье.

Старик сторож сидел у стола, мастеря какую-то работу, и плавным голосом рассказывал что-то неизвестному человеку.

— ...Прислали в Москву множество иностранных мастеров,— говорил старик,— и среди них был из Германии великий мастер по столярному делу по имени Фома Шуц.

Сергей остановился у окна.

— В ту пору полюбилась царю боярышня Шелога. Он призвал к себе деревянных дел мастера Фому Шуца и говорит: «Скажи мне, мастер, какие столярные дела ты можешь делать?» Фома Шуц отвечает, что он искусен во всех столярных делах.

«Можешь ли ты,— говорит царь,— сделать мне такую шкатулку, чтобы дерево на ней было подобно шелку из персидской страны, а изразцы на крышке и по бокам были ни с чем не сравнимой тонкости?»

Немецкий мастер отвечает, что берется сделать, да только пройдет много времени, потому что для этой работы нужны совсем особенные инструменты. Царь его с этим отпустил, и он, придя домой, задумался. И вот говорит самому себе: «При этой работе нужно мне написать самому главному волшебнику во всей Германии». Едва он это сказал, как вбегает к нему в дом паршивая собачка и начинает прыгать между ног. Он ее гонит, а собачка сбросила с себя шкуру, выросла тут же до человеческого роста и говорит, что она и есть самый главный волшебник во всей Германии. Немец всему этому обрадовался и рассказал ему про свои затруднения. Тот отвечает, что дело это пустое, но что для такой работы нужен чудесный рубанок, который дереву придает чрезвычайную гладкость, а по такому дереву и простым ножом можно тончайшие изразцы сделать. Немец ему за такой рубанок дает все, что имеет, а тот отвечает, что ни в чем не нуждается, а нуждается в царской доброте и мягкости. Что сам он человек характера очень сурового и хочет себя преобразовать получением

добрых свойств царского характера. Немец ему на это ничего не сказал, получил рубанок, сделал шкатулку и передал ее царю. И только через много лет, когда по всей Руси пошли жестокие казни, догадался он, что в шкатулку ту положил царь Иван свою доброту и сердечность.

— Куда же шкатулка делась? — спросил неизвестный человек.

— Шкатулку раскрыл Иванов сын Феодор,— отвечал старик с охотою.

— Дед,— вскричал Сергей, выступая из тени и с силой сдерживая дрожь,— дед, а рубанок?

— Рубанок,— отвечал старик, нисколько не удивившись внезапному появлению Сергея,— рубанок достался самому лучшему столярных дел мастеру.

— Самому лучшему столяру? — переспросил торопливо Сергей.

— Так немец приказал в своем завещании,— отвечал старик и, повернувшись к неизвестному человеку, продолжал: — Принес он эту шкатулку царю, и царь тотчас зовет боярышню Шелогу...

Сергей повернулся, шатаясь, и быстро пошел в сторону. Когда же он обернулся издалека, огонь в лесной сторожке погас.

7

С той поры Сергей стал задумчив. Щеки его стали еще серее, и сквозь кожу редко пробивался плотный, цвета осеннего листа, сок. Но сила не давала ему покою, и однажды ночью он забрался к Ирише, служанке в доме патера Владислава.

Он приметил окно кухни, которое выходило на двор, и притаился между забором и домом. Из окон до полуночи долетал свет, и тень его выделялась на свету отчетливо. Так он ждал, покамест окна не потемнели. Тогда он обошел вокруг дома, чутко прислушиваясь, и несколько раз постучал в окно кухни. Окно отворилось, и Ириша просунула наружу испуганное лицо. Сергей привстал, держась за подоконник, и поцеловал ее прямо в губы.

— Уходи, уходи, мальчишка,— сказала она, но он не ушел, а впрыгнул в окно кухни и остановился возле нее, обняв ее рукою.

— Ты сюда зачем пришел? — говорила она, сердито отворачиваясь.

— Я по столярному делу,— отвечал он,— забивать гвозди.

И она уже не гнала его обратно.

Поздней же ночью, когда девушка уснула, утомившись, он осторожно поднялся и вышел из кухни. Он прошел коридор, касаясь стен руками и, добравшись до какой-то двери, нажал ручку и отворил ее. Комната, в которую он вошел, была большой белой залой. Ковры заглушали шаги, лунный свет пролег пологом на полу и стенах, а на квадратной мраморной подставке стояла статуя человека.

Он низко склонил тяжелую и упорную голову, схватил кистями локти рук, и упругие и округлые мускулы неподвижно лежали в мощном теле. Сергей подошел ближе и вдруг задрожал. Человек при виде его приподнял веки.

— Ты кто? — сказал Сергей.— Экий чудак, право.

И он почувствовал, что глаза его заволоклись туманом, а грудь сжалась вверху, точно стиснутая обручами. Человек на мраморной подставке поднес руку к глазам и вздохнул утомленно. Но в ту же минуту, тяжело вздрогнув, остался неподвижным.

Сергей отступил в ужасе и ногой опрокинул столик. Раздался сильный шум, и патер Владислав проснулся. Легкие шаги раздались неподалеку. Патер, будучи человеком благочестивым и богобоязненным, принялся искать в памяти подходящие тексты, но, ничего священного не найдя, начал мужественным голосом:

— Asinos non curo [1].

Сергей стоял у двери в молчанье. Что-то равномерно ударяло у него в висках. Он просунул руку за ворот рубахи и вдруг ощутил под холодной рукой твердое и недвижимое деревянное тело.

— Inania verba venti ferunt [2],— говорил патер уже дрожащим голосом.

Сергей повернулся и, шатаясь, возвратился назад на кухню. Не говоря ни слова испуганной Ирише, он прыгнул в окно и пошел молча по двору. Ветер заметал за ним следы на песке, а луна падала плотным светом на склоненную голову и сжатые руки.

---

[1] На ослов не обращаю внимания *(лат.)*.
[2] Пустые речи уносит ветер *(лат.)*.

8

— Отец,— сказал Сергей. Они работали в мастерской над резным шкафом.— Отец, ты слышал что-нибудь о волшебном рубанке?

— Пустое,— отвечал столяр,— для настоящего древесного материала нужна только твердая рука и склонность к работе.

— Я о волшебном рубанке,— возразил Сергей.

— Самые лучшие бывают двойные из английской стали,— отвечал снова Ефим.

Сын его смотрел на него исподлобья.

— Ты ничего не понимаешь, старик,— сказал он сердито.

— Это ты меня не понимаешь, мальчишка,— возразил Ефим и принялся ходить по мастерской, прихрамывая.— Немец вложил в твою голову мало мозгу.

— Какой немец? — спросил Сергей, поднимая на него глаза.

Но Ефим не отвечал ни слова.

И Сергей всю зиму проходил задумчивый, а к весне собрал инструменты, простился с отцом и отправился в путь за волшебным рубанком. Солнце падало на деревянную голову, да беспокойный ветер заметал следы.

9

Держи твердый путь за рубанком. Ветер, заметай след, лунный путь на дороге — опрокинулось серебро в пыли. Вокруг шумел лес, и сгибалась под босой ногой выросшая на дороге трава. Он шел версты за верстами, ложилась от полей тень, и сверху падала тень — шел версты за верстами, не глядя на белые дорожные камни. Верста — от камня до камня, а от Сергея до рубанка — много тысяч верст. Попадались навстречу люди — ни о чем не спрашивал их, кружил рукой перед острыми глазами и повторял:

— Держи твердый путь за рубанком.

И через четыре дня пути, пройдя мимо многих деревень, он остановился в деревне Вязовой.

Было раннее утро, когда он вошел в деревню. Петухи перекликались задорно, и баба в повойнике гнала скот на пастбище.

— Баба,— сказал Сергей,— где тут твоя изба?

— А зачем тебе моя изба, парень? — отвечала баба.

— Я человек искусный,— сказал Сергей,— пусти меня ночевать к себе, баба.

— А вон изба,— она оборотилась и подняла руку,— там старуха одна, она тебя пустит.

Сергей подошел к избе и застучал в окно. Чье-то заспанное лицо прижалось к стеклу.

— Отвори, бабушка,— сказал Сергей.

И старуха отворила дверь.

Он вошел в избу, улегся на лавку и заснул мигом. А мешок с инструментами положил под голову, и они всю ночь звенели ему дорожные песни.

Наутро его разбудил рыжий мужик. Мужик стоял над ним, ущемив для чего-то левой рукой бороду, правой он толкал в бок Сергея и приговаривал:

— Проснись, парень, полно тебе спать. Принимайся-ка за работу, парень.

— Что же мне делать, рыжая борода? — спросил Сергей, поднимаясь.

— Сделай мне такую скворечню, чтобы в ней соловьи жили.

— Есть ли в деревне столяр, рыжий? — спросил Сергей.

— Столяр-то есть,— отвечал мужик, почесываясь,— я и сам столяр, да только времени нету.

— А покажи-ка мне инструменты,— сказал Сергей.

И мужик провел его в сарай за домом. Точно: на самодельном маленьком верстаке лежали столярные инструменты.

— Я тебе сделаю скворечню,— сказал Сергей и прикоснулся к двойному рубанку.— Доски есть?

— Есть доски,— отвечал мужик,— сосна да ель.

— Давай осину,— сказал Сергей,— самые лучшие скворечни из осины бывают.

И мужик достал ему осиновых досок.

Сергей работал два дня и на третий принес мужику скворечню. Но дерево на ней не было гладко, как шелк, и на нем нельзя было сделать изразцы ни с чем не сравнимой тонкости. Ведь он работал чужим рубанком. И Сергей пошел дальше.

10

Так он блуждал по деревням долгое время и не нашел в деревнях волшебного рубанка. Тогда он пошел к городу Новгороду, где с древних времен были искусные столяры.

Была поздняя ночь, когда он вступил в город. Занавеси на окнах были низко опущены, и новгородцы спали. Сергей свернул от реки, по берегу которой он вошел в город, и, остановившись перед первым же трактиром, постучал в дверь. Ему тотчас же отворили. Большая полутемная комната была почти пустою. Редкими рядами стояли столы, вдоль стены узкой полосою протянулся прилавок, и за прилавком спала, положив голову на руки, молодая служанка.

— Девица,— сказал Сергей,— от кого ты прячешь свои губы? Проснись и помоги мне провести ночь в бессоннице. Я слишком много спал в дороге.

Она проснулась и, подняв голову, смотрела на него с удивлением.

— Я очень голоден, девушка,— сказал снова Сергей.— И если ты меня не накормишь...

— Ты откуда взялся? — говорила она, отталкивая его.— Я тебя здесь раньше не видела.

— Я оттуда, где меня нет,— отвечал Сергей и поглядел на нее лукаво,— а хочу туда, где меня еще не было.

Но она снова оттолкнула его. Однако же напоила чаем, и до утра они не скучали вместе. А утром она показала ему дом, где живет самый лучший столяр в городе, и отпустила с ласкою.

11

Он шел по улице, задумавшись и ничего не видя вокруг. Инструменты в мешке за его спиною побрякивали весело.

— Идем, идем,— говорила пила, и она двигалась равномерно под скрип шагов,— в путь за волшебным рубанком.

— Рубанок — преглупое железо,— отвечала струбцинка, и винт покряхтывал в щелях прорезов,— но дерево, как шелк, и изразцы не увидишь глазом. Поищи его, деревянный человек, поищи.

— Эк завывает ветер! — сказал Сергей и ускорил шаги. Вскоре же он стучался у дверей самого лучшего столяра в городе.

Высокий худощавый человек с острой бородкой отворил двери и спросил:

— Кого нужно, парень?

— Столяра,— отвечал Сергей,— нет лучшего, чем ты, столяра в городе.

— Есть лучше,— отвечал худощавый, и бородка его

вздрогнула от злости.— Да он, нехристь, сукин сын, и исповеданья лютеранского.

— Где же он живет?

— За рекой, на торговой стороне, от моста второй дом, в третьей направо улице,— отвечал худощавый и захлопнул дверь так, что стены задрожали.

Сергей отправился дальше. Он перешел реку и нашел от моста второй дом в третьей направо улице. Это был маленький домик с белой крышей; над дверью было мелко написано: «Столярных дел мастер Карлус Фок»; под фамилией был изображен верстак, а на верстаке рыжий парень вертел в руках стулья.

Сергей подошел к окну. В просторной мастерской, сплошь усеянной стружками, низко склонившись над верстаком, стоял, далеко отставив ногу, маленький, очень толстый человек.

— Ты самый лучший столяр в городе? — спросил Сергей.

Человек молчал и только вертел коловоротом.

«Как же он ловко коловорот держит»,— удивился Сергей и, приподнявшись на руках, сел на подоконник.

Человек обернулся и пробормотал что-то про себя.

— Карлус Фок,— продолжал Сергей,— я к тебе пришел обучиться столярной науке в полном совершенстве.

— Учиться хочешь,— спросил немец, оборачиваясь,— а давно ли ты работаешь?

— Давно, мастер,— отвечал Сергей.

— Слезь с окна,— строго сказал немец,— и заходи в дверь.

Сергей спрыгнул с окошка и вошел в мастерскую.

— Что умеешь делать? — спросил немец, подходя к нему ближе.— Резную работу делал?

— Делал,— отвечал Сергей и посмотрел на его инструменты.— Могу филенки в резных шкафах, в дверях, двойные и ординарные.

— Возьми материал,— сказал немец.

И Сергей работал у него неделю. А на вторую неделю, вечером, когда немец запирал уже двери мастерской, он притронулся к его плечу и сказал тихо:

— Мастер...

— Говори,— отвечал немец.

— Мастер Карлус Фок,— начал Сергей,— собери мне твоим словом столяров со всего города. Я хочу говорить им о волшебном рубанке.

— Что есть волшебный рубанок? — спросил немец, высоко поднимая брови.

Но Сергей ничего не ответил, и они расстались.

12

Мастерская столяра Карлуса Фока была чисто прибрана. Стружки сметены, верстак отодвинут и стол поставлен посередине комнаты. Сергей стоял у окна в задумчивости, а мастер сидел на верстаке и молча курил трубку. Так было до тех пор, пока не пришел столяр Рогов.

Он вбежал, покачиваясь на кривых ногах, и сказал:

— Зачем звал, мастер?

— Садись,— отвечал немец сердито,— скоро узнаешь.

И теперь они ждали трое.

Минут через десять пришел еще один столяр, по прозвищу Хромой, и он протянул руку Карлусу Фоку молча и молча поздоровался с другими. И вскоре пришли еще Дмитрий Звягин, старинный столяр, что работал рамы для икон, Михайло Петрекин, могучей силы человек, кулаком забивавший гвозди в дубовый материал, и еще Федор Перунский, Тимофей Мякин и другие славные мастера Новгорода.

Карлус Фок уселся за стол, хмуря брови, вынул трубку изо рта и с важностью провозгласил:

— Setzen sie sich, господа столяры,— иными словами, прошу садиться. Говорить будет мой подмастерье.

И Сергей выступил на середину комнаты.

Вечерний свет падал из полуприкрытых окон и легкой стопой убегал по острым плечам Хромого, через золотистую бороду рыжего на трубку, острый нос в дыму и сдвинутые губы мастера Карлуса Фока.

— Разрешите ли говорить, мастера? — сказал Сергей, складывая крепко руки.

— Говори,— прогудели столяры, и Хромой одобрительно повел плечами.

— Столяры,— начал Сергей, и ему показалось, что это не он, а кто-то другой раздвигает губы.— Я Сергей, сын столяра Ефима, столяр не из последних и столярной работе обученный с детства. Отец мой и ныне известный в своем ремесле человек, и живет он в городе Пскове.

— Ты нам человек незнакомый,— сказал Тимофей Мякин,— мы тебя слушаем.

— Слушаем,— сказали мастера.

— Из города моего,— продолжал Сергей,— я ушел тому назад года два и ищу по городам государства нашёго волшебный рубанок.

Столяры нахмурились. Хромой прошептал что-то и посмотрел на Сергея с мрачностью. Столяр Карлус Фок курил трубку молча.

— Господа столяры,— продолжал Сергей,— ведомо ли вам, что такое волшебный рубанок?

— Неведомо,— отвечали столяры, и Карлус Фок пробормотал про себя:

— Славный парень, немецкая голова.

— Волшебный рубанок,— говорил Сергей,— есть такой инструмент, что при работе им дерево становится как шелк из персидской страны и по этому дереву можно делать изразцы ни с чем не сравнимой тонкости...

И он рассказал им о немце-столяре и о шкатулке царя Ивана. Столяры слушали молча. Карлус Фок курил трубку, улыбаясь, и дым над рыжей головой взлетал клубами.

Вечерний свет летел из полуприкрытых окон и легкой стопой пробегал по острым плечам Хромого, через золотистую бороду Петрекина, на трубку, нос в дыму и сжатые губы мастера Карлуса Фока.

И когда Сергей кончил, то отвечал ему за всех старик Звягин.

— Парень,— сказал он,— рубанок твой непременно дьявольский, и ты его в святом Новгороде не найдешь.

— Нет ли среди инструментов ваших,— спрашивал Сергей,— рубанка темного дерева с лезвием лучшей английской стали?

И столяры сказали в один голос:

— Нет.

Тогда Сергей взвалил мешок с инструментами на плечи, простился со славным мастером Карлусом Фоком и, обойдя семь озер, пришел к городу Москве. Но был он задумчив и молчалив и до самого города вспоминал белого человека, что некогда видел в доме патера Владислава.

13

От Новгорода вместе с Сергеем прилетел длинноногий ветер. Такого не запомнят москвичи. Он шагал по московским улицам, гремя жестью, рассаживая грудь об углы

проулков и влачась по камням серым плащом. Сергей остановился в подворье и, сбросив мешок с плеч, заснул крепко, а ветер пролетел Москву с разбега, ударившись в реку, разбросал свинец по стремительной водной ряби, прогулял в Марьиной роще целую ночь, вернулся обратно и, хлопнув ставнями, разбудил Сергея. Сергей привстал с лавки и прислушался. Ветер гремел за окном и вдруг упал вниз и ушел глубоко в каменистую землю.

— Нужно идти,— сказал Сергей, и усталость внезапно коснулась его сердца.

Он оделся, закинул на плечи мешок и вышел на улицу. Был еще ранний час, но Москва не спала. Сергей завернул за угол, и тотчас в острые глаза пролетела вширь Театральная площадь. Тонкий человек сдерживал высокими руками взброшенных над колоннами коней. Слева прислонилась к каменным кубам белая церковь, справа стеклянный дом начинал улицу и шум раздвигал уши, как когда-то возле реки, на торговой площади.

Сергей стоял неподвижно. Потом долго бродил по улицам и наконец усталый вышел к храму Христа Спасителя.

На рыжем мраморе в высоком кресле сидел человек со скипетром в руках, держа сильное тело недвижимым. Корона сжимала медную голову, и на широкую грудь, опоясанную лентами, падала медная борода.

Что-то тонко прозвенело у Сергея в груди, и на минуту серый туман прошел перед глазами.

— Ваше величество,— быстро заговорил он, вглядываясь пристально. Сердце у него стучало ужасно и руки дрожали.— Ваше величество, вы человек известный. Обращаюсь к вам с просьбой указать...

Александр молчал. Но в сжатых губах пробежало и тотчас скрылось движенье.

— Скажите,— продолжал Сергей, крепко прижимая лицо к холодной меди,— я столярный подмастерье из городов, ныне вашему величеству неподвластных, и ищу по сим городам...

Но в эту минуту кто-то прикоснулся к его плечу. Он обернулся: возле него, рукой заслоняя глаза от ясного дневного света и далеко вперед выбросив острый подбородок, стоял маленький старичок в черном оборванном пальто и в картузе с козырьком, надвинутым на лоб.

— Извините сударь,— начал он,— будучи чрезвычайно заинтересован неожиданной встречей, осмелился обратиться к вам.

Сергей провел рукой по лицу, и в глазах его посветлело.

— Вы про что изволите говорить? — спросил он, отступая несколько от старика.

— Слышал,— продолжал старик,— слышал, как вы в задумчивости говорили с императором Александром, и подивился. Но, будучи человеком, склонным к мистическому истолкованию вещей, придал и сему надлежащее значение.

— Что вам угодно? — спросил Сергей.— В чем дело?

— Уже много лет не веду никаких дел,— отвечал старик.— Будучи занят созерцанием скульптурных изображений, уже давно отрешился от всякой иной деятельности. Живу в Москве со времени появления на свет и пытаюсь не терять окончательной связи с сей жизнью. Вы же, сколько могу судить, занимаетесь столярным ремеслом, сударь?

— Да,— отвечал Сергей. Но перед ним уж не блестела сталь волшебного рубанка.

— Позвольте узнать, издалека ли вы явились сюда, сударь?

— Издалека. Уже давно брожу по городам русским.

— Так...— сказал старик и поглядел на Сергея с вниманием.— Сударь,— начал он опять,— не кажется ли вам странным нынешнее ваше состояние, чувствующее и явственно осязающее этот мир? Иными словами: давно ли вы приняли сей человеческий образ?

— Непонятно,— отвечал Сергей, и он глядел на старика исподлобья.

— Например,— продолжал старик, впиваясь в его лицо острыми серыми глазами,— например, стоит человек вполне обыкновенного вида, и вот это вовсе не человек, а деревянная статуя, подобная меди, из которой искусною рукой сделан восседающий перед нами. Необходимо проявить суть.

Он поклонился вежливо и протянул Сергею костлявую руку. И он ушел.

Сергей долго глядел ему вслед, недоумевая, и когда тот скрылся за углом, как бы оставив за собою серую полосу на темных стенах, взглянул на руку. Смуглый цвет

ее перешел в светло-серый, ладонь вогнулась, пальцы заскорузились, подобно древесным ветвям. Он попытался согнуть ее. Рука не сгибалась.

15

Люди, дома, магазины и каменные пространства — все пролетело мимо него, как дым, и он нагнал старика на поперечной улице.

— Старик,— закричал он, набегая на него вплотную,— старик, рука!

Старик обернулся с довольным видом.

— Ну что ж рука? — проговорил он, высоко закидывая голову и как бы протыкая воздух острой бородкой,— вы, сударь, о руке не заботьтесь. Это только признак, долженствующий уяснить вам вашу подлинную сущность.

— Я столяр,— сказал Сергей, вдруг бледнея и крепко стискивая зубы.— Что же мне теперь с рукой делать?

— Может быть, мы пройдем ко мне, сударь? — предложил старик.

16

Свет от камина падал справа. Слева метались по стене тени. От локтей старика, острыми углами вонзившихся в полосу света, до неподвижной руки столяра ясным пространством пролетала поверхность стола, и жаром камина было охвачено деревянное тело.

— Разнообразные миры существ,— говорил старик,— разноплеменные миры существ населяют землю. Мы видим мир людей, и за сим миром воспламеняется нам неизъяснимая сущность изображений. Потому-то, сударь, будучи любителем и мастером скульптурного дела, я тотчас узнал в вас произведение скульптурного мастера. Вы произошли на свет благодаря невероятной случайности и, видимо, скоро уже должны возвратиться в свое естественное состояние.

Сергей слушал, полузакрыв глаза и опустив руки.

— Ибо вы, сударь,— тут старик с торжественностью поднял руку,— вы, сударь, есть соединение двух существ в одном теле. С одной стороны — древесное изображение человека и с другой — человек живущий и чувствующий. И посему дела высокой важности предстоят вам.

— Какие дела? — сказал столяр и совсем закрыл глаза. Сильный жар ударял в усталое лицо, и тени плясали на стене напротив.— Какие дела, старик?

— Я думаю,— заговорил старик шепотом, дотрагиваясь дрожащей рукой до его плеча,— я думаю, что вам будет понятен язык изображений. Лучшие люди добиваются этого в течение многих веков.

«О чем он говорит?» — подумал Сергей и хотел поднять голову. Но она была крепко сжата руками, и он не поднял ее.

— Но, сударь,— шептал старик,— не будет ли гибельным для человеческого вашего существа услышать?..

Он наклонился к столяру совсем близко и вдруг отдернул руку. Сергей спал, положив голову на руки. Тяжкое дыханье выходило из полусжатого рта, и жаркий свет падал на кудрявую голову.

Старик пригляделся: от руки до самого лба столяра проходила широкая черная трещина и легкий древесный сок выходил из треснувшего дерева. Старик, качая головой и причмокивая губами, в сожалении добрался до постели и лег.

17

Был поздний час, когда Сергей проснулся. Он поднял отяжелевшую голову и взглянул вокруг. Камин погас, и с постели старика слышно было слабое дыханье. Он встал, шатаясь, и тотчас, поднеся руку к лицу, ощутил под холодной рукой широкую трещину. Все замутилось у него в голове, и, собрав последние силы, не двигая лицом и помертвевшей рукой, он отворил двери. Широкая мраморная лестница вела наверх, и каменный холод освежил на миг неподвижное тело. Он сделал шаг вперед и стал подниматься по лестнице, держась за перила и ничего не видя вокруг. Последним усилием пройдя мимо картин на стенах, он остановился, с криком ударил в тяжелые чугунные двери, и свет ослепил его.

Посредине залы, облокотившись на острый посох и белыми глазами глядя в пустоту, сидел слитый с резным по мрамору креслом, под высокою острою шапкой царь Иван. И вокруг него собрались у мраморных стен советники и бояре века его и веков минувших. Вниз, в темноту, опускались тяжелые стены, и над ними стремительно взлетали к

плотному стеклянному свету линии лепных углов на потолке и узорных карнизов.

Сергей ступил шаг и тотчас остановился.

— Се убо,— говорил Иван, и желтая кожа на его щеках стягивалась жесткими складками,— се убо явственно есть в ваше изменное умышление от конца и доныне. К сему же и военная брань учинилась вашею изменою, и недоброхотством, и нераденьем бессовестным. Ныне же не ведаю я, к чему сие. Сей камень вкруг меня и еженощная сия недвижимость.

Но бояре молчали, и только дрожь играла в мраморных лицах.

— Я слышу,— сказал Сергей, и в теле его вдруг разбежалась горячая усталость,— я слышу его. Пора вернуться.

— Господи,— говорил Иван, и гнев бил в каменный голос.— Господи, почто наказуешь сим меня еси? Аще верности слуг моих несть царь? — И голос его взлетал к свету, и старческие слезы падали на холодные плиты.

— Пора,— сказал Сергей, и он не узнал своего голоса,— пора, пора вернуться.

И он отворил чугунные двери и, падая по мраморным ступеням, расшиб о камни деревянное тело.

1922

БОЧКА

Фантастический рассказ

Юрию Тынянову

1

Сэр Мэтью Стейфорс начинает вычислять

Сестра милосердия прошла, осторожно ступая по длинному коридору, и, дойдя до кабинета, постучала. Никто не отозвался. Она постучала еще раз, отворила двери и остановилась на пороге.

— Простите, сэр, что отрываю вас от работы. Я пришла сказать, что сэр Рэджинальд, кажется, умирает.

Маленький старик в огромных очках и высоком воротнике, сидевший за письменным столом, поднял голову и поглядел на сестру с вниманием.

— Одну минуту,— ответил он,— я кончаю.

— Простите,— сказала снова сестра,— но мне кажется, что сэр Рэджинальд может вас не дождаться.

Старик в очках посмотрел на бумагу, покрытую цифрами, бросил карандаш и, накинув на плечи пиджак, вышел из комнаты.

Сестра прошла вслед за ним.

Дверь в конце длинного коридора отворилась: на узкой кровати лежал, вытянувшись, худощавый бледный человек. Черные волосы падали ему на лоб. Рядом с постелью сидел, задумчиво на него поглядывая, толстый человек в пальто.

— Умер,— сказал толстый человек в пальто, увидев Стейфорса.— Сердце не выдержало. Я с самого начала говорил, что сердце ни к дьяволу не годится.

Математик Мэтью Стейфорс остановился возле постели сына, посмотрел на его бледное лицо и отвел со лба черную прядь волос.

— Я пойду, сэр,— сказал толстый человек в пальто.— Кажется, больше мне нечего у вас делать. Прощайте, Стейфорс.

И толстый человек вышел вместе с сестрой милосердия.

Мэтью Стейфорс поправил очки, сел в кресло, подставил под подбородок руку и задумался.

Он глядел на неподвижное лицо сына, машинально отодвигая и вновь приближая к глазам огромные очки.

После долгого молчания он позвал дрожащим голосом: «Рэджи!» — но тотчас же, махнув рукой, выпрямился и твердыми шагами вышел из комнаты.

Среди ночи он вернулся, переставил лампу с ночного столика на письменный и принялся пересматривать бумаги сына.

Раскладывая их по порядку в аккуратные стопы, он прочел:

«1. Королевская Академия наук

Сэру Рэджинальду Стейфорсу

Настоящим доводится до Вашего сведения, что предлагаемый Вами проект детального исследования небесного свода при помощи сигма-лучей по рассмотрению такового ученой комиссией Академии отклонен за невозможностью выполнения.

Пред. (подпись).

Секр. (подпись)».

«2. Я бы не стал тебе писать, Рэджи, если бы не проклятая нужда. Отец перестал высылать деньги. Будь что будет, однако же я рад и счастлив, что ушел из нашего проклятого дома. Пришли мне сколько можешь. Я бросил пить.

Джордж.

P. S. Лучше быть живым бродягой, чем мертвым математиком».

«3. Завещание.

Я, Рэджинальд Стейфорс, в здравом уме и твердой памяти, сим завещаю:

Оборудованная химическая лаборатория и библиотека в три тысячи томов, находящиеся в доме № 39 по Марлборо-стрит, пере-

ходят моему отцу сэру Мэтью Стейфорсу, действительному члену Академии по разряду теоретической математики. Мои рукописи, записки и письма, все без исключения, переходят мисс Эллен Броун (Эссекс-стрит, 11). Ее же прошу: 1) на могильном камне собственноручно вычертить теорему Блексфорда о неподвижных телах в безвоздушном пространстве и 2) издать мою работу по применению сигма-лучей к исследованию небесного свода.

Через двадцать четыре часа после моей смерти прошу поместить во всех газетах следующее объявление:

«Внимание! Умер математик Рэджинальд Стейфорс. По воле покойного объявляется во всеобщее сведение: 1) что в окрестностях города Норсуэй, возле Литл-лэйк, в левой остроконечной скале, в сорока семи шагах от Каменной дороги, зарыто четыреста пятьдесят тысяч фунтов и на такую же сумму драгоценных камней; 2) что Р. Стейфорс, находясь в здравом уме и твердой памяти, клятвенно при свидетелях трижды подтверждал означенное заявление».

Тысячу фунтов, лежащих в Королевском банке на мое имя, завещаю брату моему Джорджу Стейфорсу.

Рэджинальд Стейфорс.

Год — месяц — день.

Сие заверено в нотариальной конторе «Перидудл и Перидудл». Ливерпуль-стрит, 412».

Сэр Мэтью прищурился и, поправив очки, посмотрел завещание на свет; на оборотной стороне бумаги среди наскоро набросанных цифр он увидел небрежную надпись:

«Левая остроконечная скала, Норсуэй, Литл-лэйк, сорок семь шагов от Каменной дороги».

Под надписью стоял чертеж, на первый взгляд напоминавший бочку. Этот чертеж привлек внимание сэра Мэтью.

— Для тела вращения, произведенного вращением дуги S,— пробормотал он задумчиво. Он помолчал с минуту и продолжал, схватив со стола карандаш: — Крайние координаты соответствуют абсциссам икс нулевое икс прим, отрезок дуги равен...

Сухой и серый, как мышь, почти незаметный в огромном кожаном кресле, он принялся вычислять, засыпая цифрами оборотную сторону завещания.

Наутро из похоронного бюро принесли гроб. Худощавый, белый и очень спокойный человек с большой легкостью был уложен в гроб. Служитель похоронного бюро,

распоряжавшийся похоронами, заметил по этому поводу, что ему редко приходилось видеть более покладистых и послушных покойников.

— У него тело эластично, как резина,— сказал он вежливо, оборотившись к сэру Мэтью.

Гроб закрыли крышкой, обтянули белым полотном, поставили на белые дроги, и лошади с высокими султанами между ушами повезли дроги по городу.

Сэр Мэтью Стейфорс шел за гробом, покусывая губы и глядя вокруг невнимательными глазами. Цифры возникали перед ним повсюду.

На углу Норуич-авеню он споткнулся о тумбу, и в голове его возникло на одно мгновение: «Норсуэй, Литллэйк, остроконечная скала, сорок семь шагов от Каменной дороги». Он вытащил записную книжку и, думая о другом, машинально записал адрес.

К нему подбежал расторопный служитель.

— Может быть, вам угодно в карету, сэр?

В то же время из-за угла Норуич-авеню, беззаботно размахивая палкой, вышел джентльмен в проломленном цилиндре. Левая сторона его лица была украшена рыжей бакенбардой; взамен другой бакенбарды — справа — не было ничего. Увидев похоронную процессию, джентльмен состроил печальную гримасу, догнал сэра Мэтью и пошел с ним рядом.

Дроги докатились до кладбища. Сторожа сняли гроб, донесли его до могилы и на полотенцах опустили вниз. Сэр Мэтью и джентльмен с одной бакенбардой остановились у свежей могилы неподвижно.

— Джентльмены,— начал дрожащим голосом джентльмен с рыжей бакенбардой, хотя перед ним никого, кроме сэра Мэтью, не было.— Я не знаю, как звали этого человека и что он делал, находясь в состоянии движения. Человек минус постоянное движение плюс бесконечность равен нулю. Он утверждает, что он мертв,— отлично! Значит, закон переместил еще одного человека в обратный порядок, джентльмены. Прощай, будь счастлив, дорогой покойник! Ничего не произошло, и мне нет никакого дела, что этот человек умер. Но я считаю своим долгом выразить мое искреннее сожаление оставшимся еще почему-то в живых родственникам и друзьям покойного.

— Благодарю вас, сэр,— сказал Стейфорс, задумчиво поглядев на джентльмена с рыжей бакенбардой.

И он с признательностью протянул ему руку.

2

Размышления о рыжей бакенбарде

Собственно говоря, то, о чем я пишу, будучи человеком с одной бакенбардой, вполне заслуживает того, чтобы я писал об этом, будучи человеком с двумя бакенбардами. Я пишу об относительности мирового движения и о последовательности беспричинных событий во времени. Все это в конце концов стоит одной оторванной бакенбарды конусообразного вида, острым концом вниз.

Я бы не стал и пытаться разрешить мои сомнения, если бы сегодня не исполнилось ровно шесть лет с того дня, как я лишился бакенбарды. Я утверждаю: каждый предмет любого формата, вида и состояния есть измерение объема его мирового места, который неизбежно связан со всеми другими предметами, занимающими определенное место в мире.

Поэтому отсутствие на моем лице одной рыжей бакенбарды есть факт огромной важности и почти космического значения. Рыжая бакенбарда английского джентльмена в оторванном состоянии нарушает мировой порядок. Констебль, оторвавший мою бакенбарду, стоял на Риджент-стрит — улице, которая в числе остальных до сих пор служит мне местом прогулок. Пиво, стакан, бочки и хозяин кабака в Питт-роуд в тот день, как обычно, были в полном моем распоряжении. Сидя за квадратным столом у окна, я размышлял об отсутствии пустоты в мировом пространстве. Напротив меня слева сидели двое джентльменов в одинаковых цилиндрах и с одинаковыми лицами.

Напротив меня справа сидел с газетой в руках толстый, как йоркширец, фабрикант, который, вероятно, и был йоркширцем.

Я наливал уже из третьей бутылки, как вдруг внезапно почувствовал как бы подземный удар; на одно мгновенье под моими ногами, под кабаком, под улицей, под городом переместилось что-то. Лондон споткнулся, закачался из стороны в сторону и как будто даже подпрыгнул вверх.

Не прошло и минуты после этого, как фабрикант сказал, ни к кому, в сущности, не обращаясь:

— Дьяволы!

Помолчав с минуту, он снова повторил:

— Дьяволы! Хамы! — заорал он бешеным голосом,

вскакивая и ударяя об стол обеими руками.— Эти мерзавцы лезут в парламент!

— Что вы изволили сказать, сэр? — спросил хозяин.

Я не успел еще допить свой стакан, как йоркширец разбил всю посуду на столе.

— Эти мерзавцы лезут в парламент,— повторил он с бешенством.

— Вы, конечно, говорите о рабочих, сэр? — осведомился хозяин.

— О рабочих! — подтвердил йоркширец с бешенством.— Дьяволы! Внесли билль. О новом представительстве. Долой! Билль! Билль! Бей!

— Да что вы, взбесились, что ли? — вскричал хозяин, но, увидев, что йоркширец ловко нацелился в него бутылкой, сел под прилавок и тоже закричал:

— Билль! Долой билль!

Двое джентльменов, сидевших в глубине кабака, поставили цилиндры на стол и в один голос повторили:

— Долой билль!

Спустя минуту йоркширец и двое джентльменов разбили всю посуду на столах и буфете, повалили стулья и, вылетев из кабака, с криком понеслись по лондонским улицам.

— Билль! Долой билль! Билль! Бей!

Я допил стакан и, ничего не уплатив за пиво, побежал за ними.

— Джентльмены! — кричал йоркширец, придерживая обеими руками живот и тряся жирными щеками.— Джентльмены! Рабочие душат нас! Известно ли вам,— черт возьми! — что в парламент внесли новый билль о представительстве рабочих? Долой билль!

Двадцать шесть лавочников и четырнадцать дам, согласно моему точному подсчету, через семнадцать минут присоединились к демонстрации. Констебли были подкуплены за тот же промежуток времени.

Мы пролетели одну, другую и третью улицы, джентльмены в цилиндрах с одинаковыми лицами увеличили толпу в четыре раза.

Йоркширец, взлетевший на чьи-то плечи, продолжал речь:

— Джентльмены! Идет зараза! Зараза, джентльмены! Рабочие побеждают! Лезут в парламент! Пьют кровь! Бездельники! Мерзавцы! Долой билль! Билль! Бей! Бей, джентльмены!

— Долой билль! — кричали цилиндры.

На углу Риджент-стрит стоял, как я об этом уже упоминал, констебль. Констебли, как я упоминал, были подкуплены. Поэтому, когда я проходил мимо него, он наступил мне на ногу. Пересекая под углом воображаемую воздушную плоскость, я выбросил руку вперед и ударил констебля в зубы.

3

Трое в трактире «Встреча друзей», Патерностер-роуд, 13

Вечером того же дня, когда бледный, худощавый и очень спокойный человек был плотно закупорен в гроб, а гроб опущен в землю, трое сидели за круглым столом в трактире «Встреча друзей», Патерностер-роуд, 13. Каменные ступени вели вниз, к пыльным лаврам, которые росли в бочонках. Трактир был почти пуст. Между колбасами, ветчиной и омарами, розовевшими под стеклянным колпаком, толстый и веселый, катался трактирщик.

На огромном прилавке лежали охотничьи сосиски и сыр с немигающими глазами.

— Норсуэй, Литл-лэйк,— сказал один из сидевших за столом, высокий человек с острым носом.— Черт возьми, пожалуй, не меньше, чем два дня пути? Как ты думаешь, Джорджи?

Человек, к которому он обращался,— вор Джордж Стейфорс,— сидел на стуле верхом, опершись локтями на спинку и положив ноги на пивной бочонок. Он склонился над бумагой, которую держал в руках, и ничего не ответил.

— Лезла сорока под собачий хвост,— проворчал третий бродяга по прозвищу Шарманщик.

Все трое помолчали немного. Веселый трактирщик поглядел на них и с внезапным треском раскупорил бутылку.

— Нет,— вскричал Джордж Стейфорс,— не пойму! К черту! Хозяин, пива!

Хозяин, как детский мяч, подкатился к нему с бутылкой.

— Зачем тебе нужен этот чертеж? — сказал остроносый человек, шулер Джим Эндрьюс.— Место указано, деньги под скалою, чего ж больше?

Шарманщик встал и, хмурый, прошелся по комнате.

— «Я, Рэджи Стейфорс, в здравом уме и твердой памяти»...— пробормотал вор задумчиво. Он выпил пива и сказал, оборотясь к Эндрьюсу: — Послушай, Джимми, ты не знал моего брата? Он не стал бы писать эту формулу напрасно. Он в отца, а отец не роняет ни одного слова впустую.

— Адрес у нас в руках,— сказал шулер,— неужели из-за каких-нибудь несчастных чертежей мы остановимся на полдороге? Довольно болтать, пора идти, время не терпит.

— Шел осел по дороге, хмм-прр-прр, да и лопнул,— проворчал Шарманщик.

Шулер допил свое пиво и с треском поставил бокал на стол. Он вышел в соседнюю комнату и принес связку толстых веревок, кирки и железные лопаты. Каждый нацепил на плечи мешок и засунул кирку за пояс.

Портной пустился в путь со зла,
А за коня он взял козла,
Паршивый хвост ему взнуздал,
Его аршином погонял.
Аршином бьет, иглою шьет
И едет задом наперед.
И, вместо замка Роджерстон,
К себе домой приехал он,—

запел вор.

— Путь простой,— сказал шулер,— я все узнал подробно. Мимо предместий на Норсуэй за тремя поворотами дом дорожного сторожа. Влево от дома узкая тропинка через долину, прямо к Каменной дороге.

— Расплатись с ним,— добавил он, кивнув головой в сторону трактирщика.

Трактирщик снова подкатился к ним, размахивая салфеткой.

— Пожелай нам счастливой работы, трактирщик,— сказал Джордж Стейфорс, бросая монету на стол.

— Ловить не переловить, таскать не перетаскать,— вскричал трактирщик.

Все трое вышли из комнаты. Шулер притворил за собой дверь.

И, вместо замка Роджерстон,
К себе домой вернулся он,—

запел, хитро улыбаясь, трактирщик.

И сам отвечал, хлопнув себя по лбу:

— Молчи, ворона!

4

Джентльмен с одной бакенбардой вздрагивает

Газетчик Джой Уайт, сын известного боксера Чарльза Уайта, сидел у окна в трактире «Олд Фрэнд» на Уотерлоу-роуд и молча пил пиво. Напротив него с правой стороны пил виски кучер, который садился на стул верхом, как на коня, и перед каждой бутылкой подгонял себя пощелкиванием пальцев.

Напротив него с левой стороны сидел джентльмен в проломленном цилиндре. Джентльмен в проломленном цилиндре в крайней задумчивости опустил, сам того не замечая, рыжую бакенбарду в бокал с пивом.

— Известно ли вам, трактирщик,— говорил Джой Уайт, с тоской глядя на пустые бутылки,— известно ли вам, что отец моей невесты имеет ветряную мельницу?

— Известно,— сказал трактирщик.

— А известно ли вам, трактирщик,— продолжал Джой Уайт,— что чиновникам королевского суда на полтора шиллинга в день увеличили жалованье?

— Неужели? — удивился трактирщик.

— А известно ли вам, трактирщик...— начал было Джой. Но в это время джентльмен с рыжей бакенбардой вздрогнул как бы от подземного удара. Он вскочил и стал смотреть вниз,— пол шатался под его ногами. И в то же самое мгновение произошло нечто необъяснимое: газетчик Джой Уайт вскочил, ударил стулом об пол, разбил две бутылки и хриплым от перепоя голосом заорал во всю глотку:

— Долой парламент!

Двое рабочих, сидевших в глубине трактира, оглянулись на Джоя Уайта с одобрением.

— Долой парламент! — повторил газетчик, опрокинув над глоткой бутылку.— Довольно над нами властвовали эти пустословы! Долой!

— Будь осторожен, дружок,— отвечал трактирщик,— тут на углу констебли.

— Долой констеблей! — кричал газетчик.— Долой! К дьяволу! Вон!

— Долой! — закричали рабочие дружно и, точно сговорившись, в одну минуту рассадили шесть бутылок с пивом о прилавок.

— Да что вы, взбесились, что ли? — вскричал трактирщик, но, увидев, что газетчик ловко нацелился в него бутылкой, сел под прилавок и закричал вслед за ним: — Долой парламент!

Спустя минуту рабочие, разбив всю посуду на столах, выкатили бочку и, поставив на бочку газетчика Джоя Уайта, понесли его по лондонским улицам.

— Рабочие! — кричал газетчик.— Пустословы из парламента завладели нами! Черт возьми! Они живут на доходы от фабрик и заводов, а мы работаем для того, чтобы они в парламенте занимались краснобайством! Долой парламент!.. Налоги! Мы выбиваемся из сил, чтобы не умереть от голоду, а они издают законы о налогах. Долой парламент! Долой! Бей!

Толпа вокруг него увеличивалась. Триста клерков бросили работу и присоединились к демонстрации.

У здания суда Джой Уайт продолжал свою речь:

— Английские рабочие! Разве мы выбирали парламент? Разве мы выбирали этих гордых лордов и жирных купцов, которые пьют кровь из груди английских рабочих?.. Они объедаются в парламенте, а мы продаем наших детей, чтобы не сдохнуть от голода! Долой парламент! Долой! Бей!

Джентльмен с одной бакенбардой, с карандашом и записной книжкой в руках, бежал за бочкой, на которой волчком вертелся газетчик.

— Долой парламент! — кричала толпа. И, неся на руках бочку с Джоем Уайтом, рабочие двинулись к парламенту.

Глава правительства, лорд Джоккер, был неприятно поражен, увидев с балкона многотысячную толпу, двигавшуюся к парламенту. Впрочем, необходимость обрезать кончик сигары тотчас отвлекла его от неожиданного происшествия. Обрезав сигару и вдыхая ароматный дым, лорд Джоккер спустился в зал заседаний.

Заседание уже началось, когда вбежавший констебль доложил, что демонстративно настроенная толпа требует, чтобы ее впустили в парламент. Констебль не успел еще кончить свою речь, как пущенная с лестницы меткой рукой бутылка заставила его замолчать на довольно продолжительный срок. Вслед за бутылкой в зал заседаний вле-

тела бочка, на которой торжественно сидел газетчик Джой Уайт.

Джой Уайт медленно слез с бочки, поклонился и твердыми шагами направился к председательскому месту.

— Английские рабочие,— начал он,— и ты, низкий парламент! Не сетуйте на меня за то, что в эти тяжелые времена я первый поднял бурю общественного негодования. Я спрашиваю вас, кто виноват во всех бедствиях английского народа? Каждый честный рабочий ответит: парламент. Английские рабочие! Вы не хотите умирать с голоду? Вы хотите создать промышленность? Вы хотите восстановить равенство? Уничтожьте парламент! Долой парламент!

На другой день правительство лорда Джоккера подало в отставку.

5

«Таймс», № 588/24

Вечером того дня, когда кража завещания м-ра Р. Стейфорса была обнаружена, сэр Мэтью был молчалив.

Он спрятался в огромное кожаное кресло и до полуночи просидел, не двигаясь, подобрав ноги, упираясь небритым подбородком в высокий воротник. При звоне часов он вскочил и подпрыгнул на месте, с бешенством грозя кому-то сжатыми кулаками.

— Величина дуги, крайние ординаты?! — проворчал он себе под нос, серый, как крот, с силой упираясь ногами в пол.— Рэджи, мальчишка! Что тебе стоило сказать мне об этом раньше?!

К утру он успокоился, оправил на себе сюртук, надел роговые очки и занялся своими бумагами, разбросанными в беспорядке на письменном столе.

С рассветом сэр Мэтью отдернул шторы и нажал кнопку звонка. Вошел слуга.

— Я уезжаю,— сказал сэр Мэтью.— Когда я вернусь — неизвестно. Можно предполагать, что я никогда не вернусь.

— Слушаю, сэр.

— Поберегите квартиру. Следите тщательно за кабинетом мистера Рэджинальда.

— Слушаю, сэр.

— Моими делами будет руководить мистер Фоссет, адвокат, Риджент-стрит, сорок восемь. Он вам знаком.

— Слушаю, сэр.

Сэр Мэтью задумался, вскинув на лоб очки. Слуга стоял перед ним с бесстрастным видом, слегка наклонившись всем корпусом вперед и как бы подтверждая готовность всякий раз повторять одну и ту же фразу.

— Уложите чемодан; ничего лишнего — две смены белья, сигары и браунинг. Не забудьте сигары.

— Слушаю, сэр.

Слуга вышел и через минуту вернулся.

— Извините, сэр, к вам просит разрешения войти...

— Нет, не нужно,— отвечал сэр Мэтью,— я в отъезде, меня нет дома.

Двери распахнулись — огромный газетный лист пролетел через комнату и упал прямо к ногам сэра Мэтью. Вслед за газетой в комнату просунулись багровый нос и полосатые штаны джентльмена с одной бакенбардой.

— Вы читали? — кричал джентльмен с одной бакенбардой, потрясая целым ворохом газет, газеты торчали у него из всех карманов.— Сэр, я был в этом уверен! Но где они?.. Где они, черт возьми, сэр?!

— У меня нет времени,— сказал сэр Мэтью, поджимая посеревшие губы и с бешенством оправляя воротник,— чем... вы... скорее... уйдете... тем лучше для вас...

Джентльмен с одной бакенбардой молча развернул «Таймс» перед самым носом сэра Мэтью.

— Читайте!

> Мэтью Стейфорс с душевным прискорбием извещает о смерти своего сына Рэджинальда Стейфорса, последовавшей в результате долгой, изнурительной болезни. Заупокойная месса состоится в квартире покойного, Марлборо-стрит, № 39, вторник, в 11 часов утра.

— Я сейчас уезжаю,— сказал сэр Мэтью,— я болен, я умер. У меня воспаление мозга. Зачем же, черт вас возьми, вы читаете мне эту газету?

— Это еще не все,— вскричал с торжеством джентльмен с одной бакенбардой.— Самое интересное впереди.

Он перевернул два листа газеты, отыскал место, отчеркнутое синим карандашом, и закричал, притопывая ногой:

— Читайте!

«Кража завещания

24 марта 1918 года умер Рэджинальд Стейфорс, сын знаменитого математика, действительного члена Королевской Академии наук, м-ра М. Стейфорса. Покойный оставил завещание, в котором, по сообщению его отца, единственного человека, читавшего это завещание, указано местопребывание ценностей на сумму около 450 000 фунтов. Завещание было похищено из квартиры в день смерти м-ра Р. Стейфорса. Полицией и частными детективами приняты меры».

— Но и это еще не все! — кричал джентльмен с одной бакенбардой.— У меня еще кое-что припрятано для вас, сэр! — Он бросил все газеты на пол, выбрал третий лист и снова закричал на сэра Мэтью, погрозив ему кулаком и притопнув обеими ногами:

— Читайте.

«Три тысячи фунтов тому, кто укажет местопребывание человека, укравшего завещание Р. Стейфорса.

Семь тысяч фунтов тому, кто передаст в руки сэра Мэтью Стейфорса точную копию означенного завещания.

Десять тысяч фунтов тому, кто передаст в руки сэра Мэтью Стейфорса подлинное завещание его сына Рэджинальда Стейфорса».

— Я прочел,— покорно отвечал сэр Мэтью,— я знал все это раньше. Теперь скажите мне прямо и в двух словах — что вам от меня нужно?

Джентльмен с одной бакенбардой бросился в кресло, воткнул в рот сигару, заложил ногу за ногу и начал:

— Я подозреваю, сэр, что в мире не все обстоит благополучно. Для того чтобы доказать это, мне не хватает только знания математики и незначительной суммы денег. Я говорю — незначительной, сэр, потому что сумма, указанная в завещании вашего сына, меня удовлетворила бы вполне. Впрочем, начнем по порядку: прежде всего разрешите мне познакомить вас с историей моей правой бакенбарды. Нужно вам сказать, сэр...

6

Трое из трактира «Встреча друзей» зажигают фонари

Трое из трактира «Встреча друзей», Патерностер-роу, 13, остановились на мосту. Мост был переброшен через небольшое озеро; внизу в глубокой впадине тускло блестела вода.

— Хочу жрать,— сказал Эндрьюс, сбрасывая с плеч лопату.

— А я думаю о завещании,— сказал вор.— Что, если мы будем искать напрасно?

Шарманщик мрачно посмотрел на него и, отвернувшись, подошел к перилам.

— Четыреста пятьдесят тысяч фунтов,— сказал шулер, на секунду переставая есть.— Если бы мы вовремя не стащили завещание, завтра объявление появилось бы во всех лондонских газетах, и тогда в городе остались бы только мертвецы и грудные дети.

Мост перешел в дорогу. По обеим ее сторонам, тупые и мощные, похожие на огромных серых слонов, возвышались скалы.

Спустя некоторое время узкая тропинка пересекла дорогу. Все трое остановились и молча посмотрели налево.

— Левая остроконечная скала, сорок семь шагов от Каменной дороги,— сказал шулер, лихорадочно подергивая щекой,— где-то здесь!

Все трое, один за другим, отсчитали сорок семь шагов, дошли до скалы и остановились.

— Здесь,— сказал вор, бросая на землю лопату.

Шулер обошел вокруг, внимательно осматривая уступ за уступом.

— Если только мы правильно нашли место,— сказал он,— то где-то здесь должен быть вход под скалу.

Вор на коленях ползал между камней. Вдруг он вскочил на ноги. Широкая доска была зажата двумя острыми камнями: черная стрела, начерченная тушью, указывала острым концом вниз. Под стрелой был прибит четырехугольный листок покоробившейся пергаментной бумаги. Вор наклонился к доске и прочел звонким от волнения голосом:

Рэджинальд Стейфорс
профессор Лондонского университета
член-корреспондент
Королевской Академии наук
Марлборо-стрит, № 39

— Славный малый,— сказал, засмеявшись, Эндрьюс,— он оставил нам свою визитную карточку.

— В каждой курице есть три четверти курицы,— проворчал угрюмо Шарманщик.

Все трое подсунули под камни лом и, с силой поднимая его вверх, один за другим отвалили их. Обрывистые ступени вели вниз. Шарманщик зажег фонарь и, цепляясь за камни, начал спускаться.

Портной пустился в путь со зла,
А за коня он взял козла,—

запел вор. И стал спускаться за Шарманщиком.

Фонари осветили полукруглую каменную пещеру.

Эндрьюс, нахмурив брови, стал обходить стены.

— Здесь должен быть выход,— сказал он, останавливаясь перед темной впадиной.

— Здесь он и есть,— отвечал Стейфорс, держа фонарь прямо перед собой.

Фонарь осветил узкий проход в виде длинного коридора.

Они шли некоторое время молча.

Паршивый хвост ему взнуздал,
Его аршином погонял,—

запел снова вор.

Спустя три минуты коридор уперся в стену. По левую руку под фонарем Эндрьюса вырисовались большие буквы: «Р. С.».

— Браво, Рэджи,— пробормотал вор и, повернувшись, сделал шаг налево.

— Ш-ш, тише,— сказал Шарманщик,— здесь кто-то есть.

— Сэр,— говорил чей-то голос,— это держится! Я могу вас уверить, что это держится! Соберите всех профессоров со всего мира, сэр! Я докажу! Я докажу, сэр! Плотное пространство заполняет мир. Попробуйте переместить одну вещь, связанную с другой единством объемной связи, и вы нарушите мировой порядок. Мировой порядок, черт возьми, сэр!

— Черт побери! — выругался Эндрьюс.— Кто это?

Вор, найдя щель между камнями, направил поперек свет фонаря и приставил лицо к щели.

В глубокой каменной нише на плоском камне, задумчиво подпирая подбородок, сидел Мэтью Стейфорс. Около него, размахивая руками, бегал джентльмен с одной бакенбардой.

7

Сэр Мэтью Стейфорс продолжает вычисления

Шарманщик подсунул лом под камень, на котором трое из трактира «Встреча друзей» прочли две буквы, и первый с киркой наготове подошел к собеседникам.

Джентльмен с одной бакенбардой прервал свою речь и сел на камень.

— Продолжайте, сэр,— сказал сэр Мэтью Стейфорс, мельком взглянув на Шарманщика.

— Кто вы такие? — спросил вор, приблизясь к сэру Мэтью и к джентльмену с оторванной бакенбардой. Он побледнел и сжал челюсти так, что заскрипели зубы.— Что вам здесь нужно?

— Мэтью Стейфорс, действительный член Королевской Академии наук по разряду теоретической математики.

— Джордж Стейфорс, вор.

Наступило молчание.

— Простите, сэр,— сказал математик,— но не вижу ли я перед собой человека, укравшего завещание?

— Он самый,— сказал вор.

— Я очень рад,— ответил сэр Мэтью.

— Я тоже,— сказал вор.

— Джим, Джордж,— сказал Шарманщик, отошедший в сторону,— сюда, на одну минуту.

Трое из трактира «Встреча друзей», Патерностер-роуд, 13, столпились вокруг острого камня.

— Убить,— сказал Шарманщик.

— Уйти,— пробормотал вор.

— Взять в компанию,— заявил шулер.

— Сэр,— шептал джентльмен с одной бакенбардой, наклонившись к самому уху Мэтью Стейфорса.— Не думаете ли вы, что сейчас они убьют нас как бешеных собак, сэр?

Трое из трактира «Встреча друзей» вернулись.

— Мы решили взять вас в компанию,— сказал, улыбаясь, шулер.— Убивать вас мы не хотим, а если отпустить, так вы поднимете травлю. Зачем? У вашего сына, сэр, хватит и на пятерых.

— Хорошо,— сказал сэр Мэтью.— Идем.

— Идем, джентльмены,— вскричал джентльмен с рыжей бакенбардой.— Идем! Мы там найдем хорошую чертову пропасть!

От глубокой каменной ниши, в которой велись эти переговоры, был только один проход, извилистый и узкий. Один за другим все пятеро проползли между трещинами и стали спускаться по каменистым ступеням.

Аршином бьет, иглою шьет
И едет задом наперед,—

запел вор Стейфорс. И принялся с напряженным вниманием смотреть на мелькавший в свету высокий крахмальный воротник отца.

После полуторачасового спуска, когда все, кроме м-ра Стейфорса-старшего, падали с ног от усталости, узкий проход кончился пропастью. Свет пяти фонарей, направленный вниз, не достиг дна.

Шулер подошел к краю обрыва и сбросил камень. Послышался гулкий звук, как от удара по дереву.

— Конец,— сказал Шарманщик, ложась на землю.— Ничего нет, и назад не вернуться.

— Пустое,— вскричал Эндрьюс.— Мы найдем проход. Джорджи, поищи, нет ли где-нибудь щели!

Сэр Мэтью Стейфорс вытащил из бокового кармана записную книжку и при свете фонаря продолжал вычисления.

— Джентльмены,— начал джентльмен с одной бакенбардой, становясь на камень.— Черт возьми, не был ли я прав, когда говорил, что все события, совершающиеся перед нами и внутри нас, есть следствие какой-то космической причины? Я записал, джентльмены! Через определенный промежуток времени совершаются одинаковые события. Если пять лет тому назад под влиянием толчка победили правые, то теперь, под влиянием другого удара, победа осталась за левыми, джентльмены.

— К черту! — сказал, засыпая, Шарманщик.

Вор и шулер с фонарями в руках искали выход более часа и ничего не нашли. Путь вел в пропасть.

— Ничего,— сказал вор, бледный от бешенства и усталости,— ничего нет.

— Ничего,— подтвердил Эндрьюс, сжимая кулаки.

Шарманщик во сне угрюмо проворчал что-то.

Вор направил фонарь на сэра Мэтью. Сэр Мэтью продолжал вычисления.

— Может быть, он что-нибудь знает? — сказал шулер шепотом.— Поговори-ка ты с ним, Джорджи.

Вор задумался на секунду, приложив руку ко лбу. Потом поставил фонарь на землю и подошел к сэру Мэтью.

— Сэр,— начал он,— вы когда-то любили меня. Вы еще помните, сэр, те времена, когда я был вашим любимым сыном.

— Оставим это,— сказал сэр Мэтью, пряча подбородок в воротничок.— Вам еще что-нибудь угодно сообщить мне?

— Мне нужно знать, найдем ли мы суммы, указанные в завещании?

— Я отвечу вам лишь при том условии, если вы разрешите мне воспользоваться формулой, записанной на оборотной стороне завещания. Она нужна мне для научной работы.

Вор, отойдя к Эндрьюсу, поговорил с ним и спустя минуту развернул перед сэром Мэтью завещание.

— Благодарю вас,— сказал сэр Мэтью, тщательно списывая формулу в записную книжку.— Что же вам угодно было узнать от меня?

— Брат не лжет в этом завещании?

— Нет.

— Где же находятся эти суммы?

— Там.

— Где там?

— На дне пропасти.

— Но как опуститься на дно?

Сэр Мэтью оглянулся вокруг себя: Шарманщик спал, подбросив себе под голову связку толстых веревок.

— На веревках.

— Ах да! Благодарю вас, сэр,— закончил вор и, отойдя в сторону, передал шулеру все, что ему сказал сэр Мэтью.

Первым по решению троих из трактира «Встреча дру-

зей», Патерностер-роуд, 13, должен был спуститься джентльмен с одной бакенбардой.

Веревку укрепили, закрутив ее вокруг тупого уступа, завязали джентльмена тройным узлом и, медленно разматывая веревку, опустили его в пропасть.

Спустя четверть часа Шарманщик опустился вторым.

— Добрый день, сэр,— сказал ему приветливо джентльмен с одной бакенбардой.

— Добрая ночь,— ответил Шарманщик угрюмо.

Третьим должен был спуститься сэр Мэтью.

Вор три раза обкрутил вокруг него веревку, внимательно осмотрел ее на всем протяжении и остановился у края обрыва, направив свет фонаря вниз.

Веревка стала разматываться: один оборот, два, три...

Шулер медленным движением вынул из кармана бритву, раскрыл ее, наступил на веревку и с силой взмахнул рукой.

9

Сэру Мэтью Стейфорсу изменяет молчаливость

Через семь минут после того, как сэр Мэтью начал спускаться в пропасть, веревка дернулась вверх и остановилась.

Сэра Мэтью качнуло влево, вправо и больно ударило о скалу. На одну секунду он потерял сознание.

— Запах! — говорил на дне джентльмен с одной бакенбардой, вытянув шею и усиленно нюхая воздух.— Черт возьми, могу поклясться, что мы попали в какой-то винный погреб.

Шарманщик уже спал, закинув голову и вытянув ноги.

Сэр Мэтью пришел в себя и оглянулся. Он висел неподвижно, обвязанный тройным узлом. Задумавшись на мгновенье, он вспомнил о формуле завещания. Рука медленно расстегнула пиджак и раскрыла записную книжку.

Опершись одной ногой об уступ скалы, а другой придерживая веревку, сэр Мэтью оправил висевший на поясе фонарь и с карандашом в руках продолжал вычисления.

Спустя несколько минут веревка стала опускаться.

— Винный запах! — закричал джентльмен с одной бакенбардой, бросаясь к сэру Мэтью.— Вы чувствуете, сэр? Мы попали в винный погреб.

Сэр Мэтью размотал веревку, присел на камень и улыбнулся.

— Я имею сказать вам несколько слов, джентльмены,— сказал он,— но подождем наших спутников.

Спустя пятнадцать минут Джордж Стейфорс, быстро перебирая руками, спустился по веревке. Он был бледен.

— Остался Эндрьюс,— сказал Шарманщик, вытаскивая мешочек с табаком и трубку.

— Никого не осталось.

— Где же Эндрьюс?

— Не знаю. Где-нибудь здесь, недалеко от нас. Он убит.

Шарманщик вскочил, выронив из рук трубку.

— Убит? Кто же его убил?

— Я.

— Ты убил Джимми? — тихо спросил Шарманщик, поднимаясь и обеими руками хватая кирку.

— Подожди,— сказал вор; он подошел ближе и положил руку на плечо Шарманщика.— Я убил его за то, что он хотел перерезать над тобой веревку.

Сэр Мэтью поднял голову и, с силой уперев подбородок в воротник, посмотрел на сына.

— Простите, джентльмены,— начал он, поднимаясь,— но я полагаю своевременным сообщить вам некоторые любопытные сведения.

Он встал на камень.

— Джентльмены! Вы явились сюда, чтобы отыскать и присвоить себе значительные суммы, оставленные, согласно завещанию моего сына Рэджинальда Стейфорса, каждому, кто до них доберется. Джентльмены, мы добрались до них! Они под нами!

Сэр Мэтью с юношеской легкостью соскочил с камня и ударил ногой. Послышался гулкий звук.

— К сожалению, не могу посвятить вас в свои вычисления,— продолжал сэр Мэтью, вернувшись,— вряд ли вы оказались бы достаточно компетентными в них. Сообщаю вам только мой вывод: наш город и все прилегающие к нему местности заключены или некогда возникли в бочке, винной бочке грандиозных размеров.

— Бочка! — вскричал джентльмен с одной бакенбардой.— Вот решение задачи! Все зависит от правильности движения!

— Бочка катится по какой-то твердой поверхности,— продолжал сэр Мэтью.— Эта твердая поверхность освещена сверху невероятной силы светом. Половина эллиптиче-

ского сечения бочки — то, что мы называем небом,— имеет между ребрами щели, и через них проходит свет. Вторая половина — та, на которой внутри бочки построен наш город,— сплошная и потому для света непроницаемая. Каждые двенадцать часов бочка повертывается на половину эллипса; когда она повертывается расселинами — тем, что мы называем небом,— вниз, для нас наступает ночь. Тогда под бочкой тень, и, кроме тьмы, сквозь расселины к нам, внутрь, ничто не попадает.

Вторые двенадцать часов бочка снова поворачивается на половину эллипса: расселины теперь обращены вверх, к свету,— наступает день.

Пересекая земляные наслоения, почти по нормали к поверхности бочки, мы спустились к сплошной стороне бочки. Пробейте ее, и вы увидите там ночь, хотя сейчас в городе,— сэр Мэтью вытащил часы и направил на них свет фонаря,— половина третьего пополудни.

— Джентльмены,— продолжал он,— в том, что я сообщил вам, только одно вызывает сомнения: почему в те часы, когда у нас ночь, когда мы при вращении бочки перемещаемся вверх,— почему мы тогда не падаем вниз? Я отвечу вам гипотезой, джентльмены: поверхность, по которой катится бочка, обладает, по-видимому, огромной электромагнитной силой. Эта сила путем индукции намагничивает то, что мы называем землей, и создает способность притяжения, которая по ночам удерживает нас и весь город от падения головой вниз.

В заключение я отмечу, джентльмены, что честь этого открытия принадлежит не мне, но моему сыну, Рэджинальду Стейфорсу. Найдя решение задачи, он кратко выразил его формулой на оборотной стороне своего завещания.

10

Сэр Мэтью Стейфорс прерывает вычисления

— Дьявол! — выругался Шарманщик.— Так ничего нет!

— Браво, Рэджи,— задумчиво сказал вор. Он сидел на камне, закинув ногу за ногу и покачиваясь взад и вперед.

Джентльмен с одной бакенбардой, бормоча что-то под нос, с лихорадочной поспешностью перелистывал свою записную книжку.

— Я забыл добавить.— Сэр Мэтью соскочил со своей кафедры и опустил руку в задний карман пиджака. Он вытащил оттуда капсюль динамита с длинным шнуром.— Я намерен взорвать под нами непроницаемую поверхность бочки. Джентльмены! Я хочу добраться до наружной поверхности бочки и исследовать мир извне!

— Ты идешь со мной, Джорджи? — спросил Шарманщик.

Вор посмотрел на сэра Мэтью и ответил:

— Нет, я остаюсь. Прощай, Шарманщик.

Шарманщик закинул мешок с провизией за спину и подошел к веревке. Через несколько минут только свет фонаря скользил по неровной поверхности обрыва.

— Для капсюля нужна щель, сэр? — почтительно спросил вор, подходя к сэру Мэтью ближе.

— Можно киркой проделать небольшое отверстие,— отвечал сэр Мэтью.

Вор, разворотив дерево, заложил в неглубокую щель динамит и, открыв фонарь, осторожно поджег шнур.

— Шнур горит восемь минут,— сказал сэр Мэтью.

Все трое отбежали в сторону и в глубине узкого прохода спрятались за камни. Джентльмен с одной бакенбардой не переставал с чрезвычайной быстротой записывать что-то в свою записную книжку.

Раздался сильный удар. Сэр Мэтью, оборотившись к месту взрыва, слышал, как джентльмен с одной бакенбардой пробормотал себе под нос довольным голосом:

— Если этот удар отразится наверху, так уж наверное победят левые.

Сумеречный свет ударил в очки сэра Мэтью, когда он приблизился к месту взрыва. На пространстве двух-трех саженей деревянная поверхность была взорвана. Куски дерева и толстая ржавая проволока торчали по краям дыры.

— Джентльмены,— сказал сэр Мэтью, указывая на отверстие.— Это дыра в мир! Вы теперь видите, что я был прав, джентльмены.

Вор привязал к огромному крюку, торчавшему в дереве, веревку, и сэр Мэтью первым спустился на наружную сторону винной бочки. Вор и джентльмен с одной бакенбардой последовали за ним.

Они увидели себя на поверхности, правильно пересеченной рядами огромных ребер. Дул легкий ветер. Темно-серый сумеречный свет почти переходил в ночь. Они подня-

ли головы вверх,— над ними расстилалось черное, как сапожный вар, небо. Сэр Мэтью, спрятав подбородок в воротничок, снова улыбнулся.

— Это мир,— сказал он, поднимая руку,— я надеюсь, что он понравится вам больше, чем наш мир, джентльмены! Дело обстоит очень просто! Лондон, по моим вычислениям, находится как раз на поперечной оси бочки; чтобы не попасть под бочку, нам нужно отойти в сторону вдоль ребер. Когда бочка, вращаясь, приблизит нас к поверхности, по которой она катится, нам придется сделать небольшое сальто-мортале, джентльмены. Мы выскочим в мировое пространство, а бочка прокатится над нашими головами.

Они ползком пустились в путь вдоль ребер.

Сэр Мэтью внимательно разглядывал ямы и рытвины, попадавшиеся дорогой, а джентльмен с одной бакенбардой, держа в руке записную книжку, изредка останавливался и губами перелистывал страницу.

На третий час пути черное небо над ними выросло вдвое.

— Мы слишком медленно идем,— сказал сэр Мэтью, оглядываясь на своих спутников,— пора поторопиться, джентльмены.

Вор напевал песню. Немного погодя он спросил:

— Сэр, не скажете ли вы мне: мы летим на небо или небо летит на нас?

Сэр Мэтью поднял голову. Черное небо выросло втрое.

— Бегите,— сказал он, бледнея.— Нам не успеть добраться! Бегите как можно скорее или...

Джентльмен с одной бакенбардой остановился и посмотрел вверх непонимающими глазами.

— Джорджи,— сказал сэр Мэтью,— беги!

Вор, схватив поперек сэра Мэтью, положил его на плечи и побежал, сгибаясь от усталости.

— Брось меня, беги! — сказал сэр Мэтью, сжав губы.

Черное небо выросло в пятьдесят, сто, двести раз.

Вор положил сэра Мэтью на деревянную землю.

— Поздно,— сказал он, тяжело дыша.— Оно раздавит нас раньше, чем мы сделаем наше сальто-мортале. Если может служить утешением, что нас раздавит небо... Впрочем, к черту! Я бы выпил пива.

Джентльмен с одной бакенбардой бежал к ним, потрясая записной книжкой.

— Соберите всех профессоров со всего мира! — кричал он.— Я нашел наконец причину происходящих в нашем мире событий!

Сэр Мэтью, оглянувшись, с сожаленьем покачал головой. Потом поправил воротничок и, взглянув на рыжего джентльмена, в третий раз улыбнулся.

Вор Стейфорс отбежал вправо. Он видел, как сэр Мэтью вместе с рыжим джентльменом исчезли под надвинувшейся громадиной.

И, заглянув козлу под хвост,
Нашел, что он не так уж прост,—

запел вор.

И, весело улыбаясь, снял шляпу и поклонился черному небу.

Страшный шум ударил ему в уши. В одно мгновенье что-то огромное и серое опрокинулось перед ним. Он открыл глаза и увидел себя сброшенным на черное небо. И винная бочка...

1923

БОЛЬШАЯ ИГРА

Фантастическая повесть

Юрию Тынянову

Конечно, многие из вас дружат с игральной колодой, некоторые даже бредят во сне всеми этими семерками, червонными девами, тузами. Но случалось ли вам играть не с подметным лицом, каким-нибудь Иваном Ивановичем, а с собирательным, хотя бы мировой волей? А я играл, и эта игра мне знакома.

Хлебников. Ка

Ты играешь Большую игру.

Киплинг. Ким

1

— Вот я здоров,— сказал эльфин ашкер, смотря прямо в лицо Панаеву,— мои дела благополучны.

— Я очень рад услышать это от тебя,— отвечал Панаев.— Я тоже здоров, и мои дела тоже благополучны.

— Я пользуюсь милостью императора,— сказал эльфин ашкер.

— Я завидую тебе,— отвечал Панаев,— и хотел бы повторить это от своего имени.

— Император поручил мне сказать,— продолжал эльфин ашкер,— что он хочет видеть тебя здесь, в Аддис-Абебе.

— Император хочет видеть меня в Аддис-Абебе? Отлично. Я еду,— отвечал Панаев.

Мул, оседланный по-европейски, стоял неподалеку. Эльфин ашкер кивнул головой, и двое рослых служителей тотчас подвели его к Панаеву.

Панаев вернулся назад, взял шлем, трость и вышел.

Служители, взяв мула под уздцы, шагом повели его по городу. Панаев, низко надвинув шлем на лоб, глядел по сторонам. Он не видел ничего, кроме белых домов, крытых соломой, людей в тогах, коричневых от грязи, и цепи

гор на отдаленном горизонте. Только на одно мгновенье он знаком приказал задержать мула.

Мимо него пробежал старик с грязной тряпкой вокруг костлявых бедер. Он бил руками и ногами в кожу, натянутую на обруч, и кричал что-то высоким гортанным голосом на незнакомом Панаеву наречии. За ним, с достоинством покачиваясь на муле, ехал пожилой человек в белой тоге, закинутой далеко за плечо.

— О чем кричит старик? — спросил Панаев у эльфин ашкера.

— Он кричит: мой господин беден и стар. Мой господин слаб и болен. Дайте хотя бы один талари для моего господина.

— Это нищий?

— Нищий едет на муле,— отвечал эльфин ашкер,— его раб собирает для него подаяние.

Панаев отпустил поводья.

Спустя несколько минут они достигли Геби — дворца негуса [1]. Дом негуса почти ничем не отличался от домов других обитателей Аддис-Абебы, кроме того, что он был двухэтажный и окружен семью оградами — одна в другой, концентрическими кругами. По дворцовым обычаям только принцы крови могли ехать верхом до седьмой ограды.

Панаеву предложили слезть с мула за первой.

Эльфин ашкер жестом пригласил его следовать за собой. Входы и выходы оград были устроены так, что каждый вход был расположен под углом к тому, что за ним следовал.

Шахматным ходом коня Панаев прошел за своим провожатым до самого дворца. Эльфин ашкер исчез, едва лишь гость негуса поднялся по ступенькам террасы.

Подумав мгновенье, Панаев толкнул ногой дверь. Узкая комната под плетеной соломенной крышей была пуста. Немного прихрамывая, Панаев прошел комнату и вновь наткнулся на двери. Он отворил их: старик с волосатым лицом, в черной шелковой мантии и короткой накидке сидел на низком диване. Двое слуг с равнодушными лицами стояли неподалеку.

— Простите,— сказал Панаев, вежливо кланяясь,— не имею ли я честь...

---

[1] Негус — титул императоров в Эфиопии. *(Примеч. авт.)*

— Вот я здоров,— сказал дребезжащим голосом старик в мантии,— и дела мои благополучны. А как здоровье императора твоей страны?

— Благодарю,— отвечал Панаев,— здоровье и дела императора благополучны.

Он замолчал на мгновенье и, вспомнив о последних, слышанных им перед отъездом из России известиях с театра войны, добавил:

— Его войска одерживают победы.

— Как ты ехал в Хабеш? — спросил Уалама.

— Через Сомалиленд.

— Не тревожили ли тебя сомали?

— Нет, я ехал спокойно.

— Не было ли слишком жарко в пути?

— Нет, я легко переношу жару.

— Тейч,— сказал Уалама, оборотясь к слугам, стоявшим за его спиной.

Тотчас двое слуг и кравчий внесли небольшой поднос с двумя маленькими графинами, обернутыми пурпуром. Для Панаева возле одного из графинов стоял стакан. Кравчий налил немного вина в ладонь и быстрым движением поднес руку ко рту. По обычаю, он показывал этим, что вино не отравлено.

— Я негус Хабеша,— сказал Уалама,— я правлю этой страной. А каковы твои занятия, иностранец?

— Я изучаю восточные языки,— отвечал Панаев.— В Хабеш я приехал, чтобы увеличить свои знания.

Негус засмеялся, широко раскрыв рот.

— Ты говоришь по-эфиопски так, как будто ты здесь родился. Откуда ты так хорошо знаешь наш язык?

— В молодости я прожил в Хабеше два года,— объяснил Панаев,— я профессор и учу восточным языкам в Петербургском университете.

— Тейч,— сказал Уалама, кивнув головой на пустые графинчики.

Слуги и кравчий заменили их полными.

— Ты пишешь книги?

— Я написал несколько книг.

— Я хорошо знал трех людей из вашей страны,— сказал Уалама,— и все они были достойные люди. Первым был ваш ученый Башкирцев, он прожил в Аддис-Абебе семь лет и уехал, увезя с собою все драгоценности из церкви святого Габриеля. Второю была женщина из вашей страны — не помню, как ее звали. Она была красива, и

потому сын моего друга Асфала был застрелен в лесу английскими шакалами. Третьим был граф Леонтьев. Он руководил нашей армией в борьбе с итальянцами. Я его очень любил. Случилось так, что он ограбил английское посольство, и эти собаки, кажется, повесили его в Сомалиленде.

Панаев допил свой стакан и внимательно поглядел на негуса.

Негус пил.

— Это были достойные люди,— сказал Панаев.

— Тейч,— сказал Уалама.

Они пили некоторое время молча.

Панаев перевел глаза от лица Уаламы на низкое окно. Он увидел ровные колонны кактусов, эвкалипты и игрушечные дома, обнесенные земляными валами.

— Леонтьева я знал,— сказал он.— Возможно, что он действительно умер в Сомалиленде. У императора есть и европейские вина?

Уалама кивнул головой.

— Токайское, кюммель, портвейн,— отвечал он, хитро улыбнувшись.

Принесли вина.

— Я должен сказать,— начал Панаев, пристально глядя на негуса,— что я явился к тебе с некоторыми важными сообщениями.

— Говори,— отвечал Уалама. Он опрокинулся на спинку дивана и всунул горлышко бутылки с портвейном в рот.

— Известно ли тебе,— продолжал Панаев,— что делают при твоем дворе англичане?

Уалама отнял бутылку ото рта и прислушался.

— Англия, конечно, великая страна,— сказал медленно Панаев,— но ею правит народ. Разве она имеет такого императора, как ты? Король Англии во власти народа. А разве твой народ правит тобою?

— Я правлю моим народом,— отвечал Уалама.

— Хабеш, Конго, Россия — вот три страны, в которых нет ни палат, ни парламентов. Они сжаты в руках императора, как резиновый мячик.

— Да, да, да,— отвечал Уалама,— я знаю, что все иностранцы мошенники. Ты хотел сказать, что делают при моем дворе англичане?

— Я бы выпил рому,— сказал Панаев.

Принесли рому. Негус погладил бороду и выпил графинчик рому.

Панаев едва дотронулся до своего стакана.

— Перейдем к англичанам,— продолжал он.— Правда ли, что у тебя есть двоюродный брат?

Уалама рыгнул и хитро выпятил губы.

— У меня есть двоюродный брат.

— Его зовут Тафарэ?

— Его зовут Тафарэ.

— У него очень часто обедают англичане.

— У Тафарэ хорошие обеды,— объяснил негус,— у него много мяса. Англичане очень любят мясо.

— Но у тебя есть внук Личьясу, сын твоей дочери.

Уалама кивнул головой.

— А кому из них ты завещаешь свой престол?

— Тейч,— сказал Уалама.

Снова принесли вино.

— Англичане — мошенники,— говорил Уалама,— они хотят, чтобы после моей смерти негусом Хабеша стал Тафарэ. Зуб шакала им в зад. На престол сядет Личьясу.

Панаев несколько мгновений внимательно глядел на негуса, потом придвинулся к нему вплотную и сказал, отчеканивая каждое слово:

— Мне известны замыслы англичан. Если ты не отречешься от престола в пользу Личьясу, то престол через десять дней займет Тафарэ.

Негус, широко раскрыв глаза, глядел на него с изумлением.

— Пей, чертов сын,— сказал Панаев по-русски, придвигая непочатую бутылку к Уаламе, и прибавил по-эфиопски: — Может быть, позвать секретаря?

— Я позову секретаря,— отвечал Уалама задумчиво.— Зуб шакала им между ног, они мне мешают пить, эти английские собаки.

Он, шатаясь, подошел к двери и позвал секретаря.

Высокий мужчина в белоснежной тоге и штанах чуть ниже колен вошел в комнату.

— Пиши,— сказал Уалама.

Секретарь присел на корточки и разложил на коленях пергаментную бумагу.

— «Народы Хабеша и народы Тигрэ!» — начал Уалама.

Он рыгнул и встал, качаясь.

2

«№ 348/24

Инспектор

Хью Фоссет Ватсон

Совершенно секретно
Ответственному агенту
Стивену Вуду

Приказ

Настоящим предписываю вам немедленно выехать в Россию (гор. Петроград). Целью вашего откомандирования служит изъятие из рук некоего лица документа, необходимого правительству Британии.

Настоящее поручение возлагается на вас как на агента, знающего русский язык. Ваши обязанности в Кингстауне предписываю сдать агенту Ричарду Броуну. Необходимые суммы высылаются телеграфом.

Розыскная карточка, как и точная копия подлежащего изъятию документа с дословным переводом его на английский язык, при сем прилагается.

Инспектор *Хью Фоссет Ватсон*».

РОЗЫСКНАЯ КАРТОЧКА № 7781

В дополнение к приказу № 348/24

I.	Портрет		не имеется.
II.	Имя, фамилия		неизвестны.
III.	Возраст		лет 45—50.
IV.	Профессия		неизвестна.
V.	Местонахождение		Россия, г. Петроград.
VI.	Приметы	Рост	средний.
		Цвет волос	светлый, носит усы.
VII.	Особые приметы		не имеет левой руки, ходит прихрамывая.

В исполнение приказа № 348/24 принять к сведению.

Инспектор *Хью Фоссет Ватсон*.

. . . .

«Агент *Стивен Вуд*

Инспектору *Хью Фоссету Ватсону*

Сэр!

Как известно, агент разведки обязан не иметь никаких предчувствий (правила агентуры, § 24). Памятуя также, что агент о каждом предчувствии или каком-либо ином внеслужебном ощущении обязан немедленно доложить своему непосредственному начальнику, для замены его в случае надобности агентом, ничего не предчувствующим, осмеливаюсь:

1) доложить вам, сэр, что некоторые неблагоприятные предчувствия овладели мною, и

2) представить вам, сэр, некоторые незначительные подробности моего жизнеописания, которые при моем поступлении на службу остались неизвестными мистеру Гайтону, вашему предшественнику, и которые, я надеюсь, пояснят вам, каким образом у агента долголетней службы могли возникнуть внеслужебные ощущения.

Я не буду задерживать вас, сэр, длительным изложением всех причин, побудивших меня родиться именно в Англии, а не в каком-либо другом месте земного шара.

Мистеру Гайтону, вашему предшественнику, сэр, было известно, что я родился в Годальминге, в тридцати милях от Лондона, в зажиточной купеческой семье «Торговый дом Плоут и К^{0}», у дочери владельца мисс Елизаветы Плоут, девушки восемнадцати лет.

Вы скажете, сэр, что я родился вопреки всем правилам теологии, экзегетики и прочих наук в этом роде? Я должен сознаться, что эти науки для меня не стоят и полпенса.

В тринадцать лет я исколесил всю Англию. Я был газетчиком в Шеффилде, угадывателем мыслей в Плимуте и вором в Лондоне. Наконец в Ньюкасле я сделался шулером.

Вероятнее всего, моя работа в этой области осталась неизвестной мистеру Гайтону, вашему предшественнику, сэр.

Под руководством Джима Эндрьюса, знаменитого игрока, я прошел в специальной школе всю сложнейшую систему шулерской игры. Не буду утомлять вас, сэр, описанием моих занятий в этой школе. Упомяну только, что шулерское дело в Англии восьмидесятых годов было поставлено значительно лучше, чем преподавание в Оксфорде или Кембридже. Впрочем, в школу принимались люди с большей выдержкой, чем эти кембриджские юноши в узких штанах. Моя выдержка к тому времени равнялась восьми годам тюремного заключения, что также, вероятнее всего, осталось неизвестно мистеру Гайтону, вашему предшественнику, сэр. С того времени тюремные системы европейских стран неоднократно привлекали мое внимание, и это впоследствии дало мне возможность с успехом применять выработанный мною способ внутритюремной агентуры.

Одновременно с моими занятиями в школе шулерской игры я начал писать статьи в «Кингстаунской газете». Нужно отметить, что только тупые британцы не могли понять, что в хронике местных событий я возвещал учение, которое несколько столетий тому назад возродило бы мир.

Тогда я впервые пожалел о моем решении родиться в Англии. Я не невежда, сэр, и должен признать, что наука за последние два-три столетия нанесла значительные уроны религии. Но ведь нет ни одного честного британца старше пятидесяти трех лет, который бы по воскресным дням не прочитывал хотя бы одну главу из Ветхого или Нового завета в самом плохом издании.

В самом деле, сэр, ведь не может же быть, чтобы я родился напрасно?!

Не может же быть, чтобы честный британец предпочитал мне какого-то самозванца, который никогда не существовал и который приснился человечеству, когда весь мир был населен евреями и все евреи были раввинами?

Черт возьми, сэр! Я не однажды пытался доказать, что я создатель вселенной, что именно я, и никто другой, отринул землю от небес и пустил винтом всю небесную механику. Все было напрасно; я добился только одного результата: директор бродячего цирка предложил мне показывать фокусы и заняться чтением мыслей на расстоянии.

Должен сознаться, сэр: все рухнуло, в бога верят только старики, и то когда они умирают. Техника Европы убила чудо, и мир вышел из повиновения богу.

Это также, вероятнее всего, осталось неизвестным мистеру Гайтону, вашему предшественнику, сэр.

В интересах дела, поручаемого мне вашим приказом, я должен также известить вас, что от блистательных времен моего владычества над миром у меня осталось только уменье делать карточные фокусы и передергивать при любой игре на виду у всех незаметно.

Сэр, бог одряхлел! Тяжелые предчувствия томят меня, сэр. Впрочем, могу вас заверить, что решительно ничто не помешает мне с рвением отдаться моему делу и во что бы то ни стало выполнить приказ № 348/24.

Готовый к услугам *Стивен Вуд.*

Еще одну минуту, сэр! Я позабыл сообщить вам, что Кингстаун населен сумасшедшими, среди которых множество буйных. Я советую обратить внимание на судью Хюлета, торговку овощами Елизавету Скотт, агента Джемса Броуна и на всех, кто осмеливается утверждать, что у меня поврежден рассудок.

Вы не можете себе представить, сэр, как тяжело жить в городе, населенном несчастными безумцами.

Еще несколько слов о мировых событиях. Не замечали ли вы когда-нибудь, сэр, что именно в то время, когда я играю, совершаются величайшие события истории? Как сейчас помню, в день объявления мировой войны я проиграл две партии в штос на крупную сумму. Вы можете быть уверены, сэр, что я играю недаром».

3

Инспектор Хью Фоссет Ватсон едва успел доложить о письме высшему управлению, а высшее управление едва успело запросить о местопребывании агента английское посольство в России, как Стивен Вуд уже бродил по Петрограду с браунингом в кармане и розыскной карточкой № 7781 перед глазами.

Он появлялся повсюду: то изысканным европейцем в цилиндре и в английском полупальто, то русским офицером в чине штабс-капитана, то оборванцем в серой кепке и разорванной солдатской шинели. Только очень опытный глаз мог различить в оборванце чуть-чуть преувеличенную склонность к сплевыванию сквозь зубы, в блестящем штабс-капитане чересчур четкое движение руки, подносимой к козырьку фуражки. Он появлялся в ресторанах, которые были полны погонами, волочащимися шашками, молодыми людьми в чересчур свежем и изящном белье и дамами на любую сумму.

Погоны сверкали, шашки бряцали по паркету, дамы под электрическим светом люстр глазами, губами и станами обещали неутомимость в любви и быстроту в исполнении желаний.

Он появлялся в тайных клубах-«мельницах», которые были полны людьми во фраках и женщинами в траурной одежде с черной вуалью, наброшенной на лицо. Играя, женщины в трауре оплакивали своих мужей, отцов и братьев, а люди во фраках играли, никого не оплакивая.

Он появлялся в рабочих кварталах, на тайных собраниях, где в засаленных штанах блузники с горящими глазами делили землю и ниспровергали небо.

Город клубами, ресторанами, притонами и тайными собраниями бил в литавры и задыхался, как загнанный пес.

Инспектор полиции Хью Фоссет Ватсон, как и главное управление полиции города Лондона, могли быть довольны агентом Вудом.

Согласно тому правилу секретной агентуры, которое гласит, что каждый агент по прибытии на место назначения обязан тотчас же ознакомиться с расположением местности, на территории которой находится разыскиваемое лицо, он изучал гибнувший город.

Он искал и находил десятки людей сорока пяти — пятидесяти лет, среднего роста, которых война лишила левой руки и заставила ходить прихрамывая, и ни один из них, несмотря на все это, не имел никакого отношения к манифесту негуса Уаламы.

4

Однажды, бродя по Петрограду, Вуд зашел в пивную под названием «Разоренная Бельгия», на Лиговской улице. На этот раз он был одет в обычный полудорожный костюм — резиновое пальто, серое кепи и гетры. Спустившись по ступенькам вниз, он уселся у окна и потребовал пива.

Только три-четыре столика были заняты. За одним из них в глубине комнаты сидели блестящий студент в застегнутой доверху шинели, на которой императорскими орлами горели пуговицы, женщина, одетая с наивозможной скромностью, и оборванец.

Вуд прислушался к тому, что они говорили.

— В этом году дела самые что ни на есть пустые,— говорил оборванец,— вот в прошлом году была тактичная работа.

— Вот видите ли,— говорил студент, раскрыв портсигар и с нервностью постукивая папиросой о край стола,— сегодня, когда мы познакомились, я говорил вам, что мне бы очень хотелось принять участие в... в ваших занятиях.

Он замолчал на мгновение и быстро перевел глаза с зеркала напротив на лицо оборванца и обратно.

— Видите ли, трудно жить на те средства, которые мне предоставлены. Я не могу из-за недостатка в средствах отказывать себе... в моих друзьях из высшего общества или...

— Или в нескольких подругах,— добавила женщина.

— Словом, ваши занятия или, вернее, мое участие в ваших занятиях было бы для меня желательно. Так что, может быть, я...

— Если вы будете только наводчиком,— сказал оборванец,— так из этого, пожалуй, клею не выжмешь. Да и вас это не покроет.

— Наводчик... это, так сказать, показывать вам различные места для покражи?

— Именно так-с. Если можно так выразиться, для совершения противозаконных действий.

Вуд за столом напротив допил свой стакан и налил из другой бутылки.

— Если бы вы допустили меня к участию в ваших делах,— говорил студент, бегая глазами и потирая слегка дрожащие руки,— это было бы одинаково удобно для нас обоих. Я часто бываю среди общества, которое могло бы, вероятно, занять вас.

Оборванец почесал небритый подбородок.

— Вы, кажется, изволите пребывать-с на восточном факультете?

— Да.

Вуд прислушался. Внезапная мысль о человеке, обладающем «документом, необходимым правительству Британии», мелькнула в голове и чуть не заставила расплескать пиво.

— У вас, должно быть, имеются знакомства среди...

Оборванец перегнулся через стол к студенту и что-то прошептал на ухо. Студент отвечал также шепотом.

Вуд встал и подошел к ним.

— Простите,— сказал он, обращаясь к студенту,— вы разрешите мне оторвать вас от ваших друзей на одну минуту?

— Я к вашим услугам,— сказал студент, вскакивая.

Они отошли в сторону и сели за столик у окна.

— Будем знакомы,— сказал агент,— Шарыгин из Киева. Где-то имел удовольствие вас видеть.

— Свехновицкий,— пробормотал студент.

— Я слышал ваш разговор,— начал холодно Вуд,— и очень жалел, что в вашем университете, по-видимому, не имеют понятия о регенсдорфской тюремной системе. Эта система, уверяю вас, совершенно излечивает от всякой склонности к преступлениям.

— Милостивый государь...— начал с гневом Свехновицкий.

— Впрочем, я позволил себе потревожить вас по другому делу.— Вуд ласково улыбнулся или попытался улыбнуться, подняв углы губ и сморщив кожу на переносице.— Я слышал, что вы студент восточного факультета. А позвольте узнать, по каким языкам?

— Я изучаю арабский, персидский, турецкий, если вам угодно.

— А известен вам эфиопский язык?

— Эфиопского я почти не знаю. Но что вам, собственно говоря, от меня нужно?

— Еще один вопрос. Не знаете ли вы здесь, в Петрограде, человека, который бы владел этим языком вполне свободно?

— Кроме бывшего русского посланника в Хабеше, который уже года два-три как вернулся в Петроград, никого не знаю. Да и посланника знаю только по имени.

— А позвольте узнать, кто преподает этот язык в вашем университете?

— Со времени моего поступления в университет этот язык у нас не преподавался. А почему, собственно говоря, вас это интересует?

Вуд как будто не расслышал вопроса.

— Не знаете ли вы случайно, кто преподавал этот язык до вашего поступления в университет?

— Эфиопский язык преподавал профессор Панаев. Вы, вероятно, восточник?

— Панаев? Ах да! — вспомнил Вуд.— Этот безрукий?

— Нет, совсем не безрукий, то есть у него две руки.

— Да нет!

— Могу вас уверить. Правда, близко я его никогда не знал, но бывал на его лекциях и видел его неоднократно.

Вуд снова сморщил лицо в приветливую улыбку.

— Позвольте теперь объяснить вам мою назойливость. У меня сохранился очень древний документ, написанный, по преданию, на эфиопском языке. Мой предок Матвей Шарыгин еще при Елизавете попал в Хабеш и вывез оттуда документ, который якобы заключает точные указания на местонахождение зарытого там клада. Я тщетно пытался в Киеве отыскать человека, знакомого с этим языком. Если бы вы помогли мне, я был бы вам сердечно обязан.

— Вот в чем дело! Это действительно любопытно. Может быть, я попытался бы. У вас при себе этот документ?

— К сожалению, не захватил.

— А вы занесли бы его ко мне как-нибудь!

— С удовольствием. Вы позволите ваш адрес?

— Литейный, тридцать два, квартира четырнадцать, к вашим услугам. Заходите в воскресенье, часов в шесть.

— Благодарю вас, зайду непременно.

Вуд с благодарностью пожал руку Свехновицкому, расплатился и вышел.

Студент вернулся к своему столу.

— Отчасти это даже нетактично — сообщать незнакомым людям про свою квартиру,— сказал оборванец, с иронией сощурив глаз,— так очень даже просто и на борзого клюнуть-с! Так с вами и работы никакой-с. На том и простите-с.

Он встал, покачиваясь, и застегнул порванное пальто на все пуговицы.

— Оставь его, Сигизмунд,— сказала женщина студенту, и оборванец, размахивая тросточкой, весело поклонился и выбежал из пивной.

У Николаевского вокзала он догнал Вуда.

— Позвольте-с вас на одно мгновенье,— сказал он, касаясь плеча агента,— я слышал, что́ вы бубнили пижону. А не нужен ли вам опытный фай?

Вуд обернулся к нему с веселым видом.

— Ах, это вы,— сказал он,— отлично. Может быть, ваши услуги мне понадобятся. Где же тогда позволите вас искать?

— На Обводном-с, в заведенье Юдки Гамбера, номер девяносто восемь. Спросить Ваську Скривела.

Вуд записал адрес, ласково похлопал оборванца по плечу и повернул на Невский.

5

В назначенный день Вуд звонил у квартиры Свехновицкого.

Горничная отворила ему двери.

— Простите,— сказал Вуд,— могу я увидеть студента Свехновицкого?

Горничная исчезла, где-то далеко постучала в двери и крикнула:

— Сигизмунд Фелицианович, к вам!

Студент вышел бледный, с заспанным лицом, в тужурке, небрежно накинутой на плечи.

— Если разрешите,— сказал Вуд, вежливо улыбаясь.

Они прошли в комнату Свехновицкого.

— Вы, кажется, из Киева? — спросил студент, подвигая к Вуду ящик с сигарами.— Вы раньше в Петрограде не бывали?

— Нет, не бывал,— поспешно отвечал Вуд. Щелкнув зубами, он откусил кончик сигары.— Никогда раньше не бывал. Очень интересно. Замечательный город. Я думаю, впрочем, что он требует еще некоторой организационной работы.

— Да? Какой же именно?

— Работы над тюрьмами. Россия совершенно отстала в этом отношении от Запада. Я на днях с удивлением узнал, что в петроградских тюрьмах господствуют устаревшие, никуда не годные системы.

Студент посмотрел на него с удивлением.

— А почему, собственно, вы заинтересовались тюрьмами?

Вуд поднял к нему лицо, изрезанное морщинами. Углы губ раздвинулись, глаза сузились, подбородок выдвинулся вперед. Он смеялся.

— Нет, я просто одно время имел отношение к юриспруденции и интересовался именно тюремным вопросом. Не больше. Но я, вероятно, задерживаю вас? Может быть...

— Нет, нисколько. Вы, кажется, хотели принести мне ваш документ на эфиопском языке?

— Да, я принес его. Но только... Я сам не знаю, о чем идет речь в этом документе. Поэтому, если старинное предание о местонахождении клада окажется достоверным, то...

— Вы можете быть уверены в моей скромности,— поспешно перебил Свехновицкий.

— Я совершенно уверен в вас,— сказал агент,— а еще больше — в вашем знании языка.

— Боюсь, что касательно второго я обману ваши ожидания.

Вуд вытащил из бокового кармана сверток пергаментной бумаги и развернул его на столе.

Свехновицкий долго и с большим усердием рассматривал документ.

Он взял с полки огромный эфиопско-французский словарь и с его помощью пытался перевести манифест негуса Уаламы.

Вуд молча следил за ним внимательными глазами.

— Прежде всего я должен разочаровать вас насчет старинности документа,— начал Свехновицкий, отрываясь от текста.— Даже мой весьма неопытный глаз ясно разли-

чает, что этот документ составлен самое большее лет тридцать тому назад.

«Или дней тридцать»,— добавил мысленно Вуд.

— Первая фраза представляет собою обращение,—продолжал студент,—и переводится очень легко: «Народы Хабеша и народы Тигрэ!» Дальше идет речь о государственной власти, о борьбе с какими-то врагами, а для перевода, нужно сознаться, у меня не хватает знания языка.

— Ах так! — улыбаясь, сказал агент.

— Но можно быть почти уверенным, что ваше старинное предание недостоверно. Бумага имеет печать и, по всем признакам, носит официальный характер. Это какой-то приказ или, быть может, судебное решение, не больше. Можно быть вполне уверенным, что указания на местонахождение клада не начинались бы обращением ко всему населению.

— Ах да! — с сожалением подтвердил Вуд.— Пожалуй, вы правы. Но все-таки неужели в Петрограде не найдется ни одного человека, который бы прочел этот приказ или судебное решение?

Студент задумался.

— Собственно говоря, нет ничего проще,— сказал он небрежно.— Зайдите в Азиатский музей при Академии наук, и я убежден, что там среди библиотекарей найдутся люди, которые помогут вам.

— Вот на этот раз я исполнил ваш совет заранее. Как раз вчера я был в Азиатском музее, и мне решительно отказали в переводе этого документа по причине незнания диалекта, на котором он написан.

— А к кому именно вы обращались?

— Не помню фамилии,— отвечал Вуд серьезно.— У меня очень дурная память на фамилии.

Свехновицкий снова задумался.

— Если бы вы сумели найти профессора Панаева,— сказал он наконец,— ваш документ был бы переведен в четверть часа.

— Ах да, Панаев! Но, может быть, вам известен его адрес?

— Нет. Я думаю, его адрес никому неизвестен. Если вы хотите найти его, отправляйтесь в игорный притон самого низкого пошиба.

— Притон? Игорный притон? Вот странно! — вскричал Вуд.— Он, кажется, профессор университета; и вдруг вы предлагаете мне искать его в игорном притоне.

— Он давно оставил университет,— сказал Свехновицкий.— Впрочем, я ничего достоверного о нем не знаю. О Панаеве ходят странные слухи: говорят, что он наркоман, говорят, что он гениальный шулер, говорят, что он авантюрист и неоднократно показывал себя с этой стороны во время своего пребывания на Востоке.

Вуд снова беззвучно рассмеялся.

— И вы говорите, что у него целы обе руки?

Студент посмотрел на него с опаской.

— Да, у него целы обе руки,— сказал он, вставая и давая этим понять, что визит окончен.

Вуд вскочил, бросив на стол сигару.

— Благодарю за ваши сведения,— сказал он,— я боюсь, что навряд ли моему документу суждено быть переведенным в Петрограде.

Студент проводил его до двери. Он откланялся и ушел.

6

В течение недели Вуд шнырял по притонам Петрограда. Он бывал в тайных притонах на Васильевском, в глухих местах, куда не осмеливалась за годы войны проникать полиция, на Ротах, в публичных домах, где рядом с солдатами, убегавшими на ночь из Измайловских казарм, биржевики и маклеры, которыми кишел город, проводили пьяные ночи и где под веселую музыку танго и «Черных гусаров» процветали очко и железка.

Он бывал в картежных притонах на Витебской улице, где редкая ночь проходила без поножовщины, и в «Холмушах» на Воронежской, где бывшие экономки публичных домов торговали коньяком и ханжою. Внимательный и осторожный, занятый своим делом, помня только приказ № 348/24 и настойчиво стремясь найти человека, указанного розыскной карточкой, он мог бы удовлетворить самые строгие требования секретной агентуры. Инспектор Хью Фоссет Ватсон не узнал бы в нем автора письма о внеслужебных ощущениях, а английское посольство успокоительно ответило бы на запрос «Интеллидженс сервис».

Однажды Вуд попал в игорный притон на Лиговке. Он был одет оборванцем, которому кое-что удалось стащить, в дырявом котелке, порыжелом пальто и опорках.

Притон ничем не отличался от десятка других, которые посещал Вуд во время своих блужданий. На втором дворе во флигеле грязного дома в трех-четырех комнатах играли в карты, пили. Аферисты и шулера, одетые иногда с изысканностью, обсуждали дела наряду с настоящими архаровцами, пробродяженными до мозга костей. Гастролеры и маравихеры намечали пассажиров и делили награбленное. Здесь, готовясь сгореть, прогуливали последние дни мойщики, здесь наводчики с аристократами делали рыхту и блатовали неопытных еще воров.

Вуд прошелся по комнатам с небрежным и рассеянным видом, останавливаясь здесь и там на минутку у каждого стола, чтобы взять карту, проиграть или выиграть два-три рубля, прислушаться к разговору и, мельком взглянув на лица и руки играющих, пройти дальше.

Наконец, снова теряя надежду найти Панаева, он принялся наблюдать за игрой на небольшом столе в задней комнате.

Трое бродяг, молчаливых, как статуи, играли в очко, любимую игру притонов. Один из них, молодой, румяный, с небольшими усиками, франтовски одетый в новенький пиджак и высокие лакированные сапоги, держал банк. Двое других — усатый старик с сухим лицом, сидевший прямо, заложив левую руку за борт пальто, и костлявый парень в солдатской гимнастерке — были его партнерами.

Вуд шатался неподалеку от них, заглядывая в карты, куря крупную, едкую, как огонь, махорку и не пропуская ни одного взгляда, мельком брошенного на него.

Спустя полчаса к столу, за которым он следил, подошел какой-то оборванец.

— Ха, бурч, дай-ка карточку!

— Не игра,— коротко сказал старик, отталкивая протянутую руку.

Это значило, что играют на какое-нибудь дело и что нового партнера в круг не берут.

Привстав, старик вытащил левую руку из-за борта пальто и осторожно положил ее на стол. Рука, разгибаясь, щелкнула.

«Лет сорок пять — пятьдесят? Пожалуй, больше. Носит усы, светлые волосы, ходит прихрамывая»,— розыскная карточка промелькнула перед глазами Вуда.— Посмотрим, однако, ходит ли он прихрамывая?

— Играем, брат, на гранд,— вежливо сказал франтоватый банкомет оборванцу,— подходи через полчасика.

Они продолжали игру.

— Карту!

— Пожалуйте шеперочку!

— Еще! Довольно!

— Восемь, двенадцать, шестнадцать. А ну, натянем-ка чижика!

Положив две карты рубашками вверх, франт принялся, медленно выдвигая нижнюю карту, натягивать себе очко. Старик глядел на него равнодушными глазами.

— Просадил,— сказал банкомет, бросая карты на стол.

Банк перешел к старику. Собрав карты на столе и вложив их в левую руку, он быстро стасовал колоду. Рука приподнялась вверх, снова щелкнула и упала на стол с металлическим стуком.

Вуд, блестя глазами, закурил и вновь прошелся по притону.

Спустя несколько минут франтоватый парень, проигравшись дотла, о чем-то горячо заговорил со стариком, бросил карты, плюнул, пошел к прилавку. Костлявый партнер исчез куда-то.

Старик остался один за столом.

Франтоватый парень выпил водки из пивного стакана, притопнул ногой и затянул сладким тенором:

Позарастали
Мохом дорожки,
Где проходили
Милого ножки.

Мужик в поддевке, стоявший за прилавком, тотчас подтянул:

Позарастали,
Попропадали,
Где мы с тобою,
Мой милый, гуляли...

И уже весь притон пел:

Позарастали,
Попропадали,
Где мы с тобою
Цветики рвали...

Старик сидел неподвижно, глядя перед собой равнодушными и усталыми глазами. Левая рука, которая, казалось бы, ничем не отличалась от правой, закинутая назад, свисала со спинки стула.

Вуд, наклонившись всем телом и заслоняя собой фигуру старика, вытащил иглу и с силой вколол ее в руку повыше кисти.

Старик не обернулся. Вуд беззвучно рассмеялся и, блестя глазами, вытащил иглу.

Притоп гремел:

В комнатке тихой
За ширмочка́ми
Стоит кроватка
С подушечка́ми.

Дверь распахнулась с пронзительным свистом, визгливый женский голос прокричал:

— Фа-ра-оны!..

Старик вскочил и, осторожно пробираясь вдоль стены, к стене спиной, свернул, прихрамывая, в темный коридор. Вуд, не спуская с него взгляда, прошел за ним крадущимися шагами.

Внезапно в темноте снизу замаячил свет. Что-то черное мелькнуло в свету и тотчас же исчезло.

Вуд осторожно подошел ближе: подъемный люк вел на круговую лестницу.

Подождав, пока шаги умолкли внизу, Вуд прикрыл за собой люк и спустился по лестнице.

Пробежав через небольшой двор, он вышел на Лиговку. Невдалеке под фонарем он различил четкую фигуру. Осторожно ступая, перебегая в тени вдоль заборов, он приблизился к старику. Вдруг ветер донес до него песню. Старик пел глуховатым голосом, слегка помахивая в такт правой рукой:

А на кроватке
Милка лежала,
На правой ручке
Дружка держала.

«Милая Дуся,
Я не боюся,—
Мене зачалют,
Я откуплюся».

7

Старик с искусственной рукой пересек Знаменскую площадь, прошел по Лиговке до Мальцевского рынка и свернул вдоль решетки сада по Бассейной.

Агент шел за ним, избегая освещенных мест. Походка его приобрела эластичность, мягкость. Опустив голову и подняв воротник пальто, он скользил в снегу, прячась за каждым выступом дома.

Старик пересек Большую Болотную, прошел дальше и на углу 10-й Рождественской и Суворовского купил газету. В ясном свете фонарей он пошел дальше по 10-й Рождественской, покачивая в такт шагам левой рукой.

Едва только четкая фигура скрылась в тени огромного углового дома, агент быстро перебежал дорогу и осторожно выглянул из-за угла.

Старик исчез. Вуд прошел несколько шагов, заглянул в переулок — никого не было видно в снегу — и остановился неподвижно.

Спустя несколько минут мимо него в ворота дома прошел китаец.

Вуд отошел немного назад, закурил и, выдвинув нижнюю челюсть, опустив углы губ, беззвучно рассмеялся.

Немного погодя за первым китайцем последовал второй, потом третий.

Вуд бросил папиросу и, пройдя небольшой дворик, наугад постучал в двери.

— Ктоа таам?

— Свой, отворите, пожалуйста.

Подслеповатый китаец без шума отворил дверь.

— Простите,— сказал Вуд,— не могу ли я увидеть...

Он остановился, не зная, кого назвать,— китаец, не слушая, распахнул перед ним двери.

Вуд прошел коридор, освещенный коптящей лампой. Китаец исчез.

Вуд отворил дверь и остановился на пороге неподвижно, вскинув брови.

— Раостуй, господин,— сказал пожилой китаец, сидевший на табурете возле двери.

— Здравствуйте,— отвечал Вуд.

Они помолчали немного.

— Пеарвый рааз? — спросил китаец.

— Первый раз,— отвечал Вуд, улыбнувшись.

Китаец встал и отворил двери во вторую комнату. Вуд сделал несколько шагов и остановился, зорко оглядываясь.

Комната вдоль по стенам была прорезана низкими нарами.

Кое-где на грудах тряпок лежали с полузакрытыми глазами китайцы. Старик с искусственной рукой растянулся на низкой кушетке, недалеко от двери.

Подслеповатый китаец, неслышно ступая, указал Вуду свободное место на нарах. Немного погодя он принес трубку и несколько кубиков опия. Агент лег, и китаец, сунув ему в зубы мундштук, принялся вмазывать опий в трубку.

Стараясь не дышать грудью, Вуд начал втягивать дым пожелтевшими губами.

«Главное — система. Ни одного шага нельзя делать без системы».

Еще внимательными и острыми глазами он видел, как пожилой китаец подошел к старику и о чем-то заговорил с ним.

— Как дела, Ляо Тянь? — спросил старик, не выпуская изо рта мундштук трубки.

— Плуохо деала, сяньшэн Панафу,— отвечал Ляо Тянь певуче.

«Панафу — это Панаев»,— догадался Вуд.

Легкий и приторный дым поплыл вокруг него. Он неожиданно почувствовал страшную усталость, подумал: «Нельзя дышать, усну»,— в то же мгновение машинально вдохнул дым и на секунду задохся.

Китаец равнодушно вмазывал кубик за кубиком в трубку. Пол и потолок сплющились, и зеленый свет закружился досадными точками.

Потом зеленый сменился голубым, и потолок ударился в небо.

Слово «система», вычерченное красными буквами на блестящей стальной пластинке, ударило ему в лоб. Лоб раскололся от удара и тотчас замкнулся снова.

Комната вытянулась в длинный и узкий коридор, вымощенный квадратными плитами.

Высокий патер в рясе с опущенным капюшоном читал посредине коридора «Deus Magnus» [1], и бледные лица прижимались к решетчатым отверстиям в двери. Вуд узнал Борстальскую тюрьму оборонской системы молчания, в которой он сидел несколько лет в молодости.

Патер прервал молитву и сказал, отбрасывая капюшон:

— Тысяча двести восемьдесят две камеры ночного разъединения, четырнадцать карцеров и шесть камер при-

[1] «Всемогущий бог» *(лат.)*.

говоренных к лишению жизни. Молчанье содействует нравственному воспитанию.

Потом он закрылся капюшоном и превратился в небольшой зеленый фонарь на носке ботинка Вуда.

Китаец подошел и сбросил фонарь вниз.

— Благодарю вас, сэр,— сказал Вуд, приподнимаясь.

Каждая стена курильни проломилась под тупым углом, и восьмистороння зала возникла под серым светом, падавшим сверху.

Семь коридоров отходили от стен в глубину. Усталый надсмотрщик на низкой скамейке возле камеры заснул над Библией.

— Ба, Черри Гиль! — вскричал Вуд.— Пенсильванская тюрьма!

Привычной рукой он ощупал на груди бляху с номером. Бляха приблизилась к глазам.

— Четыре тысячи триста двадцать два,— сказал Вуд.

— Здесь,— ответил он самому себе.

— На прогулку,— сказал надсмотрщик через отверстие в двери. Шулер соскочил с нар, расплатился с китайцем, снял с гвоздя вязаную маску с прорезями для глаз и отправился обычным путем по длинному коридору, залитому серым бетоном, на арестантский дворик.

— Знаю,— сказал Вуд,— маска и серый бетон: Сен-Жильская тюрьма.

Надсмотрщик положил руку на его плечо и спросил певуче:

— Пеарвый рааз?

Вуд обернулся. Длинный коридор раскинулся крестом, окруженным пятью стенами. Дверь с правой стороны отворилась. Вуд ступил шаг и зажег спичку: под ногами были трехгранные брусья острыми концами вверх. Он бросился назад. Дверь захлопнулась, и свет погас.

— Черт возьми,— сказал Вуд, приподнимаясь,— это регенсдорфская система.

Ляо Тянь вошел в комнату и присел на низенький табурет возле двери.

— Что-нибудь одно, нет, что-нибудь одно,— сказал Вуд,— или я...

Потолок упал на него и рассыпался кусками извести. Он сидел на нарах и озабоченно чистил платье. На нем была полосатая куртка каторжника с жестяными пуговицами. Верхняя пуговица превратилась в глаз. Глаз смот-

рел на Вуда. Рядом с ним возник второй, морщинистый лоб прорезался над ними. Небритый подбородок выдвинулся вперед. Лицо смотрело на Вуда.

— Довольно, черт возьми,— сказало лицо, и чья-то рука схватила агента за шиворот.— Я думаю, что вам порядочная чертовщина снится.

Серый свет прыгнул вверх и расплющился. Вуд открыл глаза.

Он приподнялся и сел на нарах, бледный, с осунувшимся лицом, с горящими глазами.

— Ага! — вскричал он, взмахивая рукой.— Вот в чем дело! Очень рад видеть вас, сэр! Как нравится вам регенсдорфская система? Вы не находите ли, черт возьми, что мир вышел из повиновения богу?

Панаев отступил на два шага и посмотрел на него с удивлением.

Вуд соскочил с нар, положил ему руку на плечо и продолжал, сверкая глазами:

— Все гибнет, сэр! Мир вышел из повиновения богу! Но я нашел наконец способ, которым можно в несколько лет вернуть мне власть, а миру покорность. Нет ничего проще, сэр! Стоит только организовать мир по тюремной системе города Регенсдорфа.

Панаев взглянул на Ляо Тяня. Китаец подошел к Вуду и стал легонько похлопывать его по плечу.

— Нитчеаго, нитчеаго, это пеарвый рааз тоалька. Сейчас проайдет. Нитчеаго, бывает.

— Одну минуту внимания, сэр! — продолжал агент.— Как могут они сомневаться в том, что я бог?! Вы представляете себе, сэр, организацию мира по тюремной системе? Надсмотрщики у дверей, свет сверху, прогулки по мощеным плитам, Библия — и человечество снова в моей власти. Точность, покорность, молчанье — время времени и пространство пространства.

Взгляд его упал на левую руку Панаева. Он вздрогнул и остановился: «Панаев»...

— Нитчеаго,— повторил Ляо Тянь,— вот и проашло! Здаоров буудешь! Коари дальше! Нитчеаго!

Вуд поднес руку к лицу и задумался. Еще минута, и строителя мира по регенсдорфской системе сменил агент, спокойный, с бесстрастным лицом.

— Однако,— сказал он, пытаясь улыбнуться Панаеву,— как сильно на меня подействовал опиум. Я, кажется, обеспокоил вас, простите.

— Нет, ничего,— отвечал Панаев,— вы меня даже заинтересовали. Организовать мир по тюремной системе? Странная мысль!

Вуд рассмеялся.

— Вот уж не знаю, что забрело мне в голову. Как вы говорите — мир по тюремной системе? Да, в самом деле престранная мысль.

Взгляд его упал на газету, лежавшую в изголовье кушетки.

Он прочел почти машинально: «Большое сражение у Вердена. Атака германцев в районе Вердена (фронт сорок километров) принимает размеры крупного боя с возрастающим напряжением. Бомбардировка ведется из орудий крупного калибра».

Он обернулся. Панаев подозвал Ляо Тяня, расплатился с ним, кивнул Вуду головой и вышел из комнаты. Агент бросился за ним.

Подслеповатый китаец вновь отворил дверь. Вуд кинул ему мелкую монету, перешел дворик и исчез за воротами.

8

«*Февраля 12.* Провел ночь в доме № 112 по Обводному каналу. Вышел в семь утра, пошел по Лиговке, свернул на Невский, вошел в подъезд дома № 106. Вышел через полчаса переодетый — фетровая шляпа, черное пальто с бархатным воротником, в руке трость.

Февраля 13. С одиннадцати часов утра целый день не выходил из дома № 106 по Невскому. Ночь провел там же.

Февраля 14. Вышел в двенадцать дня — черное пальто, шляпа, трость, с портфелем, дошел пешком до Морской, прошелся назад до Казанского собора. Кого-то ждал; через полчаса поехал на извозчике через Дворцовый мост. Зашел в Азиатский музей. Оставался там до трех с половиной; вышел с туго набитым портфелем. Вернулся в № 106 и там оставался до ночи. В двенадцать часов пешком пошел в клуб — Владимирский, 12. В клубе играл и много выиграл. Сведения о том, что он шулер, по-видимому, ложны. Ничего не заметил.

Февраля 15. Вчера ночью вышел из дома № 106, одетый в солдатскую шинель без ремня, в черной форменной фуражке. Прошел до Знаменской площади, свернул на Калашниковский проспект, прошел в курильню. Пробыл до утра. Утром вышел с китайцем; оживленно говорили. Дошли вдвоем до Суворовского; китаец

вернулся назад. Прошел до Греческого; ворота № 47. Оставался до утра.

Февраля 16. Весь день у № 106. Не приходил.

Февраля 17. То же.

Февраля 18. То же. Справлялся у дворника: не проживает.

Февраля 19. Справлялся о местожительстве. Дали ответ: выехал в 1915 году.

Февраля 20. Потерял след.

Февраля 21. В двенадцать часов ночи встретился у Владимирского клуба. У входа говорил с высоким в пенсне, белокурым, лет тридцати пяти — сорока. Кольца на руках. Играл всю ночь. Много выиграл. Шулер? Играет кованой колодой? Вернулся в семь часов утра.

Февраля 22. Провел весь день в № 106, кв. 27, 2-й этаж, слева третье окно.

В девять часов вечера вышел в солдатской шинели и меховой шапке с ушами. На трамвае поехал на Васильевский. Слез у 7-й линии; прошел пешком до Среднего проспекта. Вошел в дом № 64. Игорный притон. Оставался до трех ночи.

Февраля 24. . . . .

Февраля 26. . . . .

Февраля 28. Ночь провел в клубе на Владимирском.

Марта 2. . . . .

Марта 4. . . . .

Марта 7. Ночь провел в клубе на Владимирском. Бывает здесь еженедельно.

Марта 8. В два часа дня поехал в министерство по иностранным делам. Провел там два часа. Вернулся и не выходил до ночи».

9

В то время как англиканская церковь во главе с архиепископом Честером молила бога о ниспослании победы над проклятыми немцами, католическая церковь — римский конклав — папа Бенедикт и кардиналы молили бога о поражении нечестивых поборников лютеранской ереси, а лютеранская церковь молила бога о том, чтобы ненавистные союзники были повержены в прах,— агент разведки Стивен Вуд — если не бог, то по крайней мере называвший себя богом — шаг за шагом выслеживал владельца документа, необходимого правительству Британии.

Восьмого марта он шел по Обводному каналу, следя за номерами домов.

«Девяносто два, девяносто четыре, девяносто шесть, девяносто восемь».

«Чайное заведение для извозчиков. Доступно ломовым. Юдель Гамбер и К°»,— прочел Вуд.

В чайной стоял сизый туман. Хозяин — рыжий парень с плутовской рожей — сидел за прилавком и пил чай с блюдечка. Рядом с ним хрипел граммофон.

— Что прикажете?

— Мне нужно Скривела,— сказал агент,— он здесь сейчас?

— А вам, позвольте узнать, по какому делу?

— Это вас не касается.

— Как это не касается? — сказал с обидой рыжий парень, выставляя вперед огромную вставную челюсть,— если я и есть самый Скривел?

— Пустое,— сказал Вуд.— Я знаю Скривела. Вы не Скривел.

— Я Ваську могу позвать, конечно,— сказал рыжий, пряча челюсть. И, обернувшись к двери, которая вела в соседнюю комнату, он крикнул: — Васька, поди сюда, тебе господин просит.

Скривел вошел в фуражке, лихо надвинутой на ухо. Увидев агента, он сбросил фуражку и протянул ему грязную руку, с гордостью поглядывая вокруг.

— У меня к вам дело, любезный Скривел,— сказал Вуд, не давая ему руки.

Оборванец провел его в соседнюю комнату, почти пустую.

— С вашего ко мне обращенья, не угодно ли-с суфле афирон — пивца или, может, беленькой потребуется?

— Дело у меня к вам вот какое,— продолжал Вуд,— хотите вы заработать сотню-другую?

— Коман ву портреву, со всем нашим удовольствием!

— Вы умеете править авто?

— Править машиной? — переспросил Скривел.— Вам шофер нужен?

— Мне нужен хороший шофер,— сказал Вуд,— такой, чтобы он мог на ходу подбить извозчика и проехать дальше.

— Мм,— промычал с одобрением оборванец,— понимаем. Я могу и такого шофера достать.

— Кроме того, мне нужен извозчик. Вам извозчиком не приходилось быть?

— Мы, конечно, взломщики,— отвечал Скривел, почесав за ухом,— но, конечно, в случае чего можно и извозчиком. Пожалуйста вам и извозчик.

Вуд вытащил портсигар, закурил, предложил папиросу оборванцу.

— Так поговорим.

Они говорили около часу. Агент разложил на столе лист бумаги, начертил несколько линий карандашом и передал бумагу вместе с деньгами Скривелу.

Скривел сложил бумагу, сунул деньги в карман, снова содрал фуражку с взлохмаченной головы и раскланялся.

У моста, недалеко от заведения Юделя Гамбера, Вуд сел в трамвай и поехал к Литейному проспекту...

Афишки на стеклах трамвая советовали покупать шоколад Крафта, кровати Ефима Преловского и венскую мебель братьев Тонéт. Мальчишка в красной шапочке разевал рот на банку с какао, черномазый негритенок подносил ко рту полные горсти разноцветных леденцов, полнощекая розовая девочка рядом с ним заявляла со смехом, что она умывается только мылом Брокара № 11714...

У Литейного проспекта агент спрыгнул с трамвая и спустя несколько минут звонил у дверей квартиры Свехновицкого.

Он позвонил дважды. Никто не отзывался. Подождав немного, он позвонил в третий раз и пошевелил ручкой.

Наконец кто-то отворил внутренние двери и спросил с тревогой:

— Кто там?

— Могу я увидеть Свехновицкого, Сигизмунда Фелициановича? — спросил Вуд.

— По какому делу? — отвечали за дверью.

— Нет, ничего особенно важного,— сказал агент,— просто я уезжаю и хотел бы увидеть его перед отъездом.

Входная дверь дернулась на цепочке, и сквозь щель Вуд рассмотрел встревоженное лицо студента.

— Ах, это вы! — сказал он наконец, узнавая Вуда.

— Простите, что осмеливаюсь вторично беспокоить вас,— сказал агент, кланяясь и защелкивая за собой замок.

Свехновицкий провел его к себе и предложил садиться.

— Чем могу служить?

— Видите ли, я уезжаю из Петрограда,— начал Вуд, поднимая углы губ и улыбаясь,— очень скоро, дня через

два-три, а дело с моим документом так и не разрешилось. Так его никто и не перевел.

— Вы, кажется, собирались обратиться к Панаеву? — спросил Свехновицкий.

— Да, именно к Панаеву: но при всем желании я никак не мог его найти. Разумеется, я и не пытался искать его в игорных притонах, как вы мне изволили указать в прошлый раз. Мне указывали, где он чаще всего бывает, я заходил туда несколько раз, но никогда не находил его там.

Вуд взглянул на Свехновицкого. Студент сидел с бледным лицом и усталыми глазами и, не слушая, смотрел в окно, мимо агента.

— Простите,— сказал Вуд.— Простите,— повторил он немного громче.

Свехновицкий извинился усталостью и просил продолжать.

— Именно по поводу этого документа я и зашел к вам вторично,— продолжал Вуд.— Не могли ли бы вы, Сигизмунд Фелицианович, одно одолжение...

— Я к вашим услугам,— отвечал студент, не отводя глаз от окна.

— Один из моих знакомых переписывался с известным востоковедом Френом в Голландии. Он обещал мне послать со своими письмом точную копию моего документа и ручается, что через три-четыре недели я получу точный перевод. Я и сам пытался было сделать эту копию, но, увы, совершенно неудачно.

Он вытащил из бокового кармана точную копию завещания Уаламы, присланную ему вместе с приказом № 348/24, и положил рядом с ней квадратный лист бумаги, испещренный какими-то нелепыми очертаниями.

Свехновицкий развернул обе бумаги.

— Да,— сказал он,— это даже и на копию, пожалуй, не похоже. Скорее это грубая подделка вашего документа.

— Именно подделка,— улыбаясь, сказал Вуд,— и если бы эта подделка сколько-нибудь походила на действительный документ, я бы не осмелился тревожить вас, Сигизмунд Фелицианович.

— Собственно говоря, скопировать ваш документ — пустое дело,— сказал студент,— если бы я...

Он остановился, закусывая губы, и снова посмотрел в окно.

— Если бы я не был так занят последнее время, я бы с удовольствием услужил вам. Впрочем, вот что: зайдите к одному из моих друзей — студенту Ралли; если он свободен, то он не откажется услужить вам.

— Благодарю вас,— вскричал Вуд.— Вы разрешите попросить его адрес?

Свехновицкий написал несколько слов на клочке бумаги.

— Простите, ваша фамилия...

— Шарыгин Григорий Александрович,— подсказал Вуд.

Он с благодарностью принял записку, простился с Свехновицким и спустился вниз по лестнице.

У самого входа стоял человек в скромном черном пальто и барашковой шапке. Вуд поглядел на него и встретил взгляд внимательный и точный.

Он вспомнил разговор, слышанный им при первой встрече с Свехновицким, приостановился, оглянувшись на окна студента, и, вздернув брови вверх, подняв углы губ, беззвучно рассмеялся.

10

«Е. П., профессору С.-Пб. университета *Владимиру Николаевичу Панаеву*.

Его высокопревосходительство товарищ министра по иностранным делам бр. Нольде поручил мне передать Вам его непременное желание увидеть Вас в министерстве 10 марта с/г. в 12 часов дня.

Его высокопревосходительство имеет переговорить с Вами касательно последних известий о смерти Е. В. негуса, поэтому его высокопревосходительство поручил мне просить Вас привезти с собою хранящийся у Вас документ, подписанный Е. В. покойным негусом Уаламой.

С совершенным почтением
непр. секр. тов. министра по иностр. делам.

Христиан Варнекен.

— Дела идут на лад,— сказал Панаев, перечитывая письмо,— старый пьяница умер.

Он поднялся с кровати, на которой лежал полуодетый, и, бормоча что-то под нос, принялся надевать сюртук.

Отсутствие левой руки не мешало ему, он проделывал это исключительно с помощью правой. Расчесав усы, он сбросил с плеча сюртук, привинтил руку, укрепил ее ремнями и, сунув письмо в карман, прошел в соседнюю комнату. В комнате не было никакой мебели, ни даже занавесок. У окна стоял стол, вправо от него в углу несгораемый шкаф.

Панаев вставил ключ, нажал три кнопки, отворил неповоротливую дверь шкафа и вынул оттуда сверток пергаментной бумаги.

Документ с непреложной ясностью и вполне непререкаемой точностью свидетельствовал непременное желание негуса Уаламы отказаться от престола в пользу Личьясу, своего высочайшего внука.

Панаев прочел:

«Народы Хабеша и народы Тигрэ!

Тяжкое бремя многочисленных забот государственной власти возложено на Нас, удрученных годами и болезнями. В тревожные минуты борьбы с врагами, приняв руководство страною, Мы возвеличили родину Нашу и привели ее к порядку и благоустройству.

Ныне же, воодушевленные единой с народом мыслию, что выше всего благополучие дорогой Нашей родины, и находясь в тревоге за судьбу престолонаследия Нашего, признали Мы за благо вручить право на высочайший престол Наш обожаемому внуку Нашему Личьясу.

Посему, призывая благословение божие на Нашего Монарха, приказываем всем Нашим верным подданным подчиниться облеченному отныне всей полнотою власти Негусу Негест Хабеша и Тигрэ Личьясу.

Подписано: *Уалама»*.

«Тейч!» — вспомнил Панаев.

Улыбаясь, он свернул пергамент и, перевязав его черной шелковой лентой, прошел в переднюю.

Передняя была так же пуста, как и комнаты. На вешалке одиноко болтались солдатская шинель, плащ и черное пальто с бархатным воротником. Какие-то разноцветные тряпки были свалены в кучу вдоль стен.

Панаев вернулся, достал портфель, фетровую шляпу, надел черное пальто и крикнул:

— Агафья!

Откуда-то из чулана выползла маленькая старушка.

— Ты никого не впускай, Агафья,— сказал Панаев,— слышишь?

— Слышу, батюшка,— прошамкала старуха,— слышу, Владимир Николаевич.

Панаев спустился вниз по лестнице и отворил входные двери.

Недалеко от дома, шагах в десяти, на углу Знаменской, как будто ожидая кого-то, стояла пролетка.

— Извозчик,— позвал Панаев.

Резиновые шины неслышно подкатили к подъезду.

— К Певческому мосту,— сказал Панаев. Он сел в пролетку и положил портфель на колени.

Мимо с достоинством пролетел Невский проспект: извозчик, лихо сдвинув шапку на ухо, плевал на руки, покрикивал на лошадь и с усердием подхлестывал ее под самое брюхо.

Пролетка плавно скатилась вниз и понеслась по Мойке.

В то мгновенье, когда извозчик уверенным движеньем отдал вожжи и тотчас же снова натянул их, придерживая лошадь, из-за угла вылетел крытый автомобиль. Панаев почувствовал, что его толкнуло в бок и с силой подбросило вверх.

В ту же минуту он упал назад в накренившуюся пролетку.

Извозчик, сброшенный с козел, встал и принялся добросовестно ругаться.

Автомобиль завернул за угол и, как крылатое чудовище, понесся по Мойке.

Панаев, опершись о край пролетки, выскочил, поднял упавшую на мостовую шляпу, сунул извозчику, который охал над сломанным колесом, несколько монет и пошел пешком.

До министерства иностранных дел было недалеко. Панаев шел не торопясь, помахивая не в такт левой рукой и слегка прихрамывая.

Пересекая какой-то переулок, он наткнулся на толпу. В центре ее стоял человек в широкополой шляпе, закрывавшей лицо.

— Господа,— говорил фокусник приглушенным голосом,— обратите ваше внимание на ловкость рук знаменитого Пинетти.

Он несколько раз провел рукой по воздуху, поднес ее ко рту и в то же мгновение вытащил изо рта пару яиц и живую лягушку.

За лягушкой последовал шнур длиной не меньше двенадцати аршин, за шнуром две резиновые губки.

Панаев взглянул на часы. Часы показывали сорок пять минут двенадцатого.

Он подошел к фокуснику ближе.

— Вот три платка: зеленый, красный и белый. Я глотаю их, обратите ваше внимание.

Он проглотил платки.

— Который вам угодно?

— Зеленый,— сказал гимназист в разорванных штанах, смотревший прямо в рот фокуснику.

Фокусник плюнул. Зеленый платок вылетел на открытую ладонь.

— Господа, я сейчас покажу необыкновенный фокус,— закричал фокусник сдавленным голосом.— Ничего не проглатывая, я извлеку из горла...

Он пристально посмотрел на Панаева и, сказав негромко: «Раз, два, три»,— вытащил изо рта свернутый и перевязанный ленточкой пергаментный лист бумаги. Тут же он сорвал ленточку и, схватив рукой за край пергамента, взмахнул им перед самым носом Панаева.

— «Народы Хабеша и народы Тигрэ!» — прочел Панаев.— Черт возьми, откуда у вас эта бумага?

Он подбросил портфель, прижал его локтем и, оттянув замок, вытащил манифест Уаламы.

Спустя секунду он выхватил из рук фокусника его пергамент и, положив их рядом на портфель, принялся лихорадочно сравнивать.

Текст был тот же, но по неровному шрифту и сдвинутой печати Панаев тотчас же увидел, что документ фокусника был неискусной подделкой.

— Откуда у вас эта бумага? — вскричал он, поднимая глаза на фокусника.

— Прошу извинения, господин,— ответил фокусник,— публика ждет.

Протянув руку, он схватил *подлинное* отречение Уаламы, в одну секунду свернул его в трубку и, прежде чем Панаев успел опомниться, вбросил в рот и проглотил, как аптекарскую облатку.

— Назад, назад! — закричал Панаев, не выпуская из рук портфеля и плечом толкая фокусника.— Черт возьми, что вы сделали? Вы проглотили мою, а не свою бумагу!

— Что такое? — спросил фокусник. Он наморщил переносицу, опустил углы губ и рассмеялся беззвучно.— Ах,

простите, пожалуйста, чистая случайность! Одну секунду!

Он закинул голову назад, харкнул и, взмахнув рукой в воздухе, снова вытащил трубку пергаментной бумаги.

Панаев выхватил ее из рук фокусника и развернул с мгновенной быстротой. Шрифт был ровный, печать стояла на месте.

Он с облегчением вздохнул и, бросив документ в портфель, защелкнул замок и обратился было к человеку в широкополой шляпе.

Но покамест Панаев сверял подлинность манифеста Уаламы, фокусник, не собрав в свою шляпу ни одной монеты, скрылся в толпе.

Толпа расходилась.

Панаев бросился искать фокусника, никого не нашел и остановился на углу неподвижно; он пытался объяснить себе историю подложного документа.

В двенадцать часов пятнадцать минут он был принят товарищем министра по иностранным делам бароном Нольде. После приветствия барон Нольде вызвал секретаря.

Через четверть часа эти трое людей с полной достоверностью выяснили:

1) что письмо, полученное Панаевым из министерства по иностранным делам, подложно: *никакого вызова,* подписанного секретарем Варнеке, ему не посылалось;

2) что и второй документ, вытащенный изо рта фокусника, как и первый, есть только подделка под подлинное отречение негуса Уаламы, исчезнувшее в горле человека в широкополой шляпе.

11

«Агент Стивен Вуд,

месяца марта, числа 11-го.
Лондон, «Интеллидженс сервис»

Инспектору *Хью Фоссету Ватсону*

Настоящим извещаю инспектора Хью Фоссета Ватсона, что приказ № 348/24 от 10 января исполнен мною 11 марта с. г. и документ, необходимый правительству Британии, в любое время может быть предоставлен в распоряжение правительства.

Кроме того, сэр, я должен сознаться, что мне надоела дисциплина...

Я имею задать вам два вопроса, сэр:

1) что стали бы вы делать с агентом, которому смертельно надоела дисциплина и который желает покончить наконец со всеми 124-мя правилами агентуры, и

2) не нарушится ли мировой порядок и не рухнет ли в бездну солнечная система, если я — агент Стивен Вуд — пошлю к дьяволу господина инспектора Ватсона?

Сэр, не стоит мне противоречить.

Впрочем, имею честь доложить, что вышеупомянутый приказ за № 348/24 исполнен мною с надлежащей быстротой и точностью.

Как здоровье вашей жены, господин главный инспектор, и не передадите ли вы привета девочке Мэри, которую я любил в молодости?

. . . .

Но вот в чем дело: как организовать мир?

За последние двести — триста лет — от Томаса Мора и до наших дней — предлагались десятки систем, которые должны были принести счастье человечеству. Пустое, пустое, сэр! Что может сравниться с моей системой, с тюремной системой города Регенсдорфа, которая вернет мне власть и принесет спокойствие вселенной?!

Все обстоит благополучно, сэр! Безрукий дьявол залетел мне в голову и сверлит мозг. Сегодня ночью я буду играть с ним в игорном доме. Он стар, ходит прихрамывая, у него светлые глаза, и он смотрит ими равнодушно. Китайцы называют его Панафусяньшэн, а я, Стивен Вуд,— «Упомянутым в приказе № 348/24 лицом».

Я найду его в игорном доме, и он будет побежден мною, потому что у меня гладкие руки, острые глаза и потому что каждая карта отражается в моем сердце, прежде чем ложится на стол.

Известно ли вам, сэр, что город Петроград населен китайцами? Это ерунда, что в Петрограде живут люди белой расы! Все желтые, сэр! Я окончательно убедился в этом третьего дня утром. Ровно в девять часов утра я вышел, чтобы купить газету, спустился вниз по лестнице и дошел до угла, где стоял газетчик. Газетчик был желт, как лимон. Я посмотрел вокруг: все люди на улицах были желтого цвета, у всех сзади болтались косы, похожие на собачьи хвосты.

Не думаете ли вы, сэр, что этот безрукий негодяй также тайный агент китайцев?

Я прошу вас поклониться вашей жене, господин главный инспектор, и не забыть непременно передать привет девочке Мэри, которую я очень любил в молодости.

При сем прилагается отречение дурака Уаламы.

Начальник мировой сети тюрем, организованных
по системе гор. Регенсдорфа

Стивен Вуд».

12

Скользя по оледенелому тротуару, падая и тотчас вскакивая снова, Вуд крался вдоль улицы. Лунный свет падал сзади, и длинная тень, размахивая руками, шагала перед ним, подражая его движениям.

Он прятался в тени заборов, которые закрывали его до плеч. Тогда длинная тень головы качалась перед ним на снегу, высматривая невидимого человека.

Ступая мягко и эластично, агент осторожно выходил из засады; снова впереди него извилистая тень начинала шагать, покачиваясь из стороны в сторону.

Он останавливался, точными глазами изучая ее движения.

Черный человек на снегу также останавливался перед ним, молчаливый и осторожный.

Вуд прятался за углом — черный человек переламывался пополам, перерезанный тенью телеграфного провода, вырастая и уменьшаясь, возникая то впереди, то сзади Вуда.

Скользя вдоль стен, ощупывая руками все, что попадалось на пути, за его спиной, Вуд наткнулся на нишу, на ворота какого-то дома. Не отводя глаз от черного человека, он сделал два шага назад и, не оглядываясь, спиной отворил дверь в воротах. Черный человек исчез.

Пятясь, Вуд дошел до того места, которым кончался каменный коридор ворот, и, приподнимаясь на носках, медленно повернулся.

На дворе было полутемно. Узкий четырехугольник площадки был заключен в стены; стены отвесными плоскостями летели вверх. Под углом справа падал, резко оттеняя вершины стен, зеленый свет луны.

Вуд вздрогнул и зашатался. Он бросился вперед и вдруг завыл тягучим голосом, бешено встряхиваясь всем телом.

На цементной площадке двора один за другим, вкруговую, шли, равнодушно покачиваясь из стороны в сторону, арестанты. На каждом была куртка, прорезанная вдоль черными полосами, и на груди у каждого бляха с номером.

Невдалеке стояли два надзирателя и надсмотрщик с кожаным кнутом в руке.

Вуд умолк и принялся вглядываться в лица арестантов. Они проходили — первый, второй, третий,— ступая ногой в след ноги того, кто шел впереди,— четвертый, пятый, шестой,— не поднимая глаз с плоскими и белесыми пятнами вместо лиц.

Седьмой арестант вышел из круга. Это был человек невысокого роста, с лицом, изрезанным морщинами, с широко открытыми точными глазами.

Он поднял брови, опустил углы губ и пристально поглядел на Вуда.

— Стивен Вуд, здравствуй, Стивен Вуд,— крикнул Вуд, смеясь.

— Стивен Вуд, здравствуй, Стивен Вуд,— ответил строго седьмой арестант, протягивая руку.

Вуд повернулся и медленно пошел обратно к воротам. Дрожащей рукой он распахнул дверь и, не оборачиваясь, вышел на улицу.

Он огляделся вокруг, проводя рукой по лбу, и внезапно заметил, что он идет по Владимирскому проспекту. Перейдя через дорогу, он отыскал дом под № 12 и, отворив тяжелую дверь, поднялся по лестнице вверх, в игорные залы.

13

Стивен Вуд поднялся по лестницам, крытым коврами, и, тревожно озираясь вокруг, пробежал в игорные залы.

Свет люстр, ударяясь в зеркала, летел за ним стремительными полосами.

Он закурил и, сдерживая дрожь, остановился у окна неподвижно.

Шла мелкая игра. Ночь еще не начиналась.

Скользя по паркету, Вуд быстро прошелся по комнатам и вновь остановился, повернувшись лицом к стене.

Он потирал гладкие и сухие, как вощеная бумага, руки; вытащив из бокового кармана кольцо с небольшим, ост-

рым, как конец иглы, камнем, он надел его на безымянный палец левой руки.

Спустя несколько минут он подошел к овальному столу, за которым сидели пять игроков в черных фраках.

Банк держал человек с короткой финской трубкой в зубах. Полуседые волосы падали на лоб. У него было худощавое лицо с выдвинутой нижней челюстью; он был несдержан в движениях, увлечен игрой.

За ним сидел человек, на котором фрак ломался углами, как обожженная бумага. У него был огромный лоб, переходивший в лысый череп, красные веки без ресниц, вдавленный нос Сократа. Он говорил быстро, отрывисто и беспрестанно улыбался.

Третье место занимал курчавый молодой человек с большой головой и проницательными глазами. Он грубо хохотал, махая рукой над головами партнеров, и курил папиросу за папиросой, рассыпая пепел по зеленому сукну стола.

За ним, далеко откинувшись от стола, сидел спокойный человек с ясным лицом и стеклянными глазами. Он играл, опуская по временам веко на круглый, как яйцо, глаз.

Пятым играл юноша с горбатым носом, почти мальчик. Вуд бросил папиросу и занял шестое место.

Играли без крупье, в chemin de fer, играли быстро, движениями почти машинальными.

Человек с носом Сократа, посмеиваясь, принял банк.

Он вытащил из кармана руки с короткими пальцами и предложил снять колоду.

— Ну-ка, на счастье,— сказал он весело.

Белокурый человек со стеклянными глазами сбросил несколько карт.

Среди игры Вуд вдруг поднял голову и с грохотом отодвинулся от стола: огромное лицо с неподвижными мертвыми глазами смотрело на него в упор.

Он взмахнул рукой, это был бред — лицо исчезло.

— Вам держать банк!

Вуд положил руки на стол и с ужасом увидел, что тонкая, острая, как бритва, веревка переплелась вокруг пальцев и крепко-накрепко стянула кисти рук, прорезая мясо

Он сбросил руки со стола и разорвал веревку... И это бред, он честно исполнил приказ.

— Примите же карты! — вскричал человек с трубкой в зубах.

Вуд протянул руки, схватил колоду и принялся тасовать ее, одним скользящим прикосновением кончиков пальцев узнавая фигуры.

Белокурый игрок, с сожалением глядя на него, снял колоду.

«Не замечали ли вы когда-нибудь, сэр, что именно тогда, когда я играю, совершаются величайшие события истории... стоит мне бросить вот эту карту...»

И с первой же картой, брошенной на стол его рукой, он увидел, как на зеленом сукне, протянутом в бесконечность, французские войска построились в штурмовые колонны.

Он увидел, как на высоких холмах была установлена артиллерия. Он слышал, как ветер звенел, расшибаясь о телефонные сети.

— Восемь! Тасуйте карты! Семь! Девять!

«Не замечали ли вы, сэр, что стоит мне проиграть, как тысячи, десятки тысяч людей, клянущихся именем бога, задушенные газами, разорванные металлом, сожженные огнем, лягут на полях сражений?»

Он бил карту за картой...

...Три батареи колониальных войск были расположены вдоль дороги. По дороге тянулись, сшибаясь, грузовики, лазаретные повозки, артиллерийские ящики, телеги. Мотоциклеты пролетали по узкой тропинке вдоль сломанных тополей. Огромные наблюдательные аэростаты, похожие на пауков с серыми крыльями, висели над зеленым полем.

Вуд видел, как африканцы, с коричневыми лицами в зеленых шинелях и касках с полумесяцем, готовились к бою. Ветер бил в лица. Черная луна на ущербе летела между синих туч...

С потрясенным лицом Вуд принялся глядеть перед собой. На столе появились сперва его руки, держащие колоду, потом черные фраки, лица партнеров.

— Вы, кажется, нездоровы? — спросил игрок с финской трубкой в зубах.

— Благодарю вас, я совершенно здоров,— ответил агент.

Он с извинением отошел от стола, выпил стакан воды и продолжал игру.

Первая талия была окончена.

Вуд тасовал карты, и движения его рук снова приобрели уверенность и точность.

В то мгновенье, когда карты нижней части колоды были сложены в нужных для него сочетаниях, он, как бы нечаянным движением, просек колоду пополам, сгибая лежавшую посредине ее карту.

Белокурый партнер, снимая колоду, невольно схватился рукой за надогнутую карту.

«Не думаете ли вы, сэр, что, если бы я не был шулером, мне перестали бы поклоняться? Что, если бы я не был шулером, я проигрывал бы слишком часто, для того чтобы в меня продолжали верить?»

Блестя глазами, Вуд с вежливым вниманием принял карты и начал игру.

И с первой же картой второй талии, брошенной на стол его рукой, он увидел, как...

...французские войска, построенные на зеленом сукне, протянутом в бесконечность, начали атаку.

Кто-то прокричал над самым ухом шулера:

— Вы нездоровы,— и добавил, повышая голос до крика: — Высота четыреста три, две десятых налево, по три в минуту! Огонь!

Вуд слышал, как орудийные выстрелы удар за ударом с молнией и тяжелым свистом резали плотный воздух. Он видел, как взлетали огни и разрывались ракеты. Резкий голос кричал: «Четвертая к оружию! Шестая к оружию! Четырнадцатая к оружию!..»

— Восемь!

— Жир!

— Восемь!

— Восемь!

Вуд опустил голову: солдаты, оборванные, облепленные грязью, прокопченные дымом, с осунувшимися лицами и оскаленными зубами, растянувшись в одну линию, спотыкаясь о трупы, шли в атаку.

Тот же голос кричал над зеленым полем: «Высота четыреста три, три десятых направо, по пять в минуту!» — и добавил, понижаясь до шепота, над самым ухом Вуда:

— Простите меня, но не лучше ли было бы для вас на время оставить игру?

— Уверяю вас, я совершенно здоров,— повторил Вуд.

И снова он увидел черные фраки, движения и лица партнеров.

— Положение отчаянное,— говорил человек с лысым черепом, потирая рукой затылок,— он выпотрошил меня. У кого еще есть деньги? У тебя, дружище?

Человек с финской трубкой засмеялся таким голосом, как будто его душили.

— Ни черта!

— Сен-Галли богат! — закричал человек с лысым черепом, не переставая чесать затылок,— у Сен-Галли хорошие родители! Сен-Галли играет.

— У меня почти ничего не осталось, Виктор,— ответил серьезно молодой человек с кудрявой головой.

Вуд молча глядел на них, перебирая карты.

— Грудцыну везло! — снова закричал человек с лысым черепом.— Грудцын много выиграл! Грудцын играет!

— У меня есть на пару пива,— сказал, смеясь, белокурый игрок.

— Про маленьких я не говорю,— сказал лысый череп, кидая взгляд на юношу с горбатым носом,— маленьким пора спать.

В это время к столу подошел, прихрамывая, новый партнер.

Он слегка поклонился, отодвинул стул и сел между игроками.

Вуд поднял голову и вздрогнул.

Напротив него, лоб в лоб, подперев голову рукой и задумчиво вертя в руках портсигар, сидел профессор Панаев.

«Ага, безрукая обезьяна! Ага, вот он, Панафу-сяньшэн!

— Угодно вам карту? — спросил Вуд, бледнея и вежливо кланяясь.

— Да, прошу вас.

— Ваша ставка.

— Ва-банк.

Вуд осторожно положил перед собой карты, ощупывая колоду: в лоб шел жир, под колодой лежала восьмерка.

Он передернул и открыл карты.

— Восемь!

— Девять,— сказал Панаев.— Ваша бита. Простите, я не успел открыть моих карт. Вы меня предупредили.

Он небрежно и торопливо засунул деньги в карманы брюк и отошел от стола. Спустя некоторое время он вернулся и продолжал игру.

Вуд вытер потный лоб, сложил руки на груди.

Банк перешел к Панаеву. Положив левую руку на стол, он с необыкновенной ловкостью бросал карты правой.

— Разрешите узнать, сколько у вас в банке? — спросил Вуд.

— Тысяча пятьсот рублей, к вашим услугам,— отвечал Панаев.

— Позвольте карту.

Пять игроков, сидевших за столом, одновременно повернулись к Вуду. Это затруднило задачу. Панаев бросил ему две карты.

Принуждая себя к спокойствию, шулер несколько замешкался, протягивая левую руку раньше правой. В правой руке, на одну десятую секунды позже вытащенной из-за борта пиджака, уже лежала карта для подмены. Две карты слились в одну, тройка плотно закрыла бубнового валета и...

— Девять,— сказал Вуд.

— Девять, к вашим услугам,— ответил Панаев.

На одно мгновенье перед Вудом мелькнула склоненная голова китайца.

— Плуоха деала,— сказал певуче китаец, вытягивая губы.

— Угодно вам,— сказал Вуд, низко склонившись над столом и ногтями вырезая овальные линии на потных ладонях,— угодно вам сыграть со мною в штос на сто тысяч три раза, не понижая ставки?

Панаев поднял на него равнодушные глаза с покрасневшими веками.

— Угодно. Простите, я сейчас кончаю талию.

Он продолжал играть не торопясь, внимательным взглядом провожая каждую карту.

Вуд, глядя прямо перед собой ничего не видящими глазами, отошел в сторону и остановился неподалеку, поджидая Панаева.

Панаев кончил талию и встал. Они отошли в сторону и выбрали свободный стол. Их тотчас же обступили, ожидая крупной игры.

Панаев вежливым движением руки предложил Вуду быть банкометом, и Вуд скрюченными руками схватил колоду.

— Начнем!

— Прошу вас,— сказал Панаев спокойно. Он сел и, откинувшись назад, щелкнул левой рукой.

— Дама треф налево!

Вуд начал метать. Одна карта еще не достигала стола, как из его рук уже вылетала другая. Когда половина колоды была сброшена, он передернул. Рука задрожала, придерживая одну карту и выбрасывая вперед другую, и дама треф, колеблясь в воздухе, плавно легла налево.

Шулер приподнялся, с ужасом глядя перед собой. Ослепительно ясный свет мелькнул у него перед глазами и тотчас погас.

— Туз бубен направо,— сказал равнодушно Панаев.

Вуд снова начал метать. Зал раздвинулся, ровная площадь простерлась от стены до стены. Под круглым фонарем на пустой площади бесновались, выбрасывая карты, две руки.

— Налево — направо, налево — направо, налево — направо.

Вуд сделал вольт. Туз бубен стремительно вылетел из рук и лег налево.

— Ваша карта бита,— сказал Вуд. Он глубоко вздохнул и выпрямился.

— Вы ошибаетесь,— отвечал Панаев.— Прошу вас продолжать игру. Налево упал туз червей, а я называл бубнового.

Белесый дым поплыл перед глазами Вуда. Голова Панаева упала на стол, покатилась и, подпрыгнув, остановилась в воздухе перед его лицом.

— Угодно в третий раз? — сказала голова.— Я никак не могу вспомнить, где я имел честь встречаться с вами. Моя карта — тройка пик налево!

Белесый дым сгустился в капли пота на лбу Вуда. Он тасовал колоду, и карты, как раскаленная сталь, обжигали руки. Он принялся метать, незаметно вбрасывая в колоду кованые карты. На этот раз по свисту *этих карт он знал каждую из них,* прежде чем она падала на стол.

В то мгновенье, когда тройка пик должна была лечь налево, он положил руку на колоду и, незаметным движением прижимая к колоде кольцо, приколол карту к одной из тех, что были вброшены им в колоду.

И тройка пик, прикованная к *меченой тройке пик,* вброшенной в колоду Вудом, упала налево.

— А, сяньшэн-Панафу, безрукая обезьяна, ты!!

Невысокий китаец со сморщенным лицом тенью возник в конце зала. Он подошел к Вуду и положил руку ему на плечо.

— Плуоха деала,— снова сказал китаец,— чтоа за деала? Умиарать наадо.

Панаев, наклонившись над столом, разъединил приколотые карты.

— Это шулер,— сказал он, вновь откидываясь в кресло, глядя на агента покрасневшими от усилия глазами.— Он бы выиграл, если бы случайно не прикокол к тройке пик другую тройку пик, — разумеется, меченую, взгляните.

Вуд шатался, протянув руку вперед.

— Дьяволы,— сказал он, стискивая зубы и кося помутневшими глазами.— Уберите китайца! Все кончено! Довольно! К черту!

Он упал возле стола, поджимая под себя руки и ища что-то в заднем кармане фрака. Китаец оскалил зубы, засмеялся и, с одобрением качая головой, приблизил желтую, со скрюченными пальцами, руку к его горлу.

1923

РЕВИЗОР

> Не дай мне бог сойти с ума,
> Нет, лучше посох и сума.
> Нет, лучше труд и глад.
> Не то, чтоб разумом моим
> Я дорожил, не то, чтоб с ним
> Расстаться был не рад.
>
> *А. С. Пушкин*

1

— ...И вот, говорю я вам, назначают ревизию, приказывают...

— Строжайше пересмотреть?..

— Строжайше, говорю я вам, приказывают пересмотреть отчетность. Я по своей обязанности являюсь к председателю треста, называю себя, и он, говорю я вам, тут же на месте...

— Признается в растрате?..

— Признается в совершенной им грандиозной растрате... «Позвольте,— говорю я ему,— не торопитесь...»

— Имейте в виду, что еще не проверена...

— «Имейте в виду,— говорю я ему,— что еще не проверена ваша отчетность. Позвольте сюда приходо-расходные книги, попросите сюда ваших бухгалтеров...»

— И тогда произведенная вами растрата...

— «И тогда,— говорю я ему,— произведенная вами растрата будет исходить из надлежащих подсчетов». А он...

Чучугин поднял ногу, сдернул носок, не устоял и свалился на скамейку. Хохолок свесился на лоб, бородка растрепалась. Он слушал внимательно.

Солидный краснорожий гражданин с такой же в точности чучугинской бородкой рассказывал историю растраты; сухопарый приятель поддерживал его, приговаривал, охотно чесал тощий волосатый живот.

— «Насчет приходо-расходных книг,— говорит он мне,— можете быть спокойны...»

— У меня бухгалтера один к одному...

— «У меня,— говорит он мне,— бухгалтера один к одному и из кассовых книг, если я им прикажу, хоть «Капитал» Маркса сделают». Ну, тут я развел руками...

— В таком случае...

— «В таком случае»,— говорю я ему...

Голый гигант прошел мимо Чучугина, тяжело двигая чугунными ногами монумента; пухлый мальчик шел за ним, заботливо покачивая головой. Чучугин испуганно посторонился и, с сожалением отрываясь от интересного разговора, пошел в уборную.

Накинув крючок и расположившись, он взял в руки порядочный кусок газеты, примерился читать, но внезапно замигал, встревожился, принялся беспомощно шарить по стене руками: в предбаннике не все было благополучно.

Сквозь замочную скважину мельтешила студенческая фуражка с красным крестом на околыше, путалась белокурая бородка, кто-то с горячностью протестовал, отбивался; казалось, фуражка настаивала, бородка протестовала.

Возня прекратилась через две-три минуты, но Чучугин на всякий случай просидел в уборной не менее четверти часа.

За вспотевшей дверью гремели шайками, целое мыльное море билось о деревянные берега.

До этой двери, впрочем, Чучугин добрался не сразу,— новый инцидент перебил ему дорогу.

Инцидент этот в виде исхудалого иностранца сидел за столиком и задумчиво катал пустой стакан вокруг пустого графина.

Голый банщик стоял перед ним и сердито двигал огромными мохнатыми бровями.

— Ты зачем всю воду выпил? — сурово спрашивал банщик.

— А чем мне не выпил воду? — лениво отвечал иностранец. Банщик насупился и с недоумением посмотрел на него, потом потрогал рукой графин. Графин был пуст.

— Это, может быть, для тебя тут воду поставили?

— Вода, природа, повсюду употребляют,— нехотя отвечал иностранец.

Чучугин протискался вперед.

— Что тут, воду выпили? —сказал он неопределенно.

— Да не понимаете вы, гражданин,— строго заявил банщик,— ведь он безбилетный. Прямо с улицы пришел, вот теперь всю воду выпил и айда обратно!

— Что же, баня, нельзя вода, пить? Повсюду пьют, повсеместно употребляют,— ища свою шляпу, сказал иностранец.— Проходил мимо, увидеть баня, зашел вода выпить.

Чучугин с недоумением протер глаза, взглянул на иностранца. Иностранец без всякой причины облизнулся и пошел к выходу.

— Кого тут поволокли, объясните, пожалуйста? — робко спросил у банщика Чучугин.

2

В бане было почти пусто. В глубине, между запачканными ваннами, барахтался чугунный гигант, и заботливый пухлый мальчик смотрел на него, грустно почесывая спину. Горячие клубы пара бились о стену, старческий вогнутый живот мелькал тут и там, пропадал и появлялся снова.

Недоверчиво ступая по раздвинутым половицам, Чучугин подошел к шайкам, царапнул ближайшую пальцем и немедленно направился к окну, разглядывая изумрудный налет.

«Чистота! — неодобрительно подумал он.— Гигиена! Не понимаю, чего губздрав смотрит. Железной метлой гнать негодяев! Без малейшего промедления! Гнать!

Подбегая к крану, он нечаянно толкнул какого-то гражданина; гражданин ёкнул.

Горячая вода упала на Чучугина сверху, он позеленел от неожиданности, вода катилась по его телу вниз, в расщелины половиц. Он налил еще одну шайку, но опрокинуть ее на себя не успел: чья-то рука легонько коснулась его руки, и строгий голос, похожий несколько на метроном, произнес, останавливаясь после каждого слова:

— Гражданин, хотя по сему поводу не имеется надлежащих инструкций, но тем не менее счел бы с вашей стороны необходимым принести мне, согласно общепринятым правилам, соответствующие извинения.

Чучугин выронил шайку, и она со звоном покатилась под чьи-то ноги, мелькавшие в мыльной волне.

Он оборотился и ахнул — перед ним стоял... Однако ж он и сам, пожалуй, не мог бы объяснить, кто перед ним стоял.

3

Это был самодовольный мохнатый гражданин, крепко скроенный и с головы до ног обросший курчавыми волосами. Во всей его фигуре проглядывала некоторая аккуратная закругленность; он был несколько похож на толстый указательный, тоже мохнатый, палец и точно так же, как палец, стоял, немного наклонившись вперед и брезгливо трогая мокрую чучугинскую руку.

— Извините...— не расслышал,— отрывисто сказал Чучугин.

— Необходимым с вашей стороны счел бы,— охотно повторил гражданин и в значительной степени повысил голос,— согласно общепринятым правилам, извиниться за нахальное поведение.

— Особенное нахальство с гигиеной,— заметил Чучугин,— никто не следит, необходимо обратить внимание.

— Гражданин, проходя мимо, вы толкнули меня вашей шайкой. Вам известно, надо полагать, обязательное постановление, предусматривающее некоторые случаи...

— Как же, известно,— пробормотал Чучугин и осторожно потрогал ногой мохнатого гражданина.

— ...общественного спокойствия и караемые соответствующей статьей уголовного кодекса,— аккуратно докончил мохнатый и, поставив шайку, принялся неторопливо натирать мочалку мылом. Сознание собственного достоинства видно было в каждом движении.

Чучугин исподтишка огляделся; почти вся баня чесала спину и не обращала на мохнатого гражданина ни малейшего внимания. Это было так непонятно и даже угрожающе, что Чучугин не выдержал.

Он осторожно поставил шайку и, обходя мыльную лужу, приветственно помахал рукой мохнатому гражданину.

— Безобразие! — крикнул он.— Горячая вода кончилась!

Мохнатый, мыливший под мышками, опустил руку.

— Что безобразие?

— Я говорю, безобразие, что вас пускают в баню без всякого прикрытия.

Мохнатый обиделся и, не окатившись, намыленный и нахохлившийся, подошел к Чучугину.

— Действительно, в бане находятся граждане, пользующиеся в огромном большинстве избирательным правом. Даже если и так, что же из этого следует?

— Вы, должно быть, от хозяина отбились? — дерзко хохоча, крикнул Чучугин.

Мохнатый побагровел, но сдержался.

— Вы, без сомнения, шутите,— не спеша и с достоинством сказал он,— за последнее время на меня возложены обязанности государственного характера. Советую ознакомиться хотя бы с последним декретом о брачном праве.

Чучугин вдруг испугался: именно это полнейшее спокойствие его поразило. Он отступил немного, тряхнул головой, хохолок упал на лоб, бородка скосилась.

— Да-с, я не спорю,— пробормотал он,— мне только показалось, так сказать, странным... Ведь, если я не ошибаюсь, вам, как таковому, не предоставлены в полной мере права гражданства... Вы все-таки находитесь, так сказать, в зависимости...

— Мы все находимся в зависимости от обстоятельств,— с глубоким уважением к самому себе сказал мохнатый,— но это тем не менее не лишает меня прав, которыми пользуется каждый гражданин СССР, достигший шестнадцатилетнего возраста.

— Не спорю. Я о правах не спорю. Мне только показалось, не произошло ли тут какого-то инцидента. Вы, как явление, так сказать, из ряда вон выходящее, не будете в обиде... Живу затворником, вероятны ошибки. Кроме того, зная, что вы, так скать, по месту действия происходите из...

— Я происхожу из Голландии,— не спеша ответил мохнатый,— впрочем, космополит с самого рождения.

Чучугин внезапно почувствовал восторг.

— Этого... здорово,— сказал он и сделал попытку похлопать своего собеседника по плечу,— вот и я тоже... тоже, так скать, из Голландии. Имя — Дмитрий, отчество — Иванович, фамилия — Чучугин...

Он вытер мокрую руку и взмахнул ею по направлению к новому знакомому. Но мохнатый встретил этот жест холодно до крайности.

— Нет-с, извините,— сказал он, недружелюбно глядя на протянутую руку,— рукопожатия...

— Что-с?

— Отменены,— прогремел как в рупор мохнатый,— последними распоряжениями отменены окончательно и бесповоротно.

Чучугин обиделся, отдернул руку, принялся старательно счищать с груди мыло. Руку немного погодя он заложил под мышку.

— Упустил из виду,— нехотя сознался он,— я, впрочем, не специально для рукопожатия, я главным образом для того, чтобы узнать ваше, извините за выражение, употребительное наименование.

— На этот счет также нет инструкций. Кроме того,— мохнатый солидно поперхнулся,— употребительное наименование вам, без сомнения, известно.

— Как? — упавшим голосом спросил Чучугин.— Так, значит, вы и вообще... и на деловых бумагах этим употребительным...

— Заметьте, гражданин,— мохнатый отошел в сторону и с фырканьем опрокинул на себя таз с водой,— я работаю под соответственным псевдонимом.

Чучугин захрипел и упал на лавку.

— А в трудовой книжке,— закричал он,— позвольте, гражданин, нельзя же морочить трудовую интеллигенцию, а в трудовой книжке что же у вас стоит?..

— Не все ли вам равно, что у меня стоит в трудовой книжке? — равнодушно заметил мохнатый.

— Крайне важно,— с отчаянием сказал Чучугин.— Позвольте, гражданин, именно этого я не могу допустить! Документ с таким наименованием...

Он взглянул на самодовольного гражданина и открыл рот: мохнатый закинул голову, прищурил глаз, слегка улыбался.

— Документ? — произнес мохнатый наконец чуть-чуть приглушенным, но тем не менее страстным голосом.— Да знаете ли вы, гражданин, что такое документ? Документ есть удостоверение личности, а личность к этому документу прилагается, гражданин!

— Документ есть...— растерянно повторил Чучугин.

— Документ существует,— с удовлетворением подхватил мохнатый,— он существует вообще, и он же существует в частности. И личность при нем не обязательна. Вы при вашем документе не обязательны, гражданин!

— Скабрезник, безответственное выражение,—пробормотал Чучугин.

— Ага, безответственное! А вы думаете, что вы существуете просто так себе, родились без разрешения и существуете? Отнюдь! Вы существуете документально, гражданин! Что касается меня, то я...

Он вытянулся, побагровел, отставил ногу и взглянул на Чучугина с величественной осанкой.

— Я член многих комиссий и лицо, на которое возложены заботы до некоторой степени государственного характера.

Чучугин присел, втянул голову в плечи, собеседник его внушительно шевельнул губами и, надуваясь, отошел в сторону.

«Ну, погоди же ты, голландец,— распрямляясь, подумал Чучугин и легонько плюнул,— я тебя счас подкачаю, голландец! Я знаю, что с тобой делать, голландец!»

Скользя по мыльным шелковым доскам, он приблизился к крану и за спиной мохнатого налил полную шайку холодной воды.

Мохнатый, величественно выгибаясь всем корпусом, мылил голову; он слегка покряхтывал, поплевывал.

Чучугин спрятал шайку,— холодная вода плескалась за спиной,— прошелся туда и назад, беззаботно подергивая задом.

— Гражданин, хотя по сему поводу и не имеется...— пробормотал он и, замирая от страха, разом опрокинул на мохнатого шайку.

И тут же он остолбенел от удивления, всплеснул руками, подогнул ноги; и все это было совершенными пустяками в сравнении с несчастным положением пострадавшего гражданина.

Холодная вода вдруг произвела на него ни с чем не сравнимое действие: он сразу весь съежился, потерял величественность и упругость, посинел, даже как будто уменьшился в росте.

Он растерянно махал руками и, жалостно смотря на Чучугина, бормотал что-то.

— Преследуется по закону...— разобрал Чучугин.

— Ага! — прохрипел он с яростью.— Государственного характера? Ка-камиссий? Теперь сидите тихо, гражданин! Внимание! Успокойтесь!

Внизу, на скамейках, кряхтели мастеровые и лица, пользующиеся наемным трудом, облака плыли над ними, и здесь, на полке́, под облаками, Чучугину стало немного легче.

— Скабрезник, гражданин! — крякнул он еще раз.

Но мохнатый исчез в парах, не отозвался. Худощавый, с поповскими волосами, махнув Чучугину гривой, негодующе согласился.

— Налезли, действительно,— сказал он сурово,— места им мало, еще с той стороны поло́к есть.

— Скабрезник, я сказал, скабрезник!

— На Пресне? — удивился длинноволосый.— Как на Пресне? На Пресне сейчас черт-те что делают! Богохульство на Пресне!

— Скабрезник! — яростно заорал Чучугин и с размаха хлопнул себя ладонью в грудь.

Длинноволосый помрачнел и уселся, свесив длинные кукольные ноги.

— То есть как это скабрезник? — не спеша спросил он, и два синеватых желвака вскочили у него на скулах.— Вы как смеете обзывать таким словом лицо священной профессии? Хамовато, гражданин!

— Священная профессия? — жалостливо переспросил Чучугин.— Ну что, каково живется, батя?

Длинноволосый крякнул с презрением и отвернулся.

— Напрасно, батя,— весело заметил Чучугин,— сожалею, честное слово, сожалею; что делать, вопрос государственного значения, никак нельзя было поступить иначе.

Густейшие облака ринулись на него, он разрезал их руками, оборотился на спину и, скользя по мокрым доскам, подобрал под себя ноги.

Холодные капли падали на него с потолка. Чугунный гигант полез на поло́к, доски сгибались под его ногами; и пухлый мальчик по-прежнему шел за ним, грустно почесывая спину.

— Поддай-ка, Александр Федорович! — крикнул гигант.

Сухощавый банщик с ежиком провалился в дыру за поло́к и принялся возиться там, с шипеньем отбрасывая от себя воду.

«Керенский,— опасливо подумал Чучугин,— до чего довели все-таки! На советскую службу пошел».

— Сегодня он банщик,— крикнул он гиганту (гигант в изнеможении лежал на лестнице),— а завтра он, может быть, черт его знает, член ка-камиссий, а там, смотришь, опять в министры шагнет! Нет, вы как хотите, а я таких личностей ни в коем случае не принимал бы на советскую службу.

Гигант мутно посмотрел на него и беспомощно шлепнул губами.

Чучугин почувствовал дурноту.

5

Дурнота эта началась с полнейшего ощущения беременности. Легкая тошнота подкатилась под сердце, язык напружинился, под рукой, упавшей на живот, он явственно почувствовал барахтанье.

«Хм, вот так штука, где же я это подхватил?» — смутно подумал Чучугин.

— Дорогая, я беременный,— сказал он вслух и на самую краткую секундочку увидел рядом с собой рослую женщину с приветливым русским лицом.— Нет, не желаю никаких операций,— торопливо пробормотал он и вытянулся перед женщиной в струнку,— разрешите доносить, ваше благородие, вам же, так скать, наследничек будет.

— Что ж наследничек,— нахмурясь сказала женщина,— ты мне дочку, уж ты мне дочку рожай, Чучугин!

— Хороша как, ах, как хороша,— вдруг спохватился Чучугин,— да ведь это ж как будто жена моя? Жена, что ли? Да как же зовут ее? Не припомню, нет, не могу припомнить.

И тут же, на поперечной балке он увидел востренького человека, который одной рукой мылил между ног, другой писал что-то и беспрестанно подмигивал, посмеивался, подмигивал.

Чучугин вскочил на скамейку и, прыгая через веники, тела, шайки, побежал к нему.

— Позвольте узнать у вас...

Человечек бросил перо и принялся с неприятной быстротой намыливать мочалку.

— Имя, ради бога, скажите имя, молодой человек!

— Не в мой отдел,— сурово пробормотал человечек,— не в мой отдел. Обратитесь в отдел записи актов гражданского состояния. Что касается до меня, то я...

— Он вскочил и, капая мылом, побежал, как муха, по потолку.

— Что касается до меня, то я... записываю мертвых.

«Ну, конечно, все погибло,— обливаясь потом, подумал Чучугин,— окружены с трех сторон, имя неизвестно, республика в опасности!»

Он схватился рукой за сердце, упал на полок; горячая вода брызнула на него, он испуганно вскрикнул, открыл глаза: пухлый мальчик заботливо мылил гиганта, гигант кряхтел и невнятно приговаривал что-то; за его спиной старательно полоскал свою гриву длинноволосый.

Чучугин глубоко вздохнул и высунул горячий сухой язык.

«Нет, погоди,— подумал он, от кого-то отбиваясь,— этого не было, нет, не беременный, пустяки. И женщины не было, и канцеляриста,— это угар, дурнота».

— Угорел, угорел на полке́,— пробормотал он и, хватаясь руками за грудь, горло, покатился по лестнице на пол.

6

Сквозь прищуренные веки перед ним мелькнули испуганные банные голыши. Незнакомый коренастый человек, несомненно футболист по профессии, стремительно протащил его в предбанник и бросил на мокрую скамью.

Чьи-то ноги в сиреневых подштанниках ходуном ходили перед Чучугиным.

Он шевельнул бровями, попытался сказать, чтобы убрали эти ноги, чтобы не болтались они у него перед глазами, что он даже цвета этого не переносит, но челюсти его бессильно разжались, и он не сказал ни слова.

Футболист стоял над ним, выгнув грудь, тяжело дыша и как бы сожалея о том, что не может снова схватить Чучугина и затащить его куда-нибудь подальше.

Сиреневые ноги наконец утомили его, он закрыл глаза, полетел в пропасть; впрочем, из пропасти этой он был тотчас же возвращен: два голоса барахтались над ним.

— Да не понимаете вы, гражданин,— услышал он отдаленное и невнятное бормотание,— ни при чем тут, гражданин, угар, разве не видите вы...

«Гражданин Угар»,— смутно подумал Чучугин.

— Разве не видите вы,— буйствовал над ним банщик,— что это падучая. Приходят такие граждане прямо с улицы, падают с полка́ и айда обратно на улицу.

— Врет, что падучая,— тяжело дыша, говорил футболист,— у меня брат падучий, я эту болезнь минута в минуту знаю. Надо, однако, человека домой отвезти. Человек бессознательный, надо домой отвезти! Где его одежда лежит? Я помылся, я могу отвезти!

— Угар, угар,— хмуро бормотал, копаясь в чьей-то одежде, банщик,— в нашей бане это невиданное, гражданин, дело, потому что у нас печи литые, без прокладки, это в лапинских семейных угар, а это падучая, а не угар, и не в том дело, что угар, и тогда вся баня угорит, а это не от печи, а пар, и вовсе ничего не угар...

Он вытащил наконец из ящика одежду и положил ее рядом с Чучугиным.

— Надевай! — скомандовал футболист.

Чучугин явственно понимал, что это чужая одежда,— и брюки не те, и пиджак; этот пиджак, например, был серого цвета с каким-то затейливым знаком в петлице.

«Ага, воздухфлот, химтрест»,— подумал он и с усилием подобрал челюсть.

Футболист натянул на него чужой пиджак, залез в боковой карман, вытащил документы.

— Галаев Георгий Павлович,— сказал он и почтительно остолбенел.

И весь предбанник почтительно остолбенел, имя это (Чучугин слышал его впервые) прокатилось из угла в угол; ему послышалось, что даже сиреневые ноги произнесли это имя с особенным выражением.

— Какой Галаев, путаница, пустяки,— хотел сказать он, но футболист, заметно волнуясь, подступил к нему, приподнял и, сдерживая дыхание, потащил к выходу.

Розовое, белое, сиреневое мелькнуло в последний раз и скрылось.

7

На этот раз сознание вернулось к нему не сразу. Тоскливый скрипичный звук скользил над ним, когда он очнулся.

Он попробовал шевельнуть веками — веки были плотно прижаты; он приподнял брови — лоб был плотно перевязан жесткой холодноватой лентой.

Скрипичный звук пропал и мгновенье спустя превратился в бабий голос; невнятные слова донеслись до Чучугина.

«Отпевают, за мертвого сочли! — подумал он и ужаснулся.— Медяки на глазах, кончено дело! А может быть, и в самом деле... Может быть, я тут мертвый лежу? Умер в бане, а теперь сюда приволокли и отпевают?»

Настойчиво моргая веками, он сдвинул один из медяков в сторону: розоватый потолок плавал высоко над ним, электрическая лампочка мелькала и, как уличный фонарь на ветру, раскачивалась направо и налево.

«Голова кружится,— с усилием подумал Чучугин,— лампа на месте висит, а голова кружится».

Он пошевелил пальцами и вдруг обиделся, даже слезы на глазах проступили:

«Господи, отпевают меня, до чего довели, сукины дети! Хорошо-с, отпевайте, посмотрим еще, кто кого отпоет!»

Скосив глаза и сдвинув второй медяк, он увидел бабу. Нет, никто не собирался его отпевать, баба смотрела в окно, подпершись локтями и раскачиваясь; она пела, как скрипка, и по временам почесывала спину линейкой.

Чучугин выпростал руку, бесшумно снял медяки и внезапно почувствовал злорадство.

«Сторожишь? — подумал он и сощурил на бабу освобожденные глаза,— ну, ну, сторожи, сторожи, гражданка! Вот ты думаешь: мертвеца сторожу, а я сейчас встану и чай пить пойду!»

Баба оживилась, вскочила, приветливо помахала кому-то линейкой.

— Сюда, сюда,— услышал Чучугин,— если к покойнику, так сюда пожалуйте.

Дверь приотворилась, гладко выбритый гражданин в коверкотовом пальто вошел в комнату, уронил шляпу.

— Пожалуйте,— приветливо пробормотала баба.

Коверкот покачнулся, стремительно бросился к Чучугину и, раскинув руки, упал на него лицом и грудью.

«Гробовщик, что ли,— с неудовольствием подумал Чучугин и шевельнул ноздрями: от посетителя пахло водкой,— беспокойно относится, однако! Мерку, что ли, снимает?»

— Мерочку снимаете? — с сожалением подтвердила баба и поднесла краешек кофты к глазам.

— Прощай, Жорж,— закричал коверкот и всхлипнул; баба испуганно шарахнулась,— прощай, милый, нет, я ни в коем случае тебя не забуду.

«Ах ты, боже мой,— хлопотливо подумал Чучугин,— он меня за другого принимает. Обознался, что ли? Разве это я помер, разве меня Жоржем зовут?»

Он мысленно заполнил свою анкету: «Имя: Дмитрий. Отчество: Иванович. Фамилия: Чучугин».

«Стало быть, не помер, другой гражданин помер, а меня, самое большее, заместителем назначили».

— Я знаю, отчего ты умер,— кричал коверкот и трогал лицо Чучугина руками,— нет, ты умер не от угара, не от удара, это Авербах вбил тебя в могилу. Он один, я ручаюсь за это!

«Сволочь этот Авербах, по-видимому»,— недоброжелательно подумал Чучугин.

— Но это еще не кончилось,— продолжал коверкот,— ты умер, это факт, но я еще жив, и я еще покажу этому слепачу, где зимуют раки. Он еще запоет, запоет контрабасом, Жорж!

— Извиняюсь, вы кто такой будете?.. Меня тут сторожить поставили... Извиняюсь, господин, нечего кричать, он покойник, он говорить не может,— беспокойно бормотала баба.

— Ты умер, это факт,— в самозабвении, но уже с некоторым удовольствием повторял коверкот,— я не могу, заметь, возвратить тебя обратно. Но имей в виду, что с твоей смертью ничего не изменилось, что все осталось по-прежнему, Жорж!

— Гробовщик пришел,— радостно сообщила баба.

Коверкот удивился, закруглил рот и вдруг оглушительно икнул.

Чучугин вздрогнул.

— Этого... а где остальные? — утирая губы, спросил коверкот,— тут и нет никого. Почему не хлопают... этого, почему не плачут?

Новый посетитель, подняв плечи, размахивая обезьяньими руками, входил в комнату.

«Вот ты какой,— с озлоблением подумал Чучугин и ехидно прищурил глаз,— социальное положение — мещанин, профессия — гробовщик? Чем занимался до двадцать шестого года?»

Гробовщик кивнул головой и, подпрыгивая, направился к покойнику.

— Так, сейчас посмотрим, — бормотал он обещающе и шарил в карманах пиджака,— сейчас выясним, в чем тут

дело. Какого размера гроб, гробец, гробчик придется сделать!

Он повертел в руках круглую никелированную коробочку и с треском потащил из нее стальной сантиметр.

— Ну, ушли, так и я уйду,— заметил коверкот спокойно и, шатаясь, пошел к двери,— мне тут, заметь, тоже делать нечего.

Гробовщик, мурлыча одобрительно, снимал мерку (сантиметр трещал в его руках, как ярмарочный змей), он щекотал Чучугину живот, сгибал без всякой цели ноги. Баба глядела на него с любопытством. Чмокнув языком, он пощупал чучугинские брюки и, оборотившись к бабе спиной, залез обеими руками сразу в боковой карман пиджака. Чучугин раздражительно сморщился, схватился за карман и сел.

— Позвольте, на каком основании...

Медяки покатились по полу, баба опрокинулась, визжа поползла к двери и тут же спрятала медяки под юбку.

— Лежи, лежи, понимаешь ты этого...— растерянно пробормотал гробовщик.

— Позвольте, гражданин! Почему лежать? А если я не хочу лежать? Меня сторожат, меня отпевают, на меня плачут. На каком основании на меня плачут, гражданин?

— Если ты мертвый, так уж ты лежи, лежи, пожалуйста,— с озлоблением уговаривал гробовщик.

— Позвольте, меня грабят! — кричал Чучугин.—Мертвеца грабят! На каком основании мертвеца грабят, гражданин? Как мне понять это нахальство?

— Ага, вот как, нахальство! — возмущенно сказал гробовщик.— Человека отрывают от дела, заказывают приличный гроб, тащат через весь город, и в результате клиент живой, как курица. Вот именно, на каком основании... Если вы покойник...

Чучугин вдруг испугался, оторопел. Он подпрыгнул и примирительно схватил гробовщика за пуговицу.

— То есть, в каком смысле живой?.. Нельзя сказать, нет, не то что живой,— сказал он,— тут просто недоразумение...

— Да позвольте, как же не живой,— кричал гробовщик,— совершенно живой, безобразие! Живой! Хамство какое, живой!

— Из... извините,— пробормотал Чучугин.

Гробовщик брезгливо толкнул его в плечо указательным пальцем.

— Я не посмотрю, что вы инспектор, я этого так не оставлю, шантаж! — угрожающе закричал он и, подпрыгивая, выбежал из комнаты.

Чучугин сделал несколько шагов вслед за ним и остановился.

В этой комнате он был впервые — вдоль стен шла дубовая панель, нежно-розовый потолок восхищал его.

«Хм, инспектор! Что ж это за должность такая — инспектор? Инспектор труда или, может быть, инспектор нравов? Инспектор нравов — это очень почтенно. Да ведь это же не я инспектор, инспектор, по-видимому, в бане помер, а меня вместо него сюда приволокли... Нет, что-то не то, не может быть, чтобы такое перепутали!»

С усилием напрягая память, он попытался вспомнить, что произошло с ним в бане, но все какие-то березовые листочки лезли в голову, и мохнатый гражданин мелькал между ними, намыливая под мышками, выгибая корпус.

Блуждая глазами по стенам, он наткнулся на черную кнопку, вокруг нее сияла медная надпись. Он прищурился, покружил указательным пальцем. «А ну нажать?»

Палец потрогал гладкую поверхность, кнопка бесшумно поддалась. Чучугин отскочил, беспокойно поглядывая на дверь.

Тотчас же в коридоре послышались шаги — шли четверо или трое; шаги были въедливые, настойчивые. Чучугин подобрал отвисшую челюсть, втянул голову в плечи, отошел к окну. Хохолок свесился на лоб, бородка растрепалась...

Коренастый человек в штатском перешагнул через порог; за его спиной шатались и плыли в чучугинские глаза красные лацканы милиционеров.

— Вы будете Галаев? — спросил штатский.

— Нет... нет... не Галаев,— глядя на него через плечо, отвечал Чучугин, — нет, не Галаев, моя фамилия Чу... Чучугин! Галаев помер, по-видимому.

Штатский сделал два шага вперед и, отогнув чучугинский пиджак, вытащил из бокового кармана пачку документов.

— Как же не Галаев,— сказал он скучным голосом,— что вы смеетесь, гражданин! Галаев и есть Галаев! Арестую вас, как говорится, именем закона.

— Позвольте, меня нельзя арестовать,— с отчаянием сказал Чучугин,— я мертвый, на меня плакали сейчас, отпевали, честное слово. Еще тряпка на лбу, взгляните, по-

койник, как есть покойник. Я в бане от угара помер, меня сюда приволокли по ошибке!

— Ладно, на месте выясним,— согласился штатский,— а покамест не задерживайте, гражданин, наденьте пальто. Ну, арестовали и арестовали. Я тут, как говорится, ни при чем. Я человек служащий.

8

«Гадят мне... вот в чем дело. Гадят и гадят».

На запотевшем стекле среди множества добродушных рисунков бесстыдно торчал кукиш. Чучугин плюнул на него, стер рукавом и тут же нарисовал новый.

«Интрига, черт побери! Но кто гадит?»

Он, нахмурясь, посмотрел на свою руку и загнул большой палец.

«Во-первых, мог повредить иностранец. «Вода, природа, повсюду пьют, повсеместно употребляют». Мог повредить, подсмотреть, сообщить куда следует. Мог, конечно, но навряд ли успел! Нет, не он! Тут нужна власть, смелость... Во-вторых...»

Чучугин яростно прихлопнул указательный палец, но тут же освободил его и оставил на некоторое время в полусогнутом состоянии. И вдруг его осенило:

«Вот кто мне гадит! Космополит, член комиссий! Он, он, больше некому. Он на меня и угар напустил, и с полка́ скинул! Он на меня в предбаннике чужой пиджак натянул, он подменил...»

Чучугин стукнул себя кулаком по лбу и заплакал.

«Подменил документ...»

Он поплакал немного, отер глаза, прошелся по комнате.

«Да ведь он же мне давеча намекал, а я, сукин сын, не догадался. «Документ существует вообще...» Понимаю, теперь все понимаю. «Личность не обязательна, она при вашем документе не обязательна, гражданин». Ясное дело, никто не смотрит в лицо, всякий норовит заглянуть в документ. А документ не тот! А документ чужой! Чей документ?»

Кукиш торчал на стекле, по потолку ходили, на койке серела и скучала больничная подушка.

Чучугин примерился, подскочил к двери, с размаху ударил ногой, потом двинул задом.

В окошечко просунулся нос, глаза.

— Подайте сюда чего-нибудь... Инструкцию подайте,— повелительно сказал Чучугин.

— Насчет чего инструкции?

— Насчет самоубийц, например. Или насчет лиц, обвиняемых...— он споткнулся, проглотил слюну, пожевал губами,— ...обвиняемых в душевной болезни.

Ответ пропал в каком-то бормотании, нос смотрел на Чучугина сочувственно. Вместо инструкции в окошечко пролетела газета.

Газета состояла в значительной части из литературной дискуссии между двумя группами писателей и журналистов, причем первая группа доказывала второй, что эта вторая действует не соответственно, проблему брака не разрешила и по многим вопросам сомневается; что она, первая, наоборот, действует вполне соответственно и поэтому ее обижают, а ее нужно не обижать, а поддержать государственной субсидией.

Тут же сообщалось, что президент Португалии Хомец подал в отставку, бешенство усиливается, погода плохая.

Все это Чучугин прочел, но ничему не придал особенного значения; он заинтересовался было хозорганами, рыбтрестом, но вскоре отбросил газету в сторону, даже хозорганы как будто готовили ему какую-то гадость.

Несколько погодя он снова взялся за газету, уткнулся в петит и тут обомлел, схватился за голову, упал на стул...

Мелкий петит в рубрике «Что случилось?» сообщал о том, что сегодня утром из изолятора для душевнобольных имени товарища Кузьмина бежал сумасшедший гражданин, что, проникнув в баню имени Льва Толстого, находящуюся рядом с изолятором, больной вошел в комнату для раздевания, но...

Дальше газета была оборвана, измята. Но Чучугин и не читал дальше.

Всхлипывая и шатаясь, он поднялся со стула, снова позвал сторожа.

— Все понимаю,— сказал он ему рыхлым голосом.— Они обмишулились, другого забрали. Допросите меня, желаю дать показание.

9

Следователь оказался мальчиком не более как лет двадцати, с круглым, розовым лицом, желтоватый пух покрывал щеки. Он встретил Чучугина сурово, молча по-

двинул к нему открытый портсигар, головой указал на стул.

— Тут меня арестовали, знаете,— пробормотал Чучугин и, покачнувшись, сел на стул,— но это пустяки какие-то, имею доказательства, документы.

— Дальше,— сердито предложил мальчик.

— Нет, не виновен, ничего не предполагал, все произошло случайно.

Чучугин дрожащей рукой взял папироску и тут же положил ее обратно.

— Я тут ни при чем совершенно... Я в уборной был, его без меня забрали.

— Дальше!

— Что касается пиджака, то его на меня натянули насильно... Банщик подтвердит, ошиблись, перепутали в суматохе!

Мальчик вытащил из груды бумаг маленькую книжечку небесно-голубого цвета и, перелистав ее, подал через стол Чучугину.

Черные птички, букашки запестрили у него в глазах; по всей странице в каждой строке было напечатано одно и то же слово — «увечье», «увечье». «Пять лет строгого заключения»,— прочел наконец Чучугин.

— Помилуйте, какое увечье,— выдавливая дрожащими губами слова, пробормотал он,— это мне нанесли увечье. Я с полка́ упал, меня отпевали.

— Да! Да! Вас! Отпевали! — досадливо заметил мальчик и почесал желтоватый пух под носом.— Мы все знаем, не старайтесь нас запутать. Говорите прямо; запутаете, вам же хуже будет.

— Угар, тошнота! Допросите банщика, банщик подтвердит, что я находился в бесчувственном состоянии...

— В бесчувственном состоянии, знаете ли, едва ли возможно такую штуку проделать, в гроб человека уложить.

— Кого в гроб? Помилуйте, да это меня в гроб уложили,— прокричал Чучугин,— гробовщик грозил мне судом, но даю вам честное слово, что я ему никогда ничего не заказывал.

Мальчик хмуро оттопырил нижнюю губу, притушил папиросу.

— Признаете вы себя виновным?

— Нет, не признаю, его без меня... Я в это время отсутствовал, находился в уборной.

— Признаете вы себя виновным в нанесении тяжких увечий гражданину Чучугину, Дмитрию Ивановичу, бывшему бухгалтеру, или нет?

Чучугин окаменел, рот его медленно раскрылся, глаза полезли на лоб.

— Чучугину?

— Чучугину.

— Бухгалтеру?

— Бухгалтеру.

Чучугин закрыл рот, подмигнул следователю и неприлично захохотал.

— А позвольте узнать, какого рода телесные повреждения я причинил этому бухгалтеру? — спросил он злорадно.— Может быть, я повредил ему нос или ребра повредил?

Следователь вдруг покраснел, смутился до крайности, он для чего-то передвинул чернильницу, которая очень плотно стояла на своем месте, поковырял на щеке розовый прыщик.

— Вы обвиняетесь в том, — выпалил он сразу,— что в припадке зверской ревности свели гражданина Чучугина с ума!

Чучугин обомлел.

— Свел с ума? Как свел с ума? Да,— сказал он невнятно.— Да разве его с ума свели? Его не свели, он не даст свести! Да разве он даст, он здоровый!

Следователь внимательно посмотрел на него: он был расстроен и обеспокоен, глаза щурились, блуждали, хохолок свалился на лоб.

«Необходимо медицинское, медицинское, медицинское... Необходимо медицинское освидетельствование»,— задумчиво написал следователь на листе бумаги.

— Ничего не понимаю,— сказал он вслух,— вот вам перо и бумага, изложите письменно, но имейте в виду, что мы все знаем. Не старайтесь запутать, вам же и т. д.

10

«Нижеподписавшийся есть гражданин... Имя: Дмитрий; отчество: Иванович; фамилия: Чучугин, и никто другой, как Чучугин; бывший бухгалтер, холост, детей, к сожалению, нет, сообщаю кому следует.

П у н к т I.

Год тому назад, в мае месяце, я был внезапно сокращен со службы моей в рыбтресте и препровожден в дом для душевнобольных без всяких достаточных оснований.

Дом для душевнобольных без всяких достаточных оснований есть дом для облыжно-сумасшедших. Дом же для облыжно-сумасшедших помещается в улице братьев Гракхов, рядом с баней имени Льва Толстого.

Будучи совершенно здоров как душевно, так и физически, я немедленно написал об этом прискорбном случае в органы центрального управления, но получил совершенно незначительное отношение по поводу лошадей, написанное не по моему адресу и найденное мною в уборной. Этот возмутительный факт, нарушающий права любого гражданина, пользующегося избирательным правом, побудил меня прибегнуть к ловкости рук и хитростью вернуть уворованную врагами свободу.

На этом основании двадцать шестого утром я благополучно ушел из-под надзора и проник в семейные бани имени Льва Толстого, они же, в свою очередь, стена в стену упираются в дом для облыжно-сумасшедших. Будучи отроду чистоплотен и видя граждан в воде, в мыле, я твердо решил помыться сам, с тайной мыслью отряхнуть тем самым от своих ног прах вышеупомянутого дома. И я разделся. Положив на скамью казенное обмундирование, я прошел по личным делам, в уборную.

В то время как, занятый единоличными делами, я отсутствовал из предбанника, появился в предбаннике студент-медик Тарасов с двумя служителями.

Студент-медик бушевал. Схватив неизвестного мне гражданина под мышки, он натянул на него (предположительно, смотрел через замочную скважину) мое казенное обмундирование и с помощью служителей выставил из предбанника на улицу.

Могу представить свидетелей — я в этом ни малейшего участия не принимал.

Наоборот, выйдя из уборной, спросил у банщика, кого это поволокли? Банщик объяснил. Тогда я заметил ему, что бешенство распространяется, и потому сумасшедшим действительно мыться в общей бане нельзя. Имею все основания предполагать, что неизвестный гражданин, вовлеченный студентом-медиком в невыгодную сделку, есть не кто иной, как инспектор-ревизор Георгий Павлов Галаев.

Пункт II.

Исключительно за счет угара, окончившегося полнейшей потерей сознания, должно отнести все, что произошло вслед за тем. Так, за счет угара мною был встречен мохнатый субъект, падшая личность, впрочем, уверявшая меня, что ей предоставлены все права на существование.

По долгу гражданина республики должен предупредить, что этот мохнач замешан в преступлениях государственного характера. Тем не менее он появился в совершенно неприкрытом виде; это убеждает меня, что тут вряд ли учинил насилие и причинил увечье инспектор-ревизор Галаев. Пошлая личность сбежала от своего хозяина единолично.

На всякий случай сообщаю приметы: роста среднего, хамоват, лыс, говорит полным голосом, возраст — лет тридцати пяти — сорока, место рождения — как сам уверяет, космополит; судя по внешности — ответственный работник (положение имущественное или социальное? — социальное), чем занимался до 1926 года?

За счет же угара должно отнести, во-первых, происшедший на полке́ кошмар с женщиной, которой я должен был отдать отчет о случившейся якобы у меня беременности; во-вторых, банщика, который до странности схож с известным политическим интриганом Керенским.

Угорев, я свалился с полка́. Дюжий мужчина принес меня в предбанник. Здесь, в предбаннике, на меня натянули чужую одежду, в том числе серый пиджак со знаком химтреста, впоследствии оказавшийся принадлежностью инспектора-ревизора Галаева, вовлеченного студентом-медиком в дом для облыжно-сумасшедших.

Я же, напротив того, под видом покойного Галаева был принесен в номер гостиницы, где на меня плакал неизвестный мне гражданин с лицом свободной профессии.

Гробовщик, к которому, впрочем, никаких претензий не имею, собирался меня хоронить; баба меня сторожила. И вот ясно, что, будучи бухгалтером Чучугиным, я ничего у бухгалтера Чучугина отрезать не мог и что с инспектором-ревизором Галаевым я ничего общего не имею.

Таким образом, на основании вышеперечисленных доводов, находясь в здравом уме и твердой памяти, кому следует предлагаю:

1) сохранить гражданина Галаева для дома облыжносумасшедших и таким образом пополнить комплект;

2) оставить меня, нижеподписавшегося, в покое как человека лояльного, с ясными политическими взглядами и общественной стрункой.

Подписал показание
Имя: *Дмитрий*
Отчество: *Иванович*
Фамилия: *Чучу...*»

11

Впрочем, фамилию он подписать не успел. Дверь треснула, отвалилась в сторону; невысокая, полная женщина перешагнула через порог и, ни на кого не глядя, опустилась в кресло. Кружевной платочек скатился с колен, она подхватила, прижала платочек к лицу и горько заплакала. Чучугин присел, выронил перо, следователь испуганно поглядел на женщину и нахмурился.

— Кончайте, кончайте, мы сейчас выясним, в чем тут дело,— сказал он Чучугину.

Чучугин рассеянно посмотрел на свое показание, сунул его в карман и направился к женщине.

«Социальное положение — дочь врача,— подумал он мельком,— образование среднее, брови превосходные, цыганские брови».

— Извиняюсь, не могу терпеть, вынести не могу, когда женщина плачет,— пробормотал он в сторону и осторожно потрогал женщину за плечо.

Плечо дрожало.

Чучугин поправил бородку, пригладил волосы.

— Гражданка...

— Мы разошлись, как в море корабли. Жорж,— сказала сквозь платочек женщина,— я дала клятву, что больше никогда не вернусь к тебе. И я не пришла бы к тебе, даже если бы ты озолотил меня с головы до ног. Но на этот раз меня послали к тебе наши малютки.

Чучугин бессмысленно икнул, развел руками.

— И эта тоже, господи благослови! И без документа признает! Да что же это, лицо? Они мне в бане лицо подменили? Банщик старое лицо смыл, а парикмахер налепил новое!

Он торопливо пощупал лицо, оглянулся и, не найдя зеркала, побежал к оконному стеклу.

Со стекла на него смотрел немного похудевший, взъерошенный, но все же он, Чучугин, слава богу, не кто иной, как Чучугин, имя: Дмитрий, отчество: Иванович, фамилия: Чучу...

— Позвольте, позвольте,— сказал он, оборотившись, и начал подходить к женщине сбоку,— на каком, собственно говоря, основании вы принимаете меня за своего мужа?

Женщина мгновенно отняла платочек от глаз и поджала губы.

— Ммм, негодяй! — пробурчала она сквозь зубы и совсем разрыдалась.— Я вас ненавижу, ненавижу! Подумайте, как вы обращаетесь с женщиной, которая, несмотря ни на что, продолжает любить вас.

— Но все-таки, какие внешние признаки могли бы вы указать,— отчаиваясь, спросил Чучугин,— ведь ваш муж имел же вероятнейшим образом признаки. Я не сомневаюсь, что мои, так сказать, признаки значительно отличаются от признаков вашего мужа. Присмотритесь, гражданка, поверьте, что это имеет для меня...

Следователь нетерпеливо схватился за телефонную трубку, потом принялся писать отношение. Он в одну минуту запачкал чернилами пальцы. «По моему мнению,— писал он,— необходимо прежде всего подвергнуть гражданина Галаева медицинскому освидетельствованию, главным образом с психиатрической стороны...»

— Десять лет... десять лет, как ты ушел от нас, Жорж,— всхлипывая, говорила женщина,— я все терпела, я не писала тебе, моя жизнь догорала, как камин, Жорж!

«Какамин, какамин,— смутно повторил про себя Чучугин,— десять лет, однако, тогда все понятно. За десять лет и не такое позабыть можно».

Он посмотрел на нее со стороны: у нее были крепкие сросшиеся брови, красный рот, она была недурна собой.

— Гражданка, что ж мне делать, если...

— Не надо слов,— строго возразила женщина,— ты знал, ты знал, что ты делал, Жорж. Пока ты жил в свое удовольствие, я растила твоих малюток. Чьи эти малютки? Ты, может быть, скажешь, что это не твои малютки, Жорж?

— Малютки, малютки,— досадливо сказал Чучугин,— что же мне делать, что малютки. Я со своей стороны всегда готов...

Женщина вспыхнула, закусила губу.

— У меня связи, Жорж. Если это так, я возьму тебя на поруки,— пробормотала она и внезапно похорошела до того, что у Чучугина голова закружилась.

«Хороша как... Ах, как хороша!» — невнятно вспомнил он и твердыми шагами направился к следователю.

Подойдя к нему поближе, он вытащил из кармана свое показание и раскрошил его тут же на столе.

— Как вы говорите? — спросил он весело и смахнул рукавом обрывки.— Ах, да, Галаев. Как же, Галаев, Георгий Павлович, инспектор-ревизор. Это я.

Он оперся обеими руками о стол, потянулся к следователю: розовое, мальчишеское ухо торчало из-под черных волос. Он наклонился к этом уху и пробормотал:

— А что касается лица, так лицо большого значения не имеет. Главное — документ. А документ — вот он. Не следует смотреть в лицо, извольте посмотреть в документ.

12

Он проснулся на следующий день от престранного ощущения: полная женщина с крепкой открытой грудью целовала его. Он приподнялся, протянул руку; женщина запахнула капот и, негромко взвизгивая, побежала к двери.

«Отвыкла от мужчины, еще стесняется,— подумал Чучугин и потянулся,— еще бы, десять лет все-таки. Забыла, поди, как что, заржавела совершенно».

Он спустил ноги на ковер, протер глаза и разом опомнился; крайне важно, нельзя забывать: бывший бухгалтер, сбежавший накануне из сумасшедшего дома, умер в бане от угара; взамен него родился и вступил в существование главный ревизор-инспектор, лицо заметное, обремененное государственными делами и семейными («малютки») заботами. Чучугин встал на ноги и огляделся: перед ним была мягкая жилая комната с ковриками, диванчиками, подушечками, семейными фотографиями, капельная лампада светилась в углу, пахло нафталином...

— Хм, лампада, дурман, опиум, отменено декретом,— пробормотал он.

Прекрасные фильдекосовые кальсоны висели на спинке стула, тут же были сложены носки, подвязки.

Это его восхитило.

«Женат, женат, совсем иное дело»,— подумал он и надел кальсоны.

Но носки и подвязки он надеть не успел.

Грузный старик влез в комнату и, мельком взглянув на Чучугина, прошел мимо, как будто Чучугина здесь и не было. Усевшись на кровать, он расставил ноги, понюхал воздух и, опершись о полку, закрыл глаза.

«Спать собирается»,— пугливо подумал Чучугин.

— Н-ну, поздравляю, этого...— отдуваясь, сказал старик,— с возвращением в этого... в лоно. Что, брат, наблудился за десять лет так, что и узнать никак невозможно.

Чучугин обиделся, недовольно пожал плечами.

— Вот уж не знаю, кто из нас больше блудил... папаша,— промычал он наугад,—я тоже кое-что о вас слышал.

Старик побагровел, однако сдержался и только понюхал воздух. Седые волосы показались у него из ноздрей и ушли обратно.

— Что это в газетах пишут,— сказал он миролюбиво,— Хомец, этого, кажется, в отставку подал; ты, Георгий Павлович, в этого... в сферах. Объясни, в чем дело. Почему все-таки взял и подал?

— Да что ж, Хомец действительно подал, не захотел служить,— небрежно сказал Чучугин,— он, кажется, голландский президент. Президенты время от времени, как правило, подают. Это все англичане путают. Колонии и колонии. С разрешения правительства нам на колонии начхать.

Старик помолчал, поежился.

— Сволочь ты,— сказал он наконец задумчиво,— до того погряз, что ближайших родственников не узнаешь. Ну какой я, этого, тебе папаша?

Чучугин тревожно моргнул, шлепнул губами.

— Так ведь я близорук,— поспешно объяснил он,— я хотел сказать...

Старик поднял на него грузное лицо и переставил палку.

— Что сказать?..

— Насчет колоний,— робко пролепетал Чучугин и в отчаянии занялся носками: подвязки щелкали и вырывались у него из рук, он не осмеливался взглянуть на своего посетителя. Зато старик внимательнейшим образом рассматривал Чучугина, и бородку, и ноги, и кальсоны, и выражение лица.

— Тут что-то не то,— решил он наконец,— тут какая-то путаница.

Чучугин застегнул подвязки, надел брюки; в брюках он почувствовал себя солиднее, бодрее.

— Никакой путаницы,— возразил он решительно,— папаша, я по чистой случайности сразу не узнал вас.

Старик отставил в сторону палку и сделал из своих кулаков подзорную трубу.

— Вся беда, что я забыл, этого, лицо,— рассуждал он вслух,— забыл, как проклятый.

— Это я тебе, Георгий Павлович, прихожусь папашей? — грозно спросил он.

— Ну, что ж, тестя обыкновенно называют папашей,— не задумываясь пробормотал Чучугин.

Старик взмахнул плечами, выпустил из ноздрей волосы и затрясся и захохотал.

— Хха, хху, хха,— хрипел он,— да ты шутник: как разыграл старика... Актер, актер, Мочалов, разыграл, Качалов.

— Хвв, хвв,— нервно прокричал Чучугин.

Старик хлопал его по животу, валился на сторону, задыхался.

«Ну, сошло, пронесло». Чучугин приятельски потрогал старика за живот.

— Конечно, шутил,— сказал он, успокаиваясь, и махнул рукой.— Неужели вы в самом деле подумали, что я не узнал вас с первого взгляда?

Старик спрятал волосы, перестал смеяться. Он приподнялся и озабоченно задрал вверх полу своего сюртука, клетчатый зад выглянул на свет и спрятался. Бормоча: «Тут, что ли, куда это я его, в которое это место сунул»,— он вытащил из заднего кармана платок, какое-то барахло и, наконец, запечатанный конверт с адресом, настуканным на машинке.

— Манечка меня посылала в твою, этого... гостиницу,— пробормотал он,— за письмами, узнать, нет ли писем... Так вот...

Чучугин разорвал конверт, губернская инспекция предлагала главному ревизору в трехдневный срок выяснить состояние денежных сумм, финансовую отчетность и т. д., и т. п. местного отделения Главслепа, помещающегося по улице, и адрес.

— Главслеп? Однако это слепачи, по-видимому; какая же отчетность?.. Понимаю, растраты, железной метлой гнать негодяев. Будет сделано.

Он поспешно натянул пиджак, пригладил волосы, поправил бородку.

— Так что же ты, чаю надо, кофе, этого, пить надо, завтракать,— озабоченно сказал старик.

— Милый, к сожалению, ни минуты. Сами видите, масса работы, рвут на части, рад бы, но никак не могу. Я вечером все сразу выпью. Скажите Ма...

Он не докончил: дверь ахнула, распахнулась, четверо детей, недружелюбно посматривая на Чучугина, вошли в комнату, за ними Чучугин увидел цыганские брови, и красный рот, и крепкую грудь, и другие уже знакомые ему предметы.

— Жорж, я привела тебе...

Чучугин беспомощно екнул, ноги у него подвернулись.

— Ах, это ма... малютки,— пробормотал он.

Коренастый мальчик с вывернутыми мокроватыми ноздрями, хищно оглядываясь, подошел к нему и засунул руки в штаны.

— Алло, папашка? — недоверчиво спросил он.

Трое остальных, как по команде, гулко и откровенно захохотали.

— То есть ка́к это алло? — растерялся Чучугин.

— Что ты, Коля, как ты говоришь с отцом,— строго заметила женщина и, восхищаясь, подтащила к Чучугину маленькую, как гриб, девочку; две косички свисали с ее головы, красный платок болтался на шее.

— А-хии, хи, да-хии, хи,— поддержал Чучугин и осторожно погладил девочку по голове.

Девочка немедленно плюнула в ладонь, отерла ладонью голову и оборотилась к братьям.

— Мама хахаля привела,— хмуро объяснила она.

Самый маленький, похожий более на букашку, едва ли не грудной, стоял в стороне, держась за юбку матери. Чучугин подхватил его, он это с полнейшим хладнокровием встретил.

— Ну, малыш,— опасливо спросил Чучугин, надеясь втайне, что этот малыш совсем говорить не может,— ну, как, скажи, как твоя фамилия?

— Ишь ты, мать твою, фамилию спрашивает,— строго заметил малыш.

Чучугин вздрогнул, поежился и осторожно поставил малыша на старое место.

— Да, конечно... малютки, очень рад познакомиться,— неопределенно пробормотал он,— но это все-таки... совершенно напрасно. Впрочем, надо еще посмотреть, выяснить... А пока что...

Он изящно махнул рукой.

— Извиняюсь, пора идти. Дела, ревизия. А потом, вечером, я все сразу скушаю, и чай, и обед, и ужин.

13

Навстречу, вытянув руку, постукивая палочкой, шел человек. Улица пустовала. Чучугин, размахивая отношением, побежал к нему. Около часа он безуспешно искал учреждение, долженствующее подвергнуться ревизии. Человек остановился не сразу. Он перестал постукивать, прислушался. Чучугин повторил.

— Главслеп, чтоб он сгорел? — Человек закинул голову, молочные белки выкатились наружу.— А вам зачем, вы тоже?..— Он показал рукой на глаза.

— Приказано обревизовать в трехдневный срок,— твердо сказал Чучугин.

Слепой радостно вскрикнул и схватил его за рукав.

— Обратите внимание на Гольдберга ради бога,— забормотал он.— Гольдберг секретарь, он хам, у него все суммы не в порядке, он устраивает кутежи. Он водит девиц, проверьте его отчетность.

— Понимаю, растраты. Так где, вы говорите?

— Колючий забор, чтоб он сгорел,— пробормотал слепой,— на той стороне, там, за углом, есть калитка. Но не забудьте, ради бога, главный растратчик Гольдберг и еще казначей, пощупайте казначея...

Перед калиткой Чучугин поправил хохолок, едва ли не до самой земли опустил брюки,— так показалось ему официальнее, правительственнее, строже.

Носатый гражданин в унылом свисшем пенсне сидел за столом и, как больная лошадь, поводил головой туда и обратно.

— Рукопожатия окончательно отменены,— сообщил ему Чучугин.

— Да что вы,— рассеянно заметил носатый и с безнадежным видом принялся читать чучугинское отношение.

— Ревизоры, все ревизуют, что ревизуют, почему ревизуют? — пробормотал он.

Чучугин обиделся.

— Позвольте, как это почему ревизуют? Наоборот-с, еще мало ревизуют. Собственно говоря, ревизовать каждый день после занятий следует... Кругом растраты, бухгалтерия поставлена из рук вон плохо...

Он рассвирепел, повелительно мотнул головой и вдруг ударил ладонью по столу.

— Попрошу секретаря. Тут имеется секретарь Гольдберг, попрошу его сюда. Посмотрим, как у него обстоит...

— Я и есть Гольдберг,— уныло сказал носатый.

Чучугин испугался — новый инцидент, новая путаница ему почудились.

— Видите ли, когда назначают ревизию,— объяснил он миролюбиво,— приказывают... На мне вся ответственность, если, скажем, мошенники или растраты. Я, как главный ревизор-инспектор, обязан пересмотреть.

— Пересматривайте, посматривайте, присматривайте,— бормотал носатый.

— Позвольте, говорю я вам... не торопитесь,— прервал его Чучугин и почувствовал себя превосходно,— имейте в виду, что еще не проверена наша отчетность. Позвольте сюда, говорю я вам, приходо-расходные книги, попросите сюда, говорю я вам, ваших бухгалтеров, и тогда...

— У нас один бухгалтер, и тот в отпуску,— сообщил носатый.

Но Чучугин уже не обращал на него никакого внимания.

— И тогда,— прокричал он, выпучив глаза,— произведенная вами растрата...

— Какая растрата, откуда вы взяли растрату?..— Носатый нервно снял пенсне, протер и снова повесил на нос.

— ...будет исходить из надлежащих подсчетов,— торжественно закричал Чучугин и ткнул пальцем в лежавшую на столе кассовую книгу.

Дебет и кредит, кредит и дебет замельтешили у него в глазах, но каждая цифра сама по себе казалась недостоверной, распухала, превышала норму.

— Позвольте, почему баланс? — пробормотал он и, бросив карандаш, принялся подсчитывать заново.

— Только у нас казначей слепой,— говорил носатый,— а я, как секретарь, за кассу не отвечаю.

Чучугин остолбенел, растерялся.

— Позвольте, как это слепой? — спросил он.— Раз он слепой, так как же он деньги считает?

— Слепой, совершенный слепач,— подтвердил носатый.— Ничего не поделаешь, представитель от слепых в правлении.

— Позвольте, а председатель,— замирающим голосом спросил Чучугин,— а как же председатель, тоже?

— И председатель слепач.

Чучугин схватился за голову, в ужасе упал на стул.

— А члены?

— И члены слепачи. Все слепачи, один я зрячий.

— Созвать комиссию! — задыхаясь, прохрипел Чучугин,— медперсонал сюда! Требую медперсонал, это так оставить невозможно.

Носатый удивился, уронил пенсне, вздернул плечи.

— Комиссию? Какую комиссию, для какой цели?

— Комиссию, комиссию,— орал Чучугин,— правление и медперсонал! Я, как главный ревизор, председательствую. Тут же, немедленно, на месте!

Трое слепых, один почему-то со скрипкой в руках, другой беспрестанно примаргивая, вынырнули откуда-то из стены и, тревожно поводя своими беловатыми шариками, полезли знакомиться с ревизором.

— Граждане правленцы! — Чучугин вдохновенно взмахнул руками.— Граждане обоего пола, пользующиеся в огромном большинстве избирательным правом! Произошло недоразумение. Над вами злостно забавлялись. Прекратить.

— Фактитски, Чарльз Дарвин...— трясущимися губами заявил примаргивавший слепой.

— За отсутствием надлежащих органов вы не можете управлять. Вы думаете, что вы правленцы? Заблуждение! Я должен буду отдать ваш медперсонал под суд. Вы какого комиссариата?

— Собес,— сообщил слепой со скрипкой.

— Ага, собес, и это плохо. Я знаю собес, я ревизовал сумасшедший дом в собесе. Из рук вон плохо: больные бегут через баню, один за другим бегут через баню, и охраны никакой.

— Фактитски, Чарльз Дарвин...— растерянно повторил примаргивавший слепой.

Носатый вдруг поманил кого-то пальцем, дверь за спиной Чучугина приотворилась.

— А вот и наш медперсонал,— грустно заметил Чучугину носатый.

Чучугин обернулся — и осел, искры посыпались у него из глаз, он покачнулся. Знакомое лицо плыло к нему, на прямых плечах через всю комнату двигалась студенческая тужурка.

«Где я видел этого студента? — подумал он и вдруг почувствовал себя голым, совсем голым, вот и волосы на

груди, и живот шевелится и дышит...— Видел, не видел, видел, не видел, видел?»

— Тарасов,— внятно произнес студент.

«Ну, крышка, Тарасов,— прокричал в самого себя Чучугин,— сейчас, сию же минуту догадается, что другого взяли, он ко мне ходил, он меня в лицо знает».

— А-хи-хи-хи, да-хи-хи-хи.— Чучугин приятно засмеялся и потрогал студента за рукав.— Вот и медперсонал, очень приятно, рад познакомиться, мы тут на попри... мы тут на поприще...

Студент выжидательно смотрел на него, веки у него щурились и раздвигались.

«Узнал,— похолодев, подумал Чучугин,— догадался, догадался, каналья».

— Безобразие, полнейший развал,— наскоро сказал он слепым.

Слепые, теперь все трое, примаргивали.

— Плохо, плохо, крайне плохо. Принужден поговорить с персоналом наедине... наедине и совершенно секретно...

Слепые остались за дверью и заговорили все разом, музыкант заскрипел на своей скрипке, дарвинист ругал секретаря.

— Я Галаев, Галаев.— Чучугин с горечью произнес это имя.— Вы... вы... не возражаете?

Студент рассмеялся.

— Нет, не возражаю, пожалуйста.

— Вы знаете все, я вижу, что вы все знаете,— пробормотал в отчаянии Чучугин.

— Мне кажется, что состояние здоровья членов правления не входит в обязанности...— начал студент.

Чучугин прервал его, схватил за руку.

— Тройной оклад,— предложил он невнятно,— отопление, освещение, казенная квартира, женщины, все, что угодно, только молчите, ни слова, могила.

— Вы, кажется, ошиблись, не по адресу, знаете ли, за другого приняли,— обидчиво говорил студент.

«Намекает, притворяется,— обливаясь потом, подумал Чучугин,— я знаю, кого это за другого приняли, посмотрим, начнем издалека».

— А вот я вас встречал,— выпалил он сразу,— или нет, не встречал, слышал... Я слышал, вы раньше в изоляторе для душевнобольных служили...

— Нет, не служил, я там больного курировал...

— Ага, вот это очень, ха-ха, любопытно. А что это говорили, у вас там из изолятора больные... бегут больные? Охрана плохая или питание, что так бегут?

— Бегут? Ну, нет, бежать еще никому не удавалось. Кто-то хотел убежать, но ничего не вышло, вернули.

— Вернули? Вот именно вернули! Комплект, так сказать, пополнили, да, да, да.

Студент пошарил в карманах, вытащил кошелек, сунул Чучугину газетную вырезку.

— Вот тут как раз об этом, прочтите, это я его и вернул. В баню залез, забавный случай.

Чучугин ватными глазами бродил по мелкому побледневшему петиту,— это была та самая заметка, которую он давеча не успел дочитать.

«Больной вошел в комнату для раздевания,— негромко хрипел он,— но был через несколько минут задержан студентом-медиком Тарасовым и с помощью служителей водворен обратно в изолятор».

— Ага, водворен.— Он с торжеством бросил заметку на стол,— но кто водворен, вот в чем дело? Водворен! И правильно. И охрану утроить. Помилуйте, да это жуть прямо, сумасшедшие бродят, открыто бродят по городу.

— Мало, что удрал, вы не дочитали,— заметил студент.

— «Любопытно отметить хитрость, которую проявил при этом больной, оказавшийся бывшим бухгалтером Чучугиным. Войдя в баню, он разделся догола, учитывая, что его трудно будет в таком виде отыскать...» — Чучугин облился пóтом, помертвел,— «...отыскать среди моющихся граждан, и только благодаря осмотрительности студента-медика Тарасова не произошло роковой ошибки».

Заметка, кружась, полетела по воздуху и села на пол. Чучугин задыхался.

— Вот именно ошибка, обмишулились,— пробормотал он,— вот именно другого взяли. Я докажу, что другого, я так не оставлю.

— Да вы с ума сошли, что ли? — спросил студент.

— У меня документы, я докажу!

Дверь распахнулась, трое слепых стояли на пороге; он бросился между ними и, плача и визжа, скатился по лестнице.

14

Одноногая птичка умирала у него на лбу, он сгонял ее, но она снова садилась на лоб и снова умирала, рукава горячечной рубашки резали плечи, и на каждом углу айсор с лицом свободной профессии протягивал ему черные, как солнце, щетки.

Он бормотал, томился, бредил на бегу.

Улица, срезая углы, покатилась наконец в реку, мост пробежал под ним, и он увидел бани. Далекая, как горизонт, вывеска качалась над ними.

А там, за банями...

Он вздернул плечи, надвинул шляпу, ушел в пиджак.

Знакомый подъезд вихрем несся к нему, он едва успел подобрать руки. Дверь дернулась на длинном рычаге, он мялся перед швейцаром, пряча лицо, защищаясь пиджаком, плечом, теневой стороной.

— Нужен больной! — прокричал он наконец и тут отдышался, пришел в себя.— Имя: Дмитрий, отчество: Иванович, фамилия: Чучугин. Сейчас же, сию минуту.

Швейцар хмурился, сонно качал головой:

— Нет приема, поздно. Когда проспались, что вы, гражданин?

— Заведующего, директора,— твердо сказал Чучугин.

Седовласый, сушеный старичок выплыл перед ним, целлулоидный воротник спадал с шеи, кадык двигался между лацканов, забрызганных перхотью.

— Главный ревизор-инспектор Галаев,— объяснил Чучугин,— сейчас же, сию минуту еду в долголетнюю командировку, зашел проститься с дядей, с двоюродным братом, некий Чучугин, содержится у вас, прошу не отказать, больше не надеюсь увидеть.

— А-та-та-та-та-та,— сочувственно пробормотал старичок,— надо-да-да-да-да. Да! Он в тихом, в тихом, та-та-та.

— Он чрезвычайно тихий, ваше превосходительство,— отчетливо сказал Чучугин.

Старичок удивленно поднял бровь, выдвинул ухо.

— А-та-та-та-та,— пробормотал он, успокаиваясь,— проводите в четырнадцатую. Чучугин, как же, помню. Надо-да-да...

Коридор, непохожий на Невский проспект, блистая верхним светом, мелькнул перед Чучугиным, служитель морщился, негодовал, и цифры на выпуклых белых бляхах бежали вдоль дверей.

— Нет ли у вас закурить, гражданин? — попросил служитель. Он шарил за ключом, щупал пальцем замочную скважину.

— Нет, курить мне запрещено, не курю.

Чучугин оборотился спиной и, спрятав голову в пиджак, подбирая вдруг размякшие губы, задом вошел в комнату.

Так он и остался стоять, пугаясь, холодея, покамест чей-то отдаленный смешок не послышался ему. Смешок показался ему знакомым.

— А-хи-хи-хи, да, да, хи-хи-хи,— разобрал он наконец и сразу оборотился.

На кровати в полосатых подштанниках лежал и хихикал немного похудевший, взъерошенный, но все же он, Чучугин, не кто иной, как Чучугин, имя: Дмитрий, отчество: Иванович, фамилия: Чучу...

Чучугин просто, Чучугин в штанах, не сдерживаясь больше, заревел, бросился в угол и присел на корточки, зажмурив глаза, кусая соленый, вязкий, как вар, язык...

Чучугин в подштанниках перестал хихикать, вздохнул, слез с кровати и, жалостливо хмыкая, пошел в угол.

— Мить...

Чучугин в штанах дрожал, плакал.

— Мить, а Мить...— повторил тот,— ты не волнуйся, Мить, не надо, чего там... Ну, не вышло, так и не вышло, ехало — болело. Плюнь, Мить, не плачь, мы еще повоюем.

— Так, значит, и не было ничего,— сквозь слезы пробормотал Чучугин,— и Галаева никакого не было, и документ я не менял, и мохнатого субъекта не встретил?

— Не, куда там,— вздохнув, отвечал тот,— и не было, и не было. И не мудри, Митя. Ничего не было.

— Так, значит, я тут безвыездно сидел, и все то же, все то же?

— Ну, нет, как сидел.— Чучугин в подштанниках грустно покачал головой.— Ты удрал, удрал, Митя. Ты в баню удрал, разделся даже... Да только тут и конец, тут тебя и застукали!

— Да позволь, как застукали? — Чучугин вскочил, выбежал из угла, размахивая руками.— Позволь, да я сам, своими глазами видел, как обмишулились, как другого взяли.

— Хотели взять, могли взять,— вздохнув, поправил тот,— могли, но не взяли. Могли взять, а ты уж бог весть чего наворотил, напридумал...

— Позволь, да ведь я в кутузке сидел, женился, дети ведь, что же, и детей, что ли, не было?

— Эка прицепился, брат, было — не было!

Чучугин в подштанниках махнул рукой и, мягко ступая, пошел к себе, лег на кровать. Бородка торчала вверх, хохолок у него свалился набок.

Чучугин в штанах успокоился и, еще всхлипывая, притулился у окна.

— Было — не было,— услышал он смутно бормотание,— напридумает такого, сатана зубы обломает, и который раз... а после плачется. Жена, дети. Откуда у тебя дети? Ты больной, ты, Митя, детей иметь не можешь. Ушел через клозет, это верно, против этого я не спорю. И заметь, когда ушел? Давным-давно ушел, уж и позабыли все, а он все никак успокоиться не может. Ну, не удалось, ну, приволокли обратно. Так тут не плакать, тут момент нужно ловить, Митя!

Начинало темнеть. Чучугин шагал и шагал, поглядывая на кровать: полосатые подштанники полоса в полосу сходились с больничным одеялом, подушка еще бормотала невнятно, и наконец легкий храп начал пробиваться и поскрипывать. Чучугин остановился и успокоенной рукой привел в порядок растрепанные волосы, одернул пиджак, поправил галстук. Подойдя к дверям, он робко пошевелил ручкой, еще раз вздохнул, дверь не отпиралась.

Храп мотался по серому одеялу, забирая высоту, и с каждым выдохом становилось все сумрачнее, темнее.

Хитро прищурясь, Чучугин расстегнул брюки, приложил ладонь к горячему, сухому животу и, согнувшись под прямым углом, постучал в двери.

— Окружен с трех сторон,— пробормотал он и вылупил глаза на служителя, приотворившего дверь,— имя неизвестно, республика в опасности. В минуту крайней нужды прибегаю к вашему благородию: дозвольте воспользоваться клозетом.

Путаясь, утвердительно мотая головой, он протискался в черную дверь уборной и неслышно накинул крючок. Четыре высокие стены сдвинулись перед ним в одну узкую коробку, и сияющий дальтонваз стоял меж них и шумел повелительно и непреклонно.

Он торопливо открыл окошечко, просунул голову и засмеялся: прекрасное вечернее небо нарисовалось над ним, звезды смотрели умными женскими глазами. Он сузил плечи, вытянулся, выбросил вперед сперва одну, потом дру-

гую руку; толстая водосточная труба прилипла к телу и, качаясь, плавно опустила его вниз.

Он ушел в тень, прижимаясь к стене, перебежал через пустой вечерний двор. Все казалось ему чрезвычайно благоустроенным, крайне вежливым и солидным.

Кухонная дверь качалась на петлях, он толкнул ее... Остановился, вытянув шею, прислушиваясь, принюхиваясь: душноватый запах мыла, пара, прелой березы почудился ему; он поспешно прошел под лестницей — гипсовая женщина лила в гипсовый бассейн воображаемую воду, за ней зияло квадратное отверстие кассы.

Он притворил еще одну дверь и протискался в предбанник.

Голый гигант прошел мимо него, тяжело двигая чугунными ногами монумента, пухлый мальчик шел за ним, заботливо покачивая головой.

Он осторожно присел на диван, сбросил пиджак, стянул брюки. За вспотевшей стеной гремели шайками, целое мыльное море билось о деревянные берега.

Солидный краснорожий гражданин сидел напротив него и говорил что-то о злоупотреблениях, о растратах; сухопарый приятель поддерживал его, приговаривал, охотно чесал тощий волосатый живот.

— И вот, говорю я вам, назначают ревизию, приказывают... Строжайше пересмотреть... Строжайше, говорю я вам, приказывают пересмотреть отчетность. Я по своей обязанности...

1924

КОНЕЦ ХАЗЫ

Памяти Льва Лунца

В дни, когда республика, сжатая гражданской войной, голодом, блокадой, начала наконец распрямлять плечи, изменяя на географической карте линию своих очертаний, в Петрограде, который только что остыл от схватки с мятежным Кронштадтом, на Лиговке, единственной улице, сохранившей в неприкосновенности свои знаменитые притоны, из дома, принадлежавшего когда-то барону Фредериксу, министру двора, где живут главным образом учительницы музыки и иностранных языков, те самые, что по праздничным дням носят на груди часики, приколотые золотой булавкой, из антресолей, которыми зовется в этом доме второй этаж, двенадцатого сентября, в девять часов утра, ушла и не вернулась обратно стенографистка Екатерина Ивановна Молоствова.

1

Когда извозчик едет на Старо-Невский, то, как бы он ни был пьян, колеса его пролетки не станут вертеться по направлению к Адмиралтейству. Мировой порядок никому не позволит исчезнуть из комнаты, из дома, из города так, чтобы этого никто не заметил.

Поэтому представитель коридора (в доме барона Фредерикса много круговых коридоров, и у каждого свой представитель), в котором жила стенографистка Молоствова, через четыре дня, после того как она ушла и не вернулась обратно, заявил о странном происшествии управдому.

Управдом, которого все в доме называли Лукич,— сизоусый, пропитый до костей человек, ничего не сказав, хмуро пожал плечами и закурил трубку.

Потом он залег на кровать и, поминутно сплевывая, грозно шевеля усами, попытался собственным умом разрешить вопрос об исчезновении стенографистки.

— Почем же я знаю, рази за всеми уследишь? К ней хахали ходили, что же я, и за хахалей тоже отвечать обязан? Как угодно!

Впрочем, к вечеру, заглянув для чего-то в домовую книгу, обругав ни в чем не повинную свою хозяйку, он отправился в милицию.

Еще через два-три дня в дом барона Фредерикса явился участковый, чтобы на месте выяснить все обстоятельства, которые могли служить причиной незаконного события.

Он допросил соседок Екатерины Молоствовой. Одна из них оказалась старушкой, торговавшей всякой рухлядью на Мальцовском рынке и называвшей себя кружевницей.

Она поминутно смеялась в свой сухонький кулачок, была глуховата, носила очки на носу и на голове малиновый чепчик.

Другая была проститутка по прозвищу Кораблик.

Из показаний старушки в малиновом чепчике выяснилось:

1) что Екатерина Молоствова жила одна, служила стенографисткой в одном из петроградских государственных учреждений и тем не менее очень нуждалась;

2) что никто ее, стенографистку Молоствову, не посещал, кроме какого-то высокого человека в кожаной куртке и в желтых сапогах со шпорами, который был у нее раза два-три за несколько дней до исчезновения;

3) была ли она с этим человеком в близких отношениях — неизвестно, но в последнее свое посещение высокий человек со шпорами стенографистку Молоствову, прощаясь, поцеловал и передал ей какую-то записку.

Это свидетельница видела собственными глазами и об этом в тот же вечер даже сообщила по секрету своей знакомой Анне Власьевне Лопуховой, учительнице музыки, которая живет в первом этаже, в семнадцатом номере;

4) бывала ли где-нибудь Екатерина Молоствова и где бывала преимущественно, об этом свидетельница ничего сказать не могла.

Проститутка по прозвищу Кораблик показала, что Молоствова имела характер угрюмый и необщительный, что она много курила (по целым дням не выпускала папиросы изо рта), что по ночам она часто бредила (так что Кораблик даже просыпалась от крика), но что за всем тем она никого не марьяжила, хотя и была собой хороша, но вела себя как порядочная и по вечерам никуда не бегала.

Участковый, чувствуя неловкость, придержал шашку, задал еще два-три вопроса, но больше ничего не узнал.

Тогда он решил (и с этим согласились все присутствовавшие), что стенографистка Молоствова покончила самоубийством.

Только старушка в малиновом чепчике не была вполне уверена в том, что ее бывшая соседка уже отправилась туда, где ее не сумеет найти никакой уголовный розыск.

Она запамятовала на допросе одно незначительное обстоятельство, которое, может быть, представителю петроградской милиции показалось бы заслуживающим внимания.

На другой день после исчезновения Екатерины Ивановны Молоствовой старушка в малиновом чепчике нашла у дверей ее комнаты письмо. Она нацепила очки на нос и прочла это письмо.

Письмо гласило:

«Многоуважаемая Екатерина Ивановна, Александр Леонтьевич говорил мне, что вы Нуждаетесь в постоянная работа, которая обеспечила бы вашу жизнь максимально. Для дел Нашего союза, имеющих скоро расшириться в Значительной степени, необходима стенографистка. Если вы ничего не имеете против Подобное предложение, то передайте о вашем согласии Александру Леонтьевичу и благоволите в четверг 13-го сего зайти по адресу, который он сообщит вам.

Уважаемый вами *С. Качергинский*».

2

Был второй час ночи. Пинета спал, уткнувшись лицом в подушку и по-детски свернувшись в клубочек.

Он чуть слышно посапывал и спал спокойно, хотя вторую неделю ничего не ел, кроме хлеба, который начинал

уже рассыпаться на ладони от примеси и международной блокады.

Этот хлеб он получил от булочника на Петроградской стороне за то, что нарисовал ему вместо вывески большую французскую булку. Булка вышла такой пышной, что так и хотелось ткнуть ее пальцем.

Последнее время он только тем и зарабатывал, что рисовал вывески для мелких лавочников на Петроградской стороне и Васильевском острове.

Но с каждым днем заказы таяли.

Республика, вместо того чтобы помочь Пинете, обложила вывески особым налогом, и французская булка, нарисованная неделю тому назад, была его последней работой. Он съел эту последнюю булку и спал, уткнувшись лицом в подушку и по-детски свернувшись в клубочек...

Пышная рисовая каша с маслом приснилась ему: каша пыхтела и лопалась, и каждая дырочка тотчас же наполнялась прозрачным маслом. Он облизнулся и уже разинул было рот, но в эту самую минуту кто-то распахнул дверь его комнаты и зажег спичку. Спичка вспыхнула и погасла.

Пинета вздохнул во сне, открыл глаза и приподнялся на локте.

— Одну минуту,— сказал человек, распахнувший дверь.

Новая спичка вспыхнула, осветила снизу небритый подбородок и погасла.

— А, черт! — сказал человек с небритым подбородком.— Сашка, зажги же спичку, не горит!

— В чем дело?

Кроме изодранных брюк, рубахи, которую не на что было сменить, старых полотен и алюминиевого лекала, сохранившегося от того времени, когда Пинета был в Институте гражданских инженеров, ему нечего было терять. Поэтому он нисколько не испугался, зевнул и сел на кровати.

Вошедший зажег наконец спичку, отыскал электрический выключатель и повернул стерженек: лампочка не загорелась.

— Там лампочки нет,— объяснил Пинета,— да вы скажите толком, что вам нужно?

— Фонарь остался в машине,— сказал с досадой второй человек, тот, которого называли Сашкой; он каждую

минуту зажигал новую спичку, и она горела до тех пор, пока не начинала жечь пальцы.

— Сашка, сходи за фонарем,— сказал первый.— Не беспокойтесь, инженер, мы пришли к вам по делу.

«Обыск,— подумал Пинета,— или воры. Вернее, обыск».

Он совсем успокоился, еще раз потянулся и сбросил одеяло на пол.

Дверь снова отворилась, и при свете фонаря Пинета наконец рассмотрел своих посетителей.

Первый был толстый еврей небольшого роста. У него были пухлые губы и брезгливый еврейский нос; на голове сидела кожаная фуражка, сплющенная в блин. Такие фуражки носили когда-то в западных губерниях евреи-рыбники. И в самом деле, от него как будто немного пахло свежей рыбой.

Второй — высокий белокурый человек с глазами, похожими на оловянные бляхи, был как бы выструган перочинным ножом и притерт, как стеклянная пробка. Одетый по-военному, в кителе, на плечах которого остались еще дырочки от погон, с портупеей через плечо, он напоминал чем-то гвардейского офицера.

— Вашу старушку мы заперли в комнате, инженер, и только что из уважения к вам не затемнили ее, честное слово,— сказал рыбник.

— Что же вам от меня нужно? — повторил Пинета.

— Нам нужно от вас прямо пустяков,— сказал рыбник, садясь на стул и устраиваясь на нем со всеми удобствами,— но из этих пустяков мы с вами найдем кой-чего интересного. Сидеть! — вдруг крикнул он, увидев, что Пинета протянул руку к своим брюкам, висевшим на спинке кровати.

Пинета опустил руку и посмотрел на него с удивлением.

Рыбник вытащил браунинг и, вскинув рукой, отвел предохранитель.

— Да какого черта вам от меня нужно? — взбесился Пинета.— Вы хотите, чтобы я говорил с вами в подштанниках? Говорите прямо и уберите, пожалуйста, револьвер.

Рыбник сунул револьвер в карман.

— Вот что. Я Шмерл Турецкий Барабан,— сказал он так, как будто не сомневался в том, что Пинете известно это имя,— а это мой товарищ, Саша Барин.

Высокий посмотрел на Пинету равнодушно.

«Воры»,— решил наконец Пинета.

— Дело заключается в том,— продолжал человек, назвавший себя Турецким Барабаном,— нам известно, что вы, инженер Пинета, хороший специалист по своему делу. Каждый человек имеет свою специальность: так вот ваша специальность понадобится нам на некоторое время.

— Вам понадобится моя специальность? — переспросил Пинета.— Очень рад! Это любопытно.

— Поэтому складывайте ваш чемодан, только самое необходимое,— и едем.

— Это чрезвычайно любопытно! А скажите... вам для какой же цели понадобится моя специальность?

— Барабан, довольно болтовни,— сказал белокурый, представленный Пинете как Саша Барин.— Обо всем узнаете на месте,— сурово сказал он, обратившись к Пинете.— Одевайтесь.

— Не тревожьтесь,— добавил Барабан.— Оставь его, Сашка. Вы можете быть совершенно спокойны за вашу судьбу. Вашу хозяйку мы сейчас же выпустим. Напишите бедной старушке пару слов; не нужно заставлять ее искать вас понапрасну. Сашка, дай ему кусочек бумаги!

Барин подошел к столу и, не оборачиваясь к Пинете спиной, вырвал из блокнота, лежащего на столе, лист клетчатой бумаги.

— Наденьтесь! — сказал Барабан.— Мы напишем ей маленькое письмо, вашей старушке.

Пинета натянул брюки, послушно сел к столу и взял в руки карандаш.

— Пишите,— сказал Барабан.— Дорогая моя старушка... Как ее зовут?

— Марья Александровна.

— Тогда лучше так: «Дорогая Марья Александровна! Я уезжаю на шесть-семь дней в провинцию. Не беспокойтесь за мое отсутствие. До свиданья. Ваш Пинета». Написали?

Пинета повернулся к нему, чуть-чуть улыбаясь.

— Ну, написал.

— Теперь, пожалуйста, укладывайте ваш чемодан и торопитесь, честное слово!

Пинета немного подумал, звонко хлопнув себя по лбу, и чему-то рассмеялся.

— Так вот оно в чем дело!

Он вытащил из-под кровати корзину, бросил в нее подушку, одеяло, полфунта махорки, несколько карандашей

и алюминиевое лекало,— это было все, что у него осталось.

— Очень любопытно в самом деле,— сказал он, надевая свою серую блузу, запачканную краской,— как это вы так ловко догадались о моей специальности?

Барин хмуро посмотрел на него и указал на дверь рукой, вооруженной револьвером.

— Идите.

Они спустились по лестнице и вышли на улицу.

Под ногами хрустел осенний лед на подмерзших лужах. Растерянная луна, как поплавок, ныряла в косматых облаках.

За углом стоял автомобиль, и Барабан сказал, прикрывая за собой дверцу:

— Это дело стоит работы. Ого, это дело большого масштаба!

Первое время они ехали молча. С 10-й линии Васильевского острова автомобиль повернул на Малый проспект и, от фонаря до фонаря, помчался к Тучкову мосту.

Барин вертел в руках папироску; Пинета уставился на него.

— Я забыл дома сигары,— сказал он в нос и заложил ногу на ногу.— Надеюсь, что в том месте, куда вы меня везете, я найду хорошую «гавану»?

Барин вытащил из кармана золотой портсигар, на котором толпились монограммы, эмалевые слоны, мухи, и молча протянул его Пинете. Пинета закурил, пощелкал языком и понюхал дым.

— Ничего себе. Из папирос я предпочитаю «Посольские».

Барабан ласково положил руку ему на колено.

— Вы будете курить «Посольские». Вы будете курить сигары.

Автомобиль оставил за собой Тучков мост и полетел по проспекту Карла Либкнехта.

Под разбросанным светом луны, которая металась в облаках, не зная куда деваться, вставали рядом с деревянными домишками, более приличными для уездных городов, пустыри, почерневшая зелень и огромные серые стены домов, каждая с каким-нибудь одним узким окном, которое светилось высоко, под самой крышей.

Барабан приподнялся и задвинул маленькие занавески на окнах. Полоски света, проскользнувшие сквозь щели, пробежали по груди и ногам Пинеты.

Пинете вдруг стало весело. Он осторожно притушил о каблук догоравшую папироску и сказал, немного приподнявшись, оборотясь к Сашке Барину:

— У меня на голове есть, знаете ли, любопытная шишка.

Автомобиль подпрыгнул, и он на секунду прервал свое неожиданное обращение.

— То есть я хочу сказать, что у меня на голове есть шишка, из-за которой я по наследственности страдаю острым любопытством. Например, сейчас мне очень хочется узнать, кто же вы, черт вас возьми, такие?

Сашка Барин скосил на него глаза и закурил новую папиросу.

— Мы налетчики,— объяснил он довольно равнодушно.

— Мы организаторы,— поправил Барабан,— вы ничего не потеряете от знакомства с нами.

Машина повернула куда-то в переулок, и стало сильно подбрасывать на ухабах.

— А вот еще вопрос,— сказал Пинета.— Какого дьявола понадобился вам инженер Пинета?

— Завтра мы с вами будем иметь об этом деловой разговор. Вы нам нужны по одному коммерческому делу, по делу большого масштаба.

Больше никто не сказал ни слова; Пинета начинал уже подремывать, забившись в самый угол автомобиля, тщетно пытаясь восстановить в воображении соблазнительный образ рисовой каши с маслом, когда машина вздрогнула и остановилась наконец перед полуразрушенным домом.

Барин выскочил из автомобиля; Пинета вылез вслед за ним и огляделся.

Они были на пустынной улице, которая почти ничем и на улицу-то не походила; пустотой разбитых окон зияли заброшенные дома, вдоль расколотой панели тянулись бесконечные, заплатанные жестью заборы.

Пинета перебрал в уме улицы, выходившие на проспект Карла Либкнехта.

«Мы где-то на Карповке... На Бармалеевой? У Вяземского переулка?»

Пустырь, перед которым остановилась машина, был когда-то трехэтажным домом; перед ним был разбит небольшой садик, обнесенный решеткой. Прямо напротив пустыря стояло ободранное деревянное строеньице, походившее на сторожевую будку.

Шагах в двухстах от пустыря приземистыми деревянными домами кончалась улица.

Пинета взглянул на своих спутников: Барабан остался в автомобиле, наставлял своего молчаливого товарища, о чем-то советовался с шофером. До Пинеты долетело только одно слово, сказанное, видимо, шоферу:

— На гопу!

Автомобиль заворчал, вздрогнул и, сорвавшись с места, полетел обратно.

Сашка Барин подошел к Пинете и положил руку ему на плечо.

— Пройдите в ворота.

Они прошли во двор, заваленный кирпичами и размокшей штукатуркой, превратившейся в кашу из песка и извести, миновали арку и вышли во второй двор. В глубине его стоял небольшой флигель с крытым подъездом; двери его были заколочены наглухо, и подъезд засыпан расколовшимся кирпичом.

Они обогнули флигель.

— Сюда,— сказал Сашка Барин, указывая рукой на каменную лестницу, которая вела вниз, в подвал.

Пинета послушно спустился по лестнице. В подвале пахло прелой сыростью и было почти темно.

Барин зажег фонарь.

— Идите,— сказал он, подталкивая Пинету рукой,— там лестница.

Они поднялись по винтовой лестнице. Лестница вела во второй этаж, к двери, обитой черной клеенкой.

Барин постучал, и почти в ту же самую минуту из-за двери послышался неторопливый голос:

— Кто там?

— Отвори, Маня.

Женщина в пальто, наскоро наброшенном на плечи, отворила им дверь и, придерживая пальто рукой, отступила немного в сторону, чтобы пропустить вошедших.

Они вошли в кухню, довольно чисто прибранную.

— Что нового? — спросила женщина в пальто, поправляя волосы, упавшие ей на глаза.

— Ничего.

— Что же, Барин, останешься или нет?

Барин, не отвечая, провел Пинету по коридору, отворил ключом дверь в полутемную комнату и сказал, поворачиваясь к нему:

— Здесь вы будете жить покамест. Попробуете бежать — хуже будет.

Пинета остался один. Он поставил свою корзину под кровать и снова засмеялся чему-то. Начинало светать. Узкое окно маячило в утреннем свете.

Пинета стянул сапоги и, одетый, лег на кровать; он долго припоминал одно слово, которое вертелось у него на языке и которое никак не мог произнести. Наконец вспомнил и сказал про себя, набрасывая на ноги одеяло:

— Хаза!

3

Гражданская война, грохотавшая по России от Баку до Кольского полуострова, не пощадила этого города, построенного на слиянии двух рек и обнесенного каменной стеной, которую в свое время с большим упорством долбил каменными ядрами Стефан Баторий.

Через реку был переброшен мост. Тотчас за мостом начиналась площадь — осенью на ней тонули неосторожные дети; за площадью шли пузатые железные ряды, старинные здания с каменными навесами вдоль фасада, за железными рядами снова площадь, на которой толпились когда-то стекольные магазины.

Стекла плохо выдерживают революцию. В магазинах были выбиты стекла.

За площадью неуклюже скатывалась вниз улица; где-то за садами эта улица ударялась в уголовную тюрьму, походившую на четырехугольный каменный сундук.

В тюрьме — коридоры и камеры, в камере под номером 212 солдатская кровать, решетка, параша, огромная, как небо, и арестант Сергей Веселаго, который все послал к черту и спал целые дни, завернувшись с головой в одеяло.

«Пещера Лейхтвейса» была единственной интересной книгой, ходившей среди заключенных. Кроме Лейхтвейса, из рук в руки передавались букварн и полное собрание сочинений Смайльса — остаток тюремной библиотеки.

Смайльса особенно любили читать старые воры, они учились жить по Смайльсу.

Сергей предпочитал «Пещеру Лейхтвейса».

Утром после равнодушного звонка открывалась дверь, и молодой смотритель в кожаных штанах вставлял нос в отверстие двери.

— Один?

— Один.

Нос ухмылялся, сверял тождество Сергея Веселаго с цифрой, начертанной мелом над дверным глазком, и удалялся, грохоча каблуками.

Сергей вскакивал, натягивал штаны и бежал по коридору за кипятком.

В коридоре было свежо, камень холодил босые ноги. У чанов с кипятком толпились, переругиваясь, арестанты.

После чая и уборки, за время которой самый опытный курильщик не успел бы выкурить папиросы, он снова бросался на кровать и лежал до полудня. В полдень тот же нос и тот же звонок объявляли о прогулке.

Арестантский дворик был черным экраном, на котором перед Сергеем Веселаго стремительно летели сентябрь, осеннее солнце и небо.

Прогулка кончалась через десять минут; потом снова окно, решетка, кровать, параша и арестант номер 212, который все послал к черту и спал целые дни, завернувшись с головой в одеяло.

В 10 часов вечера он прочитывал одну страницу «Пещеры Лейхтвейса». Каждая перевернутая страница означала новый день. Проведя в тюрьме около полугода, он читал уже 156-ю страницу; в ней говорилось о том, что несчастная графиня Клэр попала наконец в пещеру благородного и злополучного Лейхтвейса и сам Лейхтвейс плакал на этой странице горькими слезами. Он оплакивал свою погибшую жизнь.

Графини Клэр не было в пещере благородного и несчастного Сергея Веселаго. Быть может, именно поэтому он и не плакал. Он спал — от слабости, от скуки.

Так проходили дни; коридорный был старик с седыми усами, он говорил Сергею:

— Ой, ты ж сгынешь так, матери твоей сын, помяни мое слово!

Старик был прав: так бы оно и случилось, если бы на 162-й странице Сергей не получил письмо. Это письмо заставило его совершить несколько поступков, не свойственных ему, но свойственных Лейхтвейсу: он дважды громко захохотал, до кости прокусил руку, рассадил голову в кровь о дверной косяк и сделал несколько тысяч лишних шагов по комнате.

Письмо, подписанное Екатериной Молоствовой, извещало его о том, что она, Екатерина Молоствова, исполняет

обещание, данное ею когда-то, уведомить его, Сергея Веселаго, о намерении своем с ним расстаться, просит не поминать ее лихом, никогда и нигде не искать и посылает ему пару теплого белья, гимнастерку и полфунта светлого табаку.

Этим оканчивалось письмо; в коротеньком постскриптуме добавлялась просьба о том, чтобы он, Сергей Веселаго, поберег себя, не слишком огорчался и не вздумал кого-либо, кроме нее, винить в том, что произошло. Но о том, что произошло, не было в письме ни слова.

В этот день Сергей так и не уснул ни на одну минуну — он шагал по камере и обдумывал план побега.

Тюрьму он знал плохо; ему известно было, что большой тюремный двор с трех сторон замыкался зданиями и с одной стороны — стеной; у входа в тюремный двор ему запомнилась полосатая николаевская будка, а в глубине двора, у входа в главный корпус,— полуразбитая часовня.

В первые дни заключения Сергей, как всякий арестант, придумал десятки разных планов побега; среди них были планы с переодеванием и гримом, план с обольщением сестры милосердия в тюремной больнице; каждый из них удался бы разве только Лейхтвейсу, и то при отсутствии часовых.

Наконец, был план, над которым всерьез задумывался не один Сергей Веселаго.

За стеной большого тюремного двора протекала река, в которой по целым дням барахтались мальчишки и бабы полоскали белье.

По мудрой мысли местного губернатора, барона Адлерберга, при котором строилась тюрьма, «стены означенной должны быть омываемы водами реки Плотвы, дабы, уподобленная крепости святых Петра и Павла, в столице нашей Санкт-Петербурге, местная городская тюрьма истинным и устрашающим оплотом справедливого правосудия служила».

К ночи Сергей решил воспользоваться услугой, которую ему оказывал барон Адлерберг.

Бессмысленный сон приснился ему: он сидел в очень длинной, очень серой комнате и писал письмо. «Милостивый государь...» — начинал он и сбивался. «Всемилостивейший государь...» — И снова сбивался.

Мозглявый человечек в сером сюртуке сидел перед ним и поправлял его, все поправлял, хитро примаргивая маленькими, ядовитыми глазами...

Проснувшись, Сергей подбежал к окну. На дворе было пасмурно и, должно быть, дул ветер. Он увидел стену, которую, согласно проекту барона, омывала река, и уборную, открытую сверху, без дверей, заставленную широкой доской. В уборной сидел орлом конвойный, он держал винтовку одной рукой.

Таково было положение дел в сентябре 16-го числа, в тот день, когда Сергей Веселаго, политический арестант, задумал побег по плану барона Адлерберга.

На другой день на прогулке он разыскал Ветрилу, тюремного истопника.

Ветрила был с головы до ног пропитан керосином, носил роскошные горемыкинские бакенбарды, и его история была не сложнее мировой истории или даже несколько проще ее.

Сергей показал ему глазами на здание, прилегавшее к тюремной стене.

Это был цейхгауз, в котором держали теперь, кроме арестантского обмундирования, также керосин и дрова.

Ветрила посмотрел сперва на цейхгауз, потом на Сергея, моргнул и недоверчиво погладил бакенбарды.

— Понял? — спросил Сергей.

Ветрила упомянул о матери.

— Самое главное — привязать к трубе веревку, оттуда на стену и...

Они поговорили еще десять минут, и на следующий день Сергей Веселаго окончательно решил освободить камеру 212 от арестанта, который спал двадцать четыре часа в сутки и с точностью машины Эмерп читал героическую «Пещеру Лейхтвейса».

В этот день Ветрила, с опасностью для жизни и карьеры, замотал веревку вокруг трубы цейхгауза.

Потом он крякнул и смылся, как смывается пятно с клеенки.

Вместо него появился другой, новый Ветрила, от которого уже не пахло керосином; он был чуть повыше ростом и носил не горемыкинские, но скорее свойственные норвежским писателям бакенбарды.

Новый Ветрила с ленивым видом пошел к цейхгаузу, сплюнул, подтянул штаны и, войдя, плотно закрыл за собой дверь.

За дверью он сразу вырос на ладонь, посмотрел в замочную скважину и, сдерживая дыханье, поднялся на чердак.

Две крысы, каждая величиной с детскую голову, сидели на разбитом рундуке и мигали глазами.

Ветрила, потерявший на лестнице одну бакенбарду, просунул голову сквозь чердачное окно и вылез на крышу.

Крыша трещала под ногами.

Он ползком добрался до трубы, размотал веревку и стал спускаться по глухой стене цейхгауза.

На другой стороне реки стояли пустые рыбные лавки; вверх по реке за мостом плыла баржонка.

Сергей измерил на глаз, сколько придется плыть до другого берега, и выпустил из рук веревку.

Изодранное полотно болталось на высокой палке и летело в небо.

Огромный косматый мужик в клетчатых штанах и дырявом пиджаке сидел на корточках, равнодушно тер Сергею спину, сгибал и разгибал руки и ноги, бил кулаком в грудь.

— Беглый? — вдруг спросил он, увидев, что Сергей открыл глаза.

Сергей промычал что-то.

— Значит, ты беглый арестант.

Сергей попытался приподняться на локте, но не мог — локоть скользил на мокрых досках.

— А вот что ты мне скажи,— продолжал мужик,— какой ты есть арестант — политический или уголовный? Если ты политический, так я тебя в сей же час обратно в воду брошу.

— Уголовный,— пробормотал Сергей.

— Уголовный? — вдруг обрадовался мужик.— Да ну? Вот это здорово! Я сам уголовный! Как же! Я, брат, при царском режиме шесть лет в арестантских сидел! Так если ты уголовный, что же ты лежишь, как под иконой? Вставай, Иван, чай пить будем.

Сергей с трудом приподнялся и сел. Он был босой, штаны изорвались, рубаха висела лохмотьями на плечах.

Мужик посмотрел по сторонам, схватил его под мышки и поставил на ноги; у Сергея потемнело в глазах.

— Это твое счастье,— сказал мужик,— что сегодня со мной моей бабы нет. Она бы тебе всыпала ядрицы!

Он вытащил из кармана доску кирпичного чаю, отломил кусок, раскрошил его на огромной ладони и бросил в чайник.

Сергей наконец пришел в себя, отдышался.

— Послушай, дядя,— пробормотал он,— продай мне пиджак и достань где-нибудь штаны и шапку.

— Как же я могу продать тебе свой пиджак? — обиделся мужик.— Ах ты, сволочь этакая! А если этот пиджак у меня самая парадная одежда? Штаны, изволь, могу тебе продать! Штаны есть запасные.

Сергей покачался на одном месте и опять лег.

— Рубаху...

— Что ж тебе рубаха,— снова сказал мужик,— если ты в одной рубахе под забором замерзнешь, все равно как курица. Покупай пинжак!

Сергей встряхнулся, провел руками по лицу, несколько раз с шумом втянул в себя воздух и встал.

Вечером того же дня, одетый в пиджак, через который можно было увидеть небо, и в клетчатые штаны, на которых можно было играть в шашки, Сергей, обойдя город кругом, добрался до вокзала.

Никто не задержал его.

Он остановился у паровоза, стоявшего недалеко от вокзала, и спросил у черного, как театральный негр, машиниста, когда отходит поезд в Петроград.

Машинист сплюнул на руки и растер слюну.

— В одиннадцать ночи!..

4

К длинной плеяде имен славных архитекторов, строивших город, прибавилось еще одно.

Это имя столько раз гремело пулеметами гражданской войны, столько раз летело к небу с раскрашенных плакатов, столько раз заставляло гореть одни сердца и каменеть другие, столько тысяч людей отправило гулять по чужедальним морям и столько тысяч по таким отдаленным странам, откуда никто никогда не найдет обратной дороги, что нет нужды называть его.

У этого нового архитектора были жесткие руки.

Он перетряхивал города, а так как города состоят из домов, то наиболее дряхлые из них смялись и осели, уступая яростному напору. Дома распадались на кирпичи, из кирпичей можно было складывать печки, а кирпичные печки, как известно, держат тепло гораздо лучше жестяных времянок.

Зимой кирпичи примерзали, и их вырубали топором.

Не только стекла, но и старики плохо выдерживают революцию,— стекла рушились, старики умирали от голода и огорчений, и так как в ослепшем доме жить было страшно, его покидали последние жильцы.

И у стены, где еще так недавно важно обсуждались по вечерам политические события, где ребятишки играли в палочку-стукалочку и бросались мячами, теперь случайный пешеход делал все, что полагается делать в пустынном месте случайному пешеходу.

Крысы бежали с гибнущего корабля, и водосточные трубы убеждались в близкой кончине мира.

Милиция огораживала дом старыми двуногими кроватями или другой дрянью — как могилы огораживают решеткой.

Вода заливала подвалы, дом за год старел на двадцать лет, начинал походить на проститутку, и это подрывало его окончательно.

Ему ничего больше не оставалось, как рассыпаться своим кирпичным телом,— он умирал, нужно полагать, без сознания.

Но не каждый дом умирал без сознания.

Были дома, построенные с расчетом на тысячелетия. Они, старые вандейцы, уступили только фасад руке, потрясающей город.

Вот в таких домах и начиналась настоящая жизнь.

5

Пинета проснулся. Он раскрыл глаза, которые никак не хотели раскрываться, и сел на постели. В первую минуту он не мог вспомнить, что произошло с ним накануне, потом вспомнил, вскочил, натянул сапоги и принялся осматривать свое новое жилище.

Комната, в которую его провел человек по прозвищу Сашка Барин, была когда-то, по-видимому, кладовой. В старинных барских домах такие комнаты предназначались для варенья и всяких сушеных фруктов. Возле дверей висела некрашеная кухонная полка. Где-то под потолком маячило узкое окно.

Пинета встал на спинку кровати, подскочил и, уцепившись руками за подоконник, посмотрел через стекло. Окно выходило в коридор.

Он соскочил с грохотом. Несколько кусочков штукатурки упали на пол, и он тотчас же глазами отыскал место, откуда они вывалились: на противоположной от окна стене была когда-то проделана дыра для переносной печки.

Не успел он сдвинуть с места небольшой стоявший в углу стол, чтобы добраться до этой дыры, соединявшей его, быть может, с потустенным миром, как дверь в кладовую отворилась. Вошел толстый маленький человек в приплюснутой кожаной фуражке, тот самый, который накануне вечером назвал себя Турецким Барабаном.

— Извиняюсь! — сказал он, входя и протягивая Пинете короткую руку, которая как будто еще минуту тому назад держала леща или жирного налима.

— Пожалуйста! — весело ответил Пинета, пожимая руку.

Барабан сел на стул и вытащил из кармана затасканный кожаный портсигар.

— Курите! Или вы, кажется, еще не завтракали? Сейчас же прикажу подать вам завтрак!

Пинета с достоинством выпятил губы, сел на кровать и заложил ногу за ногу.

«Ага, значит, будут кормить...»

— К завтраку я предпочитаю тартинки.

— Тартинков у нас, извиняюсь, нет! — ответил Барабан.

Он постучал в стену кулаком и крикнул:

— Маня!

Никто ему не ответил.

— Она спит,— объяснил Барабан.— Маня!.. Паскудство! — вдруг заорал он таким голосом, что Пинета вздрогнул и посмотрел на него с удивлением.

Барабан подождал немного, вскочил и, подойдя к двери, сказал на этот раз почему-то совершенно тихим голосом и без всякого выражения:

— Маня.

Маня Экономка была единственным человеком, который жил в хазе постоянно. Она носила кружевные передничков, закалывала на груди белоснежную пелеринку и была самой спокойной и чувствительной женщиной на свете. Налетчики ее уважали.

— Маня, подайте инженеру чай и булки и сходите мне за парой пива... Нет, возьмите две пары пива!

— Вчера вы интересовались узнать, инженер,— начал

он, обратившись к Пинете,— кто мы такие, чем занимаемся и вообще все междуметия нашего дела?

— Поговорим после завтрака о наших междуметиях,— отвечал Пинета серьезно.

Барабан почувствовал, что над ним шутят, побагровел и хлопнул себя по коленке.

— Довольно! — закричал он, хватаясь за задний карман брюк.— Ты еще не знаешь, с кем говоришь, малява!

Тут же он погладил себя по жилету и пробормотал:

— Спокойствие! Терпение!

«Ах, черт его возьми, с ним, пожалуй, и шутить нельзя!» — подумал Пинета.

Некоторое время они сидели молча.

Маня Экономка принесла пару французских булок, холодный чай и четыре бутылки пива. Она посмотрела на Пинету с любопытством, поправила свою кружевную пелеринку и вышла.

Пинета поставил на колени чай и, не глядя на Барабана, принялся уписывать за обе щеки французскую булку.

— Мы, конечно, понимаем,— начал тот снова, наклонившись всем телом вперед и притрагиваясь рукой к плечу Пинеты,— что прежде всего нужно кой-чего объяснить вам из нашего дела.

Пинета дожевал булку и залпом выпил чай.

— Объясните.

— Дело, видите ли, обстоит в следующем: мы не какая-нибудь шпана, которая по ночам глушит втемную случайных прохожих, мы также не простые шлепперы! Мы не фармазонщики, не городушники, мы также не простые налетчики, инженер. Мы организаторы и берем дела только большого масштаба. Я не говорю, у каждого человека есть свое прошлое и настоящее по хорошему мокрому делу, но это только средство, инженер, и больше ничего.

Барабан замолчал и с удовольствием откинулся на спинку стула, как бы отдыхая после своей утомительной речи.

— Что же касается дела, которое мы собираемся предложить вам, то дело обстоит в следующем: нам требуется некоторая подработка по сейфам. Откровенно говоря, мы не взяли шниферов не потому, что это рискованная работа, и не потому, что не нашелся подходящий шитвис! Очень просто: по нашим сведениям, простым шниферам не справиться с сейфами госбанка!

Пинета широко открыл глаза и привстал с кровати.

— С сейфами госбанка?

— Ну да, с сейфами госбанка! То есть, иначе говоря, у нас нет хорошего специалиста, который быстро, безопасно и легко, в полчаса, открыл бы сейфы госбанка. Все остальное давно налажено. Дело только за вами.

«Вот так штука,— сообразил Пинета,— теперь я начинаю понимать, почему меня увезли... Сказать — не сказать, сказать — не сказать, сказать — не сказать?.. Не сказать!»

— Ну, что вы мне скажете?

— Так, значит,— сказал Пинета, отдуваясь, как будто бы он только что решил трудную задачу,— дело в сейфах госбанка?

— Именно! — подтвердил Барабан.

— Стало быть, — продолжал Пинета,— вы решили, что я лучший специалист по электромеханическому делу, и увезли меня для того, чтобы я устроил вам все технические приспособления для взлома сейфов госбанка?

— О, вы попали в самую точку!

Пинета почувствовал себя так, как будто заново начал жить.

— Отлично! Я не понимаю только, для чего вам было везти меня сюда! Об этом мы могли бы сговориться на моей квартире.

— Это мне начинает нравиться,— сказал Барабан, похлопывая его по коленке,— к сожалению, до сих пор мы не знали вас, инженер Пинета, в следующий раз мы будем просто предупреждать вас в письменной форме, ха-ха-ха!

Он откинулся на спинку кресла, взвизгнул и захохотал, отмахиваясь руками и вздрагивая круглым, как футбольный мяч, животом.

Пинета терпеливо ждал, пока он кончит.

— Я немного знаком с устройством сейфов госбанка. Они построены по образцу... по образцу...— Пинета задумался на мгновение,— по образцу ливерпульских сейфов!

— Да, да,— подтвердил Барабан, все еще колыхаясь от смеха и вытирая носовым платком заплаканные глаза,— кажется, именно по образцу ливерпульских.

— Так вы полагаете,— начал снова Пинета,— что для этой работы мне потребуются какие-нибудь предварительные приготовления?

— Полагаю ли я так? — переспросил Барабан.— Не

очень. Откровенно говоря, я совсем не специалист по кассирному делу. Может быть, вы справитесь с этим на месте!

— А когда вы думаете начать самое-то дело?

Барабан посмеялся про себя и посмотрел на Пинету с иронией.

— Оставьте эти пустяки, инженер. О чем вы спрашиваете меня? Мы же не дети, честное слово! Мы же организаторы. Лучше скажите мне, сколько дней вам нужно на подработку?

Пинета задумался.

— Мне нужно дней пять-шесть,— заявил он и подумал: «Черт возьми, это что же я делаю? — И тотчас ответил себе: — Все равно, не умирать же с голоду».— Но мне необходимо знать,— продолжал он,— во-первых, расположение электрической сети госбанка, во-вторых...

— Отлично,— отвечал Барабан, хлопнув его по коленке,— эти сведения мы вам доставим немедля.

— Во вторых,— продолжал Пинета,— будьте добры купить...— он остановился на мгновенье и быстро закончил:— ...пятнадцать аршин лучшего гуперовского провода и катушку этого, как его... Румкопфа.

— Как фамилия?

— Рум... Румкорфа,— твердо повторил Пинета.

— И пятнадцать аршин гуперовского провода?

— Да, и ни в коем случае не меньше пятнадцати аршин.

— Будет сделано.

— Это покамест все,— закончил Пинета,— а потом посмотрим.

— Все? — закричал Барабан.— Отлично. Это же Запад!

Он откупорил бутылку пива и первому налил Пинете. Потом, перевернув бутылку вверх дном, доверху наполнил свой стакан

— За дело,— сказал он, мигая,— за дело большого масштаба!

Дыра от переносной печки — четырехугольный след, оставленный 19-м годом,— оказалась дверью в потустенный мир.

Едва Барабан ушел, как Пинета передвинул стол к стене, взобрался на него, уцепился за сломанный кирпич, торчавший из стены боком, и заглянул в этот мир.

Он увидел довольно большую комнату в два окна с закоптелым потолком и обрывками обоев на стенах. В комнате не было никакой мебели: в углу, наискось от наблюдательного пункта Пинеты, стояла кровать.

Скосив глаза, насколько было возможно, Пинета увидел на кровати женские ноги в черных чулках и черных же парусиновых туфлях.

Пинета никогда не тяготел к монашескому образу жизни и был достаточно опытен, чтобы верно определить возраст обладательницы парусиновых туфель; нельзя сказать, чтобы он был недоволен соседством. Однако же он не был уверен в том, что его соседка не принадлежит к союзу налетчиков, переселивших его накануне ночью с Васильевского острова на Петроградскую сторону, и поэтому не осмелился окликнуть ее.

Больше он ничего не открыл на горизонте потустенного мира.

Он соскочил со стола и принялся ходить по комнате с твердым намерением обдумать план действий, который должен был доставить ему превосходство над налетчиками.

Но план что-то не клеился. Заложив руки в карманы, он принялся бродить, ни о чем больше не думая, насвистывая сквозь зубы.

Еще раз осмотрев от скуки место своего заключения, он внезапно сделал открытие, которое его до крайности заинтересовало. Весь кухонный стол, стоявший в самом темном углу кладовой, был исписан от руки разными почерками, то неряшливым и неразборчивым, то мелким и четким. Здесь были и короткие четверостишия, написанные воровским языком, который был незнаком Пинете, и длинные стихотворения, и какие-то рисунки и чертежи, впрочем исполненные довольно искусно.

Вот что после долгих усилий удалось ему разобрать.

Милый мой
Шпрмач блатной.
Я твоя фартовщица,
На бану приемщица.
Будет, тварь, тебе ломаться,
Раздевайся, пойдем спать.
Утром рано на разцвете
Будешь выручку считать.
Долго, долго она ломалась
Отказаться не могла
Знать она вора полюбила
За любов с ним спать пошла.

Проигрался весь до нитки
Пошел к милки занимать
А она над ним хохочет
Посылает воровать.

«Друг Ильюша уведомляю тебя в том, что дела очень плохие, уже два раза горел, один раз с делом ждать нет никакой возможности на днях думаю уехать хлопочу ксиву. Друг Илюша передай привет Фролову и скажи ему, что я уеду, здесь жить невозможно, бегаю с мужиками по домовой на бан ходить нельзя передай Сашки что я буду ждать его в Свердловске. Остаюсь ваш *Иван Черных*».

Вслед за письмом шло длинное стихотворение, которое очень понравилось Пинете. Оно было трогательное, и в нем не было ни одного воровского слова:

Так грустно томительный день
Не лучше бывает и ночь
Хотелось бы все изменить
Но не в силах теперь я помочь.
Уж поздно теперь не вернешь
Прощайте мечты и покой
Загробная жизнь принимай
Соседом я буду с тобой.
А жизнь это просто кошмар
Где нужно нам все испытать
Впоследствии скверно одно
От руки палача умирать.
Что было промчалось как сон
Уж очень-то был он хорош
Хоть по мнению старых воров
Цена ему ломаный грош.
Уж поздно теперь не вернешь
Прощайте мечты и покой
Загробная жизнь принимай
Соседом я буду с тобой.

Едва успел он разобрать это стихотворение, как где-то совсем рядом, близко услышал знакомый голос Барабана.

«Он с ней, в той комнате, рядом»,— подумал Пинета.

Барабан сдержанным голосом уговаривал в чем-то свою собеседницу.

Пинета пытался вслушаться в то, что он говорил, и при первых же словах, которые он услышал, сел на стол и открыл рот от удивления.

Барабан говорил о том, что он скучает, что всякая работа валится у него из рук, что он не может жить без сочувствия, что его никто не понимает.

— Разве вы не чувствуете, Катя? Никто не понимает!..

Пинета приподнял голову и услышал, как женщина

отвечала, слегка задыхаясь, но почти спокойно, что она скорее выбросится в окно, чем согласится на то, что ей предлагают, требовала, чтобы ее выпустили из этой ловушки сию же минуту, и соглашалась продолжать разговор только при одном условии:

— Скажите мне, участвовал в этом Фролов или нет?

Пинета снял сапоги, отошел от окна и бесшумно занял прежний наблюдательный пункт, оставшийся от тяжелых времен 19-го года.

На этот раз он увидел в соседней комнате девушку лет двадцати двух, которая сидела на кровати, продев руку сквозь железные прутья кроватной спинки и грызя зубами недокуренную папиросу.

Недалеко от нее, спиной к стене, стоял человек, в котором Пинета без труда узнал Барабана.

— Фролов, ого! Вы не знаете еще, что это за мужчина! — услышал Пинета.

Девушка откусила мокрый конец папиросы и принялась крутить из него шарик. Пальцы у нее дрожали.

— Вы все лжете о деньгах!

— Чтобы я так жил, как все,— чистая правда! — отвечал Барабан. Он для убедительности даже пристукнул себя кулаком в грудь.

— Он не получал от вас никаких денег за это. Просто разлюбил...— Девушка еще раз с металлическим стуком откусила конец папиросы.— И больше ничего!

— Ей-богу,— сказал Барабан,— и такого мерзавца разве можно любить? Это же просто подлец, честное слово!

«Экая жалость! — подумал Пинета.— Что же он от нее хочет, старый пес?»

— Разве он стоит вашей любви, это паскудство? — убеждал Барабан.— Он уже теперь гуляет с другой. Ха, разве он помнит о вас, Катя?

Пинета видел, как крупные капли пота выступили у него на шее. Барабан как будто немного растерялся, сделал шаг вперед и схватил девушку за руку.

— Как вы смеете!

Она свободной рукой ударила его по лицу, вырвалась и убежала на противоположный конец комнаты. Теперь Пинета мог бы дотронуться до нее рукой.

Барабан побагровел и с яростью ударил кулаком о спинку кровати.

— Разобью! — вдруг закричал он хриплым голосом и взмахнул рукой.

Пинета с грохотом соскочил со своего наблюдательного пункта. Все стихло в соседней комнате.

Только дверь распахнулась с шумом и снова захлопнулась.

Спустя несколько минут Пинета снова заглянул в дыру для времянки: его соседка горько плакала, взявшись обеими руками за голову.

— Не плачьте,— сказал Пинета,— тише. Мы с вами удерем отсюда. Честное слово, не стоит плакать.

6

Вокзал плавно подкатился к поезду, вздрогнул и остановился неподвижно. Пар в последний раз с хрипом пробежал между колес.

Люди пачками выбрасывались на платформу, кричали, целовались, бранились и тащили к выходу узлы, чемоданы, корзины.

Сергей Веселаго соскочил с подножки и пошел вдоль платформы к паровозу.

Фуражка с истрепанным козырьком лезла ему на глаза; он был серый, как крот, и походил на человека, который потерял что-то до крайности необходимое и теперь ищет без конца, хоть и знает, что никогда уже не найдет, что искать давно бесполезно.

Дойдя до паровоза, он остановился и задумался, потирая рукой лоб.

Из-под паровоза проворно вылез черный, весь в копоти и смазочном масле, мальчишка. Мальчишка чистил паровоз, гладил его по тупому носу, протирал замусоренные глаза; он выгибался, как акробат, чтобы достать до самых укромных мест, и балансировал на одной ноге уже больше из озорства, чем по прямой необходимости. Рожа его сияла черным блеском. Он увидел Сергея и заорал, размахивая тряпкой:

— Эй, шпана, чего уставился?

Сергей посмотрел на него ничего не понимающими глазами.

— Скажите, пожалуйста, мальчик, как отсюда пройти на Первую роту?

Мальчишка вместо ответа залез в какую-то дыру и оттуда выставил Сергею отлакированный зад.

Сергей вдруг хлопнул себя по лбу.

— Да что же это я! Нужно идти, бежать, искать Фролова!

Он всунул билет контролеру и быстро выбежал на улицу. Рикши смотрели на него с презрением. Начинался дождь.

Измайловский проспект был гол и мрачен.

Полотна бродячих ларьков намокли, посерели, старухи, которые со времени основания города торгуют на Измайловском проспекте, тоже намокли, повесили сморщенные носы и засмолили короткие трубочки.

У одной из них, тотчас за мостом, Сергей купил пачку папирос, сунул ее мимо кармана и прошел дальше.

Старуха выползла из-под своего навеса, равнодушно посмотрела ему вслед и положила папиросы обратно.

Спустя четверть часа он добрался до Первой роты, отыскал дом под номером 32 и постучал в дверь, на которой написано было смолой: «Дворницкая».

Сонный дворник объяснил ему, что прежде Фролов жил в пятнадцатой квартире, а теперь переехал в двенадцатую, первый подъезд налево, третий этаж.

Сергей поднялся по лестнице и дернул за звонок.

— Что нужно?

— Отворите, пожалуйста. Здесь живет товарищ Фролов?

— Здесь.

Унылый мастеровой с мандаринскими усами впустил его в кухню.

— Могу я его увидеть?

— По коридору вторая дверь,— хмуро отозвался мастеровой,— еще не встал, должно быть.

Сергей рванул ручку двери и вошел в комнату.

Высокий человек в офицерских штанах со штрипками лежал на постели, уткнувшись лицом в подушку. В комнате стоял тугой запах табака и селедок.

Сергей подошел к нему и ударил его по плечу.

— Вставай!

Фролов перевернулся на другой бок. Сергей потащил его за руку и посадил, подбросив под спину подушку.

— Что? Кто это? Черт возьми! Ты? Сергей?

Он торопливо соскочил с постели и натянул на ноги высокие желтые сапоги со шпорами.

— Очень рад тебя видеть. Черт возьми! Ты свободен?

— Как видишь.

Сергей подошел к нему вплотную и сказал, притопнув ногой от нетерпения:

— Идем! Вот что, послушай... У меня нет с собой этого... револьвера. Не можешь ли ты достать пару револьверов, таких, чтобы не давали осечки?

Фролов опустил глаза и почему-то подтянул пояс.

— На черта тебе револьверы?

— Нужно! Послушай, у тебя ведь всегда было оружие.

— Изволь.

Фролов сунул руку под подушку и вытащил оттуда браунинг.

— Бери, но только... Сергей, ты что — бежал из тюрьмы?

— Не твое дело.

— Да ты скажи, может быть, тебя спрятать нужно?

— К черту! — закричал бешеным голосом Сергей.— Едем!.. Или тебе нужно этих... как там, секундантов?

Фролов с треском сел на стул, вытянул ноги и захохотал так, что все в комнате пришло в движение, задрожало, заколыхалось.

— Ты что, со мной стреляться вздумал? Ты с ума сошел, честное слово! Послушай, теперь на дуэлях не дерутся. Над нами смеяться станут.

Фролов вдруг посмотрел на него и принял серьезный вид.

— Сергей, ты, наверное, жрать хочешь!

— Едем!

— Ну, заладил — едем, едем. Поедем через час, над нами не каплет. Поешь немного, а то промахнешься. Разве голодному можно на дуэль?.. Что ты!

Фролов вдруг захлопотал, зажег где-то за стеной примус, достал стаканы, заварил чай и через несколько минут принес яичницу.

Сергей ел с жадностью.

Фролов сидел против него на кровати, пощелкивал по сапогам откуда-то взявшейся тросточкой и курил толстую папиросу.

«Неужели убежал из тюрьмы? Неужели из-за... Не может быть! Из-за девчонки?.. Знает?..»

— Ты что, ко мне прямо с вокзала?

— Не твое дело, откуда!

— Чудак, да я просто так спросил.

Фролов потушил папироску о каблук, посмотрел на Сергея исподлобья и задумался.

— Сергей, я тебя давно не видел. Расскажи же, чертов сын, как ты жил?

Сергей кончил есть и, не отвечая, схватился за фуражку.

— Поедешь или нет, говори прямо?

Фролов тоже вскочил и остановился перед ним, придвинувшись вплотную.

Теперь он смотрел на него с ненавистью, сжав зубы.

— А ты думаешь, я испугался? Едем!

Фролов выдвинул ящик стола, взял второй револьвер и зарядил его.

Они спустились по лестнице, сторонясь друг друга.

Фролов крикнул извозчика:

— На Острова!

Ехали молча. Фролов, дымя папироской, глядел на серые стены домов, вдоль улиц, которые вдруг открывались за каждым углом, читал вывески: «Продукты питания», кафе «Кавказский уголок».

На одной вывеске, висевшей криво, он прочел только одно слово «качества».

Фролов засмеялся, повторил про себя слово и с испугом обернулся к Сергею: «Не услышал ли...»

Сергей сидел, забившись в самый угол пролетки. Сняв фуражку, он несколько раз провел рукой по голове, как будто с усилием припоминая что-то. Время от времени он машинально расписывался у себя на колене: С. Веселаго — С. Веселаго — С. Веселаго и ладонью в ту же минуту как бы стирал эту подпись.

Мимо них потянулись какие-то красные здания, стало совсем пусто, снова пошел дождь.

С. Веселаго обернулся к А. Фролову и сказал, сжимая рукой браунинг:

— Можно здесь.

— Что ты, совсем с ума сошел. Где же ты здесь стреляться будешь? Скоро приедем.

Он ткнул извозчика в спину.

— Подгони, дядя.

Дождь усилился. Извозчик вытащил откуда-то из-под сиденья кожаный фартук, накинул его себе на спину и погнал лошадь во всю мочь.

Красные здания вскоре остались позади, мимо полетели какие-то деревянные домишки с огородами, наконец пролетка перекатилась через мост и поехала по лесной дороге.

— Здесь,— сказал Фролов.

Оба одновременно соскочили с пролетки.

— Ты нас здесь подожди, дядя,— сказал Фролов.

— Да долго ли ждать-то?

— Недолго... Или вот что... поезжай-ка с богом, я тебе заплачу.

Они отправились по узенькой тропинке в глубь леса.

Желтые листья падали на них и ложились под ноги. Мокрые сучья задевали по лицу. Деревья редели.

Наконец Фролов остановился и обернулся к Сергею.

— На сколько шагов?

— На сколько хочешь. На десять.

— До результата?

— До результата.

Фролов обломал толстую ветку и от дерева до дерева провел барьер. Потом сделал десять шагов по направлению к Сергею.

Он сосчитал громко до десяти и суковатой веткой провел барьер противника.

— Кому первому стрелять? — спросил Сергей.

— Стреляй ты, если хочешь. Твоя выдумка.

— Ты вызван; стало быть, первый выстрел за тобой.

— Иди ты к чертовой матери.

Фролов вытащил из кармана коробку спичек, взял две спички и надломил одну из них.

— Целая — первый выстрел.

Сергей с закрытыми глазами нащупал спичечную головку, быстро вытащил спичку и открыл глаза.

— Целая, — сказал Фролов чуть-чуть хрипловатым голосом.— Нужно написать записки, что ли?

— Какие записки?

— «Прошу в моей смерти...»

— Ах да! У тебя есть бумага и карандаш?

— Есть.

Сергей быстро написал на клочке бумаги: «Прошу в моей смерти никого не винить. *Сергей Веселаго*».

Фролов сделал то же самое.

Они сошлись и, не глядя один на другого, молча показали друг другу свои записки.

— Стрелять по команде «три»,— сказал Фролов,— осмотри браунинг, не выронил ли ты по дороге обойму?

Сергей посмотрел на него в упор: Фролов был бледен, на скулах у него играли жесткие желваки.

— Фролов, ты... Неужели ты не знаешь, за что?

— Знаю. Из-за твоей девочки. Становись к барьеру. Считаю... Раз...

Сергей остановился на черте, медленно наводя на него револьвер.

— Два...

Фролов почти отвернулся от Сергея, согнутой правой рукой защищая корпус.

— Три.

Сергей нажал курок. Раздался сухой и легкий треск, и ветка над головой Фролова треснула и надломилась. Кусочек коры сорвался с дерева и упал к его ногам.

— Мимо...

Фролов повернулся к Сергею всем телом.

— Теперь ты считай,— сказал он.

Сергей для чего-то переложил револьвер в левую руку:

— Раз... два... три!

Одновременно с коротким револьверным треском он почувствовал в левом плече боль, как будто от пореза перочинным ножом.

Он невольно вскрикнул, просунул руку под пиджак, дотронулся до порезанного места.

Рука была в крови.

Фролов сунул револьвер в карман и сделал шаг по направлению к Сергею.

— Ничего нет,— сказал Сергей, побледнев и сжав кулаки.— Становись к барьеру. Я стреляю. Считай.

Фролов пожал плечами и вернулся обратно.

— Я буду считать,— сказал он,— но только... Может быть... А впрочем, пустяки. Раз...

Сергей поднял браунинг и с ужасным напряжением принялся целить между глаз противника.

— Два.

Он вдруг изменил решение и начал водить револьвером по всему телу Фролова. Он направлял браунинг на живот и видел, как живот втягивался под френчем, он направлял браунинг на грудь, и грудь поднималась с напряженным вздохом.

— Три!

Сергей нажал курок.

Фролов сделал шаг вперед, взмахнул обеими руками, как будто отмахиваясь от чего-то, и упал лицом вниз, в мокрые листья, в землю.

нули, подогнулись и вновь выпрямились, чтобы не сгибаться больше.

Сергей бросил браунинг в траву, подбежал и перевернул тело: пуля попала в левый глаз — на месте глаза была кроваво-белесая ямка.

Он поднялся с колен и несколько минут стоял над убитым неподвижно, сдвинув брови, как будто стараясь уверить себя в том, что все это — дуэль и смерть Фролова — произошло на самом деле.

Где-то далеко на дороге загромыхала телега.

Сергей снова бросился к мертвецу и принялся расстегивать на нем френч.

Френч никак не поддавался, петлицы резали пальцы.

Наконец он расстегнулся, и Сергей вытащил из бокового кармана записную книжку, карандаш и бумажник. Бумажник был набит продовольственными карточками и вырезками из газет.

В записной книжке Сергей нашел три письма.

Первое из них было набросано на клочке бумаги.

Сергей прочел:

«...Сенька вчера купил со шкер четыре паутинки. Если можешь, Дядя, пришли мне липку. Сижу под жабами на Олене. Не скажись дома, Дядя, брось своих бланкеток, задай винта до времени. Скажи Барабану, что на прошлой неделе раздербанили без меня. Жара, Дядя...»

Сергей не понял ни одного слова, сунул обрывок бумаги в карман и развернул второе письмо. С первого взгляда он узнал почерк. Екатерина Ивановна писала Фролову, что ждала его накануне до поздней ночи, упрекала в том, что вот уже третий раз он ее обманул, звала к себе, обещала рассказать о том, какие печальные сны преследуют ее каждую ночь.

Сергей с ненавистью посмотрел на склоненную голову Фролова. Труп равнодушно косился на Сергея выбитым глазом.

Сергей отвернулся от него и огляделся вокруг: никого не было поблизости, солнце скользило между стволами почерпевших берез и полосами ложилось на примятую траву лужайки.

Он старательно, с какой-то особенной аккуратностью сложил пополам письмо Екатерины Ивановны и положил

его в карман пиджака. Третье письмо было написано затейливым почерком, с завитушками, пристежками и множеством больших букв, которыми начиналось чуть ли не каждое слово. Сергей прочел:

«Уважаемый Павел Михайлович.

Некоторые затруднительные Обстоятельства требуют от Меня просить вас не отказать в нижеследующей Просьба. Не откажите 23-го июля сего года в 7 часов Вечера положить в крайнее Левое окно Грибовского пустыря, находящееся на Песочной улице, 1025 р. 65 к. золотом в Запечатанном конверте. Извиняюсь за эту Назойливость, которого трудно избегнуть в Подобного рода Делах.

Позвольте также Уведомить Вас, что в случае если конверта на месте Не окажется, то Мы никак не можем, к искреннему Сожалению, дальше сохранять вашу Драгоценную жизнь.

В случае Же, если вы доведете вышеуказанную Мысль до сведения мильтонов, то Мы никак не ручаемся за Жизнь И вашей Глубокоуважаемой Супруги.

С почтением *Турецкий Барабан*».

На конверте было написано красным карандашом: «Дяде — для передачу по Назначения».

Внизу стояла печать церкви Гавриила-архангела, церковная печать со славянской вязью.

Сергей снова огляделся вокруг, отыскал глазами небольшой пенек, поросший мхом, и уселся на этот пенек, схватившись руками за голову и напрасно стараясь собрать разбегающиеся мысли.

«Так, значит, Фролов... вор... или нет, скорее... этот... как называется?.. налетчик. Но если он налетчик, если она была с ним, так, значит... так, значит... так, значит... Не может быть».

Он стал ходить по лужайке, заложив руки за спину, в одной руке крепко сжимая записную книжку Фролова.

«Так где же она?» — сказал он сам себе, остановившись в раздумье и потирая рукой нахмуренный лоб.

Раскрытый бумажник, лежавший на траве возле трупа, обратил на себя его внимание.

Он поднял бумажник, сунул его в карман френча, стер линии, служившие барьером, снова положил труп Фролова лицом вниз, отыскал брошенный в траве браунинг.

С силой разжимая пальцы руки, уже начинающей коченеть, он вложил в нее револьвер, достал бумажник и, собирая в строку танцующие перед глазами буквы, снова прочел о том, что Фролов в своей смерти просит никого не винить.

Тут только он заметил, что все время не выпускает из рук записной книжки Фролова.

Он заглянул в эту записную книжку, прочел на оборотной стороне переплета кроваво-красную подпись: «Memento mori!»[1] и увидал под подписью плохо нарисованный череп с двумя костями.

Он подумал немного, хотел положить книжку туда, откуда он ее взял, но вместо этого положил ее в карман.

Никого не было видно кругом: он поднял ворот пиджака, нахлобучил на уши фуражку и зашагал между деревьев по направлению к городу.

7

Особым распоряжением в 1922 году все дома были вновь учтены и перенумерованы.

На месте старомодного угловатого фонаря с резными нумерами появился фонарь, похожий на китайский веер.

Но учет миновал пустыри и полуразрушенные здания. Таким образом, хазы выпали из учета, из нумерации, из города. Они превратились в самостоятельные государства, неподведомственные откомхозу.

За полуразрушенным фасадом засел бунт против нумерации и порядка.

Этот бунт был снабжен липой, удостоверяющей личность республиканца...

Нельзя решиться на большое дело без делового разговора. Мелкая шпана уговаривается на Васильевском — в «Олене», в Свечном переулке, в гопах, разбросанных по всему городу.

Но мастера своего дела скрываются в хазе, единственном месте, где налетчик может сговориться о деле, пить, спать и даже любить, не кладя нагана под подушку.

В хазе совещаются, обсуждают планы, пропивают друзей, идущих на «жару» — на опасное дело.

В 22-м году ненумерованный бунт, скрывшийся за полуразрушенным фасадом, часто бывал штабом бродячей

---

[1] Помни о смерти *(лат.)*.

армии налетчиков; штаб руководил борьбой и давал задания.

Добродетель уничтожалась ураганным огнем, порядок отступал в тыл.

— Уважаемые компаньоны! Наша последняя задача потребовала неотложно быстрое совещание, больше того, нужно уже ускорять всю махинацию, пора!

Шмерка Турецкий Барабан ударил кулаком о стол и побагровел от гнева.

— Вы уже знаете, что этот проклятый жиган Васька Туз сгорел из-за какой-то говенной покупки. В чем дело? Почему нарушают работу, вы горлопаны, вы приват-доценты! Разве так работают, разве работают на стороне, когда вас ждет дело большого масштаба? Что же вы молчите? Отвечайте!

Никто не отвечал, все молчали, каждый работал на стороне.

Барабан продолжал, успокаиваясь:

— Но не в том дело. Подробности происходят, как нужно. Вчера мы увезли инженера. Барин, расскажи об инженере.

Сашка Барин поднял голову — узкая красная полоска от высокого воротника кителя осталась у него на подбородке. Он медлительно отложил в сторону недокуренную папироску и начал:

— Инженера Пинету мы увезли для подработки по сейфам. Вчера Барабан говорил с ним, и он обещал сделать все, что надо; он берется приготовить в пять-шесть дней, если ему доставят все необходимое для работы. На мой взгляд, этот инженер может оказать нам услуги насчет телефонной станции.

Барин замолчал, снова всунул в рот папироску и достал из кармана зажигалку.

— Аз эр из клуг, бин их шейн [1],— сказал Барабан с презрением,— эту предпоследнюю пусть он оставит для нас. На это мы справимся без инженера Пинеты. Пятак, что нового у тебя?

Сенька Пятак был франтоватый мальчишка лет двадцати двух. Он носил черные усики, вздернутые кверху, и

[1] Если он умен, то я красив *(евр.)*.

ходил в брюках с таким клешем, что нога болталась в них, как язык в колоколе.

Веселый в пивнушке, в кильдиме, на любой работе, он терялся на этих собраниях, которые устраивал Турецкий Барабан, любивший торжественность и парламентаризм...

Пятак кратко отчитался в своей работе: он сказал не больше двадцати пяти слов, из которых ясно было, что все, порученное ему на прошлой неделе, он выполнил, что на телефонную станцию пробраться может когда угодно, что телефонистка Маруся третий день на него таращится и «старается для него маркоташками».

— Дело идет на лад! — объяснил Барабан и застучал волосатым кулаком в стену.

— Маня, дай нам пива.

— Дело идет на лад,— повторил он через несколько минут, расплескивая по столу пиво.— Студент, что нового у тебя?

В самом углу комнаты сидел обтрепанный человек в изодранном пальто с каракулевым воротником и в новенькой студенческой фуражке. Он был прозван Володей Студентом за то, что во время работы носил студенческую форму.

— Ничего нового. Работаю по-прежнему. Сарга кончилась.

— «Сарга кончилась»! — передразнил Барабан.— Что же, мы ее печатаем, эту саргу?

Володя Студент обиделся, почему-то снял фуражку и привстал со стула.

— Да что ты, смеесся, что ли? А нужно мне вкручивать баки сторожам? Нужно поить-то их или нет? Попробуй-ка приценись к самогонке.

— Молчать, Студент! — Барабан побагровел и стукнул по столу так, что пивные стаканы со звоном ударились один о другой.— Кто тут хозяин, ты или я? Ты забыл, что такое хевра, сволочь, паскудство!

Тяжело дыша, он выпил пива и сказал, с важностью выдвигая вперед нижнюю губу:

— Да, это верно. Деньги нужны. Сколько у меня еще есть? У меня еще есть на пару пива! Значит, что? Значит, нужно работать.

Он помолчал с минуту и продолжал, проливая пиво на жилет, который, казалось, пережил на своем веку всю мировую историю.

— Но ни в коем случае не идти на это самим. Нужно

пустить шпану. Вы знаете, о чем я говорю? Я говорю о двух адресах: во-первых, ювелир Пергамент на Садовой, во-вторых... Пятак знает во-вторых.

— На Бассейной, что ли? — пробормотал Пятак, который решительно ничего не знал ни о первом, ни о втором адресе.

— Нет, не на Бассейной, а на Мильонной. У кого? У одного нэпача. Это нужно будет сделать в течение ближайшей недели. Саша и Пятак, это вы возьмете в свои руки.

— Об этом нужно сговориться со шпаной,— снова повторил он.

Пятак вдруг вскочил и с жалостным видом хлопнул себя кулаком в грудь.

— Барабан, да не филонь ты, говори толком! Есть работа, что ли? Навели тебя? На Мильонной?

— В чем дело? Ну да, нужно сделать работу по двум адресам.

Он снова перечислил эти адреса, загибая на правой руке сперва один, потом другой палец:

— Во-первых, с ювелиром Пергаментом на Садовой, во-вторых, с одним нэпачом на Мильонной.

Пятак внезапно успокоился и снова молча уселся на то же место.

— Между прочим,— сказал Барабан, поднеся руку ко лбу и как будто вспомнив о чем-то,— я предлагаю почтить вставаньем память Александра Фролова, по прозвищу Дядя. Покойный был нашим дорогим другом, умер в расцвете своей плодовитой деятельности. Сколько раз я говорил ему: «Дядя, оставь носиться с часами, брось свои любовные приключения, будь честным мазом, Дядя». Теперь его нашли со шпалером в граблюхах. Конечно, его погубила женщина. На нем ничего не нашли, вечная тебе память, дорогой товарищ.

Барабан снова пролил пиво на живот, но на этот раз старательно вытер жилет огромным носовым платком.

— Еще хорошо, что не зашухеровался со своим бабьем,— заметил Пятак,— тоже интеллигент, малява!

— Пятак, оставьте интеллигенцию в покое! — вскричал Барабан,— я учился на раввина, я всегда был интеллигент, и интеллигенция тут ни при чем. Интеллигенция — это Европа, это...

Барабан со звоном поставил бокал на стол.

— Оставьте, Пятак, это грызет мне сердце.

Пятак, смущенный, вытащил коробку папирос с изо-

бражением негритенка и принялся закуривать. Против Европы у него не нашлось возражений.

— Собрание кончено,— сказал Барабан.— Почему не пришел Гриша?

— Он, кажется, на работе,— отвечал Барин,— вчера я видел его в «Олене». Говорил, что все идет удачно.

— Собрание кончено,— повторил Барабан,— можно идти. Не засыпьте хазы. Студент, завтра ты получишь, сколько тебе нужно. Саша, ты можешь остаться со мной на одну минуту?

Пятак и Володя Студент ушли.

Сашка Барин сидел, заложив ногу за ногу, опустив голову на грудь и блестя точным, как теорема, пробором.

Барабан подсел к нему и спросил, легонько прихлопнув его по коленке:

— Ну, что ты мне скажешь, Саша Барин?

— Относительно чего? — ответил тот, равнодушно покачивая ногой.

— Не притворяйся, Саша. Я говорю про девочку.

— Девочка скучает.

— Саша, помнишь, что ты мне обещал?

— Помню. Да что мне с ней делать, если она о тебе слышать не хочет?

Шмерка Турецкий Барабан встал, снова начиная багроветь.

— Приткну! — вдруг сказал он, с бешенством сжимая в кулаки короткие пальцы.— Накрою, как последнюю биксу. Она меня еще узнает.

— Не стоит беситься, Барабан. Дай ей шпалер, она сама себя сложит. Лучше пошли к ней Маню Экономку. Может быть, ее Маня уговорит. Чего она тебе далась, Барабан, не пойму, честное слово!

Барабан сел в кресло и вытащил из заднего кармана брюк трубку. Он долго и сосредоточенно набивал ее, стараясь не просыпать табак на колени, наконец закурил и сказал, полуобернувшись к Сашке Барину:

— Не будем больше об этом говорить. Ты должен понять меня, Саша!

8

Двое рабочих сидели друг против друга на деревянных чурбанах и пилили трамвайный рельс, поминутно поливая рассеченную сталь кислотой.

Сергей остановился возле них и долго с бессмысленным вниманием смотрел, как они работали.

Один рабочий был еще мальчик, лет шестнадцати, другой — старик с бабьим лицом, в изодранной кондукторской фуражке. Попеременно наклоняясь друг к другу, они походили на игрушку — кузнеца и медведя, ударяющих по деревянной наковальне своими деревянными молотками.

Сергей повернулся и пошел дальше, растерянно блуждая по улицам глазами.

Заплатанный жестью забор сменился обшарпанным домом. У подъезда два безобидных каменных льва скалили зубы. Над львами висел кусок картона, на котором был нарисован сапог со свернутым набок голенищем.

— «Принимаю заказы. Сапожник Морев»,— прочел Сергей.

Он еще раз почти неслышно повторил все это про себя, как будто с тем, чтобы непременно запомнить.

— Сапожник Морев. Именно Морев.

Он поднял брови, прошел несколько шагов, остановился, отправился дальше, пересек Обводный канал и вдруг остановился, хлопнув себя по лбу и вспомнив наконец, почему показалась ему такой знакомой эта фамилия.

— Вот оно в чем дело! «Memento mori!» Череп с костями. Где она, эта записная книжка?

Пересмотрев карманы пиджака, он нашел в одном из них записную книжку Фролова — маленькую тетрадочку, переплетенную в кожу.

Вернувшись на мост и облокотившись о перила, он принялся читать ее с вниманием, которое было неожиданным для него самого.

«1. Любовь бывает только раз в жизни.

Де Бальзак.

2. На прошлой неделе работали с Сашей на Песках. Купили бинбер, Саша хотел отначить для Кораблика — не дал. Бинбер продали в Олене на блат».

На оборотной странице были записаны какие-то счета. Длинные колонки цифр стояли в строгом порядке, итоги были подведены уверенной рукой. Но за цифрами снова шли стихи, изредка прерываемые посторонними замечаниями.

Приходи ты на бан, я там буду
Любоваться твоей красотой
И по ширми стараться я буду
Добывать тебе, крошка, покой.
Приходи ты, в желаньи сгораю
Только видеть тебя на бану
Торопливо я порт покупаю
И у фрайера режу скулу.
Барахлом и рыжем разодену
С головы и до ног я тебя,
Чиртагоньчик на шею повешу
С паутиной тебе я шутя.
А на тонкие нежные грапки
Обручок я тебе припасу
Дорогие носить будешь шляпки
Обожаю твою красоту.

И вслед за этим слово опять брал себе де Бальзак и снова уверял, на этот раз в пространной цитате, что любовь бывает только раз в жизни.

Далее без всякого перехода следовало замечание:

«Буй сработал перацию на Крестовском. Купил шмель». И, наконец, на последней странице, среди адресов, помеченных цифровыми знаками, под новым «Memento mori!» с нарочитой четкостью было записано еще одно краткое стихотворение:

Жизнь для нас
Один лишь час.
Смерть — последняя в ней шутка.
Поцелуй в последний раз...
И прощай навек, малютка.

Сергей вдруг отступил на шаг и, размахнувшись, швырнул записную книжку в Обводный канал.

Старушке в малиновом чепчике, той самой, что называла себя кружевницей, выдался счастливый день: во-первых, она нашла серебряное колечко с затейливой буквой М, во-вторых, ее соседка, известная злыдня, сегодня ошпарила себе руку.

Поэтому старушка в чепчике сидела на ступеньках четвертого подъезда дома Фредерикса, рассматривала затейливую букву на колечке, смеялась в кулачок и мурлыкала про себя:

Пусть Новый год
С собой несет
Игры, подарки...

Так она пела и грелась на солнце, когда Сергей Веселаго, растерянно поглядывая вокруг себя, подошел и молча остановился перед ней.

Старушка хотя и заметила странные глаза человека с подвязанной рукой, ничего не сказала и продолжала мурлыкать свою песенку.

— Не знаете ли вы,— спросил Сергей,— где здесь живет Молоствова Екатерина Ивановна?

— Молоствовой нет.

— Как нет? Она не живет здесь?

— Живет-то живет, да сейчас нет.

— Ничего, я подожду ее. Какой номер ее комнаты?

— Она ушла,— сказала старушка в чепчике, начиная смеяться в кулачок,— третью неделю не приходит.

Сергей схватил ее за руку.

— Как третью неделю? Уехала? Одна? Да говорите же, что же вы молчите!

— Ушла, не уехала,— повторила старушка в чепчике, смотря на Сергея с удовольствием,— ушла и не вернулась.

— Не оставила ли она чего-нибудь? Записки или адреса?

— Ничего она нам не оставила. Кто ж ее знает? Девица одинокая — ушла, да и не вернулась.

— А все-таки, может быть... что-нибудь осталось?

— А остался от нее примус,— сказала убежденно старушка в чепчике,— да и тот сломанный.

— А все-таки позвольте мне пройти в ее комнату. Или там уже кто-нибудь другой живет?

— Никто не живет. Пустая комната.

Старушка в чепчике встала, вытащила откуда-то изпод юбки ключ и молча показала его Сергею.

Они вошли в подъезд, поднялись по лестнице.

— Будет темно,— сказала старушка в чепчике,— держитесь рукой за стены.

Они свернули за угол и несколько минут в полной темноте кружили по лабиринтам дома Фредерикса. Наконец старушка остановилась перед одной из дверей, выходивших в круговой коридор, и вставила ключ в замок.

— Вот здесь она и живет.

Сергей остановился на пороге и с напряженным вниманием оглядел комнату Екатерины Ивановны.

Комната имела такой вид, как будто хозяйка ее с минуты на минуту должна была вернуться.

На ночном столике лежала открытая книга, подушки на кровати были смяты и одеяло отброшено; штора окна была отдернута наполовину.

Сергей вошел в комнату.

— Может быть, вы разрешите,— сказал он тихим голосом,— посмотреть ее письма, книги?

— Пожалуйста, посмотрите,— сказала старушка в чепчике,— а только ничего не найдете.

Он подошел к маленькому письменному столу, на котором в беспорядке разбросаны были книги, потряс над столом каждую из них в надежде, что откуда-нибудь выпадет письмо или записка, и ничего не нашел. Тогда он попытался выдвинуть ящик стола. Ящик легко выдвинулся; он был полон всякой рухлядью — тряпочками, лентами, даже соломенная шляпа была затиснута куда-то в самый угол.

Но среди рухляди стали попадаться бумаги. Тогда он сразу высыпал все, что было в ящике, на стол и наткнулся на связку писем, перевязанных простой тонкой веревкой.

Едва он развернул одно из них, как его поразил до странности знакомый почерк.

Он взглянул на подпись, прочел: «твой Сергей», с размаху швырнул письма на стол и пошел к двери. Это были его собственные письма.

— Я ничего не нашел здесь, бабушка, спасибо вам.

Старушка подошла к нему поближе.

— А вы Екатерине Ивановне будете брат или другой родственник? Я вижу, что вы очень интересуетесь ее судьбою.

Она посмеялась в кулачок и продолжала:

— Я вам могу все рассказать, если хотите. За один раз тридцать копеек.

— Как это тридцать копеек?

— Меньше никак, никак не могу.

— За какой же один раз?

— За одно гаданье. Я очень, очень гадаю на картах.

— Нет, бабушка, спасибо за услугу.

Сергей сунул ей какие-то деньги и вышел; но не успел он отойти и десяти шагов по коридору, как старушка позвала его обратно.

— Молодой человек!

— Что вам, бабушка?

— Нужно уж вам сказать: на другой день, как ушла Екатерина Ивановна, я нашла в ее комнате письмецо. Должно быть, она его, уходя-то, и обронила.

Старушка снова полезла куда-то под юбку и вытащила оттуда небольшое письмо без печатей и марок, переданное, должно быть, из рук в руки.

Сергей молча взял у нее письмо и пробежал его глазами: это было предложение поступить на службу в какой-то союз в качестве стенографистки. Имя Фролова дважды попадалось в письме.

Сергей прочел до конца и вдруг вскинулся, стукнул зубами.

В одну минуту он вывернул карманы своего пиджака, отыскал среди бумаг, взятых у Фролова, письмо с вымогательством денег от какого-то Павла Михайловича и его глубокоуважаемой супруги и принялся сравнивать оба письма с быстротой, от которой строки метались и прыгали в его глазах.

Оба письма были написаны одной рукой.

— Они ее утащили, мерзавцы! — пробормотал он, серый от ярости.

9

— Клей!

— Да ну? Посый?

— Не посый, так я бы с тобой говорить не стал!

— Врешь!

Сашка Барин нахмурился.

— Я с тобой в пустяках работал?

— Ну, ну. На сдюку, что ли?

— Я с тобой не на сдюку работал?

— А как шевелишь, на сколько дело ворочает? На скирью стекленьких будет?

— Поднимай выше.

— На чикву?

Барин покачал головой и с большим вниманием начал рассматривать свои ногти.

— На пинжу? На сколько же, черт побери?.. Неужто...

Барин наклонился к нему через стол.

— На лондру стекленьких!

Тетенька открыл рот, почесал за ухом.

— Труба! А где?

— Где? Это я тебе скажу на Бармалеевой. Один ювелир... Ну как, идет?

Тетенька замолчал и стал задумчиво сощелкивать с колен хлебные крошки.

— Жара!

— Подо мной без жары еще не работали.

— Погоди, Сашка. Мы подумаем!

— Кто это мы?

— Да я со Жгутом!

— Я твоего Жгута дожидаться не буду. Будешь работать, так приходи сегодня вечером на Бармалееву. Нет, так...

Сашка Барин прошел к дверям и у самых дверей столкнулся с вертлявым мальчишкой. Мальчишка носил длинную кавалерийскую шинель и в руке держал тросточку.

— Вот и Жгут!

Жгут, не здороваясь, пошел к столу, сбросил фуражку и выплюнул изо рта папиросу.

— Слышали, братишки?.. Гришка Савельев засыпался.

Барин вернулся, закурил и сел, положив ногу на ногу.

— На квартире! Пришли и взяли. Лягнул кто-то... Теперь плохо, пожалуй, стенку дадут.

Жгут побегал по комнате, хлопнул себя по лбу и закричал:

— А про Кольку Матроса слышали? Я его вчера в Народном доме встретил; он открыто признал — хвастал. Говорил, что всех продаст.

Жгут подошел к Сашке Барину.

— Не скажись дома, Сашка, он ведь про вашу хевру знает!

— Ничего не знает. Воловёр.

— Он говорил, что скоро начальником бригады будет, меня звал на службу в угрозыск.

Тетенька выругался. Сашка Барин равнодушно посмотрел на Жгута своими оловянными бляхами.

— Жгут,— сказал Тетенька,— есть работа. Барин нахлил.

— Мальё!

— Если мальё, так сегодня вечером приходи на Бармалееву. Там договоримся. Дело посое.

Барин кивнул головой и вышел.

— Аристократ, конечно, и сволочь,— сказал Тетенька, подмигнув вслед ему,— но фартовый же парнишка, ничего не скажешь, честное слово!

Бывают дни, когда шпана, мирно щелкавшая с подругами семечки на проспектах Петроградской стороны и Васильевского острова, катавшаяся на американских горах в саду Народного дома, проводившая вечера в пивных с гармонистами или в кино, где неутомимый аппарат заставлял белокурых американок подвергаться смертельной опасности и спасаться при помощи Гарри Пиля, любимого героя папиросников,— теперь оставляет своим подругам беспечную жизнь.

Наступает время работы для фартовых мазов, у которых по хорошему шпалеру соскучились руки. В гопах, в закоулочных каморках, отделенных одна от другой дощатыми перегородками, барыги скупают натыренный слам, наводчики торгуют клеем, домушники, городушники, фармазонщики раздербанивают свою добычу. Гопа гудит до самого рассвета, и если бы ювелир Пергамент в такую ночь встал с постели и провел час-другой на Свечном переулке, он соорудил бы целый арсенал под прилавком своего магазина...

Первым со скучающим видом вошел Барин, за ним Тетенька и Жгут.

Барин вытащил наган и приблизился к прилавку. За прилавком стоял пожилой еврей, который, судя по внешнему виду, верил в бога и аккуратно платил налоги.

— Ключ!

Из второй комнаты, в глубине магазина, выбежал молодой человек с пробором.

Он зашел было за прилавок, потер руки, поклонился, но тут же увидел наган Сашки Барина и побледнел.

— Ключ!

Пожилой еврей затрясся, замигал глазами, ущипнул себя за подбородок и опустил руку в карман пиджака.

Жгут перевернул на стеклянной двери дощечку с надписью: «Закрыто».

Ключ с трудом влез в замочную скважину и отказался повернуться.

— Не запирается! Не тот ключ!

Сашка Барин оборотился к двери, и тогда пожилой еврей, верящий в бога, сорвался с места. Серебряная вилка полетела в окно и воткнулась в подоконник.

— А, шут те дери! — заорал Тетенька, вытаскивая револьвер.— Выходи из-за прилавка, сволочь!

— Зекс! — сказал Барин.

Он подошел к хозяину и приставил наган к животу, на котором болталась цепь с брелоками.

— Последний раз говорю, дадите ключ или нет?

Рука вторично опустилась в карман, и на этот раз ключ повернулся дважды.

— Теперь пройдите, пожалуйста, в соседнюю комнату,— вежливо заметил Барин.

Молодой человек с пробором открыл рот и окаменел; Тетенька дал ему пинка, он завизжал и, механически шагая, отправился в соседнюю комнату.

Пожилой еврей уже сидел там, закрыв лицо руками, и качался из стороны в сторону.

Тетенька утвердился на пороге с револьвером в руках и начал утешать своих пленников:

— Ничего, ребята! Тут ни хрена не поделаешь, бывает! Дело наживное. Очистили — и никаких двадцать. А вы еще вилкой бросаетесь, сволочи! Рази можно?

— Не мои вещи, не мои вещи,— бормотал еврей.

— А рази можно чужими вещами торговать? Что ты!

Барин быстро и аккуратно укладывал драгоценности в небольшой чемодан. Жгут набивал карманы часами и кольцами; через несколько минут он тикал с головы до ног на разные лады.

— Готово.

Барин остановился на пороге соседней комнаты.

— Ложитесь!

— Ложитесь, вам же лучше будет, малявые! — подтвердил Тетенька.

Молодой человек с пробором вскочил и лег на пол с таким видом, как будто это доставляло ему большое удовольствие.

— Лицом вниз!

Пожилой еврей со стоном грохнулся на пол.

— Кажется, того...— сказал Тетенька.

— Если вы закричите или подниметесь с пола раньше, чем через полчаса,— сказал Барин,— так... Впрочем, вставайте, черт с вами, и помогите вашему старику! Он, кажется, умирает.

Человек с пробором впал в транс и только тихо посапывал.

— Ну, шут с ними! — сказал Тетенька.— Айда!

Они вышли, закрыли за собой дверь и заставили ее конторкой.

Жгут завертывал в клочок бумаги часовые инструменты, стекла.

— Жгут, ты засыплешься из-за этой дряни! Айда!

Ключ повернулся в замке.

Первым вышел Жгут. За ним Тетенька и Барин.

На углу они постояли немного, закурили, поговорили о погоде и разошлись в разные стороны.

10

На углу Рыбацкой улицы, против пустыря, на котором все собаки Петроградской стороны познают радость жизни, стоит ресторан Чванова.

В этот ресторан каждую ночь приходят падшие чиновники в целлулоидовых воротниках, лавочники в пиджаках и косоворотках и просто так, неизвестные люди. Эти люди предпочитают носить пальто с кушаком и фуражку с золотыми шнурами.

Если никому не известный человек, как всякий человек, хорошо знает все, что было вчера,— то он никогда не уверен в том, что его ожидает сегодня. Поэтому в карманах его пальто на всякий случай лежат еще две-три шапки: беспечная кепка, строгий красноармейский шишак и хладнокровная, как уголовный кодекс, панама...

Падшие чиновники тащат из кармана бутылочку, пьют ерша и, полные достоинства, до поздней ночи играют на бильярде.

Лавочники скромно слушают музыку и терпеливо, подолгу выбирают подходящую для короткой встречи подругу.

Никому не известные люди садятся по двое, по трое где-нибудь в уголку и говорят о том, что Васька Туз сгорел, а Соколов продает, о том, что Седому посчастливилось найти косую хазу на Васильевском, что легавые ходят за Паном Валетом Шашковским.

Внизу на улице возле ресторана Чванова гуляют барышни в цветных платочках, повязанных по самые глаза. Они гуляют от одного кинематографа до другого, от «Молнии» до «Томаса Эдисона» и обратно, лущат семечки, рассматривают снимки боевика в двадцати четырех частях, поставленные под стекло витрины, скучают и ищут друга на час, на ночь, на год, на целую вечность.

К полуночи, когда гаснут кинематографические огни, проспект Карла Либкнехта погружается в темноту,— только ресторан еще сверкает, шумит, волнуется, и бильярдные игроки гулкими, как револьверный выстрел, ударами пугают кошек, уже сменивших собак и, подобно собакам, испытывающих на заброшенном пустыре живейшее из жизненных наслаждений.

Тогда начинается жаркая работа для милиционеров. Посетители чвановского ресторана, нагрузившись вволю, начинают сомневаться в реальности и целесообразности всей вселенной: они начинают крушить все вокруг, и иная барышня из сил выбивается, чтобы спасти ночь, уговорить буйного друга и увести его от беспощадного, хладнокровного, не слушающего никаких доводов милиционера.

Сергей Веселаго бродил по городу.

Он искал в ночлежных домах, в пивных, в самых глухих притонах человека, имя которого — С. Качергинский — стояло в письме, полученном от старушки в малиновом чепчике, и прозвищем которого — Турецкий Барабан — было подписано письмо за церковной печатью. Любой агент сказал бы, что у него губа не дура, потому что за тем же самым человеком в течение года безуспешно охотился уголовный розыск, знавший за ним дела, перед которыми похищение какой-то стенографистки было пустой шуткой.

Но едва Сергей появлялся в гопах — на Обводном канале, на Свечном, 11,— как разговор заходил о достоинствах Кораблика перед Машкой Корявой, о погоде, о кинематографе, о политике,— о чем угодно, кроме того, что могло бы навести его на след Турецкого Барабана.

Однажды в чайной на Лиговке Сергей рискнул показать какому-то клешнику, с которым разговорился по-дружески и вместе пил чай, письмо за церковной печатью.

Клешник внимательно прочел письмо и посмотрел на Сергея, чуть-чуть сдвинув брови.

— Чего?.. Наводишь?

— Я хочу узнать, не скажете ли вы мне, где найти человека, который подписал письмо?

Клешник вскочил и, ни слова не говоря, побежал к двери.

Уходя, он обернулся к Сергею и сказал, скривив рот и грозя ему кулаком:

— Что же ты, лярва, думаешь, что я своих продавать буду?..

Как-то ночью Сергей забрел в ресторан Чванова, поднялся наверх и сел за стол, прямо напротив зеркала.

Из зеркала на него посмотрело лицо, которое он не узнал и которое стоило продать за николаевские деньги.

Он пересел за другой столик и спросил пива.

Ресторан был полон.

Под картиной, изображающей медведей, играющих в сосновом лесу, расположилась компания подгулявших торговцев, которыми распоряжался толстый, багровый человек с обвислыми усами.

Багровый человек одновременно ругал официантов, шутил с барышнями и с удивительным искусством подсвистывал струнному оркестру.

Недалеко от них, за круглым столиком, сидели трое парнишек лет по пятнадцати, задававших форсу и игравших под взрослых.

Один из них, заложив ногу на ногу, каждую минуту кричал струнному оркестру: «Наяривай, наяривай!» — и открывал плоский, как у петуха, глаз.

Двое других спорили друг с другом о достоинствах какой-то Лельки Зобастенькой, курили без конца и беспрестанно пили пиво.

Говорили все разом, и смешанный говор изредка прорезывала мелодия знаменитой «Мамы».

Веселенькие цветочки прыгали на обоях, с золоченых карнизов спускались вниз кудрявые гардины, на стене, прямо напротив Сергея, было прибито объявление, печатный текст которого, «согласно постановлению администрации», запрещал сквернословие, а рукописный представлял собой самые изумительные его образцы.

Сергей приглядывался к соседям.

Рядом с ним сидели два молчаливых посетителя, которые, не обращая никакого внимания на все, что происходило вокруг, спокойно тянули пиво, изредка обмениваясь друг с другом двумя-тремя словами.

Оба курили: один, степенный, лет тридцати пяти, курил трубку, другой, с черными усиками, вздернутыми кверху, в фуражке с щегольским козырьком, в брюках с таким клешем, что нога болталась в них, как язык в колоколе, держал в руках сигарету.

Сергей допил пиво и пересел поближе к соседям.

— Разрешите? — сказал он, вытащив из коробки папиросу и наклоняясь с папиросой в руках к тому, что курил сигарету.

Тот молча дал Сергею прикурить.

— Вы позволите мне здесь посидеть,— сказал Сергей,— там, знаете ли, ужасно бьет в уши оркестр.

Человек с трубкой едва заметно показал на него глазами товарищу.

— Пожалуйста, садитесь.

Некоторое время все трое молчали.

Подгулявший торговец с отвислыми усами держал за жилетку какого-то маленького человечка и кричал во весь голос:

— Нет, ты мне скажи, если я к твоей жене приду, она мне что?.. Она мне даст или не даст? Вот ты, например, на железной дороге производишь хищения! Так по этому поводу она должна мне дать или не должна?

Куривший трубку прижал пальцем потемневший пепел и спросил, обратившись к товарищу:

— Этот, как фамилия, не знаешь?

— Этот с Ситного, мучной лабаз на углу Саблинской,— ответил тот.

— А вы как, тоже торговлей занимаетесь? — спросил Сергей.

Старший чуть-чуть повел глазами, постучал пальцем по столу и отвечал:

— М-да. Торгуем. Мебельщики.

«Знаем мы, какие вы мебельщики»,— подумал Сергей.

— Как теперь торговля идет? Теперь многие возвращаются обратно в Питер, должно быть, снова обзаводятся мебелью?

Старший пососал трубку и ответил спокойно:

— М-да. Ничего. Не горим. Хотя покамест больше покупаем.

Младший чуть-чуть не захлебнулся пивом, поставил стакан на стол и взял в рот немного соленого гороха.

«Принимают меня за агента»,— подумал Сергей.

Он перегнулся через стол и спросил словами, которые усвоил во время своих скитаний по петроградским кабакам:

— А клея нет?

Старший вынул трубку изо рта.

— Как?

— А клея, спрашиваю, не предвидится?

— Это что же такое значит — клей? — спросил старший с таким видом, как будто ему сказали нечто оскорбительное.— Клей нужно не у мебельщиков, а у москательщиков спрашивать.

Он подозвал официанта, расплатился и поднялся со стула, пыхтя трубкой; младший мигом вскочил и насмешливо раскланялся с Сергеем.

Сергей остался сидеть, следя за ними глазами; оба прошли в соседнюю комнату, в бильярдную.

Сергей заплатил за пиво и встал из-за стола с намереньем уйти от Чванова; в одно мгновенье ему опротивели пустые пивные бутылки, блюдечко с горохом, стоявшее перед ним на столе, веселенькие цветочки на обоях, струнный оркестр, багровый человек с отвислыми усами.

Однако не успел он сделать и двух шагов, как кто-то хлопнул его по плечу.

— Ну, дружочек, что́ заработали сегодня?

Он обернулся: перед ним стояла девушка лет двадцати, в клетчатой мужской кепке, надвинутой низко на лоб. В руке она держала тросточку и похлопывала ею по высоким красным ботинкам с острыми каблучками.

— Одолжите папироску!

Девушка села на стул и потянула его за рукав.

— Садитесь.

Сергей послушно уселся.

— Я давно на вас смотрю: у вас, миленький, очень симпатичные глаза. Что ж это вы такой скучный? Выпьемте лучше пива, чем скучать!

— Одну минуту,— сказал Сергей,— не знаете ли вы случайно, кто этот высокий человек с трубкой, там, около окна, видите, выходит из бильярдной?

— Вот тот? Это один такой человек.

— Какой это такой человек?

— А вам зачем это знать нужно, а?

— Просто так. А кто же он такой?

Девушка перегнулась к нему через стол и спросила шепотом:

— А вы кто? Легавый? Скажите мне, я никому не скажу.

— Нет, не легавый.

Сергей заказал пива, вытащил коробку с папиросами и предложил закурить.

Девушка взяла две папироски, одну закурила, другую положила за козырек своей кепки. Она не сидела на месте,

вертелась, вскакивала каждую минуту и смотрела в зеркало, выставив вперед подбородок.

— А как вас зовут, барышня?

— Сушка.

Она засмеялась, села рядом с ним и заложила ногу за ногу. Коротенькая потрепанная юбчонка задернулась, и маленькая нога в высоком красном ботинке открылась до колена.

— Пейте, пожалуйста, пиво,— сказал Сергей.

— Мерси.

Она отпила немного, поставила бокал на стол.

Оркестр гремел, затихал, гремел снова и все еще плакал о том, как будет плохо жить без пальто и без теплого платочка, когда настанут зимние холода, столь чувствительные в нашей северной столице.

— Вот теперь у нас плохой оркестр играет,— говорила Сушка, следя глазами за длинным скрипачом, который извивался, как ярмарочный змей, вместе со своей скрипкой,— а вот весной играл маэстро Ридель, так многие из-за одного оркестра приходили.

Она увидела, что Сергей смотрит мимо нее, куда-то поверх клетчатой кепки, в зеркало, мимо зеркала — на позолоченные карнизы, мимо карнизов — в темные оконные стекла.

— Скажите, миленький, почему вы такой скучный? Вы мне скажите, я и раньше заметила, что вы скучали.

— Нет, какой же я скучный, я веселый,— сказал Сергей,— пейте, пожалуйста. Так вы, значит, здесь часто бываете?

— Ну, что же — пейте да пейте! Расскажите мне лучше причину.

— Какую причину?

— Экой же вы несговорчивый! Ну, дайте мне вашу руку — я умею гадать по линиям рук. Сейчас расскажу все, что с вами случилось.

Она взяла руку Сергея и деловито запыхтела папироской.

— Я у одной хиромантки когда-то служила в компаньонках, вот она меня и выучила. Ой, какая у вас нехорошая рука.

— Почему же нехорошая?

— Потому что у вас линия жизни непервоначальная.

— Как это так — непервоначальная?

— Мне вас даже жаль, миленький, вам что-то очень не везет последнее время.

Сергей вдруг вскочил и отнял у нее руку.

— Ну, ладно, довольно.

Сушка тоже встала и, небрежно похлопывая тросточкой по своей истрепанной юбчонке, подняла голову и лукаво заглянула ему в лицо.

— Брось, не скучай по ней, фáртицер! Я тоже топиться хотела, когда меня мой студент бросил. И ничего. Видишь, до сих пор гуляю!

Сергей отступил на шаг и посмотрел на нее с таким видом, как будто перед ним стояла не проститутка Сушка, а доктор тайной магии Бадмаев.

— Откуда вы знаете, что она меня бросила?

— А что, правда или нет?

— Правда.

— Хм, откуда знаю? А ты думаешь, фáртицер, что вас мало таких по барышням шляется?

Сергей молча уселся против нее.

— Знаете что, барышня, бросим этот разговор, выпьем лучше пива. Или, может быть, портвейну?

Сушка пыхтела папироской и напевала сквозь зубы:

Вот идет девятый номер,
На площадке кто-то помер,
Тянут за нос мертвеца,
Ланца-дрица, а-ца-ца!

Сергей пил портвейн из стакана. Он один выпил почти всю бутылку — цветочки на обоях вдруг врезались в глаза с удивительной отчетливостью, потом сплелись, расплелись и свернулись.

Скрипач с бешенством встряхивал белокурыми волосами, летел за смычком и ни с чем возвращался обратно.

— Слушайте, барышня...— Сергей для убедительности даже стукнул себя кулаком в грудь.— Не в том, понимаете ли, дело, что бросила... Я бы, может быть, и сам ее бросил... Если бы... А, долго рассказывать! Пейте лучше портвейн.

Он опустил голову на грудь и закрыл глаза.

— А теперь, когда я его...

Он сжал кулаки с такой силой, что ногти врезались в ладони.

— Да я бы сразу ее забыл, если бы я ей все сказал! А я не могу сказать, потому что она пропала!

Сушка поставила локти на стол и слушала его с вниманием.

— Куда же она пропала?

— Неизвестно куда. Никаких следов. Пропала как дым.

— Выпейте теперь сельтерской,— посоветовала Сушка.

— Послушайте, барышня... я вам одну вещь покажу... А вы мне скажите, что эта вещь означает; то есть не вещь, собственно говоря, а письмо. Самое настоящее письмо и подписано, знаете ли... Нет, не скажу.

Он оглянулся вокруг себя, внезапно начиная трезветь.

— Или вот что... пойдемте куда-нибудь отсюда, и там... я вам его покажу.

Сушка кивнула головой.

— Идет. Только, знаете что... сперва я выйду, а вы расплатитесь. Я вас внизу на улице подожду.

Она встала, прошла, чуть-чуть покачиваясь, между столиков, мимоходом заглянула в бильярдную, как будто ища кого-то глазами, но тотчас же отвернулась и начала спускаться по лестнице.

Сергей подозвал официанта, расплатился и, держась, руками за все, что попадалось по пути, добрался до выхода.

Спускаясь по лестнице, он увидел, что Сушка отворяет выходную дверь.

Он спустился вслед за ней и на последних ступеньках вплотную столкнулся с давешним человеком в фуражке с лакированным козырьком.

Человек, на которого он наткнулся, воротился назад, посмотрел на Сушку, которая спешила перебежать улицу, приподнимая короткую юбчонку, сплюнул сквозь зубы, яростно шевельнул своими черными усиками и, заложив руки в щегольские штаны, присвистнул каким-то особенным свистом.

11

«19 сентября в 1 час дня в больнице Жертв Революции скончался агент уголовного розыска Н. И. Рыхин, который несколько дней тому назад был ранен налетчиком в одном из домов Фурштадтской улицы».

— Этого, кажется, Пятак накрыл!

«Смерть последовала после операции извлечения из области живота агента Рюхина застрявшей там пули. Не-

заметный герой умер на своем служебном посту, его сразила пуля этого негодяя-бандита...»

Сашка Барин бросил газету на окно и, не слушая, о чем говорил, картавя, Турецкий Барабан, закурил папиросу и задумался.

Он был недоволен: с тех пор как Барабан замарьяжил эту девчонку, дела идут все хуже и хуже.

Хевра начинает трещать, Пятак работает на стороне, дело с госбанком загнивает. Напрасно не отдали на сдюку последнюю работу — было чисто сделано. Нужно сплавить девчонку, или Барабан потеряет последний форс.

— Уважаемые компаньоны! Рыхта для госбанка должна была потребовать достаточное время. В чем раньше было дело? Дело раньше было в том, чтобы найти хороший шитвис, но, во-первых, сейчас нельзя подобрать опытных кассиров. Откровенно говоря: фомкой же нельзя открыть сейф. Тогда я сказал, что я недаром учился на раввина. Мы будем работать по новейшей системе, за нашей спиной — Запад.

Шмерка вытер вспотевший лоб платком.

— Я сказал: пусть нам дорого встанет такая лаборатория, не нужно забывать, что нас ждет дело большого масштаба. Хевра не проиграет от такой постановки дела.

Пятак сидел против него с растерянным видом. Его клонило ко сну, и он с трудом раздвигал отяжелевшие веки.

— Компаньоны! — продолжал Барабан, закладывая пальцы за пуговицы своего жилета.— Сработать госбанк — это не портняжить с дубовой иглой, компаньоны. Для этого нужно иметь под рукой цивилизацию!.. Я говорю, меня не интересуют бумаги, которые завтра будут — пха и которые вы можете достать, наставив шпалер на лоб. Нам нужно рыжевье! Нам нужна наховирка! Подавайте нам звонкую монету!

— Ладно, отлично,— равнодушно сказал Барин,— на какой день мы назначим работу?

— Мы назначим работу на пятницу — в четверг в госбанк будут сданы деньги кожтреста. Они пролежат только один день — это мне известно досконально.

— Послушай, Барабан,— Барин говорил медленно, ровным голосом,— ты уже истратил деньги, которые получил от меня и Тетеньки за ювелира на Садовой?

— В чем дело? — спросил Барабан,— тебе нужны деньги, Сашка? Или, быть может, ты сам хочешь вести работу?

— Я спрашиваю,— спокойно повторил тот,— истратил ли ты деньги, которые мы передали тебе на прошлой неделе?

— Я не истратил эти деньги! — передразнил Барабан.— А как ты думаешь, откуда я знаю, что в четверг в госбанке будут деньги из кожтреста и где именно они будут лежать? Это стоит денег или нет? Мне нужно платить кожтресту или нет? Меня критикуют, а? Мне не доверяет хевра!

Пятак наконец отогнал сон, раздвинул слипшиеся веки и соскочил с окна.

Он заложил руки в щеголеватые штаны и прошелся по комнатке.

— Какого рожна тебе нужно от него, Сашка? — сказал он со злобой.— Чего ты пялишь на него лупетки, сволочь? Он плохо работает, Барабан? А в прошлом году, когда ты уговорил штымпа, он тебя не выручил? Ему бабки для дела, он после отчитается, во что пошло, а ты хевру поганишь, жиган! А еще фай называется!

Барин чуть-чуть побледнел, медленно поднялся со стула и вдруг, подпрыгнув, одной рукой схватил Пятака за ворот его матросской блузы, другой ударил в лицо.

Кровь брызнула из рассеченной скулы.

Пятак, оскалив зубы, кинулся на него, но тут же остановился на мгновенье, чтобы вытащить из-за пояса штанов нож.

Барабан сорвался с места и бросился между ними.

— Довольно,— закричал он с гневом,— довольно этих глупостей! Ха! Это еще новое дело!

Пятак отошел в сторону, пряча нож. Он вытирал рукой кровь на разбитой скуле. Минуту спустя он вышел и тотчас же вернулся с папиросой в зубах.

Барин медленно опустился на стул.

— Мы делаем дело! — объявил Барабан, садясь на прежнее место.— Спокойствие! Терпение! Барин, я отчитаюсь перед хеврой когда угодно! Пятак, я не нуждаюсь в адвокатах! Я сам знаю, что я делаю, и то, что я делаю, не могут изменить ни мои защитники, ни мои прокуроры! Баста, на этом оставим пустяки, недостойные серьезных людей.

Он помолчал несколько минут.

— Дело обстоит в следующем,— продолжал он,— я остановился на пятнице. Да, именно в пятницу! В четверг

мой инженер, между прочим, также закончит все приготовления.

Барабан замолчал, потемнел и как будто только теперь обиделся на подозрения Сашки Барина.

— Вот, если угодно,— сказал он с обидой в голосе,— отличный случай. Вы хотите реабилизации? Вы получите ее! Я вам докажу, Барин, могут ли в моих делах быть какие-либо междруметия. Я больше не хочу полагаться на одного меня. Пусть сам инженер расскажет о том, как он сделал это! Я его выдумал, этого инженера, и, пожалуйста, отлично, проверяйте меня!

Он выбежал в коридор и спустя несколько минут вернулся с Пинетой.

Пинета был бледен, но весел. Он с комической важностью вошел в комнату и отвесил каждому из налетчиков в отдельности низкий поклон.

— Очень рад вторично с вами встретиться,— сказал он, протягивая Барину руку,— необыкновенно рад! Живешь-живешь один-одинешенек и вдруг встречаешь знакомого человека!

Барин удивленно посмотрел на него, но, впрочем, с неожиданным для него радушием пожал протянутую руку.

Пинета был настроен очень весело. Барабан не успел еще начать демонстрацию своей блестящей выдумки, как он подсел к нему совсем близко и по-приятельски хлопнул по коленке.

— Ну, а ты как поживаешь, старина?

Барабан молча снял с колена руку Пинеты, посмотрел на него внушительно и начал:

— Я уже говорил вам об инженере Пинета — лучшем специалисте по электромеханическому делу.

Пинета кивнул головой с одобрением.

— Действительно, лучший специалист!

— Мы пригласили инженера для того, чтобы он сделал нам в моментально то, что даже хороший шитвис не сделает в два часа с половиной. И он берется это сделать, как человек, понимающий, что такое есть настоящее дело.

— Я берусь это сделать в моментально, честное слово! — весело подтвердил Пинета.

— Прошу не перебивать,— продолжал Барабан,— сейчас он расскажет нам свой проект, но это, конечно, это же мой проект — проект вскрытия ливерпульских сейфов в госбанке.

Он оборотился к Пинете с покровительственным видом.

— Говорите, инженер, не стесняйтесь!

Пинета встал и снова отвесил низкий поклон налетчикам.

Он вдруг стиснул зубы, сжал руки в кулаки и перестал смеяться.

— За двадцать пять лет, которые я прожил,— начал он, делая шаг вперед и подходя к Барабану ближе,— я встречал очень много бездельников, которые притворялись настоящими людьми. Но такого бездельника, как вот этот толстый еврей, я не встречал ни разу.

— Он сошел с ума,— спокойно определил Барабан.— Бедняга, у него, наверное, старые родители.

— Вы думаете, что вы налетчики? — закричал Пинета, потрясая сжатыми кулаками.— Портачи!

Барабан немного откинулся назад и посмотрел на Пинету серьезно.

— Что вы хотите этим сказать?

— Портачи! — повторил Пинета.— Вы думаете, что вы увезли инженера Пинету Михаила Натановича?

— Именно так,— подтвердил Барабан.

— Портачи! — в третий раз повторил Пинета.— Вы увезли художника Пинету. Инженер Пинета — мой дядя— в прошлом году умер!

Все замолчали. Пятак было засмеялся, но тотчас же умолк и только свистнул от удивления.

— Инженер Пинета в прошлом году умер? — переспросил Барабан.— Что значит умер?

— Умер, как все умирают, так это и называется: умер. Если бы вы тогда меня не увезли, так и я бы, пожалуй, умер. От голода.

— Он сошел с ума,— закричал Барабан,— гоните его! Этого не может быть! Не может быть, чтобы инженер умер!

Барин встал и не торопясь подошел к Барабану. Он наклонился к нему через стол, спокойно следя, как краска сбегала с лица, которое стиралось перед ним, как мел стирается губкой, и сказал, опустив углы губ и всматриваясь в Барабана с презрением:

— Эх ты... задница овечья!

Барабан, не поднимая головы, блеснул исподлобья глазами, снова побагровел, вытащил из заднего кармана револьвер и с силой, которой от него нельзя было ожидать, вдруг ударил Пинету в лоб рукояткой револьвера.

Пинета взмахнул руками и без крика свалился на пол.

Тогда Барабан сорвался с места, с яростью закричал и ударил его ногой в лицо.

И этот новый удар как будто сбросил с рук Барабана веревку. Он схватил табурет и принялся с размаху бить им по телу, которое под каждым новым ударом послушно отбрасывалось назад.

Он топтал Пинету ногами и бил по лицу до тех пор, покамест лицо не превратилось в красный блин с закрытыми глазами.

Тогда Пятак схватил его за руку и сказал, становясь так, чтобы защитить Пинету от новых ударов:

— Будет!

И, схватив Пинету под мышки, он вытащил его из комнаты, проволочил через коридор и с помощью Мани Экономки уложил на кровать.

— Его Барабан измордовал,— ответил он на расспросы Мани,— ты за ним тут походи, пожалуйста; он будет настоящий фай, помяни мое слово!

Он вернулся обратно и, еще не дойдя до комнаты, услышал горячий разговор.

— О чем тут говорить? Ясно, конечно, что дело не в этом Пинете. Дело в том, что за последнее время ты склевался и потерял голову. Твое личное дело, Барабан, возиться со всякими девчонками, но чтобы это не касалось работы! Или черт с тобой, бросай хевру и открывай гопу на Обводном.

Пятак засмеялся и отворил двери.

Барин сидел на том же самом месте; он забросил ногу на ногу, курил и при каждом слове кривил гладкие, как бы отполированные губы. Барабан стоял перед ним, потупив голову, как нашаливший мальчик.

— Я у тебя тогда спрашивал, какого дьявола нам нужен этот инженер? Когда мы приехали, я на лестнице спросил — знаешь ли ты человека, которого нам нужно взять? «Цивилизация, современная техника. Запад»! — вдруг передразнил он хрипловатым картавым голосом, расставив немного ноги и закинув голову совершенно так, как это делал Барабан.— «Меня не интересуют бумаги, давайте нам звонкую монету»!

Пятак подошел к нему сзади, дернул за рукав и глазами показал на Турецкого Барабана.

Тот все еще не поднимал головы, но снова начал багроветь, почему-то начиная со лба, на котором выступили крупные капли пота.

Барин вгляделся в него, замолчал и принялся тащить из кармана своих офицерских брюк портсигар.

Барабан перевел затрудненное дыхание и поднял голову. Он был почти спокоен.

— Ладно, довольно разговоров,— сказал он, поглядев на обоих налетчиков так, как будто ничего не случилось. — Работа назначена в пятницу?

Он стукнул кулаком по столу и закричал:

— Так, значит, работа будет сделана в пятницу!

12

Сушка жила на Васильевском острове, на 23-й линии, у старой финки Кайнулайнен.

Это была старая высохшая финка, которой ничего не платили за комнаты, даже не уговаривались о плате и только удивлялись тому, что хотя она вовсе ничего не ест, но живет и даже страдает желудком.

Финка не жаловалась, не плакала, но каждый день писала по-фински открытки и опускала их в почтовый ящик, из которого уже более двух лет не вынимались письма...

Сергей шел за Сушкой, чуть пошатываясь, прищуривая глаза: фонарь то разлетался тонкими стрелами, то снова повисал над улицей неподвижным, тяжелым шаром.

«Черт меня возьми, куда я иду? Мне нужно скрыться, уйти в нору, в подворотню, в землю».

Он взял свою спутницу под руку и заглянул в лицо. Сушка шла, опустив голову, похлопывая тросточкой по своей ветхой юбчонке.

— Сушка! Как тебя зовут?

— А тебе на что это знать, миленький?

— Кто окрестил тебя Сушкой?

— Мой типошничек.

Густая сырость вдруг поползла Сергею за ворот пиджака, спустилась по спине, разошлась по всему телу. Он задрожал, поднял ворот и заложил руки в рукава.

— Брр... холодно. Что же это такое — типошничек?

— Ну, пойдем, пойдем, тут мильтоны шляются.

Они прошли освещенные улицы — тротуары почернели, дома слились в огромные сплошные ящики с беспомощными, мигающими окнами.

«Может быть, за мной следят? Может быть, кто-нибудь идет за мной,— он обернулся,— и сейчас спрятался вот там, вот в той подворотне?»

— Вот уж никак бы я не поверила,— сказала Сушка,— что есть такой человек, который не знает, что такое типошник.

— Да ты мне скажи, что это такое?

Сушка замедлила шаги и притянула его поближе.

— Это мой... зуктер. Ну, понимаешь, хозяин?

— Зуктер? Зуктер так зуктер, шут с ним. А хороший он у тебя?

— У меня?

Сушка остановилась перед каким-то домишком и застучала в ворота.

— У меня, брат, зуктер — прямо знаменитый человек. Его весь Петроград знает.

— А как его зовут?

Завизжал замок, и заспанный дворник впустил их во двор.

— Сюда, сюда,— говорила Сушка, таща его за рукав.

Они поднялись по лестнице, и Кайнулайнен впустила их в кухню.

Сергей поднес руку к лицу; ему вдруг невыносимо, до дрожи захотелось спать. Он зевнул с содроганьем и спросил почти про себя, с усилием разнимая слипшиеся глаза:

— Чем же он знаменит, твой зуктер?

— Эка, дался тебе мой зуктер! Он... ну... ну, мебельщик.

Они были уже в комнате, когда Сергей услышал это слово.

Он вскинул брови, и тут же перед ним возникли кудрявые гардины, жестяные тарелочки, одесская «Мама» и голос человека, курившего трубку: «М-да. Торгуем... Мебельщики».

Он схватил Сушку за руки.

— Как? Что ты говоришь? Мебельщик?

Сушка наконец рассердилась на него.

— А тебе что за дело? — спросила она, вырывая руки и глядя на него сердито,— ты что, подрядился, что ли, допрашивать? Легавый ты, что ли?

Сергей опомнился.

— Послушай, Сушка... Я хотел показать тебе письмо.

Он расстегнул пиджак, вытащил письмо, найденное им

на мертвом Фролове, и, перегнув пополам, показал Сушке печать церкви Гавриила-архангела.

Сушка нахмурила брови, немного побледнела и сказала, приглядевшись к печати и забрасывая ногу на ногу:

— Ну, а чем ты мне докажешь, что ты не легавый?

Сергей посмотрел на нее с отчаяньем. Он сел на кровать и опустил голову на руки.

— Ну, слушай, я тебе расскажу... черт с ним, все равно, только бы отыскать ее...

Сушка вскочила, принесла разбитое блюдечко вместо пепельницы, сунула в него окурок, закурила новую папироску и приготовилась слушать.

Сергей сразу же начал говорить, говорить, говорить — безостановочно шагая по комнате, бессмысленно размахивая руками.

Он говорил, забыв о том, что Сушка вовсе и не знает, кто он такой и что случилось с ним, говорил, расхаживая из угла в угол, останавливаясь, чтобы взмахнуть рукой, и снова начиная ходить...

— Не в том дело, что прислала письмо,— ну что же, я и в самом деле когда-то просил ее об этом. Не в том дело, что ушла к другому, все равно к кому, даже к Фролову, к налетчику, как я это неделю тому назад узнал, а в том, что он ее продал, понимаешь ли, продал!..

...Легавый! Да какой же я легавый, если мне самому надо скрываться. Я арестант, заключенный, я из тюрьмы сбежал. Меня за покушение на убийство посадили. И тоже из-за нее, из-за Кати. Я знал, что она меня не любит, но, с другой стороны, она же поняла, она уже поняла, что все подлецы и что я единственный, который действительно без нее жить не может. И не будет. У нас уже все на лад пошло, а тут этот человек подвернулся, пожилой человек. Катя с ним в одном учреждении служила. Я его предупреждал, я с ним вот как с тобой говорил, что я без нее не могу. Я просил, чтобы он ее оставил, потому что это у меня... Ну, как болезнь, что ли. Да и не убил я его, хотя, правда, чуть не убил. А он какой-то там военком, комдив, черт его знает. Так меня не только посадили, а в П-ую пересыльную тюрьму отправили, подальше от нее, понимаешь?

Он остановился и поглядел куда-то поверх лица Сушки на стену, как будто там, на серой исцарапанной стене, находилось то самое — человек, предмет или слово, которое было нужнее всего в эту минуту.

— Подожди, как ты назвал, Фролов, что ли?

— Ну да, Фролов, налетчик, понимаешь, я нашел у него в записной книжке (и по книжке тоже видно, наверное, несомненно, что он налетчик), нашел три письма, одно от нее, другое через Фролова какому-то человеку, письмо с шантажом. Вот оно, это самое, что я показывал,— с печатью.

Он остановился и взмахнул рукой, как бы бросив Сушке в лицо последнюю фразу.

— Чем же, черт возьми, я докажу тебе, что я не легавый? Ах да, хорошо, я покажу письма!

Он принялся рыться в боковом кармане своего пиджака, выбросил на стол груду каких-то затрепанных бумажек, нашел письмо Екатерины Ивановны, то самое, которое получил от нее в тюрьме, и положил его перед Сушкой.

Сушка развернула письмо, но не стала читать, а продолжала слушать.

— Что же мне было делать? — говорил Сергей, безостановочно шагая по комнате,— я должен был приехать, непременно должен. Просила не беспокоиться, поберечь себя, не винить... Кого не винить? Ее? Я ее ни в чем винить не буду, только бы найти, рассказать, объяснить, да нет, хоть ничего не объяснять, а только увидеть, узнать, что она жива.

Сушка все еще не читала письма. Она задумалась, облокотившись на стол и потирая рукой лоб, изрезанный мелкими морщинами.

— Я знаю, что продал, именно продал,— снова заговорил Сергей,— потому что нашел у нее письмо, понимаешь, подняла какая-то старуха у дверей, в коридоре; в нем он, Фролов, два раза упоминается и должен был сообщить адрес. Он должен был сообщить адрес! Это неспроста, что именно он. Почему же в письме не указан адрес? Вот прочти, кем подписано, посмотри фамилию, не знаешь?

Сергей сел, снова вскочил и начал оттягивать ворот рубахи, который вдруг почему-то показался ему невероятно узким.

— Послушай, фáртицер, да подбодрись, не склевывайся, найдется,— заметил ты того, что встретился с тобой у Чванова в подъезде? Я видела, что ты встретился с ним, когда я перебегала улицу. Вот он и есть мой типошник. Он из той хевры, от которой письмо с печатью, понима-

ешь? Это одна хевра, одна, понимаешь? Да я тебе сейчас ничего говорить не буду... Я вперед все узнаю, что нужно.

Сушка откусила и сплюнула мокрый конец папиросы, покусала ногти и снова задумалась.

— Ну да! И еще у меня в той хевре подруга есть, зовут Маней, Маней Экономкой. Она тоже расскажет, что знает. Но прямо скажу тебе, фáртицер, что это трудное дело. Одно слово: Барабан!

— Барабан? Ну да, Барабан подписал письмо. Одним почерком написаны оба — и то, с шантажом, и к ней — один человек писал, потому-то я и догадался. Его-то именно я и ищу целую неделю. Кто он, где его найти, ты его знаешь?

Сушка задумчиво постукивала пальцами по папиросной коробке.

— Вот что, фáртицер. Приходи ко мне в четверг, часов в десять вечера. Но прежде... Подожди, у тебя мать есть?

— Нет, у меня...

— Что?

— Никого нет! Один! А почему?..

— Никого, ни сестры, ни брата?

— Никого, она только и была; да нет, не в том, видишь ли, дело...

— Ну ладно, бог с тобой. Я тебе и так поверю. А ведь бывают такие накатчики, я-то не встречала, но знаю, что бывают; наговорит с три короба, письма пишет, а потом...

Сергей как-то сразу утомился, побледнел. Он снова присел на диван, не слушая, что говорила Сушка, согнулся и даже закачался от невероятного желания уснуть, даже не уснуть, а хотя бы закрыть глаза, ничего не видеть и не слышать.

Сушка еще не кончила рассказывать ему о том, какие уловки иной раз подкатывают легавые, как он уже спал, уткнувшись головой в спинку дивана и беспомощно бросив руки вдоль согнувшегося тела.

Сушка прервала себя на полуслове, встала, заглянула ему в лицо и раза два прошлась по комнате, прищуривая глаза и как будто примеряясь к чему-то.

«Маня Экономка — свой человек. Маня поможет, не выдаст, но Пятак?.. Ох, если узнает Пятак!»

Она еще раз поглядела на Сергея.

— Жалко все-таки! — И поправила свесившуюся на пол руку.

Потом она разделась, бросила на Сергея изодранное пальто с торчащей во все стороны подкладкой и наконец улеглась в постель, закрывшись с головой одеялом.

13

До выполнения задуманного дела хороший налетчик ничего не пьет. Он по опыту знает, что на работу нужно идти с ясной головой, чтобы в случае опасности не растеряться и спокойно встретить все, что может встретить человек, который никогда не опускает предохранителя на браунинге и которому нечего терять, кроме жизни. А жизнь для хорошего налетчика запродана наперед, он почти всегда уверен в том, что когда-нибудь попадется.

Вот почему он может сгореть, но никогда не потеряет голову, никогда не упустит случая задорого продать свою жизнь, за которую ни один человек, кроме верной марухи, не даст ломаного пятака старой императорской чеканки.

Но на этот раз Шмерка Турецкий Барабан изменил своему обыкновению.

Он пил, и с ним вся хевра пила в трактире «Олень» на Васильевском острове.

Они сидели за столом в малине, небольшой комнате в два окна, которая обычно служила для уговора о работе и где содержатель «Оленя» принимал особо важных посетителей.

В малине стояла мягкая мебель и были раскрашены стены.

На одной из них были нарисованы три грации, пожилые женщины с суровым выражением на лицах. Эти грации в двух-трех местах были подмалеваны посетителями малины.

По другой стене катилась пивная бочка, толстый, весь в складках иностранец сидел на ней верхом, опрокинув в рот кружку с пенистым пивом.

Обычно из опасения, чтобы не накрыл угрозыск, рядом с малиной, в узеньком полутемном коридорчике, стоял на стреме трактирный мальчишка. Теперь не было никого. Барабан, который любил пить на свободе, снял мальчишку с его поста и отворил двери настежь.

— Хевра пьет, и пусть весь «Олень» знает об этом!

За круглым столом (накрытым скатертью с княжеской меткой), на котором стояли графины с водкой, ветчина, зажаренная так, что звонко хрустела на зубах, швейцарский сыр с дырками величиной с голубиное яйцо и маринованные грибы, круглые и скользкие, как рыбий глаз,— сидели Барабан, Сашка Барин, Володя Студент и барышни.

За стеной в трактирном зале был слышен шум, стук посуды, глухой говор, гармонисты разливались и ревели «Клавочку», кто-то хохотал, свистел, топал ногами.

Здесь, в малине, пили почти молча, как будто делали важное дело, которое нельзя было нарушать пустыми разговорами.

Даже барышни приумолкли; впрочем, они были здесь как будто только для того, чтобы не нарушать обычаев «Оленя».

Барабан сосредоточенно пил водку. Он был не брит и с коммерческим видом закладывал свои толстые пальцы за проймы жилета.

Сашка Барин, надевший для пьяного дня черный офицерский галстук, молча оглядывал круглый стол своими оловянными бляхами.

К полуночи пришел Пятак, как всегда одетый под военмора.

С его приходом все изменилось.

— Ха, братишки! — заорал он.— Выпиваете? Я тоже, если говорить правду, выпил. Но только я больше через маруху пью, а вы чего? Ну ладно, коли так, налейте и мне... Пфа,— он покрутил головой и объяснил одним словом: — Марафет.

Барышни облепили Пятака. Он целовал одну, подталкивал другую и хватал за чувствительные места третью. Наконец, веселый и пьяный, добрался до стола и сел, положив ноги на соседний стул.

— Что же это вы молчите, братишки, а? — снова заорал он.— Девочки, танцевать! Где Горбун? Горбун, сукин сын! Позовите мне Горбуна! Моментально на месте устроим Народный дом.

Одна из барышень опрометью выбежала из комнаты искать Горбуна.

Горбуном звали любимца публики, здешнего оленевского исполнителя чувствительных романсов.

— Ого, он хочет устроить здесь Народный дом,— сказал Барабан,— это предприятие. Пятак, возьми меня в компанию.

— Становись,— кричал Пятак,— Володя Студент, становись, устроим качели!

Он двинул Володю Студента плечом, стал к нему спиной и крепко сплел его руки со своими.

— А ну, кто кого перекачает? Начинай. Раз!

И Пятак присел к земле с такой силой, что Володя Студент взлетел на воздух.

В следующую минуту он сделал то же самое, и теперь Пятак, болтая ногами в воздухе, изобразил качели Народного дома.

— Ррраз! — сказал Пятак.

— Два! — отвечал Володя Студент.

— Ррраз!

— Два!

— Ррраз!

— Два!

Так они поднимали друг друга до тех пор, покамест Володя Студент не охнул и не потребовал, в полном изнеможении, водки.

Пятак бросился на диван и отер пот, катившийся по его лицу градом.

— Перекачал!..

В это время, покачиваясь, с важностью, которая так свойственна всем горбунам, в комнату медленно вошел любимец оленевской публики, маленький человек в длинном сюртуке, с огромным горбом спереди и сзади, с волосатыми, как у обезьяны, руками.

Вслед за ним появился в малине огромный человек с цитрой, как будто несколько стеснявшийся своего высокого роста. Это был аккомпаниатор Горбуна и его бессменный товарищ.

— А, Горбун пришел! — заорал Сенька Пятак, отнимая ото рта графин с водкой и ставя его на стол почему-то с большими предосторожностями.

— Номер второй! Горбун, исполняй «Черную розу»!

Горбун вытер платком руки, слегка поклонился, заложил руку за борт сюртука, отставил ногу, стал в позу и начал не петь, а говорить романс глухим, сдавленным, трагическим голосом.

Хевра слушала, Барабан сложил руки на животе, приподнял голову, моргал от удовольствия глазами.

Черную розу — блему печали,
При встрече последней тебе я принес,—

говорил Горбун, хищно раздувая ноздри.

Полны предчувствий, мы оба молчали,
Так плакать хотелось, но не было слез!

Он опустил голову, сложил руки на груди, умолк, но тут же подался вперед и с отчаянием взглянул на присутствующих:

Помнишь, когда ты другого любила...

Пятак, который успел заснуть на диване, внезапно проснулся от какого-то слова, произнесенного с шипеньем.

— Стой! — крикнул он.— Я дальше и без тебя знаю. Братишки, пусть он нам споет «Мы со Пскова два громилы»!

— Как это — два громилы? — спросил Горбун тонким голосом, совсем не тем, которым он говорил свой романс.— Что вы?

— А что?

— Разве мы можем исполнять такой романс? Что ты на это скажешь, Христиан Иванович?

Большой человек с цитрой крикнул «нет» таким голосом, как будто он взял самую высокую ноту на своей цитре.

— Не хотите? — грозно заорал Пятак, вскакивая с дивана.— Не хотите, блошники? Так мы и сами споем! Братишки, покажем ему, как нужно петь хорошие песни! Девочки, подтягивай! Начинай!

Он поставил одну ногу на стул, приложил руку к груди и затянул высоким голосом:

Мы со Пскова два громилы,
Дим-дирим, дим, дим!
У обоих толсты рыла,
Дим-дирим, дим, дим!
Как мы шпвис собирали,
Дра-ла-фор, дра-ла-ла!
И по хазовкам гуляли
Им-ха!

Через несколько минут вся хевра, даже Турецкий Барабан, пела так, что в малине дрожали стены.

Вот мы к хазовке подплыли,
Дим-дирим, дим, дим!
И гвоздем замок открыли,
Дим-дирим, дим, дим!

Там находим двух красоток,
Дра-ла-фор, дра-ла-ла!
С ними разговор короток,
Им-ха!

Только Сашка Барин, пересевший от стола на диван, курил и молчал, поджимая губы.

К нему подсела было барышня в высоких ярко-красных ботинках, с черной ленточкой на лбу, но он оттолкнул ее и продолжал молча следить за Пятаком, который, разойдясь вовсю, вскочил на стол и, размахивая руками, дирижировал своим хором.

Барабан с тревогой посматривал на Барина.

«Ой, Сашка имеет зуб к Пятаку!»

Вот мы входим в ресторан,
Дим-дирим, дим, дим!
Ванька сразу бух в карман,
Дим-дирим, дим, дим!
Бока рыжие срубил,
Дра-ла-фор, дра-ла-ла!
Портсигара два купил,
Им-ха!

Эх, буфетчик-старина,
Дим-дирим, дим, дим!
Наливай-ка, брат, вина,
Дим-дирим, дим, дим!
Вот мы пили, вот мы ели,
Дра-ла-фор, дра-ла-ла!
Через час опять сгорели,
Им-ха!

Пятак заливался вовсю, на шее у него трепетал кадык, он обнял двух барышень и вдруг, вложив два пальца в рот, свистнул так, что у всей хевры зазвенело в ушах, а барышни бросились врассыпную.

— Стой! — кричал Пятак уже хрипнущим голосом.— Шабаш! Кто гуляет? Хевра гуляет! Где хозяин? Давай еще номера! Танго! Хевра, братишки! Пускай нам дают танго! Народный дом! Барышни! Угощаю! Поднимите руку, кто еще не шамал?

Он позвал трактирного мальчишку, велел ему накрыть отдельный стол для барышень и повалился на диван в изнеможении.

Минуту спустя он уже лил пиво в фуражку Володи Студента и старался, чтобы одна из девочек изобразила собой перекидные качели Народного дома...

Из коридорчика, соединявшего малину с трактирной залой, появились взамен Горбуна и его товарища два новых артиста.

Это были знаменитые оленевские тангисты — Джек и Лилит,— оба одетые в черное с нарочитой, прямо щегольской скромностью: он — в гладкой блузе с глубоким мозжухинским воротом, она — в простом кружевном платье с воланами и длинными рукавами.

— Тангуйте,— кричал Пятак,— аргентинское танго! Мандолину! На мой счет! Лопайте, барышни!

Из толпы, теснившейся в узком коридоре, вытолкнули худощавого человека с бойким хохолком на голове, с мандолиной под мышкой.

Музыкант сел, ударил по струнам косточкой, и тангисты, почти не касаясь друг друга, приподняв головы и глядя друг другу в глаза, сделали несколько шагов по комнате, расстались, и Джек склонился перед своей подругой с удивительной для «Оленя» скромностью.

Барабан все еще с тревогой следил за Сашкой Барином.

«Ой, будет плохо Пятаку! Загнивает хевра».

— Будет! — кричал Пятак.— Теперь я! Теперь мой номер! Сушка! Барышни, позовите Сушку! Сейчас мы с ней исполним свое танго!

— Эй ты, смерть ходячая,— кричал он Джеку,— ты думаешь, я хуже тебя танцую? Сейчас мы, шут те дери, исполним такой танец... Сушка! Да где же она? Я же с ней пришел! Девочки!

Девочки почему-то молчали. Музыкант последний раз ударил косточкой по струнам и закончил танго.

Среди полной тишины Барин встал со своего места и медленно, ничуть не торопясь, подошел к Пятаку.

— Тю-тю,— вдруг сказал он, подмигнув одним глазом.

Пятак уставился на него с недоумением.

— Чего?

— Сушка-то тю-тю! — пояснил Барин.— Другого кота нашла!

Должно быть, об этом в «Олене» говорили уже давно, потому что едва эти слова были произнесены, как все закричали разом.

Барышни пересмеивались, Володя Студент засвистал, музыкант с хохолком почему-то ударил по струнам.

— Что ты сказал?! — Пятак вдруг протрезвел, сделал шаг вперед и схватил Барина за руки.

— Я сказал, что Сушка твоя тю-тю. С другим котом гуляет!

— Псира!

Пятак отступил назад, нащупал в заднем кармане штанов револьвер. Девицы с визгом посыпались от него. Барабан вскочил, готовый вступиться в драку.

— Оставь пушку! — спокойно сказал Барин.— Это все знают. Что, марушечки, я правду говорю?

— Стой, не отвечай! — бешено закричал Пятак.— Если правда... Я сам! Я сам узнаю!

Он быстро сунул револьвер в карман, повернулся и выбежал из малины. Никто его не удерживал. Он пробежал трактирную залу и, бормоча что-то про себя, спустился по лестнице.

Он ушел, и все понемногу разбрелись из малины. Ушли артисты, изображавшие Народный дом, разбрелись понемногу девочки, и за круглым столом остались только Турецкий Барабан, Сашка Барин и Володя Студент.

— Сволочь ты, Сашка,— сказал Барабан,— сволочь и паскудство. Ну к чему разыграл Пятака? Ведь перед работой пьем, перед делом большого масштаба пьем, мазы.

Барин ничего не ответил.

Хевра пила и думала о том, что нужно заряжать револьверы, что можно сгореть, но нельзя потерять голову, что нужно стараться дорого продать свою жизнь, за которую ни один человек, кроме верной марухи, не даст ломаного пятака старой императорской чеканки.

14

Было еще не поздно, часов одиннадцать или двенадцать ночи, когда Пятак выбежал из «Оленя». Вокруг «Оленя» стояли извозчики, на углу пьяный ласковый матрос объяснял милиционеру, который крепко держал его за руки, устройство военно-морских судов, вокруг них собралась толпа папиросников.

Папиросники гоготали.

Пятак выбежал из трактира без шапки и вспомнил об этом только неподалеку от Двадцать третьей линии — и то потому только, что стал накрапывать дождь.

Баба, закутанная в изодранный зипун, с палкой в руках, стояла у подворотни.

Он прошел мимо бабы и остановился посреди двора, подняв вверх голову.

Прямо над головой было небо, на котором плавало какое-то грязное белье, гонимое осенним ветром, под небом — крыша, под крышей слева от водосточной трубы — окно Сушки.

Пятак выругался: окно было освещено.

— Возвратилась, стерва!

Он отыскал за углом, рядом с помойной ямой, вход (где-то высоко горела угольная лампочка, которая догорала и никак не могла догореть) и поднялся по лестнице.

Финка Кайнулайнен отворила ему двери, сообщила, что у Сушки гости, и ушла, оставив Пятака в такой темноте, что, кажется, ее можно было схватить руками.

Он чиркнул спичкой и отыскал комнату Сушки: тоненькая полоска света проходила между дверью и полом.

Он приложился глазом к замочной скважине и ничего не увидел: либо скважина была заложена бумагой, либо кто-то сидел очень близко к двери.

Зато он услышал разговор, который постарался запомнить.

— Ты мостик через Карповку знаешь, у газового завода? Ну, Бармалееву знаешь?

— Бармалееву? Это за Подрезовой?

— Там на углу возле мостика ты и подожди. Я с Маней уговорилась, понимаешь. С подругой, которая в той хазе живет. Она тоже жалеет.

— Послушай,— заговорил мужской голос,— а что же... а как ты скажешь про меня?.. Скажи, что знакомый, или... Или нет, скажи — Сергей, она знает, кто я и все про меня...

— Да пустяки! Не все ли равно, кто? Небось сама убежит как стреляная.

Кто-то прошелся по комнате, и Пятак снова приложился глазом к замочной скважине: он увидел широкую мужскую руку, схватившуюся за спинку стула.

— Только бы удалось, только бы удалось, черт возьми. А там я... Послушай, Сушка, а тебе за это?..

«На углу Бармалеевой, мать твою так,— вдруг сообразил Пятак,— на углу Бармалеевой?»

Он скрипнул зубами.

«На Бармалееву хазу ка́пает, стерва!»

Мужская рука снялась с замочной скважины, и Пятак увидел Сушку: она стояла перед комодом, над которым висело небольшое зеркальце, и надевала свою полосатую кепку.

— Боюсь я одного человека,— услышал Пятак,— да что же с вами, шибзиками, поделаешь? Надо уж вам помочь!..

Пятак в темноте передернул плечами и подкрутил острые черные усики.

«Ну, погоди же, псира! — подумал он, ощупывая нож за поясом, на котором держались его матросские штаны.— Узнаешь ты, каково продавать мазов».

— Ну, теперь айда!

— А что, если... она не захочет идти, когда узнает, что это я ее буду ждать... Может быть, не говорить имени — сказать просто: один из друзей или...

— Эй, склевался ты, фáртицер. Да подбодрись же! Ничего не скажу, скажу — свой человек, и никаких двадцать.

Пятак услышал короткий стук повернутого выключателя. Только что он успел отскочить и, отбежав подальше по коридору, спрятаться за каким-то чуланчиком, как Сушка вместе со своим собеседником вышла из комнаты. Пятак подождал две-три минуты, вылез из-за своего прикрытия, добрался до кухонной лестницы и благополучно миновал выгребную яму.

На улице под первым же фонарем он узнал в спутнике Сушки того самого человека, которого несколько дней тому назад встретил с ней в ресторане Чванова. Он вспомнил Барина и как будто снова услышал медленный и насмешливый голос: «Сушка-то тю-тю. Другого кота нашла».

«Да ведь какого кота. Не простого...— Пятак сжал кулаки,— а легавого».

Шел мелкий промозгловатый дождишко. Почти никого уже не было на улицах. Бородатые, с палками в руках сторожа перед каждым домом вырастали из мокрого тротуара.

Сушка со своим спутником свернула на набережную Невы.

Пятак прятался за углы, в подворотни, в подъезды.

«Сушка продает Бармалееву хазу?! Убью лярву, своими руками убью!»

Биржевой мост внезапно открылся во всю длину, как будто кто-то взял его двумя руками за передние фонари и разом вытянул до Зоологического переулка.

Пятак перебежал на другую сторону и спрятался под прикрытие Ростральной колонны. Он четко различал на мосту две фигуры, отбросившие под светом фонаря длинные тени на деревянный тротуар.

В ту же минуту эти темные фигуры сорвались с места и побежали так, как будто кто-то с оружием в руках гнался за ними.

Пятак обогнул колонну.

Едва он прошел несколько шагов, как услышал тяжелый, прерывистый звук цепей.

— Мост! А! Мост поднимают.

Те, за которыми он следил, перешли мост и стали спускаться к набережной.

Он бросился бежать, но не успел оставить за собой и одного пролета, как увидел, что деревянная часть моста медленно начинает подниматься.

Остановившись на секунду, он с бешенством притопнул ногой и снова пустился бежать. Цепи скрипели, и с каждым оборотом машины мост начинал коробить свою деревянную спину.

Пятак добежал наконец до пролета, которым оканчивался разорванный надвое мост.

Под ним скрипели цепи и видны были какие-то железные уступы, оси и визжащие блоки; ниже смутно блестела белесая вода. Пятак остановился еще на одно короткое мгновение, увидел вдалеке темные фигуры, которые вступили уже в свет фонарей где-то на Кронверкском проспекте, и перевел дыханье.

В следующее мгновенье он прыгнул.

Под ним неясно мелькнули темные очертанья машин и светлая полоса воды; он упал на носки, едва удержался на ногах и несколько секунд простоял неподвижно, взявшись рукой за голову и только чуть-чуть покачиваясь из стороны в сторону.

Потом он вытащил из кармана смятую папиросную коробку, нашел окурок, сунул его в рот и поискал спички.

Спичек не нашлось; он выругался, выплюнул окурок и побежал дальше.

Сушка и ее спутник шли вдоль Народного дома. Немного погодя они свернули на Сытнинскую площадь: больше у Пятака не оставалось сомнений.

«Продала! Хоть бы встретить кого-нибудь на Белозерской. Хоть бы Барабан знал!»

Он остановился в подворотне где-то за Малым проспектом, пощупал, на месте ли нож, быстро пересмотрел обойму браунинга и поднял предохранитель; он не знал, с кем ему придется иметь дело.

«У легавого, наверное, не одна пушка в пальте!»

Потуже затянув ремень на штанах, Пятак сунул браунинг в карман и вышел из подворотни. Сушка одна перебегала улицу.

«Ах, мать твою так, уходишь».

Больше не остерегаясь, он бросился за ней.

Сушка быстро шла по Бармалеевой. У фонаря она остановилась, подтянула падающий чулок и пошла дальше. Она напевала «Клавочку»:

Он сел на лавочку
И вспомнил Клавочку,
Ее глаза и ротик, как магнит,
Как ножкой топает,
Как много лопает,
Как стул под Клавочкою жалобно трещит!

Пятак вдруг остановился.

«Я тут хляю за ней, а он тем временем... Ах, курва, да что же это я!»

Он бросился назад.

Никого не было на пустынной улице.

Чернели полуразвалившиеся стены на пустырях. Дождь перестал, и сквозь разорванные тучи снова показала свой синий рог луна. Шагах в двухстах, на проспекте Карла Либкнехта, дребезжала на мокрых камнях пролетка.

Пятак пробежал до Малого и остановился; он знал, что тот, кого он искал, ждет Сушку где-нибудь недалеко. Заглядывая во все углы, во все подворотни, он несколько раз прошел туда и обратно. Никого не было.

Тогда он побежал назад, к Бармалеевой хазе.

Не успел он добраться до полуразрушенной решетки, которая окружала пустырь, как увидел, что Сушка воротилась обратно.

Он заметил, что она переоделась, сменила свою полосатую кепку на длинную шаль и шла как-то несмело, поминутно оглядываясь и ища кого-то глазами.

Пятак отошел в сторону и остановился у деревянного домишка, похожего на сторожевую будку. Справа от него виден был мост через Карповку.

Он втянул голову, передернул плечами и достал нож.

Женщина с минуту постояла возле решетки, точно поджидая кого-то, все движения ее были как-то неуверенны, несмелы.

Снова оглянувшись несколько раз, она плотнее закуталась в шаль, быстро перебежала дорогу и пошла по Бармалеевой.

Пятак пропустил ее мимо себя, вышел из-за своей засады, догнал двумя шагами, взмахнул рукой и, внезапно оскалив зубы, ударил ее ножом в спину между лопаток...

Сергей остался ждать во дворе полуразрушенного дома на Малом проспекте.

Он присел на груду камней возле какой-то канавы, пролегавшей тотчас же за разбитой стеной.

Беловатый кирпич, бесшумно сыпавшийся под ногами, покрывал двор.

Сергей сидел перед надтреснутой стеной с темно-серыми пятнами, походившими на театральные рожи.

Какие-то пустяки все лезли в голову; очень явственно стучало сердце. Он долго потирал лоб, стараясь вспомнить что-то необходимое, нужное сию же минуту, без всякого замедления.

Это необходимое было лицом Екатерины Ивановны, которое вылетело у него из памяти и ушло куда-то, откуда его вернуть было невозможно.

Вместо лица Екатерины Ивановны все лезли на глаза театральные рожи...

Прошло минут двадцать, как ушла Сушка.

Надоело ждать; он вскочил и принялся ходить по двору, заглядывая в темные стекла, топча осколки стекла, разбитый кирпич.

Заброшенный сарай скривился на сторону, дверь висела на одной петле. Сергей толкнул ее ногой, она проскрипела ржавым басом.

Прошло еще с полчаса. Он наконец потерял терпение и выглянул из пустыря: никого не было видно.

Пройдя через ворота, он заглянул за угол и вышел на Бармалееву.

Шагов за двадцать он различил темную фигуру какого-то человека; издалека он принял его за военмора.

Человек шел по другой стороне улицы, заложив руки в штаны и как будто высматривая кого-то.

Он был без шапки, ворот матросской блузы приподнят и, должно быть, зашпилен булавкой.

«Уж не меня ли он высматривает?»

Человек в матросской блузе остановился в тени деревянного строения, которым кончалась Бармалеева улица. Немного погодя из-за решетки, окружавшей пустырь, на другой стороне улицы показалась женщина в длинной шали, накинутой на голову.

Человек в блузе пропустил ее мимо, сделал шаг за нею.

Еще минута, и Сергею показалось, что его голова оторвалась от тела и, как бы взбесившись, полетела по воздуху. Он услышал отчаянный женский крик, который он узнал и от которого у него ушло, провалилось, упало черт знает куда сердце.

Он бросился бежать и, еще не добежав, увидел, что военмор наклонился над женщиной, закутанной в шаль, и качал головой, как будто с сожалением:

— Ах, так это ж не она, не Сушка!

В следующую минуту он исчез, как будто растаяв в воздухе.

Сергей добежал и ничком повалился на землю. Еще прежде, чем добежать, он знал почти наверное, что женщина, лежавшая лицом вниз возле сторожевой будки, была Екатерина Ивановна.

15

Рот был сжат и казался узким, как карандашная линия, глаза открыты, и в них еще стояли слезы — все это Сергей разглядел под светом луны, выставившей на несколько минут свои рога из-под изодранных облаков.

Он вскочил на ноги и с бешенством царапнул себя по лицу руками.

— Помогите!!

Тут же он как будто испугался своего громкого голоса, снова стал на колени и принялся зачем-то поддерживать руками запрокинутую голову Екатерины Ивановны.

Голова легко перекатывалась в руках, и через несколько минут стало казаться, что она отделилась от тела.

Он снова вскочил и с испугом огляделся вокруг себя; но тут же, как будто позабыв все, что случилось, озабоченно потер лоб и прошелся так, как бы раздумывая, туда и обратно, от одного дома до другого.

— Помогите,— сказал он еще раз и вдруг бросился к Екатерине Ивановне, схватил ее, поднял на руках и понес, крепко прижимая к себе.

Он прошел, спотыкаясь и с трудом ступая потяжелевшими ногами, не более десяти шагов, как увидел высокого человека в полупальто, которое в темноте казалось женской юбкой, надетой на плечи.

Человек стоял у телеграфного столба и с нерешительным видом глядел на Сергея.

— Помогите!

Человек в полупальто оглянулся и бросился бежать опрометью. На углу Малого он трусливо обернулся и исчез.

«Да как же это, черт возьми. Что же делать?»

Сергей присел на тумбу, не выпуская из рук негибкого тела, которое вдруг показалось ему похожим на куклу.

И голова вертелась в руках совершенно как у куклы. И глаза...

Он произнес вслух и испугался этого:

— Что ж, я с ума схожу — ведь нужно же помочь; ведь ранили, должно быть, кровь идет.

Он осторожно ощупал грудь, руки, лицо, провел рукой по спине и вдруг вскрикнул и поднял руку.

Рука была в крови, на кончиках пальцев остались следы крови.

«Только бы донести, помочь, перевязать, остановить кровь!»

Он снова вскочил и на этот раз бегом пустился бежать по Бармалеевой.

Улица зашаталась, покатилась вниз, дома, как сломанные декорации, накренились над ним, крыши заслонили небо.

Он добрался наконец до проспекта Карла Либкнехта и здесь под первым же фонарем снова заглянул в лицо Екатерины Ивановны.

Лицо внезапно показалось ему отвратительным — нижняя челюсть отвалилась, слюна залила подбородок, один глаз закрылся.

Он положил тело на землю, возле тумбы, и увидел, что весь испачкался кровью; повсюду — на груди, на руках, даже как будто на подбородке были темные пятна. Он порылся в карманах, вытащил заскорузлый платок и принялся старательно вытирать руки. Пятна сразу отошли, затерлись.

— Помогите же, черт возьми, ведь нужно перевязать, сейчас же, немедленно!

Откуда-то из-за угла выплыл милиционер.

— В чем дело, гражданин?

Сергей молча вытирал руки и, оттянув край пиджака, смотрел, есть ли на нем пятна.

— В чем дело, гражданин?

— Ну, в чем же дело?.. — отвечал Сергей.

— В чем дело, что с этой гражданкой?

— Я не успел добежать, понимаете, как тот, в матросской блузе... Я кричал, да никого не было. Один встретился было...

Милиционер быстро нагнулся к Екатерине Ивановне, дотронулся до нее рукой.

— Мертвая, что ли?

Он выпрямился, схватился рукой за кобуру, болтавшуюся у него на поясе, и пронзительно свистнул.

— Да нет же, какая мертвая! Ранили, нужно помочь, перевязать, у вас должен же быть бинт под рукой, дежурный бинт, понимаете?

Второй милиционер подбежал к ним с угла Лахтинской и остановился, придерживая рукой шашку.

— Этого надо в дежурку... Мертвая.

Первый милиционер посмотрел на Сергея и взял его за плечо.

— Извозчик!

Сергей пошатнулся и попытался снять с плеча руку милиционера.

— В дежурку? Зачем, в какую дежурку? Чудаки, вы думаете, это я? Поймите вы, что кто-то в блузе, я не успел добежать, как он... А я уже не мог помочь, ведь я же нес ее на себе, не мог даже поддержать голову.

Милиционер посадил его в пролетку. Он сел и продолжал говорить с горячностью.

— Карпухин, эту придется, должно быть, в Петропавловскую,— сказал милиционер.

— Поезжай,— добавил он и ткнул извозчика локтем в спину.

— Стойте, а как же она? — закричал Сергей.— Поймите же вы, черт возьми, что нужно перевязать рану!

— Сидите смирно, гражданин,— отвечал милиционер.

Сергей закинул голову, вытянул ноги, закрыл глаза.

— Оружие есть? — вдруг спросил милиционер.

— Ни о чем я с вами не буду говорить,— раздражен-

но сказал Сергей,— если вы могли оставить без всякой помощи... Куда вы меня везете?

— Оружие есть? — повторил милиционер.

Он вытащил револьвер одной рукой, а другой мельком ощупал одежду Сергея.

— А-вввв,— вдруг завыл Сергей,— не везите меня, говорю вам, это тот, в матросской блузе... Разве я стал бы... Да я ее по всему городу искал...

Извозчик остановился.

Милиционер вытолкнул Сергея и сам соскочил с пролетки.

— Идите вперед!

Они поднялись по лестнице и прошли через полутемный коридор.

В коридоре Сергею, как тогда у Сушки, вдруг нестерпимо захотелось спать. Он потянулся, зевнул.

— Да вить ни продавали ничиво,— сказал из угла чей-то густой голос,— ничиво, ни капильки, вить гли сибя гнали, исключительно гли себя, ей-богу.

Милиционер оставил Сергея в коридоре и сам скрылся за дверью.

— А что до того, что гражданину Коврину, так вить кливита, ей-богу, все кливита,— продолжал голос,— гражданин Коврин, он и непьющий, он совсем у бабки покупал. Он рази может так пить?

Милиционер вернулся снова, взял Сергея за плечо и молча втолкнул его в комнату.

За столом сидел участковый — небольшой, коренастый, похожий немного на калмыка, с вежливым и даже участливым лицом.

Он писал, сощурив глаза, старательно выводя буквы.

Сергей прочитал вверх ногами: «Протокол».

Участковый поднял на него глаза и спокойно промолвил:

— Как ваша фамилия, гражданин?

— Да нет же, не в том дело, как фамилия. Ведь убили ее, понимаете! Или нет, еще, может быть, и не убили!

Сергей вдруг взволновался и двинулся куда-то; но не успел он и на шаг отойти от стола, как участковый повторил:

— Как фамилия?

— Веселаго.

Сергей побледнел и ударил себя в лоб рукой:

«Что я сделал! Ведь Веселаго же, в самом деле Веселаго».

Но тут же он добавил, как будто назвать имя было совершенно неизбежно, когда названа фамилия.

— Сергей. Сергей Веселаго.

— Сергей Веселаго, так,— промолвил участковый.— Документы имеются?

— Документы? Да нет, у меня и не может быть никаких документов. Ведь я...

«Только бы не сказать, не сказать, не сказать, что бежал, что скрываюсь».

— Что вы?

— Нет, ничего.

Участковый медленно отодвинул от себя протокол и уставился на Сергея с вниманием.

— Веселаго? Сергей Веселаго?

Он помолчал с минуту, двинул пером по бумаге и, вместо того чтобы приказать отвести арестованного в дежурку, неожиданно для себя самого продолжал допрос:

— Ну, хорошо. Так, значит, документов у вас не имеется. Так. А как зовут женщину, у трупа которой вы были задержаны?

Слово «труп» показалось Сергею похожим на деревянную круглую колотушку, которой разбивают мясо.

— Труп! Да нет же! Я, еще когда ехал на извозчике, хотел сказать, что бывают такие случаи, что оживляют, понимаете ли, оживляют! Каким-то образом сжимают в руке сердце, и оно начинает биться.

— К сожалению, труп,— вежливо сказал участковый,— так как же зовут эту женщину?

— Молоствова Екатерина Ивановна.

— Молоствова Екатерина Ивановна,— записал участковый,— какая профессия и сколько лет?

— Не знаю сколько. Стенографистка.

— Стенографистка, отлично; а где же она проживает, вам известно?

— Да ее украли, понимаете? Продали ее этому Барабану! То есть я не уверен, что именно ему, именно Барабану, но думаю, да, думаю, что ему!

Участковый вскочил и во все глаза посмотрел на Сергея.

— Ба-ра-ба-ну! Какому Барабану?

— Ну да, Барабану! Он налетчик, вы должны знать это имя! Я хотел даже одно время обратиться к вам, но...

Участковый сел с треском и, разбрызгивая чернила, с ужасной быстротой принялся что-то писать.

Через минуту он снова обратился к Сергею, стараясь говорить вразумительно и спокойно:

— Гражданин, успокойтесь. Успокойтесь, гражданин! Скажите мне, известно ли вам местопребывание этого человека, которого вы назвали Барабаном?

— Должно быть, где-то на Бармалеевой. За Малым проспектом. Там у них эта... как называется?.. Ну же!.. Да! Хаза.

Участковый снова подскочил.

— Хаза?!

— Ну да, хаза! Там они держали ее, понимаете ли, ее, Екатерину Ивановну. Я искал ее по городу больше недели, бегал по притонам, по ночлежным домам, наконец нашел, должен был увидеть, увести с собой, и вот... Вы знаете ли, я еще не успел добежать, как он подошел к ней, два шага, не больше, и ударил в спину.

— Кто он?

— Не знаю, кто! Какой-то в матросской блузе, ворот зашпилен.

— Подождите...— Участковый снова принялся выводить аккуратные буквы.— Так... искал стенографистку Молоствову... так... подбежал человек, одетый, по показаниям задержанного, в матросскую блузу, и ударил в спину... Каким оружием ударил?

— Не знаю. Вся спина... в крови.

— А откуда же вам известно, что эта женщина была задержана у себя налетчиком Барабаном?

— Откуда известно? Да из письма же! Из письма, которое я нашел у нее в комнате, в доме Фредерикса!

— Где? Так! В доме Фредерикса! Имеется у вас это письмо?

В эту самую минуту Сергей вспомнил, что письмо, которое он взял у старушки из дома Фредерикса, подписано фамилией, а не прозвищем Барабана.

— Имеется у вас это письмо?

— Н-нет. Я его оставил...

— Где?

— Дома.

— Позвольте узнать,— участковый ласково наклонился к нему,— а где вы живете?

— Я? Я тут остановился... на Литейном.

— Так. На Литейном. Номер дома позвольте?

— Номер дома? — Сергей назвал первую попавшуюся цифру: — Двадцать три.

— Литейный, двадцать три,— с готовностью подтвердил участковый. Он пересмотрел протокол: — Значит, вы показали, что разыскивали эту самую стенографистку и наконец узнали, что она находится в помещении, занимаемом Барабаном на Бармалеевой улице. Так. А от кого же вы это узнали?

Сергей вдруг посмотрел на него со злобой.

— Послушайте, оставьте меня! Я совсем разбит, я больше не могу. Я не скажу вам, от кого я это узнал. Я дал честное слово.

— Нет, вы не волнуйтесь, пожалуйста,— сказал участковый,— может быть, вы курите? Разрешите, я вам предложу папироску. Так. Значит, дали честное слово. Так и запишем: дал честное слово.

Он немного помолчал и потом продолжал спрашивать, сам закуривая папиросу:

— А где же вы были в момент совершения убийства?

— Я? Недалеко! Шагах, может быть, в двадцати, не больше. Я ждал ее, понимаете ли, один человек устроил, чтобы она вышла, ну, бежала, что ли, оттуда, из хазы, ночью. А меня оставили ждать на углу Малого.

— Так, так, так. Стало быть, эта самая-то хаза-то по Бармалеевой за Малым. Запишем, гражданин Веселаго... Веселаго, экая знакомая фамилия... н-ну, ладно, так... Веселаго показал, что в момент совершения убийства он находился в двадцати шагах, на углу Малого проспекта... А вам и видеть его также случалось?

— Кого?

— Да этого самого Барабана?

— Да нет же. Я же говорил, что из письма, только из письма о нем знаю.

— А других прозвищ, кроме Барабана, не знаете?

— Знаю, кажется, его фамилию... Там было еще одно письмо... впрочем, нет, просто говорили, что фамилия Качергинский.

— Качергинский?

Участковый даже потемнел, кровь прилила к лицу. Он вскочил и выбежал в соседнюю комнату.

— Оперативный отряд! Да! Кутумова! Да, да!

Сергей посмотрел на стол, заваленный бумагами, на

стены в клоповых запятых. Позади него, засунув руку за пояс, стоял и таращил сонные глаза молодой безусый милиционер.

— Много, да, да, много, опасный налетчик,— говорил в соседней комнате участковый...— а это уже как вам будет удобнее, товарищ! Проверьте, да, разумеется, потому что сведения случайные.

Он вернулся и снова сел за стол.

— Так. Отлично. А вот, между прочим, вы упомянули о том, что эта самая стенографистка, которую убили... каким же образом она попала на Бармалееву улицу?

Сергей отвел глаза от клоповой стены...

— Не знаю. В том письме, которое я достал, только приглашенье занять место, понимаете ли, место стенографистки, ведь она стенографистка отличная, ну и это письмо подписано Качергинским. Я потому и стал догадываться, что ее украли, понимаете, ведь она к себе домой не являлась больше двух недель, и это там, на Лиговке, в милиции должно быть известно.

— Так. Вероятно, известно. А вы как же, гражданин Веселаго, давно уже живете в Петрограде или приехали только для того, чтобы разыскать эту стенографистку?

— Я? Да нет, я... приехал сюда... Я не живу здесь постоянно.

— А где же вы проживаете постоянно?

Сергей замолчал. Участковый постучал косточками пальцев по столу и повторил вопрос.

— Я приехал из Тамбова,— сказал наконец Сергей.— Да, из Тамбова.

— Ах, из Тамбова? Так. Запишем: из Тамбова. А какого числа вы приехали?

— Недели две или три, не знаю. Да не все ли равно, какого числа, вот вы спрашиваете о пустяках, а я мог бы пока помочь раненой.

— Убитая уже отправлена в Петропавловскую больницу,— сказал участковый,— вы можете быть на этот счет совершенно спокойны, гражданин Веселаго! Ах да! Веселаго, именно Веселаго!

Он пощипал складки между бровями и задумался, как будто стараясь припомнить что-то.

Сергей посмотрел на него в упор, и вдруг ему снова показалось, что его голова полетела по воздуху, а тело падает к ногам безусого милиционера.

Участковый встал и прошелся по комнате.

— Поди-ка позови ко мне товарища Поппе,— сказал он милиционеру.

Тот вышел и через минуту явился с маленьким человечком в штатском платье.

— Товарищ Поппе, у вас имеется сообщение второго Гепеу о розысках бежавшего оттуда арестанта?

— Да-с,— отвечал маленький человек в штатском.

Сергей закрыл глаза: все рухнуло, он стоял в каком-то необыкновенно узком коридоре и дрожащими руками держался за трещину в стене, за клоповую запятую на обоях.

— Товарищ Поппе,— снова спросил участковый,— вы не помните, как фамилия этого арестанта?

— Нет-с, никак не припомню сейчас,— отвечал человек в штатском.

— Так будьте добры, разыщите-ка мне эту бумажку и принесите сюда.

Участковый снова закурил и принялся снимать со своей форменной куртки пылинки, волоски.

— Так вы приехали из Тамбова? М-гм. А как же случилось, что с вами нет никаких документов?

Сергей даже и не слышал, о чем его спрашивали.

— А чем же вы занимались в Тамбове?

Человек в штатском принес бумажку и подал ее через стол участковому. Тот внимательно прочел ее и поднял спокойные, участливые глаза на Сергея.

— К сожалению, я должен задержать вас, гражданин,— сказал он.

16

— К сожалению,— объявил приказчик, ласково глядя на Пинету,—вам придется переменить голову. У нас нет ни одной фуражки, которая подходила бы к вашей голове.

— Мама, неужели придется переменить голову? — спросил Пинета.

— Здесь нет ничего такого экстраординарного,— отвечала мама,— мне известны даже такие случаи, когда меняли не только голову... но и другое. Да, да, нечего смеяться, и другое.

На улицах огромные каменные тумбы и свет снизу, через какие-то особые стеклянные решетки.

Мама вела Пинету за руку по улицам, в небе качалась круглая голова, похожая на ярмарочные воздушные шары.

Снова магазин.

— Будьте так добры, гражданин,— сказала мама, почему-то раздувая ноздри,— подходящую голову. Видите ли, дорос до седых волос, и теперь не подходит фуражка.

«До каких седых волос? — подумал Пинета.— Я же вчера, я же третьего дня родился».

Приказчик принес голову какого-то турка или перса. Голова походила на утиное яйцо.

— Вот, пожалуйста, подходящего размера.

— Да, это подходящего размера,— определила мама.

— Мама, как же это, ведь это какой-то турок! Не могу же я в самом деле менять свою голову на голову какого-то турка.

— Никакие не турки,— отвечала мама,— пожалуйста, заверните мне эту голову.

— Прекрасная голова,— заверил приказчик,— голова масседуан, агратан, за пять копеек с бархатом. Вы будете довольны, уверяю вас!

Снова улицы, улицы, улицы.

«В чем же, черт возьми, дело,— подумал Пинета,— зачем же менять голову? Ведь можно же переменить фуражку».

Улицы исчезли. Потолок и узкое окно мелькнуло перед ним, и он снова закрыл глаза.

Кто-то постучал в двери: раз, два, три!

— Войдите! — закричал Пинета хриплым со сна голосом.

Он провел рукой по лбу и наконец очнулся.

— Кто там? Войдите!

Никто не входил. Пинета прислушался: стучали в соседнюю дверь.

Должно быть, никто не открывал, потому что спустя несколько минут Пинета услышал мужской голос:

— Откройте же. Откройте же наконец!

«Это Барабан»,— догадался Пинета.

— На одну минуту,— говорил Барабан,— для делового разговора, честное слово, для делового разговора.

— Да откроешь ты или нет, стерва!— вдруг заорал он, разозлившись.

Пинета снова закрыл глаза; его как будто качало из стороны в сторону; сквозь сон он услышал, как дверь трещала под ударами.

— Ее здесь нет! — закричал Барабан.— Убежала? Выпустили? Хамы, разбойники.

Перед Пинетой вырезалось четкими буквами: убежала.

Он тихонько повторил про себя: «Убежала»,— попытался приподняться и сесть на постели, но снова со стоном упал назад и как будто ушел в темную комнату без окон и дверей, куда уж никак не мог проникнуть даже громкий человеческий голос.

Второй раз Пинета очнулся часов в шесть утра. Кто-то камнем бросил в стену его комнаты. Немного погодя тот же звук повторился с большей силой.

— Стреляют, что ли?

Он сполз с постели и, держась руками за все, что попадалось на пути, добрался до двери, хотел постучать, но потерял равновесие и свалился на пол.

Тут же на полу он от боли дернул ногой. Нога пришлась прямо в дверь, и дверь отворилась.

«Забыли запереть,— подумал Пинета,— должно быть, все разбежались».

Он прополз несколько шагов по коридору и добрался до соседней комнаты, той, которую раньше занимала его соседка.

И здесь дверь была отперта. Пинета встал, держась за стены, добрался до окна и расплюснул нос о стекло.

Он увидел во дворе человека, который лежал на земле, за грудой камней.

На нем была шинель с красным воротником и фуражка с красным околышем.

Воротник и околыш в одну минуту объяснили Пинете положение дел.

Человек поднимал вверх голову и старательно целился из винтовки по нему, Пинете.

Раз! И стекло разлетелось вдребезги.

Пинета, шатаясь, отошел в сторону и сел на стул. Разбитое стекло еще долго звенело у него в ушах каким-то особенным звоном.

Часов в шесть утра Пятак, обшарив все блатные места и не найдя никого из своей хевры, вернулся назад, вбежал во двор, влетел вверх по лестнице и плотно задвинул за собой тяжелый засов.

Он остановился посреди кухни и выругался.

— Мильтоны! Мильтоны идут. Вставайте!

Маня Экономка стояла перед ним в одной рубашке и тряслась от страха.

— Барабан здесь? Да говори же ты, сволочь! Барабан!!

Пятак выскочил в коридор и лицом к лицу столкнулся с Барабаном.

— Где? Откуда идут?

— С Большого! Чуть не сгорел! Поздно! С Газовой заложили!

Барабан хмуро посмотрел на него и сложил было губы, чтобы свистнуть.

— Стой! А с Карповки?

— Черт его знает, Карповку! Окружают!

Барабан свистнул.

Он свистнул не напрасно: дом, в котором находилась хаза, стоял в самом конце Бармалеевой улицы. Слева можно было уйти по Газовой, справа по набережной Карповки; если оба выхода были заложены, оставалось пробираться через пустыри на переулок. Барабан выбросил из кармана кожаный портсигар и с яростью схватил папиросу зубами.

— Маня,— сказал он,— Маня, беги через пустыри на переулок. Посмотри, есть ли там мильтоны, и бегом возвращайся назад. Что у нас есть?

— А! — закричал он вдруг, ударяя по столу рукой с такой силой, что вся рука налилась кровью.—У нас мало... у нас мало патронов!

Он замолчал и оглядел всех, кто был в комнате. Барин, только что вставший с постели, одетый, как всегда, так, что ни один крючок его офицерского кителя не оставался незастегнутым, был немного бледнее, чем обычно.

Пятак, отдышавшись, прилаживал к окну оторванный ставень.

Володя Студент стоял отвернувшись, пристально разглядывая какую-то царапину на руке.

— Ну,— сказал Барабан, сжимая руки так, что на ладонях остались овальные следы от ногтей.— Ну! Теперь выбирать! Теперь уже выбирать! Что же? Отстреливаться или сдаваться?

Барин поднял глаза и с презрением пыхнул папироской.

Пятак заложил руки в штаны и выругался.

Студент обернулся, двинулся было куда-то, но остался на месте.

— Значит,— сказал Шмерка и замолчал. Он глубоко вздохнул и вытащил из кармана револьвер.—Пятак, ты будешь стоять справа, там, где лежит этот мальчишка!

Варин и я — в столовой. Студент, ты,— Барабан схватил его за руку и дернул к себе,— да ободрись, малява! Ты стреляй из кухни.— Ну! — повторил он,— что она не приходит, эта стерва?

Пятак отодвинул ставень и заглянул в окно.

— Идут.

Еще через две минуты в дверь застучали.

— Отворите! Милиция!

Пятак длинно и мастерски выругался.

Барабан подошел к самой двери и крикнул:

— Уходите вон, хамы!

Пинета все покачивался на стуле из стороны в сторону.

Он качался с закрытыми глазами, как мусульмане, когда они творят свой намаз.

Он был сильно избит, руки и ноги горели, как будто их со всех сторон облепили горчичниками, в голове звенело.

Кто-то закричал позади него:

— А, фай, здравствуй! Ну что, отдышался?

Пятак подбежал к окну, глянул и отскочил назад в ту же минуту.

— Вот тебе, баунька, и Юрьев день,— проворчал он,— чуть ли не целую бригаду притащили, бездельники.

— Это вы о чем... говорите? — пробормотал Пинета.

Он говорил как будто про себя, но Пятак услышал и обернулся.

— Что, брат!! Амба! Амба, братишка! Пой отходную! Гореть!

А в подтверждение того, что дело амба, что придется гореть, пуля с треском ударила в оконную раму.

— Шалишь, лярва,— яростно ворчал Пятак, тоже как будто про себя,— не дадимся! Не возьмешь!

Он схватил с кровати подушку и заткнул ею выбитое пулей окно.

Бережно вытащив из кармана обойму от браунинга, он принялся вщелкивать в нее патроны.

Набив обойму, Пятак стал на колени перед окном и приподнял снизу подушку.

Подоконник служил ему опорой, он просунул браунинг между подушкой и рамой и начал ту работу, которую каждый налетчик считает нужным выполнить перед смертью.

Пинета творил свой намаз и думал: «Бригада... Наверное, угрозыск».

Он написал на стуле: «угрозыск» и прочел назад: «ксызоргу».

— А налетчиков? Один, два, три, много четыре. Плохо!

Пятак отстреливался; глаза у него заблестели, волосы свалились на лоб; он стрелял из браунинга; запасный наган торчал у него из кармана штанов.

«Плохо,— думал Пинета,— убьют! Вот сволочи! Бригада! Все на одного, один на всех!»

Он кое-как встал, подошел к Пятаку сзади и положил руку на плечо:

— Послушай,— сказал Пинета довольно тихим голосом,— дай-ка мне второй револьвер! Черт ли они на нас целой бригадой нападают!

Пятак обернулся к нему и рассмеялся, несмотря на то, что пули били вокруг него в стену одна за другой.

— Фай, честное слово,— весело закричал он,— я говорил, что фартовый парнишка!

Пуля со звоном ударила в раму, и новое, верхнее стекло посыпалось в комнату.

Пятак отбежал, вытащил из кармана наган и протянул его Пинете.

— Помогай, братишка! Да что уж, все равно. Талан на майдан, братишки, шайтан на гайтан! Гореть!

Пинета заглянул во двор: теперь уже не один, а человек двенадцать в фуражках с красным околышем залегли за камнями, в пустыре, недалеко от остатков кафельной печи, которая как будто молилась день и ночь, подняв к небу обломки труб, похожие на руки.

Только винтовки и фуражки кое-где торчали из-за камней.

Высокий человек в овальной шоферской шапке бегал между ними, распоряжаясь, должно быть, осадой хазы.

Пинета долго целил в этого человека из своего нагана, но наган отказывался повиноваться.

Он нажимал курок по-всякому — и указательным, и средним пальцем, и двумя пальцами сразу — наган не стрелял до тех пор, покамест Пятак не крикнул, что нужно прежде отвести курок. Пинета отвел курок и снова прицелился в овальную шоферскую шапку.

Рука у него дрожала, он никак не мог навести мушку; наконец навел. Человек в овальной шапке перевернулся на одном месте, упал, тотчас же вскочил и остановился

неподвижно, как будто его тут же вбили ногами в землю. Потом снова упал.

Один из милиционеров выполз из своей засады, схватил его за плечи и, опрокинув на себя, потащил в сторону.

На месте шоферской шапки через две-три минуты появился человек в полной форме милиционера с портупеей через плечо.

— Их тут сколько угодно и еще два,— пробормотал со злобой Пятак.

Пинета в недоумении сел на стул и опустил руку с наганом.

Ножка у стола надломилась, он прислонился плечом к стене, измазал пиджак известкой, озабоченно почистил его и снова подошел к окну.

— Эй, поберегись, братишка! — крикнул Пятак.

Последние остатки стекол посыпались в комнату.

— Залпом стреляют, бездельники!

Пятак вытянул из браунинга пустую обойму и снова начал набивать ее пулями, которые он тащил прямо из кармана штанов.

Набив обойму, он вывернул карман и яростно сплюнул.

— Пропало наше дело, братишка! — крикнул он Пинете.— Во, брат! — Он повертел в руке обойму.— Последняя!

— Наплевать, отобьемся,— отвечал Пинета, не вставая, впрочем, со стула и даже не поднимая руки с наганом. Все это — и маленькие люди, спрятавшиеся на дворе за грудой камней, и свист пуль, и воронки на стенах, и Пятак, вщелкивающий патроны в обойму,— казалось ему какой-то игрой — в хоккей или другой игрой с замысловатым названием, которое он никак не мог припомнить.

— Хо, хо! — закричал Пятак с восхищеньем.— Отобьемся так отобьемся!

Тут же он со злобой скривил губы, быстрым движением подтянул штаны и огляделся вокруг себя почти с отчаяньем: бежать было некуда.

Оставалось одно: снова стать на колени перед окном, просунуть браунинг между подушкой и рамой и до последней минуты делать ту работу, которую каждый хороший налетчик считает нужным сделать, прежде чем «закурить» свою последнюю папиросу.

Барабан и Сашка Барин отстреливались от мильтонов со стороны Бармалеевой.

Комната, которую Барабан назвал столовой, ничем не напоминала столовую; даже обеденного стола в ней не было.

На дверях висели изодранные суконные портьеры, в углу стояла кирпичная печка, рядом с ней разбитый рояль, на почерневшем от дыма потолке было написано зонтиком или палкой: «Лохматкин хляет», у окна, немного отступая вдоль по стене, Барабан и Сашка Барин с двумя наганами и одной винтовкой держались против бригады.

Внизу, за обломками решетки, когда-то окружавшей дом, засели два десятка людей с винтовками, которые могли стрелять с утра до вечера и до нового утра беспрерывно.

Против них с третьего этажа с двумя наганами и одной винтовкой защищали себя двое людей, у которых не было ни жен, ни детей и на всю остальную жизнь оставалось очень мало, не более трех часов времени, измерявшегося количеством патронов, а не часовой стрелкой.

Барабан был спокоен так, как будто еще не прошли далекие времена, когда он готовился быть раввином, как будто он сидел в пятницу за фаршированной рыбой, а не отстреливался от целой бригады милиции.

Время от времени он задумывался и начинал напевать про себя какую-то песню.

Он напевал:

Соня па балкон стояла,
Ун ди ших гешмирен,
Вот подходит миленький,
Зовет ее шпацирен.

В этом месте он стрелял, внимательно вглядывался, как будто желая увидеть, достиг ли его выстрел цели, и продолжал петь, качая головой:

Я по-русски не говорю,
Только по лошн койдеш,
Я с тобой гулять поеду
Только на один хойдеш.

Он заглянул в окно и закричал Барину, который в ту минуту прицелился, выбрав чей-то неосторожный околыш для своего нагана:

— Стой! Сашка!

Барин опустил руку, и оба услышали довольно звонкий голос, который кричал снизу, должно быть из-за решетки, служившей прикрытием для осажденных.

— Прекратите стрельбу! С вами хотят говорить!

— Ого! — сказал Барабан.— С нами хотят говорить? Что такого хорошего скажут нам мильтоны, а?

Он крикнул чуть-чуть охрипшим, но веселым голосом:

— Ну, говорите, мы вас слушаем, вояки!

— Прекратите стрельбу! С вами будут говорить! — кричал тот же человек.

Должно быть, он кричал уже давно, потому что еще трижды повторил ту же самую фразу, прежде чем услышал голос Барабана:

— Ну, ну, довольно уже кричать! Мы не стреляем... Халло, мы вас слушаем! — вдруг заорал он, совсем развеселившись.

— Пятнадцать минут на то, чтобы сдать оружие,— долетел до них уже другой, хрипловатый, но твердый голос.— Если вы сдадитесь добровольно, то будете, согласно законам, отданы под суд. В случае дальнейшего сопротивления вы будете расстреляны на месте. Сопротивление бесполезно! Сдавайтесь!

— Они нам обещают так много,— сказал Барабан,— что можно лопнуть, только представляя себе это удовольствие! Что ты на это скажешь, Сашка?

Барин оборотился к нему и так скривил губы, что не оставалось никаких сомнений в том, как он относится к предложению осаждавших.

— Болтовня! — коротко сказал он, перевернув несколько раз барабан револьвера и пересматривая пустые гнезда.

Шмерка вдруг задумался.

— Послушай, Саша, а может быть, до суда удастся...

— Нам ничего больше не удастся!

— Так, значит...

Шмерка снова остановился, но тут же подбежал к окну и с силой ударил кулаком по оголенной раме.

— Слушайте вы, герои! Что вы хотите от нас? Вы хотите, чтобы мы сдали вам оружие? У нас так много оружия, что вам не увезти его на двенадцати автомобилях!

— «Отданы под суд»,— вдруг передразнил он,— ваши законы! По этим законам мой сын, если бы у меня был сын, уже семь лет читал бы по мне кадыш! По этим законам я уже двадцать раз отправился бы налево! Что касается до того, что мы будем расстреляны на месте, то вы можете быть, таки да, уверены, что кое-кто из вас отправится вместе с нами.

Он обернулся к Сашке Барину и улыбнулся ему лицом, которое стоило закрыть обеими руками.

Пятак расстрелял последнюю обойму. Он вскочил с колен, руками вытер запотевшее от напряженья лицо и обратился к Пинете:

— Ну, братишка, ты что-то сдрейфил. Отдай-ка мне наган.— И он несколько раз перевернул барабан револьвера, который Пинета молча отдал ему: в нагане застряли еще две пули.

Пятак вышел из комнаты и притворил за собой двери.

В кухне, с револьвером в руках, валялся Володя Студент, который был годен теперь только на то, чтобы пугать ворон на огороде.

Пятак оттащил его в сторону и, несмотря на то что пули начали уже ударять вокруг него в стены, сел у окна и положил голову на руки.

Так он сидел до тех пор, покамест кто-то точно подтолкнул его в подбородок. Он поднял голову: по двору вдоль стены шли, крадучись, двое милиционеров с винтовками в руках; один поднял голову, присел и шмыгнул в подъезд. Подъезд вел на черную лестницу.

Другой остановился, махнув рукой товарищам, которые толпились за углом под аркой.

Еще двое вышли из-за угла и, прижимаясь к стене, стали переходить двор.

Пятак посмотрел на пустые гнезда своего револьвера и скрипнул зубами.

Он выбежал из кухни в коридор и крикнул:

— Барабан, с кухни хляют!

Потом осторожно подкрался к двери, медленно, без скрипа отодвинул засов, на цыпочках отошел в сторону от двери и остановился в выемке, где висели кухонные тряпки и всякая дрянь.

Ждать пришлось недолго: через несколько минут он услышал на лестнице шаги.

Дверь отворилась, в кухню просунулось сперва дуло винтовки, потом руки в форменных обшлагах.

Пятак выждал минуту, когда милиционер повернулся к нему спиной, выстрелил и бросился вниз по лестнице. Ударом ноги он свалил другого милиционера, встретившегося ему внизу у входной двери, и выбежал во двор.

Со всех сторон — из подворотни, из-за угла — вдруг выплыли и двинулись на него люди с винтовками.

Он выстрелил наугад и молча побежал к воротам. Уже в самых воротах на него насели, сбили с ног и прикладом винтовки вышибли из него всякую способность что-либо соображать и вместе с этой способностью мысль о том, что в его нагане не осталось больше ни одного патрона.

Он очнулся на извозчике с окровавленным лицом и скрученными на спине руками. По обеим сторонам его сидели милиционеры; оба внимательно следили за каждым движением Пятака.

На улицах начиналось движение, бегали трамваи, розовые арбузники раскладывали свои тележки.

Пятак помотал головой и сплюнул:

— Э-эх, мать твою в сердце, сгорел!

Шмерка Турецкий Барабан больше не пел о любовных похождениях Сони. Сашка Барин с пустым наганом, который годился теперь только на то, чтобы забивать им гвозди, бродил по комнате, обсуждая план действий. План был прост, как карандаш.

— Барабан,— сказал он, останавливаясь и закладывая руки за спину,— стой, довольно стрелять!

Барабан обернулся к нему.

— Можно смыться?

— Э, брось, какое там смыться! Дай винтовку!

— Закуриваешь?

— Н-нет,— неопределенно ответил Сашка Барин и взял винтовку.

Он еще немного побродил по комнате, постучал прикладом об пол, заглянул в дуло.

Винтовка весила одиннадцать фунтов и была той самой дальнобойной винтовкой, о которой узнает каждый новобранец на вторую неделю своей службы.

Он поднял эту дальнобойную винтовку и щелкнул затвором.

Барабан подошел к нему и положил руку на плечо.

— Сашка!

— Э, брось,— медленно отвечал тот,— что ты в самом деле филонишь?

Он поставил винтовку между ног, как будто собираясь встать на караул перед Барабаном (Барабан отвернулся, его затрясло, ударило в пот), и немного присел для того, чтобы дуло пришлось как раз между кадыком и подбородком.

Потянув руку вниз, он ощупал затвор, потом ухватился за курок.

В ту же минуту комната задышала шумом и оборвалась в бездну. Перед самым его лицом с ужасным грохотом разорвался маленький ослепительный шарик.

Кто-то сверху ударил по голове, и боль от удара волнами прошлась по его телу, сдавила грудь, пробкой заткнула горло...

Он лежал, грянувшись лицом об пол, подобрав под себя винтовку.

Барабан опустил голову; у него перехватило горло, и он не мог проглотить слюны. Он присел на пол и начал тащить из-под трупа винтовку.

Пятак закричал что-то из коридора, немного погодя выстрелили совсем близко, за стеной,— он даже не обернулся.

Винтовка была крепко зажата посиневшими пальцами. В ней застряли еще два патрона. Он постоял, подумал, выронил винтовку из рук, подошел к окну и повалился животом на подоконник.

На дворе суетились, бегали туда и назад милиционеры.

Барабан посмотрел вниз и засмеялся.

— Халло! — крикнул он, размахивая руками.— Хазейрим! Берите меня! Целуйте меня под хвост! Теперь я вижу...

Он перевалился через подоконник, как толстая жаба, слетел вниз и упал на кучу мусора возле помойной ямы.

Здесь он открыл глаза, увидел небо, землю, револьверы, направленные на него в упор, поискал в кармане портсигар и докончил свою мысль:

— Теперь я вижу, что, может быть, лучше всего, если бы я таки стал раввином!

1924

СЕГОДНЯ УТРОМ

Последняя десятка, на которую была возложена последняя надежда, на лопаточке взлетела вверх и, мелькая белыми крыльями, растаяла в воздухе.

Скальковский отер лоб, взглянул на потные руки, вздохнул и очнулся.

Все кончено. Он с усилием отвел глаза от непоправимого горизонта зеленых игорных полей. Да, все кончено. Он все проиграл, он погиб, утонул, хватаясь за собственные очки. Вместо него жался в кресле маленький, невеселый чиж с вспотевшей головой.

— Оставьте это место за мной, крупье,— пробормотал он и поднялся, таща портсигар из кармана.— Я вернусь минут через пятнадцать.

Качаясь, как маятник, он прошел в вестибюль и остановился, загнув руки за спину.

«Так вот как,— подумал он неопределенно,— стало быть, такое дело... Дело такое».

Но эти привычные пустые слова, эти «стало быть» и «дело такое» больше ничего не означали. В виски с настойчивостью дикаря стучалось одно воспоминание, которое он тщетно пытался обезоружить.

Оно стучалось вскинутыми руками и бледным лицом жены. Что проигрыш — пустяки, конец несчастливого дня, не больше. Он даже не явился бы в этот прокуренный клуб, если бы сегодня утром...

— Мне не везет... не везет ни в любви, ни в картах,— пробормотал он невесело,— впрочем, еще хоть бы десять,

хоть пять рублей... я отыгрался бы; знаю, уверен, что отыгрался бы.

Он прошелся несколько раз по вестибюлю, скатывая в комок погасшую, промокшую папиросу. Все было смутным, угрожающим, невеликодушным. Ясно было только одно: он должен бежать. Но как бежать, если последняя десятка, на которую была возложена последняя надежда...

«Так, значит, теперь,— продолжал он думать,— теперь я должен... я должен заявить?.. Да нет, я должен отыграться. Теперь...»

Теперь он заметил какую-то суматоху, волнение в вестибюле. Гражданка в оранжевой шляпке, стоявшая у лотереи, присела неожиданно на пол и шарила вокруг себя руками, у нее было лицо расстрелянного или приговоренного к расстрелу. Она стремительно поднялась с колен и что-то закричала, механически размахивая руками.

Скальковский подошел ближе, рассеянно взглянул на нее и вдруг откинулся назад. Угрюмый рот гражданки в оранжевой шляпе кричал о нем, о Скальковском. Он вдруг понял, что она обвиняет его в краже, и задрожавшей рукой принялся поправлять очки.

— Да что вы, да бог с вами, да что вы! — пробормотал он с ужасом и неожиданно для себя начал поспешно проталкиваться к выходу.

«Да что же я делаю?» — прошумело у него в голове, он метнулся в сторону и выбежал из клуба.

Пустая и растаявшая улица наткнулась на него, на горячее лицо и руки.

— Не нужно оборачиваться,— пробормотал он и обернулся: разноцветные фигуры клоунов с красными треугольниками на щеках, с мертвенными лбами шарахнулись ему в глаза с цирковых плакатов. Толпа у клуба развалилась в разные стороны, и над желтыми пятнами лиц замелькала настойчивая фуражка милиционера.

Скальковский вздрогнул, сделал шаг назад и судорожно проглотил слюну. Ему казалось еще, что он неторопливо идет по улице, стараясь не обращать на себя внимания, а он уже минуту или две опрометью бежал, вдавливая голову в плечи, придерживая рукой очки.

Не оглядываясь — теперь что-то мешало ему оглянуться,— он добежал до угла: за ним бегут, он явственно слышал стук сапог по асфальту; что-то кричали. За ним бегут, его ловят, еще десять минут, и он будет стоять перед следователем или прокурором, и следователь или проку-

рор будут спрашивать его не о краже, нет, не о краже... О том, на каком основании в виски стучатся вскинутые руки и бледное лицо жены, о том, признает ли он, гражданин Скальковский, себя виновным в том, что произошло сегодня утром.

Фуражка милиционера снова промелькнула за ним, он рванулся вперед, и зеленоватая прямоугольная площадь, пустая, как театр утром, вылетела перед ним на острие оставшегося за его спиной пролета.

И по этой площади медленно ехал крытый автомобиль с красными крестами на стенах.

Он выпал, этот автомобиль, перед глазами Скальковского, как выпадает несчастливая карта, четверка треф, на которой он проиграл почти все, что проиграл в этот вечер. Он выпал на зеленоватой площади, как на игорном столе, и так же, как нельзя было возражать против решения несчастливой карты,— нельзя было не броситься к покрытому крестами автомобилю.

«Тем более,— смутно подумал он,— что в карете «скорой помощи» никто не вздумает меня искать... Она пуста, я проеду не больше квартала».

Он уцепился за поручни, вскочил на подножку, оступился и ударился лицом о холодную стену кареты.

Что-то быстро звякнуло на подножке, на камнях — и весь мир, заключенный в прямоугольную площадь, расплылся перед ним, стремительно теряя очертанья.

— Разбил очки,— растерянно сказал он и нагнулся было, но земля — мокрые камни, рельсы, подтаявший снег — уже убегала из-под ног, торопливо наматывалась на колеса.

Неуверенной рукой он распахнул дверцу автомобиля и вытянул шею. Он почти ничего не видел, мутное, матовое стекло как будто маячило и плавилось перед его глазами.

Внезапный толчок едва не заставил его упасть с подножки. Он крепче схватился за поручни, повернулся на каблуках и спиной упал в карету. Нет, матовое окно не причудилось ему. Он мог дотянуться до него рукой.

Уличный свет, как уличный бродяга, мотался в этом матовом окне, и круглый пустой потолок покачивался там, наверху, как шатучее и неверное небо.

— Да двери же, двери закройте.

Скальковский приподнялся на коленях и с насильственным вниманием огляделся.

«Я ослышался, никого нет»,— подумал он и присел на койку.

— Закройте двери, холодно, дует...

Зеленый блик с лихорадочными глазами появился под матовым окном и, качаясь, уставился в лицо Скальковского. Он дернулся назад, приподнялся, захлопнул дверцу.

— Чем вы больны?

— Я здоров,— пробормотал Скальковский.

— Так, значит, вы врач? Или санитар?

— Нет, я санитар. Да, я врач,— отвечал Скальковский и угадал, что человек, который говорит с ним, приподнялся на локте, что он беспомощно качает головой, что ему не больше двадцати лет, что он тяжело болен.

— Дело в том, что я убит,— пожаловался больной,— меня застрелили. И это кажется мне очень странным, доктор, но меня застрелили случайно.

— Случайно?

Мучительно напрягая зрение, Скальковский привстал и почти вплотную приставил свое лицо к лицу больного. Зеленый блик пропал наконец, и он увидел лицо, бледное, горбоносое, молодое — врезанное в неблагополучную стену кареты. Протащив глаза от подбородка до ног, Скальковский рассмотрел забинтованную грудь, пиджак был сорван с одного плеча, ноги закутаны в одеяло.

— Застрелили? — хмуро переспросил он.— А может быть, пустяки, пустая царапина? И вы говорите, случайно?

— Я в этом убежден, доктор. Нет, какая же царапина! За день я потерял слишком много крови. Нет, именно застрелили!

Автомобиль подскочил, пошатнулся и мягким движением повернул — куда? Налево? Направо?

«Куда я еду с ним?» — напряженно подумал Скальковский.

— Вы не знаете, что это за женщина, доктор,— пробормотал больной,— что бы вы ни сказали — не то, другая, совсем не то!

Скальковский достал портсигар, но тотчас же сунул его обратно.

— Да что вы? — равнодушно спросил он.

— Да, да, это именно так. Совсем не то, другая. Я убежден, что он метил...

— В кого метил?

— В нее,— пробормотал больной и беспомощно откинулся на спину,— и какое счастье, что он промахнулся!

— Скверная история, однако,— сумрачно пробормотал Скальковский.

— История подходит к концу,— невесело заявил больной,— по крайней мере, для меня. Я уже вижу берег. Это будет зеленый берег с именем, отчеством, фамилией и датой рождения и смерти. И забавнее всего, что этого человека я видел первый и последний раз.

— Какого человека?

— Человека, который застрелил меня. Вот вас я уже видел где-то.

— К сожалению, я разбил очки,— хмуро сказал Скальковский,— но все равно, я узнаю по голосу. Да, мы встречались... в университете.

— В институте, да, да,— радостно поправил больной,— вы не поверите, как я рад, что встретился с вами. Я живу один, совсем один, здесь у меня никого нет. Моя мать живет в Воронеже. Она нуждается, так что меня застрелили некстати.

— Так вы говорите, что мы встречались...

— Встречались, я уверен в этом,— больной вытянул руку и ласково прикоснулся к плечу Скальковского,— вот сейчас голова кружится, не могу точно припомнить, где, но встречались. Я думаю, что это было на вечере, в институте.

— Очень может быть,— медленно сказал Скальковский,— мы, помнится, играли в лотерею, пили вино, и я что-то задолжал вам.

— Нет, не в лотерею, у нас не было лотереи,— сообщил больной, и Скальковский угадал, что он потирает пальцами лоб, что он старается припомнить,— но мы в самом деле пили вино, и не вы, а я остался вам должен. Я остался вам должен пять или шесть рублей.

— Вы ошибаетесь.

— Да нет,— настойчиво сказал больной,— не ошибаюсь, я еще не совсем сошел с ума, я все прекрасно помню. Я сейчас же отдам вам эти деньги...

— Да бросьте же, я не возьму,— с досадой пробормотал Скальковский,— я, кажется, вовсе и не видел вас на этом вечере в институте; я просто так сказал, наудачу.

— Нет, вы возьмете,— с упорством повторил больной,— если вы хотите, чтобы я умер спокойно. Тем более... тем

более что эти деньги больше не нужны мне. Может быть, они еще вам пригодятся.

Скальковский разжал руку — десятка, подрагивая белыми крыльями, лежала на ладони.

— Я возьму, чтобы не раздражать вас,— сказал он, насильственно улыбнувшись,— когда вы выздоровеете, я пришлю вам эти деньги. Скажите мне ваш адрес.

Больной усмехнулся.

— Мой адрес,— пробормотал он невесело,— Волково кладбище, третий пролет от часовни, четвертая могила направо. Я сказал наудачу, доктор. Но почтовое дело поставлено у нас превосходно. Меня найдут, посылайте смело.

Через два часа он сидел за тем же столом, который он покинул для того, чтобы гоняться по пустым и протаявшим улицам за каретой, покрытой, подобно несчастливой карте, могильными крестами. Он сидел за тем же столом и играл, мучительно напрягая зрение, усилием воли преодолевая непоправимую рассеянность донельзя близорукого человека. Он играл неизменно ва-банк — и в одиночестве, и в союзе с любым из партнеров. За два часа в его руки перешло больше денег, чем за всю прошлую и всю будущую жизнь. Он швырял их обратно на стол, и они, как бумеранг, возвращались в его руки с добычей. Можно было подумать, что он обладал веревкой повешенного и что веревка повешенного действительно приносит счастье. Весь клуб собрался вокруг него и в торжественном молчании справлял его игру, как католическую мессу.

И наконец последняя десятка, на которую банкомет возложил последнюю надежду, мелькая белыми крыльями, как ласточка, бросилась вниз и, кружась в воздухе, упала к его ногам.

Тогда он отер лоб, близко к глазам поднес потные руки, вздохнул и неторопливо завернул деньги в газетную бумагу. Он вышел в вестибюль и через несколько минут вернулся обратно.

— Граждане, товарищи и братья,— негромко сказал он, подойдя к столу и щуря на толпу вконец утомленные глаза,— сегодня утром я убил человека. Я застрелил его. Впрочем, не в этом дело. Дело в том, что я играл на его деньги. Но сейчас семь часов утра, и он, надо полагать, уже докатился до своего берега с именем, отчеством, фамилией и датой рождения и смерти. Поэтому все, что я

выиграл сейчас, принадлежит его матери. Она живет в Воронеже и очень нуждается. Я отправлю деньги телеграфом. Ее найдут. Почтовое дело поставлено у нас превосходно!

Он упал на стол лицом, руками и грудью.

Уверенные руки приподняли его за плечи, усадили в кресло и приблизили к лицу стакан с водой.

Он увидел знакомую фуражку, ту самую настойчивую фуражку, которая мелькала над желтыми пятнами лиц, под цирковым плакатом, выпил воду и улыбнулся.

— Мальчишка был прав,— просто сказал он,— я метил в нее. И какое счастье, что я промахнулся!

1927

ГОЛУБОЕ СОЛНЦЕ

Лихорадка выжгла лицо, тело полковника Ю и зажгла глаза, они горели, как знаки бедствия, сигнальные огни,— он не мог заснуть ни на минуту.

Сухощавый, прямой, он лежал на кровати, и почерневшие, сведенные болезнью руки, покрытые выпуклым сплетением жил, были закинуты за голову. Руки умирали отдельно, сами собой, он не имел уже власти над ними.

Он болел пятый день, дивизия ушла без него вперед, к северу, город, в котором он родился и который теперь взял с бою, металлическим голосом разносчика кричал за его окном. Разносчик кричал: «Хэ-а-хо!» — и позвякивал глиняными мисочками...

Хэ-а-хо, все имеет свое начало, и всему приходит конец. Хэ-а-хо! Вот он родился, забыл детство, сражался и убивал в молодости, убивал и сражался в старости и теперь, наконец, умирает.

Голубые полосы шелка, на которых был вышит мальчик с дешевой улыбкой, с веселым, развратным лицом, означают смерть — потому что он знает, что эти шелковые полосы не голубого, а желтого цвета. Голубое — знамя, под которым он прошел со своими солдатами от Кантона до этого города,— одежда дочери, которая умерла тридцать лет назад,— небо и, быть может, смерть, если умереть в вечерний час и в ясную погоду.

Так и кончается жизнь — желтое начинает казаться голубым, голубое желтым, все мешается в воспаленной голове, и только забота, мучившая его все эти пять дней с

черного рассвета до белых сумерек, по-прежнему стоит над ним, настойчивая, как зубная боль, как память о первом поражении.

Забота была, и сердце болело о нем — об этом юноше, который вот уже полчаса сидел перед ним, слегка выдвинув вперед голову, и рот его дергался и дрожал. Он сидел, неподвижно глядя в окно, прикрывая рукой изодранный борт пиджака, тонкий, с погасшим лицом и прокуренными, усталыми глазами.

Пятнадцать лет назад в Фанчене, на городской площади, висел опознанный императорским шпионом и вздернутый за язык человек по имени Ван Би-ян, восстание было подавлено, и непростая забота, мальчишка, сын друга, остался полковнику Ю на память об его шестом поражении.

Сын друга — это больше, чем свой сын, но вот времени не было жениться. Мальчишка рос один, без матери, и вырос — он сидит теперь перед ним, чужой, с восемнадцатилетним, уже погасшим лицом, и неподвижно смотрит в окно прокуренными, усталыми от опиума глазами.

Полковник привстал, опираясь на локоть, и назвал его по имени, тот медленно поворотился.

— Как печально все сложилось,— пробормотал он,— вы больны, а я, занятый важными делами, не мог уделить времени, чтобы навестить вас.

— Я всегда рад видеть вас,— неторопливо ответил полковник,— приветствую вас и прошу извинения за то, что оторвал вас от важных занятий. Но я болен. Всякая болезнь в моем возрасте легко может привести к смерти. Вот почему я решил еще раз поговорить с вами.

Юноша — его звали Чуан Чжи — втянул голову в плечи, глаза его сдвинулись к переносице, он с тоской посмотрел на полковника и вздохнул.

— Я слушаю моего дорогого старшего брата,— с принужденной вежливостью сказал он...

«Начнет говорить об опиуме и женщинах, каков он был в молодости и как отца повесили в Фанчене, тоска»,— прочел на его лице полковник.

— Я не буду говорить вам о вашем отце, моем друге и брате Ван Би-яне, ни о том, за что его повесили в Фанчене, ни о том, что вы подвержены изнуряющим порокам, крайне опасным в ваших хрупких годах,— сказал он вслух,— что делать, быть может, я сам, занятый делами нашей страны, вовремя не предостерег вас и виноват в

этом. Но я хочу предложить вам поехать в армию... Правда, в национальную армию не принимают курильщиков опиума, но для сына Ван Би-яна по моей просьбе сделают исключение. Вы согласны?

Чуан Чжи глядел мимо него в серое окно, в серое, как вражеский мундир, небо, повисшее над городом, разносчик пел еще свою песню и стучал глиняными мисочками под окном.

— Чрезвычайная отягченность множеством неотложных дел,— ответил он наконец,— соединяясь с легким недомоганием, не позволяет мне в настоящую минуту ответить решительно на ваше предложение. Быть может, впоследствии, через небольшой промежуток времени, когда обстоятельства, упомянутые мною, примут более благоприятный оборот, и, располагая несколькими свободными днями, я приму меры, чтобы тщательно обдумать все сказанное моим дорогим старшим братом, тогда...

Полковник дернулся на постели, присел, опершись локтями о подушку.

— К черту наконец эти пустые слова, эту вежливость мандаринов,— сказал он сквозь зубы,— вы говорите с человеком военным, и у этого военного человека очень мало времени. Он боится, что умрет, не дождавшись конца вашей фразы.

Чуан Чжи с внезапной яростью («Он похож на отца»,— мельком подумал полковник) шагнул к нему и резким движением забросил руки за спину.

— Да, я слушаю господина полковника,— дерзко пробормотал он.

Ю посмотрел на него, на потяжелевший рот и глаза и ужаснулся: другое поколение, острое и загадочное, смотрело на него из-под этого нависшего, тяжелого лба, из-под сдвинутых утомленных бровей.

«Я не знаю его,— с отчаянием подумалось ему,— вот уже пятый год, как он ушел, ускользнул из рук, я посылаю его в армию, а он, быть может, на другой же день передастся в руки проклятых хунхузов.

Так, значит, нет другого выхода...»

Другого выхода не было. Все было тщательно обдумано накануне ночью. Ни один студент, ни один кандидат разума за шестьсот лет мандарината не подвергался подобному испытанию. Но прежде чем сказать Чуан Чжи эти десять или пятнадцать слов, которые были придуманы накануне ночью, надо было проститься... У него не было

ни жены, ни детей, его друзья, сражаясь, погибая и побеждая, ушли от него далеко на север; стало быть, нужно проститься с этой комнатой вместо походной палатки, с голубыми гардинами вместо голубых знамен его армии, с уличным шумом за окном, с городом, в котором он родился.

Он приподнялся на локте, заглянул в окно: под зубчатым валом городской стены, как небесные лестницы, стояли фанзы с загнутыми углами остроконечных крыш, светлые поля за низкой рекой мерно уплывали в пространство, молитвенные гонги чуть слышно били в пагоде — так бьется сердце, пораженное лихорадкой.

Высокий, худой старик с редкой бородой поскрипывал в тени на худзине, и маленькая девушка с черной глянцевитой челкой над подрисованными бровями пела, бесстрастно опустив руки, о любви, о судьбе и о весеннем ветре. (Он снова вспомнил дочь, ее челку, глаза и голос.) Черные иероглифы реклам, как черные шахматы накануне проигрыша, метались по белой глухой стене, и полуголый цирюльник стоял под ними и покачивал коромыслами, на которых висели ящики с орудиями его ремесла. Полковник пробормотал какое-то приветствие, сердечное слово и старику с худзиной, и цирюльнику, и лестницеобразной крыше фанзы; он медленно опустился на подушки.

— Послушай, Чуан Чжи,— сказал он неторопливо,— я раскаиваюсь, хочу умереть спокойно. Все имеет свое начало, и всему приходит конец. И когда приходит конец, ясно видишь, что судьба человека сильнее человека и ее нельзя обмануть. Я должен сказать...

Но сил не было сказать то, что он был должен сказать... Сердце билось громче, чем молитвенные барабаны в пагоде, все путалось в распаленной, лихорадочной голове... Он пересилил себя.

— Один вопрос...— продолжал он, насильственно сдерживая непослушные губы,— что бы сделал сын моего друга, если бы я сообщил ему, что в продолжение последних десяти лет...

Впалое, прокуренное лицо Чуан Чжи внезапно приблизилось к нему, оно казалось маской с пустыми прорезями глаз, с круглой дыркой рта, искривленного внимательной гримасой. Чья-то рука держала эту маску над его, полковника Ю, помертвелым, скорчившимся телом.

— Пустое, ничего нет, лихорадка,— пробормотал он самому себе и спросил с нарочитой отчетливостью: — Так, значит, я говорил...

— Вы спросили меня,— глухо повторил Чуан Чжи,— что сделал бы я, если бы узнал, что в продолжение последних десяти лет...

— Полковник Ю, начальник штаба седьмой дивизии национальной армии, был шпионом, продавал англичанам штабные бумаги,— слабо улыбаясь, докончил полковник и с жадностью посмотрел в лицо Чуан Чжи. Нет, все так же бесстрастно и вяло смотрели помутневшие глаза, ни одной морщины на гладком, пустом, постаревшем лбу...

«И это сын Ван Би-яна,— с презрением подумал полковник,— и ему восемнадцать лет... Так, значит, за нами никого нет, пустота, революция не удалась, нас некому сменить, страна погибает...»

Сын Ван Би-яна оборотился и молча заложил руки за спину. Он, казалось, раздумывал о чем-то или припоминал.

— Если бы кто-нибудь сказал мне то, что я сказал этому...— Ю не нашел слова,— он был бы убит, зарезан. А вот я живу и десять, и пятнадцать, и двадцать секунд... минуту...

Чуан Чжи отступил на шаг и с неподвижным лицом ощупал пояс штанов, обыскал карманы пиджака. Ничего не найдя, он застегнул пиджак и поклонился.

— Прошу извинения, полковник,— сказал он негромко и с прежней вежливостью,— некоторые важные обстоятельства заставляют меня отлучиться. Я вернусь через четверть часа и тогда...

Он не окончил или окончил про себя и ушел, внезапно распрямившись, высоко поднимая плечи.

Ю закрыл глаза.

Пустота, он прокурен насквозь, он растерян, он трус, у него дрожат руки.

Нет, это у него, у полковника Ю, начальника штаба дивизии, дрожат руки, прожженные лихорадкой. Он вздохнул и плотнее закутался в одеяло.

И снова детство причудилось ему. Он сидел на корточках над тяжелой книгой и читал.

В прекрасных занавесях пустота, соловей жалуется, человек в горах, обезьяна удивлена,— читал он или слышал, как кто-то другой читает мальчишеским звонким голосом.

Черные шахматы иероглифов строились и перестраивались бесконечно, непрерывно, и над их боевыми колоннами всходило веселое, как молодость, голубое солнце.

— Ман Шыю, да здравствует десять тысяч лет! — кричал он радостно. Но соловей все жаловался, в горы уходил человек, а в прекрасных занавесях была еще черная пустота, о которой кричал разносчик...

Чуан Чжи вернулся через четверть часа. Он остановился на пороге, заложив руку за борт пиджака. Плечи его все так же были вздернуты кверху, лицо неподвижно, губы сжаты. Неслышно ступая, он приблизился к полковнику и склонился над ним. Ю спал.

Чуан Чжи молча отошел в сторону и уселся на корточках перед его постелью.

День исчезал за просовыми полями, за зубчатой городской стеной, на джонках и сампанках зажгли огни, и проститутки в узких курточках и белых штанах уже красились и готовились к работе за бамбуковыми решетками своих жилищ, лысые старухи предместий уже играли в ма-джонг (черные банты торчали на голых лбах, как знамя их ремесла), уже кричали в порту компрадоры, и сторожа-индусы, постукивая трещотками, уже обходили свои посты, а Чуан Чжи все еще сидел на корточках перед постелью полковника, положив голову на скрещенные руки. Он молчал или напевал вполголоса, и полузакрытые глаза его стояли неподвижно — как солнечные часы в пасмурную погоду.

Полковник шевельнулся во сне, одеяло сползло с него, он беспомощной рукой шарил вокруг себя. Чуан Чжи встал и заботливо поправил одеяло. Он подоткнул одеяло справа и слева, снял пиджак, закутал ноги полковника и снова присел на корточки...

Когда полковник проснулся, была глубокая ночь. Свеча горела над его головой — в ее пугливом свете почерневшее, ночное, почти незнакомое лицо склонялось над его постелью.

— Это правда? — холодно спросил Чуан Чжи.

Ю с трудом восстановил разговор. Да, этому человеку, сыну друга, курильщику и дезертиру, он сказал...

— Правда,— ответил он внятно.

Чуан Чжи пригнулся, глаза его, доселе неподвижные, метнулись вверх, он медленно опустил руку за борт пиджака. Нож, зыбкий и дрожащий, вдруг появился в его руке и, как бы складывая жидкие крылья отблесков, рванулся вниз. Полковник ринулся в сторону, ударился ладонями об пол, одеяло натянулось, приколотое ножом к кровати.

Он приподнялся, сел на кровати и молча взглянул на нож. Это был нож-бритва, которым уличные цирюльники бреют своих клиентов. «Этот нож он не мог носить с собою»,— с уверенностью подумал полковник.

Чуан Чжи, серый как дым, стоял возле него, и голова его по-старушечьи тряслась.

Ю взял его за руку и насильно посадил на свою кровать.

— Прошу тебя успокоиться,— просто сказал он,— я солгал, я никогда не был английским шпионом. Это было сказано, чтобы испытать тебя. Ман Шыо, ты выдержал испытание! Завтра ты едешь в армию. Если мне станет лучше, я приеду вслед за тобой.

Он замолчал и дружески похлопал Чуан Чжи по плечу.

— Ты правильно поступил, мальчишка,— сказал он визгливо и весело,— но, Чуан Чжи, почему ты не убил меня сразу?

Мальчишка отдышался и хмуро надел пиджак.

— У меня не было с собой ножа,— сухо объяснил он,— мне пришлось купить у цирюльника его бритву. Я истратил на нее последние деньги, и, если вы хотите, чтобы я поехал в армию, мне, господин полковник, к величайшему сожалению, придется призанять у вас.

1927

ДРУГ МИКАДО

Не все ли равно, где произошло то, что произошло с Като Садао? Комната, которую он занимал, напоминала, несмотря на изысканное убранство, монастырскую келью: окна были достаточно велики, чтобы, умирая, взглянуть на небо. Сквозь матовые занавески простиралась бесконечность. За окнами в бесконечности колыхался желтый кисель, притворявшийся туманом; за туманом лежал город. Город назывался Лондоном. Впрочем, весьма вероятно, что город назывался Чикаго.

Като Садао был шпионом. Это неверно. Като Садао был виконтом Като Садао. Язвительный японец, маленькая сухорукая обезьяна с отвислыми ушами, с грязными кисточками усов над хитроумным ртом... В семидесятых годах, когда голодавшие самураи безуспешно боролись за власть, он был ранен. В семидесятых годах японцы дрались стрелами. Стрела попала в руку, разорвала сухожилия. Рука отсохла. Теперь это был сморщенный цепкий крючок, которым он в течение двадцати лет пытался поддеть Европу.

Он больше не бунтовал. Он дорожил левой рукой и прекрасно знал, что японская армия от лука и стрел докатилась до автоматических пулеметов.

Он был шпионом. Да нет! Он был полноправным представителем своей страны в городе, который лежал за окном.

Розовая телеграмма лежала на ладони здоровой руки Като Садао.

В телеграмме были напечатаны только два слова. Первое казалось Като больничным халатом, второе — барабанным боем, который рвется в уши повешенного: мешок накинут на голову, позвонки разорваны намыленной петлей.

Он позвонил. Крапчатая портьера дрогнула, поползла в сторону. Юноша поклонился с порога, быстро вошел, смокинг вертляво шевельнулся на плечах. Он остановился в двух шагах от виконта.

Като взглянул на него, раздвинул брови.

— Император умер,— холодно сказал он,— вот прочтите это, Матамура.

Секретарь молча взглянул на телеграмму. «Да, император умер,— подумалось ему,— император умер, что ж...»

Император умирал шесть лет. Шесть лет тому назад он помешался, его кормили с ложечки, он страдал детской болезнью. Он жил так долго, что можно было подумать: враги Японии продали его смерть англичанам, в придачу к медным рудникам или сахалинской нефти.

— Император умер,— равнодушно повторил Като и вжал голову в плечи,— это значит, что вы говорите с мертвецом. Дело такое, вы говорите с мертвецом, Матамура. Когда-то я был его лучшим другом. Мой долг — последовать за ним.

Секретарь устал за эту ночь. Туман за окнами, крапчатые портьеры... Розовая женская нога от бедра до пятки мерещилась ему. Он не спал трое суток.

«Последовать за ним — это значит зарезаться, забавно»,— вяло подумал он. И мысленно пожал плечами.

— Сочту за высокую честь... Простите мою смелость, невоспитанность,— с машинальной вежливостью ответил он,— но если я смогу оказать вам услугу, это будет для меня незаслуженной честью. Я положительно недостоин этой чести... («Честь, честь — о чем я говорю?» — подумалось ему невнятно.)

— Я не сомневаюсь в вашем расположении,— пробормотал Като,— я знаю, что вы всегда готовы зарезать меня, если к этому представится случай.

Секретарь сдвинул брови, плечи под смокингом двинулись туда и обратно. Виконт шутил. Но так шутить, когда император умер, непристойно.

— Дело такое, мне хочется жить, Матамура,— задумчиво сказал виконт,— тоска, понимаете, что ж умирать бесполезно?

— Во всяком случае, я в вашем распоряжении,— тусклым голосом сказал секретарь и вспомнил случай с Такутоми. Его друзья, лидеры Кенсейкай, явились к нему с визитом. Такутоми считал пятнадцатиминутный разговор с ними временем приятно и полезно проведенным. Когда они ушли, маленький золотой гроб, в котором лежал кинжал, был обнаружен в кабинете. Это было вежливым и почтительным предложением зарезаться. А Такутоми...

«Он, кажется, в самом деле зарезался,— медлительно думал секретарь,— или нет, он отослал гроб на почту, до востребования, неизвестному... Он не зарезался, его убили».

Като говорил не менее получаса, а он не слышал ни слова. Когда он вслушался наконец, его поразило лицо виконта. Лицо было плоским, как тень, и зеленым, как зеленая краска.

— Я не хочу, чтобы моя страна питалась падалью,— хриплым голосом продолжал Като,— я сын даймио, я родом из Кагосимы, а Европа отравила меня. Мы отравлены, Матамура. Куда бы я ни приезжал, всюду одно и то же. Они уничтожили пространство, сожрали время, а теперь и то и другое оказалось ядом. Я двадцать лет не видел Японии, я разучился умирать в Европе.

Он взглянул на секретаря и замолчал.

— Где вы провели эту ночь, Матамура?

Секретарь стянул узкие глаза к вискам, сжал зубы. Виконт болен, нужен врач, но, кажется, виконт задает оскорбительные вопросы?

— Сочту за высокую честь,— пробормотал он с холодной почтительностью,— просить у вас разрешения не отвечать на этот вопрос. Кроме того, позволю себе предположить, что вы слегка нездоровы. У вас усталый вид, болезненный цвет лица.

Маленькая обезьяна со скрюченной, почерневшей рукой сжалась в своем кресле, внезапно распрямилась, со стуком поставила на стол острые локти.

— Я был готов отдать мою жизнь за империю...— яростно сказал Като.

«Был готов...» — хмуро отметил секретарь.

— Но империя все равно погибла. Солнце всходит на Западе, а не на Востоке. Мне начинает казаться, что гораздо благоразумнее было погибнуть пятьдесят лет назад под знаменами старика Сайиго. Дело такое, теперь я

слишком стар, чтобы не дорожить жизнью. Вы не думаете, Матамура...

Взгляд его упал на телеграмму, крыши цвета мертвых листьев, розовые персиковые деревья, лиловые горы Симабара вспомнились ему.

«Он мечется, да, да, он боится смерти, испуган, это, кажется, позорно»,— с легкой гадливостью подумал секретарь. Он был расстроен, он боялся заплакать или рассмеяться. Но рассмеялся не он, рассмеялся Като.

— Хэ! Сын даймио, кажется, испуган? — хрипел он с певучим японским акцентом.— Хэ! Пустая случайность, он не захватил с собой родового меча для того, чтобы выпустить кишки. Разве он не предполагал, что император может умереть, что не зарезаться неприлично?

. . . .

Не все ли равно, когда произошло то, что произошло с Като Садао? Окна были достаточно велики, чтобы, умирая, можно было взглянуть на небо. За окнами... За туманом... Город назывался... Именно он, Матамура, не мог бы сказать, как назывался город. Он слишком устал за эту ночь, Матамура, и, кроме того, он никак не мог вспомнить... Пятна и крапинки, сорвавшиеся с портьеры, с досадной аккуратностью кружились вокруг, карты мелькали перед ним, и он почему-то должен был во что бы то ни стало следить за этим утомительным круговоротом. Да, нужно уснуть... Уснуть хотя бы на час, на полчаса, но вот нельзя... Император, кажется, умер, виконт, кажется, помешался.

— Я не помешался еще,— мрачно, едва ли не в забытьи говорил Като,— я могу перечислить всех царей всех великих династий, я знаю, который час, я видел смерть адмирала Ноги, я видел, как плакали в шестьдесят восьмом году самураи...

Он внезапно усмехнулся, скривил губы, неприлично подмигнул секретарю.

— И тем не менее я не хочу умирать. Да, да, я был его лучшим другом, мой долг — зарезаться, конечно, но у меня много долгов, одним больше, одним меньше, не все ли равно, Матамура?

— Для меня большая честь со всей почтительностью напомнить вам, что бывают разные долги,— с неожиданной отчетливостью произнес секретарь.

«Я, кажется, должен убить его, он оскорбил императора,— подумал он смутно и снова попытался вспомнить.—

Что-то случилось, да, что-то случилось этой ночью, четыре или пять часов тому назад».

— А если я зарежусь, что с вами будет, Матамура? — Като с иронией помахал скрюченной ручкой.— Дело такое, вы сорветесь, вы ведете страшную жизнь: женщины, играете, пьете. Если бы я попросил вас присутствовать при такой операции, вы, пожалуй, упали бы в обморок, Матамура?

Секретарь вздрогнул, плечи под смокингом, как на шарнирах, двинулись туда и обратно.

— Для меня большая честь со всей почтительностью разъяснить вам,— сказал он внятно,— что, если бы император был моим другом и братом и если бы мой друг и брат скончался, я бы не раздумывал так долго над тем, последовать ли мне за ним или нет.

Като встал и шумно выдохнул воздух. Глаза его, подтянутые наискось, сощурились, нижняя челюсть выползла вперед, над ней, как бы на воздухе, повисли белые кисточки усов.

— Я позвал вас не для того, чтобы вы излагали мне свои убеждения. Я позвал вас для того, чтобы сообщить, что микадо умер... Примите дела. Я слагаю с себя все свои звания, ордена, чины и отличия. Я дарю их вам. Вы можете продать их в Британский музей, заложить в ломбард, проиграть в рулетку, заплатить ими женщинам, с которыми вы проводите ночи. Я ухожу. Вы можете ответить в Токио, что император, по мнению бывшего виконта Като Садао, умер шесть лет назад, в тот день, когда он помешался, что бывший виконт опоздал... опоздал зарезаться, а теперь считает это не вполне для себя удобным.

«Разумеется, я должен убить его,— вяло подумал секретарь,— он оскорбил меня, он оскорбил императора, он, кажется, оскорбляет Японию...» Он сунул руку в задний карман брюк. Смутное воспоминание все еще томило его. Это воспоминание было розовой женской ногой от бедра до пятки, или нет, это было что-то другое, что нельзя было увидеть или взять руками. Дата, письмо, историческая справка?

«Что ж это может быть? — настойчиво думал он.— Это что-то там, в Японии... Или нет, это случилось здесь... И не император, что-то совсем другое...»

Като вышел из соседней комнаты, одетый в клетчатое дорожное пальто, с маленьким чемоданом в руках. Огром-

ные круглые очки изменили его, он шел, твердо ступая, вжимая голову в плечи.

Секретарь, слегка пошатываясь, прошел вслед за ним.

Он вытащил из кармана дамский револьвер, никелированный, неожиданно легкий.

Спина Като, острые плечи, высохший затылок над клетчатым воротником неторопливо покачивались в дверях; крапчатая портьера медленно поползла в сторону.

«Да, да, я должен его убить,— успокоительно подумал Матамура,— именно так, это подумалось мне с самого начала: убить... и если бы я еще вспомнил...»

Палец нашел курок. Он приподнял руку, согнул в локте и остановился. Клетчатая спина удалялась. Матамура взглянул на ослепительный револьвер и задумчиво сунул его обратно в задний карман брюк.

— Я вспомнил наконец,— пробормотал он с тусклой веселостью,— подождите, виконт. Я ухожу с вами... В эту ночь... Я продал наши бумаги, я все проиграл в эту ночь... Если мы не уйдем, не только вас, но и меня зарежут.

1927

ЧЕРНОВИК ЧЕЛОВЕКА

Но дальше рост характера не точен.
Бюро блужданий справок не дает...

Н. Тихонов

ДЕТСТВО

1

Детские распашонки, свивальники, чепчики лежали на клеенчатом столе. От приспущенных занавесок в комнате было душно. Листья подорожника, сорванные по бабушкиному распоряжению на городском валу, плавали в эмалированной чашке.

— Нет, кончено, это последний,— сказала Елена Матвеевна.— Но, боже мой, что я буду делать без Маши?

Она подошла к зеркалу и поправила волосы, прическа съехала на шею.

Рукав соскользнул, и белая дверь качалась в зеркале за ее спиной. Все поплыло, поплыло. Обморочное чувство заставило ее почти упасть на постель.

— Я никогда еще не была так слаба...

Вода выплескивалась из стакана, когда она ставила его на стол.

— Ты слишком рано встала, Леночка.

— Мне что-то холодно.

Гриша накинул на нее одеяло, и она молча пролежала несколько минут, дрожа от озноба, дыша на руки, крапчатые от мурашек...

Гриша задумчиво смотрел на узкие концы своих ботинок, торчавшие из-под белых гетр.

Бабушка вошла, шикая и качая ребенка на ходу.

— Лю-у-лю, лю-лю-лю...

Не переставая петь, она приказала Грише на-

крыть мальпост одеялом и расстелить поверх одеяла пеленку.

— Ты пеленочку возьми,— пела она странным голосом, отвыкшим от пения,— и на одеяло положи.

Но она и сама не знала, как и что нужно положить, забыв за двадцать семь лет обычаи младенчества и материнства.

Гриша положил пеленку, как умел. Ребенок поднял сонные круглые веки. Он барахтался в распустившихся свивальниках и сучил ножками, червеобразными и черными. Он был страшен.

— Славный мальчуган,— сказал Гриша шепотом, снова садясь возле постели сестры.— Я уже забыл, как вы его назвали.

— Александром.

— Ты рада, что мальчик?

— Ах, мне все равно! Я рада, что все это окончилось наконец.

Гриша качался, откинув голову на спинку кресла.

— Мне почему-то становится грустно, когда я смотрю на таких малышей. Старею, Леночка.

Он поцеловал сестру.

Затянутый в синий мундир военного чиновника, звеня шпорами, отец появился на пороге.

Юбилейные медали болтались по правую сторону на его груди.

Бравые усы торчали под носом.

— Я записал его годом позже,— объявил он.

2

Елена Матвеевна шла туда, где светлое пространство выпало из кухонных дверей. Она шла по коридору, закинув голову, гордо блистая пенсне. В кухне стояла смуглолицая женщина с ребенком на руках. Губы ее были поджаты, цветной платок подвязан на груди.

Она низко поклонилась.

— Ну, что, Маша, не говорила ли я тебе?

Маша положила ребенка на стол. Соска торчала в его равнодушных устах.

— Спился, барыня. Шутка ли, у вице-губернатора два хомута украл. Думала — остепенится, как Аленька родился. Куда там, пьет и пьет!

Большой, красивый мужик в кучерском армяке пил в трактире на Завеличье. Пот стекал по его почерневшему от хмеля лицу, он беспомощно и неустрашимо размахивал руками и пропивал уже не хомут, но целую упряжь, лежавшую тут же на полу.

«Я пью. Петр Аввакумов пьет»,— объявлял он всем входившим.

— Как же я тебя с ребенком возьму? Да я и своего-то только что прикармливать стала.

Она смотрела на распеленутого мальчика, лежавшего между мертвой курицей и тестом, раскатанным для лапши.

Он потягивался, стараясь освободиться от пеленок, завязанных тесемкой в ногах. Соска выпала наконец из пухлых губ, он чихнул и заплакал без слез. Мать, цокая, наклонилась над ним, два маленьких колеса качались в ее ушах.

— Ну, Маша, кто был прав? Видно, надо было меня слушаться. Я говорила — не выходи за Петра, говорила, ты не послушалась!

— Это не от него, барыня. Это от чухны.

— От какого чухны?

— От кузнеца. Он меня замуж звал, хотел дите взять. Я не пошла.

Елена Матвеевна бережно поправила лифчик.

— Как его зовут?

— Аленькой. Он у меня спокойный, барыня.

Тихий, молчаливый, важный лежал мальчик на кухонном столе.

3

Окна Государственного банка еще светились на другой стороне улицы, когда Саша ложился спать.

Там под зелеными абажурами сидели чиновники в зеленых мундирах и держали зеленые ручки.

Он думал о чиновниках, считая тени, косо шагавшие по потолку. 10. 12. 15. Извозчик проехал. 16. 18. 22.

Боясь, что не заснет и тогда, когда все кругом уже будут спать, он долго не мог заснуть по вечерам.

Приходила нянька, шептавшаяся за дверьми с любовником, актером городского театра. Она пела иногда «Хаз-Булат удалой, бедна сакля твоя, золотою казной я украшу тебя».

Чиновники стояли на горе в папахах. Шумела река. Старый татарин сидел на ковре, поджав под себя ноги, и пел. Сакля была белая, серебряная, с таким петухом на крыше, как на пожарной команде. Нянькин любовник шуршал за дверью. Тени шли на потолке, все шли. Наверно, двенадцать. Алька уже давно спит. А я не засну до утра.

Он проваливался и просыпался. Сонно дышал брат. Уже прошло все — и как ложился брат, и шуршанье отцовской газеты. Не могу заснуть. Он мысленно жаловался маме.

Это было не просто бессонницей, но боязнью одиночества, столь свойственной суеверным.

А все началось со страшного рассказа, который он услышал как-то от курчавого мясника.

Мясник сказал, что, если вовремя не заснешь, собственная тень придет в кровать и защекочет до смерти.

4

Поджав губы, насупившись, нянька вошла в спальню и остановилась у двери.

Она сердито поправила платок на седой голове.

У нее набухли глаза от слез и злости.

— Не согласна, барыня,— решительно сказала она.

— Ну, как хочешь, Маша,— отвечала Елена Матвеевна,— как хочешь! Твой сын, не мой. Тебе и решать, милая моя.

Она приподнялась на кровати и надела пенсне прямо на красные, припухшие местечки по обеим сторонам переносицы.

Измятая книга выпала из-под подушки, и Саша, учивший латынь в маминой спальне, подскочил и поднял ее, раньше чем нянька успела наклониться.

— Я тебе еще в прошлом году говорила, когда Санечка в третий класс перешел,— не очень настаивая, сказала мама,— отдай Альку в гимназию, отдай Альку в гимназию. Ты и тогда не захотела. Что ж, ты ведь не маленькая! Делай, как знаешь.

Нянька заплакала и села на кровать.

— Табак курить научится, вот и вся стать,— пробормотала она и содрала с головы платок,— спортят его!

Саша читал мамину книжку: *«Ввиду той близости, которую влечет за собой любовь в Италии, между любовниками не могло быть и речи о тщеславии»*. Он повернул страницу и с бьющимся сердцем, весь вспыхнув, прочитал: *«Младшая и более простодушная обняла его без всяких церемоний»*.

— Без всяких церемоний...

Он встал и потянулся.

— Нянька, ты дура,— сказал, притворяясь спокойным,— никто его не испортит.

Нянька уже грозно раздувала ноздри, и сама мама смотрела на нее с испугом.

— Будь я на том свете проклята, если отдам! — сказала она, сияя цыганскими глазами.

— Ну, не знаю,— кисло сказала мама. Она сидела на кровати и искала ногами ночные туфли.— Кончил бы гимназию, вышел бы человеком.

Саша отдал ей книжку и пошел вслед за всхлипывающей нянькой по коридору. Бывший актер городского театра сидел за кухонным столом и мочил хлебные корки в стакане чая. Он был лыс, желтый череп, изрытый впадинами, блестел под керосиновой лампой.

Широкоплечий, коренастый мальчик-финн, скуластый и сероглазый, злобно слушал его унылые воспоминания. Он ждал мать, беспокойно двигая пальцами рук, засунутых в карманы.

— Алька, не слушай ее, она врет,— закричал Саша.

Мальчик неторопливо вытер потные руки о курточку.

— Я не хочу в наборщики. Я ухожу к отцу,— сказал он.

5

«...Я должен обратить ваше внимание, милостивые государи, на некоторые факты, которые докажут вам, что наше юношество нуждается в строжайшем присмотре...»

Козодавлев видел себя директором гимназии, произносящим речь на заседании педагогического совета.

«...Мой уважаемый предшественник, заботам которого наша гимназия обязана своим цветущим состоянием, к сожалению, не придавал достаточного значения этой стороне воспитания вверенного ему юношества.

— Браво, браво!»

Он встает и кланяется.

«...Это юношество вверено теперь нам, и мы должны приложить все усилия к тому, чтобы, не щадя ни времени, ни забот, воспитать его в глубоком уважении к основам морали...»

Трахтенбауэр из пятого «б» прошел мимо, качая в такт шагам лохматой степенной головой.

«...Боже, с каким наслаждением я оборвал бы уши этому негодяю!..»

Саша вышел из уборной, смеясь, и вбежал в солнечные наклонные столбы, пересекавшие коридор. Козодавлев подозвал его.

— Ровинский, что вы делали в уборной?

— Готовил физику,— стараясь не очень дышать, сказал Саша.

Козодавлев понюхал его с отвращением.

— От вас несет табаком,— сказал он.— Если это повторится, я запишу вас в кондуит. Идите.

Саша прислонился к стене, смело и равнодушно глядя на одноклассников, слышавших разговор.

— Кто-то уже успел нафискалить, что я курил в уборной,— сказал он Бекбулатову, сидевшему с ним на одной парте.— Не будь я Александр Ровинский, если я не узнаю имя этого подлеца!

Бекбулатов рассмеялся.

— Чего ты смеешься, дурак! — обидевшись, сказал Саша.

— Ты говоришь, как на сцене,— с татарским акцентом отвечал Бекбулатов.

Саша развернул книгу.

«Говоря о государственных преобразованиях, не надо представлять себе дело так, что Петр сразу и по одному общему плану заменил старый московский быт новым европейским».

Бессвязный шум большой перемены, в котором сливались шаги и голоса, мешал ему. Он спустился вниз в шинельную и нашел там Альку Кастрена, изучавшего латинский подстрочник.

— Я готов поклясться, что у нас в классе есть фискал,— сказал он.— Козел чуть не записал меня в кондуит за то, что я курил в уборной.

Кастрен с треском захлопнул Овидия и сунул его под мышку.

— Ерунда,— сказал он.— Ты видел Попова?

— Нет, а что?
— Он вчера в Нилуса стрелял.
— Врешь?
— Ей-богу.
— За это волчий билет,— убежденно сказал Саша.— В котором он классе?
Попов был найден в толпе гимназистов, которые прилежно и почтительно рассматривали его. Рыжий, с узким лицом и жесткими волосами, он был смугл и бледен.
— Он из одной только злости стрелял,— сказал Кастрен.— Эй ты, шибзик, правда, что ты из одной злости стрелял? — спросил он рыжего мальчика.
Засунув руки в карманы, не глядя ни на кого, мальчик прошел сквозь толпу, как топор, и все расступились перед его повелительной внешностью.
— Не может быть, чтобы из одной только злости,— сказал потрясенный Саша.

6

Шесть гимназистов сидели в маленькой комнате, заложив ногу на ногу, расстегнув узкие воротнички форменных тужурок. Они курили, и шесть запрещенных дымов сливались в мышиные облака над их головами.
— Собака, собака, да я никогда иначе и не переводил, как по подстрочнику,— кричал Бекбулатов,— да что же он раньше не знал, собака, что Овидия все готовят по подстроку?
У него были желтые бешеные белки, и он кричал свои обвинения против латиниста, как молитву.
Кастрен успокоительно хлопнул его по плечу.
— Плюнь, Хаким, ничего не будет.
— Он был пьян,— еще раз повторил Бекбулатов,— ты заметил, как он чесался?
Все рассмеялись.
— Он чесался,— кричал, как молитву, Бекбулатов.— Какое право он имел выгнать меня из класса? Мне плевать на его единицы. Он нарочно меня оскорбил. Я сказал, что мы обнаглели после битвы при Калке. Я мусульманин, бисмиллях. Какое право он имеет надо мной насмехаться?
Кузнец Павел Кастрен ходил по двору, вытирая о кожаный передник обожженные руки. У него была большая

круглая голова и волосы, как у Альки. Саша сидел на подоконнике. Стекло запотело, он вытер рукавом и снова стал разглядывать Алькиного отца. Какой славный. Дура нянька, что не вышла за него замуж. Остановившись в воротах, кузнец сунул черную трубочку в бритые, бабьи губы. Знакомая синяя шуба встала рядом с ним и закрыла его от Саши.

Саша вскочил, смахнул табак на кровать и бросил на него полотенце.

— Ребята, бросай курить!

Все погасили папиросы, только Кастрен еще курил, улыбаясь. «Да не все ли равно, чудаки?» — пробормотал он и, затянувшись напоследок, задумчиво приклеил окурок к стене.

Стараясь не волноваться, Саша взял со стола первую книгу, попавшуюся ему на глаза. *«Муж доблести»*,— прочел он. Это был тот самый подстрочник к Овидию, из-за которого сегодня поутру Хаким Бекбулатов претерпел гонение во имя аллаха. Шаги были уже в коридоре.

— Бисмиллях,— громко сказал Саша.— Мы погибли!

Он встретил изумленный взгляд Кастрена и рассмеялся.

Козодавлев показался в дверях, слегка растерянный, с вылупленными глазами и заиндевевшей бородой. Все вскочили. Саша поклонился, громко стукнув каблуками. Все стукнули каблуками вслед за ним.

— Что ж это вы тут... курите?

— Печка дымит,— грубо сказал Кастрен.

Мура, сестра Кастрена, розовая и веселая, с косами и в шотландском платье, появилась перед Козодавлевым в ту самую минуту, когда тот наклонялся, чтобы понюхать Альку. Она подала Козодавлеву руку, которую он не решился поцеловать под насмешливыми взглядами гимназистов и, взяв его за рукав, утащила вон.

— Скатертью дорога,— пробормотал Бекбулатов.

Алька снял со стены скрипку и натер канифолью смычок.

— Он ухаживает за Муркой,— мрачно объяснил он.

— Сыграй им серенаду,— смеясь, предложил Бекбулатов.

С изменившимся, серьезным лицом Кастрен водил по струнам,— все забыли смеяться. Он опустил веки, дрожавшие от глубокого чувства, которого никто не мог бы угадать за его тяжелой внешностью будущего распорядителя людей и дел. В нем вдруг проснулась душа старых

финнов — охотников и певцов. Медленно, как бы сквозь зубы, вел мелодию его скрипучий смычок.

Дверь открылась, и взволнованная Мура Кастрен появилась на пороге, ища кого-то глазами. Взгляд ее остановился на Бекбулатове, и он нерешительно поднялся ей навстречу.

Но она ничего ему не сказала.

— Аля, иди-ка сюда.— Она прошла через комнату к той двери, что вела в коридор.

Алька хмуро прошагал вслед за ней и минуту спустя возвратился.

— Хаким, это касается тебя,— сказал он и злобно швырнул скрипку на кровать.— Козодавлев только что с заседания педагогического совета. Тебя исключили.

7

От Черной бабы, торговавшей на углу семечками, морожеными яблоками и маленькими твердыми карамельками, мимо ксендза, стоявшего на ступеньках костела в зимней сутане и широкополой шляпе, почти скрывавшей его усталое, знакомое лицо, мимо сердитого сторожа, торчавшего в своей огромной шубе за воротами Ботанического сада, мимо седоусого, дышавшего сквозь заиндевелый башлык, замерзшего на своем посту городового, они спустились к высоким стеклянным дверям гимназии.

— Я заранее назову тебе тех, кто придет,— флегматически сказал Кастрен.

— В нашем классе нет подлецов,— быстро ответил Саша.

— Придет Трахтенбауэр...

Трахтенбауэр, крошечный гимназистик, с аппетитом ел свой утренний завтрак в мрачной столовой, заставленной тяжелыми вещами. Среди резных чудовищ на буфетах, за приземистым столом, он казался смешной розовой обезьянкой в больших очках.

Три старших брата сидели напротив него и слушали бессвязный рассказ, перебиваемый торопливыми глотками чая.

— Борода выгнал Бекбулатова вон из класса,— говорил Трахтенбауэр с полным ртом.— Тогда Ровинский и Кастрен тоже ушли. Он сказал, что татары обнаглели после битвы при Калке. У нас все, кроме Ровинского и меня,

читают по подстроку,— заявил он, жуя с такой же поспешностью, как говорил.

Маленькая, изящная женщина в черном платье вышла из соседней комнаты и ласково погладила его по лохматой голове.

— I have prepared your books and copy-books, Костя,— сказала она, воспользовавшись тем, что он замолчал, увлекшись сладкой булкой.— Are you ready? [1]

— У них в классе произошла какая-то неприятная история, Мария Эдуардовна. Что-то вроде забастовки. Пожалуй, будет лучше, если он останется дома,— сказал старший из братьев, с жадностью глядя на гладкие руки англичанки.

— Придет Алмазов,— с уверенностью продолжал Кастрен...

Аккуратно перевязав книги стертым ремешком, Алмазов сбежал вниз по лестнице и, перейдя улицу, остановился подле отцовской лавки. Молодцы в вонючих кожухах, вкатывавшие на помост темно-рыжую керосиновую бочку, преградили ему дорогу. Он подождал немного, тоскливо глядя на пористый снег, залитый дегтем. Потом вошел и, обдернувшись, вытянув руки по швам, остановился у конторки.

Отец стоял в шубе, среди новых керосиновых ламп. Он был седой, с лоснящимся лицом. Веревочные клубки свисали с проволоки над его головой. Увидев сына, он молча вытянул ящик конторки и положил на прилавок пятачок.

— Папаша, мне нужно еще на тетрадь три копейки,— сказал Алмазов.

Знакомый, ненавистный запах отцовской лавки еще преследовал его, когда он шел вдоль железных рядов. Этот запах был как бы тенью отца, все еще следившего за ним в его мысленных объяснениях и оправданиях.

— Тебе, брат, хорошо говорить, а мне каково,— убеждал он кого-то, ссылаясь на снег, залитый дегтем, и на лоснящееся, суровое лицо отца.

Озябший попугай сидел на корзиночке, в которой тесными рядами лежали пакеты, завернутые в газетную бу-

---

[1] Я собрала ваши книги и тетради... Вы готовы? *(англ.)*

магу. Веснушчатая, рыжая, в извозчичьем армяке, хозяйка злобно гладила его по маленькой спине.

Алмазов постоял несколько минут, уставившись на заплаканную кухарку, уплатившую за один пакет и смотревшую на попугая с надеждой. Потом достал пятачок, полученный от отца на завтрак, и положил его на краешек корзины. Попугай грустно взглянул на него, моргая плоскими невидящими глазами. Озябший, нахохлившийся, он вытащил Алмазову медное колечко и фотографическую карточку — полную пожилую женщину с ехидным выражением лица.

— Не пойти, что ли? — глядя на фотографическую карточку, спросил себя самого Алмазов.

— К свадьбе,— серьезно объяснила хозяйка попугая, указывая пальцем на кольцо...

Кастрен разбивал лед каблуками.

— Придут Ягодкин, Струве, Неменов,— насмешливо перечислял он и вдруг умолк.

Коротконогий, медвежеватый гимназист шел вдоль забора, кончавшегося ларьком Черной бабы. У него была белая, как будто очерченная мелом, челюсть. Книги торчали из-за борта его шинели.

— Да это Кущевский,— с яростью сказал Саша.

Кастрен, засунув руки в карманы, вышел из-за угла.

— Ты куда идешь?

— А тебе что за дело?

— Сволочь, а кто вчера говорил, что штрейкбрехеры будут подлецами против всего класса? — крикнул Саша.

Кущевский отошел к ларьку, оскалив большие плоские зубы.

— Ты говоришь слова, которые самому тебе непонятны,— спокойно сказал он.

Саша быстро выдернул из-за борта его шинели книги и расшвырял их ногами во все стороны.

— От имени пятого «б» класса,— сказал он, наступив на алгебру Киселева,— требую ответа на вопрос: куда ты идешь?

Кущевский все отступал, оглядываясь, бледнея.

— Мы объявим тебе бойкот...

Быстрым и повелительным движением Кастрен сбросил с него фуражку. Кущевский наклонился за ней, но был сбит с ног раньше, чем распрямился. Он коротко закричал, потом, лежа на снегу, сказал со злобой:

— Я все рассказал Артемию Григорьевичу. Вас исключат, мерзавцы.

Саша, качаясь от ненависти, подошел к нему, потом остановился. Все стало очень ясным, но тут же стало понемногу мутнеть. Он плюнул Кущевскому в лицо, но не попал.

8

ТРИ ВАРИАНТА ГЛАВЫ О САШИНОЙ НЕНАВИСТИ К КУЩЕВСКОМУ

1. Он лежал на кровати в темноте, нарочно погасив свет,— так было лучше думать. Все обойдется. Я уеду в Москву. Рыжий узколицый мальчик из четвертого «б» вспомнился ему. Он стрелял в Нилуса, и все расступились перед ним. Подговорить бы и его. Мы уехали бы втроем с Алькой и поступили бы в школу военных летчиков. Алька хотел быть врачом. Пустяки, я его уломаю. Но как же мама?

Она спросила у него за обедом, что за история произошла в их классе. О ней говорит весь город. Старый Кастрен сказал ей, что во всем виноват Саша.

— Ничего особенного, мамочка. Исключили весь класс, кроме Кущевского и Трахтенбауэра. Двух без права поступления. Всем остальным предложили подать заявление об обратном приеме.

Знакомая жилка прыгала на мамином лице.

— Двух, это, значит, тебя и...

— Меня и Кастрена.

Мама разливала суп. Рука ее немного дрожала.

— Я получила извещение. Если директор спросит меня, как я смотрю на это дело, я отвечу...

— Мамочка, ты ответишь, что мне уже пятнадцать лет и что я сам могу расплачиваться за мои поступки...

Все это было не совсем так. Разговор был длиннее и страшнее. Насчет права в пятнадцать лет отвечать за свои поступки не было сказано ни слова. Мама стучала ложкой по столу и немного поплакала...

Глаза уже привыкли к темноте, теперь он мог различать смутные очертания братниной кровати, этажерки, книжного шкафа. Они стояли большие и темные, больше, чем днем.

Он встал, зажег лампочку на столе, раскрыл книгу.

— Ну-ка, почитаем.

И устроился поуютнее, облокотившись о стол, откинувшись головой на левую руку.

«Я очертил около него магический круг проклятий, через который он никогда не перешагнет».

«Быть может, весь класс меня проклинает,— грустно подумал он.— Ведь если бы не я, никому в голову не пришло бы устроить такой бенефис Бороде. Алькин отец сказал правду. Это я виноват во всем».

«Зачем природа заклеймила меня этими отвратительными чертами,— он читал монолог Франца Моора.— *Зачем одарила она меня этим лапландским носом, этим негрским ртом, этими готтентотскими глазами? Право, я думаю, что у всех наций она взяла самое мерзкое, смешала все в одну кучу и испекла меня из этого отвратительного теста».*

Он взволнованно прошелся по комнате.

«Мы призовем его к товарищескому суду. Я выступлю обвинителем от имени класса».

Медвежеватый гимназист с лапландским носом и готтентотскими глазами возник перед ним так явственно, что даже видны были белые блестящие пуговицы на его форменной рубашке.

— Преридакотельру́,— сказал ему Саша на своем языке, на котором он произносил иногда в уме целые речи,— кторѝ далкó теруберѝ праковору́ нарѝ экотору́?

Это значило: «Предатель, кто дал тебе право на это?» Он вставлял ри-ко-ру поочередно после каждого слога.

— Тырѝ некó сурудьярѝ длякó мерунярѝ! — отвечал Кущевский.

Саша с ненавистью смотрел на его большие плоские зубы.

— Кто же, как не я, имеет право судить тебя, подлец!

Он у́же забыл о своем языке.

— Если бы я мог убить тебя, это было бы только справедливо.

Он уже видел себя в верхней рекреационной зале, там, где недавно устроили гимназическую церковь. Заложив одну руку за спину, другой он указывал на Кущевского, оскалившего зубы.

— Знаете ли вы, как поступали с изменниками наши старшие братья? Клянусь честью, которая составляет все мое достояние, этот человек заслуживает смерти! Мороз

проникает в мои жилы при одной мысли об этом низком предательстве.

Мурашки и холод прошли по его спине.

— Но мы прощаем его,— решил он неожиданно.— Прощение да будет ему наказанием! Пусть до конца дней своих он помнит о своем преступлении.

Саша сел и с мокрыми глазами уткнулся в книжку.

— Если бы не он, быть может, никого бы не исключили.

Он увидел перед собой толстую, склонившуюся голову Кущевского и с бешенством хлопнул кулаком по столу.

— Низкая душа! Так тебе еще мало этого наказания?

Мама остановилась на пороге, испуганно глядя на его искаженное лицо.

2. Саша сидел на кровати, ночью. Ему было жарко, он провел рукой по мокрому от пота лицу. Ночь шла под тиканье столовых часов.

Он тихонько встал и положил на свое место одеяло, придав ему форму вытянутого тела. Отец не проснется, он крепко спит, но мама?

Чтобы дверь не заскрипела, он открыл ее сразу. Отцовский храп, которого он до сих пор не замечал от волнения, поразил его и успокоил. Холодными пальцами он взял револьвер и вернулся.

А отцу снилось, что он говорит со своим покойным отцом.

— Что ж, детки? Детки растут, и нас им совсем не нужно.

И старик плакал и называл его сиротой. Но все это был, конечно, храп. Собственный храп Сашин отец считал разговором.

— Хорошо ли я спрятал револьвер?

Сашу бросало то в жар, то в холод под одеялом.

— Я убью его во время большой перемены.

Он встал, накинул на себя шинель и снова достал револьвер. Холодный и тяжелый. А что, если сейчас застрелиться? Он поднес револьвер к виску. Вся гимназия хоронила бы его, на Кущевского все бы плевали. «Косолапая сволочь,— кричали бы ему,— за что ты погубил этого человека?»

Кастрен уже клялся отомстить за его смерть, отец вел

под руку маму, извозчики длинной вереницей ехали за гробом, гимназический оркестр играл похоронный марш.

Он заснул с револьвером в руке и наутро должен был без возражений отдать его перепуганной маме.

3. Птицы гуляли на пустынных перилах моста. Солнце поднималось вверх по фабричной трубе, по белым буквам летящей к небу фамилии владельца. Сутулый грузчик прошагал по набережной с узелком в руке. Офицер, сидевший на скамейке под ивой, вынул из портсигара сломанную папиросу, взглянул на нее, бросил в снег и вытащил новую.

Алька швырял камни в реку, в белую холодную кашу из снега и подтаявшего льда.

Они прошли по набережной до собора и вернулись обратно.

— Твоего отца можно уломать,— горячо говорил Саша.— Я поговорю с ним, хочешь?

Алька задумчиво подбрасывал камешек на ладони.

— Я хочу быть врачом,— упрямо повторил он.

Саша посмотрел на него с презрением.

— Эх ты, клистирная трубка! Ну, черт с тобой, оставайся. Все равно придется экстерном держать. А я уеду. Я решил в школу военных летчиков поступить.

— Что ж, поступай,— хмуро сказал Кастрен.

— Но прежде чем уехать, я побью по морде Кущевского,— объявил Саша.— Я сделаю это сейчас,— решил он неожиданно и остановился, сжав кулаки. Мурашки восторга и отваги покрыли его тело.— Но это нужно сделать публично, от имени всего класса.

Он взглянул на Кастрена и пожалел его. Кастрен похудел. Серпы синяков стояли под глазами. Светлые финские волосы растерянно торчали на висках.

— Тебе одному это не удастся,— сказал он, обсуждая, по манере своей, Сашино предложение вполне серьезно.— Но если бы мы пошли вдвоем... Один из нас дал бы ему по морде, а другой был бы свидетелем от имени класса. Если хочешь, я побью его,— задумчиво прибавил он.

Саша уже волновался. Он поднял сухую палку и с ожесточением разбил ее о стенку городского вала.

— Мы пойдем к нему на квартиру,— заявил он.— И если класс не согласится с этим делом, мы скажем, что били от себя. Ты знаешь, мне брат рассказывал, что за

такие вещи раньше заутюживали до смерти. Просто загоняли в шинельную, накидывали шинели и били втемную.

— Врет.

— Нет, не врет! Тогда лучше было себя самого ухлопать, чем решиться фискалить.

Они шли молча...

...«Высокий гимназист бросил шинель, и некоторое время она висела в воздухе, прежде чем опуститься на дрожащего фискала. Испуганный сторож бежал через дорогу в квартиру директора. Фискал лез на вешалку, но десятки рук стаскивали его вниз. Он кричал: «Господа, клянусь честью, я больше не буду».— «У фискала нет чести»,— отвечал ему смешанный хор голосов. Он путался в шинелях и падал. Инспектор стоял на пороге, но никто не слушал его. «Господа, вы забьете его до смерти!» — кричал он, ломая руки. «Это было бы только справедливо»,— громовым голосом отвечал Сашин брат. Он раздвинул толпу и, наклонившись над фискалом, приложил ухо к его толстой груди. «Шапки долой,— грозно сказал он,— он больше уже никогда не станет фискалить!»...»

Саша шел так быстро, что Кастрен не мог поспеть за ним. От возбуждения он был бледен, глаза горели.

— Нет, ты будь свидетелем,— сказал он,— я сделаю это не хуже тебя. Он надолго запомнит этот день, будь уверен!

Ранний мороженщик стоял на углу Губернаторской и Плоской. Дрожа от холода, Кастрен купил на копейку сливочного и съел.

Они немного потолкались в воротах дома, где жил Кущевский. Дом был белый, вежливый; бородатый дворник убирал и без того чистый двор. Это как-то немного охладило их решимость. Дико глядя на дворника, Саша первый подошел к подъезду. Фамилия предателя была вычерчена на маленькой черной доске. Сжав губы, Саша протянул руку к звонку.

Мужчина с толстыми баками встретил их в передней.

— Толя еще спит,— сказал он, приветливо рассматривая гимназистов.

9

Седоусый сторож шел, прихрамывая, по верхней аллее сада. Он держал в руке острую железную палочку и по временам лениво протыкал ею прошлогодние листья,

проведшие зиму под снегом. Он думал о своем и не заметил гимназистов, собравшихся в кустах вокруг огромного плоского камня, положенного в честь основателя Ботанического сада. Саша стоял на этом камне, на слове *вечность*, заросшем серым курчавым мохом.

— Вам предлагают подать прошения об обратном приеме,— с иронией говорил он,— что ж, сделайте это! Ведь это вам так дешево стоит. Для этого нужно только отступиться от двух товарищей, поплатившихся за то, что они исполняли ваше поручение.

Подобно Карлу Моору, он готов был привязать к дубу свою правую руку: «Решайтесь, предатели, кто из вас первый оставит в нужде своего атамана!»

— А если за меня мать подаст? — спросил Алмазов.

С пылкостью, но уже без уверенности, Саша отвечал, что со стороны матери это будет подлостью. Он грустно смотрел на понурые лица одноклассников. Ряды его приверженцев редели. Маленький Трахтенбауэр сидел на пне, закинув ногу на ногу, подражая старшему и самому надменному из братьев. Очки не держались на его крошечном носу.

«Трахтенбауэр уже подал»,— холодея, подумал Саша.

Загадочно глядело на него закинутое вверх и узкоглазое лицо Визе, пансионера. Поляки, с месяц назад переведенные из разоренной Вильны, сидели крепкие, коротко остриженные, с большими челюстями и чужие для всех. И никто, кроме Альки, не снял герба.

И все молчали.

— Мне все равно,— сказал Саша,— я говорю все это не потому, что сам исключен без права поступления. Мне все равно, я уезжаю. Но, честное слово, мне стыдно будет когда-нибудь вспомнить, что я учился в одном классе с такими скотами, как вы!

Кастрен поднялся со своего места и неторопливо подошел к нему.

— Брось,— сказал он с презрением и указал головой на одноклассников.— Они все подали, что с ними толковать.

Он не окончил. Шум шагов заставил всех обернуться.

Много маленьких гимназистов вдруг появилось на верхней аллее Ботанического сада. Они бежали, крича и переговариваясь, веселые, потные, в распахнутых шинелях и фуражках, лихо сброшенных на затылок. Рыжий маль-

чик, стрелявший в Нилуса, предводительствовал ими. Он сбежал вниз, к пятиклассникам, и, тяжело дыша, вытянувшись, как солдат, остановился перед Сашей.

— Четвертый «б» присоединяется,— объявил он торжественно и указал на свое веселое войско. Глаза его блестели.

— Благодарю четвертый «б» класс,— сказал Саша и протянул рыжему мальчику дрожащую от восторга и благодарности руку.— Но все уже кончено. Вы опоздали.

ЮНОСТЬ

1

Более тысячи девятисот солдат спали в лагерях на Ходынском поле, натянув до плеч тонкие одеяла, склонив головы на худые подушки, не замечая дождя, старавшегося разбудить их раньше того, положенного уставом часа, когда пухлощекий горнист поднесет к губам сияющий на утреннем солнце рожок.

Ломовик, вернувшийся с караула, сел на свое место и снял толстые намокшие сапоги. Узкое пространство между досками низких нар, составлявших основание палатки, заставило его поджать под себя усталые холодные ноги. Он задумался, поставив локти на колени, потом лег, грубо отодвинув Александра, положившего на его место просунувшуюся из-под одеяла руку. И заснул, разбудив своего черноволосого тонкогубого соседа.

Так кончилась ночь. Но дождь продолжался. Он стекал по суровым полотнищам палаток, пропитывая плотную ткань, угрожая ворваться внутрь.

Александр грустно смотрел на еле видную в темноте трехугольную холстину двери. Ее захлестывало ветром, и, когда она приподнималась, таща за собой короткую паутину веревок, капли влетали под низкий островерхий купол.

Александр все лежал, закинув под голову руки. Короткий солдатский отдых владел недвижимыми девятью телами вокруг него. Он был один и чувствовал себя легким — с легкой утренней пустотой в голове.

Сон был уже забыт, но задумчивое сознание того, что он был увиден не впервые, еще длилось. Примета исчезнувшего из мира значения — Александр напрасно старал-

ся вспомнить ее под барабанный звон воды, падавшей на палатку.

Он покорно посмотрел на соседей, угадывая их в полутьме. Грустно дышал рядом с ним куриной грудью Худяков.

Храпел Невздымайшапка, столяр.

Тихо отдыхал во сне седой эстонец, среди чужого поколения изучавший военное дело в ходынских лагерях.

А рядом с эстонцем, подбросив под голову сапог, спал Девкин, и круглые колбасы мускулов сонно шевелились под кожей его лица. Он храпел, растянув большую белую челюсть: Александр отвернулся. Вот что мне снилось: эта челюсть. Он натянул на озябшие плечи одеяло. Дождь уменьшил пространство, которое каждую ночь было в его распоряжении. Нельзя было даже приподняться на локте, чтобы мокрая, вогнувшаяся внутрь ткань не коснулась коротко остриженной головы. Он закрыл глаза...

Помощник ротного командира, бывший колчаковец, молчаливый и загорелый, рисовал штыком на песке расположение частей боеспособного отряда. «Авангард есть название отряда, который войсками, идущими против неприятеля, выдвигается вперед с целью ограждения себя от разведок или от нечаянных нападений противника, а также и для...»

Аэропланы шумели над головами идущих в ногу солдат, покорных вскрикиваниям кривоногого человека с мелким лицом.

Чьи-то руки надевали веревочное колечко на временный союз прислоненных друг к другу винтовок.

Шел каптенармус, и все кругом показывали на него, говоря с насмешливым уважением: «Вот каптёр».

В походном снаряжении «сушил мушку» подле гауптвахты наказанный столяр, и пот катился по его потемневшему от злобы лицу...

Так день снова прошел в воображении Александра. Теперь была ночь, мокрый песок хрустел под ногами тех, что возвращались с постов, чтобы не раздеваясь провести остаток ночи на голых досках караульного помещения. Весь лагерь лежал ногами к ногам, и между ногами гулял ветер, шевеля края одеял.

2

БОЛЬНОЙ КАСТРЕН СМОТРИТ В ОКНО, РАЗМЫШЛЯЯ О ПРИЧИНАХ ПРОИГРАННОГО БОЯ

Солома, как цикады, звенела под ногами черноусого карачаевца, возникшего у крыльца в красном свете жаровни и тревожно разговаривавшего с хозяйкой старинного форта, превращенного в постоялый двор, которая с важностью на костяном лице, появившейся в ней с той минуты, как она узнала о смерти своего мужа, зарубленного накануне казаками, сидела среди развалин в тяжелом платье, застегнутом наглухо, вплоть до самой шеи, странно преображаясь борьбой теней и света в глазах офицера, только что оторвавшегося от мысли, что если бы красные не успели взорвать мосты через Кубань, если бы пушки, застрявшие под Осетинско-Георгиевском, можно было поднять сюда, если бы подоспел на помощь хоть один эскадрон, если бы можно было разбудить ординарца, спавшего в бурке на полу, разбудить и послать за командиром полка, то все бы обошлось и они бы устояли.

«Потому что, если это не усталость,— говорит он самому себе, раскачиваясь и проводя пальцами по горячим глазам,— если не болезнь, то чем же вы, поручик Кастрен, можете объяснить наличие множества лиц у старухи, сидящей на дворе, качанье стен и боль в висках, которая усиливается с каждой минутой, несмотря на то, что командир полка уже стоит перед ним, расставив костлявые ноги и утверждая, что здесь что-то неладно, что ему не нравится эта старуха, что по законам клана, еще придерживающегося обычая кровной мести, она приложит все усилия, чтобы отплатить за смерть мужа, зарубленного накануне казаками. Потому что, если это не болезнь, если он не отравлен, так зачем же он лежит на полу, с недоумением спрашивая себя, как могло случиться, что он лежит на полу, что красные взорвали мосты через Кубань, что он позволил командиру полка выбежать с обнаженной шашкой во двор, столкнуть с крыльца карачаевца, слетевшего вниз, подобно большой испуганной птице, и напрасно старавшегося защитить старуху, которая поднялась навстречу вытянутой с шашкой руке, выбросив вперед узкие, с плотно сложенными пальцами руки, и закачавшись от удара, упавшего на ее недоуменно вскинутое вверх костяное лицо».

— Да не она же, дурак ты,— тихо сказал Кастрен.— У нее мужа убили. Ты бы лучше на карту посмотрел, ведь ничего же понять нельзя! Я тебя за это под суд отдам,— прибавил он в беспамятстве и очень строго.

3

Тень от проволоки полевого телефона лежала у его ног, подобная основанию гигантского чертежа, в который были вписаны равнобедренные треугольники палаток. Бесстрастный представитель спящих, он с винтовкой в руках стоял на посту, в островерхом шишаке и мокрой от росы шинели.

Звук голосов и скрежет песка отвели его внимание от силуэта ворона, качавшегося на осине. По странному закону задумчивости, он долго не мог отвести от него глаз.

Среди людей был Худяков. Александр подозвал его.

— Вернись ко мне, Боря, когда обойдешь посты,— сказал он.

Худяков был разводящим.

— Послушай,— сказал Александр, когда он вернулся,— я больше не могу. Должно быть, я помешался. Я боюсь спать с Девкиным в одной палатке.

Худяков сел на траву, поджав под себя ноги. Даже при тусклом свете лампочки, висевшей под лагерной аркой, видно было, что он очень бледен.

Он расстегнул шинель и со стоном приложил руку к животу.

— От этого хлеба меня несет третий день, как из бочки,— пробормотал он злобно,— старая стерва из околотка дала мне опий, но я, знаешь, боюсь его принимать. Если у меня язва желудка, это может окончиться очень плохо. Она уже хотела однажды меня отравить. Мне тоже кажется, что ты помешался,— неожиданно добавил он, поднимая на Александра слегка раскосые, мечтательные глаза.

— Он доводит меня своими шутками до того, что я себя не помню,— сказал Александр.— Вчера я готов был пырнуть его штыком, честное слово. Я просил о переводе в другую роту, но это можно будет устроить только по возвращении в Москву.

Худяков встал, и шинель повисла на его узких плечах.

— Черт побери, да что ты влип в него, как слепой

в тесто,— вскричал он.— Да он потому и пристает к тебе, что ты его боишься!

Александр снял шишак и устало провел рукой по лицу.

— Я его не боюсь. Но я постоянно думаю о нем. И мне почему-то кажется, знаешь, Боря,— добавил он после краткого молчания,— что я ненавидел его задолго до той минуты, когда встретился с ним впервые.

4

Желтоволосая баба равнодушно кормит тощей грудью ребенка.

Сон клонит моряка.

Старуха с ястребиным носом сидит на своем сундуке, мешая всем, кто хочет пройти на площадку.

Наташа смотрит в окно: она видит черный пыхтящий паровоз и вагоны, которые кажутся ей накренившимися набок. Поезд поворачивает. Над пустым гремящим железом паровозных сходней появляется печальное лицо кочегара.

Она придерживает волосы, развеваемые ветром. Крупинки сажи садятся на ее плечи. Она следит за светлыми отражениями вагонных окон, скользящими по деревьям, по соседней насыпи, по телеграфным столбам, по барьерам хвороста, наваленного вдоль пути. Они мелькают по зеленому флагу, который держит в руках простоволосая стрелочница на полустанке. Переползая с кочки на кочку, когда начинают тянуться болота, они пятнают мимоходом серый, подобный хоботу, рукав водокачки. Они несутся как бы вперегонку с поездом, несмотря на то, что обязаны ему своим существованием.

Она закрывает окно и садится. Песенка сама собой поется в ее голове и отлично выходит под мерную брякотню колес: начинает казаться, что без этой песенки они перестали бы вертеться:

Я должен вам сказать, что, собственно говоря,
Я увлечен тобою,
И с этой точки зрения
Ты будь моей женою.

Она сурово рассматривает желтое лицо женщины, кормящей ребенка. Ребенок сосет с глазами, закрытыми от

наслаждения. Она прикладывает горячий лоб к железным поручням, поддерживающим верхнюю полку над ее головой. Вот я посвящаю тебя в жены...

Сон клонит моряка.

Женщина с ястребиным носом раскладывает пасьянс на завоеванном пространстве.

Светлые пятна вагонных окон врываются на перрон Октябрьского вокзала.

5

— Ты пойдешь сегодня в отпуск, Худяков? — спросил Александр, шагая.

— Нет,— шагая, ответил Худяков.

Александр украдкой придержал уставшую левую руку правой.

— А я иду наконец,— пробормотал он.

Он дождался паузы,— взвод пел,— и добавил:

— Жаль. Я познакомил бы тебя с моей невестой.

Худяков посмотрел на него искоса.

— Врешь,— недоверчиво возразил он.

Александр ничего не ответил. Справа и слева от него покачивались в такт шагам руки, подставленные под плоские приклады винтовок.

Маленький кривоногий взводный громко отсчитывал шаги. Лицо его сияло от вдохновения и пота. Он был счастлив.

— Ать, два. Ать, два.— Он отчаянно взмахнул рукой.— В цепь!

Взвод сорвал винтовки с плеча, рассыпался цепью, упал на землю.

— Допустим, что противник наступает со стороны ангаров.

Сожженная солнцем трава пахла дымом. Крошечные люди выводили из ангара аэроплан. Александр прицелился в одного из них, самого суетливого. «Я бы попал в него, если бы стрелял боевым патроном». Он вскочил, и открытка хрустнула в кармане. «Сегодня в отпуск. Боже мой, какое счастье! Сегодня в отпуск. Мамочка, ты должна смотреть на нее как на мою жену».

— Допустим, что противником открыт перекрестный огонь.

Взвод наступал под перекрестным огнем.

— Четвертое звено, за мной, вперед, бегом марш! — крикнул Александр.

Он пробежал несколько шагов, не чувствуя ног от усталости.

Винтовка лежала в руках, тяжелая, большая. Лес медленно шел к нему и устало дышал. Он прыгнул в ров. Девкин сидел во рву орлом, схватившись руками за колени. У него была белая, как будто очерченная мелом, челюсть. Придерживая падающие штаны, он свистал песню.

Александр опустил глаза и отвернулся. Он чувствовал себя бессильным перед этим напруженным лбом. Кровь билась в его плечах. Молча надев винтовку на плечо, он обошел Девкина, как падаль...

Маленький белый аэроплан, повисший над лагерем, казалось, управлял медленной игрой облаков. Взвод курил.

Александр лежал на траве, подле винтовок, составленных в козлы. Ноги ныли. Верблюд шагал к аэроплану, меняя на ходу свои неверные очертания. Когда он приплыл к нему наконец, он был уже огромной женщиной в кривом кринолине.

Александр пощупал открытку. Сегодня в отпуск.

— Нас отправят на Южный фронт,— сказал он Худякову.— Я вчера читал газеты в клубе. Белые наступают.

Худяков лежал, зеленый от усталости.

— Не все ли равно, где подохнуть, на севере или на юге?

— Ты болен, Боря. Почему ты не идешь в околоток?

Худяков махнул рукой.

— Я болен от злости.

Александр перевернулся на живот: земляная вошь ползла по желтой травинке. Обломком спички он загородил ей дорогу; она поспешно обошла спичку и, торжествующая, закачалась на расщепленной вершине травинки.

Худяков угрюмо следил за ней.

— Мы все сдохнем от сыпняка,— мрачно сказал он.

Александр засмеялся и хлопнул его по плечу.

— Раньше, чем нас укусит первая вошь, мы умрем в этих проклятых лагерях от скуки.

Обернувшись на шорох, он увидел знакомые толстые уши, торчавшие над воронкой штыков. Он не успел вскочить, винтовки упали на него с шумом, штыками на лицо и грудь. Худяков, отчаянно ругаясь, помог ему подняться на ноги. Веревочное колечко валялось на земле.

С рассеченной бровью, Александр обошел упавшие винтовки и стал медленно приближаться к Девкину. Он шел, уже окруженный толпой, казалось, она шумит, как деревья. Смутное сознание того, что все это уже было когда-то и теперь повторяется снова, придало его движениям и лицу легкость настоящего бесстрастия,— бесстрастия для самого себя, недоступного наблюдению посторонних. Ему казалось, что он стоит где-то в стороне и следит за тем, как медленно он подходит и кладет руку на ненавистное плечо.

Девкин скинул руку и отскочил, оскалив большие плоские зубы. Отскочил и Александр. Винтовка была японская, в светлом ложе, и он смутно подумал об этом, поднимая ее с земли, сжимая ложе потяжелевшими, чужими руками...

Взводный внезапно появился среди отпрянувших в сторону людей. Выбрасывая ноги, как бы ровняясь по невидимой шеренге, он подбежал к Александру и вырвал винтовку у него из рук.

— Две недели без отпуска,— сказал он визгливо.

6

Вова вышел из школы и, подняв воротник пальто, бегом пустился через Триумфальную площадь. Он все же вымок. С мокрым, веселым лицом, он взлетел по лестнице, глаза его блестели.

Мама открыла дверь и остановилась в маленькой прихожей, растерянно поправляя пенсне.

— Тише,— сказала она сердито,— там спят.

Он скинул пальто и перевел дыханье.

— Кто?

Мама стояла перед ним, худенькая, грустная, в ситцевом платье. Он поцеловал ее и быстро погладил по голове.

— Наташа Гаузнер приехала к твоему брату,— сказала мама с иронией.

Чувствуя себя взрослым, он на цыпочках прошел в столовую и остановился у окна, засунув руки в карманы. Сашка женится на ней. Часовые разгуливали вдоль кинематографа, превращенного в продовольственный склад. Он раскачивался на носках. А я никогда не женюсь. Я уеду в Мельбурн.

Стопочка книг лежала на окне. Он взял одну из них. Это были пьесы Шиллера. Он устроился поудобнее и стал читать «Заговор Фиеско».

— Какая ерунда!

Он принялся рисовать человечков. Один вышел похожий на Шахунянца, учителя математики. Тихонько положив карандаш, он встал и пошел смотреть на Наташу.

Она спала на маминой кровати, большая, с гладко зачесанными волосами. Гребень валялся на коврике рядом с черной порванной туфлей.

Смущенный и немного взволнованный, он вернулся обратно.

— Спит.

Он приделал Шахунянцу рога и хвост. Сашка женится на ней, а я уеду в Мельбурн. Мамочка, я хочу есть. Он съел холодную котлету из конского мяса. В Мельбурне я поступил бы простым стюардом на пароход, а через год был бы уже президентом Тихоокеанской республики. Он сидел у окна, упрямый, задумчивый, круглоголовый. Я бы поднял войну против Соединенных Штатов.

Мама на цыпочках ушла из столовой. Минуту спустя, взволнованная и обрадованная, она вернулась вместе с Александром. Он молча расстегивал крючки шинели. Ремень, глухо звякнув, упал у его ног. В развевающейся гимнастерке, он ходил по комнате, беспокойно раскачивая руки.

— Ты покормила ее чем-нибудь с дороги, мамочка?

Неодобрительно поджимая губы, мама подняла ремень и повесила его на спинку стула. Александр ходил все быстрее.

— Вова, ты бы пошел к себе, милый.

Вова холодно пожал плечами и ушел, заложив палец между «Разбойниками» и «Заговором Фиеско».

— Мамочка, ты чем-то недовольна?

Он сорвал со стула ремень, застегнул его и с решительным видом одернул гимнастерку.

— Я недовольна только тем, что тебе девятнадцать лет,— сердито сказала мама.— Ты еще мальчик, и тебе рано жениться.

Он вдруг остановился перед ней, гримасничая от волнения.

«Какой худой. Их там, наверное, голодом морят в лагерях...»

— Ты очень похудел,— сказала она вслух,— тебе нужно поправляться, а не жениться.

Александр молчал. Самокрутка торчала в его усталых, серых губах.

— Мамочка, я прошу тебя смотреть на нее как на мою жену.

Мама сняла пенсне и заплакала.

— Ты уж не маленький,— сказала она, плача.

Саша обнял ее за худые плечи и взглянул на часы. Лицо его помрачнело.

— Я разбужу ее. В восемь часов я уже должен вернуться.

Наташа еще спала, когда он пошел к ней. Он сел на мягкий стул возле кровати и машинально поднял гребень, валявшийся на ковре. Она постарела, похудела. Он осторожно вынул изо рта догоревшую самокрутку.

«Да, постарела»,— подумал он снова, разглядывая спокойное, надменное лицо с разлетающимися бровями.

7

Пуст был воинский табор, становище вооруженных! Кресты паутиновых нитей лежали на его дорогах, так непохожие на проволоку полевого телефона, раскинутого на ветках деревьев, на раскачиваемых ветром шестах.

Он присел на корточках и пошарил рукой по земле. Герб, сложенный из осколков кирпича, уколол ему руку. Государство тайпинов. Отсюда начинается путь.

Держась теневой стороны, Александр дошел до поворота, отмеченного жилищем командира полка.

Тусклый часовой стоял в воротах, подпирая шишаком низкое лагерное небо.

— Пароль?

— Сожаление.

— Отзыв?

— Отзыва нет.

Он убежал из лагерей тайком и очень торопился назад. У него не было времени выслушать отзыв.

Стараясь не привлечь внимания часового, он осторожно прополз под проволочной изгородью. Фуражка слетела. Он поднял ее и отряхнул от росы. От герба Союза, выложенного из кирпича красноармейцами первой роты до этого поворота, луна лежала на дороге, подобная куску гигантского полотна или полотну железной дороги.

Знакомая духота встретила его, когда он нырнул под полотнище, ощупью отсчитывая людей. Пятое слева. Но место было занято. При свете спички Александр с недоумением смотрел на толстые ступни, торчавшие до середины прохода. И не бесшумный эстонец спал по левую руку, а кто-то другой, дышавший с присвистом, с долгим, невнятным бормотаньем. Палатка была чужая.

Он погасил спичку пальцами. Что за черт! От герба, выложенного первой ротой, до помещения командира полка. Потом налево, по тропинке. Потом направо. Он сдвинул фуражку на затылок и провел пальцами по мокрому лбу. Я заблудился.

Когда во второй раз он вернулся к тому месту, где проволочной изгородью была сброшена в траву его фуражка, на полотне дороги возник пешеход. Штык торчал за его ушами. Он напевал:

Как далече, далече во чистом поле
Что ковыль-трава во чистом поле шатается...

В шинели, небрежно перекинутой через одно плечо, а на другом висела винтовка, так пел Степан Девкин. Александр узнал его: он шел грустный и разгульный. Кудрявые волосы его выбивались из-под козырька на лоб, толстые губы шевелились. Он тосковал.

Александр молча проводил его глазами и, вдруг задохнувшись, расстегнул воротник гимнастерки. Он похож на Кущевского. Если бы я мог убить его... (Девкин все пел.) Это было бы только справедливо... Спустя несколько минут Александр лежал на голых нарах гауптвахты. Каптенармус, отданный под суд за кражу пайкового сахара, бредил рядом с ним, запрягая во сне лошадей. Мелькал под окном бледный нос часового.

Шла ночь.

Больше тысячи девятисот солдат спали в лагерях на Ходынском поле, натянув до плеч тонкие одеяла, склонив головы на худые подушки, не слыша биения собственной крови, не думая об утреннем часе, когда пухлощекий горнист поднесет к губам сияющий на солнце рожок.

А те, что не спали, те похаживали туда и назад да поглядывали, удалые, по сторонам.

Как далече, далече во чистом поле,
Что ковыль-трава во чистом поле шатается...

Александр поднялся и сел, свесив с нар худощавые ноги.

— Дорогая,— громко сказал он.

8

Кастрен лежал на лавке в маленькой тесной избе. Пакля торчала из бревенчатых, почерневших от копоти стен, низкий потолок был оклеен газетной бумагой.

Тараканы толпились на объявлении о смерти потомственного почетного гражданина купца первой гильдии Летунова.

«Потрясенные горем жена и дочь...»

Он лежал, подбросив под голову скатанную шинель. Я никогда не видал, как умирают купцы. Должно быть, совсем не так, как солдаты. Сапоги с кокардами стояли возле лавки, как маленькие черные дети. Послушные свидетели поражения, они напоминали все пути, которые он прошел. Они шли по неблагополучным дорогам Севера побед и Юга поражений.

Вчерашняя девочка, которую он кормил английским шоколадом, спала на печи рядом с отцом, и Кастрен видел прямо над собой ее свесившуюся маленькую руку.

Ей два года. Или три. У меня уже могла бы быть такая дочка. Он вспомнил круглые милые плечи и глаза, пугавшиеся, когда он становился смелее. Некому жаловаться. Да и не на что. Денщик храпел. Свежесть шла из щелочки в оконной раме.

«Дело такое, нужно спать»,— сказал про себя Кастрен. Он повернулся на бок и закрыл глаза.

«Они шли по неблагополучным дорогам Юга,— сочинял он во сне.— Юга поражений...»

Курчавая голова его свалилась с шинели, он беспомощно поискал шинель спящей рукой.

9

Проститутка проснулась от топота ног под окнами ее дома. Заспанное лицо появилось в форточке. Рубашка падала с узких плеч. Правофланговый свистнул и сделал рукой движение, истинный смысл которого был ясен шестидесяти красноармейцам, принужденным законами армии и войны к скромному осуществлению своих желаний.

Но она не видела этого движения. Держа в пальцах толстые космы волос, она грустно смотрела на подурневшее за ночь лицо, отраженное в зеркале форточки, окруженное темными изображениями солдат, косо шагавших в голубоватом от неба стекле.

Глина лежала в грубых комьях вокруг ног Саши, копавшего канаву вдоль Серебряного бора. Он опирался на лопату, с иронией глядя на поднимавший пыль взвод.

«Дети донашивают шинели отцов, погибших на полях Варшавы и Перемышля. Тем лучше для нас. Нам пригодятся опытные солдаты. Двадцатитрехлетние полковники Наполеона, они еще вернут нам страну».

Дорожный мастер, распоряжавшийся принудительными работами, взглянул на него. Он послушно взялся за подковообразную ручку лопаты.

Пузатый мальчуган сидел на Александровском шоссе, складывая печь из сухого песка, рассыпавшегося под руками. Он плевал на него, но песок оседал, печка не выходила.

Взвод раскололся, приблизясь к нему, и он неожиданно оказался сидящим между двигающихся запыленных ног. Он не испугался. Черные и серые ноги опускались и поднимались одновременно. Это показалось ему забавным. Но все же он заревел.

Александр подхватил его и передал испуганной женщине, появившейся на пороге дачи.

Потом бросился догонять своих.

Обожравшиеся вчерашним супом кашевары качались на передках своих кухонь, подобных огромным, запряженным в оглобли утюгам.

Дорога уходила под ногами.

Недавно смоченная дождем, она была теперь цвета грифеля или оленьего моха.

10

Александр спал на сеновале. В три с половиной часа барабан возвестил наступление на курсантов пехотной школы, но он пролежал еще несколько минут, не в силах

тотчас же очнуться от сновидения, которое не могло, как ему казалось, закончиться так неожиданно и непонятно.

Он валялся на земле, раненный в грудь, среди разбитых в бою деревьев, тела которых еще сочились смолой. Карета «скорой помощи» металась вдоль сломанных оград, не останавливаясь и никого не подбирая.

Кучер в цилиндре размахивал крестом, погоняя вспотевших лошадей. Табун их одичавших товарищей проскакал мимо Александра, потрясая гривами, отросшими со времени убийства хозяев.

Потом он увидел брата Вовку и плачущую маму, огорчившую его, потому что она очень исхудала. Но, еще не просыпаясь, он уже забыл об этом.

Ракеты салютов, рассыпавшиеся краткими искрами, еще взлетали над неприятельским станом. А здесь женщины снимали гимнастерки и надевали длинные плащи плакальщиц, бессильные все же скрыть их усталые лица невест и жен.

Ему было жаль их. Но он сам умирал. Чьи-то руки перевернули его и разорвали рубаху, и без того пробитую осколком. Это был Девкин. Александр узнал его по мясистым губам. С усилием, которое пробудило в нем последнее сожаление по утраченной жизни, он отстранил от себя толстые пальцы мародера...

11

Солнце встало из-за высот, обстреливаемых холостым пулеметом. Александр бежал вслед за своими товарищами вдоль линии учебных окопов. Его томила жажда.

— Умираю, пить хочу,— сказал он Худякову, который, гремя железом снаряжения, бежал рядом с ним.

Худяков тронул языком обметавшиеся губы.

— Я напился в Серебряном бору,— сказал он.

Чай, выплеснутый на землю возле сеновала, лежал в маленьких лужах перед глазами Александра.

— Отчаянно хочется пить,— еще раз пробормотал он.

Железный стук оружия встретил их, блуждающих между буераками давно не паханной земли. По ним стреляли. Худяков сел, тяжело дыша, и снял сапоги.

— К чертовой матери, я больше не играю.

Кривые ноги взводного мелькали в бурьяне.

— Взгляни-ка, нас обошли,— сказал Александр.

Двенадцать синих брали взводного в плен. Переминаясь с ноги на ногу, они пугливо смотрели на него, не зная, что делать с пленным командиром неприятельской части. Он велел вести себя в штаб. Потом, передумав, обругал их по матери.

Они разбежались.

— Надевай сапоги, Боря, мы отступаем.

Карабкаясь по оседающим склонам оврагов, он ясно видел перед собой черные чайники, висевшие на скрещенных рогатках. Костры дымились. Все пили по две или три кружки. Он постарался проглотить немножко слюны.

Поле кончилось, травянистый лесок потянулся по обеим сторонам дороги.

— Хоть бы лужа какая-нибудь,— вслух сказал Александр.

Он услышал гулкий стук выстрела за спиной и жалобно вскрикнул. Ладонь была больно ушиблена твердым комком учебного патрона.

Девкин пробежал неподалеку от него с фуражкой, сбитой на затылок, с винтовкой наперевес. У него было мокрое от усталости лицо. Он оглянулся и легко прыгнул через трухлявое дерево, преграждавшее путь.

Не зная, что делать, Александр полизал почерневшее место, потом обмотал разбитую руку носовым платком. Голые сучья пружинили под ногами. Жажда была забыта наконец. Он чуть не упал, поскользнувшись на болотистой тропинке. Соломенные слипшиеся волосы на низком лбу вспомнились ему, и он задрожал от ненависти. Он видел, что мне было очень больно. Я, кажется, закричал. Он сдернул платок с больной руки и пошел быстрее. Широкая спина Девкина мелькала среди редеющих деревьев.

«Это было бы только справедливо»,— вспомнил он, и сознание подлинного бесстрастия, которое приходит в самую задумчивую минуту гнева, снова овладело им.

Не останавливаясь, он выбросил из обоймы картонные патроны. Это было так, как если бы это уже было когда-то. Боевые патроны остались у него от стрельбища. Он взял только один из них, а остальные отбросил прочь.

— Боже мой, я сейчас убью его,— задыхаясь от ненависти, сказал он.

Сухая, потрескавшаяся корка лежала на его губах.

Он выстрелил и промахнулся.

Птицы гуляли на пустынных перилах моста. Рельсы одного из пролетов висели над безголовым быком, над тем, что стоял уже на берегу. Солнце поднималось вверх по фабричной трубе, по толстым буквам летящей к небу фамилии владельца. Сутулый человек с узелком в руке прошагал по набережной, с беспокойством оглянувшись на офицеров.

Кастрен вынул из кожаного портсигара папиросу. Она оказалась сломанной. Он бросил ее прочь и достал другую.

— Мне пришла в голову одна история, доктор. Я был тогда гимназистом...

— Вы и теперь гимназист.

Кастрен курил, внимательно следя за своим отражением в темной воде.

— Знаете что, милый, мы не успеем выкупаться, нам пора,— сказал доктор.

Отражение выгибалось, плыло и все же оставалось на месте. Кастрен едва различал усталое, гримасничающее лицо. Меня расстреляют. Он бросил недокуренную папиросу в воду и отвернулся.

— Вы идите, доктор, а я еще посижу,— сказал он апатично. «Одиночество,— думал он, закрыв глаза и раздумчиво пожимая плечами.— Я никогда не бываю один. Между тем я всегда любил одиночество, с самого детства. Они меня расстреляют. Интересно, знают ли птицы, что у нас гражданская война. Лошади догадываются».

Он шел по пустой улице, еще хранившей следы колес и копыт. Солдат проскакал к вокзалу, босыми ногами пришпоривая задыхающегося коня. Железо ушло из города, железо пушек, пулеметов и кухонь. «Господи, что же я делаю? Ведь меня расстреляют».

Зеленая офицерская бекеша валялась в пыли. Грузный человек выбежал из подворотни, схватил ее, пугливо оглянувшись, и ушел в дом.

— Мы больше сюда не вернемся,— пел Кастрен.

Он нашел на перроне черноусого солдата, который судорожно зевал, умирая, швейная машина стояла рядом с ним. Кастрен покрутил ручку. Челнок появлялся и снова убегал в свою ложбинку. «Они меня расстреляют». Он был один с черноусым солдатом, который зевал, умирая. И со швейной машиной, потерявшей хозяйку.

С задумчивостью военного, никогда не видавшего город в переходные минуты безвластия, он бродил по перрону. Портрет генерала Богаевского висел на черной доске опозданий.

— Видите ли, в чем дело, милый...

Слезы и страх изменили его лицо, и ему стоило больших усилий вернуть себе прежнюю душевную ясность.

Красноармейцы сорвали с него браунинг и бинокль. Он сам отдал им второй, маленький револьвер, который носил в заднем кармане брюк, и повелительным голосом приказал отвести себя к начальнику части.

ПРОЩАНЬЕ С ЮНОСТЬЮ

1

Вудька стоял на письменном столе, и взволнованный папа стриг ему морду. Рогатая скляночка появилась в его руках, он надел на рога резиновые трубки, помазал чем-то вроде сургуча и прилепил Вудьке под ухом.

Дима забыл о мамином поручении. Папа, балующийся с Вудькой, поразил его. С этой скляночкой ничего не выйдет. Нужно достать простую жестянку из-под консервов и привязать ее на хвост, а не под ухом. Папка не понимает, чудак, что склянка в одну минуту разобьется.

— Ну, а теперь посмотрим, начнешь ли ты в нее плевать, голубчик,— пробормотал папа.

Дима немного расковырял щель в перегородке, оклеенной обоями только с одной стороны. Вудька плевался, и теперь ему за это влетело. Он пожал плечами. Подумаешь, плюнуть нельзя! Как будто папка сам никогда не плюется. Но папка обошел вокруг стола, и вдруг все исчезло. Дима бросился к запасной щели. И здесь ничего не было видно, кроме знакомого мохнатого хвоста. Все-таки нужно будет поискать жестянку.

Тяжело дышащая жена мясника вошла в кабинет и стянула с плеч грязное боа.

— Доктор дома?

Дима остановился перед ней, задумчиво разглядывая утиные ноги и лоб, заросший сивыми волосами.

— Тетя, ты похожа на муравьеда,— сказал он.

Расставив колени, мясничиха грузно упала в кресло.

— Позови папу, мальчик. Я умираю.

— Папа занят,— сказал Дима.— Он занят сейчас. Он балуется с Вудькой.

Сквозь первую щелочку он снова увидел брезгливую морду собаки. Резиновые трубки еще свисали с нее.

— Папа, к тебе,— сказал он звонко.

Папа ничего не ответил. Частый стук метронома вдруг раздался за дощатой перегородкой. Мясничиха вздрогнула.

— Мальчик, позови же его, мне очень плохо.

Дима не отрывался от щели. Едва только застучал метроном, как чашка с гречневой кашей внезапно появилась рядом с Вудькиной мордой. Он дернул головой и припялся уписывать кашу. Дима обернулся.

— Вудька ест кашу,— с увлечением объявил он мясничихе,— а папка сидит за столом и что-то пишет.

Папа, завязывающий на спине халат, уже стоял на пороге кабинета.

— Здравствуйте, доктор.

Все еще думая о чем-то, Александр смотрел на нее непонимающими глазами.

— Разденьтесь,— сказал он наконец и выгнал из кабинета Диму.

Размышляя о Вудьке, Дима вышел на крыльцо. Ветер раздул его короткие штанишки. Он терпеливо подтянул чулок.

«Что папка делал с собакой?»

Припрыгивая, он обошел дом и заглянул в окно каморки, которую папа выкроил из своего кабинета. Вудька стоял посреди нее и прислушивался. Дима тихонько свистнул. Проскочив среди ремней, свисавших с потолка над письменным столом, собака прыгнула к нему, и они побежали.

На чердаке он положил Вудькину морду себе на колени и потер рукой остриженное место. Оно было запачкано сургучом.

— Чего он к тебе привязался?

Вудька зевнул: ей-богу, не знаю.

Дима бросил его и полез на перекладину для сушки белья. Сидеть было не очень удобно, но зато через слуховое окно он видел покатые крыши города, голубь ходил по одной из них, сложив серо-сизые крылья, пробковые шары висели на пожарной колокольне. Зачем они висят? Пожарный в синей куртке смотрел вниз, облокотясь на перила. Дима прицелился из пальца в шары. Трах, он со-

гнул большой палец. Вот бы сбить такой шар! Я бы сделал из него спасательный пояс.

Ухватившись за спинку вставшей на дыбы железной кровати, он влез на высокую груду ветоши и осмотрелся: паутина дрожала между чердачных балок, солнце просквозило рогожу, прикрывавшую одно из окон, и, как шахматная доска, лежало на отслуживших матрацах и разбитых ночных горшках. А с верхнего настила свешивалась на шнуре тонкая плита из кафельной печки. Это что еще за штука? Он с усилием дотянулся до нее. Надпись пересекала плиту с края до края. Он стер с букв пыль рукавом. Читая, он водил пальцем по строке: «Не тор-говать, смерт-но».

Он вспомнил разговор между мамой и мужиком, возившим для них из деревни сметану и творог.

— Да где ж теперь торговать? — говорил мужик.— Разве теперь можно торговать? Лишний грош заработать не дают. Это ведь как же. Раньше ты, к слову сказать, товар имел...

Мама попробовала сметану.

— Дорого просишь.

— Торговать нельзя, торговаться можно,— засмеявшись, сказал мужик.

«Смертно... Неужели за это смерть? Мужика убьют и зароют в землю». Дима перевернул плиту. На той стороне были пристроены какие-то проволочки, катушки.

Он слез вниз и, подоткнув упавший чулок, пошел прочь, задумчивый, грязный.

2

«Ты сердишься на меня, Алька, за то, что я женат...»

Жена сидела на кровати, снимая чулки, полуосвещенная лампой, свет которой был поперек рассечен абажуром.

«Между тем это происходит гораздо проще, чем ты предполагаешь. Появляется женщина, сперва в столовой, потом в кабинете и спальне. У меня тогда еще не было кабинета. В столовой она наливает тебе суп, в кухне бранит прислугу. В спальне снимает платье и ложится в твою постель, наутро одевается и ждет тебя к обеду. Она ходит по твоей комнате...»

Она соскочила с кровати и подбежала к зеркалу, разглядывая родинку на подбородке.

— Совсем забыла тебе сказать, что сегодня заходил Непенин.

Александр оборвал письмо на полуслове.

— Зачем?

— Не знаю. Кажется, собирался посоветоваться с тобой насчет своего миокардита.

— Для этого у меня есть приемные часы.

Она повесила шелковую нижнюю юбку на вешалку в шкафу.

— Ты, кажется, недоволен?

— Да, я не люблю его.

Она пожала плечами и села в кресло, поджав под себя ноги, натянув на колени рубашку.

— Если так будет продолжаться, ты разгонишь всех моих знакомых.

Недоконченное письмо лежало перед Александром. «Вечером она снимает платье и ложится в твою постель, утром она одевается, а днем ждет тебя к обеду».

Она с силой ткнула в подушку рукой и залезла под одеяло.

— И с Непениным та же история. За что ты его не любишь?

— Не знаю,— сказал Александр.

Она лежала, натянув одеяло по грудь, розовая, смуглая, сердитая.

— Именно тех людей, которые хоть немного скрашивают существование в этом проклятом городишке, ты и отваживаешь от нашего дома.

Александр сложил письмо и сунул его под бювар. Лицо его помрачнело.

— Уже больше пяти лет, как я чуть ли не ежедневно слышу эти упреки. Мне это надоело наконец. Ты прекрасно знаешь, что я прилагал все усилия, чтобы уехать отсюда. Не моя вина, что до сих пор из этого ничего не вышло.

Она сидела на кровати и смотрела на него.

— Я могу освободить тебя от обязанности ежедневно выслушивать мои упреки. Завтра же меня здесь не будет.

Александр молча погасил переносную лампу на столе и зажег другую над кроватью. Он подошел к жене и тронул ее за плечо. Она повернулась лицом к стене.

— Вера!

Плечи лежали неподвижно.

— Ты бы лучше посмотрела, не раскрылся ли Дима,— примирительно сказал Александр.— Я слышал, он очень кашлял сегодня утром.

Холодная, высокая, соблазнительная, она встала и прошла в соседнюю комнату.

— Не ходи босиком, ты простудишься,— пробормотал Александр.

Он ждал жену, опустив голову, сжимая коленями ладони. «Ты сердишься на меня за то, что я женат. Но ведь это происходит гораздо проще, чем ты предполагаешь».

Она вернулась и снова легла лицом к стене, натянув одеяло до самого подбородка.

— Вера!

— Оставь меня в покое. Тебе нужна не женщина, а прислуга, которая готовила бы тебе бутерброды, пока ты сидишь в конуре и возишься со своими собаками.

Он лежал в темноте с открытыми глазами. «Может быть, мне лечь в кабинете?» Он вспомнил холодную клеенчатую кушетку, стоявшую в кабинете, и, съежившись, подоткнул одеяло. «Куда я положил письмо Кастрену?» «Ты сердишься на меня за то, что я женат. Если бы ты был тут, рядом, я сумел бы объяснить тебе все это так, как мы когда-то умели объяснять друг другу». Свет погас в соседнем доме. «Она уйдет от меня, если так будет продолжаться». Он засыпал. Стояла Вера, высокая, с фатой на голове, в подвенечном платье, плакал Димка, собака вырывалась из рук...

Желтое утро пижамы лежало на полосатом стуле.

Он поймал себя на задумчивом бормотании этой фразы. Желтой была штора.

Наступало утро.

Полосатая пижама лежала на стуле.

Он посмотрел на спящую жену, потом на часы.

Жена опаздывала.

Ровно дышали часы.

Забавляясь этой игрой, он сел и всунул ноги в ночные туфли.

В забрызганном водой зеркале он разглядел, вытираясь, рыжую щетину на подбородке и на том месте, откуда у финнов растет борода. «Интересно, каким стал теперь Кастрен? Я забыл его. Мы встретимся, как чужие». Закинув голову, Александр долго и с неохотой разглядывал и чесал щетину. «Ничего не поделаешь, надо бриться».

Женский чулок лежал на коврике возле кровати жены.

Он смотрел на него, бреясь.

С намыленной щекой, с бритвой в руке, он поднял чулок и с минуту держал его в пальцах, сжимая упругий шелк.

«Если бы мы вчера не поссорились...» Она спала, заложив руки под голову, вытянувшись, одеяло сползло с круглых смуглых плеч, грудь поднималась и опускалась. «Если бы мы вчера не поссорились...»

Он вернулся к зеркалу.

Чулок, качаясь, повис на спинке стула.

3

КАСТРЕН ВХОДИТ В КОМНАТУ С ПИСЬМОМ В РУКЕ. ОН УЖЕ НЕМОЛОД

Фанфары, поднятые к небу, не приветствовали радостным криком его появление, не били черные палочки в кожаные груди барабанов, не гремела медь, не играло на ее раструбах солнце, никто не стоял перед ним, вытянувшийся, поседелый в боях, рапортующий со сдержанным восторгом преданности и дисциплины, когда он появился па пороге, поглаживая редеющие виски, склонив усталое, сухое лицо, отмеченное,— это было свидетельством Севера побед и Юга поражений,— глубокими морщинами на лбу и вокруг беспокойных глаз, привычно встретивших деловое утро, распоряжавшееся в этом кабинете всем, начиная от сухопарых стульев и гибкого пружинного карандаша на столе и вплоть до поджарого делопроизводителя мобилизационного отдела, поднявшегося при появлении начальника с откидывающегося шведского кресла, которое все еще пело свою скрипучую песню, как бы приветствуя распорядителя его судьбы и хозяина его движений, все читавшего мысленно только что полученное письмо, напомнившее ему не только гимназию с ее пылью, освещенной солнцем и пересекавшей столбами коридор, не только близких людей, бесследно пропавших среди беспорядочного скольжения народов, но и то, что перед лицом истории, которую он еще не перестал замечать, он напрасно считает себя безупречным.

4

«Я только теряю время на эти опыты, неточные до такой степени, что каждый ребенок мог бы указать на мои ошибки».

Сгорбленный человек в длинном черном сюртуке прошел мимо окна.

«Он не даст мне работать».

Александр встал и бесшумно закрыл двери.

— Дует ветер с востока и дует с запада,— бормотал дядя.— И возвращается ветер на круги своя.

Он вошел на цыпочках и сел рядом с Димкой, заложив пальцы за проймы жилета.

— Дядя, от тебя пахнет водкой.

Дима пыхтел над переводным слоном, который ни за что не хотел вылезать из-под размокшей бумаги.

Он оторвал слону ногу.

— У меня был мундир с серебряным кантом,— сказал дядя.— Я подарил его Жаку Розенбергу. Тогда от меня не пахло водкой.

Александр засмеялся за дверьми. «Сейчас начнется рассказ о том, как он построил дом в два света».

— У меня был дом с зеркальными стеклами, каждый этаж в два света,— сказал дядя.

Он встал и, подтанцовывая, пошел по комнате.

— Это был дом,— повторил он.— Я построил его назло Рубинштейну, который купил дворец у великого князя Николая Михайловича.

Дима бросил слона и взялся за пионера.

— Да дядька же, что ты болтаешь? — сказал он.

— Столовая была оклеена обоями, которые мылись, по пяти рублей за кусок. Все двери открывались туда и обратно. И твой отец, вот кто виноват в том, что я разорился!

Пионер стоял между розой и обезьяной и трубил в рожок.

— У меня была одна знакомая румынка, когда я учился в консерватории,— сказал дядя.— Она подарила мне серьгу, которую я стал носить как брелок на часовой цепочке. И вот с тех пор, как я стал носить этот брелок, деньги сами пошли ко мне в руки.

Александр задумчиво снимал засохшую мастику с пальцев. «Если бы мне попался такой брелок!» Он смотрел на руки. «Я бы оборудовал камеру не хуже, чем это делают

в Ленинграде. Еще? Я бы оставил практику и целыми днями сидел бы над своей работой».

— И в тот самый год, когда я построил дом,— сказал дядя,— у моей сестры родился сын. Она сообщила мне телеграммой, и я приехал. Я приехал в белых гетрах и зеленом жилете,— весь город смотрел на меня, когда я появился на вокзале. Лакеи кричали: «Карету Миньковского».

Дядя встал и засунул руку за борт сюртука.

— Твой дед надел все свои ордена, чтобы встретить меня. Дамы были в белых шелковых туалетах. И все было хорошо. Я уговорил сестру назвать его Александром; я дирижировал танцами; под моим руководством сервировали стол. Но когда все сели за стол и гости стали вставать один за другим и класть в колыбель свои подарки,— вот когда началось мое несчастье. Я ничего не привез. Забыл. А между тем все смотрели на меня, как я стоял красный как рак и шарил по жилетным карманам. И вдруг что-то толкнуло меня под руку. Я снял часы и положил их в колыбельку.

Дима бросил ножницы и серьезно пожал плечами.

— Но ведь он же еще не умел смотреть на часы?

— Я положил их в колыбельку,— повторил дядя.— И только на другой день, в поезде, вспомнил, что вместе с часами подарил твоему папе брелок. И с тех пор пошло и пошло. Что папа? Он бы прожил и без этого подарка! А я пропал. В два года я разорился дотла. Когда я проиграл князю Гагарину сорок тысяч, я приезжал, чтобы вернуть себе этот брелок. Но он был уже потерян, у них в доме все всегда пропадало.

Александр стоял посреди своей конуры, раскачиваясь на носках, засунув руки в карманы. «Это был я. Счастье дяди Гриши». Как бы сквозь стену он видел длинную сгорбленную фигуру в затасканном сюртуке. «Я похож на него. Вот что меня ожидает». Он видел себя в блестящей стенке термостата. «Хорош бы я был в мундире с серебряным кантом!» Собака засыпала в станке от усталости. Он снял с нее ремни, она тяжело спрыгнула на пол. «Дядино счастье не пошло мне впрок. Мне что-то не везет. Скоро, пожалуй, и меня начнут называть неудачником. В чем же мне не повезло?» Он загнул палец. «Наука. Еще?» Он загнул другой. «Жена».

Коротконогий, полный человек в мягкой шляпе, откинутой назад с мясистого лба, прошел мимо окна. У него

была белая, как будто очерченная мелом, челюсть. Он молча снял шляпу и исчез. Александр не ответил на поклон. Он все качался на носках, чувствуя, как кровь заливает его глаза и стучит в висках.

— Вот почему я его ненавижу! Он напоминает мне этого парня, в которого я стрелял на Ходынском поле.

Он вдруг встретил глазами небритую морду дяди Гриши, смотревшего на него с изумлением. Ненависть прошла, когда он увидел желто-седые волосы и обрывок галстука, завязанный вокруг целлулоидного воротника.

— А! Сколько лет,— сказал он и подал дяде стул.

5

Постаревший ксендз сидел на ступеньках костела в широкополой шляпе.

— Боже мой, да он еще жив! — сказал Кастрен...

— А вот здесь мы с тобой воровали яблоки.

Кастрен кивнул головой.

«Ромб на петлице. Комбриг.— Александр взглянул на него и отвел глаза.— Я когда-то хотел быть военным. А он врачом. Мы обменялись».

Памятник Жертвам Революции стоял на том месте, где Черная баба когда-то торговала любимыми лакомствами гимназистов.

Знакомый фельдшер проехал мимо в дрожках, глядя прямо в спину кучера заплывшими глазами.

— Ты его не помнишь?

— Нет.

Александр назвал фамилию.

«О чем бы с ним поговорить? — Он смотрел на поредевшие виски Кастрена.— Я моложе, чем он».

— А ведь ты моложе, чем я,— сказал Кастрен. Он вытянул ногу на крыло пролетки.— Я не дал бы тебе двадцати девяти.

Они ехали, ехали без конца. А я дал бы тебе тридцать девять.

Прошла молочница, бренча пустыми бидонами. Бабы толпились у входа в больницу. Он когда-то хотел быть врачом. Ромб на петлице. Комбриг? Я бы иначе носил эту форму.

— Ты женат? По твоему письму я понял, что нет.

— Был женат,— сказал Кастрен.— Но что ж ты все обо мне расспрашиваешь? Ты-то что за это время делал? Ведь мы с тобой, должно быть, лет шесть не видались.

— Я? Лечил людей, возился с собаками. Из чулана под лестницей сделал себе лабораторию и все шесть лет старался доказать, что Гельмгольц был прав, утверждая, что мы различаем звуки только благодаря резонансу, колеблющему струны кортиева органа в наших ушах.

— Переезжай к нам, в Ленинград.— Кастрен задумчиво провожал глазами прохожих.— Переезжай, ведь здесь же трудно заниматься наукой.

Коротконогий, полный человек в мягкой шляпе, откинутой назад с мясистого лба, шел им навстречу. Он молча приподнял шляпу.

— Тебе кланяются.

Александр едва ответил на поклон.

— Ты знаешь, на кого похож этот человек? На Кущевского,— сказал Кастрен.

Его отец все с той же трубочкой в бритых бабьих губах стоял у ворот знакомого дома.

Он вынул трубочку, вытер рукой желто-седые усы и обнял сына.

6

Вудьке снилось, что он человек и стоит в очереди за мясом.

Мясники в окровавленных передниках точат ножи.

Добрая девочка в юнгштурмовке появляется за его спиной.

Очередь проходит, как день.

Он становится на задние лапы и кладет голову на прилавок.

— Позвольте, гражданин, а вы пайщик?

Он пайщик. Он скулит. Девочка треплет его по спине, берет на руки.

— Не покупайте,— говорит она шепотом,— не покупайте. Это собачье мясо.

Он в ужасе открыл глаза и обрадовался.

«Слава богу, я не человек, я собака». Дима стоял рядом с ним и трепал его по спине.

— Ладно, Буденька, спи,— решил он.— Спи, я один пойду!

Он перебежал двор и минуту спустя уже шел по гнущимся доскам чердака, дыша знакомым запахом пыли и мокрого белья.

В том месте, где стена, срезанная крышей, была уже не выше его роста, он встал на колени и сложил руки на груди.

— Бог, бог, бог, дай мне дом,— сказал он.

Вспомнив, как молилась кухарка, он ударился лбом о доски.

— Дай мне дом, дай миллион.

Тоненький, серьезный, прямой, он поднялся с колен и полез на перекладину для сушки белья.

А, «не торговать, смертно»?

Это была кафельная плита, на которую он наткнулся еще в начале лета. Паук свил паутину на ее проволочках и катушках. «Не торговать, не торговать...» Дима поспешно выпустил плиту из рук. Надпись была другая. «Хорошо, что я научился читать! Ну, и влетело бы мне от мамы!» На плите было написано: *«Не трогать, смертельно»*.

Он сидел на перекладине, болтая ногами. «А как же паук? Почему же паук не умирает?» Пожарный стоял на каланче, под мачтой с пробковыми шарами. «Вот бы мне такой шар! Я бы сделал из него спасательный пояс».

Полный мужчина в подтяжках сидел на подоконнике в доме напротив, таком высоком, что третий этаж его приходился на уровне чердака. Он курил. Женщина показалась из глубины комнаты, поправляя прическу. Она положила руку на его плечо. Это была мама.

Вот так штука! Дима поджал ноги и тихонько перебрался по перекладине к другому окну. А здорово бы мне влетело, если бы она поймала меня на чердаке!

Кремль был виден из этого окна и собор за высоким валом полуразрушенной крепостной стены.

Мальчишки играли в казаки-разбойники, прячась в бойницы и прыгая с вала вниз, прямо на свиней, бродивших по соборному саду.

Дима слез с перекладины и высунул голову в слуховое окно: в нескольких шагах от него, в том месте, где желоб переходил в коронку водосточной трубы, лежал мяч. Он был сине-красный, с белой полоской посредине.

Дима молча смотрел на него.

Крыша была крутая, а желоб узкий.

Проржавевшая жесть загнулась кое-где на местах скреплений. Он измерил глазами расстояние между собой и мячом...

Рыжий кот вышел навстречу ему, когда он дополз до дымовой трубы.

Крыша сарая, обитая толем, блестела на солнце.

Круглые окошечки лежали на ней как ломтики лимона.

Он прополз еще немного и остановился.

Ноги скользили.

Мяч был теперь так близко, что он видел, где на нем облупилась краска.

Но крыша вдруг пошла в сторону, все в сторону от его головы. Он услышал унылое гуденье телеграфного столба, звон проводов и крик дворничихи, которая бежала и показывала на него, дура, нарочно для того, чтобы ему попало от мамы.

Он лежал теперь вдоль желоба, хватаясь за воронку трубы, и кот смотрел на него, не мигая.

Пальцы разжались, он упал.

7

Дима бредил во сне, сломанные руки белели на отогнутом одеяле. Александр сидел у его постели, стараясь не уснуть, утомленный двумя ночами бодрствования и беспокойства. Он всунул руки в карманы, вытянул ноги, положил голову на спинку кресла.

«Она, она виновата во всем. Я напрасно упрекал себя. Из-за нее я едва не потерял сына. Она не любила ни меня, ни его».

«Что же, я не хочу ныть и жаловаться, я просто немного устал за последнее время, мне надо поправиться, отдохнуть».

«Хорошо было бы отвезти моих собак в Ленинград и показать опыт с разрушенным верхним регистром в Павловском институте. А Дима? А служба? А жена?»

«Нет, это не усталость. Я вижу свое дело и знаю, что оно нужно не мне одному. Но мне мешают».

«Человек, мешающий мне самым своим существованием! Почему я ненавижу тебя? Или я предчувствую, что и ты, как два других, подобных тебе, принесешь мне несчастье? Отнимешь жену, заставишь бросить науку...»

«Ага, скептик! Ага, материалист! Ты начинаешь верить в предчувствия?»

«Я ненавидел только трех человек в течение всей моей жизни. И все трое были похожи один на другого, как если бы это был один и тот же человек, который рос и становился старше и преследовал меня за то, что я его ненавижу».

«Это были люди одной конституции. Коротконогие, с большими челюстями. Право, над этим стоило бы задуматься с биологической точки зрения».

«Это напоминает мне легенду о семи черных скорпионах. Человек, увидевший хоть раз в жизни одного из них, не может избежать встречи с шестью остальными».

«Моя ненависть к ним — это не случайное совпадение, не насильственное соединение фактов далеких и несходных. Это конституционная вражда, мне самая конституция эта враждебна».

«Недурно, однако! Вместо того чтобы следить за тем, не поднялась ли у больного Димки температура, я занимаюсь... Чем я занимаюсь? Боже мой, как хочется спать».

«Интересно знать, однако, что сказали бы об этой теории Блейлер, Кречмер или Крепелин?»

«А еще интересно знать, не забыл ли я запереть окно в кабинете?»

Он бесшумно встал и, миновав столовую, остановился в дверях кабинета. Холодно и пусто было там, ночной ветер листал бумаги на неубранном столе. Он повернул выключатель, и свет совпал с усилием, которое он сделал, чтобы остаться в комнате наперекор дурноте и страху.

В его кресле у письменного стола, опершись на подлокотники, уронив толстую голову в руки, сидел Непенин.

Он поднял глаза, когда вошел Александр, и поклонился ему, но с кресла не встал.

— А, вы здесь? Это очень кстати.

Александр вбежал в кабинет, не ответив на поклон, раскачивая легкими, как рукава, руками.

— Очень плохо чувствую себя, доктор,— тихо сказал Непенин.— Миокардит.— Он показал рукой на сердце.— Только поэтому позволил себе побеспокоить вас ночью.

Александр приложил ухо к толстой груди. Сердце билось, как колокол.

— Вы завтра умрете.

Непенин вынул три рубля.

— Благодарю вас, доктор.

Его лицо, очерченное зеленоватым светом лампы, было тем бесстрастней, чем больше дрожали веки у Александра.

— После меня останется вдова.

— Она спит, я ее не отдам, она останется подле меня,— сказал Александр.

Непенин покачал головой.

— Я бы охотно уступил вам это право.

— Коротконогие, с большими челюстями,— сказал Александр,— что мне с ними делать? Они отняли у меня моих жен; а теперь притворяются, что жены ушли сами.

Он плакал.

— А мальчик мой очень болен. Он очень болен, он сломал себе руки!

— Мальчик мальчиком, а вот с пациентами вы невежливы,— сказал Непенин.

Александр поднял стул и замахнулся. Тогда грузно встал с кресла Непенин и отошел в сторону, оскалив большие плоские зубы.

— Ты мне не судья, подлец,— грубо сказал Александр,— если бы я убил тебя, это было бы только справедливо.

Бумага, которой прикрыл он лампочку, чтобы свет не бил Диме в глаза, дымилась и готова была загореться, когда, очнувшись, он встал наконец с кресла, чтобы закрыть окно в кабинете.

8

Длинный, сгорбленный дядя Гриша, оставив за собой винтовую лестницу и каждую ступень отметив пожиманьем плеч, покряхтываньем, недоумением, стоял перед наглухо запертой дверью,— перед дверью, в которую нельзя было постучать.

Без конца читал он о том, как войти в эту дверь, какой выключатель нужно повернуть первым, какой вторым, читал, бормоча, перемешивая инструкцию с какими-то словами — «еще новости, совсем нельзя жить», которые, проделав долгий путь, постарев, обзаведясь жестами, были теперь свидетельством добродушного смирения перед тихой важностью науки, которой занимался за этой дверью его сумасшедший племянник. Потому что нужно же быть сумасшедшим, чтобы бросить жену, схватить мальчика и ночью уехать из города, не сказав никому ни одного слова, так что даже на службе не знали, что он получил новую работу в Ленинграде, в этом доме, где на каждой двери написано, что в нее нельзя стучать, где собаки, завоевавшие права человека и гражданина, предоставляли себя в полное распоряжение своих старших и более опытных братьев, с их помощью пытавшихся решить наконец задачу, предложенную человечеству Сократом. Он бормотал до тех пор, пока, перепутав сигналы, не предупредил Александра, появившегося на пороге, о приходе человека, который руководил решением этой задачи и единственный во всем мире имел право на приглянувшийся дяде Грише сигнал.

— А, это вы? — Александр взял старика за рукав и втащил в камеру.— Заходите, садитесь.— Он подвинул к нему табурет.— Давно ли вы здесь?

Дядя бормотал. Красный платок, вытащенный из заднего кармана сюртука, появился в его руках.

Александр засмеялся.

— Ах, дядя, милый, вы все такой же,— сказал он и поцеловал старика.

Так и не заплакав, дядя спрятал платок.

— Меня прислала Вера.

Александр исчез за тяжелыми, обитыми резиной дверьми звуконепроницаемой камеры и явился несколько минут спустя с зевающим рыжим псом.

— Боюсь, что вы напрасно приехали, дорогой.

— Напрасно? Я приехал поговорить о твоем семействе. Ты считаешь, что это напрасно?

Александр выпустил пса и указал головой на стол, с которого свешивались резиновые баллоны, на сломанный под прямым углом перископ, на извилистую линию наблюдений, отчеркнутую на черном вращающемся цилиндре.

— Поверьте, что эта семья не хуже всякой другой,— мягко сказал он.

Дядя отмахнулся от пса, нюхавшего его ноги, и потрогал пальцем перископ.

— А Дима?

— Отлично живет, вырос, окреп. Алька возится с ним с утра до ночи. Вы помните его? Алька Кастрен.

Они сидели вдвоем в глубоком кожаном кресле, и Димка рассматривал герб республики на пуговицах его военного пиджака.

— Мы с твоим папой стояли на посту, возле гимназии,— рассказывал Кастрен,— и вдруг видим — идет. Мы к нему! «От имени пятого «б» класса,— сказал твой папа,— требую ответа на вопрос: куда ты идешь?»

Дядя ходил по комнате, бормоча, косясь на пса.

— Что будет?

Александр потряс его за плечи.

— Поезжайте назад, милый, и скажите Вере, что вы меня не застали, что я на два года командирован институтом в Берлин. А что касается ее коротконогого друга... Вот кому стоило бы на ближайшем съезде выразить благодарность от имени русской науки!

Пес бросился к нему на грудь.

— Ну что, Дружок? — сказал ему Александр.— Согласен ли ты со мной, что, если бы коротконогие с большими челюстями не преследовали меня от гимназии до седых волос, мне не пришла бы в голову наша затея?

Пес лизнул его в губы.

— Но согласись,— сказал пес,— что без моей помощи ты бы запутался и не довел эту затею до конца. Ты слишком много времени уделяешь мелочам. У тебя нет, я бы сказал, синтетической хватки.

9

— Он слишком много времени уделяет мелочам,— повторил пес Александра, вернувшись к себе и пристраиваясь возле сеттера, с которым был связан старинной

дружбой.— Ведь, собственно говоря, идея конституционной вражды была известна мне задолго до того, как я начал работать под его руководством. Неожиданным для меня явилось лишь то, что он попытался связать ее с учением об условных рефлексах.

Сеттер пожал плечами.

— С тех пор как я перевелся сюда,— сказал он хмуро,— не прошло еще ни одного дня, чтобы ты не говорил об условных рефлексах. И все говорят о них, решительно все, вплоть до сторожевых собак на институтском дворе. А вот меня гораздо больше занимают вопросы социально-экономического характера. Я размышлял, например, последнее время о причинах мировой войны.

— Так ты полагаешь,— сказал пес Александра с иронией,— что теория конституционной вражды не имеет никакого значения для решения этих вопросов? Вот ты размышлял о причинах мировой войны. А ты никогда не задумывался над тем, что, кроме оленей, муравьев, людей и пчел, ни одно живое существо не ведет со своими сородичами войн?

Сеттер лениво катал в губах полумертвую муху.

— Не вижу связи,— возразил он.

— Ах, не видишь связи? Это потому, что ты работаешь у дурака,— язвительно пробормотал пес Александра.— А мой шеф затеял работу, которая несомненно создаст ему европейское имя. Жаль только, что он так рассеян. Вчера вместо мясного порошка он во все шесть чашек насыпал опилок.

— Отлыниваешь от вопроса,— грубо сказал сеттер.

Пес Александра остановил его, подняв навстречу ему свою узкую, немужскую лапу.

— О нет,— с вежливым презрением сказал он,— я заговорил о другом только потому, что счел теорию конституционной вражды слишком трудной для твоего понимания. Вернемся к ней. Итак, ты не видишь связи между этой теорией и войнами, которые человечество ведет между собой? Между миролюбием животных и ненавистью друг к другу людей? А не наводит ли это тебя на мысль о том, что конституционная вражда есть следствие оборонительной реакции по отношению к враждебному виду?

Он сделал ударение на последнем слове.

— Не думаешь ли ты, стало быть, что человечество не едино и что в основе его лежит не один, а множество видов, быть может, когда-нибудь ненавидевших друг друга

и передававших эту ненависть, разумеется, в рудиментарном виде, своим потомкам? Не есть ли борьба конституций — борьба видов и не объясняется ли этим склонность к специфической ненависти между народами, воюющими уже тысячелетия?

Сеттер проглотил муху и засмеялся.

— Боже мой, что ты за чушь несешь! — сказал он.— Ты думаешь, стало быть, что лондонцы, таскавшие по улицам десятого июля тысяча девятьсот четырнадцатого года плакаты с надписью «Made in Germany», питали к немцам конституционную вражду? А гражданская война в России началась, стало быть, потому, что связь между строением тела и характером у белых была другая, чем у красных? И вот это твой шеф позволяет себе называть теорией? И вот это, думаешь ты, создаст ему европейское имя?

Пес Александра ловил блох зубами.

— Н-нет,— сказал он, немного стесняясь,— это, собственно, моя теория. Шеф ставит себе гораздо более скромные задачи. Он изучает рефлекс ненависти. Говорят, что личная судьба привела его к работе над этим вопросом.

1931—1980

СКАНДАЛИСТ, ИЛИ ВЕЧЕРА НА ВАСИЛЬЕВСКОМ ОСТРОВЕ

РОМАН

Я не рожден, чтоб три раза
Смотреть по-разному в глаза.

Б. Пастернак

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Лица, пытающиеся открыть затаенные личные мотивы в этом повествовании, подвергнутся судебному преследованию; лица, пытающиеся извлечь отсюда какое-либо нравоучение, будут высланы; лица, пытающиеся усмотреть здесь сокровенный злокозненный умысел, будут расстреляны по приказанию автора начальником его артиллерии...

М. Твен. Приключения Гекльберри Финна

ЗДЕСЬ ЧИТАЛ АДЪЮНКТ-ПРОФЕССОР НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ГОГОЛЬ-ЯНОВСКИЙ

1

Жена лежала рядом с ним, большая и грозная, устроенная именно так, чтобы лежать рядом с ним.

Это была та самая женщина, которой он улыбался. Да, именно улыбался, обязан был улыбаться. Он с ужасом потрогал ее спину ладонью. Это была сама судьба, слепая и увядшая, с которой сползло одеяло.

Он с тоской отвернулся к стене и вспомнил старый свой способ поскорее заснуть — нужно было поднять глаза под закрытыми веками, стараясь, чтобы все спуталось в голове, подражая самой последней перед сном минуте. Но и на этот раз заснуть не удалось. Далекий трамвай пропел на повороте, оконные переплеты, отраженные на потолке, напоминали другую, третью, четвертую ночь, любую из тех, которыми располагал профессор Ложкин. Они ничем не отличались от этой, разве только время было другое. Но та же луна, пенье трамвая, усталость.

Не стоило перебирать дня, оставленного в кабинетах Публичной библиотеки, в аудиториях университета. Да и полно, был ли это сегодняшний день? Быть может, вчера или год, два года, десять лет тому назад он спускался по сухим, паркетным лестницам в рукописное отделение, горбатый на одно плечо старик приветствовал его: «Soyez le bienvenu, monsieur!»[1] — задыхающиеся рукописи перелистывались перед его глазами. Десять, нет, пятнадцать лет назад он разыскивал водяные знаки на хрупких листах табачного цвета, истлевающих от бесшумного хода столетий, разбирал и сличал тексты, из-за которых когда-то

[1] Милости просим, сударь! *(фр.)*

убивали, сжигали на кострах, гноили в земляных ямах,— всю свою жизнь он занимался литературными памятниками ересей и сект XV и XVI столетий.

И самым тягостным показалось ему, что приветливый горбатый старик говорил свою фразу несмотря ни на что — он сказал ее в июле четырнадцатого года, в феврале и октябре семнадцатого.

Но, впрочем, что ж тут примечательного? Он просто вежлив, этот старик, его отец и дед были хранителями рукописного отделения, что ему, в конце концов, до русской революции или Версальского мира? Он припомнился только потому, что сегодняшний день очень похож на вчерашний, на третьегодняшний, на любой из тех, которыми располагает профессор Ложкин.

И только один-единственный день не похож на все остальные,— день, когда он впервые спустился по легким, как в театре, лестницам и сел за стол, протирая пенсне, упираясь молодыми, но уже близорукими глазами в клетчатые очертания стен, построенных из дерева и переплетов...

Он вытащил из-под одеяла руку, провел ею по лицу, пощупал следы от пенсне на переносице.

— Профессор,— сказал он самому себе шутливо,— не ищите, друг мой, особенного значения в том, что...

В чем? Он поиграл складками одеяла и поднес руку к глазам. Рука была комнатная, заблудившаяся, потерявшая прямое назначение.

А все, что он собирал так долго, год за годом, наука, которая ворохом просохшей бумаги шуршала вокруг него ежедневно, ежеминутно?..

«Ну, и что же мне делать с ней?» — спросил он едва ли не вслух и тотчас же уклонился от вопроса, оскорбившись обидным сравнением, которое он сам же и придумал несколько дней тому назад.

По совести говоря, он и сам не знал, что ему делать со своей наукой, он сторожил ее, как солдат, который тридцать лет сторожил дорогу по приказу императора Павла... Нет, хуже того, он сторожил ее, как собака сено...

Жужжа на повороте, пролетел трамвай, оконные переплеты стали перед ним, как лист перед травой,— все это бывало и раньше, ничего не случилось, продолжение следует.

Не было ни малейшей причины волноваться. Наука — вот она, он ее знает, он знает, что с ней делать, он, нако-

нец, слишком стар, чтобы менять профессию. Пустое, ничего нет, все дело, быть может, в том, что сегодня вечером на панихиде он слишком долго смотрел в костяное лицо покойника,— отпевали старого приятеля, профессора Ершова, умершего в сумасшедшем доме.

Запах ладана припомнился ему, и глупая речь, которую сказал священник,— он с отвращением вдохнул открытым ртом и подтянулся выше на подушках, схватившись за спинку кровати. Надо полагать, что Ершов сошел с ума от одиночества. Он, кажется, не женился для того, чтобы стать великим ученым. Уж лучше бы он женился, пожалуй.

«Семейный человек живет как собака, но умирает как человек — холостой живет как человек, но умирает как собака»,— подумалось или вспомнилось Ложкину. Вот он, Ложкин,— семейный человек, у него есть надежда умереть прилично, с достоинством, может быть, даже в своей квартире, а не в сумасшедшем доме. Об этом позаботится его жена, его судьба, которая живет с ним в одном доме, спит с ним в одной постели, ест с ним за одним столом и требует, чтобы он улыбался.

— А что бы случилось, однако, если бы я перестал улыбаться? — спросил он самого себя и тут же передвинул что-то в голове, начал думать о другом, стараясь уверить себя, что это другое и есть то самое, о чем он думает с вечера до... Он посмотрел на часы. До половины четвертого ночи. Что-то очень важное, какая-то забота, живущая между научным спором и квартирной платой... И, кстати, куда же все-таки он засунул эту проклятую квитанцию за прошлый месяц?

Вот только теперь к нему пришло последнее перед сном, давно изученное мгновенье, он, как всегда, заметил его и почувствовал с радостью, что наконец засыпает. Тогда, полуочнувшись, полуоткрыв глаза, не сознавая уже, как давно прекратилась томительная работа сознания, он перевернулся на живот, вытянул ноги. Отдаленный трамвай все еще гудел, как шмель, гудел на повороте, он так и не догадался, что это был не трамвай (скрипели петли дворовых ворот), кто-то негромко и шутливо крикнул внизу, на улице, и все окончилось, он спал.

Он спит, а на другом конце города, в самом глухом углу Васильевского острова, на черт знает которой линии, в проточенном, протекшем доме, из которого давным-давно, опасаясь обвала, выехали жильцы, за кухонным столом,

залитым чернилами, сидит маленький старичок с рыжеватой курчавой бороденкой, подпирая лицо руками, глядясь в почерневшее окно. Ничего не видать в окне, кроме отраженных рук, подпирающих мутное пятно лица, лба, ускользающей в стекле бороденки. Но он смотрит настойчиво, прилежно, он как будто видит, как за три квартала отсюда, на четырех перекрестках, ходит ходуном сам Васильевский остров, в клетчатой кепке, в широких морских штанах, с папироской, прилипшей к подсохшим губам.

Наконец он встает, снимает узкое драповое пальто, которое не снимал с тех пор, как вернулся со службы, и, бормоча что-то, жужжа и хихикая, начинает укладывать вещи. В заплечный мешок он кладет несколько рубашек, крахмальную манишку и ящик от сигар, в котором лежат воротнички, карандаши и старые письма. Он снимает со стены полустертую фотографическую карточку — задорное женское лицо смотрит на него внимательно и лукаво — и бережно заворачивает в газетную бумагу.

Свет меняется в окне, когда он наконец ложится, не раздеваясь, на голую кровать, под драповое пальто и ватное одеяло. Он больше не жужжит, не бормочет. Свет меняется в окне, близится утро, он засыпает.

Спит в скором московском поезде Некрылов, писатель, скандалист, филолог. Он спит, ловя уснувшей рукой сползающее с плеч пальто, подбросив под голову свои книги, которые он везет друзьям и которые никогда не получат ученой степени в университете. И город катится навстречу ему во сне. Сон, как солдат на часах, стоит над городом, от охтенских рыбаков до острова Голодая.

Не спят только милиционеры на постах, сторожа, охраняющие мосты, да еще те, которые спят днем, чтобы работать ночью.

И вместе с милиционерами, ночными рабочими и сторожами не спит студент Института восточных языков Ногин. В письме, которое он изорвал в клочки, не было ни слова о том, что он третью неделю грузит железо в порту, обедает через день и загнан в утлый чулан, притворившийся человеческим жилищем. Он писал: «Люди, которых никто не встречает ежедневно, ежеминутно в трамваях, в театрах, в ресторанах, которые живут одиночками, которые все же немыслимы вне нашего времени и нашего пространства, занимают меня. Они одиноки, враждебны друг другу, каждый из них живет за самого себя и ничем не обязан соседу, любовнице, брату. Они вскормлены вой-

пой и революцией, но живут за свой счет и равнодушны к родителям — потому что и в этом согласны с духом эпохи, воспитавшей неуважение к отцам. Они не стараются отгородиться от мысли, что мир разорван, борьба неустранима, но они не носят эту мысль с собой в боковом кармане, в записной книжке, вместе с распиской за квартирную плату и квитанцией от заказного письма. Они рождены одной эпохой, вскормлены другой и пытаются жить в третьей...»

2

Прошло и навряд ли когда-нибудь возвратится загадочное время, когда на историческом театре, под гром и молнии гражданской войны, появилась с пером в руках комнатная Россия. Она сидела в валенках за канцелярским столом, вброшенным в княжеские и купеческие особняки, и листала журнал входящих и исходящих бумаг, превращенный в новое евангелие новых канцеляристов. Простая, как воздух, формула была начертана на стенах монастырей. Должны были работать все — от регента до классной дамы, и интеллигенция незаметно для себя, на журнале входящих и исходящих бумаг, поклялась в верности четвертому сословию.

Тогда с легкостью, почти непредставимой, сами собой начали возникать учреждения. Они возникали преимущественно в тех местах, где сохранились голландские печи. Заваленный работой, важничающий печник пробивал дыру в дымоходе, оглушительно стучал молотком по трубам, мазал глиной буржуйки, курил, скандалил, отбивал от потолка известку. Подобно богу, он работал шесть дней, на седьмой отдыхал, а на восьмой начиналась жизнь. Курьеры разносили морковный чай, лысый кассир дышал на озябшие руки, огромные черные слезы падали из печных труб на притихшую интеллигенцию. Комнатные люди, вброшенные в особняки с голландским отоплением, были заняты и приучались к мысли, что чечевичная похлебка, которую они ели, вернувшись домой со службы,— есть та самая, за которую они продали свое призрачное первенство в русской революции.

Где, в каком музее лежат теперь все эти входящие и исходящие, удостоверения, справки, мандаты, карточки, акты, анкеты, проекты — бумаги, написанные рукой, которую нужно было занять во что бы то ни стало? Курьеры

мажут их салом потихоньку, крысы жрут их с вечера до утра и с утра до вечера.

Редко кто остался на том месте, которое занял в памятные дни боевого крещения русской интеллигенции! Разве какой-нибудь обиженный, обсиженный мухами канцелярист с рыжей бороденкой (которая единственно нарушает деловую, солидную внешность преобразованного учреждения) все еще сидит на обтертом стуле, согнув спину, не выпуская из рук изгрызенной, запачканной чернилами ручки.

3

Рыжая бороденка эта торчала в одном из крупных ленинградских издательств. Она принадлежала хранителю рукописей — загадочному и отрешенному от реального мира. Не только ручка, но и пальцы его были запачканы чернилами. Он жужжал.

Когда он, подтанцовывая, вбегал в вестибюль, швейцар, принимая от него пальто, оглядывался беспокойно, стараясь угадать, в котором окне бьется неугомонная муха. Жужжание пропадало на мгновенье, когда хранитель рукописей проходил мимо комнаты машинисток, и снова возникало в свободном, продолженном перилами, пространстве общей канцелярии. Это было уже не жужжание, это был ночной шум, шумела вода в водопроводных трубах, рассыхался пол, коробились обои. Хранитель рукописей водворялся у неуклюжей конторки, между шкафами, в стороне от прочих служащих редакционного отдела — только тогда шум спутывался с бормотаньем, в нем появлялись концы и начала слов, предлоги и междометия.

Здесь, между шкафами, была жилая площадь этого шума.

Здесь он мог свободно выражать радость и уныние, неудовольствие и раздражение, недоумение или тревогу хранителя рукописей.

Но, впрочем, испытывал ли он радость, неудовольствие, тревогу?

За девять лет, в течение которых он ни разу не пропустил случая аккуратнейшим образом отсидеть положенное служебное время, он едва ли перемолвился приятельским словом с кем-нибудь из своих сослуживцев. За его

спиной в продолжение этого времени выросло огромное учреждение, бесконечная мешанина людей, вещей, бумаг, папок, книг, пишущих машинок — чертов котел варился за его спиной с девяти до четырех ежедневно. Он ничего не замечал и ничему не удивлялся.

Никаких рукописей он, в сущности говоря, никогда не хранил. Он только числился хранителем рукописей. Но ни одна из них не миновала его — он подсчитывал печатные знаки.

Печатные знаки, как раздвижные солдатики, постоянно двигались перед его глазами — строка перестраивалась в страницу. Они не выходили из головы — он видел их на дне суповой тарелки, в зеркале, во сне. Они казались расплющенной дробью, которую он напрасно старался сдунуть или стряхнуть. Болезнь печатников — она была тяжела для его лет, он никак не мог к ней привыкнуть.

Должность подсчитывателя печатных знаков возникла из недоверия. Неясно было, почему именно ему, а не кому-либо другому было поручено это дело. Должно быть, бородка либо жужжание показались заведующему издательством несомненными признаками недоверчивости. Как бы то ни было, от имени издательства он имел право не доверять писателям, переводчикам, ученым. Он сидел с карандашом в руках над историей, политикой, экономикой, математикой, литературой — и не доверял. Издательство выигрывало на этом как раз ту сумму, которая шла на его жалованье.

Казалось, он принадлежал к числу никому не известных сомнительных людей, которые время от времени появлялись в издательстве неприметно и столь же неприметно исчезали. Он не исчез. Напротив того, он пересидел множество редакторов, не говоря уже о делопроизводителях и технических секретарях. Согнувшись циркулем, он торчал над конторкой и, жужжа, подсчитывал знаки. Жужжание выражало независимость.

Его не называли по фамилии. Кто-то из местных острословов окрестил его Халдеем Халдеевичем, и хотя были минуты, когда он почему-то не откликался на это имя,— в обычное время он как будто ничего обидного для себя в нем не находил...

Впрочем, были в издательстве люди, которым он никогда не разрешал называть себя Халдеем Халдеевичем.

Это были писатели. Писателей он не любил. Он относился к ним с недоверием не только по долгу службы, но

и по собственному разумению. Они казались ему людьми беспокойными, шумливыми, ненадежными. По два, по три часа они шлялись из одного отдела в другой и говорили, говорили без конца. Ему случалось прислушиваться к этим бесконечным разговорам. Все были на один лад. Каждый рассказывал другому о себе и ждал, что собеседник его похвалит. Они хвалили друг друга. Они боялись поссориться. Они хвастали, как актеры, и притом врали.

Халдей Халдеевич понимал, почему они подолгу сидят в издательстве без всякого дела. Это заменяло им службу. Они были одним из отделов — но отделом беспокойным, распущенным, ходячим...

4

Не оборачиваясь, он подергал плечом, сморщился и, упершись кулаком в подбородок, задумчиво уставился в окно. В сотый раз он увидел полуголую богиню со швейной машиной у ног, клочок неба, похожий на воздушное печенье, и свежепокрашенную крышу соседнего дома. Ни то, ни другое, ни третье не доставило ему ни малейшего удовольствия. Он пожал плечами и, поерзав на стуле, скосил глаза, стараясь высмотреть кого-то за фанерной перегородкой. Потом он подмигнул Вильфриду Вильфридовичу Тоотсману, бывшему мировому судье, почтенному семьянину, занимавшемуся рассылкой корректур. Мировой судья, почти испуганный такой общительностью со стороны своего молчаливого соседа, подошел поближе.

— Я вас, любезный друг, предупредить хотел, хотел предупредить,— шепотом сказал Халдей Халдеевич и большим, язвительно изогнутым пальцем левой руки ткнул в сторону фанерной перегородки,— на всякий случай имейте в виду... Плут! Плут и пролаза!

Вильфрид Вильфридович опасливо посмотрел на язвительно изогнутый палец и, ничего не сказав, вернулся к своим корректурам.

Человек, сидевший за фанерной перегородкой, был еще очень молод. У него были пухлые губы. Лицо его, расплывчатое, но выразительное, было спутано и затушевано очками — тяжелыми, шестигранными, роговыми. Неделю назад он ходил еще без этих очков, назывался Кирюшкой Кекчеевым и получал жалованье по девятому разряду. Он был просто мальчишкой, пусть даже и окончившим ка-

кой-то институт,— Халдей Халдеевич плевать хотел на этот институт.

Неделю назад он смиренно выслушивал выговоры и наперегонки с лифтом летал по всем четырем этажам, когда курьер был отослан в другое учреждение. А теперь, извольте видеть, теперь...

Халдей Халдеевич с трудом представлял себе, как произошло неожиданное возвышение его помощника. Он боялся признаться себе в том, что и он сам, каким-то несчастным случаем, был в этом возвышении замешан.

5

Едва ли не с первого дня своего пребывания на службе Халдей Халдеевич приметил одного из наиболее частых посетителей издательства — человека огромного, медвежеватого, обходительного.

Человек этот подъезжал к издательству в дрожках и, мало, в сущности, разговаривая, а больше оттирая плечом тех, что были помоложе, пролезал прямо к кассе. Он как будто даже и не писал ничего, а только редактировал — и то в отдаленном прошлом — какой-то журнал полунаучного характера. И тем не менее все заискивали перед ним. Даже те, которые называли его прохвостом.

Впрочем, он не выпускал изо рта трубки и имел вид человека почтенного и незаурядного.

Тоотсман первый увидел его в жилой площади шума, производимого Халдеем Халдеевичем. Шум умолк. Халдей Халдеевич спутался в счете и с беспокойством поднял голову. Посетитель приближался к нему, неся впереди себя большой, круглый живот, добродушно попыхивая трубкой. Воздуху в комнате стало как-то гораздо меньше.

Живот сказал что-то, и Халдей Халдеевич понял, что видит перед собой тоже Кекчеева, родного отца или, по меньшей мере, родного дядю Кирюшки. Тут же выяснилось, что дело именно Кирюшки-то и касалось...

Испуганный, зажатый между шкафами Халдей Халдеевич получил в руки какую-то бумагу, которую ему было предложено немедленно же подписать. Кекчеев-старший ласково потянул его за рукав... Халдей Халдеевич беспомощно посмотрел на него и подписал. Потом он все-таки попробовал прочесть бумагу. В бумаге были подробно перечислены достоинства Кекчеева-младшего. Он был нари-

сован пленительными чертами. Халдей Халдеевич восторженно отзывался о нем в этой бумаге. Отдел бы ожил, если бы... Но тут Кекчеев-старший добродушно похлопал его по плечу, вынул бумагу из его рук и заговорил о чем-то другом. Потом подписал Вильфрид Вильфридович. Потом большой, круглый живот нырнул в дверь.

Халдей Халдеевич проводил его глазами и пошел к своей конторке, робко сморщиваясь, испуганно поглядывая вокруг.

И вот теперь, только теперь, сегодня утром он понял загадочный смысл этого посещения! Пролаза завел очки, засел за перегородку, вывесил над столом чертеж какого-то проекта и заговорил с Халдеем Халдеевичем слишком вежливым, начальническим тоном. Он был назначен техническим секретарем. Халдей Халдеевич со своей бороденкой, со своим шумом, со своими служебными обязанностями был теперь всецело в его распоряжении.

6

Во втором часу дня маленькая машинистка, которая была настоящей розовой стрекозой с белыми и голубыми бантиками, забежала к техническому секретарю. Халдей Халдеевич прислонил перо к чернильнице и прислушался.

Стрекоза забежала по делу: товарищ Глобачев, заведующий учреждением, просил технического секретаря заехать к нему на дом по срочному делу. Пишущие машинки, как горящий вереск, стрелявшие за спиной Халдея Халдеевича, помешали ему расслышать все остальное. Технический секретарь вскочил, едва не опрокинув стул, и переспросил о чем-то молодым, но уже солидным баском, которому он напрасно старался придать внушительность и хладнокровие. Потом он появился на пороге и, тронув пальцами очки, неторопливо приблизился к Халдею Халдеевичу.

— Я сейчас еду к Глобачеву,— сказал он,— будьте добры, если это не затруднит вас, приготовьте к моему возвращению черновик отчета.

Отвернувшись в сторону, поспешно схватив в руки запачканную чернильную ручку, Халдей Халдеевич хмуро кивнул головой. Он насупился, зловещая тень прошла по заросшему лбу, мохнатым бровям, курчавой бороденке.

У технического секретаря были короткие руки. Он чистил себе ногти перочинным ножом. Из-под шестигранных очков смотрели снисходительные глаза, разбойничьи, в сущности, глаза торгаша и карьериста. Жирный ребенок еще угадывался в нем.

7

Опасная мысль о порочном круге, придавшая солидному и благоустроенному существованию профессора Ложкина характер какой-то непрочности, бивачности, была прозвана им (разумеется, только для самого себя) «бабьим летом» или «второй молодостью».

Он внезапно открыл, что каждый день проделывает один и тот же маневр, состоящий из слов и движений, порядок которых был установлен раз и навсегда с точностью почти астрономической. Он повторял себя день за днем, час за часом.

Машинальность, с которой он читал лекции, сличал рукописи, обедал, ужинал, жил с женой, внезапно показалась ему оскорбительной. Иногда (впрочем, даже себе самому не сознаваясь в этом) он испытывал смутное желание послать все к чертовой матери, уехать в провинцию, заняться кроликами, курами, рыбной ловлей.

Именно эта опасная мысль подчас неожиданно сбивала плавный ход какой-нибудь тысячу раз читанной лекции, предмет которой был известен ему, как письменный стол или лицо жены. Он задумывался, фраза, потерявшая значение, скользила с гуттаперчевого языка. Студенты перемигивались, перебрасывались записками, из указательных пальцев складывали крест. В эти мгновения вместо заблудившейся, потерянной мысли он вспоминал случай с певцом Карузо или Баттистини, который окончил свою карьеру при погребальных свечах, зажженных посетителями миланской оперы. От креста, сложенного из указательных пальцев, до погребальной свечи был, в сущности говоря, только один шаг...

Та же мысль, на этот раз притворившаяся анекдотом, однажды пришла ему в голову во время серьезного разговора с одним из знакомых историков, который обратился к нему за какой-то справкой. Они говорили в дверях читального зала, читатели шпалерами расположились за продолговатыми столами, зелено-голубые абажуры, компа-

дующие тишиной, выносили читальный зал за пределы реального существования. Ему, профессору литературы, ветерану этой тишины, генералу от зелено-голубого абажура, в кругу которого лежали раскрытые книги, следовало бы умилиться, да и то молча — неловко было посторонними замечаниями прерывать ученый разговор...

Он умилился. Напротив того, ему вдруг представилось, что вся эта чинная армия читателей — вот и этот кривоногий сумасшедший старик, увешанный множеством орденов, значков и медалей, и худосочный юноша в академическом пенсне, и прочие библиотечные завсегдатаи,— сами того не замечая, сидят и читают голышом, в чем мать родила. Идея эта была, очевидно, просто глупа, и почтенный историк по справедливости не мог понять, над чем хохотал до потери пенсне профессор Ложкин.

Да и вообще профессор Ложкин в тот день произвел на историка неприятное и тягостное впечатление. Он причудился ему ренегатом.

К этому следует присоединить уж совершенный фарс, происшедший неделю спустя между ним и Мальвиной Эдуардовной.

Мальвина Эдуардовна, его супруга, жила главным образом тем, что скрывала от всех свою профессию — до замужества она была повивальной бабкой. Именно в этом тщательном сокрытии профессии заключался весь смысл ее жизни. Она выдумала себе другую родину, других родственников. Она дрожала при мысли, что может случайно — на улице, в театре — встретиться с какой-нибудь из своих пациенток. Она целыми ночами думала над чьим-то неосторожным словом, которое — казалось ей — было сказано с умыслом, с тайным умыслом намекнуть на повивальное искусство.

В минуты откровенности профессор любил говорить, что она была молода,— из сочувствия с ним соглашались.

Откуда-то известно было, что в некотором отношении она, невзирая на свои годы, была слишком требовательна для человека, занимающегося филологией.

Все произошло чрезвычайно просто.

В час, когда Мальвина Эдуардовна, естественно, должна была ожидать, что супруг обеспокоит ее выполнением семейных обязанностей, профессор Ложкин неожиданно закрыл на крючок дверь своего кабинета. Щелканье крючка прозвучало в ушах Мальвины Эдуардовны бессмысленно и неблагонадежно.

Призвав на помощь всю воспитанность, которой она располагала, она с четверть часа пролежала под одеялом неподвижно.

Наконец, чувствуя, что до выяснения непонятного обстоятельства все ее старания уснуть будут напрасны, она встала с кровати и, натянув на величественные плечи капот, постучала в двери кабинета.

То, что ей довелось услышать в ответ, она постаралась забыть в следующую минуту. Через два-три дня она уверила мужа, что к нему в кабинет стучалась прислуга, посланная к профессору со стаканом чая.

— Катись, катись, матушка,— будто бы сказал Ложкин.— Что, в самом деле?.. Довольно я с тобой побаловался... Потом как-нибудь! Ничего особенного, надоело!

В ту же ночь, бессонную, как сова, Мальвиной Эдуардовной был констатирован бунт — система ее правления очевидно терпела крах; надо было принимать решительные меры — по крайней мере, показать, что вторая молодость профессора Ложкина началась с ее, Мальвины Эдуардовны, одобрения и согласия.

Спустя несколько дней, за обедом, она намекнула мужу, что, по ее мнению, следует слегка изменить образ их жизни — «жить более открыто, ну, хотя бы принимать у себя друзей, посещать кино, театры». Ложкин, катая по скатерти хлебный шарик, с грустью повторил про себя: «Да, принимать друзей...» Его друзья были когда-то отучены от него Мальвиной Эдуардовной, и этого он в глубине души не мог простить ей, хотя никогда не говорил об этом ни слова.

В ближайшее воскресенье он, кряхтя, натягивал на себя крахмальную рубашку, продевал запонки, мучился у зеркала с галстуком — и Мальвина Эдуардовна впервые заметила, что в последнее время ее муж был чем-то непохож на самого себя. Уж выходя к гостям, она поняла, в чем дело: черная, сморщенная, похудевшая шея профессора Ложкина торчала из ослепительного воротничка, как шея японского божка. Он глазами и даже манерой держаться начинал походить на японца.

Насильственно улыбаясь и все еще думая об этом, она встречала гостей.

Одним из первых пришел академик Вязлов, длинный, сгорбленный, с тощей, болотной бородой, умница и язвительный старик, смерти которого ожидали четыре профессора, в надежде занять его место в Академии наук.

Старик болел, но не умирал. Напротив того, после очередной болезни он почитал непременной обязанностью явиться к каждому из претендентов с визитом. Тряся бородой и иронически щуря глаза, он уверял, что претендент худеет, плохо выглядит, имеет болезненный и истощенный вид. Он подробно рассказывал историю своей болезни, рекомендовал врачей, иногда даже показывал свои анализы, причем каждый пункт толковал отдельно. Уходя, он непременно брал с жены претендента слово, что с этого дня она будет тщательнее следить за здоровьем мужа.

Ложкина он любил, но к его научным занятиям относился пренебрежительно.

Он встретил Ложкина в столовой и, гладя бороду, долго смотрел на него: Ложкин был неблагополучен. Он стоял сгорбившись, положив руку на стол, напряженно прислушиваясь к разговору. У него было недоуменное и строгое лицо. Он стеснялся. Можно было подумать, что он присутствует при каком-то неприятном, но важном и неизбежном событии.

— Вот и вас заело, Степан Степанович,— сказал Вязлов и сел, пристукнув палкой.

Ложкин, очнувшись, бросился к нему и с горячностью, его самого удивившей, заговорил о том, что давно хотел повидаться и поговорить. Ни разу за последние полгода он не вспомнил о Вязлове и не испытывал ни малейшего желания поговорить с ним. Все это была чистейшая ложь — он с досадой подумал об этом, но все же продолжал говорить. Лысые веки Вязлова моргали, седые табачные усы оттопыривались.

Мальвина Эдуардовна наконец позвала мужа встречать новых гостей.

Профессор классической филологии Блябликов, похожий на летучую мышь в своем длинном черном сюртуке, стоял на пороге столовой. Маленькая пузатая жена шла за ним в скромном платье. Ложкин, механически улыбаясь, поцеловал ей руку. Все повторяли одни и те же фразы.

В столовой Блябликов вытащил тяжелый, с монограммами, портсигар и долго постукивал о крышку мундштуком папиросы. Это значило, что он собирается рассказать какую-нибудь сплетню, анекдот, историю. Он рассказывал эти истории тяжело, неумно, с плохо скрытым недоброжелательством или завистью — и тем не менее считался в профессорском кругу присяжным остряком и бонмотистом.

На этот раз анекдот должен был показать профессора классической филологии в роли рыцаря-крестоносца, защитника гроба господня от посягательств неверных. Недели две назад факультет получил новое предложение пересмотреть программы.

— Перед нами стояла дилемма,— рассказывал Бляблико в,— либо снова приняться за переименование курсов, либо пойти на уступки и, как я сказал на заседании факультета, лишить Демосфена слова...

Анекдот начинался скучно. Ложкин осторожно встал и пошел в прихожую встретить новых гостей.

Вертлявый толстяк, ученый хранитель Пушкинского дома, обнял его, легко оттолкнул и, хохоча, повел представлять молодой жене. Молодая жена, тощая, рыжая библиотечная дама, скаредно улыбнулась. Ложкин, внезапно забывший имя-отчество толстяка, смотрел на них с удивлением. Кое-как назвав толстяка по фамилии, он вместе с ними возвратился в столовую.

Бляблико вский анекдот подходил к концу. Все слушали с напряженным вниманием.

— Николай Львович, вы можете писать о чем хотите, поступать как вам угодно,— кричал что-то такое Бляблико в. В нем внезапно проснулся бахвал-семинарист, он пристукивал себя кулаком в грудь, даже выгибал грудь, упершись рукой в колено.

Мальвина Эдуардовна шепотом рассказала мужу, в чем дело. Факультет поручил написать объяснительную записку одному из приват-доцентов. Приват-доцент в записке упомянул, что изучение истории Греции и Рима должно повести к искоренению религиозных предрассудков.

— Чтобы я подписался под этой бумагой? — кричал Бляблико в невидимому приват-доценту.— Под этим богохульством? Под этим наглым вмешательством в святая святых каждого порядочного человека?

Прислуга вошла, гремя посудой. Мальвина Эдуардовна грозно взглянула на нее.

— Не говоря больше ни одного слова, я расстегнул пиджак,— Бляблико в и в самом деле чуть было не расстегнул пиджак,— сверху донизу разорвал рубаху и бросил перед ним крест!

Это было неожиданно и не вполне прилично.

Вязлов откровенно усмехнулся и язвительно пожевал губами.

Ложкин не понял: какой крест? Откуда появился крест? Он догадался наконец. Блябликов бросил на стол свой нательный крест. Зачем? Ну да, чтобы показать, что он не хочет поступиться своими религиозными убеждениями...

Все молчали, даже Мальвина Эдуардовна. Верность религии в том кругу, который собрался в этот вечер в доме Ложкина, была порукой порядочности, но порукой тайной, которою хвастать было неудобно. Маленькая пузатая жена смотрела на Блябликова укоризненно.

Заговорили о другом. Жены, уединившись вокруг Мальвины Эдуардовны, занялись со всей тщательностью прислугами и детьми. Прислуги, как выяснилось, были нечистоплотны, грубили, воровали, жаловались в профсоюз. Дети, напротив того, были одарены исключительными способностями, прекрасно учились, время от времени болели. О прислугах говорили бездетные.

Мужчины, собравшись в кабинете Ложкина, затеяли азартный разговор о «формалистах».

Они не судили «формалистов» под углом зрения своей науки. Они были слишком стары для этого, они поседели на науке.

Но самый дух «формализма» — дух неверия и неблагополучия, который вносили не в науку, а в комнату эти люди, был ненавистен им.

Это была уже система, небезопасная для кабинетного существования, близкая чем-то к самой революции, которая казалась им чужой и бесполезной.

Да и своим делом «формалисты» занимались с неприятной поспешностью, с мальчишеской развязностью и непостоянством. Мальчишки, которым революция развязала руки!

Еще не справившись с магистерскими экзаменами, они меняли историю литературы на — смешно сказать — синематограф. Слабые, но, быть может, не безнадежные теоретические рефераты они бросали для болтовни, для беллетристики! Они писали романы. Даже, кажется, стихи?

В сущности говоря, они были людьми падшими, покинувшими привычный, надежный академический круг для жизни бродячей, развратной, беспокойной.

— Падшими? — Ложкин, невнятно удивляясь, стал припоминать — тонкое лицо, пенсне, седеющая бородка, нет, теперь он, кажется, сбрил бородку и очень похудел, не так давно он встретил его в трамвае...

Он хотел возразить — но раздумал. Тем более что толстый хранитель, волнуясь, булькая от удовольствия, только что рассказал, что другой падший содержит в Москве три семьи и живет с китаянкой. Кое-что насчет китаянки было сказано шепотом, чтобы не услыхали дамы.

Вечер, ознаменовавший вторую молодость профессора Ложкина, подходил к концу. Ложкин сидел утомленный, с головной болью, постаревший. Мальвина Эдуардовна, не справляясь с зевотой, два или три раза взглянула на часы,— когда заговорили о Драгоманове.

Это должно было случиться не потому, что Драгоманов был близок к беспокойным разрушителям научных традиций, и не потому, что он был человеком падшим в точном смысле этого слова,— о нем заговорили потому, что академический круг, к которому принадлежали гости Ложкина, условился молчать о нем.

Вязлов, гладя болотную, с прозеленью, бороду, привстал и скореженный, страшный, с папиросой, зажатой в кулаке, двинулся по комнате.

«Он похож на дьяка времени Ивана Грозного,— подумалось Ложкину.— Ему не хватает ермолки на голове, гусиного пера за ухом».

Дьяк, размахивая папиросой, творил суд и расправу. Травянистыми табачными глазами он молча обводил гостей. Толстый хранитель при имени Драгоманова сделал испуганное лицо, Блябликов сморщился и потянул носом воздух. Дамы придвинулись ближе.

— Человек, о котором вы изволили упомянуть,— неизвестно к кому обращаясь, начал Вязлов, он разжал кулак и сунул свою папиросу в рот,— есть, в сущности говоря, человек почти гениальный. В свое время я полагал найти в нем достойного преемника Шахматова или Бодуэна. Его лингвистические работы по тонкости догадок человеческому уму почти непонятны. Третьего дня он явился на лекцию, прошу извинения, в подштанниках. Его подозревают — и не без оснований — в тайной торговле опиумом. Берегитесь его!

8

Острая морда выглянула из-под груды книг, сваленных на подоконник. Серый моток, сплющиваясь, выползал из-под японско-русского словаря. Между словарем и толстым томом «Известий Академии наук» был туннель. Упи-

раясь лапками в подоконник, волоча живот, крыса вылезла в мир. Миром была комната Драгоманова. Солнце, прикрытое дырявым носком, длинным шнуром привязанное к небу, висело над этим миром. Оно всходило в шестом часу дня, заходило в полночь. Оно было скользкое, теплое и по временам качалось. Его нельзя было сожрать, к нему опасно было прикасаться.

Над ним лежала крыша мира, растрескавшееся небо, с которого упали стол, стул, кровать, книги. Небо держалось на обоях, обои коробились и гнулись, подпирая его. Оно было похоже на дно, перевернутое вверх ногами.

За столом и на кровати жил шумливый хромой человек, который мешал ходить по дну, жрать муку и картофель. Он пел, кашлял, толкал стулья, скрипел кроватью, царапал бумагу. По временам он с вытаращенными глазами поднимался из-за стола и начинал ходить.

Он ходил час, другой, третий от стола к кровати, от кровати к столу, ходил и тупо улыбался. Он ложился на кровать. Он дымил.

Он дымил, и у крысы начинала кружиться голова. Не пугаясь его больше, она смело выходила на середину комнаты, взбиралась на стул и долго неодобрительно смотрела на небритое лицо с закрытыми глазами, на обожженный чубук, в котором плавились черные комочки, похожие на шарики из хлеба.

Подчас Драгоманов пальцем поднимал веко и ласково смотрел на нее. Навряд ли он принимал ее за привидение.

По утрам, перед началом лекций, он вел с ней длинные разговоры.

— Сударыня, я подумываю о самоубийстве,— говорил он крысе,— мне, видите ли, все равно предстоит умереть под забором. Незаурядная жизнь, которую я имел честь прожить, мне надоела. Мне надоело таскаться в университет и вбивать в чужие головы науку, в которой я и сам ничего не понимаю. Вы скажете — нет, понимаю! Vous me flatter, madame[1], вы слишком любезны. И не я один, никто не понимает. Пора, мой друг, пора кончать эту музыку!

Крыса смотрела на него, не мигая. Он подзывал ее пальцем, бросал картофельную шелуху, свистел ей, как собаке, и пытался пищать по-крысиному.

---

[1] Вы мне льстите, сударыня *(фр.)*.

— Вы меня уважаете, сударыня? — кричал он. — Уважайте меня, я состою на государственной службе! Профессора меня не уважают, меня кусают клопы, дураки отнимают у меня время. В тридцать три года у меня пятидесятилетняя кровь и семидесятилетнее сердце. Если я повешусь, мне, вероятно, простят скандалы в Исследовательском институте и Азиатском музее. За моим гробом пойдут два ученика, три дальних родственника из тех, что еще не убрались за границу, и коллега Леман. В мою комнату переедет рыжий студент, тот самый, что жалуется на соседство клозета, и вы будете так же жрать его картошку, как жрете мою. Для вас ничего не изменится, сударыня. Советуете, а?

Крыса молчала. Брезгливо глядя на Драгоманова, она задом отступала к туннелю. Он был небезопасен, он мог раздавить ее каблуком, разбить голову тяжелой книгой. Она его презирала...

9

Университетское общежитие еще хранило обычаи, которые прославили его в годы гражданской войны. В квартире заведующего еще жили старички, которые постоянно спорили о преимуществах ректора, умершего в девятьсот седьмом году, перед ректором, умершим в девятьсот четырнадцатом, этажи еще различались по запахам, коллега Леман, студент, составлявший и собиравший некрологи, еще бродил по лестницам общежития.

День был еще похож, ночь была уже другая.

Кухня и кипятильник — самые излюбленные места вечеринок, любовных свиданий и философских споров — были уже просто кухней и просто кипятильником; на них уже не лежал памятный отпечаток эпохи.

Еще никто не забыл, как она умирала, эта эпоха, — непонятой, понятой, неблагополучной. Она горела в ночниках, вечерами стоявших вдоль остывшей плиты, она догорала после полуночи в комнате с кипятильным баком. Бак был еще теплый, для него тайком воровали дрова из штабелей на берегу Невы и по очереди пилили.

Ночь начиналась с того, что гасли матовые фонари в коридорах, упиравшихся — нет, не в Неву, в воздух Невы, в береговой ветер.

Все с ночниками в руках шли на кухню. Плита лежала огромная, уютная, тупая, похожая на приземистого, требовательного бога.

Ночники рядами стояли на ней, освещая раскрытые книги, куски лиц, шахматные доски. Это было веселое жилище теней и крыс. Крысы, понявшие новый порядок как личное завоевание, расплодившиеся, как крысы, шумели и грызлись с кошками по углам. Они пищали, у них был свой клуб в большом дровяном ларе. Каждый вечер они справляли по свадьбе.

Кругом читали, спорили, играли в шахматы, пели. В кипятильнике под баком еще светились угольки.

Эпоха догорала.

10

Драгоманова не любили в общежитии. Он и жил в нелюбимом месте, неподалеку от черной лестницы, где постоянно горела тусклая лампочка и никогда не было разницы между днем и ночью; из странных людей, еще бродивших вокруг университета, он был самым странным. Благополучие, пришедшее в общежитие с шестым и седьмым годом революции, не коснулось его. Гражданская война еще жила в его комнате, в заплечном мешке он носил из библиотеки книги.

Крыса, с которой он говорил по утрам, была прямой наследницей тех, что несколько лет тому назад были свидетелями любовных свиданий у кипятильников и философских споров на кухне.

Его боялись. Все знали, что он наркоман, что у него темное прошлое неудачника, путешественника, игрока.

Курсистки, податливые и нечистоплотные, с которыми жили все в общежитии, относились к нему с неприязнью. Старые студенты, еще бормотавшие под пьяную руку «Gaudeamus», считали его человеком, не заслуживающим доверия.

И только коллега Леман, рыжий, тихий, задумчивый, выстриженный бобриком, чувствовал к нему глубокое уважение.

Это был интерес естествоиспытателя, научный интерес. Драгоманов принадлежал ему. Драгоманов был живым некрологом, увлекательным, как история Белоруссии, ко-

торой занимался Леман. Невозмутимо торжественный, прямой, оборванный до самой шеи, до воротничка, из которого торчала важная голова философа, он приходил к Драгоманову и молчал. Он считал Драгоманова своим единомышленником. Фантастические очертания девятнадцатого года мельтешили и перед его глазами. Он наблюдал Драгоманова. Некролог обещал быть неподражаемым, единственным в своем роде.

Над Леманом смеялись в общежитии, по ночам у его дверей служили панихиды, ему посылали от имени умерших красавиц любовные письма, шалопаи, притворявшиеся воскресшими деятелями белорусской истории, по ночам являлись к нему в простынях и требовали ответа за ошибки, которые он якобы допустил в своих некрологах.

На собраниях, которые он заполнял чтением поощрительных биографий каких-то чиновников, архиереев, мелких военных, стоял содом, от хохота дрожали стекла.

И вместе с тем в нем чувствовался человек обреченный.

Быть может, это сознание обреченности и заставляло его постоянно возиться с покойниками, да и на живых смотреть сквозь траурную рамку с орнаментами, которую он постоянно рисовал в своих записных книжках.

Но Драгоманов безжалостно издевался над ним. Он врал ему без удержу, рассказывал, что он два года скитался по публичным домам Сирии и Палестины, что он хромает с тех пор, как упал с трапеции, работая воздушным гимнастом в знаменитом цирке Гагенбека.

Леман верил ему. «Отличаясь редкостным трудолюбием и прекрасным знанием иностранных языков, покойный служил в комиссариате по иностранным делам,— писал он по ночам при свете лампадки.— Будучи командирован факультетом в Сирию, покойный два года изучал этнографию страны... Самоотверженная работа покойного в цирке Гагенбека...»

Вокруг были все некрологи, некрологи, некрологи. Они заполняли умывальник, подоконник, кровать. Они лежали под подушкой, в платяном шкафу, в ящиках стола. В серой, предутренней тишине, тесноте общежития, они говорили тысячами мертвых языков — и все торжественнее, благопристойнее, все печальней...

Кто знает, а быть может, Драгоманов и в самом деле говорил правду?

11

Десять или двенадцать студентов, занимавшихся лингвистикой наперекор безнадежной будущности, были слушателями Драгоманова. Меж них был и Ногин, совмещавший университетские лекции с занятиями в Институте восточных языков.

Практические родственники и студенты других факультетов и вузов презрительно относились к пим. В самом деле, ведь лингвистика дешево стоила перед уменьем строить трамвайные вагоны!

Но они не были ни чудаками, ни мечтателями. Они просто не могли иначе. Это были люди, лишенные традиций старого студенчества и равнодушные к заботам нового, которое было им чуждо и незнакомо. Университет был пуст, когда они явились в нетопленные аудитории, где замерзающие профессора читали по инерции, стараясь не замечать того, что они называли «гибелью русской культуры».

Аудитория отапливалась теперь, но профессора все еще читали машинально.

«Дни нашей жизни» со своими студенческими балами, землячествами, тесными компаниями казались им болтовней, литературой. На редком из слушателей Драгоманова можно было увидеть форменную студенческую тужурку. Они жили наукой, которая была для них чем-то гораздо большим, нежели для старшего поколения. Это была не просто наука. Это была наука наперекор, почти что личное дело.

Драгоманов читал им «Введение в языковедение», которое в его изложении было самым трудным предметом факультетского курса.

Он редко приходил в университет, по временам вовсе пропадал на две-три недели, иногда запиской звал аудиторию к себе и где-нибудь в коридоре общежития читал очередную лекцию.

Самая некрасивая из его слушательниц называла его «гением и беспутством».

12

День, когда академический круг в доме профессора Ложкина, нарушив обет молчания, обвинил Драгоманова наконец в неслыханных противу себя преступлениях, был свидетелем полного падения его академической карьеры.

Впервые за весь год он явился на лекцию вовремя.

Высоко подняв голову, он прошел вдоль парт и, заложив руки за спину, прислонился к доске. На нем было пальто, переделанное из солдатской шинели, и вещевой мешок, застрявший на его плечах с девятнадцатого года. О шинели он любил говорить, что это незаменимая верхняя одежда для любого времени года: «Напрасно ругали наших интендантов».

У него было очень желтое лицо в этот день, и он поминутно почесывался, поднимая то одно, то другое плечо, ерзая спиной. Он сам как-то объяснил аудитории, что постоянное это почесывание есть прямое последствие курения опиума. Он просил извинить его: «Право же, не от вшей — от опиума»,— а ему и не только это извиняли!

Уставившись на одного из слушателей безразличными глазами, он заговорил о теории общеиндоевропейского праязыка. Он излагал ее и раньше. Любое «введение в языковедение» замыкалось этой теорией. Со времени Шлегеля и Боппа бесчисленные лингвистические работы были построены на основе этой теории.

Но он, Драгоманов, заявил в этот день, что, положа руку на сердце, он не может с ней согласиться.

Внезапно начиная грассировать, он с мелом в руках изложил систему своих доказательств.

Индоевропейская теория не в состоянии была, по его мнению, дать объяснение некоторым фактам, которые настоятельно требуют своего места в науке о языке. На основе этих фактов он предлагал построить новую систему, вскрывающую доиндоевропейское, близкое к первичным истокам, состояние человеческой речи.

В пятичасовом зимнем свету 12-й аудитории он казался распластанным серым пятном на запачканной мелом доске. Он отрекался от Шлегеля и Боппа, как Лютер от католичества. Не улыбнувшись, он привел его слова: «Я здесь стою и не могу иначе».

С четкостью, свойственной французским лингвистам, он восстанавливал формы этой первобытной речи, сводя их к небольшому числу первичных звуковых комплексов. Он утверждал с дерзостью, что существующие типы языков следует рассматривать как воплощение работы человечества на каждом этапе его развития. Корневая, агглютинативная и флективная конструкции языка были в его представлении тремя хронологическими этапами на пути развития языкового сознания человечества.

Ногин не успевал записывать. Он многое не понимал, он потерялся. В аудитории было почти темно, давно пора было зажечь электричество, но он все писал и писал — и почерком все более крупным.

Драгоманов был уже с ног до головы перепачкан мелом, движения его приобрели уверенность и свободу аристократическую.

Он подводил итоги. Итоги были переполохом, суматохой в науке. Он утверждал, что никакого единого языка на заре человечества не было, что индоевропейская семья есть только один из этапов по пути от начального множества языков к языку единому.

Преодолевая сумерки, превращаясь в летучую мышь, он нарисовал на доске пирамиду. Он объяснил, что от широкого основания, содержащего бесчисленные зародыши языков, человеческая речь стремится, проходя через ряд типологических трансформаций, к вершине — к единству языков всего мира. Он рядом изобразил индоевропейскую теорию с ее единым праязыком в виде пирамиды, поставленной на вершину основанием вверх.

Но он не окончил. Что-то произошло. Смутное движение пробежало по аудитории. Ногин оторвал карандаш от бумаги и оглянулся.

Никто не произносил ни слова, только чей-то тонкий кашель прокатился на задних партах и смолк.

Драгоманов стоял перед доской, задумавшись, мучительно сдвинув брови. Он молчал. От резкого движения, которым он пытался заменить неоконченное слово, шинель его распахнулась. Погасшими глазами он водил по стенам, напрасно стараясь вспомнить, о чем говорил, зачем стоит здесь с мелом в руках перед растерявшейся, растаявшей в сумерках аудиторией...

13

Ночью он проснулся и, досадливо морщась, выпростал из-под одеяла руку. Шорох его разбудил, шорох и крысиный писк. Он достал папиросы. Спичек не было. Он сел на кровать. Хотелось курить, рот был полон слюной, перед глазами вертелись цветные кольца, которые (он это прекрасно знал) исчезали от табачного дыма. Но спичек не было.

Он встал и, гадливо почесываясь, пошел к выключателю. Протянув руку, он вспомнил, что свет в общежитии

был выключен. Что-то чинили. Стало быть, что же? До утра не курить?

Он опрокинул стул, сдернул с окна простыню. За окном лежал университетский сад и черный снег. В снегу угадывались голые клены. В комнате не стало светлее.

Он нервно сдавил папиросу зубами, вернулся на кровать. Нельзя было не курить, эти цветные кольца уже давили ему на глаза, росли, вытягивались спиралями.

Он дрожал, сидя на своих ладонях, грызя папиросу, приходя в отчаяние. Но ведь должны же они где-нибудь лежать, эти проклятые спички!

Он тяжело перебросил ноги по ту сторону кровати и наугад сунул руку куда-то в «где-нибудь», в черное пространство между стеной и подушкой.

Крысиный писк ошеломил его, он наткнулся рукой на крысу. И вдруг его качнуло от ярости. Он сдернул подушку и с силой бросил ее туда, откуда шел писк, где жрала его картошку крыса. Мягкий клубок метнулся по кровати, он упал на него грудью, сдавил его, смял в пальцах. Спичек не было, не было, не было...

Он душил крысу пальцами. Она визжала и царапалась. Он не чувствовал боли. Писк ее перешел наконец в крик, почти человеческий, она просила о помощи, умоляла о пощаде. Обои гнулись и коробились, перевернутое дно падало на ее голову. Она умирала...

Через несколько минут он нашел спички под подушкой. Ругая себя неврастеником, он осмотрел руки. Руки были исцарапаны, искусаны. Кровь черными пятнами лежала на простыне и одеяле...

14

— Вот тут последнее время говорят, что с христианством или вообще с религией нужно бороться. Искоренять! Ну, этого я не знаю. Может быть, и нужно. Вероятно, нужно. Я только в одном несомнительнейшим образом уверен: прежде чем его искоренять, христианство, его насаждать следует. Вот мой сын Александр... архитектор. Малоспособный, в сущности, человек, хотя я его последнюю книжку об этих, как их... кажется, футуристах,— прочел с удовольствием. Так вот, приезжает он как-то в деревню. Ну, по дороге на него что-то волки, если не ошибаюсь, напали. Он, понятно, отбивался, даже стрелял как будто или горя-

щие сучья бросал. Ему, как человеку с воображением, все это интересно было. Приехал он, таким образом, в деревню,— а в деревне переполох — свадьбу ждут, где-то по дороге из города свадьба застряла. Рассказал он про волков — и вот, видите ли, плач в народе поднялся невообразимый. Прямо стон пошел по деревне. Он сперва ничего понять не мог, потом ему разъяснили. Вся деревня, видите ли, решила, что это новобрачные в волков превратились. Так это ж именно и есть язычество! Вот я и говорю — сперва нужно насаждать в деревнях христианство, а уж потом с ним бороться... Потом уж и искоренять!

Ложкин, съежившийся, маленький, потонувший в шубе, сидел за овальным зеленым, почти игорным столом в зале заседаний Научно-исследовательского института. В зале было холодно, он грел руки дыханием, рассеянно смотрел на портрет Веселовского, висевший над приземистым книжным шкафом, и слушал речи Вязлова о язычестве и христианстве.

Напротив него сидел одноглазый гном, исследователь японской литературы, бог весть почему явившийся на собрание, посвященное Гоголю с этнографической точки зрения. Гном саркастически улыбался, слушая речи Вязлова. Он, очевидно, понимал, что дело не в борьбе между язычеством и христианством.

«Дело не в борьбе между язычеством и христианством,— смутно подумал Ложкин,— тогда в чем же, собственно говоря, дело?»

Профессор Жаравов вмешался в разговор о христианстве. Нервно примаргивая одним глазом, он тронул Вязлова за рукав и быстро откинулся на спинку стула.

— Вот, кстати, об искоренении,— сказал он,— знаете ли вы, дорогой Иван Ильич, кого сейчас в Петербурге обвиняют преимущественно в искоренении религии?.. Меня.

Дергая глазом, он посмотрел на улыбающееся лицо и сам усмехнулся с ехидством.

— Не смеюсь, не смеюсь! Меня! Случилось мне, знаете ли, с год назад устроить на службу в Академию наук одного молодого человека. За него просил, если не ошибаюсь, милейший наш Константин Алексеевич, которому он приходился каким-то отдаленным родственником.

Он поискал отсутствующего Константина Алексеевича и очень живо изобразил его рукой и движением бровей.

— На днях сей молодой человек — я его, признаться, даже и не узнал при встрече — является ко мне. Держит-

ся он... я бы сказал — покровительственно. Ну да это бы еще куда ни шло! Но с первых же слов начинает он меня укорять... За что, как вы думаете? За то, видите ли, что я в своих книгах о первых веках христианства оправдываю еретиков и таким образом подрываю основы религии. «Вы, говорит, тем самым вступаете в теснейшую связь с большевиками!»

Все рассмеялись, даже одноглазый гном. Профессора Жаравова меньше всего можно было упрекнуть за связь с большевиками. Всем было отлично известно, что он даже на новую орфографию не сдавался. Собственно, настоящая слава его началась с какой-то юбилейной статьи, в которой, желая подчеркнуть свое несогласие с реформой правописания, он не употребил ни одного слова, писавшегося ранее через «и краткое» или «ять». Да, он не был ни в чем замешан! Связь с большевиками? О, это было смешно, конечно! Все смеялись.

Только Ложкин, уйдя в шубу, как в монастырь, беспомощно поводил по сторонам детскими глазами. Он очень хорошо знал, что разговор шел не об искоренении религии. Искоренение религии — это был эвфемизм.

Он встретил взгляд Вязлова, в котором почудилось ему легкое сожаление, и с внезапной неприязнью принялся копаться в своем портфеле. Он чувствовал себя одиноким, затерянным, усталым.

Когда начался доклад, он учинил суровый допрос над самим собой.

«Почему ты сидишь здесь, вот за этим столом, что ты здесь делаешь, Степан Степанович?» — спросил он самого себя строго.

«Я нахожусь в Исследовательском институте, тут доклад читают, а я вот слушаю»,— отвечал он самому себе мысленно и смиренно.

«Эти люди, с которыми ты знаком десять, двадцать, тридцать лет,— они занимаются той же наукой, что и ты? Ты любишь их? Что ты о них знаешь?»

«Да, да, они занимаются той же наукой, что и я. Я знаю о них... А в самом деле, что я знаю, ну, хотя бы вот об этом человеке? — едва ли что не вслух спросил самого себя Ложкин, испуганно глядя на прибеднявшегося, похожего на дьячка профессора-слависта.— Я знаю о нем... что прусская Академия наук обвиняла его в плагиате... что русская Академия наук, обидевшись на прусскую, избрала его действительным членом. Что еще?.. Ах да! Обви-

ненный в плагиате, перепуганный, он каждую лекцию начинал со слов: «Конечно, я звезд с неба не хватаю...» Еще? Плохо живет с женой. Еще?.. Как, больше ничего? Но ведь он же, кажется, мой университетский товарищ?»

Так он перебрал всех, одного за другим. Он никого из них не любил. У него не было среди них друзей. Он был чужим среди них. Но зато о каждом он знал по два, по три анекдота.

15

Едва начался доклад, как все уже спали. Все!

Даже те, которые еще красили усы и считали себя молодыми. Как будто сонный ветер раскачивал над круглым столом эти седые, полуседые и лысые головы. Гном, закрыв единственный глаз, откровенно храпел носом. Вязлов тихо дремал, опершись кулаками на палку, подбородком опершись в кулаки. Жаравов, как нищий, мотался над столом, мощно сопя, шлепая губами. Рыхлый, похожий на бабку незнакомый старик-хохотун беззаботно улыбался во сне и чмокал губами воздух.

И только Ложкину не спалось. Он невольно прослушал часть доклада. Заслуженный, но растерявшийся историк русской литературы с наигранной уверенностью убеждал, что все гоголевские типы делятся на небокоптителей чувствительных, небокоптителей рассудительных, небокоптителей активных и небокоптителей комбинированных.

Его официальный оппонент, бывший учитель гимназии, избранный в Исследовательский институт как дальний родственник одного из секретарей, смотрел на него, идиотически открыв рот, свалив голову набок.

Ложкин бесшумно собрал книги, застегнул портфель и покинул librarию. Он бы, пожалуй, не потерял времени даром и на заседании. Но самого нужного списка повести, которой он занимался, не было под руками.

А сбежать домой он никак не мог. После доклада должна была обсуждаться кандидатура одного из его учеников. Он постоянно устраивал своих учеников — от первого студенческого реферата до диссертации они были окружены его хлопотами, заботами и указаниями.

Он примостился в какой-то каморке. Здесь обычно сидела сердитая сторожиха со своими ключами. Сторожихи

не было — ну и бог с ней! Но вот не было также и самого нужного списка — «Повести о Вавилонском царстве».

Он, впрочем, не сомневался, что конъектура верна. Тихонравов ошибся, Жданов предлагал неверное чтение. Загадочное имя Малкатшка, Малкатошва, которое сбило с толку редактора румянцевской Палеи, было, несомненно, древнееврейским Malkat-švo, что значило по-русски — царица Савская. Весь процесс подмены был ему совершенно ясен. Он не мог представить себе это имя в греческой транскрипции! Да, несомненно, источником загадочной повести был какой-то древнееврейский текст, два слова из которого остались не переведенными на русский. Два ли? Насчет второго он был еще не вполне уверен — одного списка, и самого нужного, не хватало.

Сегодня вечером он проверит свою догадку, завтра он переговорит с гебраистом, а через две-три недели он, вероятно, будет читать о своем открытии в Обществе древней письменности на Фонтанке. И снова седые головы, клонимые сном, но как бы клонимые ветром, будут раскачиваться над столом и дремать, краешком уха слушая историю текста древнерусской «Повести о Вавилонском царстве».

«И обручи за себя царевну, дщерь перского цря, и повеле ей внити въ полату стеклянную. А самъ седе на црскомъ месте стекляномъ. И црца къ нему въниде въ полату стеклянную и видевъ црца мостъ і показася ей вада. И опадоша оу црци порты ея. Црь же видевъ тело ея. И пусти огнь въ полате. И подпали нижная ея власы...»

А проснувшись, будут возражать и, должно быть, очень дельно. «Повесть о Вавилонском царстве», ого! Кому из них неизвестна литература вопроса?

Вздохнув, он открыл портфель и разложил книги. Прекрасно сохранившийся, но поздний текст Синодального списка привлек его внимание. Он заново принялся читать его, стараясь не слушать доклада о небокоптителях, который, медлительно журча, струился где-то за стеной, как журчит и струится медлительная ночная вода в постаревших водопроводных трубах.

Но когда он встал, найдя в изученном тексте десятки мелочей, подтверждавших его догадку, за стеной уже ничего не было слышно.

Он сунул книги в портфель и торопливо прошел в зал заседаний. Зал был темен и гол, окна, тусклые, как слюда, светились от снега или от фонарей на набережной.

Стулья, еще хранившие движенье вставших из-за стола людей, были отодвинуты от стола в беспорядке.

Очевидно, заседание уже окончилось.

Ложкин растерянно шагнул назад и, стараясь не стучать, притворил за собой тяжелую дверь.

Что за досада, как же могло случиться? Зачитался, забыл, проморгал и доклад... Да бог с ним, с докладом! Но кандидатуру! Ну, как его провалили?

Подсчитывая в уме всех, кто мог бы голосовать против его ученика, откладывая голоса на пальцах, он спустился вниз, в катакомбы, занятые нижней канцелярией.

Он наткнулся в темноте на мусорный ящик и в рассеянности извинился перед ним. Тусклая лампочка горела над часами. Он взглянул на часы и ужаснулся! Сколько же времени, однако, просидел он в каморке сторожихи над Синодальным списком? И где она, эта злосчастная старуха,— никого нет вокруг, а входные двери заперты на ключ. В продолжение двух-трех минут он безуспешно, но с грохотом сотрясал их...

Старуха сидела по вечерам вот на этой лавочке, рядом с прозекторской. Она сидела без всякой нужды на этой лавочке десятки лет и вот теперь, в самую нужную минуту, пропала. Должно быть, шатается где-нибудь по аудиториям! Или — хуже того — ушла домой и унесла ключ с собой. Еще заночевать тут придется, пожалуй. Но, может быть... А в самом деле, может быть, двери Восточного факультета еще открыты!

Когда он возвращался, катакомбы нижней канцелярии, казалось бы, изученные еще в студенческие времена, показались ему до странности незнакомыми. Откуда взялись все эти ниши, и закоулки, и низкие своды, едва ли что не поросшие мхом? Не те места, чужое здание, в самом деле, какие-то двенадцать петровских коллегий.

Ворча что-то, он спустился из коридора по лестнице Восточного факультета. Да что ж это такое, в самом деле! И эти двери были закрыты.

Тихий, маленький, волоча шубу, он вернулся в коридор и прикорнул, грея руки о полуостывшие трубы парового отопления.

Он сидел напротив пятой аудитории. Пятая, да, да, он помнит ее... Здесь читал когда-то... Здесь читал когда-то покойный...

И вдруг он решил, что его закрыли нарочно. Над ним выкинули фортель. Над ним сыграли дурную шутку. Завт-

ра всем будет известно, что он, поджавшись, как петух на шестке, провел целую ночь в пустом университетском здании. Выдумают, что ночевал под партой, выжил из ума, не нашел другого места! Будут ругать прозектора, сторожиху, выражать сочувствие, а втихомолку смеяться, смеяться и смеяться.

Взъерошенный, нахохлившийся, размахивая портфелем, и точно похожий на старого, облезлого, взбешенного петуха, он вскочил и вприпрыжку полетел по коридору. Но тут же и успокоился. Пустое, кому бы в голову пришло сыграть с ним такую штуку? Кто мог бы предугадать, что, не замеченный никем, он до поздней ночи засидится в каморке сторожихи над Синодальным списком? Да у него и врагов-то нет, если не считать... И он тотчас же насчитал врагов с десяток.

Гулкий стук шагов раздражал его. Или, быть может, пугал,— он в этом сам себе не хотел признаваться. Он сел. Он сел напротив одиннадцатой аудитории. Одиннадцатая, да, да, он ее помнит, это та, что с мемориальной доской... Здесь читал... Здесь читал покойный...

Он туманными глазами посмотрел вдоль коридора. Коридор уходил в пространство, в боязнь пространства.

Носовым платком профессор долго протирал стекла пенсне. Боязнь пространства... Он, помнится, страдал этой болезнью — в гимназии, в детстве. . . . .

. . . .

Раздумье на него напало. Этот пустой, ночной, незнакомый университет внезапно причудился ему разоренной страной... Это был плацдарм, на котором только что кончилась глухая война, проигранная его, профессора Ложкина, поколением. Да, его поколение проиграло войну и отступило — с потерями, которых не перечтешь, с непоправимыми потерями одиночества, старости и смерти. И предательства! Неудачники их предавали ради карьеры. Перебежчики, которые дорвались наконец до рублевого места.

Что же касается его, профессора Ложкина, так он просто за ненадобностью брошен в этой разоренной стране, на пустом и гулком пространстве плацдарма. Он проиграл войну. Кому нужны теперь все эти повести о Мамаевом побоище и Вавилонском царстве? Да, он проиграл войну. Он потерялся. Его потеряли.

Заложив руки за спину, он долго стоял перед книжным шкафом, разбирая названия книг на почерневших корешках.

— «Словарь исторический о бывших в России писателях духовного чина греко-российской церкви»,— прочел он вслух и хмуро пожевал губами.

Не-ет, он совсем не тут стоял, этот словарь... Болховитиновский словарь? Он не тут стоял. Тут всегда, помнится, сборники отделения, сборники русского отделения стояли.

Махнув рукой, он прошел дальше. Ничего особенного, он мог бы уснуть и сидя. Но ведь не заснул же он на докладе, когда все, решительно все спали. Ну вот ему и сейчас не спится.

Он добрался наконец до того места университетского коридора, которое никогда не любил. Которое он тридцать лет не любит. Коридор был неодинаков для него. Это место принадлежало, кажется, физическому кабинету. Или, вернее, скелету физического кабинета. Скелет болваном торчал в окне. А, бог с ним...

Крякнув, профессор повернулся и пошел обратно, по направлению к библиотеке.

Тридцать лет... Э-хе-хе! Тридцать лет тому назад он был приват-доцентом. Больше всего он боялся, тридцать лет назад, наврать название или перепутать дату. Тогда не наврал... А теперь случается, что и врет. Ничего особенного, случается, что и врет дату!

Мутный свет геометрическим рисунком ложился на квадратики паркета. Пожалуй, он не пойдет вниз, в канцелярию, чтобы посмотреть на часы. До утра еще много времени, он еще успеет. Смотреть на часы — ведь это единственно и остается ему нынешней ночью делать. Не стоит повторять это развлечение слишком часто. О чем он думал?..

Он снова устроился возле парового отопления, подперев голову руками.

Нет, поздно гнаться за второй молодостью, если первая убита на... на науку? Кажется, на науку!

В полузакрытых, почти уснувших глазах его мелькнула и задержалась на мгновенье в сознании полуоткрытая дверь одиннадцатой аудитории. Он некоторое время смотрел на нее, соображая. Потом сон прошел.

Очень бледный, с торчащими ушами, совершенным японцем, он вскочил со скамейки, забыв на ней портфель и шляпу. Аудитория была, разумеется, пуста. На него пахнуло пылью, мутный утренний свет лежал между исчерканных парт. Он приостановился в дверях и слегка кивнул головой. Это можно было, пожалуй, счесть поклоном. Он

поклонился. Он вел себя так, как если бы в аудитории его поджидали студенты. Как в гипнотическом сне, он поднялся на кафедру и, слегка согнувшись, медленно опустился на стул.

Нет, никогда еще, ни даже во время первых лекций, не билось сердце так сильно, как оно бьется сейчас, перед этой пустой аудиторией.

Но вот о чем же читать? Об одиночестве? О старости? О чем же все-таки, кроме истории текста «Повести о Вавилонском царстве»?

Он туманными глазами посмотрел перед собой на сонные, пыльные, исчерканные парты. Потом на мемориальную доску: «Здесь читал адъюнкт-профессор Николай Васильевич Гоголь-Яновский».

— Так вот не сдаюсь же,— сказал он упрямо и, потирая пальцами лоб, повторил еще раз, немного громче: — Не сдаюсь!

СКАНДАЛИСТ

1

Заколдованный круг между архивными шкафами был разорван. Кекчеев был произведен в редактора.

Граница шума, производимого Халдеем Халдеевичем, осталась позади. Сам Халдей Халдеевич вдруг стал чрезвычайно маленьким, чрезвычайно сверхштатным человеком, которому можно было делать выговоры, которого можно было не замечать.

Но, разрастаясь, Кекчеев-младший стал удивительным образом напоминать своего отца. Подражая Кекчееву-старшему, он начал курить трубку. Он научился пустыми глазами смотреть на человека, который был ему не нужен. Он спускался по лестнице, неся впереди себя живот, который был еще сравнительно невелик, но уже отлично нырял в двери. Так нырял в двери только один живот во всем Ленинграде — без сомнения, тот самый, который придавал такой добродушный, маститый и даже ласковый вид Константину Ивановичу Кекчееву-старшему. Но вместе с тем он был как-то мельче отца. Настоящего размаха у него не было. Он был честолюбивее, быть может — самонадеяннее, но мельче. Он слишком спокойно рос, чтобы рисковать своим благополучием.

Самым важным последствием назначения было то, что редакторские обязанности привели его на шестой этаж.

К шестому этажу в издательстве было двойственное или даже тройственное отношение. Второй, третий и пятый относились к нему по-разному. О нем ходили сомнительные слухи. Его называли этажом разговорных комнат.

Это был почти клуб. Это был почти деловой клуб. Для того чтобы он стал литературным, не хватало сравнительно немного — самой литературы.

Писатели не переводились в этом клубе. Они назначали в нем свидания — деловые, любовные, литературные, они рассказывали о своих замыслах, плакались на безденежье, разъясняли руководителям шестого этажа свою философию, политику, идеологию. Эти разговоры они прерывали только для того, чтобы спуститься вниз, в кассу.

Они становились в очередь. Лысый кассир, похожий на Тараса Бульбу, просовывал в окошечко ордера. Он был равнодушен, лысый кассир. Он даже и не подозревал, разумеется, что никогда еще литература не стояла так близко к кассе. Она проходила перед кассой и говорила вполголоса.

Но, поднявшись на шестой этаж, в клуб деловой, почти литературный, она находила новые слова. Прогулки вниз, в кассу, освежающим образом действовали на ее философию, политику и идеологию.

Кекчеев и раньше терся среди писателей. Еще студентом ему случалось встречаться с ними на вечерах новогодних, литературных, юбилейных. Он пил на этих вечерах со всей старательностью первокурсника, который твердо решил испытать все преимущества молодости. Если после третьей рюмки его не рвало, он клал еще молодую, но уже сластолюбивую руку на колено своей соседки.

Писателей он и тогда не любил. Но теперь, по служебным соображениям, очень высоко ценил свое знакомство с ними. Он понимал, что издательство жило борьбой за работу, которую отбирала Москва. Москва — огромная, деловая, казавшаяся безошибочной, стояла над издательством и сомневалась в целесообразности его существования. Она выглядела победительницей — и, стало быть, ее нельзя было судить. Она суровой рукой уменьшала сметы, сокращала штаты. Скептическое дыхание ее лежало на каждом проекте.

Для того чтобы жить, нужно было повертывать работу казовой стороной — именно поэтому в издательстве больше

всего ценились люди, располагавшие личными связями с писателями, умевшие по-деловому использовать эти связи.

Но однажды Кекчееву случилось быть свидетелем происшествия, которое чуть ли не обернуло вверх ногами все его размышления о писателях как казовой стороне издательского дела.

2

По комнате из угла в угол расхаживал, драматически взмахивая руками, писатель Роберт Тюфин. Кекчеев тотчас узнал его — по великолепным глазам, по шубе, с великолепной небрежностью наброшенной на широкие плечи.

Тюфин был сухощав, широкоплеч, размашист. Имя его как нельзя лучше к нему подходило. С одной стороны, он был именно Робертом, даже Робертом-Дьяволом, с ораторским пафосом, с актерскими движениями и с рассказами, шикарными, как кинематограф, с другой — Тюфиным, стало быть, человеком сердечным и нечиновным.

Дни, когда он ходил Робертом-Дьяволом, были тяжелыми днями для его жены, друзей и издателей. Он ходил слегка согбенный, как бы под тяжестью наследства, завещанного ему всей русской литературой, говорил какие-то высокие, но абстрактные слова и начинал покровительствовать прохвостам.

Просто Тюфиным он был приятнее, тоньше и умнее. Поэтическая шевелюра его, когда он был просто Тюфиным, выглядела дьячковской.

В кресле у письменного стола торчал, съежившись, старый стриженый и седой усач. Усач с наслаждением чесался. Он был пьян. Он засыпал — и, проснувшись, со свистом выпускал воздух на краснощекого редактора-здоровяка, который сидел за столом в иронической позе.

У окна, заложив руку за борт пальто, гордо вскинув голову, стоял известный не только Кекчееву поэт с надменным выражением лица. Он не слушал Тюфина, но на усача смотрел свысока. Очевидно, само поведение усача — то, что чесался и засыпал,— казалось ему оскорбительным.

— Ли-те-ра-ту-ра! Что такое, ты думаешь, литература? — значительно округляя глаза, говорил Тюфин. Он обращался к редактору, который, слушая его, хладнокровнейшим образом копался в принесенной Кекчеевым корректуре.

— Литература — это организм! Все, что я написал,— органично! Эпоха!

Здоровяк поправил пенсне и саркастически улыбнулся.

— Именно органично! — с твердостью повторил Тюфин.— Если я, скажем, пишу сейчас роман... Так ведь это ж вместе с тем организм! Ты посмотри! Каждая страница — душа! Ты можешь вообразить, что у меня черт-те где, в Киевской губернии живет мужик, знакомый мужик. Можешь?

— Воображаю,— бесплодно иронизируя, сказал здоровяк.

— Так вот этот самый мужик для меня — эпоха. Милый мой, да ведь в этом же и есть вся мощь литературы,— добавил он, внезапно смягчаясь,— да ты же врешь, ты меня понимаешь! Раньше я просто так себе писал, ей-богу, многое из одной гордости не печатал. А теперь нет — шалишь! Теперь я каждую строчку! Все! Все обязан печатать! Потому что я сам себе не принадлежу. Кому же я принадлежу? Эпохе!

— Хороший, хороший! — одобрительно сказал усач, напрасно стараясь подтащить Тюфина к себе поближе.— Хорошая душа! Настоящая, русская! Всем хорош! Одно плохо — историю не знает. Голову на отсечение — не знает! А я вот знаю. Я историю знаю, хорошо знаю. Ух! Хорошо!

Кекчеев, окончив пересмотр корректур, положил их на стол здоровяку и направился к двери. Дольше оставаться было неудобно — он покидал эту комнату с ужасным сожалением. На пороге он столкнулся с новым писателем, высоким, с выкаченной грудью и лопатообразной бородой.

Уже за дверью он слышал, как усач встретил вошедшего:

— Те-те-те, государю русской литературы наше вам рупь с гандибобером почтение! Что ж ты, фрыга заморская, не пришел ко мне вчера водку пить? Что ж ты, хомяк ты этакий, старых приятелей забываешь? Что ж ты...

3

Не было никаких оснований предполагать, что наперерез и наперекор Неве и туману лежит земля. С тех пор как Ногин, держась за гриву льва, спустился на лед, он почувствовал себя вырванным из города, из времени и пространства. В этот час между мостами Равенства и Лейте-

нанта Шмидта господствовал мир идей. Идеи дымились паром на устах Драгоманова. Он шел по узкой дорожке, усеянной жесткими крупинками снега, и говорил об ассимиляции гласных. Просохшая полоса льда исчезала за его спиной, впереди, подобная негативу, появлялась другая. Налево и направо, быть может — до самого порта, непрерывный, скучный, непохожий на вату, шел санкт-петербургский, петроградский, ленинградский туман.

«...Нет ни малейшей уверенности в том,— снова подумалось Ногину,— что этот разговор происходит в России, в Союзе республик, в тысяча девятьсот двадцать четвертом году. Быть может, это шествие через Неву, вечернее действие между ним и Драгомановым происходит в другое время и другая, особенная, университетская земля девятнадцатого века лежит за границами тумана».

И ему представилось, как блестящий арабист, профессор Сенковский, молодой и важничающий, пересекает пушкинскую Неву, пряча изрытое оспой саркастическое лицо в меховой воротник шинели. О Сенковском он вспомнил, разумеется, не случайно. Уже второй год он читал о нем, не решаясь все еще приступить к самостоятельной работе.

— ...что вся эта музыка выросла из подсчета звуковых повторов, основанных на сочетании согласных,— услышал он вдруг и понял, что не слушает, не понимает, о чем бубнит, размахивая длинной рукой, Драгоманов.

— Борис Павлович, да ведь для этой работы он должен был хоть Вандриеса прочесть,— наугад возразил он.

По счастию, Драгоманов его не расслышал, Вандриес был тут решительно ни при чем.

— Между тем и без всяких подсчетов ясно, что такие сочетания будут преобладать.— Драгоманов приостановился и вдруг далеко вперед закинул хромую ногу.— Стоит только в уме прикинуть, каково количественное соотношение гласных и согласных в разговорном языке, ну, скажем, во фразе: «Брук, Брук, где была твоя голова, когда ты подсчитывал звуковые повторы?»

Женщина в мохнатой тужурке и длинноухой шапке неожиданно приблизилась и исчезла за спиной, за туманом.

Ногин улыбнулся, чувствуя, как складывается на лице просохшая, морозная кожа. Он улыбался не этой женщине, другой. «Я знаю, что могла бы сделаться кем-нибудь, но куда прикажете деваться со своими юбками?» — припомнилось ему. Они говорили о живописи. В этот вечер он ее увидел впервые.

— Да, это очень забавно,— наугад подтвердил он и спустя несколько минут, поддерживая Драгоманова на обледеневшем подъеме набережной, с удивлением убедился, что его спутник давно уже развивает перед ним целую философию циркового искусства.

— Наступит время,— хладнокровно говорил Драгоманов,— когда к поэтам и философам будут ездить ночами на тройках, как к цыганам. Они будут ходить таборами, загрызут друг друга от зависти и вымрут. Тогда циркачи, здоровые, веселые и тупые, возьмут власть в свои руки и покажут, что такое настоящее искусство площадей, набережных и проспектов. Это будет республика циркачей, на манер платоновского государства ученых. Укажите мне другое искусство, которое на протяжении веков с такой тщательностью соблюдало бы принцип естественного отбора. Голый человек натягивает канат и, цинически улыбаясь, ходит под облаками. Ни один поэт в мире не подвергался такой опасности, чтобы показать свое искусство, и ни один не был так близок к небу.

Ногин понять не мог — шутит он или говорит серьезно. Он, очевидно, шутил. Впрочем, в его любовании циркачами чувствовалась зависть хромого.

Они возвращались от одного из бесчисленных приятелей Драгоманова, какого-то циркача, который называл себя Кайиро Сато. Он не был японцем. У него было настоящее русское имя, простое, как табачный дым.

Они прошли в университетский двор, сторожевая шуба, в которой затерялся крошечный седой человек, подозрительно поглядела им вслед из похороненной под снегом будки.

Ногин начал прощаться. Драгоманов коротко спросил: «А чаю?» — и, не дожидаясь ответа, прошел дальше. У ректорского домика он остановился и попытался, должно быть без всякой нужды, прочесть какое-то объявление, наклеенное на входных дверях. Ногин зажег спичку, прикрыл огонек ладонями. Друзья и знакомые покойного профессора Ершова извещали о времени и месте панихиды. Драгоманов взглянул на объявление и равнодушно махнул рукой.

— Знаю, читал,— скучно пробормотал он.

Неуклюжее ночное здание в университетском дворе, носившее странное название «Jeu de paume» [1], встало им

[1] Игра в мяч *(фр.)*.

поперек дороги. Они прошли под воротами, во второй двор, к университетскому общежитию.

Ногин открыл дверь и приостановился, пропуская вперед Драгоманова. Драгоманов пролез в двери, тотчас же обернулся и с деревянным выражением лица протянул ему руку. Он как будто только и дожидался удобной минуты, чтобы избавиться от своего ученика. Ни о каком чае он не вспоминал больше.

Торопливо и даже грубо отняв свою руку от Ногина, он прихлопнул за ним дверь и, оставшись в темноте, начал подниматься по лестнице — по-солдатски топая хромой ногой и по-женски скользя здоровой.

Невзирая на поздний час, он пел довольным басом французскую песенку.

Язвительная вонь общежития обступила его, когда он добрался до своей комнаты, помещавшейся неподалеку от кухни. В комнате был свет. Он сморщился — и в уме примерно перебрал тех, кого ожидал встретить. В лучшем случае это мог быть один из кредиторов, он охотно брал в долг даже у полузнакомых людей, в худшем — вернулась жена. Должно быть, последнее предположение заставило его с некоторой торопливостью отворить двери.

У стола стоял на коленях и шарил по полу руками старичок с тонким, интеллигентным до гадости лицом. Не поднимаясь с колен, он беспомощно вылупил на Драгоманова голубые, испуганные глаза. Этот человек не походил на настойчивого кредитора, который, несмотря на поздний вечер, мог бы явиться к должнику за получением денег. Тем менее мог он напоминать драгомановскую жену.

Он был растерян и несчастен.

Драгоманов улыбнулся, поклонился и сел на кровать. Голубые, беспомощные глаза и седая академическая бородка его восхищали.

— Ложкин,— сердито пробормотал старичок и наугад протянул руку.— Не понимаю, понять не могу, каким образом потерял пенсне. Как будто разбилось, очень звякнуло. Впрочем, надеюсь, что одно стекло еще цело.

— Позвольте, я вам помогу,— серьезно отвечал Драгоманов. Он взял старый зонтик и принялся шарить им под столом. Куча картофельной шелухи, селедочных головок и еще какой-то дряни вылезла на середину комнаты. Ложкин, не понимая, потрогал ее ногой. Драгоманов сконфузился и сердито запихал кучу обратно.

Теперь только он заметил, что постель его не прибрана, на столе, вместе с рукописями, валяются ошметки хлеба, на лампочке висит дырявый носок; окно завешено грязной простыней. Он поднялся с колен и мрачно посмотрел на Ложкина. Профессор, обратившийся в невинное голубоглазое дитя с академической бородкой, чуть ли не готовое при первой оказии заплакать,— тщетно старался засунуть под кровать кочергу.

Драгоманов успокоился и вскоре нашел пенсне, лежавшее, как это всегда бывает с потерянными предметами, на самом видном месте.

— Нашли? — с просветлевшим лицом спросил Ложкин.

Драгоманов задумчиво посмотрел на пенсне и вдруг сунул его под газету, валявшуюся на окне. К чему могло это послужить, он и сам не знал. Минуту назад ему даже в голову не приходило шалить так странно со своим почтенным посетителем. Впрочем, это была мрачная шалость. Он устал, ему спать хотелось.

— Нету,— отвечал он решительно,— не нашел. Да вы присядьте, Степан Степанович. Оно найдется. Не провалилось же оно в самом деле сквозь землю.

Ложкин ощупью сел.

— Нет, видите ли, очень трудно разговаривать без пенсне,— грустно сказал он.— Вы меня знаете?

— Имел величайшее удовольствие слушать ваши лекции на втором и третьем курсе нашего университета,— с непринужденной, аристократической вежливостью отвечал Драгоманов.

— Я тоже много слышал о вас, Борис Павлович. Очень много... Я, может быть, вам мешаю? Кажется, уже поздно, вы, вероятно, уже спать собрались?

— Ну, какое там спать. Я ложусь в четвертом, пятом часу.

— Странное дело,— торопливо пробормотал Ложкин и внезапно покраснел, робкий, пористый румянец проступил на его лице,— собираясь к вам, я отлично знал, о чем намеревался с вами поговорить, а вот теперь все как-то перепуталось, не знаю, с чего начать.

Драгоманов смотрел на него с тайным удовольствием, в котором он сам себе не желал признаваться: ординарный профессор краснел перед ним, краснел и терялся. Это было забавно. Это значило, что бунт — небольшой, университетский, карманный — удался, окончился его победой. Он

бунтовал грязной комнатой, дружбой с мошенниками, скандалами на ученых собраниях.

Впрочем, Ложкин тут же оправился. С достоинством поджимая губы, с нарочитым вниманием глядя мимо Драгоманова.

— Не подумайте, Борис Павлович,— сказал он,— что я пришел к вам с тем, чтобы просить о каком-нибудь одолжении. Я пришел хоть и по личному почину, по намерен говорить с вами как старейший член корпорации, к которой и сами вы принадлежите.

Драгоманов порылся в карманах пиджака и, равнодушно улыбаясь, протянул профессору папиросы. Папиросы были плохие, третьего сорта.

— Я вас слушаю,— ответил он очень серьезно.— Хотя не вполне уясняю себе, что вы понимаете под этим словом. Ну, какая же корпорация? Университет?

Ложкин встал и, натыкаясь на стулья, отдуваясь, пошел по комнате.

— Видите ли, я не думаю, что какая бы то ни было корпорация может диктовать своим членам правила поведения...

— В наше время.

— Особенно в наше время. Да и вообще я бы не хотел, чтобы вы приняли мои намерения в оскорбительном смысле. Но лично меня, меня лично все это крайне занимает...

Драгоманов придвинулся поближе к столу, поставил локоть на стопочку книг, подперев голову ладонью.

— А что именно занимает? — спросил он задумчиво и бог весть почему не расслышал ответа. Ложкин говорил о чем-то ровным и тихим, как во сне, голосом. Он вертел в пальцах карандаш и казался теперь очень взволнованным — именно таким, какими бывают люди во сне. Драгоманов сквозь сощуренные веки смотрел на него. Ему вспомнилось, как десять или двенадцать лет тому назад он, первокурсником, ежедневно встречал Ложкина выходящим из университетского подъезда — в высоком цилиндре, в легком пальто с шелковыми отворотами. Первокурсник, которому каждый профессор казался заместителем бога на земле, робко кланялся. Профессор вежливо и холодно приподнимал цилиндр. И золотое пенсне, другое, не то, что лежит на окне под газетой, как рыбья чешуя, сверкало на солнце... Законченная, совершенная система шагала в ту пору по земле — в зеркальном цилиндре, в легком пальто с шелковыми отворотами.

— Вы его знали? — услышал он где-то очень близко и очнулся.

— Простите, я прослушал... кого?

— Профессора Ершова?

— А как же, обязательно знал,— устраивая второй локоть на стол, сказал Драгоманов.

— Этот человек,— с торжественностью, слегка старомодной, говорил Ложкин,— с восемнадцати лет посвятил себя науке. Жил затворником, ни с кем не видался, работал с утра до поздней ночи. В молодости был страстно влюблен в отличную, почтенную женщину — я ее лично знал — и не усомнился отдать ее другому. Отказался от друзей, не позволял себе ни малейшей прихоти. И все это в полной уверенности, что из него выйдет, благодаря подобной твердости, ученый по меньшей мере европейского масштаба. На прошлой неделе служили по нем панихиду. Ничего не вышло. И не женился, и ученым не стал. Ведь, в сущности говоря, за двадцать пять лет написал одну книгу, и та из рук вон плоха, читать невозможно.

— Он, кажется, с ума сошел? — сонным голосом спросил Драгоманов.

— Да, сошел с ума,— торопливо подтвердил Ложкин,— сошел с ума в день двадцатипятилетнего юбилея научной деятельности. Как говорят, взял лист бумаги, разделил на двадцать пять частей, стал подводить итоги и помешался.

Драгоманов с участием покачал головой.

— Я что-то не припоминаю,— задумчиво пробормотал он,— если не ошибаюсь, вы, Степан Степанович, с девяносто восьмого года в университете или с девяносто девятого?

Ложкин остановился посредине комнаты, насупился, постарел, морщинистая черная шея вылезла из воротника.

«Он похож на японца»,— внезапно подумал Драгоманов.

— Что ж, вы в самом деле думаете, что я к двадцатипятилетнему юбилею должен непременно с ума сойти?

— Н-нет, не думаю,— вежливо сказал Драгоманов,— не непременно сойти с ума, почему же?..

Ложкин посмотрел на него и рассмеялся.

— Тут, видите ли, есть какая-то крупнейшая ошибка,— сказал он и снова сел,— то есть не крупнейшая, наоборот, мельчайшая, до такой степени ничтожная, что ее трудно приметить. Но ошибка, допущенная в условиях задачи, к моменту решения принимает размеры астроно-

мические. Старый, закаменевший над рукописями славист сидит на торжественном заседании в Академии наук и думает, что он по призванию, кажется, должен был стать репортером. Внезапно оказывается, что все — гиль, чепуха. И что самое страшное — за двадцать пять лет условия задачи забыты...

Он сказал еще несколько фраз и замолчал. В комнате было тихо. На мгновенье ему показалось, что в комнате, кроме него, никого и не было — он один, лицом к лицу с бессмысленными предметами, потерявшими значение и очертания. Он растерянно мигнул и привстал со стула. Драгоманов спал, спрятавшись в тень, неслышно дыша, уронив голову в руки.

4

Между мостами Равенства и Лейтенанта Шмидта, снежная и ночная, под изодранной луной, лежит Нева, туман пропал, возвращенное городу пространство торжествует, светлеет, готовится к зимнему утру.

Заложив руки за спину, закинув голову, разглядывая черное небо, лоскут луны, Ногин шагает в этот час между мостами Равенства и Лейтенанта Шмидта.

День кончен. Университет, лингвистика, Драгоманов забыты до утра. Он свободен покамест, он может думать о школьных друзьях, о прошлогоднем снеге или хотя бы о женщине, которую он сегодня увидел впервые.

Ее зовут Вера Александровна. Ну и что же? Нет, ничего особенного, он просто припомнил имя.

Неподалеку от набережной он бросает в снег перчатку, проходит несколько шагов, быстро оборачивается, поднимает и, улыбаясь, подносит ее... Кому? Он сердито пожимает плечами. Какое мальчишество, бредни... Литература!

И тем не менее он предлагает кому-то руку, чтобы помочь взобраться на крутой подъем набережной. Рядом с ним никого нет, он идет один, и это выглядит, должно быть, очень забавно.

Стеснительно улыбаясь, посмеиваясь,— что ж ты, братец, влюблен? ты влюблен, Всеволод, что ли? — он скользит по накатанной мостовой мимо якорей Адмиралтейства.

Костер шатается в устье Невского проспекта, он подходит к костру, пытается закурить — замерзшими, но весе-

лыми губами спрашивает о чем-то у милиционера. Милиционер трет рукавицей щеки, стряхивает растаявший снег с воротника шинели. И Ногин начинает смеяться — беспричинно. Он начинает болтать без конца. Он для чего-то отдает милиционеру все свои папиросы. Над ним смеются, он сам смеется над собой, он не узнает самого себя. Костер догорает, все расходятся, он догадывается наконец, что пора возвращаться домой, что ночь на исходе, что он влюблен.

Но, быть может, все это мальчишество? Бредни? Литература?

5

Строго говоря, в Наличном тупике был только один дом. Бог весть какому чудаку из Откомхоза пришло в голову прибить к его воротам фонарь с тридцать четвертым номером. Таким количеством домов Наличный не мог похвастать и в довоенное время. Равным образом и тупиком он был прозван без достаточных оснований. Революция, ненавидя тупики, приложила все усилия к тому, чтобы разбить и растащить по кирпичам дома, стоявшие поперек дороги гражданину пешеходу. Тупик был превращен в переулок. Тем не менее редкий пешеход прельщался возможностью прогуляться по этому переулку. Разве какой-нибудь подвыпивший, назло мусульманскому закону, татарин-тряпичник проходил, размахивая пустым мешком, ругаясь по-русски, да вылетающие откуда-то из-под земли беспризорные бежали за ним, бросаясь камешками, дразня его «халатом» и распевая:

Татарин-басурман
Положил кошку в карман...—

на что татарин, внезапно исполнившись желанием пожертвовать собой, молча расстегивал рубаху и подставлял коричневую грязную грудь под камешки и комочки грязи, летевшие в него градом.

По преимуществу в доме и жили тряпичники и беспризорные. Такому отбору, быть может, то содействовало, что неподалеку в пустырях были устроены, разумеется явочным порядком, мусорные свалки. Огромные кучи мусора высились окрест Наличного переулка. Это были местные Пиренеи, тряпичники с утра до позднего вечера сидели на

них, дыша горным воздухом, копаясь в мусоре крюками и палками.

Впрочем, Пиренеи эти пользовались дрянной славой. Всякий сброд и сволочь квартировали в пустырях, и даже милиция не всегда решалась напомнить кому следует о том, что, кроме Наличного переулка, есть еще Гороховая, Шпалерная, Фонтанка.

Ногин жил в четвертом этаже, в разоренной, отсыревшей, запущенной квартире. Хозяин ее, полумертвый старик татарин, лежал в огромной пустой зале, посередине всего своего жилья, и парализованными глазами следил, как расхищали его добро родичи и единоверцы. Еженедельно впадавшая в бешенство старуха ухаживала за ним. Время от времени, по ночам, Ногин просыпался от шума, грохота, бешеных криков за стеной. Старуха швырялась стульями, проклинала больного, ругалась по-татарски, по-русски и, наконец, на каком-то одному дьяволу известном языке. Нельзя было понять, чем она недовольна. Должно быть, старик раздражал ее медленностью своего умирания.

Не стараясь уснуть, Ногин долго ходил по комнате, накинув на себя одеяло, следя в темноте за красным огоньком своей папиросы. Незнакомые слова арабскими буквами отпечатывались в его мозгу, и усталость, отошедшая было за два-три часа сна, возвращалась к нему вслед за ними. Он много работал последние дни — и не только для того, чтобы затушевать горькое сознание своей отчужденности от яростного лета событий, который в каждой газетной строке скользил перед его глазами. Со времени поступления в институт он уверил себя, что эта отчужденность необходима ему для самой работы.

Нет, другая, более близкая причина заставляла его, зажимая ладонями уши, сидеть над сборниками арабских документов до тех пор, покамест черная пелена не затягивала тонкие, как пчелиные лапки, неразборчивые очертания.

Он подходил тогда к окну и часами смотрел на рыжие облака, казавшиеся мусорными кучами, сменившими землю на небо.

И в конце концов настойчивая и беспощадная работа, жадное стремление поставить ногами вверх все свое языковое мышление взяло его в свои руки. Казалось, стоило только повернуть в голове какой-то рычаг — и все исчезало: и ночь на Неве, и проклятия старухи за стеной; арабское спряжение, как гигантский метроном, начинало сту-

чать в его голосе, над квартирой татарина, над домом, над всем переулком:

Катала, Каттала, Каатала, Такаатала...

Рыжие облака проплывали мимо, ночью на Неве ему приснился какой-то детский бред, и, наконец, что из того, что он встретился с милой женщиной, которую, должно быть, никогда не увидит больше? Все это пустяки! Романтика, литература бродит в его крови и мешает заучить бесстрастную систему арабского спряжения:

Катала, Каттала, Каатала, Такаатала...

Он ринулся в грамматику с головой, учил слова, часами рвал себе горло на гортанных звуках. Профессор, у которого он работал, молодой и педантичный, начал ему улыбаться, две перезрелые девицы — его соседки по курсу, служившие некогда в Русско-палестинском обществе,— начали его ненавидеть.

Только однажды, впрочем, пустой случайностью он был оторван от работы.

В этот вечер он впервые взялся за перевод из Корана. Он переводил первую суру, короткую, но исполненную яростного вдохновения. Ее надлежало разъять на грамматические формы, но он забыл об этом. Он читал ее полным голосом, позабыв о больном хозяине за стеной и о старухе, которая спала не менее чутко, чем сторожевая собака.

Он не кончил: кто-то осторожно постучал к нему в двери. Стук был тонкий, ногтем или обручальным кольцом. Ногин привстал, отодвинул стул, прислушался. Никто не мог в такой поздний час стучаться к нему; забегая вперед, он решил, что либо сверчок трещит в гулких, отклеившихся обоях, либо мыши швыряют известку по углам.

Слегка обеспокоенный, но все же улыбаясь, он пошел отворить двери. Постучали вторично. Маленький старичок с курчавой бороденкой, в драповом пальто, в туфлях на босу ногу стоял на пороге его комнаты и жужжал. Казалось, он сам был немного испуган своей смелостью. Ногин, слишком утомленный, чтобы удивляться, молча смотрел на него.

— Никак не сумел уснуть,— пожаловался старичок и вдруг, мимо Ногина, принялся с очевидным интересом рас-

сматривать его комнату.— Может быть, возможно ваши занятия вести шепотом или ну хоть не в полный голос. Не могу уснуть, как ни стараюсь. Уж я всех до одного школьных товарищей перебрал и дышал во всю грудь, как врачи советуют против бессонницы, ну, никак! Поэтому только и решился вас обеспокоить... Извините...

— А что вы здесь делаете? — спросил его Ногин.— Как вы сюда, в эту квартиру, попали?

— Я попал сюда, в эту квартиру, в качестве комнатного жильца,— обстоятельно объяснил старичок и добавил шепотом: — Вторую неделю здесь живу, живу вторую неделю. Должно быть, по причине усиленных занятий вы меня до сих пор не успели приметить.

Он поднял голову, ухмыльнулся, заросшее кудлатое лицо его было немного похоже на морду пса.

— Неужели уже вторую неделю? — торопливо переспросил Ногин. Со стороны ему вдруг чуть ли не безумием каким-то причудилась вся эта бешеная работа взаперти над арабской грамматикой.

— Ну, так извините еще раз,— стесняясь, повторил старичок.— Еще раз извините... Я на всякий случай постучал... Может быть, ничего, если и в полный голос. Постараюсь уснуть. Спокойной ночи.

Еще раз заглянув в комнату Ногина, он повернулся и пошел прочь по коридору. Это был Халдей Халдеевич, хранитель рукописей, жужжащий канцелярист.

Но странное дело! Когда Ногин взглянул ему вслед, что-то в походке, в нескладном помахивании левой рукой, в манере закидывать голову при каждом шаге напомнило ему... Кого?

— Наоборот, вы меня извините! Это я помешал вам уснуть. Спокойной ночи! — спохватившись, крикнул он, хотя никого уже не было в коридоре, и, притворив двери, вернулся к своим занятиям. Однако же первая сура на этот раз показалась ему не в меру приподнятой, слишком литературной. Он захлопнул Коран, повернул выключатель, стал раздеваться.

Уже засыпая, он решил, что на этой неделе непременно нужно съездить в Лесной. В Лесном целой коммуной жили экономисты — его земляки и друзья. Он не был у них почти полгода.

Длинный преданный нос одного из них припомнился ему, и — впервые за все время своего отшельничества — он радостно усмехнулся.

6

Некрылов открыл глаза и мгновенье спустя снова закрыл. Глаза ни открывались, ни закрывались. Очевидно, наступало утро. Очевидно, и ему пора было наступать. Или наступить. На что наступить? Или куда наступать? Его ожидали деловые разговоры. Да, он будет наступать. Он наступит.

Только теперь он заметил, что лежит на незнакомом диване, в комнате, которую он забыл. Он ночевал у Сущевского. Сущевский был милый человек и пьяница, но плохой писатель. Кроме того, он богател — в прошлом году этой ширмы с аистом не было. «Они тут отсиживаются в своих ленинградских берлогах и богатеют,— подумалось ему.— Сущевский не должен богатеть. Если он купит еще кожаный кабинет, он совсем писать не сможет».

Утренняя немота и неразбериха лезли ему в голову. Сердитый и серый, как крот, он встал и быстро натянул брюки. На обеденном столе он нашел прислоненную к сливочнику записку: «Виктор, питайся, милый. Я вернусь к пяти. Ночью тебе звонил Драгоманов. Памятуя вчерашний опыт, я тебя будить не решился».

Отфыркиваясь, он вылил всю воду из умывальника на свое голое темя.

«Я заеду к Драгоманову часа в четыре,— решил он.— Досадно, что у него нет телефона». Он быстро съел все, что стояло на столе. Какое-то холодное мясо ему понравилось. Может быть, и ему нужно так жить — с вот такой ширмой и холодным мясом по утрам?

И он тут же решил, что, не наскандалив, не уедет из Ленинграда.

«Все дело в том, что они зазнались,— брюзжал он про себя, царапая на какой-то квитанции ответную записку Сущевскому.— Они зазнались, они до такой степени чувствуют себя великими писателями, что перестали даже завидовать друг другу. Еще завидуют, и то все реже, жены. Жены тоже нашли свое дело. Мужья уважают друг друга, а жены покупают мебель. Скоро диваны будут в чехлах, а меня будут укорять за то, что я еще не купил себе фетровую шляпу. Классики!»

И он вспомнил, что лет восемнадцать назад по Петербургу бродил оборванец, который жил исключительно на

счет гимназистов. Завидя гимназиста, он становился во фронт и говорил ему: «Гсдин классик! Caro, arbor, linter, cos! Гсдин классик! Sic!»

И классики кормили его своими завтраками.

7

Со времени первой книги, которой исполнилось уже пятнадцать лет, его больше всего тяготило то обстоятельство, что его имя — Виктор Некрылов — выглядело плохим псевдонимом. Странное чувство, которое испытывает в минуты острого сознания человек,— когда собственная фамилия кажется незнакомой, досаждало ему постоянно.

Он натыкался на свою фамилию. Она мешала ему работать. Ежеминутно он пробовал ее на вкус. Фамилия была псевдонимом. А псевдонимы он ненавидел.

Покамест ему удавалось легко жить. Он жил бы еще легче, если бы не возился так много с сознанием своей исторической роли. У него была эта историческая роль, но он слишком долго таскал ее за собой, в статьях, фельетонах и письмах: роль истаскалась: начинало казаться, что у него ее не было. Тем не менее он всегда был готов войти в историю, не обращая ни малейшего внимания — просят его об этом или нет.

Его нельзя было назвать фаталистом. Он умел распоряжаться своей судьбой. Но все-таки в фигуре и круглом лице его было что-то бабье. Быть может, чувствительность, унаследованная от деда — немецкого музыканта, придавала ему это сходство. В сущности говоря, он любил всплакнуть. И это были страшные минуты.

Время шло у него на поводу, биография выходила лучше, чем литература. Но литература, которая ни с кем не советуется и ни у кого не спрашивает приказаний, перестраивала его. Он жаловался в своих книгах, что жизнь отбрасывает его в сторону от настоящего дела. Он не замечал, что это было гурманством.

Он писал хорошие книги — о себе и о своих друзьях. Но друзьям он давно изменил — они оказались нужны ему только для одиночества или усталости. Он полнел, и усталость приходила все реже.

Строго говоря, у друзей осталась его легкость, его молодость. Ни молодости, ни легкости уже нельзя было вернуть, и он кое-как обходился без того и без другого. Впрочем, его еще очень любили, и все оставалось как бы по-

прежнему. У всех была слабость к нему — ему многое покамест прощалось.

Когда-то вокруг него все сотрясалось, оживало, начинало ходить ходуном. Он не дорожил тогда своей беспорядочностью, вспыльчивостью, остроумием. Теперь то, и другое, и третье он ценил дороже, чем следовало. С каждым годом он все хуже понимал людей. Он терял вкус к людям. Иногда это переходило на книги.

Он был лыс, несдержан и честолюбив. Женщины сплошной тучей залегли вокруг него — по временам из-за юбок он не видел ни жены, ни солнца.

Но его литература уже приходила к концу. В сущности, он писал только о себе самом, и биографии уже не хватало. Он сам себе стоял поперек дороги. Выходов было сколько угодно. Но он малодушием считал уходить в историю или в историю литературы. От случайной пули на тридцать восьмом году он умирать не собирался.

8

У подъезда издательства он столкнулся с роскошным человеком в роскошной шубе — Робертом Тюфиным.

Некрылов обрадовался, когда узнал его. Вот кого ему с самого утра хотелось обидеть! Он даже не взял на себя труда предварить обиду какими-нибудь промежуточными словами.

— Что пишешь? — спросил он быстро.— Опять роман? Все пишут романы. Весь мир. В трех томах, в четырех, в пяти?

Тюфин серьезно посмотрел на него. Он плохо понимал шутки. Да, впрочем, здесь шуткой и не пахло.

— Хоть и не в трех томах, но все ж действительно роман пишу,— осторожно ответил он,— а что у вас, в Москве, тоже такими делами начали заниматься?

— Сколько ты мне заплатишь, если я тебе твой сюжет расскажу?

Тюфин величественно рассмеялся.

— Нет, не хочу,— говорил он, хрипя от смеха и откашливаясь,— я и сам свой сюжет отлично знаю. Ты уж брось, ей-богу, со своими сюжетами тут...

— Напрасно не хочешь! — Некрылов даже не улыбнулся.— Ты бы мог с большой выгодой для себя чем-нибудь воспользоваться.

— Что-то, Виктор, совсем перестал тебя понимать,— начиная обижаться, холодно сказал Тюфин.

— А я что-то не припомню, чтоб ты меня когда-нибудь понимал,— быстро пробормотал Некрылов,— понимаешь, в чем дело: ты и Эренбург все время пишете одно и то же. Ты не обижайся, Эренбург неплохой писатель. Тема одна и та же. Близкие люди в разных лагерях. Меняется родство. Либо отец и сын, либо мать и дочь, либо сестры. Угадал? Белый попадает к красному. В плен. Красный отпускает или не отпускает. Все равно, читать невозможно. Угадал?

Все это было, разумеется, до крайности некорректно и не к месту. Никто не вызывал его на этот разговор. Он сам не знал еще, нужно ли ему показать, что он не дорожит здешними ленинградскими связями — дружескими, а может быть — деловыми. Но он злился. Ширма с аистом, холодное мясо, мебель — нет, он должен был все это обидеть! Он чувствовал себя хозяином, у которого в доме за время отсутствия произошли беспорядки. В Москве он не стал бы так говорить с литераторами. Там был другой тон и другие связи.

Он угадал и обидел. Тюфин говорил что-то о том, что все дело в наивности, что «Расея — мощь», что Некрылов оторвался от литературы, что он чужой человек, русский иностранец, Иван Федоров из Парижа... «Скажем, Толстой, Лев Николаевич Толстой...»

— Толстой? — перебил его, отчаянно мотая головой, Некрылов.— Непохоже. Тут не Толстой. Ты узнаешь, кто ты такой? — Он посмотрел на Тюфина веселыми и злыми глазами, голым черепом, курносым лицом.

— Ты Станюкович! Он не только морские рассказы писал. Морские — лучше. У него есть романы, в трех, четырех, пяти частях. Вот эти романы ты и пишешь. Ты почитай! Очень похоже. В теории литературы это называется конвергенцией!

9

К Драгоманову он попал не в четыре часа, как предполагал утром, а в начале восьмого.

Деловые разговоры в издательстве окончились его победой. Он наступал и наступил и ушел с деньгами.

Он явился к нему все еще злой, но уже с женщиной.

Три китайца, лопоча что-то, всхрапывая, щелкая языком, как дети, уступили ему и его спутнице комнату и самого Драгоманова.

Женщина была молчаливая, светловолосая, в меховой шубке и очень хороша собой. Некрылов отрекомендовал ее Верочкой Барабановой. Драгоманов поклонился и сказал, что как-то однажды имел уже удовольствие встречаться с Верой Александровной у одного циркового артиста, Кайиро Сато.

— Да, ты ее знаешь, она славная, видишь она какая, она рисует,— сказал Некрылов почти жалобно, отнял у нее шляпу, усадил в кресло.

— Послушай, Боря, почему ты все еще здесь живешь? — начал он быстро.— Что это такое — твои китайцы, это общежитие? Зачем тебе все это нужно? У тебя денег нет? Или тут у вас комнаты нельзя достать другой, что ли?

— А я все собираюсь к неграм банту, в Центральную Африку,— задумчиво и очень серьезно сказал Драгоманов,— так вот решил, что до отъезда не стоит уж менять комнаты. И кроме того, почему же? Здесь очень удобно. Все под руками.

Некрылов посмотрел — шутит он или нет. Год от году драгомановские шутки обертывались не шутками, а биографией — и не очень веселой, как видно: комната была запущена, грязна, пол запорошен папиросными окурками.

«У него нет денег, он не идет на легкий заработок»,— подумал Некрылов.

— Боря, тебя очень уважают в Москве,— сказал он, нарочно забывая про Африку и отвечая своим собственным мыслям о Драгоманове,— вообще нас всех уважают. Я пишу о тебе в последней книге. О тебе была статья, читал? В «Печати и революции». Но послушай, Боря, эта комната и китайцы... Зачем тебе, притворяться Робинзоном Крузо? Это тебе важно для работы?

Он уже ходил по комнате и трогал вещи. Схватив со стола рогатую подставку для перьев, он раскачивал ее, крутил, продевал в нее пальцы. Это помогало ему говорить.

— Ну, если я Робинзон, так ты представитель от обезьян на необитаемом острове,— ленивым басом сказал Драгоманов.

Некрылов захохотал, и Вера Александровна улыбнулась.

— Это хорошо,— быстро сказал он,— именно представитель от обезьян. Но я ошибся, ты не Робинзон, ты скучнее. Знаешь, у Всеволода Иванова есть рассказ о купеческом сыне, который ушел в пустыню и стал отшельником. К нему начали ходить на поклонение, пустыня застроилась, вырос город. Он опять ушел, опять стали ходить на поклонение, снова пустыня застроилась, снова вырос город. Хороший способ застраивать пустоши! — перебил он самого себя, засмеявшись.— Так вот, он о тебе писал. У тебя комната образца девятнадцатого года, а кругом застроились.

Драгоманов махнул на него рукой.

— А ты все и не о том говоришь совсем,— задумчиво сказал он,— ты же сам очень плохо живешь, Витя. Я знаю, что плохо. Ты вот, это я из газет знаю, чем-то там, кинематографом, кажется, занялся. Так это ж пустяки, а?

— Вот-вот, он и меня тоже огорчает, кинематографом занялся,— сказала очень сердечно Вера Александровна.

Она держалась как близкий Некрылову человек. Он по временам подходил к ней и, не прерывая своей обвинительной речи по поводу драгомановского способа жить, гладил ее, как-то трогал за руку, за плечо. «Милая женщина»,— подумал Драгоманов.

— Нет, вы хорошенько расспросите его, как он сам-то живет в Москве,— сказала она наконец и, отодвинув рукав пальто, взглянула на часики.

— Виктор Николаевич, если вы хотите еще заехать куда-то в Капеллу, так нам пора собираться.

— Вот видишь, Боря, что она со мной делает,— еще жалобнее сказал Некрылов и схватил ее за рукав.— Я с тобой не успел двух слов сказать. Понимаешь, я сам отлично знаю, что кино — это искусство для дефективных детей. В Капелле — литературный вечер. Если ты не занят, проводи нас. Черт с ним, с кино! Я тебе расскажу, что я думаю насчет лингвистики в теории литературы.

10

— Vanitas vanitatum et omnia vanitas! [1]

Привычку говорить пошлости по-латыни Кекчеев приобрел во время своего кратковременного пребывания па

[1] Суета сует и всяческая суета *(лат.)*.

филологическом факультете Ленинградского университета. Латинские изречения помогали ему круглее строить речь и презирать людей, не получивших классического образования. Он не упускал случая сказать при начальствующем лице какую-нибудь латинскую фразу. «Timeo danaos et dona ferentes» [1] или «Omnia mea mecum porto» [2] — безошибочно подходили ко всем без исключения происшествиям — международным, служебным или личным. Это выглядело шуткой и в то же время заставляло относиться к нему с некоторым уважением — тем более что за десять лет войны и революции латынь была основательно забыта даже самими латинистами.

Кроме того, эти афоризмы как нельзя лучше шли к его юношеской медвежеватости и важности, с которой он носил свои заграничные очки и фетровую шляпу.

«Vanitas vanitatum et omnia vanitas» — было сказано о программе литературного вечера в Академической капелле. Он сидел в боковой ложе, рядом с эстрадой, и иронизировал, впрочем, в меру — по поводу стрекозоподобной машинистки, делавшей ему глазки снизу, из партера, по поводу толстой дамы из «Прибоя», которая с монументальной грацией вертелась рядом с ним, по поводу рыжего мха, который рос на ее шее, наконец, по поводу писателей, которые галдели неподалеку, в проходе, готовясь к выступлению.

Тихий бородач, делопроизводитель торгового сектора, вежливо слушал его.

Эстрада была освещена. По ней вот уже с полчаса бегал туда и назад хорошенький мальчуган с красными ушами, должно быть, распорядитель. Все следили за ним с сочувственным видом.

Вечер открылся вступительным словом робкого и мало кому известного человека в широких штанах. Он был маленького роста и говорил шепотом, про себя. Удалось все-таки разобрать, что попутчиками он недоволен. По его мнению, они писали что-то не то и часто сбивались на неблагонадежную идеологию.

С ними было очень много хлопот. За ними следовало, по мнению докладчика, неустанно следить, следить не покладая рук.

Поэт с громоподобным голосом выступил вслед за ним.

---

[1] Боюсь данайцев и дары приносящих *(лат.)*.
[2] Все мое ношу с собой *(лат.)*.

Грудь у него была как плита, телосложение мощное. Когда, уверяя всех, что «над пажитью туманной взошла его звезда», он двинул себя в грудь кулаком — в зале раздалось и долго затихало на хорах гуденье, подобное похоронному звону.

Ему долго аплодировали.

Вслед за ним с неприятной поспешностью стали выступать прозаики. Все они были как-то на одно лицо — и маленький кучерявенький, и длинноногий с демоническим лицом.

Но длинноногий с демоническим лицом не окончил. Шум зашагал по зрительному залу, все оглянулись.

Любопытство, накатившее как гроза, летело между рядами стульев, повертывая глаза и плечи.

Некрылов, немного припрыгивая, таща за рукав меховую шубку, из которой глядело сердитое лицо Веры Александровны, проскочил вдоль зрительного зала. Он шел в артистическую,— в Капелле почему-то нельзя было попасть туда иначе, как пройдя через эстраду.

За ним шествовал, равнодушно топая хромой ногой, Драгоманов.

Бородач из торгового сектора, очень интересовавшийся всеми без исключения знаменитыми людьми, толкнул Кекчеева в бок и глазом показал на Некрылова.

— Кто это? — внезапно вспыхнув, спросил его Кекчеев.

— Он снова приехал из Москвы,— тихо пробурчал бородач,— вы его не знаете? Его вся Москва, весь Ленинград знает. Это Некрылов.

Прозаик с демоническим лицом фальшивым голосом читал что-то о белогвардейцах, толстая дама из «Прибоя» неприлично подсвистывала носом, и рыжий мох на ее шее качался с унылой монотонностью.

— Я спрашивал не про него! Про эту женщину, которая шла с ним,— пробормотал Кекчеев.

11

Сущевский, беллетрист, байбак и пьяница, негромко бил в барабан, забытый музыкантами в артистической комнате Капеллы. Он только что вернулся с эстрады. Забывшись, он читал без конца, распорядитель, хватаясь за голову, попросил его скромную жену послать ему на эстраду

записку. Она написала: «Валька, кончай!» — и он оборвал на полуслове.

Смущаясь, он вернулся в артистическую и именно от смущенья, не зная, что с собой делать, негромко бил в барабан.

Здесь было весело, а в зале страшная тоска, он был очень рад, что возвратился. Жена старалась не смотреть на него, он огорченно объяснялся с ней и подлизывался.

Но скука, скучная как пыль, через эстраду переползала уже и в артистическую. Быть может, поэтому Некрылова встретили радостнее и шумливее, чем обычно.

Он говорил что-то очень быстро и со всеми сразу, знакомил всех со своей спутницей, и даже те, которые хаяли его заочно, полезли к нему с разговорами.

С Сущевским он расцеловался и попытался поцеловать его жену. Он поблагодарил ее за холодное мясо и сказал, что к ней очень идет пионерский галстук. Она покраснела — у нее уж сын подрастал — и не нашлась, что ответить.

А он уже болтал с другим, с третьим.

Драгоманов, важный, прямой, спокойный, ни с кем не здороваясь, предложил Вере Александровне стул и сам сел рядом с ней.

— Вера Александровна, извините за намек, что это Виктор затащил нас в эту академию десиянс? — спросил он шутливо и вдруг осекся, увидев, что Вера Александровна едва сдерживает себя, чтобы не заплакать. Был уже поздний час, и по дороге в Капеллу она очень просила Некрылова не заходить на вечер и ехать прямо... Куда? Как будто к ней, домой.

«Она обещала своим друзьям привезти Виктора с собой»,— догадывался Драгоманов.

Он очень серьезно посмотрел на нее и заговорил о другом. И все вокруг говорили не о том, о чем следовало говорить. Некрылову льстили, все были его лучшими приятелями, все хлопали его по плечу, все интересовались его книгами, его делами. Правду говорил один Сущевский, да и то потому только, что был пьян.

— Послушай, Виктор, а ведь ты что-то не то пишешь,— говорил он Некрылову, мямля и примаргивая, но все же с достаточной твердостью.— Я твою последнюю статью прочел — не поверил. Это, по-моему, совсем и не ты писал, честное слово. Ты что же, может, кому-нибудь другому свои

статьи заказываешь? Я не понимаю, милый, объясни, в чем же дело?

Некрылов сам не понимал. Да что, эти статьи — пустое! Он пишет книгу. Вот за книгу он отвечает. Это будет настоящая книга. Она выходит в «Круге», в декабре.

И тут же его попросили выступить. Надо было спасать вечер. Он согласился...

Оставшись в одиночестве, Драгоманов взял со стола забытую кем-то книжку, раскрыл ее и, прочтя: «Да знаешь ли ты, сколько пуль ржавеют в тоске по Митькиному лбу?» испуганно дернул глазом и положил книжку обратно. О «пулях, ржавеющих в тоске по Митькиному лбу», написал, несомненно, вот этот длинноволосый, с мечтательными баками, в бархатной куртке!

По старой гимназической привычке Драгоманов сложил фигу и незаметно устроил ее на столе, нацелившись на бархатную куртку. Он уже ненавидел этого человека.

Отвернувшись от него, но оставив фигу на столе, он принялся смотреть на взволнованное лицо Веры Александровны. Она отвела Некрылова в сторону. Это был ее вечер. Она смотрела на него оскорбленными глазами.

— Но, Виктор, согласитесь... Нас ждут. Я сейчас же еду,— услышал Драгоманов.

Некрылов мялся. Он не знал, что сказать. Ему уже хотелось выступить. Он уже знал, что он скажет на эстраде.

— Я скажу десять слов,— уговаривал он,— мы еще приедем. Ты понимаешь, нельзя приезжать вовремя. Мы опоздаем. Немного.

Он комически выл и отчаянно мотал головой, и все-таки ничего не выходило.

Драгоманов осторожно разнял фигу и, засунув руку в карман, подошел к ним.

— Боря, объясни ей,— пристал к нему Некрылов,— я не могу не выступить. Нельзя обижать людей.

Драгоманов согласился с ним, что нельзя обижать людей. Он взял шубку Веры Александровны, она отняла у него шубку и торопливо побежала к двери.

— Ты здесь сиди, сиди! — примирительно сказал Драгоманов.— Ручаюсь тебе, Виктор, что мы с Верой Александровной и без тебя отлично проведем время. Mes compliments, monsieur [1],— прибавил он великолепным басом.

---

[1] Мои поздравления, сударь *(фр.)*.

12

Беллетрист с офицерской выправкой грустным голосом читал забавнейший рассказ, когда Вера Александровна появилась на эстраде. Беллетрист надменно вскинул брови и приостановил чтение.

Она, легкая и торопливая, мелькнула мимо него, спустилась по лесенке и вышла в партер, смутясь, вдруг ужаснувшись тому, что весь зал следит за ней, дожидаясь, когда она окончит свой несвоевременный переход сквозь шеренги лиц, темноту и стулья.

Заложив руку за борт пиджака, Кекчеев сидел на барьере ложи. Тихий бородач все еще прислушивался к его афоризмам — внимательно, но уже недоверчиво. Кекчеев рисовался. Внезапно превратившись в восьмиклассника, он делал комплименты даме из «Прибоя». Он дурачился — впрочем, в меру.

Неожиданная тишина привлекла его внимание. Он оглянулся: давешняя красавица поспешно шла, почти бежала через эстраду.

Ему показалось, что она шла прямо к нему. И в самом деле, она пролетела почти что рядом с ним. И вдруг остановилась. Цветной шейный шарфик, летевший вслед за ней, зацепился за какую-то жестянку с номером, неподалеку от ложи. В полусумраке партера ему показалось,— двумя пальцами он поспешно поправил очки,— что она, задержавшись только на самое короткое мгновение, смотала с шеи и бросила шарфик на пол, отмахнувшись от него, как от дыма.

И он, точно как дым, плавно опустился на пол.

Кекчеев вскочил — бородач сердито прошептал что-то за его спиной — и бросился к шарфику.

И в эту минуту Драгоманов, отбиваясь от распорядителя, тащившего его обратно за шинель, показался на эстраде. Беллетрист на полуслове оборвал остроту, закрыл книгу и молча пошел прочь от своего пюпитра. Он был уже не просто обижен, он был взбешен. В решительной и раздраженной походке его уже явственно чувствовался темп военного марша. Он маршировал, сам того не замечая.

А навстречу Драгоманову маршировал шум, скандал, сумятица, неразбериха. Ему свистели, гикали, его ругали. Он шел с невозмутимым лицом и прихрамывал, как будто нарочно, из озорства. Он шел, оглядываясь вокруг себя с равнодушием почти автоматическим.

И выражение его лица не переменилось, когда он убедился, что Вера Александровна уехала, его не дожидаясь.

Кекчеев догнал ее в вестибюле, извинился и подал шарфик. Он в упор посмотрел на нее. У нее было прекрасное лицо, но дело было не только в лице. Он еще не понимал женщин.

Она поблагодарила и прошла дальше, к раздевальной комнате.

Серьезно улыбаясь, немного краснея, он взял из ее рук шубку. Он или коснулся пальцами гладкого шелкового платья на ее плечах — или ему это только показалось.

13

— Товарищи, меня сейчас интересует один вопрос... Нет, два. Два вопроса. Вопросы очень простые, гораздо проще, чем то, что читал сегодня, ну, хотя бы Тюфин. Вопрос первый: «Зачем вы сюда явились?» — и второй: «Стоит ли вообще продолжать русскую литературу?»

Сущевский сегодня читал, что какой-то гвардейский офицер носил голую венгерку на вытянутых руках. Вот тут у меня записано: «глазами, носом, лбом, всем лицом плотно прижавшись к ее маленькому животу». Я допускаю, что венгерка — это женщина, а не танец. Но так женщину носить нельзя. Я это по личному опыту знаю. Дышать нечем. Даже с голой венгеркой на руках нужно дышать. Если не дышать — она может обидеться.

По какому же поводу в Академической капелле, где вообще нужно петь или играть, потому что зал даже и не предназначен для чтения, собралось так много слушателей? Среди них есть, несомненно, хоть один хороший хозяйственник. Я предлагаю поручить ему вычислить количество потерянных рабочих часов.

Товарищи, тут у вас по Ленинграду и по Госиздату ходит один человек, который переписывает Станюковича и считается при этом пролетарским писателем.

По его мнению, так следует писать потому, что к литературе сейчас пришли люди, никогда не читавшие Станюковича. Станюкович писал не только морские рассказы, у него есть еще большие романы. Он писал, например, о том, как двое братьев — штурман и лейтенант — любили одну женщину, а женщина любила третьего, кажется, мичмана, который в результате тоже оказывается братом. Он — найденыш. Я согласен, что современный читатель не

знает Станюковича. Значит ли это, что следует ему подражать? Н-не думаю! Может быть, следует его переиздать, а подражать не стоит.

Товарищи, мне не жаль, что вы потеряли столько времени. Мне жаль, что писатели, которые обещали — и мы им поверили — начать литературу сызнова, занялись повторением пройденного. Это неправильно. Неправильно обкрадывать будущее, хотя бы потому, что это дешево стоит. Товарищи, вчера я приехал из Москвы. Московские писатели больны другими болезнями. Но в Ленинграде можно задохнуться от уважения. Писатели ходят по Невскому как автоматы и уважают друг друга. Они накрыли себя фетровыми шляпами и не могут передохнуть от уважения. Они слишком уважают свою работу, чтобы хорошо писать. Они покупают мебель и шьют чехлы, и книги выходят в чехлах, и жены ходят в чехлах, скоро мне перестанут подавать руку за то, что я еще не купил себе фетровой шляпы.

Они продолжают литературу, а для этого не стоило отсиживаться в обезьяннике Дома искусств и получать академический паек в Доме ученых.

Товарищи, кто из вас еще не издал собрания своих сочинений?

Так он громил своих друзей, своих врагов, свою литературу.

Когда он начал говорить об уважении, о Доме искусств и о фетровых шляпах — он подумал о том, что Драгоманов был прав, называя его представителем от обезьян на острове Робинзона Крузо.

Когда же он сказал о том, что нужно не называть вещи, а показывать их, он вспомнил о женщине, которую он обидел ради того, чтобы сказать это, и он вдруг уверился, что ее-то, без всякого сомнения, не следовало обижать.

14

Ее не следовало обижать. В этот вечер она заснула поздно, с распухшими от слез глазами...

Было грустно сознавать, что она в незнакомом доме.

Были незнакомые стены, напротив нее сидел, иронически покачивая головой, незнакомый старик. Что ж это — дедушка? Она искала глазами свой мольберт и случайно поглядела в окно: вплоть до самого горизонта великолепная, высокая, нарисованная — колыхалась пшеница. Солнце покрывало полнеба. Оно делилось.

«Не блестит и не греет»,— смутно подумалось ей — и она обратилась к старику. Старик подмигивал глазом на солнце. Он не недоумевал, хотя солнце делилось и делилось, меняя цвета. Оно блестело, как жестянка. Оно заболело.

— Сейчас остановится, что ж делать? — с ужасом спросила она у старика. Потом вся земля сделалась странной. Не то что она колыхалась — она остывала. Это был, несомненно, конец света.

Она стремительно поднялась наверх, в свою комнату, и начала пересматривать и отбирать платья. Вот темно-синее с вышивкой. Быть может, темно-синее с вышивкой подошло бы для конца света! Что-нибудь темное...

Она уложила темно-синее с вышивкой в маленький саквояж и посмотрела в зеркало. Нет, она не казалась испуганной.

Внизу у подъезда стояло что-то вроде омнибуса с покривившимся верхом. Она села в омнибус и поехала неизвестно куда. Она ехала одна, мамы не было с ней. Пшеница шуршала под колесами. Для конца света, быть может, лучше было бы надеть зеленое,— то, что она переделала из шелковой жакетки.

Извозчик, лихач с кудрями, уже летит вслед за омнибусом. В пролетке, положив руку на плечо лихачу, уже стоит преследователь с пухлыми губами, в очках тяжелых, роговых, шестигранных. Он бледен, он ждет, снег кружится над головой, пролетка все приближается.

Пролетка догоняет ее наконец. Он соскакивает, она смотрит на него с сожалением и нарочно молчит, чтобы видеть, как трудно ему произнести это слово.

— Милый друг,— отвечает она, смеясь,— вы любите меня, а мне бы хотелось, чтобы вы — вот так же стоя и без шапки — летели в этой пролетке вслед за мной всю жизнь, до самой смерти . . . .

. . . .

Наутро она долго припоминала сон. Она была раздосадована. На каком, разрешите узнать, основании ей приснился этот малыш, который вчера вечером догнал ее на лестнице и подал пальто в вестибюле? Какое он имел право ей присниться? Без шапки, в пролетке... Что за пустяки!

Она сердито натянула одеяло до самого носа. Можно полежать еще пять минут, потом чай, одеваться, и потом, боже мой, надо кончать этот проклятый натюрморт! Если она сегодня не кончит — ей влети-ит!

Она наскоро завязала волосы узлом перед маленьким растрескавшимся зеркалом. Восемнадцатый век. И волосы ее как будто немного порыжели. В таком виде она напоминала Марию-Антуанетту. Не хватает только Марата, чтобы испортить ей жизнь.

Чай давно уже остывал на столе, она забыла про чай, увлекшись рисунком, который она только что проклинала. Ах, если бы удалось сделать так, чтобы эта бутылка и кусок материи, которые она рисовала, были не в зеркале, а в безвоздушном пространстве!

За последнее время в работе ее появилась какая-то робость, которую она никак не могла преодолеть. Она чувствовала ее в каждом движении пальцев.

И поделом! Не нужно было тратить столько времени на всю эту болтовню, которая ничего не стоила в сравнении с настоящей работой.

Она долго растирала краски, думая об этом. Нужно занять вечера, свободные вечера наталкивают ее на всю эту музыку с любовным аккомпанементом. Шут ее возьми, если она еще хоть раз в жизни изменит живописи ради чего бы то ни было!

Она подошла к зеркалу и пригласила себя принести настоящую клятву.

— Будьте добры, немедленно поклянитесь, гражданка, в том, что, начиная с сегодняшнего дня, ничего, кроме живописи, для вас отнюдь не существует,— сказала она своему изображению, холодно смотря на нос, который выглядел очень сиротливым без пудры.— Клянитесь, что все остальное вы будете считать бредом, результатом расстроенных нервов и больного воображения.

— Клянусь, клянусь, клянусь! — закричала она и возвратилась к мольберту.

Она рисовала до полудня, потом выпила холодный чай и умылась. Умываясь, она решила, что только один человек любит ее, понимает ее, готов для нее на все и никогда ей не изменит. Этот человек была некая Верочка Барабанова, по крайней мере такая, как она была сейчас — с полотенцем в руках, с мокрыми ресницами и висками, в строгом капоте, который она называла mein grüner Rock [1]. И с узлом на макушке, напоминавшим прически французских женщин восемнадцатого века.

[1] Мой зеленый сюртук *(нем.)*.

Только она одна, и больше никто.

«Да, ты ее знаешь, она славная, видишь, она какая, она рисует»,— вспомнила она и, яростно швырнув полотенце на кровать, побежала к своему натюрморту в безвоздушном пространстве.

Вертя в руке кистью, как шпагой, внезапно оценив мирный натюрморт как личного врага, она посадила на бутылку маленького, оскорбительного чертенка, облизывающего хвост. Потом бросила кисть на пол, села в угол и долго плакала, не двигаясь, не моргая глазами, упорно рассматривая зеленое пятно на обоях и не вытирая слез, бегущих по лицу. Да ведь ничего же не было — и в самом деле, бред, нервы, результат расстроенного воображения, и больше ничего! Его не существует! «Кто это Некрылов?» — «Но вы, кажется, встречались с ним, Вера Александровна...» — «Да?.. Не помню».

Выйдя из своего угла, она еще немного поплакала перед зеркалом. Тут же она решила, что слезы, в сущности говоря, даже идут к ней. Ладно, а теперь она будет работать!

И точно, она работала целый день, не отрываясь. Чертенок был выскоблен, рисунок удался превосходно.

Когда натюрморт подходил к концу, она почувствовала отчаянный голод. Даже не вымыв рук, перепачканных краской, она накинула на себя шубку и побежала в столовую. Знакомый официант, похожий на Ллойд Джорджа, принес ей кофе и рисовый пудинг...

Когда она возвращалась, кто-то догнал ее неподалеку от дома и с преувеличенной вежливостью снял шляпу. Она тотчас же узнала его. Он был хуже, чем во сне. К сожалению, у него были короткие пальцы и слишком пухлые губы. Жирный ребенок еще угадывался в нем.

ДАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

1

Экономисты трое суток сидели над составлением календаря для издательства Промбюро. Ни Юлий Цезарь, ни папа Григорий не потратили на это дело столько изобретательности, сколько Сашка Криличевский, единственный человек в мире, вежливо топивший печи, методический Гарри Буш, бессменный председатель коммуны, и Женя Мелікова, недавно назначенная блюстительницей нравов.

Они выдирали листы из старых гимназических хрестоматий — из «Отблесков» или из «Живого слова», они весело врали что-то о заграничном способе удобрения земли, они выдумывали имена.

Отчаянье — они не поспевали к сроку — заставляло их решаться на поступки, только по непонятной случайности не включенные в уголовный кодекс. Фантастические имена Район, Баррикада и Гипотенуза были уже расставлены по своим местам. Им удалось втянуть в эту игру всех своих товарищей по институту. Впрочем, они быстро раскаялись в этом. В ближайшую же ночь скептический Левка Едвабник, студент, попавший в политехникум из ешибота, завернутый с головы до ног в один грандиозный башлык, пришел на Воронцовский переулок и отчаянным стуком в дверь поднял на ноги всю коммуну.

Полчаса, не говоря ни слова, он разматывал башлык. Вся коммуна стояла вокруг него босоногая, всклокоченная, в одеялах. После обстоятельного предисловия он объявил, что придумал женское имя — Крага и, не считая себя вправе скрывать его от своих друзей, счел обязанным немедленно же объявить им об этом.

Вежливость Сашки Криличевского спасла ему жизнь...

Коммуна радостно встретила Ногина. По случаю его приезда возня с календарем была отложена до утра. Затеяли винегрет. Блюстительница нравов пожала ему руку, быть может, несколько крепче, чем это полагалось блюстительнице нравов.

Криличевский, с которым он пять лет просидел на одной парте в псковской гимназии, отвел его в сторону.

— Ты чего это так съежился, старик? — спросил он, хлопнув Ногина по плечу.— Отчаянно похудел! Денег нет? Или, может, влюбился?

Ногин взглянул на его жесткие, слоистые волосы, на прямой лоб, на знакомые глаза. Глаза смотрели вежливо, но сочувственно. Он молча пожал Криличевскому руку.

Через полчаса Ногин уже знал обо всем, что произошло за последние полгода — он полгода не был в Лесном. Женька Климанов дозанимался до нервного расстройства, стал заговариваться, его пришлось насильно увезти домой, в Псков.

Буш и электротехник Бортников возле деревни Гражданки разобрали будку на дрова и попались с поличным. Милиция отпустила их только после того, как они подпи-

сали обязательство выстроить точно такую же будку и на том же месте в течение десяти лет.

Неподалеку от коммуны сгорел барак. Об этом было сообщено Ногину с наибольшим сожалением. Барак пропал ни за грош, он сгорел впустую, в то время как разобранный на дрова... Буш подсчитал, что, разобранный на дрова, он мог бы обогревать коммуну на протяжении трех месяцев и семнадцати дней.

Самая занимательная из новостей была изложена в виде доклада. Доклад назывался «О прямых последствиях хорошего тона» и касался Сашки Криличевского.

Хозяйка дома, набожная старушка с кружевной наколкой на голове, разрешила ему ходить в верхнюю уборную. Верхняя уборная по сравнению с нижней была Версалем.

Сашка получил это преимущество за вежливость и за то, что раз в неделю с интересом выслушивал обстоятельные сообщения старушки о ее болезнях и о болезнях ее покойного мужа. До сих пор старушка, обижаясь на то, что экономисты вынесли из комнат портреты царей, объявила верхнюю уборную табу, каждый раз вешала за собой замок и никого не пускала.

Обо всем этом было рассказано разом, с шумом, хохотом и язвительными примечаниями.

Ногин посмотрел мимо знакомых и милых лиц в окно и вздохнул. В окне были сосны, свежий, как яблоко, снег и ультрамариновое небо.

Черт возьми, здесь была настоящая зима и настоящая жизнь! Все эти ребята, они торчали здесь не напрасно! Они не лукавили, работали не за страх, а за совесть и не задумывались над тем — похоже ли все это на литературу или нет?

Это был веселый винегрет из науки, из игры в коммуну, из сосен, из зимы.

Впрочем, он не завидовал. Некогда было. Его посадили на доску, положенную на два табурета,— это сооружение называлось креслом конструкции инженера Буша,— поставили перед ним тарелку, вооружили ложкой. Тот же инженер Буш принес огромный, запачканный сажей котел. Он был изобретателен по природе — чтобы не запачкаться, он надел на руки калоши и, схватив ими котел, торжественно внес его в столовую коммуны.

Нет, винегрет был самый настоящий, с перцем, с уксусом, с прованским маслом, и они лопали его так, что Ногин только растерянно моргал глазами...

2

Ночь нагрянула, как семь дней, в которые, если верить Алексею Толстому, был ограблен мир. Никто, разумеется, не спал. Пришел студент, известный всему Лесному своим удивительным умением играть на крышке от часов. Наука ему не давалась, но на крышке от часов он играл превосходно. Потом выволокли сидевшего в одеяле Бортникова. Он был зол. Ногина он язвительно спросил — пишет ли он еще стихи, и если нет, то какие трагические обстоятельства заставили его бросить это важнейшее для всей республики производство?

Ногин резко ответил ему, что пишет, что вовсе не намерен бросать, что одно время колебался — не променять ли ему литературу на производство карманных батарей, но решил, что все-таки не стоит.

Потом была подробно изложена причина, по которой Бортников сидел без штанов. Женя Меликова, вернувшись вчера вечером в свою комнату, нашла ее увешанной штанами самого различного цвета, возраста и социального положения. На стене висел плакат:

Женщины коммуны,
Снизойдите к беспорточникам.

В левом углу его было приписано мелкими буквами:

Без штанов наука, равно как и любовь,— мало успешна.

Пифагор

И к каждой паре была пришпилена записка с подробным описанием дефектов.

Бортников, съевший накануне весь компот, приготовленный в честь приезда одного из членов коммуны, был наказан. Согласно единогласному постановлению, его штаны остались незаплатанными. В одеяле он ходил из протеста...

Потом Сашка, сжалившись над товарищем, притащил штаны, и все рассматривали потертые места и трогали их пальцами до тех пор, пока не проделали новую дыру, величиной с небольшую дыню.

Потом выяснилось, что компот съел не только Бортников. Компот съел Буш, который тем не менее ходил в припаренных, разглаженных, щегольских штанах...

Вот только теперь, перед самым рассветом, когда студент, игравший на крышке часов, ушел и разошлись по своим комнатам Буш и еще кто-то,— тогда наступил этот

муторный, после бессонной ночи, но милый час, ради которого Ногин и поехал к землякам.

Он лежал на знакомой низкой кровати, керосиновая лампа была притушена, и огромная носатая тень, почему-то напоминавшая ему детство, двигалась по дощатой стене. Женя Меликова, сухощавая, в старенькой, еще псковской жакетке, сидела рядом с ним. Острый, скептический нос Бортникова торчал над приколотым к доске чертежом. Угольник, как маятник, покачивался над его головой.

И тоска, бешеная, сердечная, тупая, перепутанная со слезами, вдруг нахлынула на Ногина. У него точно сердце перевернулось. И не то что он снова вспомнил о ней, о Вере Александровне,— ему и вспоминать-то было не о чем, кроме тогдашней встречи у драгомановского циркача,— но вот руки были полны чем-то, что он не мог ни отдать никому, ни поделиться ни с кем, ни разгадать, ни распутать. Мальчишество? Бредни? Литература?

Он больше не мог обманывать себя, ему уже не помогала ирония — она была разбита наголову, обращена в бегство этим молчаливым, почти торжественным, милым часом с притушенной лампой, с подступающим сном, с усталостью на лицах друзей.

В руках у него была любовь, и он не знал, что ему делать с ней.

3

Криличевский, который и по ночам не забывал о своих топливных обязанностях, с грохотом обрушил дрова на маленькую корявую печку.

Он ворвался в комнату холодный, веселый, в желтом романовском полушубке. Полушубок вонял. Он был упрятан в самый дальний угол, но все-таки вонял, покамест Бортников не вынес его в сени.

Печь была затоплена, торопливые зайчики заиграли на противоположной стене. Стало еще муторнее и еще уютней.

— Ну, Всеволод, теперь ты нам расскажи чего-нибудь,— сказал Криличевский и сел на корточках перед печкой,— ты что-то, старик, сильно сдаешь последние двадцать лет! А помнишь, как ты в крылатке приезжал, под этого, как его...

— Под Гофмана,— засмеявшись, подсказал Ногин.

— Совершенно верно, под Гофмана. Хвастал отчаянно. Болтал. Стихи читал. Каких-то девиц привозил. Вообще был человек человеком. А теперь — прямо не узнать тебя, ей-богу. Сознавайся, брат, влюблен? Подцепили?

Ногин приподнялся на локте. Сашка взглянул на него... и прикусил язык. И точно, Ногин не походил на самого себя — он был бледен, у него было напряженное, немолодое лицо. Сашка потянулся к нему и успокоительно похлопал по плечу.

— Да чего ты, чудак, я же пошутил. Женечка, накройте его! Он тут у нас замерзнет.

И снова наступил сон не сон, тишина не тишина, ночь не ночь.

Потом Сашка, в котором за политической экономией и экономической политикой жило глубокое уважение к литературе, потребовал стихов. Ногин не стал ломаться. Ему самому давно уже хотелось читать стихи — не свои, так чужие. Он попробовал читать Блока...

Никогда не забуду, он был или не был,
Этот вечер...—

начал он и остановился. Коммуна, кроме Бортникова и спящих, хором докончила вторую строчку.

— Знаем, слышали. Читай свое!

Тогда он понял, что ему хотелось читать именно свои стихи — как бы они ни были плохи,— а не чужие. Он прочел:

Перо в руке, и губы плотно сжаты.
В углу двойник. Сломился нос горбатый,
И губы внятные сломились под углом.
Горит свеча и воск сдвигает ярый
Вниз от огня на мой подсвечник старый,
И слышу я: внизу стучатся в дом.

«Ты — тень моя! Ты часовой примерный.
Меня знобит, и болен я, наверно.
Спустись по лестнице! Внизу стучат ко мне».
Так я сказал, оборотясь с улыбкой,
И вот в ответ услышал голос зыбкий
И вижу: тень склонилась на стене.

«Возьми огня!» — «Хозяин, что за это
Я получу?» — «Что хочешь!» И за светом
Уж плоская продвинулась рука.
Вот по стене скользит, как облак черный,
Проходит в щели быстро и проворно
И возвращается, спокойна и легка.

Мне показалось, что в окно пустое
Стучится снег холодною рукою,
И оглянулся я, зажав перо в руке:
Перед свечой, что воск сдвигала ярый
Вниз от огня на мой подсвечник старый,
Сидит старик в зеленом сюртуке.

«Вы, сударь, кто?» — «Приятель Шваммердама».
«Точнее, сударь, говорите прямо!»
Молчит он, опершись на край стола.
И вдруг морщины в плотный полог слиты,
Кривится рот, и вместо ног — копыта.
И за плечами — мощные крыла.

«Мне, милостивый государь, конечно,
Как человеку с честью безупречной
И ваша честь отменно дорога»,—
Так он сказал, и мне казалась странной
В его устах с акцентом иностранным
Глухая речь. И на ноге — нога.

«Племянник мой, что в аде крыши мазал,
Вотще лишился тени долговязой,
Она пристала к краске навсегда...
Как наших мест старинный посетитель
Вы мне свою взамен не продадите ль?
Что скажете?» И я ответил: «Да!»

Взвились крыла, и в облачной метели
Две тени плоские со свистом пролетели
Над крышами, за дымной пеленой.
Я был один. Металась в ветре вьюга,
И одиночество мне было верным другом,
И город каменный качался за спиной.

— Ну и плохо! — сказал Бортников.— Очень плохо! Непонятно и даже вредно. Ей-богу, вредно! Чертовщина какая-то. Тень продают... Ерунда! Тень есть результат столкновения световых лучей с телом, для них непроницаемым. Ее, как известно из физики, ни продавать, ни каким-либо другим способом от себя отчуждать невозможно. А ты продаешь. Чертовщина какая-то! Я бы запретил!

Ногин молчал, покусывая губы.

Ничего не ответив, он посмотрел на Сашку.

Сашка что-то подозрительно долго возился с печкой, отгребал угли.

— Нет, почему же, неплохо,— пробормотал он наконец,— нельзя сказать... Неплохо! Только вот там с этим Шваммердамом напутано. Шваммердам — это все-таки историческое лицо, с ним нужно обращаться с осторож-

ностью. И вообще, как-то, знаешь... Вот рифмы тоже не совсем точные: вьюга — другом... Но все-таки хорошо. В общем, хорошо написано!

Он со зверским видом смотрел на Бортникова. «Видишь, парень влип, вкатился, а ты тут еще масла в огонь подливаешь, собака»,— прочел в этом взгляде Ногин.

В другое время, в другой час он, вероятно, стал бы возражать, обругал бы их за узость, за то, что они ни черта в поэзии не понимают,— и начался бы отчаянный, бесконечный студенческий спор о полезности или бесполезности литературы, о преимуществах точных наук перед гуманитарными, о том, важнее ли одна электрическая станция десяти первоклассных поэтов или нет.

Но на этот раз Ногин не сказал ни слова. Он молча сунул в рот папироску и затянулся так, что у него перехватило дыхание. Ему просто напиться захотелось. Вдрызг — так, чтобы ничего не видеть и ни о чем не помнить.

Должно быть, Женя Меликова поняла его. Она ничего не сказала о его стихах, но, найдя под шинелью, которой он был накрыт, его руку, она пожала ее с такой дружеской нежностью, что Ногин едва не расплакался, уткнувшись лицом в подушку.

4

Вернувшись в город, он завесил окно одеялом и два дня не вставал с кровати. Он залег.

Комната, холодные стены стояли вокруг него, как отчаянье. Татарин умирал за стеной, старуха днем кричала на него, но по ночам укачивала, как ребенка.

Пересиливая себя, Ногин закоченевшей рукой написал письмо: «Я болен и устал, но все же гораздо меньше, чем это нужно, чтобы забыть о вас. Все валится у меня из рук, мне больше не помогает работа... Родная моя, у меня нет друзей и нет никого, кроме вас, и так продолжаться не может...»

Разумеется, письмо это не было отправлено по назначению. Оно было литературой. Оно было изорвано в клочки и пущено по ветру.

И ни один человек в мире, ни его мать, ни его друзья, ни женщина, которую он любил и которая, быть может, была доступна всем, кроме него,— никто не знал и не понимал, что так продолжаться не может. Он плакал, он два-

дцать раз думал о самоубийстве — четвертый этаж, надо полагать, что ему удастся сломить себе шею!

Но он не кончил самоубийством. Он просто запил, шляясь по пивным, обрастая бородой, читая стихи оборванцам. Стихи были очень плохие, но он решительно ничего не мог поделать с собой.

5

Уткнуться лбом в скрещенные руки и тихонько ныть, подвывать слепым музыкантам — это было все, что ему оставалось. Пить он больше не мог. Лопающееся вязкое пиво заставляло его стискивать зубы от отвращенья. Но вот музыка — музыку он мог еще слушать! Какие-то лапки, шершавые, поджатые, все время вспоминались ему — они летели в воздухе, и вокруг чистота, тишина, простор.

Окурок, приклеенный слюной к ножке столика, покачивался от его дыханья. Это напомнило ему о курении. Он подозвал полового и сунул ему двугривенный. Половой принес коробку папирос.

Схватив голову руками, с папиросой в зубах, он мотался над столом в такт музыке, которая дребезжала и ныла так, что сердце разрывалось на части.

И он нисколько не удивился, когда увидел перед собой давешнего старичка, своего соседа по комнате.

Старичок сидел на краешке стула, чистенький, приглаженный, в драповом пальто и с аккуратным бантиком на шее. Он смотрел на Ногина и грустно качал головой. Это могло, конечно, быть просто бредом. Но старичок был совсем живой, у него были заботливые глаза, очевидно, его можно было трогать, с ним можно было говорить.

— Милый,— сказал он старичку,— вот так и живем. Выпиваем. Закусываем. Хотите, угощу вас? Я что-то уж не могу больше пить. Вот разве еще портер попробовать. Хотите?

Халдей Халдеевич укоризненно качал головой.

— Может быть, помешаю вам? — спохватился он и добавил, стеснительно понижая голос: — Может быть, вы дожидаетесь кого-нибудь или...

— Никого не дожидаюсь. Просто пьян. Разбит наголову. Потерпел поражение.

— Каждый человек нуждается в отдыхе, в отдыхе нуждается,— обстоятельно сказал Халдей Халдеевич,— хотя бы для восстановления сил. Как же можно, как можно! Ведь заболеете же! Ведь вы уже не первую ночь...

— Не первую и не последнюю. И не ночь. Не только ночь. Что-то все не то. И арабское спряжение, вообразите, больше не помогает.

Халдей Халдеевич беспомощно развел руками. Он чрезвычайно напоминал Ногину... Кого? Кто-то разводил руками так же, как и он, и так же сидел на краешке стула. Сидел и серьезно моргал глазами.

— Для чего же все-таки губить себя до такой степени? — наклонившись через стол, спросил Халдей Халдеевич.

— Милый, ну какое вам до этого дело? Скажите мне лучше, почему вы так напоминаете мне профессора... Вот именно, профессора Ложкина,— вспомнил он наконец,— одно лицо! Может быть, вы и есть Ложкин? Может быть, вы тоже профессор?

Халдей Халдеевич холодно глянул на него. Медленно заложив руку за борт пальто, он распрямился. Подняв голову, он откинулся на спинку стула.

— Профессор Ложкин имеет честь быть моим родным братом,— сказал он надменно,— но братом, с которым вот уже двадцать пять лет нахожусь во враждебных отношениях. И презираю.

Ногин задумчиво смотрел на него. Рыжая бороденка Халдея Халдеевича торчала вверх, глаза глядели неприступно. Он сидел нахохлившийся, полный достоинства, с поджатым ртом и вздернутыми плечами.

— Да что вы! Милый! — искренне поразился Ногин.— Так вы его брат, Ложкина, профессора?

— Он мой брат. Да и какой же он, собственно говоря, профессор? Что он какую-то книжонку насчет штундистов написал? Он же все что-то о штундистах пишет! Читал! Не знаю, не знаю. Мало самостоятельно. Написано языком суконным, и ни малейшего вкуса. Вы говорите, что схож со мной? Я его около двадцати пяти лет не видел. И об этом нисколько не жалею, не жалею нисколько. А сходством... ежели вы находите сходство...— Халдей Халдеевич негромко прихлопнул ладошкой по столу.— Не горжусь!

Ногин закрыл левый глаз, сделал из своих кулаков подзорную трубу.

— Сходство главным образом по части вторичных половых признаков,— определил он, чувствуя к Халдею Халдеевичу непонятную нежность,— как вы, так и он, носите нечто вроде бородки! Хотя цвет у вас несколько другой, более шаловливый. Но с точки зрения физиогномистики это только подчеркивает сходство. А все-таки для чего же так ссориться, да еще с родным братом? Ведь вы ж все-таки в одном городе с ним живете!

— Мой брат профессор Степан Ложкин есть человек развращенный, погруженный в распутство, преданный необузданным наслаждениям самого скотского характера. Человек нахальный. И буйный.

Халдей Халдеевич сморщился, надулся, побагровел. Ногин посмотрел мимо него — на стойку с закусками, на музыкантов, на волосатого соседа, который сожалительно кряхтел, вертя в руках пустую бутылку,— и вдруг стукнул локтями о стол, уронил голову в руки. Он заплакал тихо, как старик.

Халдей Халдеевич вскочил, всполошился.

— Вам бы домой пора, пора домой,— ласково сказал он и потрогал Ногина за рукав,— как же можно, как можно! Ведь так здоровье может пострадать.

Он не докончил и побежал к стойке, копаясь в маленьком, затрепанном портмоне.

И Ногин позволил замотать себе шею шарфом, и позволил застегнуть пальто французской булавкой, и пошел за Халдеем Халдеевичем, опустив голову, вытирая ладонью мокрое от слез лицо.

— Ростепель, сильный ветер, скользко очень, очень скользко,— бормотал Халдей Халдеевич.

6

И в самом деле, стояла сильнейшая ростепель и гололедица. Весна, которую не вовремя выдувал ветер с Балтийского моря, торчала в лужах, висела на мокрых домах. Была простудная, промозглая, мерзкая погода.

Тучков мост, голый, как ладонь, лежал перед ними под оседающими фонарями. Справа и слева от него симметрическими, невзирая на ветер, рядами стояли петровские здания. Город, как никогда, казался выдутым из кулака, высосанным из пальца. Конечно, здесь и должны были про-

изойти все эти Енисари и Койвусари — финские деревушки с зайцами и франтами в синих жилетах.

Санкт-Питер-Бурх! Парадиз!

Нужно было без всякой борьбы отдать всю эту музыку шведам.

7

Откуда взялся малиновый чай, которым старик поил его в этот вечер?

Он поил Ногина малиновым чаем, до седьмого пота, он жарил яичницу, он долго и хлопотливо готовил ему постель — переворачивал матрац, взбивал подушки. Он ухаживал за ним с трогательной заботливостью. И Ногин послушно пил малину, ел яичницу, какие-то гренки и бутерброды, послушно разделся и лег.

Он лег, и вздохнул полной грудью, и позволил покрыть себя одеялом, и своей шинелью, и драповым пальто Халдея Халдеевича. Ему стало легче. Блуждания по улицам и по трактирам, декламация, слепые музыканты — все было кончено. К черту! Довольно мудрить, пора взять себя в руки! Завтра он встает в шесть часов утра и садится за работу.

— Да, да, так что же с вашим братом? — сказал он, приподнявшись и с тревогой глядя на Халдея Халдеевича.

— Ну, полно, полно, спите, голубчик,— пробормотал Халдей Халдеевич, и все подернулось сонным спокойствием, туманом, теплом.

И сквозь тепло, которое уже бродило по телу, он видел, как Халдей Халдеевич примостил на столе осколок зеркала, налил в стакан горячую воду. Облезлая кисточка, как скромное видение, возникла в его руках. Он брился старательно, медлительно, но как бы с яростью. Ярость играла на его запачканных мылом губах.

Он начисто сбрил свою рыжую бороденку и, торжествующий, похожий на сморщенную обезьянку, на цыпочках пошел по комнате в бесконечность, в успокоение, в сон.

8

Но если бы Халдей Халдеевич знал, что, расправляясь так решительно с единственным украшением своего лица, он не только не достигнет цели, но, напротив того, лишь усугубит сходство с корыстолюбивым, развратным, буйным

братом — он бы уклонился, он воздержался бы от своего необдуманного поступка.

Профессор Ложкин бунтовал. В ночь на 26 апреля он тоже сбрил бородку.

Крошечный, но очень веселый, в халате, лихо накинутом на одно плечо, он разбудил жену и сказал ей, с удовольствием растирая пальцами гладкие щеки:

— Вот посмотри, Мальвочка, как тебе кажется? Лучше? Мне кажется, да! Лучше! Гораздо лучше!

И, не дождавшись ответа от ужаснувшейся, остолбеневшей, сонной Мальвины Эдуардовны, он скоренькими шагами удалился в свой кабинет.

В кабинете он долго ходил, трогал пальцами корешки книг и негромко, но очень игриво пел. Он пел старинную шансонетку:

Не плачь, не бойся, дочь,
Как верная жена
Невинность в эту ночь
Ты потерять должна,—

с французским припевом. Из зеркала на него глядело маленькое, сморщенное лицо с чужим, незнакомым, детским подбородком. Подбородок оказался детским, со смешной нашлепочкой, о которой он позабыл.

Это был уже настоящий бунт. Системе кабинетного существования был нанесен непоправимый урон. Некоторым образом система эта и опиралась на седую академическую профессорскую бородку.

Но, к ужасу Публичной библиотеки и Академии наук, дело не кончилось уничтожением бородки. На следующий день Ложкин явился на лекцию в огромных, толстых, залихватских очках, более приличествующих кинорежиссеру, журналисту, начинающему адвокату, чем ординарному профессору Ленинградского университета. И точно — можно было потерять голову, глядя на мир через такие очки.

Но он не растерялся, напротив того — действовал уверенно и, главное, с легкостью, с легкостью необычайной.

Он переменил прическу; серо-седые волосы его были зачесаны теперь вверх, кончались кокетливым коком.

Он выкопал из гардероба старинный вязаный жилет с янтарными пуговицами и немедленно надел его на себя. И угадал — потому что очень похожие заграничные жилеты как раз в ту пору начинали входить в моду и у нас.

В продолжение каких-нибудь двух-трех дней он завалил свой кабинет множеством ободранных, неопрятных

книг, среди которых был роман об Антоне Кречете и серия в 35 выпусков о палаче города Берлина.

Бог весть что он искал в этих книгах!

Он читал их с любопытством второклассника, запершись на ключ от жены и прислуги. Морщась, поминутно поправляя тяжелые очки, он копался в этих книгах, как бы надеясь прощупать... он и сам не знал, что прощупать. Должно быть, какую-нибудь возможность отшутиться от самой идеи своей о бабьем лете или второй молодости.

От Антона Кречета и палача города Берлина он переходил к своему проекту.

Проект был написан очень сухим, деловым языком, но почерком нарочито неразборчивым — надо полагать, профессор боялся, что проект может когда-нибудь попасть в чужие руки.

Он содержал что-то вроде формулы отречения, а от чего отречения — тому следовали пункты. В пунктах стояли, между прочим, пенсне и бородка и (что было написано условными знаками) жена Мальвина со всеми родственниками, выдуманными и настоящими.

Вслед за женой, следующим параграфом, профессор отрекался от квартиры.

9

Весьма возможно, что этот проект никогда не был бы приведен в исполнение, напротив — навсегда остался бы в бумагах профессора Ложкина как следы идеи весьма забавной, но бессильной тем не менее повлиять на его почтенное существование, если бы вскоре после составления проекта к нему не явился коллега Леман.

Он пришел грустный и торжественный, в изодранной шинели, которая, как сенаторская тога, возлежала на его тщедушных плечах.

Стеснительно улыбаясь, он остановился в дверях кабинета.

Рыжий бобрик его торчал задумчиво, очень серьезно.

Ложкин предложил ему сесть, и сам опустился в кресло.

В кабинете было холодно, неуютно.

Книги с закладками стояли вдоль стола, штора задернута.

Закладки были большие, белые — они были следами брошенной работы. Он устало отвел глаза.

— Чем могу служить? — спросил он.

Коллега Леман молча вытащил из кармана шинели записную книжку с траурной рамкой на переплете и неторопливо пометил что-то. «Ложкин, Степан Степанович, профессор»,— пробормотал он.

— Я нашел в библиографическом указателе список ваших книг, профессор,— сказал он почтительно,— и вот мне бы хотелось узнать... Это такие толстые книги (он показал пальцами) или брошюры?

Ложкин протер пальцами очки. Он был несколько озадачен.

— Собственно, почему же брошюры? Нет, именно книги.

— Понимаю, значит, такие толстые книги. Благодарю вас.

Откинувшись на спинку кресла, поднеся близко к глазам свою записную книжку, коллега Леман долго скрипел карандашом.

— А где вы родились? — спросил он внезапно и уже как будто с некоторой строгостью.

Ложкин, серьезно моргая глазами, посмотрел на него и испугался. Посетитель был рыжий, тихий, невозмутимый, торжественный.

Он вовсе не смеялся. Напротив того, он смотрел на Ложкина грустными глазами. Это было грустное превосходство еще живущего человека над покойником.

— Собственно, я родился... Я родился на юге,— несколько теряясь, сообщил Ложкин.

— Как на юге?

Леман положил на стол карандаш и взглянул на профессора поверх пенсне.

— Но мне же говорили, что вы родились в Белоруссии. Может быть, все-таки не совсем на юге...

— Нет, на юге. В Николаеве,— слегка упавшим голосом пробормотал Ложкин.

Леман долго и неодобрительно смотрел на него.

— Ну, как хотите,— сказал он наконец.— Но, возможно, кто-нибудь другой родился в Белоруссии? Ваша жена или дочь?

Ложкин с недоумением покрутил шеей и обиделся.

— Виноват, позвольте, как это,— сказал он, начиная с нервностью постукивать пальцами по столу,— а, собственно, чем же я все-таки обязан вашему посещению? Чем могу служить?

— Видите ли, я занимаюсь преимущественно покойными белорусами,— объяснил Леман.— Я именно с этой точки зрения обратился к вам. Но если вы не белорус, мне придется отнести вас в смешанный отдел. В котором году, профессор, вы окончили гимназию, реальное училище или кадетский корпус?

Ложкин пожал плечами, привстал и снова сел на стул. Задумчиво щуря глаза, коллега Леман сидел перед ним, и зеленоватый отсвет абажура падал на его тихое лицо. Он ждал.

— А к чему же, позвольте, сударь мой, узнать,— сердито спросил Ложкин,— к чему могут послужить все эти сведения? Вам это для какой же цели нужно знать, в котором году я окончил гимназию?

— Для полноты сведений о вас,— скромно объяснил Леман.— Видите ли, профессор, в дальнейшем это может значительно облегчить работу. Вот, скажем, умирает какой-нибудь человек, какой-нибудь белорус, и о нем решительно ничего и никому не известно. Он умирает, и его нет. От него ни малейшего следа не остается. Между тем мною открыт прекрасный способ уклониться от этого печального положения дел. И очень простой способ — нужно заранее составлять некрологи.

— Не-кро-логи?

— Авторизованные некрологи,— торопливо подхватил коллега Леман,— вы можете сами отредактировать или даже сами написать, если вам угодно.

Ложкин вскочил, опершись руками о стол, бессмысленно выпучив глаза, дергаясь ртом, полузадохнувшись.

— Не-кро-логи? — переспросил он, насилу переводя дух.— Вы сказали, не-кро-логи?

Он держался рукой за сердце, облизывал языком пересохшие губы.

— Вон! Вон! Вон отсюда! — яростно прокричал он и, не глядя на Лемана, робко отступившего в сторону, тяжелыми шагами пошел к столику, на котором стоял графин с водой. Он был сер, как мышь. У него ноги дрожали.

10

Всю ночь до утра Ложкин проторчал в своем кабинете. Он не ложился, ничего не ел и ни словом не отвечал на увещания Мальвины Эдуардовны, употреблявшей все

усилия, все влияние, которым она когда-то располагала, чтобы заставить его взять через дверь стакан бульона с гренками. От растерянности и волнения она уговаривала его по-немецки. Он молчал. Бульон с гренками так и простоял всю ночь на столике возле двери.

Но в шестом часу утра профессор засвистал. Заложив руки за спину, щурясь, он стоял у окна. Мокрое дыхание оттепели распространялось над улицей, над разбухшими торцами, торчащими из-под тающего снега. Капало. Очевидно, близилась весна. Воробьи сидели на решетке сада, похудевшей от оттепели. Профессор свистал.

Проект, его проект уже вырастал перед ним в хитрейшую, грандиознейшую историю, мистификацию, почти аферу. Он перехитрит их всех, никому и в голову не придет, что он может выкинуть такую штуку. А он выкинет. Он выкинет. Авторизованный некролог? Отлично, он напишет, он напечатает о самом себе некролог. И, злорадно поджимая губы, он тут же придумал начало: «Почивший 19-го сего числа профессор Степан Ложкин был, собственно говоря, по призванию музыкант. В молодости покойный С. С. был незаурядным контрабасистом».

Ступая на цыпочках, он подкрался к двери кабинета и осторожно отворил ее. В спальне был не погашен свет, и утомленная Мальвина Эдуардовна спала на широкой кровати. У нее были плотно поджатые губы, она, должно быть, сердилась во сне. Редкие волосы ее были по-старушечьи заколоты на затылке.

Ложкин с минуту смотрел на нее, потом на пустое место рядом с ней. Это было его место. Он быстро заморгал мокрыми глазами, нахмурился и, махнув рукой, пошел к платяному шкафу.

Этот пиджак, серенький в полоску, висел, помнится, вот здесь, в углу, направо, на палке. Пожалуй, нужно взять и жилет. Да тот ли это жилет? Потянувшись с жилетом поближе к лампочке, он споткнулся о постельный коврик и чуть не упал. Мальвина Эдуардовна спала, как прежде.

Он рассердился, раздумал брать жилет и повесил его обратно на палку. Что нужно было еще сделать? Он старался не смотреть на жену. Еще нужно было... Она ему всегда напоминала... Нужно было...

Сунув пиджак под мышку, он вернулся в свой кабинет. То, что нужно было, он даже про себя сказать не решился.

Стесняясь, как бы таясь от самого себя, он вытащил ящик из письменного стола и разыскал заметки к своей последней работе. Это были те самые записи конъектур в тексте «Повести о Вавилонском царстве», из-за которых он, помнится, просидел целую ночь в пустом университетском здании. Ничего особенного! Он возьмет эти заметки с собой. Там еще нужно кое-что доработать. Туда же, в портфель, он запихал и пиджак, скатав его, как солдаты скатывают шинели.

Строго глядя по сторонам, он прошел в переднюю. Сонная прислуга испуганно смотрела на него.

— Скажите Мальвине Эдуардовне,— пробормотал он, натягивая пальто,— что я уезжаю.

Он поднял воротник пальто и взял портфель.

— К сестре, в Николаев,— добавил он почти шепотом и негнущимися пальцами взялся за ручку двери.

11

В измятом платье, с ненатуральной улыбкой на лице лежала женщина. Она была чьей-то женой.

Она лежала. В измятом платье. В сером платье. С ненатуральной улыбкой.

Пространство, которое минуту назад было чем угодно, оказалось комнатой. Комната была чужая. Стоял стол. Над ним висела лампа. Голова оленя с палкой в зубах, с ветвистыми рогами смотрела на Некрылова нелюбопытствующим взором. В зеркале качались оконные занавески. Стояла кровать. На ней лежала женщина. В измятом платье. Волькина жена. Жена Владимира Красовского, его друга. Оказалось, что он не забывал об этом ни на минуту. Волька умный. Он его очень любит. Он раскаивается...

Нет, он не раскаивался. Он просто сел на кровать. Ему захотелось есть.

12

До третьего дня он не замечал ее. Было известно, что Красовский женат на веселой женщине, которая часто уезжала куда-то. Красовский как-то рассказывал, что она была шведка родом и научила его ругаться по-шведски.

Кроме того, было известно, что она увлекалась спортом. Впрочем, может быть, увлекалась спортом не она, а жена Сущевского или кого-нибудь другого.

Иногда она мешала ему говорить с Волькой. Но ради Вольки он старался вежливо обращаться с ней.

И вот третьего дня — кажется, это было третьего дня, зайдя к Красовскому, он не застал его дома.

Комната была прибрана. На окне стояли цветы или что-то зеленое и розовое. Эльза — ее звали Эльзой — с засученными рукавами, раскрасневшаяся, стояла на спинке кровати и прибивала к стене бархатную скатерть.

Он посмотрел на цветы, потом на нее. Потом он спросил ее, когда она вернулась, и оказалось, что она никуда не уезжала. Потом... Потом... (он припоминал)... Потом он помог ей слезть со спинки кровати. Скатерть висела криво. Он полез поправлять скатерть, поправил, ловко соскочил и сказал ей, что она похорошела.

— Скажите мне, кого вы обидели? Женщина может так перемениться только после того, как она кого-нибудь обидит.

Ухаживать он, в сущности, не умел. Он становился отчаянно вежлив, угощал вином и был бы, вероятно, бананен, если бы не его инфантильность. Инфантильность придавала его уговорам видимость настоящего увлечения.

Красовскому в тот же вечер он сказал, что у него красивая жена.

— Волька, как ты ее уговорил? Она очень сердилась?

На другой день он слушал доклад о литературном быте, покупал туфли, отправился в баню, но баня была закрыта. Потом было еще что-то или очень многое, он ходил с Эльзой покупать шампанское, ругался на кинофабрике с одним из директоров и сказал Тюфину, что от его последнего романа песок скрипит на зубах.

И вот наступил третий день — висит лампа, со стекляшками. Качаются в зеркале оконные занавески. Стоит кровать. На кровати лежит женщина. В измятом платье. А над ней — бархатная скатерть, которую и он повесил криво.

Он почувствовал отчаянье. Чужой матрац! Чужая женщина, которую он почти не знает! Следовало бы сказать ей хоть несколько слов, но у него сил никаких не было.

Он изменял друзьям, как женщинам, все-таки любя их.

Но с женщинами он все-таки старался не изменять друзьям. Она была Волькиной женой — следовало оставить ее в покое.

Он уже шлялся по комнате, подтанцовывая, трогал руками вещи. Пейзаж, висевший над письменным столом, он перевернул вверх ногами.

— Эта картина так долго висит над Волькиным столом, что грозит сделаться литературным бытом.

Эльза смеялась. Спустя четверть часа она позвала его завтракать.

Он сам взялся разливать чай и сделал это с ловкостью, которой позавидовала бы любая хозяйка. В двадцатый раз он показал ей свои туфли.

— Хорошие? — спросил он быстро.— Вчера купил у одного сапожника. Не заметил, что приехал из Москвы без подошв. Все магазины были закрыты. Двадцать восемь. Дорого?

Потом он принялся рассказывать Эльзе о своей дочке.

Он съел полкило голландского сыра, уверяя, что дети — это чудесная вещь, и уговаривая ее (что было по меньшей мере некорректно) поскорее обзавестись детьми. Вольке это будет только на пользу.

— У меня дочка, например, занимается тем, что сомневается в реальности и целесообразности мира. Она подозревает, что тут дело нечисто. Жена не дает ей ломать игрушки. А по-моему — не нужно мешать ей. Мы вместе с ней ломаем потихоньку.

Но когда его собеседница, в свою очередь, начала говорить что-то о детях, он заерзал на стуле, заскучал, даже заскулил немного.

— Разрешите нераскаянному грешнику,— сказал он с неожиданной плавностью,— исчезнуть между первым и вторым блюдом.

13

Самое примечательное свойство филолога, идущего по улице, заключается в том, что он как бы и не идет вовсе. Он стоит, задумавшись, прижимая к груди портфель, из которого торчат книги, и улица, как телеграфные провода, как улица в кино, мерно двигается по обеим сторонам его и кончается тогда, когда кончается мысль...

Профессор русской литературы, идущий по улице Гоголя, недоумевает. Страшнейшая весенняя вьюга лупит в стекла его залихватских очков, мокрый снег тает за воротником пальто. Он недоумевает. Улица кончается вместе с мыслью, начинается площадь. Из портфеля торчат не книги, нет...

Но рукав пиджака, серенького, в полоску.

«Если, невзирая на гололедицу, перейти... Если, невзирая на распутицу, пересечь... Если, презирая распутство, переплыть...»

У профессора русской литературы на ногах огромные боты. Он не решается перейти, пересечь, переплыть, перебраться.

Никого нет вокруг, только мокрый извозчик торчит на углу. Может быть, нанять его? Он осторожно трогает палкой лед. Он наймет, пускай извозчик перевезет его через дорогу.

Помощь долгожданная, но неожиданная, падает как снег с неба.

Человек в полупилотской фуражке, в меховой тужурке, подтанцовывая, подгоняя себя бормотаньем, шипеньем сквозь зубы, пролетает мимо него.

И оборачивается. И возвращается. И спрашивает у него вежливо, но быстро:

— Вам не перейти? Позвольте, я помогу вам...

Профессор растерянно смотрит на его круглое лицо, на его глаза, живые, но как будто лишенные всякого выражения.

Сильная рука поддерживает его, он решается ступить своими ботами на оледеневшую мостовую, он достигает наконец противоположного тротуара.

Некрылов почти по-военному подносит руку к козырьку. Нет, его глаза не лишены выражения — они смотрят на профессора — с нежностью.

— Я ранен в голову и легко забываю фамилии,— говорит он почти учтиво,— но я знаю вас. В тысяча девятьсот четырнадцатом году, в Тенишевском училище, вы выступали против футуристов.

И он исчезает за углом, легкий человек, веселый и быстрый, человек из другой эпохи.

Профессор снова остается один. Он стоит молча. Он прижимает к груди портфель, из которого торчат — нет, не книги! Но рукав пиджака, серенького, в полоску. Его боты снова начинают скользить. Он недоумевает.

14

Комната была слишком вежлива для скандала. Дубовая панель шла вокруг ее стен в скучном порядке. Над стаей фарфоровых тарелок висел портрет старухи с персидскими глазами. Мебель была деревом и холодной кожей.

Трудно было поверить, что девять лет назад в этой комнате было так холодно, что обитатели ее перепутали от холода всех знакомых женщин. Об этом только что рассказал Некрылов.

Он раскупоривал бутылки — со всей неуклюжестью человека, слишком сильного для раскупоривания бутылок.

Это было одно из собраний, которые всякий раз по случаю приезда Некрылова устраивались его друзьями. Он давно уже спутал свою науку со своей литературой. Но ни одного писателя не было здесь. Не для писателей он приезжал в Ленинград. Все, что он сделал, вышло из научных работ по теории литературы — и ключ к этим работам хранился у его ленинградских друзей. Он ценил их. Наука была для него кровным делом. Он тысячу раз готов был вернуться к ней. Мешала Москва, кино, гонорары. Быть может, женщины.

Писателей здесь не было.

За обеденным столом, на мебели, которая была только деревом и кожей, под персидской старухой и фарфоровыми тарелками, сидели филологи.

Он многих не знал, но почти все называли себя его учениками. Даже те, которые изменяли ему.

Он постоянно ссорился со всеми, Драгоманов ко всему миру относился с презрением скучным, как прах,— и ученики (те из них, что тянулись к диссертациям и благополучию) не желали продолжать ссор своих учителей. Они не понимали, что, сглаживая эти ссоры, они сглаживали науку.

И друзья! У него ли не было друзей! Он долго смотрел на Красовского, который был по-прежнему бледен и красив, в котором по-прежнему угадывалась военная выправка, унаследованная от шести поколений. Штабной офицер, который знает, как трудно писать книги! Некрылов еще не забыл о его жене. Он смотрел на Красовского виноватыми глазами.

И Драгоманов. Он наткнулся на Драгоманова взглядом и чуть не пролил вино.

Драгоманов сидел, со скучной настойчивостью рассматривая свои руки, тяготясь шумом. Он был холоден.

Курсистка или аспирантка, которая извивалась, совершенно как игрушечный, добродушный, но все-таки змей (и говорила, несмотря на это, язвительно и остроумно), сидела рядом с ним. Минуту спустя Драгоманов догадался, что она повторяет какую-то из его лекций. И он закрыл один глаз и другим — туманным — сонно оглянул уставленный винегретами, рыбами, винами стол и людей, к которым он не чувствовал ни зависти, ни приязни.

И, оглянув, принялся размешивать ложечкой белую бурду — какое-то восточное блюдо, которое он сам приготовлял из заваренной крутым кипятком пшеничной муки, пополам с сахаром и сливочным маслом.

Он ждал.

Некрылов посмотрел на него с другого конца стола и вдруг забыл, о чем шел разговор по правую руку от него и по левую руку.

— Боря! — крикнул он Драгоманову и показал жестом, что пьет за него. Драгоманов с вежливостью, почти равнодушной, поклонился ему, легко приподнял рюмку.

Это был смотр сил, испытание позиций. Уйдя от науки, живя в Москве, среди чужих людей, среди рвани, которая путалась у него под ногами в кино, Некрылов понимал, что он и его друзья переменились ролями. Когда-то он приезжал сюда как признанный руководитель — проверять состояние сил, восстанавливать нарушенное равновесие. Теперь пора было перестать притворяться хозяином дома, в котором произошли беспорядки. Беспорядок начинал требовать у него отчета. Отчета требует у него, например, Драгоманов. Он требует отчета? Отлично, он его получит.

15

— Товарищи. Я хочу сделать одно предложение,— начал он почти спокойно,— в Москве есть журнал. Он называется «Мена всех». В нем можно скандалить.

Он не знал фамилии востренького юноши в очках, который, казалось, вот только что окончил Петершуле. Юноша возразил ему, что скандалить не стоит, скандалы автоматизовались.

— Хршо. Я согласен. Автоматизовались. Не в этом дело. Дело, кажется, в том, что вам нужно печататься. Вы хотите печататься?

Фамилию многословной, но ядовитой аспирантки с мужскими жестами он прекрасно знал. Аспирантка с мужскими жестами сообщила ему, что у нее есть статья, которую этот журнал не напечатает. Это была первая обида. Ленинградцы не принимали журнала, который он почти редактировал. Они объявляли журнал сомнительным, они шутили над ним. Он принял вызов. Здесь начинался отчет.

— Товарищи, что такое «Мена всех»? — оглушительно прокричал он уже другим, яростным голосом.— Это шляпы, которые мы оставили в передней. Мы заняли места, а сами ушли пить чай. Товарищи, нужно занять места. Нельзя быть такими спокойными. Борис Драгоманов...— он встал, и кресло откатилось от него с визгом,— Борис Драгоманов смотрит на меня одним глазом. Другой он оставил в резерве. Он шутит.

Меньше всего можно было сказать, что Борис Драгоманов шутит. Левый глаз его остался закрытым, но правый начинал злеть. Лицо было желтоватое, но все еще молодое. Лицо человека, который слишком много знал. Быть может, даже знал наперед — это было самое страшное — и то, что он, Виктор Некрылов, собирался сказать о нем.

— Да нет, шутить не приходится,— почти пробормотал он.

Но Некрылов уже его не слышал. Он никого не слышал. Он кричал:

— Товарищи, больше нельзя отшучиваться. Мы хотели обшутить современность, а правыми оказались те, которые не шутили. Поверьте мне! Было время, когда я перешучивал целые госиздаты! Я выбыл из науки, это была моя ошибка. Но ведь вы же здесь делаете не то, что нужно. Вы не работаете. Вы торжествуете. Вы спокойны. Товарищи... (Он перекричал шум.) Я хочу доказать вам, почему я против спокойствия. Я говорил про «Мену всех».

— Гимназический журнал небезызвестного семейства,— холодно и раздельно сказал Драгоманов.

Это была вторая обида. Отчет продолжался.

— Ну, острота, согласимся с остротой. Товарищи, не думайте, что я прекрасно существую. Садясь за стол, я не знаю, как писать, о чем писать. Кроме моей памяти и... и шкуры писателя, у меня ничего нет. Но я живу со своей эпохой, я знаю, как это делается, я защищаю свое. А вы?

Юноша из Петершуле возразил ему, что эпоха представляется ему в виде кассы, из которой, при условии абсолютной удачи, можно иногда получить деньги — по 45 руб-

лей за печатный лист научной работы. Юноша был уже несколько пьян, говорил очень задорно и почему-то в виде тоста.

Некрылов ласково и в то же время с яростью слушал его.

— Сколько вам лет? Двадцать два? Для двадцати двух — мало сделано! Вопрос не в деньгах. Поверьте мне на десять процентов. Товарищи, у готтентотов были такие племена, где люди измеряли время огнем. Они зажигали дерево, и оно медленно горело. Я где-то писал об этом. Они медленно считали время. Потом они переселились на другое место, где дерево горело в несколько раз быстрее. И они умерли. В три года. Товарищи, нам есть еще о чем говорить! Не будем считать время по-разному. Оно вытесняет нас из науки в беллетристику. Оно слопало нас, как хотело. Не нужно отшучиваться. Нужно это давление времени использовать!

— Давление времени? — со скучным презрением возразил Драгоманов и остановил Некрылова, подняв навстречу ему свою узкую, немужскую руку.— Вы используете давление времени? Вы сидите там в Москве на дырявых стульях и делаете высокую литературу.

Он не кончил. Некрылов швырнул в стену стакан с вином, который он держал в руках. Стакан был пущен меткой рукой и попал не в левое окно и не в правое — в простенок, довольно узкий, впрочем.

Он рассадил стакан и с дергающимся лицом оборотился к Драгоманову.

Все молчали.

Молчали и те, кто понимал, что буйство Некрылова было уже не то. Он не в первый раз рассаживал посуду о стену. Он буянил, видя, что за ним наблюдают.

— Вот то-то и есть,— ни к кому не обращаясь, пробормотал Драгоманов.— Вот оно... Время! Стаканы бьешь. Кричишь!..

Красовский, качнувшись, привстал, схватил Некрылова за рукав и посадил его рядом с собой.

— Витя, выпей воды,— сказал он тихо,— или водки, может быть, еще выпей. И успокойся.

— Ты со мной согласен? Я правильно говорил?

— Я? Согласен. Правильно. Выпей воды.

Одним глотком Некрылов выхлебнул стакан воды и встал, вытирая рукой мокрые губы. Он торопился. Он не договорил.

Расхаживая по неширокому пролету между креслами и столом, трогая вещи, он говорил, говорил и говорил. Он кричал — и в нем уже нельзя было узнать легкого оратора Академической капеллы, ради остроумного слова готового поступиться дружескими связями, женщиной или настроением.

Это было тяжелое буйство человека, защищавшего свое право на буйство. Это была борьба за власть, преодоление зависти к этому умнику с желтоватым лицом и туманными глазами.

Умник же с желтоватым лицом и туманными глазами, слушая его, равнодушно ел рыбу. Косточки он аккуратно раскладывал по краям тарелки.

Некрылов говорил о том, что нельзя так спокойно сидеть на голом отрицании, что когда-то они писали, чтобы повернуть искусство, и «не может быть, чтобы мы играли не в шахматы, а в нарды, когда все смешано и идет наудачу». Он говорил о том, что у него болит сердце от бесконечного довольства, которое сидит перед ним вот за этим столом, и о том, что Драгоманов не имеет права есть рыбу так, как он ест ее сейчас, если он думает, что у нас не литература, а катастрофа...

Драгоманов оставил рыбу и снова взялся размешивать ложечкой свою бурду.

— Не стоило разбивать стакан,— негромко возразил он.

— Один стакан! А посчитайте, сколько стаканов я разбил для того, чтобы вы могли говорить...

Он сказал это, сжав зубы, большие сильные челюсти проступили на его лице, он чуть не разрыдался.

— Ну, милый, милый, брось, чего там... Наше время еще не ушло. Живыми мы в сейф не ляжем,— почти сердечно сказал Драгоманов.

16

Потом начался конец вечера — начались игры и пьянство. Пустые бутылки уже стояли посередине комнаты — вокруг них возились, взявшись за руки, и желторотые студенты, и очкастые, дьявольски умные аспиранты.

В соседней комнате играли в рублик.

Было уже очень поздно, когда аспирант, белокурый и длинноногий, похожий несколько на жирафу, объявил, что желает петь.

Он был пьян и, быть может, поэтому пел меццо-сопрано.

Любовь, как всякое явленье,
Я знаю в жанрах всех объемов.
Но страсть, с научной точки зренья,
Есть конвергенция приемов.

Он не окончил. Хохот грянул с такой силой, что шелковый абажур потерял равновесие и, как бабочка, бесшумно взлетел над столом.

Длинноногий аспирант уже стоял посередине комнаты на разбитых бутылках и размахивал бесконечными руками в твердых, как железо, манжетах. Пустив заливистую басовую трель, он снова перешел на меццо-сопрано.

Пускай критический констриктор
Шумит и нам грозится люто,
Но ave Caesar, ave Victor,
Aspiranturi te salutant! [1]

Да полно, был ли он Victor'ом? Точно ли он победил? Быть может, ему следовало не нападать, а защищаться? Но ведь и у них здесь многое было неблагополучно. «Не стоило разбивать стакан». Да, может быть, и не стоило. Он чувствовал себя побежденным.

Весело похлопав белокурому аспиранту, он подтащил к себе Драгоманова и посадил его рядом с собой на диван.

— Знаешь, Боря,— сказал он сквозь шум, сквозь хмель, который нужно было преодолеть, чтобы заставить себя найти нужное слово,— по последним исследованиям... Это изучали в Германии... По последним исследованиям, смертность от ран несравнимо более велика в побежденной армии, чем в победившей.

17

Он запоминал имена людей, которые обижались на него, чтобы на другой день звонить им по телефону.

Если накануне вечером он уничтожал человека за плохой рассказ (или за хороший), он говорил: «Я вспомнил, что у тебя есть одно забавное место».

Он ссорился на людях и мирился наедине...

Наступало утро, шел снег и делал мир манерным.

---

[1] Да здравствует Цезарь, да здравствует Виктор, // Аспиранты тебя приветствуют! *(лат.)*

Некрылов шатался по Васильевскому острову, почти не догадываясь, что пьян, принимая пьянство за усталость.

Кому он должен сегодня звонить и о чем ему говорить с людьми, которых он обидел?

На Пятой линии он встретил собаку и долго, очень сердито рассматривал ее. Собака сидела под воротами, лохматая, разочарованная, голодная, как собака. И все-таки она смеялась над ним. Она приоткрывала зубы, опускала уши, подавалась назад. Она смеялась над ним, она его обижала.

На всякий случай он сказал ей номер своего телефона:

— Позвони мне, пес, и скажи, что ты не хотел меня обидеть, что после меня будет легко писать. Что я знаменитый писатель.

Он посмотрел мимо пса во двор. Этот дом, похожий на почтовый ящик, был знаком ему. В этом доме, похожем на письменный стол, на площадке второго или третьего этажа по черной лестнице было выбито окно. Он когда-то стоял на площадке, возле разбитого окна, и следил, как мимо двадцатиугольной дыры падал снег, напоминавший кинематограф.

Он ждал кого-то...

— Кого я ждал, пес, и что я здесь делал? И согласен ли ты со мной, что у нас не литература, а катастрофа?

Теперь он знал, кто живет в этом доме. В этом доме, похожем на чемодан, жила Верочка, Верочка Барабанова.

Поднимаясь по лестнице, он бормотал, пел или насвистывал марш. Как все это было знакомо! В который раз он шел к женщине, которая не ждала его, в который раз он знал наперед каждое движение, каждое слово. Он чувствовал себя разбойником, к нему тоска подступала.

На третьей площадке и точно было выбито стекло. Снег падал иначе, чем тогда, утомительнее, тяжелее. Верочка жила здесь. Сегодня вечером он уезжает. Он должен ее увидеть.

Босоногая девица в мужском пальто открыла ему двери. Бормоча, напевая или насвистывая марш, Некрылов прошел мимо нее, в коридор. Шесть или двенадцать дверей встали перед ним, как шесть или двенадцать раз повторенный кадр.

Он усмехнулся и распахнул самую знакомую из них.

В комнате было утро и беспорядок. И мольберт, повернутый к стене. Спокойная, как отпуск, за ширмой стояла кровать. Он заглянул за мольберт и за ширму. На мольберте он увидел полотно, усеянное выпуклыми мазками,

которые хотелось потрогать пальцем или даже сковырнуть.

За ширмой он увидел женщину, которая не была женой, сестрой или любовницей друга. За это он был ей искренне благодарен.

Он сел на низенький табурет и с минуту смотрел на нее с детским любопытством. Она лежала, свернувшись калачиком. И он всегда так же спал в детстве. Впрочем, детства у него, кажется, не было. А как он спит теперь?

Нет, он не чувствовал себя разбойником, он был одинок и пьян. И ничего не хотел. И уже не возражал против спокойствия. Неблагополучие шло на него сомкнутыми рядами. Это случалось с ним не в первый раз. Но тогда у него было чем отбиваться.

Разбудил ее он все-таки не потому, что все вокруг становилось страшноватым. Но он загадал. Детское гимназическое суеверие бродило в нем. Он загадал — если, проснувшись, она скажет: «Вы сошли с ума»,— он окажется сильней неблагополучия... Если же: «Вы потеряли голову»,— значит, предстоит спокойствие, конец биографии, значит, он существует неверно.

И он разбудил ее. Она открыла глаза и, почти не удивляясь, протянула ему руку. Рука была тонкой, как римская свеча. Некрылов молча поцеловал руку. И не угадал. Подоткнув под себя одеяло, поправив волосы, упавшие на лицо, она сказала с торжеством, которое было немногим веселее его одиночества:

— Дорогой Виктор, вы слишком рано разбудили меня. По отношению к женщине, которая как-то на днях была влюблена в вас, вы поступаете по меньшей мере неблагородно. Тем более что у меня сегодня масса хлопот. Я выхожу замуж.

18

Верочка одевалась за ширмой, он видел краешек ночной кофточки сквозь створки, разошедшиеся на петлях. Больше ничто уже не меняло очертаний. Иронически улыбаясь, похожий на карикатуру Чемберлена, он сидел на диване, поджав под себя одну ногу, вертя ступней.

— Верочка, вам нельзя выходить замуж,— сказал он краешку ночной кофточки, створкам, разошедшимся на петлях.— Вы похожи на слишком умных детей, вам нель-

зя. Вы попадете в дурные руки. Вы будете породистой собачкой в дурных руках.

Он вытянулся на диване, лег, затолкав под голову свой зеленый шарф.

— Я хочу рисовать,— услышал он. Голый локоть мелькнул над ширмой.— Я запретила себе все, кроме живописи. Дорогой Виктор, не старайтесь сбить меня с толку. Все решено.

— За кого?

— Что за кого?

— За кого вы выходите замуж?

— Не все ли вам равно?

— Я его убью.

Он молча выслушал длинную речь о том, что ей скоро будет двадцать четыре года и что это нелепо. О том, что она хочет ни от кого не зависеть — «и тогда придет все, что только может прийти». О том, что она все предвидела, кроме себя самой, и что она обречена на несчастья. О том, что она хочет повеситься. О том, что она хочет выйти замуж. О том, что с каждым днем она становится все равнодушней. О том, что она принуждена носить платья, которые к ней не идут. О том, что она хочет стать немкой и вязать чулок. «И ему конца не будет, потому что я не умею вязать пятку». О том, что она противна самой себе. О том, что самое важное — нарисовать картину, чтобы она выглядела как что-то пустое, как чистый воздух. И о том, что вчера она разорвала самое лучшее свое полотно. И наконец, о том, что, пока помнят обиду, ее еще не простили.

Некрылов слушал ее, неотчетливо улыбаясь. Он накрылся пальто, стащил откуда-то маленькую диванную подушку. Обида, вот в чем дело. Ее не следовало обижать. Он не позвонил ей на другой день по телефону.

— Почему вы выходите замуж? — спросил он грустно, свалив голову набок.— Потому что я вас обидел? У вас, кажется, четвертый этаж? Хотите, я сейчас прыгну из окна? Если я расшибусь, вы расскажете об этом Боре? Как его зовут?

— Кого?

— Этого человека. Вашего мужа?

— Кирилл.

— Фамилия?

— Кекчеев.

— Армянин? Татарин? Все равно. Я поговорю с ним.

Я объясню ему, почему это неправильно. Боря его знает? Я отхлопочу вас у него. Он умный?

В ответ на этот простой вопрос он должен был выслушать обстоятельный, хотя несколько бессвязный доклад о Кирилле Кекчееве. Она устает от слишком умных людей. Ей легче с ним, чем с писателями или художниками. Впрочем, она еще не знает его. Он то слишком ловок, то неуклюж, то теряется, то говорит дерзости. Он влюблен. В нем чувствуется незаурядная настойчивость, он сделает блестящую карьеру. На днях он говорил с ней о завоевании учреждения, как миссионер об обращении дикарей. Он круглый. Говорит по-латыни. Очень молодой. Франт. Важничает. Смешной. Много ест. И ничего не понимает в живописи.

Некрылов сбросил пальто и встал. Вежливый, очень веселый, он с истинной корректностью поцеловал ей руку. Мир вернулся на свое место, он был трезв, удивительно трезв и ясен. Потягиваясь, размахивая руками, он прошелся по комнате. Ему хотелось схватить что-нибудь, смять, связать узлом. Связать узлом он хотел кочергу, но Вера Александровна отняла кочергу и усадила его обратно.

— Я увезу вас из-под венца,— объявил он, прихлопывая по ее руке ладонью.— Вы хорошо рисуете. Вы милая. Я где-то уже писал об этом. И я не могу позволить вам выйти замуж за этого человека. Во-первых,— он протянул это слово,— вы его не любите. Во-вторых, это не человек. Это болезнь.

ОНА БЫЛА МИЛА, И ОН ЛЮБИЛ ЕЕ. НО ОН НЕ БЫЛ МИЛ, И ОНА ЕГО НЕ ЛЮБИЛА

1

Несчастье не сломило Мальвину Эдуардовну. В ней проявились внезапно энергия, распорядительность, даже ум. Боевая курсистка, принципиальная курсистка именно акушерских, а не каких-либо других курсов, проснулась в ней на следующий же день после загадочного исчезновения мужа. Как поседевший на своем деле следователь, она шесть раз подряд допросила прислугу. Выяснилось — профессор свистал, потом оделся и вышел. Дальше шли сведения, противоречащие здравому смыслу. Никакой сестры

у профессора в Николаеве не было. Жила когда-то тетя, замерзшая в 1918 году. Трудно было допустить, что он поехал на могилу к тете.

Не потеряв бодрости, потрясая почему-то трудовой книжкой, Мальвина Эдуардовна в течение двух часов буйствовала в милиции. Ей представили подробный список всех ленинградских граждан, покончивших за истекшие сутки самоубийством. Здесь был безработный бухгалтер, не сумевший примириться с тем, что домком перевел его в разряд свободной профессии, и двенадцатилетняя девочка, оставившая краткую записку: «Причина — разочарование в жизни». Но профессора Ложкина не было в этом списке.

Прямо из милиции Мальвина Эдуардовна отправилась в Академию наук. Не соглашаясь на непременного секретаря, она потребовала самого президента. Президента ей увидеть не удалось, но выяснилось: Академия наук сочувствовала, обещала принять все меры, зависящие от нее; а впрочем — это было видно по самому тону разговора — быть может, даже ожидала от без вести пропавшего профессора какого-нибудь фортеля в этом роде. Все ожидали, кроме нее. Она одна его просмотрела.

Из Академии Мальвина Эдуардовна удалилась с достоинством, с твердостью. Но, вернувшись домой, она вдруг почувствовала всю глубину своего несчастья. Боже мой, ведь на нее же смотрели как на женщину, от которой сбежал муж!

К родным она совсем не пошла. Оставались друзья. Разве у Степана Степановича не было друзей, друзей еще с университетской скамьи? Разве его не любили? Не уважали?

На третий день своих бесплодных поисков она надела черное шелковое платье, почти траурное платье, которое скорбно шумело при каждом шаге, взяла лорнет и отправилась к Вязлову.

2

Когда она увидела длинную табачную бороду и сгорбленные умные плечи Вязлова, у нее губы задрожали от жалости к самой себе. Но она сдержалась, только поднесла платок к лицу. Вязлов (он вышел в переднюю, чтобы встретить ее) очень сочувственно и с неожиданной в его

годы легкостью поклонился ей, поднес к губам руку. В ответ она громко поцеловала его в лоб. Все это произошло в полном молчании, почти торжественно, почти так, как если бы профессор Ложкин не был уже причастен земных сует.

Придерживая ее под руку, Вязлов провел ее в свою комнату, подвинул кресло поближе к камину, усадил ее, сам сел к столу.

Она сидела выпрямившись, крепко сжимая в руках платок, поджав губы.

— Вот, Иван Ильич, пришла к вам. Вся моя надежда на вас. Вы ведь всегда были нашим другом...

Это было сказано с твердостью. Другом он никогда не был. Напротив того, из-за Мальвины Эдуардовны несколько лет находился с Ложкиным в отношениях холодных, она не раз ссорила мужа с друзьями.

Вязлов послушал немного, о чем она говорит.

— Что ж, так и не нашли его, Степана Степановича? — спросил он, разглаживая кулаком усы.— А может быть, он за границу уехал? Я вот тут как-то сегодня ночью подумал, что он за границу уехал. И решил, что в Париж.

Мальвина Эдуардовна изумленно подняла брови.

— Но ведь у него же и паспорта заграничного не было.

— Ну и что ж такого, что не было! Это не имеет большого значения. Вот у меня был такой знакомый, Морачевич, сенатор. Не тот Морачевич, который в полиции служил, а другой, однофамилец. Так он — по крайней мере, так мне его жена рассказывала — как-то раз вернулся с заседания государственного совета, пообедал даже, кажется,— и уехал. В Париж. Так и пропал. Потом его где-то в портах Средиземного моря видели. Жил среди греков, ловил рыбу.

Мальвина Эдуардовна беспомощно развела руками.

— Впрочем, насчет Степана Степановича,— добавил, немного подумав, Вязлов,— действительно трудно такую историю предположить. Этот Морачевич, он ведь глупый был. Ну, а в сыскном?.. В сыскном-то отделении вы спрашивали?

— В сыскном отделении ничего неизвестно,— сказала Мальвина Эдуардовна,— решительно ничего. Они говорят,— она оскорбленно поджала губы,— что это личное дело Степана Степановича, что он может жить, где хочет, и я вовсе не вправе ему мешать.

Вязлов подвинул к себе коробку с табаком и слегка дрожащими, сухими пальцами принялся набивать папиросу.

— Гм, это интересно... Такая точка зрения для сыскного — это все-таки новость. Это что ж... Такое законодательство теперь? Стало быть, если человек без вести пропал — он имеет на это полное право? Хочу — пропадаю, хочу — нет! Свобода воли, так сказать, индетерминизм. Я вот слышал, что индетерминизм как-то не в моде теперь. А он, оказывается, даже на законодательство имеет влияние. Ну, что ж, стало быть, и разыскивать его на основании свободы воли отказываются?

— Не отказываются, но ничего не обещают.

— Любопытно, очень любопытно. А вот раньше сыскное отделение философски было менее образованно, но работало отчетливее и, очевидно, более успешно. У меня вот Александр, сын, тоже как-то однажды пропал бесследно. Он, правда, тогда еще маленький был. Его, кажется, нянька потеряла... Или нет, это Андрея нянька потеряла. А Александр Густава Эмара начитался и в Америку убежал. Я тогда тоже в сыскное отделение обращался. И нашли. Где-то под Москвой на полустанке задержали.

Мальвина Эдуардовна сидела прямая, бледная. Казалось, она была чрезвычайно заинтересована историей с Александром. Но когда Вязлов кончил, она поднесла платок к глазам и заплакала.

— Ведь он же мне ни одного слова не оставил. Он накануне целую ночь взаперти в своем кабинете просидел. И денег с собой не взял. Ушел с одним портфелем.

Вязлов, нахмурившись, гладил тощую бороду. Он привстал и сочувственно тронул ее за рукав.

— Мальвина Эдуардовна, поверьте слову моему — найдется. Ничего особенного в этом деле не нахожу. Усталость. Он отдохнуть поехал, он сейчас где-нибудь в Царском Селе живет. Отдохнет и вернется.

Мальвина Эдуардовна вытирала мокрые глаза, сморкалась.

— Нет, нет, вы только утешаете меня, Иван Ильич. Я знаю, знаю. Он старости своей не пожалел. Я все понимаю отлично. Он не один уехал.

Вязлов пристукнул палкой и с изумлением уставился на нее. Глаза его иронически сощурились, он шумно откашлялся и пустил дым через нос.

— С кем же он уехал?

— С женщиной,— твердо сказала Мальвина Эдуардовна,— к нему курсистки ходили, под видом экзаменов, каждую неделю ходили. Он франтить начал, меня сторониться стал. Его завлекли, завлекли...

3

Когда бессонница перешла в старание уснуть, а уснуть все-таки не удалось, Драгоманов встал и, съежившись, грея под мышками пальцы, вышел в коридор.

Коридор спал и во сне вонял щами.

Прихрамывая, Драгоманов прошел вдоль матовых ламп.

Дохлый студент, известный тем, что даже в поминальной, на похоронах профессора Ершова, речи умудрился пожаловаться на соседство с уборной, попался ему навстречу.

— Ну, как с клозетом? — приветливо спросил его Драгоманов.

Сверху, с третьего этажа, еще долетали раздробленные голоса, стук шагов. Каждую ночь в третьем этаже собирался клуб трепачей, в который входили все первокурсники, твердо решившие без удержу прожигать жизнь.

Драгоманов загнул за угол, вступил в другой, более семейственный запах и, остановившись у комнаты Лемана, ногой толкнул дверь.

Луна спала вместе с Леманом, в его постели.

Он лежал, зарывшись в подушку, узкие плечи торчали из-под серого солдатского одеяла.

Во сне он походил на отставного клоуна, на рыжего, доведенного до изнеможения.

Драгоманов с досадой посмотрел на него. Но пожалел, будить не стал. Не только не стал будить, но заботливо прикрыл детскую пятку, вылезшую из-под одеяла.

Потом сел к столу.

Казалось, он был прибран раз и навсегда, леманский письменный стол: по правую руку и по левую лежали аккуратные стопочки книг. Рядом с бутылкой чернил стоял морской компас. Леман гордился им — компас был подарен ему пьяным штурманом, который пришел в восторг от собственного некролога.

Драгоманов взглянул на стрелку. Север лежал еще напротив юга, запад напротив востока. Они еще не сошли со своих мест, не поменялись ролями.

Драгоманов пожалел, что они не поменялись ролями, и поставил компас обратно.

Со скучным лицом он принялся пересматривать книги.

Леман читал, как выяснилось, о йогах, о радио, о скорейшем и легчайшем способе научиться гипнозу. Тут же лежало тщательно переписанное сочинение о Белоруссии, которое начиналось словами: «Отнюдь довольно!..»

Прочтя без особенного интереса о том, что белорусы прямые потомки яфетидов, и отложив сочинение в сторону, Драгоманов наткнулся на клеенчатую опрятную тетрадь. На обложке ее было вырезано перочинным ножом, и очень искусно:

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ
СТУДЕНТА ИСТОРИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ИВАНА ЛЕМАНА

а внизу помельче:

с присовокуплением некоторых данных
автобиографического характера

Драгоманов оживился, подсел ближе к свету. Стало быть, что же? Студент исторического отделения Иван Леман ведет мемуары? Его все юродивым считают, а он втихомолку записывает. Быть может, он для того и притворяется человеком неопасным, чтобы без помехи можно было наблюдать, записывать, запоминать.

Драгоманов раскрыл тетрадь и уткнулся в нее с живейшим любопытством.

Леман писал:

«Все перечитавши, и несколько раз, что только нашлось своего или занятого, все передумавши, и неоднократно, что только задержалось в моей старой голове, всем наскучивши, наконец с месяц нахожусь я в совершенном безделии, следовательно, в несносной скуке. Работать в огороде или бродить по окрестностям моего самопроизвольного заточения? Препятствует ежедневный жар. Выезжать на охоту? Стрелять в сие время нечего, к тому же оводы одолевают коней...»

Драгоманов сощурился, с недоумением повертел в руках тетрадь.

— Каких коней? В каком огороде? Впрочем, он летом, кажется, уезжал куда-то. Но «в старой голове»? Он с ума сошел, очевидно.

Он продолжал читать.

«Чем же наполнить день, особенно чем сокращать предолгие предобеденные часы? Писать?.. Я бы, кажется, за-

был давно писать, если бы не поддерживал сие неважной перепиской, которая не может дать дельного вещесловия. Но что дельное? Ничтожность не занимательна, следовательно, не должно писать все, что попадать станет под кончик твоего пера. Так вот мой предмет: мое время. Я хочу писать мою жизнь и какие мне памятны важнейшие, случившиеся в течение оной происшествия. Да не подумает кто-либо, что сим маловажным занятием я хочу втесниться в лик творцов сочинений. Отнюдь! Я знаю, какие потребны дарования, сведения, знания, учение, витийство писателям, посвятившим себя или пожалованным препровождать до позднейшего потомства громкие подвиги витязей, славу владык, бедствия народов. Я намереваюсь писать о себе, для себя, для своих,— следовательно, я буду писать, как умею, не поставляя себе образцами ни Ксенофонтов, ни Ливиев, ниже других витий времени нашего и времен минувших. Слог мой, подобно деяньям, будет прост, но правдив, в чем призываю на помощь мою богиню — истину».

Драгоманов, оторопев, гладил себя ладонью по лбу. Леман писал прекрасным языком. Более того — языком, который насчитывал за собой никак не меньше полутораста лет.

«Родился я в Белоруссии, в городке Болотном, от родителей ежели не знаменитейших и богатейших, то от самых здоровых и молодых.

Отец Петр Петрович Леман, юноша 21 года, женился по взаимной сердечной склонности на матери моей, 16-летней отроковице Анне Ивановне Кореньковой, и их счастливый союз на десятом месяце был украшен моим появлением. Родиться первенцем от неискусобрачных (за что буду крепко стоять, по меньшей мере с одной стороны), молодых, здоровых родителей, быть воздоену матернею грудию, значит: получить с жизнью прочное членоустроение, чистую кровь, здоровые соки... Сие наблюдается по всем хорошим конским и другим заводам.

Взгляните на сего благообразного, преисполненного любезности юношу: не являют ли все черты его лица и все движения его тела, что он есть произведение тихих сладостных минут вечера, когда добрые, чувствительные два существа после вечерней, приятной прогулки, в уединенной мирной храмине предаются восторгам целомудренной любви? Не доказывает ли он ярким румянцем своих щек, упругостью своих мышц, широкою грудью, звонким голосом,

всегдашней веселостью, что он чадо доброго союза, засеянное дюжим, трудолюбивым земледельцем в ложесна дородные, здоровые подруги, в тени ли ветвистых рощ, в холодке душистого стога?»

Низко склонившись над столом, дымя папироской, Драгоманов дочитал тетрадь до конца.

Леман сообщал в дальнейшем, что мать его, приживши второго сына, на двадцатом году жизни овдовела и, обижаема будучи тетками, вторично поступила в замужество.

Что отчим утопил было его в пруду, неподалеку от деревни Котляковки, но не успел в сем происшествии, будучи остановлен мимо проезжими поселянами.

Что, отдалясь напоминовениями сколько можно, видит он как бы во сне, что, будучи отправлен на учение в Минск, жил он под начальством какой-то женщины, именем Варвара, «в совершенной праздности», шатаясь по улицам и, «по крайнему изобилию всех плодов, пресыщаясь ими». Что вредные наклонности, происшедшие от сего, заставили его в течение времени погрузиться в распутство. Что попущение своевольствовать со стороны начальства его, женщины Варвары, долженствовало бы предать его всем порокам своеволия. Но что белорусское, хоть и плохое, воспитание не только удержало его от всесовершенной гибели, но содеяло в нем правила нравственности, доброты и благочиния.

Драгоманов тихо положил тетрадь обратно.

Мемуары были чужие.

Бедный студент исторического отделения Иван Леман! Он списывал их откуда-то. Из Радищева? Из Карамзина? Для его некрологов, торжественных и благопристойных, не хватало торжественных мемуаров. Его привлекала звучность. Слова звучали, как медь, почти как молитва.

«Попущение своевольствовать... Всесовершенная гибель».

4

Прожигающие жизнь первокурсники уже не лупили каблуками в пол, лампы в коридоре были уже погашены, когда Драгоманов вышел из леманской комнаты. Он возвращался к себе — не с тем, разумеется, чтобы снова попытаться уснуть. Но он ловил ясный утренний час для работы.

Снежный нетронутый свет падал от Невы в его окно, вещи стояли маленькие, как дети. С посветлевшими глазами он уселся за стол, разложил рукопись — он писал большую статью о языке прозы с лингвистической точки зрения.

Но что-то мешало ему работать, руки были не те, карандаш был не отточен.

Досадливо качнув головой, он отправился обратно к Леману.

— Леман, материальный писец, материалист,— сказал он и, отрывисто рассмеявшись, стянул с него одеяло.— Студент исторического отделения Иван Леман! Извиняюсь, что разбудил.

Леман негромко взвизгнул, поджимая под себя голые, покрытые рыжим пушком ноги. Он испуганно моргал, отмахивался.

— Леман, важное известие, прими во внимание,— сказал снова Драгоманов и сел к нему на кровать.— Один из твоих некрологов можно, кажется, отправить в газету. Не белорус,— добавил он, начиная щекотать Леману пятки,— но зато профессор. Ординарный профессор, не какой-нибудь. И член-корреспондент Академии наук... Ага! Скончался! Погиб, не оставив за собой ни следа, ни дуновения. Фамилия Ложкин, по имени Степан Степанович. Можешь написать о нем в своих мемуарах: «Он был, и его не стало», или «скончал житие свое», или «жизни более уже не причастен». Напиши о нем, дорогой Леман, дорогой студент исторического отделения Иван Леман. В одном я не сомневаюсь. Об одном я сожалею. В одном я всесовершенно уверен. В том, что тебе, дорогой Иван Леман, не удастся сказать на его могиле поминальную речь!

5

— Все негры — брюнеты. Я — брюнет. Следовательно, я — негр?

Меньшая посылка навряд ли была верна. Профессор логики Визель не был брюнетом. Он был сед. Целая туча седых волос сидела на кафедре. Из тучи изредка слышался смех.

Профессор был знаменитый хохотун и насмешник.

Высокий студент с великолепным носом, с волосами, вдохновенно закинутыми назад, стоял перед ним и, что называется, «плавал».

Он «плавал» уже минут двадцать, но достоинства не терял. На каждый вопрос Визеля он оскорбленно взмахивал шевелюрой, шевелил губами, но молчал.

В экзаменационном листе напротив его фамилии давно уже была нарисована лодочка. Таков был Визеля обычай. Если студент выплывал, к лодочке приделывался плюс, похожий несколько на парус, если же тонул — минус, который можно было, пожалуй, принять за сломанный руль.

К концу сессии целый водный транспорт всплывал на поверхность студенческих неудач.

Ногин, невыспавшийся, усталый, злой, сидел на последней парте и зевал, разглядывая знакомый потолок пятой аудитории.

В книгу он, верный испытанному правилу — перед смертью не надышишься,— не смотрел. Экзамен был приготовлен сгоряча, в три дня.

Три дня подряд он вставал в шесть часов утра и до поздней ночи изучал законы логического мышления, методы опровержения суждений.

Латинское стихотворение, придуманное средневековыми монахами для облегчения запоминания правильных модусов, хлопало в его мозгу, как оконные ставни.

Barbara, Celarent, Darii, Ferioque, prioris,
Cesare, Camestres, Festino, Baroco, secundae...

Седая грива волос на кафедре казалась ему логической ошибкой.

— Ну, хорошо. Оставим негров. Очевидно, вы, коллега, питаете неприязнь к народам хамитской расы. А вот что вы скажете по поводу такого силлогизма? Вы — не то, что я. Я — человек. Следовательно, вы — не человек?

На этот раз студент нашелся быстро.

— Ошибка здесь в том,— уверенно сказал он,— что я тоже человек.

К лодочке на экзаменационном листе неторопливо приделывался руль.

— Не смею сомневаться,— очень серьезно возразил Визель, и весь заходил от хохота на своем тряском стуле,— весь вопрос в том, очень ли вы занятой человек и не можете ли вы прийти ко мне еще раз?

Студент молча взял обратно матрикул и раздраженно засунул его в курс логики, который держал в руках. Он ничего решительно не знал, ни на один вопрос не ответил.

Тем не менее, выходя из аудитории, он громко сказал, оскорбленно тряхнув шевелюрой:

— Гм, странно!

И с треском захлопнул дверь.

Ногин невесело посмеялся ему вслед: «Вот сейчас пойдет эта толстуха, кубышка, которая с утра до вечера катается по университетскому коридору. Тоже срежется, пожалуй. Потом я. И черт их возьми, зачем заставляют они восточников возиться с логикой. Визель бородат. Я не бородат. Следовательно, я не Визель. И никакой ошибки нет, я и в самом деле не Визель. И пролечу я сейчас у этого Визеля, как пуля. Эх, нужно было к Вязлову пойти, Вязлов хорошо экзаменует».

Час назад, когда, в томительном ожидании профессора, он бродил между библиотекой и буфетом, знакомая курсистка рассказала ему, как ее экзаменовал по логике Вязлов. Он задал ей только один вопрос:

— Понятия бывают отрицательные или не бывают?

— Бывают, профессор,— твердо ответила курсистка.

Он пожевал губами, равнодушно посмотрел на нее, немного подумал. Потом поставил в ее матрикуле «вуд». Потом спросил, ткнув пальцем в сторону двери:

— А что ж, там еще многие хотят экзаменоваться?

— Очень многие, профессор.

— Ага. Так вот, подите к ним и скажите, что понятия отрицательными не бывают.

А кубышка-то прекрасно знала предмет! Не давая Визелю сказать ни слова, она энергично и даже как-то хозяйственно сообщила ему, что она аккуратнейшим образом посещала его лекции, что не кто иной как именно Декарт был одним из виднейших представителей рационализма, что два частных суждения, состоящих из одинакового материала, но имеющих разное качество, называются относительно друг друга подпротивными...

И Визель приуныл. Он грустно ерошил бороду. Он свесил с кафедры другую руку, и Ногин разглядел на ней, на мизинце, длинный, отточенный, желтый ноготь.

«Нет, не подходит к Визелю этот ноготь,— подумалось Ногину,— к бороде не подходит. Он, должно быть, им на полях отмечает. А что еще можно таким ногтем делать? Миндаль выковыривать?.. Щекотать?.. Чесаться?.. А ведь кубышка-то сдает! Ай да кубышка, хозяйственная комиссия».

Студент, похожий на гриб, тот самый, который у выхода из аудитории сторожил и проверял список экзаменующихся, давно уже подавал ему знаки.

Ногин кивнул ему и поднес руку к виску. В виске стучало, какой-то круглый пузырек катался под пальцами. Он привычно скрестил их, как это делал, бывало, на хлебных шариках — и вот два пузырька начали кататься под пальцами. Давило на глаза, и все казалось нестройным, как при болезни.

Когда он поднялся, чтобы подойти к кафедре, он еще надеялся, что знакомая четкость придет к нему, едва только он произнесет первое слово.

Но четкость не пришла.

Он молча смотрел на дремучую, на грязно-седую бороду Визеля, и борода все разрасталась, становилась все гуще, все грандиозней. Непослушным ртом он сказал что-то о субъектах и предикатах. Бесконечный желтый ноготь водил по экзаменационному листу, отыскивая его фамилию. Эх, напрасно не пошел он к Вязлову!

— При закопе исключенного третьего,— услышал он самого себя и удивился, у него был чужой и напряженный голос,— при закопе исключенного третьего...

Что при законе исключенного третьего?

Глазки сочувственно смотрели на него из-под нависших бровей. Где-то за семью горами, за стеклянной дверью стояли студенты. И гриб расхаживал среди них, размахивая своим списком, как знаменем, отбитым у неприятеля с опасностью для жизни.

Перебив самого себя, Ногип попросил задать другой вопрос. Визель охотно согласился. Задумчиво почесав своим ногтем за ухом, он предложил Ногину изложить принципы математической индукции.

И Ногин даже не плавал вокруг математической индукции. Он, как якорь, пошел ко дну.

6

Прямо с экзамена он отправился к Драгоманову. У него ломило виски, глаза болели, но вся логика вплоть до последней страницы стояла перед ним, как на ладони. Он понять не мог, каким образом он срезался.

Драгоманов был не один.

Посередине его комнаты, совершенно голый, стоял человек, которого Ногин узнал по портретам.

Впрочем, человек этот не стоял, а прыгал вокруг свертка с бельем, из которого он доставал сиреневые кальсоны, носки, рубашку.

Драгоманов, посмеиваясь, смотрел на него.

Потом он перевел глаза на Ногина, который изумленно застрял на пороге, не решаясь ни войти, ни выйти, и громко рассмеялся. Но тут и голый увидел Ногина.

Шагнув через кушетку, он закинул кальсоны за спину и быстро сунул Ногину руку.

— Не пугайтесь,— сказал он,— Некрылов. Боря, это кто? Твой ученик? Усади его, если он не женщина. И дай мне воды. Я буду мыться.

Внезапно почувствовав себя гимназистом, Ногин покорно сел на диван.

У Некрылова было большое, белое, круглое тело. Какая-то победительность чувствовалась в нем. Оно распоряжалось.

Став обеими ногами в таз от умывальника, он в одно мгновенье забрызгал всю драгомановскую комнату водой и мылом.

— Что мне делать с Сущевским? — говорил он и тер, тер мочалкой полные плечи.— Он говорит, что я плохо пишу. Я плохо пишу? — быстро спросил он у Ногина.— Вы — студент? Что обо мне говорят студенты? Ты понимаешь, вот Сущевский,— сказал он Драгоманову, сморщившись.— Ты видел его комнату? Его книги? Он не понимает, что сейчас важно.

— Ну и я не понимаю,— раздумчиво сказал Драгоманов,— неизвестно, что важно. Ничего не важно.

Но Некрылов говорил уже о другом. Он растирал мочалкой крепкие безволосые ноги и говорил о другом.

— Я вчера был очень пьян? Я, кажется, бил посуду? Возможно, что я был не совсем прав. Время покажет, кто был прав. Но, видишь ли, они делают не то, что нужно, твои ученики.

— И твои.

— Хорошо, и мои. Мы занимались теорией для того, чтобы повернуть искусство. А они? Они пишут свои статьи только потому, что эти статьи до них не были написаны. Это неправильно, чепуха, ничего не выйдет. Выйдут помощники деканов. Секретари факультетов. Чем вы занимаетесь? — спросил он у Ногина.

— Сенковским, бароном Брамбеусом...

Ногин покраснел и принялся искать в карманах папиросы, которых у него не было.

— Неверно. Вот видишь, Боря, они уже не понимают, для чего они это делают.— Это было сказано с торжеством.— Они хотят писать правильные книги. Они хотят, чтобы их уважали академики. Почему Сенковским? Зачем вам это нужно?

— Он был арабист,— отчаянно смутившись, объяснил Ногин.— И я тоже занимаюсь арабским и хотел бы... У него есть интересные теоретические статьи о гекзаметре...

— Ну, чего там, Ногин! Смелее, кройте его! — радостно сказал Драгоманов.— Ага, он же ни черта не понимает в гекзаметре, вы можете посадить его, шпарьте!

Некрылов захохотал, почесал затылок, сел задом в таз, расплескал воду.

— Я хочу доказать,— справляясь с застенчивостью, окончил Ногин,— что он под свою теорию о происхождении гекзаметра подводит систему арабского стихосложения.

Некрылов перочинным ножом срезал ногти на ногах.

— Боря, это интересно? — спросил он.— Возможно, что это интересно. Напишите об этом статью. Как вас зовут? Почему я вас раньше нигде не видел?

Он наконец натянул на себя кальсоны и рубашку. Рубашка не сошлась, он оборвал пуговицу и сунул ее Драгоманову в карман пиджака.

— Боря, ты холостой, возьми, пригодится.

Ногин смотрел на него во все глаза. Такого человека он видел в первый раз за всю свою жизнь. Как был он похож на этих людей, «которые все же немыслимы вне нашего времени и нашего пространства» и которых он придумал, сидя за арабской грамматикой, над Пиренеями Наличного переулка! Какая сила и какой беспорядок чувствовались в этом человеке!

Он уже почти обожал Некрылова. Он ловил каждое слово, смотрел на него влюбленными глазами.

Некрылов ходил по комнате и застегивал брюки. Дважды уже принимался он танцевать чечетку.

Он ловко убрал таз с водой, вытер пол шваброй и произвел в комнате Драгоманова такую уборку, какую она уже давно не видала.

— Тебе нужно купить буфет,— объявил он, убирая с окна стаканы с окурками и пепельницу с картофельной

шелухой,— а может быть, даже и жениться... Ненадолго. На год или на два. На ком тебя женить? На ком его женить? — спросил он, обратившись к Ногину.— Тебя. Нужно. Женить. На хорошей нелитературной женщине. На нелитературной и немолодой. Приезжай в Москву, я тебе это устрою.

Драгоманов был женат уже два или три года, но согласился.

— Но только заметь, Витя, что я люблю́ женщин проказливых,— сказал он очень серьезно.— Шутливых.

С неподвижностью, почти неприятной, он сидел среди целой бури движений, которые ниспосылал на него неугомонный Некрылов.

Изредка он улыбался, желтые зубы его оскаливались, он ерзал спиной по спинке стула, но для того, чтобы помочь Некрылову, не двинул ни одним пальцем.

На затею его произвести в комнате переворот он смотрел, очевидно, с совершенным равнодушием.

— Но все-таки,— говорил что-то такое Некрылов,— все-таки, все-таки... Все-таки я уезжаю. Сегодня вечером. Хотя, может быть, еще и не сегодня. Мне до отъезда нужно еще убить одного человека, Боря. Это не цитата. Я говорю серьезно.

— И не метафора?

— И не метафора.

Он сел на диван, сел на свою ногу и помрачнел. Потом подложил под себя другую ногу. Он сидел по-турецки и сердито вертел ступнями.

— Я не знаю, что мне с ним делать. Я его убью. Или побью. Мне нужно как-нибудь отделаться от него. Послушай, Боря, ты не знаешь, что это за человек — Кекчеев?

Драгоманов нахмурился. Он вынул из кармана пиджака пуговицу, хмуро посмотрел на нее и швырнул прочь.

— Кекчеева знаю,— сказал он медлительно.— Но что с ним делать — не знаю. Бить его бесполезно.

— Ты понимаешь, я не могу допустить, чтобы Верочка вышла за него замуж.

Драгоманов сощурился и задумчиво покачал головой.

— Странно,— сказал он, снова начиная ерзать,— она ведь, кажется, еще молодая женщина. И очень мила как будто. Ты про Веру Александровну говоришь?

— Я говорю про Верочку Барабанову,— сердито вертя ступнями, сказал Некрылов.

Если бы он не был так занят собой, он бы заметил, может быть, что студент, фамилию которого он немедленно же забыл, откинулся назад, на спинку стула, и сперва залился краской, а потом побледнел. Попытался встать и тотчас же с растерянным лицом упал обратно на стул.

Но Драгоманов, обернувшись на скрип, приметил, что с учеником его творится что-то неладное.

Он встал и, прихрамывая, приблизился к Ногину.

— Милый мой, вам, кажется, дурно? — сказал он с сердечностью.— У вас вид больной. Хотите воды? Что это с вами? Вы переутомились, что ли?

7

Комната складывалась перед его глазами с шумом, как кузнечные мехи. Шумело в ушах. Он тупо смотрел на свои руки и подыскивал имена тому, что произошло. Это было несчастье. Это было простое дело. Это был... мор. Чьи-то чужие стихи всплыли, сами собой сказались в его голове:

> Это был мораторий
> Страшных судов, не съезжавшихся к сессии.

Чепуха. Проведя рукой по лбу, он заставил себя прислушаться к тому, что говорил Драгоманов.

Драгоманов рассказывал о Кекчееве. И с каким омерзением, с какой язвительностью рассказывал о Кекчееве Драгоманов!

Незадолго до революции (рассказывал он) случилось ему попасть в один из лучших петроградских клубов. В отмену картежного поверья, что всем новичкам везет, он в полчаса проиграл почти все, что у него было. Приятель его, художник Китаев,— «ты как будто встречался с ним, Витя, он потом застрелился на фронте»,— потащил его пить вино.

— Не то чтобы утешать меня,— пояснил Драгоманов,— но затем, что один пить не мог. На него цыганская тоска нападала.

И тут-то, следя за игроками и слушая сплетни,— не было в городе человека сколько-нибудь примечательного, которого бы не знал его приятель,— он впервые увидел Кекчеева.

Кекчеев сидел за золотым столом, с трубкой в зубах, круглый, веселый и радушный.

По правую руку от него и по левую были женщины.

— Прекрасные женщины,— в скобках заметил Драгоманов,— теперь таких и нет совсем. Мускулы какие! Он знал в них толк.

И Кекчеев пил за них. За всех вместе и за каждую в отдельности. И играл. Играл так, что каждая жилка на его лице играла. Но от каждого выигрыша он откладывал для себя только один золотой. Все остальное с радушием истинно русского человека и в то же время с ловкостью европейца раздавал, обеими руками раздавал своим дамам.

И Драгоманов умилился, глядя на него.

— Молод был, меня прямо к нему потянуло. Благородство какое, широта! Легкость какая была в этом человеке!

И Китаев взялся рассказывать ему, что это была за широта. Благородство. Легкость.

В удостоверение же своего рассказа подозвал знакомого крупье, попросил подтвердить.

И крупье подтвердил, разумеется, под строжайшим секретом:

— Константин Иванович, он играет чисто-с, ничего не могу сказать-с. Но только скуповат-с. Он дамам эти деньги по счету раздает. По окончании игры они к нему с лихвой возвращаются-с.

— Не знаю, правда это или нет,— добавил Драгоманов и, отодвинув стул, устроил хромую ногу на столе между книг,— но не сомневаюсь, что он и теперь может пригласить к себе писателя и поставить ему, буде тот перед ним в долгу,— поставить ему съеденный обед в счет гонорара.

— Я думаю... что это неверно,— быстро сказал Некрылов.— Ему не имело смысла раздавать деньги. Но все равно. Это не тот Кекчеев. Этого Кириллом зовут. Этот еще молодой, ему лет двадцать или двадцать пять, не больше.

8

Ногин и сам не знал, как выбрался он из общежития. Должно быть, с полчаса шатался он по лестницам, по коридорам. В пустой аудитории он лег на парту плашмя, лицом вниз, и лежал так до тех пор, покамест какой-то сердитый старичок, без сомнения один из тех, что жили в квартире заведующего, не попросил его, грозя пальцем, немедленно выйти вон.

Растирая ладонью лоб, Ногин пробормотал извинение. Нетвердо ступая, он вышел вон, немедленно удалился.

Дело было простое. В теории литературы оно приводилось в качестве примера простейшей фабульной схемы: «Она была мила, и он любил ее. Но он не был мил, и она его не любила».

И это простое дело уже нельзя было объяснить бреднями, романтикой, литературой.

Он стоял у университетских ворот с нахмуренным лбом и стиснутыми зубами. Обмызганный лед лежал на мостовой, по льду прыгали похудевшие воробьи.

Беда в том, что она не знает его. Она ни малейшего понятия не имеет о том, что какой-то студент Института восточных языков влюблен в нее так, что ни жить, ни работать без нее не может. Он должен был написать ей. Он не должен был писать ей. Он желает ей счастья.

Знакомый доцент в порыжелом пальто грузно прошагал мимо него, заложив руки за спину, близоруко моргая.

Он желает ей счастья.

Крошечный седой сторож, распахнув шубу, сидел на лавочке у своей будки.

Он желает ей счастья.

И, сдерживая слезы, он ринулся на набережную.

Косой снег встретил его и ветер с Невы. Но он распахнул шинель, сбил на затылок фуражку.

У него щеки горели. Ему было жарко — от жалости к самому себе, от умиления.

9

— Ради бога, простите меня, что я взял на себя смелость явиться к вам, почти не будучи с вами знаком.

Она молча наклоняет голову, просит его присесть и сама садится, закинув ногу на ногу — как она сидела тогда, в тот вечер,— и незастегнутая туфля спадает с ноги и качается на пальцах.

— Дело в том, что я был случайным свидетелем одного разговора — разрешите мне не называть никаких имен — о вас. Я счел своей обязанностью предупредить вас.

Она с живостью поднимает на него глаза.

— О чем?

— О многом.

И о себе, о себе — ни слова.

— Я должен предупредить вас... что на вашу свободу готовится покушение. Что вашему выбору хотят помешать. Что вашему... вашему другу грозит опасность.

Она смотрит на него, на провалившиеся, в темных кругах, глаза, смотрит на него и молчит, и незастегнутая туфля спадает с ее ноги и качается на пальцах.

— Но кто может поручиться мне, что вы говорите правду? Я почти не знаю вас, я встречалась с вами только однажды.

Он улыбается с укоризной, или саркастическая улыбка кривит его губы, он встает и кланяется.

— Чтобы предупредить вас, я решился на поступок, на который никогда бы не решился, если бы дело не касалось вас. Я поступился совестью, какой же еще вы требуете поруки?

Тогда она начинает благодарить его, она протягивает ему руку, и разрезной рукав спадает с локтя и висит, вздрагивая и качаясь.

Он молча подносит к губам руку и твердой поступью удаляется от нее. Он покидает ее навсегда. И о себе, о себе — ни слова...

Он придумал этот разговор, покупая у костлявого инвалида, возле Академии наук, папиросы.

— Что, очень холодно? Вы бы с набережной ушли, ветер,— ласково сказал он инвалиду, и инвалид ничего не ответил, только пожал плечами и принялся плотнее закутывать изорванным шарфом свою шею.

Еще лежа на парте в пустой аудитории общежития, Ногин твердо решил, что непременно должен пойти к Вере Александровне.

Но теперь, поднимаясь по лестнице, он вдруг начал колебаться. Что, если он поступает как мальчишка, как гимназист?

Быть может, он, непрошеный, посторонний человек, не имеет никакого права вмешиваться в чужое дело?

Он остановился на третьей площадке у разбитого окна и простоял несколько минут неподвижно, с бессмысленной задумчивостью следя, как падает тяжелый, мокрый снег мимо разбитого стекла, залепленного пересохшей замазкой.

Наконец с потухшей папиросой в зубах он поднялся на площадку четвертого этажа. Он больше ни о чем не думал — в голове его стоял дым, мешанина, крутеж...

Человек с моржовыми усами, в изодранной студенческой тужурке открыл ему. Он жевал. На взволнованное лицо Ногина он посмотрел равнодушно.

— По коридору, пятая направо,— сказал он, трогая усы ладонью.

И вот Ногин стоял перед пятой направо. Потухшую папиросу он медленно вынул изо рта и бросил на пол. Сердце у него стучало, как метроном, как сердце. Почти ничего не соображая, от волнения позабыв постучать, он толкнул дверь. И дверь отворилась без скрипа.

Он увидел ее лицо, почти несопротивляющееся, с непонимающими глазами. Бледное лицо. И руку, которая машинально придерживала прическу.

Придерживала, но прическа все же рассыпáлась.

Холодный пухлый лоб и шестигранные очки он увидел мельком, над нею. Друг, которому грозила опасность... Он был похож на зайца, входящего в тонкости, на зайца с прижатыми, наслаждающимися ушами.

Дыханье, трудное, прерывистое дыханье людей, занятых тяжелой работой, шло по комнате.

В комнате властвовала спина.

Спина круглая, почти немужская, мерно двигалась туда и назад среди разбросанных подушек.

10

Он вернулся домой мокрый и с таким лицом, что старуха, которая отворила ему дверь, растерявшись, заговорила с ним по-татарски.

Тяжело ступая, он прошел в свою комнату.

В комнате горел свет.

Халдей Халдеевич с газетой в руках стоял у окна, дожидаясь, должно быть, его возвращения. Газета выпала из его рук, когда он увидел Ногина.

— Я, кажется, заболел,— сказал Ногин хрипло и упал на стул. Комната кружилась, его била дрожь. Он молча щупал руки. Дрожь окачивала его с головы до ног. Непослушными пальцами он попытался развязать шнурки на ботинках. Шнурки замокли, он беспомощно старался распутать узлы.

Нужно было добраться до кровати. Но как же добраться, если давило на глаза, если подушка была белым пятном, которое ничем заменить было невозможно?

Халдей Халдеевич стоял перед ним торжественный, в длиннополом сюртуке, необычайно нарядный. Он молчал.

Черная траурная повязка, скромная повязка лежала на рукаве сюртука. Если бы не била дрожь, если бы комната не кружилась, Ногин разглядел бы, что у него были заплаканные глаза, что в кулачке его был зажат мокрый от слез платок.

— Халдей Халдеевич,— все же спросил он, стуча зубами,— это по кому же?.. По кому же вы траур стали носить? Уж не по мне ли?

— У меня умер брат,— тихо ответил Халдей Халдеевич,— я только что прочел об этом в вечерней газете.

Ногин разорвал шнурки и наконец сбросил ботинки. Он шел по комнате, стараясь стиснуть зубы. Постель осталась где-то справа, он уткнулся в стену и обернулся, мутным взором ища Халдея Халдеевича.

— Я просто глуп, глуп невыносимо,— сказал он, раскачивая усталые руки,— мне девятнадцать лет, а я все еще ни слова не знаю по-арабски. Этот голый человек, который танцевал у Драгоманова, я боюсь его, он разбойник. Ах, боже мой, как я глуп! Я никогда больше не буду писать стихи! Мне нужно лечь в постель и положить голову под подушку.

Он в носках ходил по комнате, оставляя на полу мокрые следы...

Время, которое внезапно покинуло его, вернулось обратно в полночь.

В полночь он очнулся на кровати и, взявшись руками за свою голову, стянул с нее одеяло.

Халдей Халдеевич с черным крепом на рукаве сидел у него в ногах.

Какие-то склянки и коробочки стояли на столике, рядом с подушкой. И стакан с чаем. Чай был малиновый, бархатный, красный.

— У вас, должно быть, воспаление легких,— услышал он тихий голос,— я за врачом послал. Лежите спокойно. Пить хочется?

— Пить мне нельзя,— сказал Ногин сквозь губы, сведенные от озноба,— мне нужно письмо написать. Бумаги дайте, карандаш. Только отточенный карандаш, хороший, очень хороший.

Прыгающей рукой он написал что-то вдоль клочка бумаги, который держал перед ним на раскрытой книге Халдей Халдеевич.

— Милый, честью своей умоляю и клянусь,— сказал он что-то не то, что нужно было, и попытался поправиться,—

честь моя порукой, но только найдите его, предупредите, записку ему отдайте.

Он закрыл непослушный рот. Комната уже не кружилась, она перебрасывалась толчками, она боролась с водой. Бушевала вода, и он плыл по горячей воде, завернутый в дырявое, захлестнутое ветром одеяло...

Халдей Халдеевич насилу разобрал имя человека, которому была адресована записка. Имя это было ему отлично знакомо.

Он положил записку в конверт и аккуратно заклеил. Потом, заложив руки за спину, прошелся по комнате. Потом приподнял колпачок, которым прикрыта была лампочка, и посмотрел на Ногина.

Ногин спал, осунувшийся, с развалившимся, больным ртом, в котором тускло блестели зубы.

11

— У меня в голове комедий сколько! Трагедий! Драм исторических! У меня в голове весь русский театр, вплоть до последнего водевиля сидит! Ты говоришь — Файко! Файко не может писать, он человек рыхлый! А я могу! Я какие слова нашел! Не слова, а все равно как бы вещи, предметы будут со сцены в публику лететь!.. Театр нужно сейчас как делать? На незнакомом языке! На церковнославянском, например: «Да не дерзнет никто совлещи покрсв с очей власти, да исчезнет помышляяй о сем и умрет в семени до рождения своего». Это же черт-те что такое, а не слова. «Помышляяй о сем». Ты вообрази такое слово на театре — колени дрожат!

Тюфин поднес к губам кусок сига, сиг скользнул с вилки, упал на пол — и речь о театре осталась незаконченной.

Прохвост, который состоял при нем в секретарях, поспешно бросился подбирать сига.

Кекчеев-старший жевал. Огромные челюсти его ритмически двигались, растирая пищу.

Ресторан был длинный, вежливый, белый.

Женщина привлекательной наружности, но в партикулярном платье танцевала на эстраде, небрежно показывая крепкие соблазнительные ноги. Она танцевала фокстрот, начавшийся револьверным выстрелом и кончавшийся позой, выражающей живейшее из жизненных наслаждений.

Тюфин посмотрел на эту позу хмуро. И отвернулся. С недовольством шлепнув сочными губами, он налил себе вина.

— Я считаю, что в ресторанах это надо запретить, разврат,— сказал он.— И счастье еще к тому же, что с нами Семякина нет. Если бы тут Семякин был, я бы ни за что не поручился.

— А кстати, где теперь Семякин? — подобострастно спросил прохвост.

О Семякине он не имел, впрочем, ни малейшего понятия.

— Умер.

— Неужели умер? — удивился прохвост.— Ведь он же, кажется, был очень здоров физически?

— Кровь с молоком! Корову мог одной рукой поднять! Залечил себя. Каждый час какой-нибудь порошок принимал. Глаз зачем-то зеленой мазью мазал. На спину горчичники клал. Ну и умер.

— Я его знал, он от пьянства умер,— равнодушно разъяснил Кекчеев.

— Не пил.

Тюфин победоносно и в то же время с жалостью заложил руку за борт пиджака.

— Не пил. Ни одной капли в рот не брал, за исключением микстур. Но не в этом дело. Я о нем по другому поводу заговорил. Сидели мы с ним как-то в театре миниатюр. В Туле. Была там одна артистка... Имени нельзя подобрать! Черт-те что, не женщина. И в то же время по вот этаким позам... (он мотнул головой в сторону танцовщицы) — удивительная мастерица. И вот однажды явились мы с Семякиным в этот кабак. Проходит действие. Ничего. Второе. Тоже ничего. Сидим. А в третьем действии по ходу пьесы она принимает такую позу, что Семякина моего начинает дрожь бить. Сидит сам не свой, дышит тяжело, сквозь зубы. И вот я, к ужасу моему, вижу — встает! Встает, идет через весь партер на сцену, берет ее за руку и прерывает спектакль. И моментально наверх, в кабинеты. Через четверть часа возвращается, занавес снова накручивают на палку, действие начинается сначала. И вообрази...

Тюфин взял в руки пепельницу и радостно пристукнул ею по столу.

— Едва только доходит дело до этого места, она хлоп в ту же самую позу и лежит. Оглянулся я на Семякина,

вижу — на нем лица нет. «Не могу,— говорит,— натура, характер такой... Не могу вынести». Ты понимаешь, Костя, у меня сердце сжалось. Я его за руку схватил: «Мадам,— кричу,— мадам, измените позу!» А она, вообрази, со сцены мне отвечает, что без этой позы свою роль играть наотрез отказывается. Это, говорит, самое выигрышное место, апогей. А тут он уж опять подоспел, хвать ее за руку и опять увел в кабинеты. Опять прервали спектакль...

Кекчеев-старший вытер жирные губы салфеткой и, ничего не сказав, очевидно, вовсе не интересуясь концом этой маловероятной истории, грузно прошагал в уборную.

Раскланивающийся, весь в пуговицах, мальчик распахнул перед ним стеклянную дверь.

12

Застегиваясь, он думал, дать ли этому мальчику на чай или не дать. Решил, что не стоит. И не дал.

Толстый, но легкий, добродушный, он прошел на свое место. Тюфин уже скучал без него. Они были приятелями — по ремеслу, если не по сердцу. О дружбе их ходило множество анекдотов. Карикатуристы изображали их вместе. Это была коммерческая дружба, они относились друг к другу, как два торговых дома, равно солидных, равно кредитоспособных, равно существующих с девяностых годов прошлого столетия.

Он с удовольствием проследил, как подходит Кекчеев, как садится, как засовывает за воротник салфетку, как берет в руки вилку и нож, как придвигает к себе ветчину. Тюфин посмотрел на ветчину и огорчился.

— Константин Иванович, да брось ты есть на одну минуту,— сказал он с досадой,— ты себя до удара доведешь. Тебе столько есть нельзя. Жиром заплывешь, сердце испортишь. Ты на меня посмотри — на мускулы. У меня ведь сердце какое! Как хронометр, стучит. А отчего, ты думаешь? Исключительно от желудка. Мне прямо сон приснился, чтобы я есть перестал. Приснилось, что меня свинья жрет. Я к гадалке пошел. Говорит: «Перестань есть, барин. Совсем перестань.— Ты,— говорит,— очень много свинины жрешь. И от этого в тебе сердце беспокоится». И вот послушался. Не ем. И отлично себя чувствую, на десять лет помолодел. Заметь — это не я говорю, это мне женщины говорят. До неузнаваемости помолодел.

Кекчеев не слушал его.

Шумная компания сидела за соседним столом — молодые люди в слишком свежем белье, дамы в слишком коротких платьях.

В компании этой он без малейшего удовольствия разглядел Кирюшку, сына.

По правую руку от Кирюшки сидела жена Глобачева (нужное знакомство — хорошо), но по левую руку, поджав губы, бросая вокруг себя насмешливые взгляды, сидел Сущевский (пьяница, сомнительный человек — плохо).

Увидев отца, Кекчеев-младший весело помахал ему рукой. Приподняв рюмку, он лихо опрокинул ее в рот.

— За твое здоровье!

Кекчеев ласково кивнул ему в ответ. Он был слегка огорчен, но виду не подал. Женщины — это ничего, но приятели Кирюшки ему мало понравились. «Его женить надо»,— подумал он и, насытясь наконец, отодвинул от себя тарелку.

13

Кекчеев-старший напрасно беспокоился за сына. Кирюшка разрастался. Его как будто ветром подхватило. Ветер был попутный. Все удавалось.

Месяц после назначения его редактором прошел, как ночь в вагоне, как если бы его и не было вовсе.

Карьера лежала перед ним, простая, как алфавит. Она складывалась и разнималась, она шла сама собой — едва ли не быстрее, чем ему самому хотелось.

Сегодня карьера сидела по правую руку от него, большая, белокурая, белотелая. У нее были пышные круглые руки, и она сидела, пригорюнившись, за пьяным столом — пригорюнившись, подпирая голову рукой,— ни дать ни взять русская баба за пяльцами. Ее звали Евдокией Николаевной, и она была женой человека, который заведовал одним из крупнейших ленинградских издательств.

Вот уж с полчаса он говорил с ней, стараясь как-нибудь расшевелить ее,— она все отнекивалась, водку хлопала рюмку за рюмкой, но оставалась равнодушной, даже как будто становилась все грустнее.

Он казался рядом с ней мальчиком, старательным, пухлым.

— Евдокия Николаевна,— говорил он, пытаясь притвориться более пьяным, чем был на самом деле,— а я ведь в вас влюблен, честное слово, влюблен. Я такую женщину в первый раз за всю мою жизнь вижу.

Евдокия Николаевна посмотрела на него без особого любопытства.

— Ну, вот, вы уже начали врать,— грустно сказала она,— вы все начинаете врать с первого же слова.

— Евдокия Николаевна, выпейте вина.— Кекчеев привстал и, наметившись, подхватил с другого конца стола бутылку портвейна.— Я не вру, хотите — я сегодня же ночью докажу вам, что я не вру. Разрешите, Евдокия Николаевна...

— А вы, кроме того, и нахал, хоть и не похоже,— равнодушно покачивая ногой, заметила Евдокия Николаевна,— я вот скажу Петру Васильевичу, так он вас за дерзость мигом выгонит со службы. Вы все нахалы и злодеи и совсем не заслуживаете, чтобы вас любили. Из-за одного такого злодея я сегодня все утро проплакала. И больше не хочу. Мне никого, никого больше не нужно. Если бы были монастыри, я бы, кажется, и мужа бросила, в монастырь бы ушла. Да теперь и в монастырях то же самое, уйти совершенно некуда.

Кирюшка удивленно взглянул на нее и украдкой погладил по руке. Она пожала плечами, но руки не отняла. Выражение лица ее было почти равнодушно.

— А Петру-то Васильевичу я скажу,— добавила она и легонько засмеялась,— он вас за дерзость выгонит вон, непременно выгонит. Не знаю, что это теперь за молодежь пошла! Ведь вы ж вот как будто жениться собрались. Вот и верь вам после этого. Нет, не верю.

— Евдокия Николаевна,— сказал Кекчеев и поцеловал ей руку.— Timeo danaos et dona ferentes. Покуда вы меня не прогоните, не женюсь. Ну что ж, и точно уступила мне сегодня одна барышня, ну, милая барышня. Но жениться? Евдокия Николаевна, да как же я могу жениться, если я в вас влюблен. Вот вы не верите, а я без вас жить не могу. Ну, что мне с вами делать?

Он, разумеется, врал: он собирался жениться. Верочка Барабанова была его невестой. Она была уже его женой, или почти женой. И он в самом деле любил ее — не для карьеры. Если бы кто-нибудь другой осмелился так сказать о ней, как он сказал: «Милая барышня... уступила»,— так он бы полез в драку, пожалуй.

А впрочем, что с Евдокией Николаевной делать, он прекрасно знал. Полное, добродушное колено торчало из-под ее короткого платья. Эх, куда ни шло...

Если бы Сущевский не потянулся к нему с рюмкой, он положил бы, должно быть, руку на это колено.

— Ну, ваше благородие, выпьем,— сказал Сущевский.

Сущевский был пьян и невесел. Он опрокинул рюмку и, не ставя ее на стол, продолжал говорить. Он говорил уже давно, и никто его не слушал.

Каждому он говорил как раз то, что думал о нем, и это было до такой степени необычно, что всеми принималось за шутку.

Томной барышне, которая беспрерывно перебирала четки, он сказал, что у нее пахнет изо рта, какому-то почтенному бородатому человеку, известному покровителю всех начинающих писателей в Ленинграде, он сказал, что на службе его, без сомнения, только за бороду и держат, что он не человек, а борода для иностранцев. Кекчеева весь вечер называл он вашим благородием, отдавал ему честь, делал ему «на караул» пустой бутылкой. Он, впрочем, всем наскучил. Но пить молча не умел или не хотел.

— Кирилл Кекчеев, ваше благородие, сволочь,— с ленивым пафосом говорил он,— ты даже не подозреваешь, собака, что живешь на мой счет. Идея власти ослепляет тебя. Ты молокосос, ты отбросы молочного хозяйства. Если бы ты был в моем полном распоряжении, я проиграл бы тебя в двадцать одно. Передай мне портвейн! В тот день, когда тебя назначат заведующим всем сектором художественной литературы, я нацеплю красный флаг на мою палку, возьму из Дома печати полдюжины молодых поэтов и пойду защищать от тебя революцию!

Он выпил и надел бокал на бутылку.

— Мы предъявили бы ультиматум с требованием повесить тебя и еще одного проходимца из бухгалтерии, того самого, который заведует выдачей авансов! Мы провели бы закон, по которому каждый гражданин, независимо от редакторов, имел бы право один раз в жизни напечатать книгу, мы уничтожили бы очереди у кассы, мы пустили бы в ход второй лифт! Мы добились бы свободы движений. Бездарный шар над Госиздатом мы пустили бы в воздух — пусть летит! У полуголых богинь мы отняли бы швейные машины. Это был бы веселый поход на двенадцать спящих дев, с которыми мы бы знали, что делать.

— Сущевский, это плагиат,— крикнул ему с другого конца стола человек с бородой для иностранцев,— все это при мне говорил вам Виктор Некрылов.

— Ага, Виктор Некрылов! Спросите о Викторе Некрылове у этого человека.— Сущевский ткнул в Кирюшку пальцем.— Он собирается вернуть Некрылову рукопись его новой книги. Кролики в заграничных жилетах, кролики, получившие высшее образование, начинают глотать удавов. Ай-я-яй, Кирилл Кекчеев! Ай, как мне нужно проиграть тебя в очко твоему папашке. Твой папашка удивительный человек, он милый человек, он прохвост, но он не чиновник. Он тоже проходимец, к нему ничего не пристает, но он не чиновник. А ты чиновник, ты карьерист, Кирилл Кекчеев, ваше благородие, сволочь!

Только теперь он приметил, что в полном одиночестве сидит за столом над пустыми бутылками, над закусками, разоренными дотла.

Кирюшка давно танцевал с величавой Евдокией Николаевной, компания разбрелась, человек с бородой, привлекавшей иностранцев, подсел к другому столу, более подходящему к его возрасту, умственному развитию и социальному положению.

Сущевский грустно ткнул вилкой в рыбий скелет, оставшийся его единственным слушателем. Скелет не сказал ему «аминь», он лежал беспомощный, как скелет, уже не надеясь, должно быть, снова обрасти мясом.

— Вот, брат, так и живем. Водку пьем, огурцом закусываем,— грустно сказал ему Сущевский.

14

Ресторан был пуст, лакеи, перевертывая, швыряли стулья на столики, музыканты собирали и складывали ноты, когда Тюфин, несколько осоловевший от вина, но все еще осанистый, легкий, разыскал Кирилла Кекчеева и сказал ему, выразительно двигая губами:

— Кирюша, поди к отцу, милый. То ли он спит, то ли... Впрочем, не знаю. По-моему, просто за ужин платить не хочет.

Кекчеев-старший сидел на том самом стуле, с которого он в продолжение всего вечера только единожды встал, и то по нужде неотложной.

Он сидел огромный, круглый, тяжелозадый, бросив голову на грудь, запустив руки в карманы широких брюк,— и спал.

Это был не фортель, который любил он подчас учинить, когда после ужина приходило время платить по ресторанному счету.

Он спал в действительности, сном натуральным — у него был спящий нос, спящие брови, спящие плечи.

— Вот ведь, не могу разбудить его,— пожаловался Тюфин,— нельзя же его все-таки на всю ночь в этом кабаке оставить! Ведь как бы то ни было — он старый человек, Кирюша. С ним может незаметно для окружающих удар произойти. Он постоянно свинину жрет. Я его предупреждал — да ведь куда там, и слушать не хочет. Между тем свинина человека тяжелит, действует, знаешь, как-то на сердце. Я бы его на твоем месте домой отвез. Видишь ли, если он собрался помирать, все-таки дома ему значительно удобнее будет. Жена, то, се, дети...

Кирюшка посмотрел на отцовского приятеля и подивился. Тюфин был пьян в лоск, изумительно пьян, но держался с легкостью, даже с изяществом. Впрочем, не сказав более ни одного слова, он ушел и несколько погодя вернулся с шваброй, которую отнял у официанта, подметавшего зал. На швабру он вылил все вино, оставшееся недопитым, и с озабоченным, несколько мрачным лицом сунул ее под самый нос Кекчеева-старшего. Кирюшка вовремя перехватил швабру.

Все с тем же задумчивым лицом Тюфин сказал ему в упор два или три крепких русских слова. Потом он повернулся и направился к выходу, шагая твердо, выкидывая вперед полные ноги.

У выходных дверей он сделал легкий пируэт, но не упал, а только приостановился, ухватившись рукой за косяк двери.

Тут же оправившись, он с прежней уверенностью шагнул через порог и исчез.

Кирюшка с минуту присматривался к отцу. Тюфин был прав. Отец старел. Раньше он не засыпал за столом в ресторане.

Он почувствовал к отцу легкую жалость. И превосходство. Его тронула седая голова отца и большое спящее лицо, отмеченное усталостью и силой.

Снисходительно улыбаясь, он потряс его за плечо. Кекчеев не просыпался. Он только бессмысленно мотнул го-

ловой и запрокинул ее на спинку стула. Полная грудь его вылезла из-под распахнувшегося пиджака. Он всхрапнул.

Тогда Кирюшка внезапно присел. Он присел и быстро оглянулся вокруг себя внимательными, прищуренными глазами. Никого не было вокруг — последние официанты возились за пальмами, скатывая ковер.

Он торопливо расстегнул на отце пиджак. Короткие пухлые пальцы его двигались беспрестанно.

Улыбаясь от волнения, он запустил эти пальцы в отцовский боковой карман.

Это было мальчишество, конечно (с того времени, как он был студентом, он не позволял себе таскать у отца деньги), но, черт возьми, сегодня вечером он ухлопал все свое жалованье на ужин с Евдокией Николаевной.

Отцовский бумажник дрожал в его руках, пальцы шевелились, он нервно поправил очки...

И, не веря своим глазам, нервно поправил их еще раз.

Халдей Халдеевич, хранитель рукописей, подсчитыватель печатных знаков, самый мелкий служащий из подведомственного ему отдела, стоял перед ним, вскинув голову, заложив руку за борт длинного черного сюртука.

Он стоял неподвижно и молча следил за тем, что, собственно говоря, делали с чужим бумажником знакомые пухлые пальцы его патрона.

Патрон стиснул зубы и быстро заложил руку с бумажником за спину.

— Что вам от меня нужно здесь? — спросил он сквозь зубы, чувствуя, что краснеет отчаянно, усиливаясь вернуть себе спокойствие и краснея от этого еще больше.

Халдей Халдеевич, не говоря ни слова, покачивался на цыпочках, играл губами.

— Ничего-с,— сказал он наконец и весь подобрался, закинув голову еще выше, еще глубже засунул руку за борт пиджака,— мне от вас ничего-с не надобно. Ни здесь, ни где-либо в другом месте. Имею письмо для вас. По просьбе отправителя доставил немедля.

Он положил перед Кекчеевым измятый конверт на стол, быстро разгладил его маленькой сухой ладошкой и распрямился.

— В случае же, если намерены вы на это письмо ответить,— он снова приподнялся на цыпочках,— так прошу покорно на мой адрес писать. Впрочем, отправитель этого письма находится в настоящее время в беспамятстве полнейшем. А пожелает ли он, по возобновлении здравого ума

и твердой памяти, с вами в какие-либо отношения вступить или не пожелает — того не могу сказать. Может быть, и не пожелает.

Он поклонился, заложив правую руку за спину, спрятав руку, чтобы о пожатии и речи быть не могло, и, подняв плечи, двинулся по темному, усеянному окурками ресторанному залу.

Он шел неторопливо и с достоинством, но все на цыпочках, как часто ходят маленькие ростом,— шел, почти надменными глазами встречая самого себя в туманных зеркалах ночного, разобранного по частям ресторана.

15

Клуб деловой, почти литературный был не слишком оживлен в этот день.

Не то что писатели перевелись в нем. Не то что меньше свиданий — деловых, любовных, литературных — было назначено в этот день на шестом этаже одного из крупнейших ленинградских издательств.

Но Некрылов нагнал тоску на всех. Он был зол в этот день или готовился разозлиться.

Он сидел, качаясь на своем стуле, упершись ногами в стол, за которым обычно сидели, терпеливо дожидаясь редактора, седоусые моряки, внезапно открывшие в себе талант разом и прозаический, и стихотворный, или почтенные писательницы восьмидесятых годов, требовавшие запоздалого признания.

Запоздалого признания требовал на этот раз суровый старик, до странности схожий с Михайловским.

Будучи изгнан со своего привычного места, он примостился у окна и стоял, саркастически улыбаясь и куря такой крепкий табак, что у студентки, отбывавшей практику по редакционной работе, поминутно занималось дыханье.

Некрылов хмуро смотрел на него, свалив голову набок.

Стихи, которые принес в редакцию старик, были посвящены недавно «усопшей на 87-м году жизни, 14 марта по новому стилю, девице Галине Христофоровне Репс».

Они начинались так:

Почти семнадцать лет библиотеке курсов
Ты со старательным раченьем отдала!
И средства из своих учительских ресурсов.
Ну, вот и все твои почтенные дела!

Поулыбавшись ядовито некоторое время, он внезапно выступил вперед и попросил у иронического, но слишком здорового редактора разрешения прочесть эти стихи вслух. И прочел. Чтобы его не прервали, он тотчас же перешел к поэме, посвященной Ньютону. Она начиналась:

Бином и флюкции, земное тяготенье,
Движение комет и радуги цвета.
Вкруг Солнца всех планет с Землей коловращенье,
Что за значительных открытий пестрота!

И кончалась:

Как дуб ветвистый над Россией,
Профессор Кони над страной.

В продолжение двадцати минут редактор уверял его, что профессор Кони никогда не занимался физикой. Подождав, пока редактор кончит, он заявил, что профессор Кони был ему лично хорошо известен и что он совершенно гениально предсказывал погоду.

— Что такое, вы думаете, Ньютон? — спросил он, взяв свою бороду в кулак.— У нас в России, как это я хотя бы на себе самом вижу, не умеют и, извините, никогда не умели ценить талантов. У нас этих Ньютонов тьма. Туча! Подумаешь, флюкции,— добавил он, не замечая, что впадает в несомненное со своей поэмой противоречие.— Почему вы думаете, сие важно в-пятых? Он погоду умел по этим флюкциям предсказывать. И перевирал, предсказывал неточно. Я вот однажды хотел по барометру в Павловск поехать. Стрелка на великой суши стояла. Так в Павловске на меня — вы не поверите — не дождь, а прямо грязь падала с неба. А позвони я к Кони — ни за что бы не поехал. Я потом, как только белье нужно было на дворе развешивать, моментально к Кони звонил. И — как в аптеке. Скажет: будет дождь от двух до сорока семи минут третьего — и верно! В два начинался, а на сорок восьмой минуте его как ножом срезало.

Практикантка, не дослушав, зажав рот платком, выскочила в коридор.

Редактор, который был, должно быть, смешлив по природе, усиливаясь не расхохотаться, туго вращал глазами.

Маленький мрачный писатель (неожиданно обнаружившийся в комнате), у которого лицо было несколько похоже на топор, отрывисто, взрывами гудел, поводя над столом унылым носом.

И только у Некрылова нашлось достаточно силы, чтобы объявить, что стихи ему чрезвычайно понравились. Поэму, посвященную усопшей девице Репс, он даже списал себе на память.

Прости, прости ты нас, великая гражданка...

— Это хорошо, не хуже Доронина,— говорил он, списывая.

В твоей невинности и впредь отчизне толк.
И оплатить ее не пенсией из банка —
Бессмертной памятью — наш вековечный долг.

— Это нужно немедленно напечатать,— объявил он очень серьезно и спрятал исписанный листок в записную книжку.— Сбрейте бороду! Вам пора начинать скандалить!

16

Но когда Михайловский, повеселевший как-то до элегантности, ушел, заметно помолодев, лихо помахивая палкой и порыжелым котелком, когда на смену ему явился с полузакрытыми от презрения ко всему миру глазами Сущевский, одетый в гороховое весеннее пальто и клетчатую кепку, когда прозаик с лицом, несколько похожим на топор, принялся рассказывать сюжет своего нового романа, в котором намеревался он вывести на чистую воду родную сестру, когда из столовой, находившейся в тесном соседстве с редакцией, донесся мощный запах кислой капусты, заставивший добротного редактора понюхать воздух и сделать аппетитное, жующее движение ртом, когда солнце покинуло тесные редакционные пределы, перекочевав к бухгалтерам и машинисткам, Некрылов снова помрачнел.

Драгоманов, которого он вот уже с полчаса дожидался, книгу которого он взялся устроить в издательстве (потому что не было в Ленинграде человека, который меньше, чем Драгоманов, заботился бы о своих книгах), этот самый Драгоманов, который застрял в девятнадцатом году, терял рукописи, жил, как Робинзон Крузо,— обманул его и не пришел. Ладно, его дело!

Напевая сквозь зубы, подтанцовывая, Некрылов мрачно шагал по редакции, трогал вещи.

Подойдя к Сущевскому, он молча нахлобучил ему кепку на нос и снова принялся шагать.

Неприятный разговор предстоял ему. И хуже всего — у разговора этого не было начала. Конец был ему ясен. Ясна была середина. Но начало?

«Оно должно быть вежливым,— подумал он с сожалением.— Если я сразу ударю его, он может убежать. Он убежит, и ничего не выйдет».

И вежливое начало набежало на него, как помощный зверь в народной сказке.

— Вот — Сущевский,— сказал он вдруг и остановился перед ним, заложив руки в карманы.— Живой Сущевский. Скажи мне, милый, зачем ты скучаешь? Зачем это тебе нужно? Вспомни время, когда ты двух слов не мог связать без «которых» и без запятых. А теперь тебя печатают и ты великая русская литература. Ведь ты же с утра до вечера должен радоваться. А ты скучаешь!

— Про запятые и «которые» ты мне говоришь четвертый раз,— скучно качая головой, возразил Сущевский.— И даже руки при этом точно так же держишь в карманах. И думаешь, должно быть, что если все запятые и «которые» пропустить, так выйдет сочинение Пушкина «Пиковая дама». Не выйдет.

— Не сердись, милый. Ты знаешь, что я сегодня утром про тебя вспомнил? Когда ты читал свой первый рассказ и я тебя похвалил, потому что ты был еще очень молодой и в валенках,— Зощенко отвел меня в сторону и сказал: «Виктор Николаевич, зачем вы его похвалили? Ведь теперь он будет писать до самой смерти».

Сущевский посмотрел на него, стараясь казаться равнодушным. Он, впрочем, покраснел немного.

— А знаешь, что я вчера вечером про тебя вспомнил, Виктор? — сказал он почти задумчиво.— Когда Есенин сюда приезжал и ты его за «Москву кабацкую» начал топить,— он и не отводя тебя в сторону сказал, что ты именно потому в критики пошел, что из тебя поэт не вышел. И книжку твоих стихов показывал. Ничего себе стихи. Под Маяковского.

Некрылов захохотал, с отчаяньем почесал затылок, развел руками.

— Сдаюсь,— закричал он,— черт с тобой, ставь свои запятые! И скажи мне, что за человек Кекчеев? Кого ни спрошу, все начинают рассказывать про отца. А мне нужно поговорить с сыном.

— Кекчеев — это человек, который учится делать писателям ручкой,— мрачно объявил Сущевский,— он всех нас слопает когда-нибудь. О чем ты хочешь с ним говорить? Он, кажется, собирается возвратить тебе рукопись.

На твоем месте я бы и не говорил с ним, а прямо бы по морде. Я его знаю. Он сволочь.

Некрылов приостановился. Сел. Потом переспросил:

— Что? Рукопись? Какую рукопись?

Редактор нервно заерзал на своем стуле, побагровел, сделал сердитое лицо Сущевскому, потом с беспокойством перевел взгляд на Некрылова.

— Не знаю, вот тут говорили,— трогая языком зубы, пробормотал Сущевский.— Будто бы собирается возвратить. Рукопись. Книгу...

Прозаик с унылым носом прервал свой сюжет на самом увлекательном месте, практикантка, по-детски открыв рот, смотрела на Некрылова.

Некрылов рассмеялся.

— Сущевский, у тебя есть секретарь? — спросил он.— Вам всем нужно завести секретарей. Если бы я жил здесь, я бы составил отряд из секретарей и обстрелял бы все ваши издательства с крыши Казанского собора.

— Виктор Николаевич, тут, видите ли, произошла странная история,— беспокойно поправляя пенсне, пробормотал редактор,— книга была принята, у меня в столе лежит проект договора. Я думал, что дело окончится несколькими исправлениями. Но Кекчеев...

— Ну, что вы, пустяки,— так что-то сказал Некрылов и встал, почувствовав необыкновенный прилив вежливости, той самой, которой ему так недоставало,— мне все равно. Я поговорю с ним.

— Он в секретариате, на этой же площадке, направо,— примирительно объяснил редактор.— Вы поговорите с ним. Он настаивает, видите ли...

Но Некрылова уже не было в комнате. Втягивая воздух сквозь зубы, он ушел.

И только за дверью, в коридоре, походка его стала тяжелее, глаза потускнели. Он зубы оскалил, он начал помахивать головой...

17

Машинистка из технического отдела, та самая, что была настоящей розовой стрекозой с белыми и голубыми бантиками, остановилась у дверей секретариата, прислушалась, подняв глаза вверх, и с лицом, порозовевшим от любопытства, побежала дальше. Минуту спустя она

вернулась с двумя подругами, похожими несколько на молодых солдат. И подруги казались заинтересованными.

Немного погодя к машинисткам присоединился делопроизводитель из торговой части, известный тем, что умел скрипеть контуженным ухом.

Делопроизводитель, послушав две-три минуты, поспешно выбежал на лестницу и, поймав за рукав Вильфрида Вильфридовича Тоотсмана, вернулся вместе с ним к дверям секретариата.

Секретариат был тем самым служебным помещением, в котором Вильфрид Вильфридович ежедневно проводил ровно шесть часов, минута в минуту, которое он только что покинул, чтобы подкрепить свои силы стаканом чая с французской булкой.

Тем не менее, будучи семьянином, имея за плечами не вполне удачное социальное происхождение, он не только не решился войти в секретариат, но предпочел отдалиться от него на приличное расстояние.

— Там Халдей Халдеевич, ничего-с! Их Халдей Халдеевич разоймет. Будьте покойны, Халдей Халдеевич не допустит драки,— решительно сказал он удивленному делопроизводителю и, строго подняв палец, задом вышел на площадку.

В секретариате шел скандал. Он шел кругами и с каждой минутой забирал высоту.

Он гремел, как труба, слов уже не было слышно. Он был уже не смешон, даже смешливая стрекоза не осмеливалась улыбаться.

— Снимите очки, я сейчас буду бить вас в морду!

И — крик. И отшвырнутый стул прогремел по паркету. Похоже было на то, что начиналась драка.

Целая толпа уже стояла у дверей секретариата.

И никто не решался войти: Вильфрид Вильфридович, в ответственные минуты всегда вспоминавший, что был некогда мировым судьей, кричал с площадки, что «следует ссорящихся примирить искать. Следует, если того учинить невозможно, по караул послать или самим сходить. Следует взять под арест, развести, учинить запрещение».

Поздно было учинять запрещение.

Маленький, измятый, пухлый куль с бельем выкатился из двери и остановился в коридоре, бессмысленно распахнув рот.

Он стоял как бы уже не на ногах, но на штанах, сползающих от страха. Бледный молодой сыр — сыр, с которого упали очки, торчал у него на плечах.

Нельзя было поверить, что это существо, распадающееся от испуга на части, могло курить трубку, отдавать распоряжения, наконец, просто занимать место.

Впрочем, и место его вслед за ним подверглось полнейшему уничтожению.

Некрылов буйствовал. Он рвал ногами бумаги, сброшенные со стола на пол, он расталкивал вещи, он разбивал письменный стол. Письменный стол он разбивал не только с наслаждением, но с ловкостью, с уменьем — как будто он занимался этим всю свою жизнь.

С какой-то бешеной аккуратностью он выбрасывал ящики один за другим, проламывал их каблуками и раздергивал на части. Стол, как сухарь, крошился под его ногами.

Он ходил по комнате упругой походкой, свалив лысую голову набок, почесывая голову, поматывая головой — как бы выбирая, что еще сломать, раздавить, уничтожить. Потом он выбежал вслед за Кекчеевым.

Толпа служащих, соболезнующих, возмущающихся, втихомолку смеющихся, стояла вокруг Кекчеева. Вильфрид Вильфридович, успевший сбегать за стареньким швейцаром, тем самым, что в вестибюле дает номерки от галош, взволнованно объяснял всем, что и по старому уголовному кодексу вызовы, драки и поединки наижесточайше запрещались.

От растерянности он цитировал наизусть целые страницы. Старенький швейцар слушал его и пугливо озирался. В руках у него были чьи-то галоши...

Некрылов одним движением раздвинул толпу. Он был яростен. Ища какое-то слово, он скрипнул зубами.

Сущевский подошел к нему и взял его за руку.

— Виктор, успокойся, да что ты. Да ты с ума сошел,— сказал он, сам немного пугаясь Некрылова и стараясь не смотреть ему в лицо,— опомнись же, чудак, ведь так ты человека ухлопать можешь.

— У меня с ним счеты, с этим прохвостом,— почти не раскрывая рта, хрипло сказал Некрылов.

Представительный старик с генеральскими бакенбардами — издательский мажордом, славившийся своим умением улаживать скандалы,— уже летел по лестнице, решительный, очень строгий.

— Будьте добры немедленно же покинуть помещение,— объявил он торжественно, не подходя, впрочем, к Некрылову близко,— вы мешаете служебным занятиям.

Некрылов заслонился от него рукой, как от пыли.

— Вы семейный? — спросил он коротко.— Уйдите отсюда, если вы семейный.

И наступило замешательство. Стало вдруг очень тихо. Лысый кассир, похожий на Тараса Бульбу, пролез через толпу, неожиданно взмахнул руками и сказал дрожащим от волнения голосом:

— Я советую позвать милиционера.

Кекчеев стоял, держась обеими руками за перила лестницы, коротко дыша, стараясь подобрать отвисшие губы. Давно уже он силился объяснить что-то, пожаловаться кому-то, не то доктору, не то прокурору. Так называемый фонарь разгорался у него под глазом с каждой минутой.

Он тщетно пытался запихать непослушными руками галстук за борт пиджака — галстук болтался у него на шее, растянутый и измятый.

Некрылов медленно подошел к нему, таща за собой Сущевского, который все еще не выпускал его рук из своих. Он уставился на сырное лицо побелевшим, сморщившимся от презрения носом.

— Я забыл вам сказать,— произнес он с какой-то страшноватой плавностью,— чтобы вы... суслик!.. чтобы вы и не думали на ней жениться.

И все видели, как Кекчеев, мельком взглянув в тусклые глаза скандалиста, осел, заискивающе улыбнулся и мелко, очень мелко закивал головой.

18

Но никто не видел, что делал оставшийся в секретариате Халдей Халдеевич. Никто не вспомнил о нем, никто не спросил, почему не поинтересовался он исходом столь редкого под крышей одного из крупнейших ленинградских издательств столкновения.

Между тем Халдей Халдеевич был единственным человеком, которому столкновение это доставило истинное удовольствие. Он и не думал о том, чтобы «ссорящихся примирить искать, чтобы немедленно по караул послать».

Напротив того, когда Некрылов, учинив так называемое оскорбление действием, ходил по комнате, разрушая служебное помещение, уничтожая служебный инвентарь,

он предупредительно двигал к нему мебель, поспешно тащил из шкафа папки с делами. Он торжествовал.

Оставшись в одиночестве, прикрыв из предосторожности дверь, он учинил на поверженных кекчеевских бумагах веселую детскую пляску.

Теребя отрастающую бороденку, он танцевал на поверженных кекчеевских делах — танцевал и прыгал, по-медвежьи притопывая ногами. Сняв и поставив на стол старомодные целлулоидные манжеты, он яростно тузил кулачками воздух, накладывая по шее невидимому врагу. Прищурив глаз, плюнув в кулачок, он без промаха лупил в невидимый нос своего бывшего подчиненного. Он был похож на отчаянного мальчишку, на драчуна, оставленного без присмотра, дорвавшегося наконец до драки.

И он дрался всласть, так, как если бы перед ним и в самом деле стоял и смотрел пустыми глазами этот плут, этот плут, этот пролаза!

19

Дождь падает на опустошенные поля Ленинграда.

Снег падает на опустошенные поля Ленинграда.

Дождь, пополам со снегом, пытается заполнить его пустоты.

Он падает, как подкошенный.

Вожатый рукавом отирает стекло.

Он падает, не слушая возражений.

Он падает в постель, потому что крышу отдали починить господину из Сан-Франциско.

Трамвай влачится вдоль проспектов, вползает на мосты, и рельсы гудят на мостах, невыносимо гудят — так, что нужно замолчать, нужно закутать голову в одеяло.

И он молчит. У него есть дело. Очень важное. Он едет по делу. Он знает, что это хина гудит в ушах,— зачем ему дали хины?

Остаются за спиной, отходят в непогоду, в вечность мосты, бесшумно пролетают улицы. Свет мигает.

Ногин смотрит в стекло и узнает себя в темно-прозрачном отражении. Неблагополучная стеклянная тень летит вместе с трамваем.

Тень, притворяющаяся отражением.

Тень, которая есть результат столкновения световых лучей с телом, для них непроницаемым.

Тень, которую ни продавать, ни каким-либо другим способом отчуждать от себя невозможно.

Детская песенка звенит в его голове:

> Квинтер-Контер с жабой играл,
> Квинтер-Контер в яму упал,
> У Квинтера-Контера мама была,
> Но жаба его хоронить понесла.

Трамвай проходит по кругу, достигает предела. Все выходят. Он остается один. Билеты лежат в его руке, тяжелые.

Он не знает, что с ними делать.

Усталая кондукторша смотрит на него нетерпеливыми глазами.

Он тихо кладет билеты на скамейку подле себя и берет новые. Новые люди входят в вагон, отряхивая с одежды мокрый снег. Они садятся справа от него и слева. Это ничего, это хорошо, что у них эмалированные лица!

Женщине со спящим ребенком он уступает место.

С человеком в мокром треухе он говорит о погоде.

Он объясняет ему, что едет с лекции, лекция затянулась. Он показывает человеку в мокром треухе какие-то книги, которые везет с собой, и тот слушает его с сочувственным видом. Он уверяет его, что едет по делу, важному делу, что работает на двух факультетах, что вот заболел, что вот — не переносит хины.

Трамвай, возвращаясь, вползает на мосты, колеса снова гудят. Снова не слышно ни звука. Глохнут на губах слова.

Тогда он говорит человеку в мокром треухе, что рукой, закинутой назад, она придерживала прическу. Придерживала, но прическа все же рассыпалась. Что Кекчеев, Кирилл Кекчеев, был похож на зайца, входящего в тонкости, на зайца с прижатыми, наслаждающимися ушами.

И человек в мокром треухе, не слыша, сочувственно кивает ему головой. Но женщина поднимает голову и грустно смотрит ему в лицо. Ребенок спит у нее на руках, она легонько покачивает его, поправляет спадающее одеяльце.

И Ногин, помахивая тяжелой рукой, начинает напевать ему детскую песенку, которая звенит в его голове, звенит и не дает покоя:

Квинтер-Контер с жабой играл,
Квинтер-Контер в яму упал.
У Квинтера-Контера мама была,
Но жаба его хоронить понесла.

Но как ему доказать, что он ни в чем не виноват перед господином из Сан-Франциско?

20

Большая, как паникадило, круглая лампа стояла где-то бесконечно далеко от него. Матовый колпак оплывал вокруг нее, раздувался, лопался, казался мыльным пузырем, продавленной круглой шляпой.

Потом арап в белом халате внезапно возник перед ним из нарушенного пространства. Черная трубка качалась в его руках, докторский молоток торчал за поясом. Арап щупал пульс, прикладывал к груди толстое волосатое ухо. За его спиной стоял, робко моргая рыжими веками, встревоженно разводя руками, Халдей Халдеевич.

Но вот дышать — дышать было нечем.

И, делая жестокие усилия, чтобы дышать, Ногин вытащил из-под одеяла большой белый предмет с пятью костлявыми отростками. Отростки медленно шевелились и, казалось, ползли на него.

И, не узнав своей руки, он заплакал от ужаса, от слабости, от болезни.

21

Два голоса услышал он, когда очнулся вторично.

Хина больше не звенела в ушах, руки лежали поверх одеяла, тонкие и свободные. Он прислушивался, не поднимая век.

Они были очень схожи, эти голоса. Так схожи, что можно было подумать — сам себя убеждает в чем-то человек, привыкший к одиночеству, разговаривающий с вещами.

— Милый мой, да ведь тому же не менее как двадцать... Да куда там двадцать... Двадцать шесть лет минуло... И ты все еще сердишься на меня? Все еще помнишь?

Голос был тихий, усталый, но плавный. Это не Халдей говорил. Халдей жужжал наедине с собой.

— Помню ли я, как ты, со всеми проистекающими из сего последствиями, меня обманул? Как ты, употребив во зло доверие мое, меня оболгал? Помню!

Вот это и точно было сказано не кем иным, как Халдеем. Но с какой иронией, с каким язвительным жужжанием говорил Халдей!

Ногин открыл глаза, медленно повернулся на бок.

Если бы он не был так слаб, он, верно, спрыгнул бы со своей постели,— таким странным показалось ему то, что он увидел. Смутная мысль, что вот снова начинается бред, заставила его горестно качнуть головой от удивления. Но на бред это все же было не слишком похоже.

Два Халдея Халдеевича стояли друг против друга...

Или нет — стоял только один Халдей Халдеевич, показавшийся Ногину более натуральным. Знакомый сюртук, на котором, впрочем, более не красовалась траурная лента, был надет на нем,— похоже было, что с того дня, как Ногин заболел, он его и не снимал вовсе.

Он стоял, выставив одну ногу вперед, сложив руки за спиной, подергивая плечами.

Другой, ненатуральный Халдей, показавшийся Ногину знакомым не только по сходству с двойником своим, робко сидел перед натуральным на кончике стула. Бог весть во что он был одет, чего только не было накручено на его сгорбленные плечи, на поджатые ноги! Тут было и знакомое драповое пальто Халдея Халдеевича, и его, Ногина, синие студенческие штаны, и какие-то женские ночные туфли с загнутыми концами.

А над кирпичной печкой на веревочке, протянутой от выключателя к окну, висели и дымились паром мокрые брюки, нижнее белье и покоробившийся, уже просохший пиджак, принявший, покамест просыхал, положение, сходное с человеком ораторствующим. Правый рукав его был высоко задран.

— Так, стало быть, ты до сих пор думаешь, что я был тогда виноват перед тобой? Скажи же, в чем, если ты считаешь, что через двадцать пять лет нам еще не поздно объясниться.

— В том...

Халдей взмахнул рукой и снова заложил ее за спину.

— В том, что ты на меня наврал, Степан. В том, что ты, воспользовавшись моим отсутствием, от меня невесту увел. И во многом другом, о чем, только жалея тебя, вспоминать не желаю. Ты нас обоих загубил. И ее. И меня!

Ненатуральный Халдей кутался в пальто, глядел на него усталыми глазами.

— Милый мой, насчет того, кто кого загубил, я ли ее или она меня... Стоит ли теперь говорить об этом? А если я и был в чем-нибудь виноват перед тобою, так за давностью лет...

— За давностью лет? — переспросил Халдей с презрением.— А что, если эту давность лет я тебе в особое преступление вменяю? Давность лет! А как ты жил эти годы? Книжки читал? Чужие работы переписывал? Вспомнил ли ты обо мне хоть единожды? Ты ханжа, Степан! Ты ханжа и разбойник!

Ненатуральный Халдей придвинулся к печке и робко вытянул вперед сероватые, слегка дрожащие руки. Почерневшая шея вылезла из-под воротника пальто, он походил на японца.

— Ну, ханжа так ханжа,— слабым голосом возразил он,— ну, что я могу теперь сделать для тебя, милый? Ну, разбойник. Ну, книжки читал. А что насчет нее, так ведь я же ее не принуждал, она по своему желанию именно за меня, а не за тебя замуж вышла.

— По своему желанию? Ты говоришь, по своему желанию? А ты забыл, как по моем возвращении ты мне за невесту предлагал дипломную работу написать? За нынешнюю жену свою, за Мальвину Эдуардовну, в девичестве Рекс, предлагал исследование о Смутном времени за меня написать? И рассыпался-то как! Рассыпался!

Халдей Халдеевич на цыпочках прошел по комнате. Он как будто старался успокоить себя. Но вернулся еще более чопорным и гневным.

— Не забуду,— сказал он торжественно,— докуда дыхание в груди моей не исчезнет и кровь не охладеет. И не прощу никогда. Это уж не судьба, которая может непредвиденное бедствие наслать на человека. Ты меня так обманул, как никакая судьба обмануть не может! Не я, но всякий, имеющий довольно сил, отомстил бы тебе за обиду, которую ты учинил надо мной! Ты ханжа, Степан, и не только ханжа! Ты скаредный злоумышленник, ты присвоитель чужого...

Халдей Халдеевич сам себя прервал жужжанием. Впрочем, это было уже не жужжание — шумела вода в водопроводных трубах, рассыхался пол, трещали обои...

Собеседник его сидел перед ним, опустив голову.

Ногин давно уже узнал его. Это был Ложкин, покойный профессор Ложкин, тот самый развращенный, погру-

женный в распутство, преданный наслаждениям самого скотского характера буйный брат, по которому Халдей (или это уже в болезни померещилось?) носил траурную ленту.

И он сидел перед кирпичной печкой, этот буйный брат, в его, Ногина, синих студенческих брюках.

Сидел тихо, очень тихо, как бы боясь моргнуть глазами, качнуть головой.

— Да что ж ты теперь-то меня за все это упрекаешь? — ответил он наконец и негромко вздохнул. — Поздно теперь. Ведь я ж с ней всю жизнь прожил, с Мальвиной. А ты бы, чем меня упрекать, подумал лучше о том, кому из нас большее выпало счастье — мне ли, который за двадцать пять лет ни одной минуты себя не чувствовал человеком, или тебе с твоим одиночеством? Да и о чем же говорить теперь? Она уже старуха, да и мы с тобой старики. Не смешно ли теперь вспоминать о том, как когда-то мы из-за нее поссорились с тобой?

— Не смешно!

Халдей стоял посередине комнаты, как одеревенелый. Руки его, заложенные за спину, крепко схваченные одна другой, заметно дрожали.

— Не смешно, — повторил он и вдруг заплакал. Он сгорбился, лицо его сморщилось, маленькие слезы запрыгали из мохнатых, покрасневших глаз.

Не вытирая слез, он все искал что-то в карманах измятого парадного сюртука — как бы не зная, что делать со своими руками.

Тогда заплакал второй, ненатуральный Халдей, тихо заплакал, так же тихо, как сидел он давеча на кончике стула, боясь качнуть головой. Он только раз горестно взмахнул руками и заплакал.

Ничего не сказав, стараясь только не показать, что он очнулся, что он весь разговор слышал, Ногин бесшумно оборотился к стене и натянул одеяло по самые уши.

Непонятная радость его душила. И слабость. Он сердито вытер глаза концом простыни.

И, должно быть, поэтому он не видел, как Халдей Халдеевич, сгорбившись, стесняясь, обнял брата и стал похлопывать крошечной рукой по плечу, подбодряя его, плача сам, а его уговаривая не плакать.

«ЗАБЫВ ДОЛГ, ПОПРАВ ЧЕСТЬ, ПРЕЗРЕВ СТЫД И УСЫПИВ СОВЕСТЬ...»

Министр народного просвещения изволил благодарить профессоров университета за лихое чтение лекций и студентов за залихватское их посещение. Архиерей изволил благодарить настоятеля Н—й церкви за бравое и хватское исполнение обязанностей.

Потебня.

Лекции по русской грамматике

1

Через час после отречения профессора Ложкина от жены, от квартиры, от системы кабинетного существования его видели в университетском общежитии. Один из студентов встретил его выбегающим из драгомановской комнаты. Был седьмой час утра, рассеянный свет стоял над лестницами и коридорами общежития, и в этом свете Ложкин мелькнул как отражение, в любую минуту готовое исчезнуть. Он держал в руках портфель и на ходу старался затиснуть в портфель серенький пиджачок.

И Драгоманов показался на пороге своего жилья, хромой и веселый. Он смеялся. Вслед Ложкину он кричал какие-то слова, показавшиеся очень странными студенту, проживавшему в соседстве с клозетом:

— Почему пиджак? А почему не штаны?

Молчаливый, как отражение, Ложкин мелькал уже где-то в пролете, где-то на последней площадке.

Последний человек, видевший его в пределах университета, был крошечный седой сторож у ворот.

Была гололедица, и профессор, подобно конькобежцу, скользил вдоль ректорского домика, испуганно запахивая шубу. Сторож встрепенулся, хотел помочь, но, покамест он выбирался из своей будки, отражение растаяло, профессор исчез.

2

В издательстве, которое вот уже целый год держало его книгу, не решаясь ни выпустить ее, ни рассыпать набор, он получил часть своего гонорара. Это были небольшие деньги.

Он уехал. Разумеется, не на родину, не на могилу к тетке, замерзшей в восемнадцатом году, но к старому гимназическому приятелю доктору Нейгаузу.

Тридцать лет пазад после какой-то неудачи Нейгауз покинул Петербург и поселился в маленьком уездном городке, неподалеку от одной из третьестепенных станций по Октябрьской железной дороге.

Ложкин никогда не переписывался с ним, но знал, что где-то под Питером или между Питером и Москвой живет Август, доктор Август Нейгауз. Он вспоминался длинным, нескладным, корректным, слегка сумрачным гимназистом с белой каемочкой из-под воротника плотной форменной тужурки.

Однажды — это было тотчас же после сдачи магистерских экзаменов — Ложкин послал ему одну из своих первых книг, но ответа не получил. Книга была послана от гордости, не оттого, что еще дороги были старые друзья, надписана не так, как следовало ее надписать,— и Нейгауз ничего не ответил.

А потом прошло ровными шагами, шагами, много раз измерившими расстояние от библиотеки университета до библиотеки Академии наук,— то, что прошло потом. Прошла жизнь.

Именно эти слова сказал себе Ложкин, когда вместо корректного гимназиста с белой каемочкой воротничка увидел старого, слегка сгорбленного, костлявого врача с седыми, желтыми, моржовыми усами.

3

Нейгауз не узнал его при встрече — но, когда узнал, расцеловался с ним и не менее четверти часа тряс его за руки, хлопал по плечу.

Он захохотал грубым голосом, охрипшим от молчания, когда Ложкин объявил ему, что приехал отдохнуть,— захохотал так, что кухарка, навряд ли слышавшая когда-нибудь, как ее хозяин смеется, в испуге прибежала снизу, из кухни, с граблями в руках, с засученными рукавами.

Он усадил Ложкина в широкое кресло с кожаной подушечкой у изголовья — это кресло было единственной мягкой мебелью в его доме. Он завалил весь стол какими-то пышками, рыбками и маленькими прошлогодними печеньями. Он приказал своей стряпухе немедленно же ставить пироги и кричал ей что-то насчет кардамону, чтобы она не забыла, как в прошлый раз, положить кардамону, шафрану.

Растаяв, подобрев, Ложкин ходил по маленьким, уездным комнатам и любовно смотрел на Нейгауза — как давно уже не смотрел ни на одного человека в мире.

За ужином они не спрашивали друг друга о личных делах. Одного за другим перебрали они своих учителей — сурового латиниста, прозванного Бородой, человека действительно бородатого, которому однажды устроен был грандиозный скандал с битьем стекол, с обстрелом педелей, и Саньку Княжнина, математика, которого все так и звали Санькой, невзирая на то, что ему было никак не менее пятидесяти пяти лет. Ложкин даже изобразил его — поджав губы, заложив одну руку за спину, а другой язвительно щекоча подбородок.

— Нейгауз, что ты делаешь, мерзавец? — сказал он быстро.— Ты очень плохо кончишь, Нейгауз. Садись! Моментально на место!

Нейгауз хохотал, держась за бока, вытянув длинные сухощавые ноги.

Они вспомнили Викторина Павлова, преподавателя географии, прославившегося тем, что мама записала его в Союз русского народа. Он медленно входил в класс с зонтиком и указкой, был смешлив и, фыркая, закрывался рукой. Они перепутали: Союз русского народа тогда еще не существовал.

И Митьку Лаптева, историка, который, сидя на кафедре, вычесывал блох частым гребешком и потом старательно давил их на классном журнале.

Ложкин огорчился, услышав, что Санька тридцать пять лет тому назад был повешен собственной кухаркой, что Лаптев, доведенный преследованиями директора до душевной болезни, избил его зонтиком при попечителе округа и, будучи с позором изгнан из гимназии, умер в безумии.

А Губошлеп? А Линкс, старый дерптский студент, который, увлекаясь, на уроках немецкого языка показывал

приемы фехтовального искусства и шрамы — следы старинной вражды между корпорациями Borussa и Victoria.

Что это была за бурса, боже мой! И как это было далеко, как непохоже, что все это было.

4

Ложкин проснулся под утро. В комнате было полутемно. Он лежал тихо, покрытый одеялом до самых глаз, стараясь уснуть и смутно сознавая, что уснуть уже не удастся. Потом он с усилием приподнял голову с подушки, пошарил рукой выключатель.

Никакого выключателя не было, не было и самой лампы, не было даже ночного столика, на котором она стояла. Не было пенсне, не было книги, которую он вчера не успел окончить. Или это было не вчера, по третьего дня, но...

Он слез с кровати и босыми ногами пошел по скрипучим половицам. По половицам — не по паркету: пол был другой. Он подошел к окну, отдернул занавеску. Снег лежал в низком палисаднике — хрупкий, почерневший, подтаивающий. Маленькие голые клены качались от ветра. Наступало утро. Утро было другое.

Потирая озябшие руки, он вернулся и сел на кровати, закутавшись в одеяло. Он удрал, удрал, вот в чем дело! Он бросил жену, отрекся от квартиры. Никто не знает, где он,— ни жена, ни прислуга, ни Публичная библиотека, ни Академия наук. А он у Нейгауза, в глухом городишке в трех верстах от одной из третьестепенных станций по Октябрьской железной дороге.

И чтобы снова заснуть, ему не нужно перебирать дня, оставленного в кабинетах библиотек, в аудиториях университета. Трамвай больше не гудит на поворотах, оконные переплеты не отражаются на потолке — а если и отражаются, то ничем не напоминают другую, третью, четвертую ночь, любую из тех, которыми располагает профессор Ложкин.

Он был свободен наконец. Он мог делать все, что хотел, он мог ложиться, когда вздумается, и, когда вздумается, вставать. И не нужно было разговаривать с людьми, не нужно извиняться перед ними за свое существование.

Не было книг, стены были простые, бревенчатые, свободные.

Не нужно было улыбаться.

5

Почти все свободное от занятий время Нейгауз проводил над верстаком, со стамеской, с рубанком в руках. Он любил делать вещи. За исключением мягкого кресла для важных гостей, все, что увидел Ложкин в его маленьком доме, было сделано его собственными руками.

Он был прекрасный врач, что, впрочем, нисколько не мешало ему относиться скептически к своей профессии.

— Единственный случай, когда причина идет за следствием,— сказал он Ложкину,— это когда врач идет за гробом своего пациента.

В городе его любили, крестьяне за десятки верст приезжали к нему лечиться. Прославился он после истории с печным горшком. История была такая.

Лет пятнадцать назад мужики во главе с волостным старшиной приехали за ним, чтобы отвезти его в одну из окрестных деревень.

Там под иконами лежал огромный волосатый старик, очевидец Отечественной войны, которого, по предписанию из обеих столиц, необходимо было сохранить для празднования столетней годовщины 1812 года.

Он кричал. Печной горшок стоял на его животе.

Вернувшись из городской больницы, где он был поражен лечебным свойством сухих банок, он взял печной горшок, намылил его, сжег в нем клок кудели и сам себе поставил на живот вместо банки.

Живот ушел в печной горшок без остатка.

Три растерянных фельдшера суетились вокруг старика. Они тщетно пытались под наблюдением пристава засунуть под горшок пальцы.

Старик ругал их по-матери. Уверяя, что он был лично знаком с Бонапартом, что у других очевидцев в паспортах подчищены года, он требовал у фельдшеров немедленного облегчения.

Нейгауз с минуту смотрел на него — моржовые усы его чуть заметно дрожали от сдержанного смеха.

Оглядевшись, он приметил у печки кочергу. Все следили за ним с любопытством. Он взял в руки кочергу и, сказав только с легким латышским акцентом: «Ну, теперь держись, старый хрен»,— ахнул по горшку кочергой. Горшок разлетелся в куски. 125-летний волосатый живот вылез из-под него, обожженный, сильно потрепанный, но веселый.

С тех пор Нейгауза на сто верст кругом знал каждый ребенок. Он был прост. Ему прощали чудачества. Чудачеством считали, например, его привычку купаться в местной речке каждое утро, летом и зимой, в любую погоду.

На следующий же день после приезда Ложкина он и Ложкина потащил купаться — и тот с ужасом смотрел, как, сбросив с себя широкие штаны и легкий чесучовый пиджак, Нейгауз начал приседать на берегу, сгибая и разгибая узловатые руки. На острый ветер, который заставил Ложкина поднять воротник пальто и поплотнее завязать кашне вокруг шеи, он не обращал ни малейшего внимания.

— Очень полезно, voluntas sana in corpore sana![1] — крикнул он Ложкину и, кончив гимнастические упражнения, полез в воду.

Лед еще только что прошел, вода была очень холодна — но он неторопливо окунулся несколько раз и, слегка сгорбившись, похлопывая себя по старому кряжистому телу, вылез на берег. Ложкин растерянно смотрел, как, плотно утвердившись на длинных сухих ногах, он стер с себя ладонями воду и принялся с силой растираться мохнатой простыней.

Он должен был поехать в больницу в этот день, но ради приезда старого приятеля не поехал, и они целый день бродили по городу. Нейгауз показывал город. Указав рукой на дом, он говорил кратко: «Вот дом», на аптеку — «Вот аптека», на почту — «Вот почта».

Показывать было нечего. Аптека была аптекой, дом — домом, почта — почтой. Жители не были похожи на дикарей.

Как все молчаливые люди, Нейгауз говорил мерно, не сливая слова, останавливаясь на неожиданных местах. Показав аптеку, больницу и почту, он рассказал Ложкину несколько случаев из своей практики.

Пришел к нему однажды милиционер с разинутым ртом. Он как бы пел — беспрестанно, но бесшумно. Отчаянно ворочая языком, он кое-как объяснил Нейгаузу, что раскрыл рот, чтобы хлебнуть щей в трактире, да так с разинутым ртом и остался. Трактирщик с подручным старались закрыть рот насильно, но не могли.

— Я стукнул его кулаком по челюсти, — кратко объ-

[1] Здоровая воля в здоровом теле! *(лат.)*

яснил Нейгауз,— это был, конечно, простой вывих. Но в рот, покамест он дошел до меня, набилось очень много пыли и всякой дряни. Когда он закрыл рот, он чуть не задохнулся.

По дороге к дому Нейгауз припомнил, что, расставаясь по окончании гимназии, Ложкин, и он, и Крейтер, и Попов, и еще кто-то решили собираться каждое пятилетие. Крейтер был теперь профессором математики в Бостоне, Попов умер лет десять тому назад.

Зато здесь же, в городе, живет и служит в Губстатбюро не кто иной, как Женька Таубе,— «ты, должно быть, помнишь его, Степан, он был на два или три класса старше нас с тобой».

Тут же решено было позвать Женьку Таубе. Решено было в тот же вечер устроить «на лужайке детский крик» — так выразился Нейгауз.

6

«На лужайке детский крик» начался с того, что Нейгауз затеял варить глинтвейн и сам старательно толок корицу, сыпал в кастрюлю сушеную гвоздику, отмерял пивным стаканчиком сахарный песок.

— Ты увидишь, милый мой, что я не забыл еще, как это делается. Помнишь, как мы варили пунш в бабаевском доме?

Ложкин помнил. В бабаевском доме жили пансионеры. Нейгауз был пансионером и признанным тамадой на всех гимназических вечеринках.

Потом пришел Женька Таубе, дряхлый старик с тощими седыми баками, с подвижным носом. Один глаз у него был постоянно прищурен, что придавало его лицу скептическое выражение. Другой косил.

Ложкин был немного испуган его появлением. Но Женька даже не посмотрел в его сторону. Понюхав слегка воздух, он прямо отправился к тому месту, где возился с глинтвейном Нейгауз.

Он попробовал глинтвейн и объявил, что в нем маловато водки.

— Пошел ты к черту,— с сердцем сказал ему Нейгауз и, схватив за плечо, повел к Ложкину.

— Самый мнительный человек в мире,— сказал он очень серьезно,— хлеб, на который села муха, мажет йодом, прежде чем положить в рот. Из преданности к Совет-

ской власти до сих пор не решается надеть галстук, так с запонкой и ходит.

Ложкин пугливо смотрел на старика. Галстука на нем действительно не было. Он был ужасен.

7

Нейгауз сидел, расставив ноги, расстегнув ворот рубахи, упрямо встряхивая седым хохлом, падавшим ему на лоб. Похожий на старого, кряжистого гусара, он пел, обняв руками бутылки:

Edite, bibite,
Col-le-giales,
Post multa secula
Po-cula nulla! [1]

Некому было подпевать. Collegiales, одни, разбросанные по всему миру, давно забыли и думать о том, что были когда-то его друзьями, другие и вовсе предпочли переселиться в комнаты тесные, тихие и сыроватые, далекие от всякого шума.

Только Ложкин по временам подпевал ему грустным голосом:

Pocula nulla!

Как весело было доказывать когда-то, что бессмертия не существует!

Но в конце концов разошелся и он. Глинтвейн был крепок. Женька Таубе соврал, что водки было маловато.

— А помнишь Марусю Навяжскую? — спрашивал он.— Какая девушка была, косы какие! Ты приударял за ней, Август.

Нейгауз пел, без всякой нужды размахивая руками. Он был пьян, моржовые усы его обвисли.

— А Лапина горка? А дом с чертями на Губернаторской? — спрашивал Ложкин.— А реалист Мими, которого ты чуть не утопил на выпивке после выпускных экзаменов? Я хотел тогда сказать тебе, чтобы ты его не топил, но очутился в канаве и сказал что-то совсем другое. Ты бы утопил его, если бы не городовые.

— И очень жалею, что не утопил! — стуча кулаком по

---

[1] Ешьте, пейте,
Коллеги,
Пройдут века —
Попоек не будет! *(лат.)*

столу, кричал Нейгауз.— Я очень жалею, что не утопил его. Он был белоподкладочник! Мими, собачья морда, зачем ты смотришь гордо? — внезапно вспомнил он и рассмеялся, обнял Ложкина, приподнял на воздух и снова, с нежностью, посадил на стул.

— Чего вспоминать, лучше пей, докажи, что ты еще не совсем заржавел над своей историей литературы!

И Ложкин пил. За всю свою жизнь он, кажется, не выпил столько, сколько в доме Нейгауза за один вечер.

Уж и на Женьку Таубе он смотрел с любовью.

— Брось статистику, займись астрономией, Женя,— говорил он, держа статистика за рукав и сам себя слушая с удивлением,— переезжай в Ленинград, возьмись за планеты. Подсчитай их, этого еще никто не сделал. И не женись. Не слушай Августа, не женись. Еще Пушкин сказал, что жена — род теплой шапки с ушами.

Женька принюхивался к нему. Он молчал, один глаз косил, другой саркастически щурился. Он женился сорок лет назад, астрономия его не привлекала. Он был пьян по-другому.

Отняв свои руки от Ложкина, он заложил их в карманы и вдруг фертом прошелся по комнате, выбивая дробь маленькими кривыми ногами.

И тогда все перепуталось в охмелевшей голове профессора Ложкина. Пьяно мотал он головой, пьяно бродил по комнатам, натыкаясь на мебель.

— Профессор... Не ищите, друг мой, особенного значения в том, что...

В чем? В чем не должен искать он особенного значения?

Веселый усатый человек — почтальон или почтовый чиновник — вдруг появился в комнате, как во сне. Это он допил оставшийся глинтвейн, это он притащил из кухни нейгаузовскую кухарку и заставил ее танцевать с платочком вокруг Женьки Таубе, который все еще ходил фертом и все приседал, напрасно стараясь выкинуть из-под себя то правую, то левую ногу.

Это он потребовал от Ложкина профсоюзный билет, заявив, что не желает находиться в присутствии гражданина, не состоящего в профсоюзной организации.

И Нейгауз положил его под стол? И чиновник извинялся?

И Женька ли Таубе, сильно скосившись, полез кухарке за кофту или это он, профессор Ложкин, полез кухарке

за кофту, и кухарка, обидевшись, показала шиш и ушла из комнаты, одёрнув платье?

Только одно запомнилось ему: как стоял среди комнаты кряжистый шестидесятилетний гимназист доктор Август Нейгауз и пел, вскидывая седой хохол, размахивая широкими, как тарелки, руками:

Edite, bibite
Collegiales,
Post multa secula
Pocula nulla!

8

Бессонница смотрела из всех углов, из серого окна, задернутого рассветом. Он сидел неподвижный, серый. Он неслышно дышал, у него билось сердце. Он чувствовал отвращение к вещам, стоявшим вокруг него, к мебели, рассыпанной во время вчерашней пирушки, к остаткам пищи на столе, залитом вином.

Пикник! Это был пикник. Вот куда ушел его бунт, вот на что он променял свою жену, свои книги.

Стараясь не шуметь, он встал и, держась рукой за голову, принялся собирать свои вещи.

Преодолевая мучительную ломоту в пальцах, он написал прощальную записку Нейгаузу.

Он благодарил его за радушие, просил извинить за неожиданный отъезд, вызванный обстоятельствами непредвиденными.

На опустошенном столе он нашел кусок лимона и, очистив его ложечкой от мокрых крупинок чая, съел с жадностью.

В котором пункте его проекта стоял этот кусок лимона, и косоглазый Женька Таубе, и почтовый чиновник с кудрявыми лихими усами?

Со стесненным сердцем он уезжал от Нейгауза. Бунт не удавался.

9

Он думал о Драгоманове в поезде — быть может, поэтому, встретив его на Знаменской площади, не поверил глазам своим и прошел мимо.

И точно — легко было не узнать Драгоманова: так изменился он за эти несколько дней, отделявших нынешнюю

встречу от последнего разговора в университетском общежитии.

Он стоял, прислонившись к решетке памятника, засунув руки в рукава своей драной шинели, глядя вокруг себя туманными глазами. Хлястик был оборван на шинели, она висела на его узких плечах больничным балахоном. У него лицо стало меньше. Истасканные красномордые проститутки шныряли вокруг него, мальчишки продавали ароматную бумагу.

И Ложкин вернулся и снова прошел мимо Драгоманова, схватившись было рукой за шляпу, но так и не поклонившись от растерянности. Тогда Драгоманов оборотился, все теми же туманными глазами посмотрел ему вслед и вдруг снял перед Ложкиным шапку.

— Степан Степанович,— сказал он почтительно.— Очень рад, что наконец встретился с вами. Я так и забыл вернуть вам ваше пенсне. Кроме того, я должен принести вам мои искреннейшие извинения. До сих пор понять не могу, как я мог позволить себе так неучтиво вести себя в разговоре с вами.

10

И вот началось путешествие — путешествие за потерянным пенсне, за утраченным временем, за концом разговора.

Драгоманов шел впереди — прихрамывая, подняв голову, не глядя по сторонам.

Он был похож на босяка, но шел как римлянин — со свободным достоинством человека, который считает излишним смотреть себе под ноги. И неторопливо. Но Ложкин все же бежал за ним, подняв воротник шубы, поправляя кашне, боясь простудиться.

Он был неспокоен. Он был как будто даже слегка огорчен встречей с Драгомановым. Драгомановская вежливость его пугала.

11

Проспект 25-го Октября был пуст.

Фонари только что погасли, и каждый дом казался тупой коробкой с тусклыми стеклами. Он был пуст и безлюден, серый арктический рассвет лежал над ним, как падающее небо. На панелях, возле потускневших окон

магазинов и черных ворот, стояли закутанные в огромные шубы сторожа, продрогшие до костей, но еще сохраняющие торжественную неподвижность своего ночного одиночества.

Был ветер, крыши серели и таяли.

12

— Степан Степанович, вы любите Невский проспект? — спросил Драгоманов очень свободно и закинул ногу на ногу. Они уже сидели в трамвае.— Я его прямо терпеть не могу. Единственная часть города, которую если не люблю, так по меньшей мере уважаю,— это Васильевский остров. Я думаю, что если бы Петру удалось из него Венецию сделать, так это было бы самое забавное место на земном шаре. И, кроме того, там очень пивные хороши, на Васильевском. Я много ездил по Востоку, видел все эти портовые кабаки — они с лингвистической стороны действительно очень интересны. Я одно время портовым арго Средиземного моря очень увлекался. Но таких пивных, как на Васильевском острове, ни на Западе, ни на Востоке вы не встретите. Идешь себе где-нибудь по Двадцать седьмой линии, и вдруг в угловом доме, от которого один только угол и остался, стоит пивная. И все, что угодно, вы в ней можете получить! Колбаски эти, заперченные до того, что дух захватывает с непривычки. Горох к пиву. Воры сидят. И хозяин — тоже, несомненно, вор, но благообразный, почтенный, с окладистой бородой и с глазами ясными, молодыми. Очень хорошо.

Ложкин согласился с ним. На Васильевском острове он жил уже тридцать лет. С тех пор как защитил магистерскую диссертацию, ни в одной пивной не удосужился побывать. Но зато когда он был студентом...

Три пушечных выстрела бухнули один за другим с короткими промежутками. Начиналось наводнение.

Не кончив фразы, он обеспокоенно взглянул на Драгоманова.

— Три фута выше ординара,— равнодушно объяснил Драгоманов и встал: трамвай уже скатывался с Дворцового моста.— Итак, Степан Степанович, когда вы были студентом...

13

И комната драгомановская как-то изменилась с того дня, когда Ложкин, сопровождаемый странным вопросом о штанах, бежал из нее, беспомощно запахивая шубу.

Комната была уж не просто грязна, неприглядность ее уже нельзя было оправдать шутливой фразой о Робинзоне Крузо. Пол был усеян окурками и картофельной шелухой, ровный слой пыли лежал на столе, на книгах; черная, как земля, подушка валялась на неприбранной постели. И Драгоманов больше не извинялся за все это, может быть, даже и вовсе не замечал. В комнате чувствовалось падение.

Он помог Ложкину снять шубу, предложил ему стул, и сам сел, скрестив и вытянув ноги. У него был усталый вид. Он молчал.

Ложкин любовно вертел в пальцах свое старенькое пенсне, дышал на него, крепко протирал платком стекла, смотрел на свет.

Потом надел и, слегка склонив голову набок, попробовал прочесть название одной из книг, лежавших на столе. Прочтя и удовлетворившись этим, он вопросительно взглянул на Драгоманова.

Драгоманов молчал. У него было уже не усталое, но скучное лицо.

Его уже не забавляло, казалось, что ординарный профессор краснел перед ним. Или не краснел. Лениво потянувшись к столу, он отыскал под грудой книг ножницы и принялся старательно вырезать из бумаги... Черт знает что он вырезал из бумаги!

Ложкин задумчиво посмотрел на него, и вдруг Вязлов, скореженный, страшный, с папиросой, зажатой в кулаке, вспомнился ему.

— Человек, о котором вы изволили упомянуть, в сущности говоря, по сложности своей человеческому уму почти не понятен.

И он его как будто преемником Шахматова называл?..

— Борис Павлович, а почему вы еще не академик? — спросил он и сам немного удивился вопросу.— Ведь у вас же очень много трудов. И солидных.

— Так ведь никто же не помирает. Вакансий нет,— равнодушно возразил Драгоманов.

Ложкин растерянно мигнул и почему-то снял пенсне. Ответ был несколько неожиданный.

— То есть как вакансий? Я говорю, членом-корреспондентом,— нерешительно сказал он.— Вы ведь все-таки молоды еще.

— А что я им корреспондировать буду? — внезапно огрызнулся Драгоманов.— Я даже, если хотите, уж и состою корреспондентом.

Ложкин тер пальцами переносицу.

— Как состоите? Не помню.

— А я корреспондентом «Сибирской живой старины»,— грубо объяснил Драгоманов.— Псевдоним — «Голос с мест». Пишу, и деньги платят. А Академия наук своим корреспондентам, сколько мне известно, не платит. Впрочем, я согласен,— добавил он, успокаиваясь.— Но прежде я должен одну из моих работ закончить. Кстати, Степан Степанович, может быть, и для вас тема ее окажется небезынтересной. Работа называется «О рационализации речевого производства». Завтрашний день, если здоров буду, намерен прочитать ее в Научно-исследовательском институте.

Ложкин откинулся на спинку стула, высоко вверх подняв свой детский, раздвоенный подбородок. «Рационализация речевого производства»? Он недоумевал. Потом он испугался.

«Берегитесь его,— снова вспомнил он Вязлова,— говорят, что китайцы, среди которых он живет...»

И для чего ему нужно было приходить к Драгоманову? О чем ему говорить с этим человеком?..

Драгоманов положил на стол то, что он вырезал из бумаги. Положил, разгладил пальцами, посмотрел со стороны и не торопясь изорвал.

— Степан Степанович, а как с вашим проектом? — медленно спросил он.

И Ложкин весь сжался на своем стуле.

— С каким проектом?

— Насчет вашего пиджака,— равнодушно продолжал Драгоманов.— Вы, помнится, собирались пиджак на мосту подбросить? Или на набережной?

Ложкин покраснел. Он улыбался неотчетливо, смутно.

— Ну, что вы, Борис Павлович, вздор,— пробормотал он.

— Почему же вздор? Очень любопытная идея, впрочем, уже использованная в литературе. Пиджак, и в пиджаке записку. Как же, прекрасно помню. И вы знаете ли, Степан Степанович, я вот очень много думал над вашим

проектом и решил, что редакцию посмертной записки нужно слегка изменить. Не «прошу в моей смерти никого не винить», но «прошу в моей смерти никого не винить. Штаны оставляю на себе в припадке отчаянья, зная, что это противоречит принципу разумной экономии». Об этом-то я и кричал вам вслед. Вы не дослушали.

Ложкин нервно вертел шеей, оттягивал воротничок рубашки. На щеках у него пятнами проступил румянец.

— Я потому хотел предложить вам это,— безжалостно продолжал Драгоманов,— что один пиджак решительно никого в вашей смерти уверить не мог бы. Вот у меня, еще в харьковской гимназии, один приятель был. Так он, вознамерившись устроить точно такую же мистификацию, не только куртку с себя снял, но и штаны. Правда, он потом на собственных поминках напился и по всему городу бегал, доказывая, что давно уже мертв, погиб в волнах, но, доведи он свое предприятие до конца...

Ложкин вскочил.

— Борис Павлович, вам угодно надо мной шутить? — спросил он очень высоким голосом и распрямился.— Вы думаете, что некоторые обстоятельства, заставившие меня — о чем я жалеть не перестану — обратиться к вам, дают вам право на шутовство? Вы надо мною смеете издеваться? Я полагал найти в вас человека, заслуживающего если не уважения, так простой приязни. Вы должны извинить меня. Я ошибся.

Он был бледен от бешенства. Резко оборотившись, он подбежал к вешалке, сорвал шубу и распахнул дверь.

14

В 1821 году, когда Рунич и Магницкий обвиняли Санкт-Петербургский университет в том, что он, следуя посторонним целям, «забыл долг, попрал честь, презрел стыд и усыпил совесть»; когда профессор русской словесности Галич в ответ на обвинения написал, что, сознавая невозможность отвергнуть или опровергнуть предложенные ему вопросные пункты, он просит не помянуть грехов юности и неведения,— но на восторги и объятия Рунича ответил угрюмым молчанием, а в ответ на предложение переиздать его книгу с признанием вместо предисловия, молча удалился; когда университет опустел и окончилось наконец длившееся три дня заседание конференции, назна-

ченной для разбора дела, один из профессоров, обвиненных в государственном преступлении, выйдя на улицу, впал в забытье, пошел прямо, как солдат, и шел всю ночь, не разбирая дороги.

Он пересек весь город — и к утру матросы задержали его в Коломне, «откуда он был приведен домой, впав в чрезвычайное расслабление телесное и душевное».

Именно в таком профессорском забытьи, имевшем более чем столетнюю давность, бродил по Васильевскому острову Ложкин. Покинув Драгоманова, отказавшись наотрез даже переждать непогоду — было очень ветрено, шел дождь пополам со снегом,— он вышел из университетского общежития и, стараясь по неизвестной причине держаться поближе к парапету набережной, пошел прямо вперед, крепко сжимая в руках портфель, который становился все тяжелее.

Он с недоумением взглянул на сфинксов, преградивших ему дорогу.

От парапета он отошел с недоверием.

Памятник адмиралу Крузенштерну он не узнал.

Как по университетскому коридору, шел он по городу, с достоинством наклонив голову, свободной рукой взявшись за борт своей шубы. Как аудитория, шумела Нева. Бледная луна еще стояла над Академией художеств.

Он шел, не замечая ветра, который дул ему в спину, леденил голову, делал легкими ноги.

Хорош же он был после пьяной ночи, после глупого разговора с Драгомановым, едва ли что не окончившегося нервическим припадком! Хорош же он был в своей длинной, по земле волочащейся шубе, со своим достоинством, со своим портфелем, из которого торчали не книги, нет,— но рукав пиджака, серенького, в полоску.

Что сказала бы, встретившись с ним у Масляного буяна, его жена — Академия наук и его судьба — Мальвина Эдуардовна? Какие доказательства привел бы он в доказательство того, что без всякого тайного умысла шел он по городу, как по университету, в оправдание того, что, как аудитория, шумела Нева?

И только неподалеку от взморья усталость наконец его сломила. Он присел на деревянную тумбу, косо торчавшую из-под грязного снега, и осмотрелся. Он был не в Коломне, но в состоянии чрезвычайного расслабления телесного и душевного. Не в Коломне — но в странном месте, о существовании которого он — всю жизнь свою про-

живший на Васильевском острове — никогда не подозревал.

Почернелые от времени избы, запущенные, обломанные, до самых окон ушедшие в землю, стояли среди восьмиэтажных домов, которые далеко не часто можно было увидеть и в центре города. Узкие железные трубы, обгрызённые и закоптелые, торчали на сползающих от дряхлости крышах. Стояли хлевы. Стоял на столбах навес. Ленивая свинья важно бродила между грязных льдин, выброшенных во время половодья на берег. Баба в повойнике, в тонком платье, которое ветер обдувал вокруг ее голых жилистых ног, доила козу у крылечка. Пел петух.

Это была деревня, скучная деревня, не более как в тридцать дворов, стоявшая прямо напротив города, который был в этот час больше городом, чем когда бы то ни было. Но дома, вброшенные в толпы лачуг, были одинокие, пустые. Они казались еще более одинокими потому, что через крыши лачуг смотрели на взморье — на равнину снега и льда, просеченную темными пространствами воды. Здесь был конец города, конец путешествия. Пушка была почти не слышна здесь — или звуки выстрелов относило в сторону ветром. Но она бухала не напрасно. Даже с того места, где стояла кривая тумбочка, где сломила наконец профессора Ложкина усталость, видно было, что вода стояла высоко.

15

Это не было знаменитым наводнением 1924 года, когда Нева справляла столетний юбилей своей войны с Петербургом.

Когда торцы, всплывшие наверх, как огромное деревянное поле, проваливались под ногами лошадей.

Когда женщины снимали туфли и сапоги и с высоко поднятыми юбками переходили дорогу.

Когда отрезанные от своих жилищ люди яростно торговались с извозчиками — единственными обитателями города, для которых наводнение было удачей.

Когда из затопленных магазинов тащили мешки с мукой и никто не знал, грабят магазины или спасают товары, принадлежащие государству.

Когда свет погас во всех домах.

И сигнальная пушка стреляла через каждые три минуты.

Когда растерявшиеся милиционеры не знали, что делать с водой, не слушавшей приказаний.

Когда, уничтожив движение, погасив свет, выключив телефоны, вода установила безвластие и тишину, которую не знал город со времени своего основания.

Когда раскольники, застрявшие на братских могилах Марсова поля, громко молились, радуясь, что пришло наконец время исполниться предсказанию о гибели города, построенного антихристом на болотных пучинах.

Когда пожарные, похожие на ушкуйников, плавали в лодках по улицам, не напоминавшим венецианские каналы.

Когда очереди за хлебом и керосином и суетливость людей, наскоро изменявших привычные представления, напоминали Февральскую революцию.

Это было одно из очередных василеостровских наводнений, случающихся не раз в столетие, но почти каждую весну и каждую осень.

16

Никто не предупредил профессора Ложкина о том, какой опасности он подвергался, сидя на своей кривой тумбочке и близоруко поглядывая на разновременные строения, которыми кончалась гавань. Порт и взморье были безлюдны, на две версты вокруг нельзя было различить ни одного человека. Он был слегка удивлен, увидев воду у самых ног. Некоторое время он недоверчиво рассматривал ее, придерживая рукой пенсне: вода пришла к нему, как старый приятель. Она и не собиралась уходить. Напротив того, с каждой минутой она располагалась все удобней.

Пожав плечами, он встал и, обойдя кругом почти всю Гаванскую часть, по Наличному переулку снова направился к порту. Бог весть почему приспичило ему именно по взморью бродить в это неурочное для прогулок время.

И он снова вернулся бы в порт, если бы толпа не преградила ему дорогу.

Толпа стояла в Наличном переулке и с любопытством смотрела на воду. Вода наступала медленно, тихим шагом. Люди отступали. Никто не волновался. Наводнение, в сущности говоря, совершалось в полном порядке. Вода наступала, как люди. Люди отступали.

Порядок нарушал только мастеровой в зеленом перед-

нике, с горьковскими усами. Мастеровой был пьян: уже довольно давно ругал он наводнение по-матери и грозил ему кулаками. Он единственный не отступал вместе с толпой. Крича что-то о пожарных, будто бы опять проглядевших наводнение, он яростно прыгал на верхних ступеньках своего дряхлого домишка, который был чуть ли не первым затоплен водой.

Впрочем, до тех пор, покамест он прыгал, никто не заботился о нем. Только какая-то старушка сказала с сожалением, что вот Иван Иванович опять гуляет, а работа стоит.

Но когда все хозяйство Ивана Ивановича было вынесено водой из подвала на простор Наличного переулка, когда колодки, как утки, поплыли мимо него,— он перестал прыгать. Махнув рукой, он снял с себя опорки, повесил фартук на завиток от кронштейна и полез в воду. Одну или две колодки он успел поймать, но, погнавшись за третьей, оступился. Попал ли он в яму, которых немалое количество имеется не только на Наличном, но и в любом месте Гаванского участка, или вода сбила его с ног — но только Ложкин, внимательно следивший за ним, вдруг понял, что мастеровой тонет, что, если ему не помочь, он захлебнется.

— Позвольте, как же так, ведь нужно же помочь, потонет,— сказал он растерянно.

Старушка, жалевшая Ивана Ивановича, охотно согласилась с ним, что потонет.

— Ничего, скоро пожарные приедут,— сказала она Ложкину,— его пожарные вытянут. Но только если его вода не унесет. А если унесет — нипочем его тогда не найти, хоть тресни.

— Но, позвольте, он еще живой,— взволнованно пробормотал Ложкин.

— Нет, не живой, утонул... Прими, господи, душу раба твоего,— сказала старушка и перекрестилась.— Совецки власти что делают,— прибавила она и заплакала.

Сам не понимая, что он делает, Ложкин медленно пошел к воде... Он уже не слышал, что кричали ему вслед — а что-то кричали. Смутно соображая, что портфель следовало бы оставить, портфель замокнет, что он сейчас потеряет портфель, он прошел несколько шагов по направлению к сапожнику и остановился, беспомощно озираясь. Шуба его всплыла наверх, и он для чего-то старался утопить ее свободной рукой, ноги мгновенно закоченели.

А сапожник вдруг встал, и вода оказалась ему по пояс. По-прежнему ругаясь по-матери, потрясая пойманными колодками, он полез обратно на лестницу.

Сконфуженно моргая, стараясь не упустить портфель, Ложкин пошел обратно. Шуба, раздувавшаяся как парашют, плыла за ним по воде. Огромный пожарный, похожий несколько на древнерусского стрельца, как их изображают в опере, ухватил его под мышки и вынес на сушу.

Тогда из толпы, глядевшей на него с любопытством нескрываемым, выбежал, жужжа, маленький старичок с мохнатым лицом, с движениями повелительными. Ложкин, топчась на месте, хлюпая галошами, стоял и ежился, не зная, что делать с шубой, с портфелем, со шляпой, которую ветер срывал с его головы. Он пришел в себя только тогда, когда мохнатый старичок, Халдей Халдеевич, архивист, подсчитыватель печатных знаков, подошел к нему вплотную и положил руку на его плечо.

— А, это ты! — сказал Халдей Халдеевич очень сурово и так, как будто они только вчера расстались.— Ты весь мокрый. Идем сейчас же ко мне. Ты простудишься. Тебе переодеться нужно.

Я ЗДЕСЬ СТОЮ И НЕ МОГУ ИНАЧЕ

1

Доклад Драгоманова о принципе речевого производства был назначен в большой зале лектория.

За четырьмя столами, поставленными против кроткого председателя в каре, не было ни одного свободного места.

В больших старческих очках сидели штатные аспиранты. Сверхштатные были без очков.

Научные сотрудники сидели со строгими и печальными лицами. Только один из них, рыжий, как капитан Долрой из честертоновского романа, был так здоров, что невольно улыбался. Улыбка пробивалась сквозь важность.

Действительные члены, крайне редко посещавшие институт, ждали начала доклада, чтобы уснуть. Кое-кто уже мотал головой над столом. Были среди них и впавшие в детство. Были и заслуженные ученые, авторы многих трудов. Впрочем, только заслуженные. Войди в эту залу вежливый и гениальный Шахматов с тихим голосом и лишен-

ными честолюбия глазами — он не нашел бы здесь достойного преемника. Здесь были люди старательные, с почтенными трудами, с почтенными ошибками.

Назначенное время давно прошло, секретарь уже два или три раза подставлял свои часы к кроткому председательскому носу.

Драгоманов не появлялся.

Розовый седоусый старик сидел рядом с председателем и нетерпеливо потирал плешь. Он был пузат. Казалось, что, если его проткнуть иголкой, из него, как из вербного чертика, с жалобным писком выйдет воздух. Старик был действительным членом института — впрочем, не по милости божьей, а по родству с одним из членов коллегии. Неаккуратность Драгоманова его раздражала. Казалось, он с каждой минутой раздувался от нетерпения.

Кто-то из аспирантов, заметив за ним это свойство, очень удивился, снял очки, протер их и надел снова. Потом написал записочку соседу. Записочка пошла по рукам. Кто-то засмеялся.

Драгоманова все не было.

Кроткий председательский нос бледнел.

Когда Леман появился в дверях, никто не обратил на него внимания. Университет его знал. Но в институте он был мало кому известен.

Потолкавшись немного у входа, он вышел на середину зала и поклонился. Потом обошел каре и спокойно опустился в кресло, предназначенное для референта.

Он положил перед собой портфель, вынул из портфеля рукопись и солидно откашлялся.

— Профессор Драгоманов поручил мне прочитать его доклад. Он нездоров и просил меня передать свои извинения присутствующему здесь в полном составе институту. Кажется, в полном составе присутствуют? — строго спросил он председателя.

— Да, почти что... Как будто в полном,— растерянно сказал председатель.

Леман качнул головой с удовлетворением.

— Но как же так,— сказал председатель и немного подвинулся к секретарю.— Григорий Павлович, как же так... Как же все-таки без докладчика... Может быть, отложить?

— Нет, не нужно откладывать, я сейчас прочитаю,— сказал Леман.— Но прежде, чем приступить к докладу,— продолжал он уже другим, торжественным голосом,— я

предложил бы почтить вставанием память покойного профессора Ложкина.

Сдержанный шум пронесся по каре и смолк. Седоусый старик обмахнулся платком, побагровел. Рыжий и научный сотрудник перестал улыбаться. Кто-то встал.

— Отложить, отложить... До полной известности отложить,— зашептал председатель и тоже встал.

Все постояли немного, потом сели.

Леман с деловым видом рылся в своем портфеле. Он вынул стопочку повесток, перегнулся через стол и передал одну из них лингвисту с узкой мочальной бородой.

— Передайте, пожалуйста, вашему соседу и дальше, по рукам,— попросил он учтиво.

Лингвист заглянул в повестку, почитал немного и вдруг затревожился, захлопотал.

Повестка была напечатана на машинке под лозунгом «Россия должна знать своих ученых».

Она объявила о том, что третьего мая в помещении университетского общежития состоится организационное заседание «Общества памяти усопших белорусов», на котором специалистами, равно как и родственниками усопших, будут прочтены некрологи, посвященные профессору Ложкину и другим пропавшим без вести служащим Ленинградского университета.

Леман прочел эту повестку вслух. Рыжий бобрик его стоял, как на часах. Жесты были убедительные, плавные.

2

Доклад начался с утверждения, что в настоящее время язык представляет собой результат неорганизованной речевой деятельности. Представители совершенно различных социальных и профессиональных групп пользуются общим речевым материалом. Служащие говорят точно так же, как безработные, лица свободных профессий так же, как буржуазия.

Полагая, что человеческая речь опирается на различные функциональные деятельности, Драгоманов предлагал ввести нормативное разделение ее на группы и закрепить это разделение государственным законом.

Розовый старик идиотически раскрыл рот и записал в блокнот какое-то возражение. Необходимость государственного закона казалась ему не вполне доказанной.

Штатные аспиранты учено смотрели на секретаря.

— «Таким образом, человеческую речь следует разбить на группы,— убежденным голосом читал Леман,— и между группами провести строгие границы, нарушение которых следует облагать соответствующим штрафом».

Границы были следующие:

1. По профессиональным признакам:

а) язык технический, с многими подгруппами;

б) язык безработных;

в) язык удаленных со службы за сокращением штатов;

г) язык растратчиков и т. д.

2. По социальным признакам:

а) язык полуинтеллигентных людей, именующих себя интеллигенцией;

б) язык буржуазии, также именующей себя интеллигенцией;

в) язык свободной профессии и т. д.

— В вашем институте, например,— добавил от себя Леман,— можно было бы провести зону между речью действительных членов, научных сотрудников первого и второго разряда и аспирантов. И тогда с первого слова будет ясно, к какому из этих разрядов принадлежит то или другое лицо, что повлечет за собой прежде всего полнейшую определительность во взаимоотношениях.

Лысина пузатого старика наливалась клюквенным соком.

— «Направив язык по разным линиям речевой деятельности,— читал Леман,— мы добьемся точного разграничения между разговорами служебными, семейными (с женой и детьми) и любовными. Особь, желающая склонить к половой связи другую особь, будет пользоваться совершенно иными речевыми средствами, чем та же особь, делающая служебный доклад или препирающаяся с женою. Равным образом лица, желающие почему-либо разговаривать на улице, должны будут руководствоваться нормами, отличающими разговор с знакомыми людьми от разговора с незнакомыми или полузнакомыми. Так, субъект, желающий нанять извозчика, должен говорить с ним как с незнакомым или, по крайней мере, полузнакомым лицом. Но ввиду того, что извозчик является техником свободной профессии, то субъект, нанимающий его, должен ввести в разговор лексический багаж, характеризующий и эту социально-профессиональную группу».

Леман положил доклад на стол и сомнительно прищурился.

— Здесь, мне кажется, профессор Драгоманов должен был слегка уточнить вопрос,— сказал он,— как же быть, если субъект желает просто побеседовать с извозчиком, вовсе не намереваясь вступить с ним в производственные отношения?

На левом фланге каре послышался смешок и пропал. Кто-то из действительных членов проснулся, толкнул соседа и стал слушать. Что-то носилось в воздухе, что-то мешало спать действительным членам. Розовый старик сидел раздувшийся, страшный, готовый брызнуть клюквенным соком. Научные сотрудники второго разряда, не зная, как отнестись к докладу, терпеливо ждали, как к докладу отнесутся сотрудники первого. Откровенно смеялись покамест только сверхштатные аспиранты.

— «Какая же польза получится от введения научной организации речевого сознания? — с флегматическим видом читал Леман.— Польза большая. Речевая деятельность отнимает, по приблизительным подсчетам, что-то около двухсот калорий ежедневно. Человек говорит от пяти до десяти часов в сутки, не считая храпа. Ввиду неорганизованности речевой деятельности он затрачивает для объективизации своего сознания очень много лишней энергии, которую следует использовать по совершенно другой линии». Хотя бы для устройства разумных развлечений,— прибавил от себя Леман.

«Трудно предугадать меры,— писал далее Драгоманов,— которые необходимо принять для успешного проведения в жизнь принципа рационализации речевого производства. Полагаю уместным предложить институту выделить для этой цели специальных речевых агентов, обязанностью которых было бы наблюдение за речевым порядком как на улицах и в учреждениях, так и на частных квартирах. Если этот план кому-нибудь покажется смешным, предлагаю вспомнить, что милиционеры управляют же уличным движением посредством личного воздействия и целой системы штрафов. Точно так же и речевые агенты, которых следует выбирать из числа физически сильных лингвистов-аспирантов, могли бы облагать небольшим штрафом граждан, переходящих, без соответствующего разрешения, из одной группы речевой деятельности в другую».

Шум прервал его. Действительные члены, разобрав

наконец, что драгомановский доклад был прямым издевательством, возмущенно верещали.

Нервно дергая глазом, Жаравов прошел вдоль заднего каре и вышел вон, возмущенно хлопнув дверью. Апоплексический седоусый старик молча отдувался, чувствуя приближение удара. Сверхштатные аспиранты аплодировали.

— Виноват,— недоуменно поправляя пенсне, сказал Леман,— разрешите. Я еще не кончил...

Кроткий председатель, решившись наконец на буйство, грянул колокольчиком об стол. Детские волосики его развевались от волнения.

«Полагая, что вышеизложенный проект при правильной постановке дела,— писал далее Драгоманов,— может иметь государственное значение, прошу институт передать его для разработки в соответствующую энергетическую комиссию. В заключение покорнейшая просьба ко всем присутствующим здесь действительным членам, научным сотрудникам и аспирантам. В 1917 году у меня...— (Стало быть, у профессора Драгоманова,— добавил в скобках Леман) — пропала рукопись под названием «О психофизических особенностях говора профессоров и преподавателей Петербургского, Петроградского и впоследствии Ленинградского университета», размером в восемь печатных листов, напечатанная на машинке системы «Адлер». А также пропала и сама машинка «Адлер». Нашедших или знающих что-либо о местопребывании машинки просят доставить таковую за приличное вознаграждение».

Вот тут заревели все, без различия рангов. Кричал председатель, так кричал, как будто его резали без ножа. Кто-то размахивал перед леманским носом повесткой «Общества усопших белорусов». Покрывая шум, рыжий научный сотрудник кричал, что нужно еще проверить активность Драгоманова, что Драгоманов не активный.

Леман обиделся за Драгоманова, но стоял молча. Лицо у него было слегка огорченное. Поведение членов собрания казалось ему очень странным. Причина смятения была ему неясна.

Дождавшись, когда шум начал понемногу стихать и действительные члены, вскочившие со своих мест, попадали обратно, он собрал листочки в портфель, вылез из-за стола и боком пошел к двери. Все слышали, как, поймав за пуговицу седоусого толстяка, он приставал к нему с какими-то объяснениями.

— Разве я что-нибудь напутал, профессор?..

Председатель привстал, рванулся к колокольчику, потом убрал руку.

— О поведении действительного члена института профессора Драгоманова будет доведено до сведения коллегии,— объявил он и упал в кресло,— объявляю заседание закрытым.

3

В ночь под Новый год девушки толпой пробираются к овину, и каждая, закинув на голову сарафан, становится к окошечку, выходящему из ямы овина: «Суженый, ряженый, погладь меня».

Если покажется девушке, что ее погладили жесткой рукой — значит, будет ворчливый, старый муж. Если мягкой, мохнатой рукой — стало быть, муж будет ласковый и красивый.

И не дай бог по дороге к овину услышать:

1) звук поцелуя, что предвещает потерю чести, и

2) звук топора, что предвещает смерть.

Так гадают девушки в деревнях. Они льют воск или олово, они выбрасывают за ворота лапти.

В Васильев вечер они ходят под окна и подслушивают разговоры соседей, стараясь по отдельным долетающим до них словам узнать свою судьбу.

Ложась спать, они оставляют на одной ноге чулок: «Суженый, ряженый, разуй меня» — или привязывают к поясу замок, запирая его на ключ и ключ положив под подушку: «Суженый, ряженый, разомкни меня».

Они ходят по ночам в курятник, ловят петуха на насесте и по цвету его перьев определяют цвет волос будущего мужа.

Так гадают в деревнях. В городах гадают иначе.

4

В детстве Верочку Барабанову называли «мухой». Она говорила «к» вместо «х», и выходило «му́ка». Теперь это казалось ей трагическим предзнаменованием. Живопись не была для нее «брачным оперением». Она действительно любила ее. Когда в ее присутствии начинали говорить о кубизме, у нее делалось почти религиозное выражение лица. Впрочем, к левым художникам (она считала себя

левой) она попала потому, что ближайшая подруга ее была замужем за супрематистом.

Но живопись не шла, вот в чем дело! Живопись не шла, ею нельзя было защищаться от того, что приходило к ней, не спрашиваясь. Никакие клятвы в верности больше не помогали.

Правда, живописи своей она изменяла не чаще и не реже, чем всякая другая девушка — с сухими и волнистыми волосами, с милой манерой браться за вещи. За изменой следовало раскаянье, за раскаяньем клятвы («Будьте добры, немедленно поклянитесь, гражданка, в том, что...»), за клятвами — новые измены.

Но то, что случилось теперь, до сих пор бывало с ней только во сне. Это было уже не простое сумасбродство. Два человека претендовали на нее — и оба по праву. Один — потому, что она дала ему слово (и не только слово). Другой — потому, что она его любила.

Предстоял выбор. Она не знала, на что решиться.

Кирилл Кекчеев — это значит, что можно будет:

1) работать спокойно, а то вчера, в припадке отчаянья, она разорвала мастихином полотно, над которым работала не отрываясь две с половиной недели;

2) спать по ночам, а то сегодня она провела целую ночь не раздеваясь, положив голову на спинку стула.

Это значит, что больше не нужно будет:

1) мучиться из-за темной комнаты, в которой нельзя лиловой краски отличить от зеленой;

2) приходить в отчаянье из-за платьев, которые к ней не идут.

И никому больше она не позволит отрывать себя от работы. И она больше не будет возвращаться к ней, наказанная и благоразумная.

И будет все. И ничего не будет.

Виктор Некрылов — это была полнейшая неизвестность. За ним не только не числилось никаких преимуществ, но, напротив того, множество недостатков:

1) он был женат;

2) с ним нужно было сражаться;

3) он был слишком свободен, было бы лучше, если бы он служил. Она представляла себе эти длиннейшие антракты между короткими, стремительными наездами из Москвы — или даже в самой Москве, если она за ним поедет;

4) у него работа, друзья, жена, дети;

5) у него опять-таки жена.

Спасибо! А у нее?..

За ним было только одно преимущество: она его любила.

Но, может быть, она и Кекчеева любит?

У нее теснило грудь, ей просто плакать хотелось. Ирония, которой она гордилась, расчетливость, которую она скрывала,— все пошло прахом. Она решительно не знала, как ей поступить.

Вот тут и началось гадание.

5

Она не лила воск, не выбрасывала свои туфли за ворота. За воском нужно было идти в мелочную лавочку, а выброси она свои туфли за ворота — их бы немедленно стащили.

Она не стояла у овина с платьем, закинутым на голову, дожидаясь, чтобы кто-нибудь погладил ее по голой спине жесткой или мягкой рукой.

Не так-то просто было найти в городе овин или даже вовсе невозможно. А какие руки были у ее суженых — она и без того превосходно знала.

Ложась спать, она не оставляла на ноге чулок, надеясь, что кто-нибудь ее к утру разует. «Суженый, ряженый, разуй меня». Это случалось с ней. Но это не решало вопроса.

Она гадала по-своему.

Любимым гаданьем ее были нолики.

Она писала В, это значило Виктор — и потом много ноликов, столько, сколько напишет рука.

В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Под В она писала К — это был Кекчеев, и снова столько ноликов, сколько напишет рука.

К 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Но секрет этого гадания был известен ей. Рука всякий раз писала ровно столько ноликов после В, что первой зачеркнутой из букв оказывалась К.

Рука не соглашалась на спокойную жизнь.

Тогда она бросила это гадание. Она заподозрила в нем намерение, заранее обдуманное. Рука — это была все-таки она сама, Верочка Барабанова. Должна же была решить не Верочка Барабанова, но случай.

Тогда она принялась гадать по книге. Сборник рассказов Зощенко попался ей под руки.

Она открыла наудачу.

«А все, безусловно, бедность и слабое развитие техники»,— прочла она с недоумением. И рассмеялась.

Верно — все дело было именно в слабом развитии техники. И, безусловно, бедность. Быть может, если бы не бедность, она не стала бы колебаться.

«Ах, милостивые мои государи и дорогие товарищи! Поразительно это, как меняется жизнь и все к простоте идет...» — прочла она в другом месте. Не то. Нет, не то.

Она раскрыла книгу на следующей странице — и обрадовалась. «Человек пропадал буквально и персонально»,— прочла она с торжеством. Буквально и персонально пропадала она. Вера Барабанова пропадала буквально и персонально. Вот она сидит на подоконнике, ловит в стекле свое отражение, поправляет волосы и пропадает — буквально и персонально.

Но за кого ей выйти замуж — этого она в книге Зощенко не нашла. А кроме Зощенки и нескольких книг по живописи, которые уже никак не подходили к ее положению, ей посоветоваться было не с кем.

Тогда она вверила свою судьбу безбородым.

Клятва на этот раз была произнесена торжественнее, чем обычно.

— Клянусь,— сказала она шепотом, но очень убедительным шепотом,— что если первым из-за угла покажется безбородый, тогда за Некрылова. Если бородатый — за Кекчеева.

Жребий выпал скорее, чем она ожидала. Старенький почтальон показался из-за угла и, бодро потряхивая сумкой, на кривых ногах пересек дорогу. У него была борода, к сожалению, у него была густая борода с проседью. Кончено. Теперь уж ей не отвертеться. Почтальон, который вот уж целый год носит к ней письма, которому она каждый раз давала на чай,— подкачал. Она соскочила с подоконника и взволнованно прошлась по комнате. Стало быть... Стало быть... Стало быть, она выходит замуж за Кекчеева.

— С чем вас и поздравляю, Вера Александровна,— сказала она сердито и по-мужски заложила руки в карманы кофточки.

Акварельные краски валялись на столе, на туалете. Подрамники были свалены один на другой. Кисти стояли в вазе щетиной вверх. Она взяла одну из них и задумчиво ткнула ее в масленку.

За Кекчеева.

Вот и краски пожухли, должно быть, плохо был загрунтован холст! Не везет ей, нет, не везет. Вот теперь нужно возиться с пульверизатором, покрывать холст лаком.

Пересиливая себя, она принялась за работу. Не шла работа. День был пасмурный, краски были плохо видны, холст трясся при каждом прикосновении.

Она бросила кисть. За Кекчеева.

А почему, собственно говоря, из-за какого-то почтальона, пусть даже бородатого, она должна портить свою жизнь? К шуту почтальона, она не согласна.

— Имею честь представить вам дуру,— сказала она, взглянув в зеркало и подумав мельком, что волосы у нее сегодня свежее, чем всегда, и это идет к ней,— нерешительную дуру, которая сама не знает, чего она хочет. Которой следует повеситься, и все тут.

Она не договорила. Шаги послышались в коридоре. Сама судьба приближалась к ней, шагами тяжеловатыми, осторожными. Шагами Кекчеева. Дорого дала бы она сейчас, чтобы за этими шагами узнать походку легкую, танцующую...

Шаги приблизились, пропали. Кто-то локтем старался нажать дверную ручку.

Она взволнованно обернулась.

Некрылов, не постучав, вломился в комнату. Руки его были полны пакетами, за плечом, подхваченный веревкой, висел небольшой чемодан. В коридоре было темно, вот почему он шел осторожно.

Бросив все пакеты на пол, размотав шарф,— ему было жарко от шарфа,— он схватил ее за руки и посадил рядом с собой на диван.

— Я лег ему поперек дороги,— сказал он и радостно оскалил зубы,— я отбил вас у него. Ему еще рано жениться. Теперь ему больше нравится холостая жизнь. Вы уже уложили вещи, Верочка? Мы едем через час, в девять двадцать.

6

Мокрый, как мышь, был извлечен профессор Ложкин из очередного василеостровского наводнения. Халдей извлек его, переодел, упрекнул за ханжество и помирился с ним после двадцатипятилетней ссоры.

Потом пришла тишина и недоумение.

Посвистывая, он бродил по опустошенной татарской квартире — и недоумевал. Руки его, заложенные за спину, выглядели сиротливыми. Он похлопывал ими на ходу.

И все чаще он пел последнее время. Вспомнил даже песни, которые слышал мальчиком от прислуг в дохлом, чиновничьем доме своих родителей:

> Часовой! — Что, барин, надо? —
> Притворись, что ты заснул...

Произошло отклонение. Он отклонился.

— Куда вы отклонились, профессор? — бормотал он.— И имеются ли об этом отклонении известия в Публичной библиотеке, в Академии наук?

О жене он вспоминал все чаще.

Она уже не была женщиной, которой он обязан был улыбаться. Улыбаться было некому — разве молодому студенту, странной дружбе которого со своим братом он ежечасно удивлялся. И некому было рассказывать за обедом о том, как прошел день — над повестью ли о Вавилонском царстве или над житиями святых.

День проходил теперь не в кабинетах, не в аудиториях, но между комнатой Ногина (он ухаживал за Ногиным, покамест Халдей подсчитывал в одном из крупнейших ленинградских издательств печатные знаки) и заброшенными улицами Петроградской стороны, по которым он бродил часами.

Никто больше не упрекал его за то, что он вышел без галош, за то, что он забыл дома зонтик.

Свобода, о которой он столько лет мечтал, сам себе в том не признаваясь, стояла теперь вокруг него, не буйная, как в доме Нейгауза, а тихая, очень простая.

И он не знал, что ему делать с ней.

Как-то, проходя мимо одного из детских садиков, появившихся за последнее время на тех местах, где раньше были пустыри, он остановился и долго смотрел на детей.

Дети. Быть может, все дело в том, что у него никогда не было детей? А ведь он хотел, очень хотел — это Мальвочка не хотела. Быть может, если бы у них были дети, все пошло бы совсем по-другому. Не нужно было бы делать то, что он сделал. Не нужно было бы жалеть о том, что он сделал. Жалел он не себя — жену.

7

Он и сам не знал, как это случилось, но после трех-четырех дней пребывания своего у брата он попросил его зайти к Мальвине Эдуардовне.

— Я бы сам зашел, но, знаешь ли, она... Она на меня, пожалуй, сердиться станет...

Халдей Халдеевич молча кивнул головой и отправился бриться. Надев свой парадный сюртук, он со строгим лицом и очень долго рассматривал себя в зеркало.

Перед тем как уйти из дому, по привычке, образовавшейся за последние две-три недели, он зашел к Ногину. Ногин лежал еще больной, но уже заваленный книгами. Ему нельзя было много читать после болезни, Халдей, по поручению врача, постоянно отнимал у него книги. Сегодня было не до того — сегодня он был важен.

Подойдя к Ногину, он пощупал ему лоб, спросил, как спал, какова температура.

Ногин оторвался от чтения и взглянул на него с любопытством.

— Боже мой, какой у вас сегодня торжественный вид,— сказал он весело.— Вы уж не на свадьбу ли собрались? Если на свадьбу, так за мое здоровье не забудьте выпить. И мне притащите чего-нибудь. Я за ваше выпью.

Халдей Халдеевич смахивал с сюртука пушинки.

— Иду стариков мирить, мирить стариков,— объяснил он шепотом и вдруг сморщился, затрясся от мелкого, беззвучного смеха.— Иду Степана с женой мирить. Ведь он же себе места не находит. Скучает без жены. Скучает.

И он ушел. Час спустя он вернулся растерянный, расстроенный, мрачный.

Пригласив брата в свою комнату, он усадил его напротив себя (Ложкин, не усидев, тут же вскочил и взволнованно пробежался по комнате) и сказал ему торопливо:

— Видишь ли... Нужно проведать ее, Степан. Ты проведай ее. Я сказал ей, что ты придешь. Она была очень рада.

И когда Ложкин, надев дрожащими руками шубу и шапку, сбежал по лестнице, Халдей вернулся к себе. Он запер дверь своей комнаты и долго ходил, спотыкаясь, отрывисто бормоча что-то, с детским отчаяньем всплескивая маленькими руками.

8

Когда Мальвина Эдуардовна уверилась в том, что муж ее пропал без вести и нет ни малейшей надежды на его возвращение, она не впала в отчаянье, не стала надоедать родным и знакомым сетованиями на свою судьбу.

Жену профессора Бля́бликова, явившуюся к ней с соболезнованиями, она приняла более чем сдержанно, почти сухо.

— Степан Степанович уехал отдохнуть,— объявила она, поджав губы.— В непродолжительном времени он возвратится.

То же самое сказала она и студентам, которые пришли к Ложкину сдавать зачеты.

— В непродолжительном времени профессор возвратится.

Все в доме шло так, как будто Степан Степанович и точно уехал отдохнуть. Его прибор ежедневно ставился на стол к обеду. По вечерам прислуга оставляла на его ночном столике стакан с кипяченой водой, который он имел обыкновение выпивать перед сном.

И все-таки Мальвина Эдуардовна затосковала. Бессонница ее одолела — она почти перестала спать.

Тихо лежала она и все прислушивалась к чему-то,— быть может, к стуку двери внизу, у подъезда.

Сперва она боролась с бессонницей — поздно ложилась, гуляла перед сном, пила на ночь какую-то маковую настойку.

Все было напрасно.

Однажды она зашла в кабинет мужа. Множество книг, которые она теперь как бы увидела впервые, стояло на полках, рукописи были сложены в неровные стопочки на краю стола — и пыль лежала на них робким, нетронутым слоем. Она переложила рукописи, вытерла пыль и с тех пор уже не пускала прислугу в кабинет, убирала сама.

И убирая, она все старалась найти хоть какие-нибудь следы, по которым можно было бы объяснить себе самой причины его ухода. Почему он ушел от нее? В чем она была перед ним виновата? Если она иной раз позволяла себе покричать на него — так разве легкая была у нее жизнь? Разве просто было двадцать пять лет прожить с таким человеком — погруженным с головой в свои книги?

Мысли путались в ее мутной от бессонницы голове, слезы застилали глаза. Она ничего не понимала.

Ночью, устав от слез, от бессонницы, она вдруг решила, что вовсе не знает его. Вовсе не был он так уж погружен в науку. Она забыла его — такого, каким он был в первые годы их супружеской жизни.

Ведь он же был веселым человеком. Он шутил, писал эпиграммы, играл какие-то вальсы на фортепиано. Нельзя было вообразить себе — ведь он же танцами руководил на балах!

И она снова плакала — подолгу, до полной усталости, приводившей за собой не сон, но тяжелую, неосвежающую дремоту.

Так, спрятавшись между бессонницей и тоской, подкралась к ней болезнь.

9

Как-то под утро (это было на вторую неделю после исчезновения мужа) она почувствовала, что у нее затекла рука. Она пролежала несколько минут неподвижно, терпеливо дожидаясь, когда пройдет неприятное чувство одеревенелости, отсутствие власти над своей рукой. Потом она зажгла свет. Рука была большая, опухшая, пальцы шевелились как чужие.

Слабым голосом она позвала прислугу. Никто не отзывался.

Она сидела прямая, в одной рубашке, с одеялом на ногах. Никто не отзывался. Тихо было в комнате, тихие стояли вокруг нее вещи, но все-таки ей было страшно отчего-то, у нее сердце стучало.

Она потушила свет и снова легла, спрятав опухшую руку под подушку.

А наутро распухли и ноги, распухло все тело. Она приказала прислуге подать себе зеркало и не узнала себя — так страшно переменилась она за ночь. Нос вытянулся, лицо было синевато-бледным, тени лежали на нем, глаза казались потускневшими.

— Вот, матушка моя,— сказала она прислуге и оттолкнула зеркало с отвращением.— Умираю. Видно, одной тебе придется Степана Степановича дожидаться.

И она выгнала врача, которого позвала к ней испуганная прислуга, а двоюродной сестре, явившейся ее проведать, велела сказать, что благодарит, но принять, к сожалению, не может.

К болезни своей она относилась с презрением. Гадливо морщась, рассматривала она свое опухшее тело. Тяжело дыша, она ставила безобразные, отекшие ноги на коврик возле кровати и зачем-то разминала их, жалостно раскрывая рот от боли, с которой не могла совладать.

И потом она часами лежала, не трогаясь с места, не говоря ни слова и только щурясь иногда, как будто что-то смешное, что-то очень забавное шло в бесконечной дремоте перед ее тусклыми глазами. Скучно ей было и некому было пожаловаться на смертельную, сердечную скуку...

Такой и нашел ее Ложкин. Стремительно вбежав в комнату, он так и остался стоять у порога, в нахлобученной черной шляпе, с пенсне в руках, с высоко поднятыми недоумевающими бровями.

10

Мальчик, отправленный под именем Вильдерштейна в Италию, становится художником и влюбляется в графиню В. Возвратившись на родину, он встречается с сумасшедшей женщиной, которая приходит в себя перед смертью и по некоторым признакам признает в Вальдерштейне своего сына. Священник открывает ему, что он граф В. Он узнает, таким образом, что его возлюбленная приходится ему сестрою и, потрясенный, начинает вести отшельнический образ жизни.

Мария Жукова. Русские повести. 1841 г.

Раненый русский офицер попадает к польскому помещику и влюбляется в его дочь. Оправившись, он снова возвращается на поле брани и в первом же бою падает от руки брата своей невесты.

Вл. Владиславлев. Повести. 1835 г.

Юный корнет, разжалованный за дуэль в солдаты, влюбляется в соседку по имению, княжну, за которой ухаживает командир его полка. Убедившись в том, что княжна не любит его, полковник начинает мстить солдату. На первом же полковом учении он наносит ему тяжкое оскорбление. Это происходит накануне того дня, когда солдату возвращают его прежнее звание. Не будучи, однако, в силах снести оскорбление, он убивает полковника ятаганом, который мать подарила ему ко дню рождения.

«Этот подарок, сработанный под знойным небом для сильной руки и раскаленной крови, посвященный мщению, палач христианских голов, модная игрушка воинственных щеголей Востока, лучшая жемчужина азиатского пояса,— этот подарок был: ятаган».

Н. Павлов. Три повести. 1835 г.

За болезнью Ногин не успел вернуть эти книги в университетскую библиотеку. Теперь он чуть не плакал над ними — никогда не был он так чувствителен, как теперь, в дни выздоровления. Грустные истории о девушках, похищенных разбойниками и умирающих от избытка душевных переживаний, о подкидышах, просящих подаяния под окнами отеческого дома, о вдовах, отказывающихся от брака с любимым человеком из уважения к священной памяти мужа, трогали его до чрезвычайности. Он забыл о классификации, в которую он старался втиснуть авторов этих повестей, читанных им для работы о Сенковском. Он все принимал всерьез. Белокурые офицеры, стреляющиеся и стреляющие в других на каждой странице, доводили его до сердцебиения.

Но ни одной любовной истории, хоть сколько-нибудь напоминающей его собственную, он не нашел. Да и не искал. На сюжет, в котором герой так до самого конца романа и не встречается с героиней, пожалуй, не польстился бы ни Вельтман, ни Полевой, ни даже какой-нибудь Петр Бурломский.

Роман его был окончен.

Простейшая фабульная схема была разрешена запиской, которую он послал с Халдеем. Он не сомневался в том, что Вера Александровна вышла замуж за Кекчеева. Он сделал это — и не раскаивается. Он желает ей счастья.

— «И из-за такой глупой истории вы хотели застрелиться? — читал он вслух Гейне и плакал.— Сударыня, когда человек хочет стреляться, у него всегда есть достаточное основание для этого — верьте мне. Но знает ли он сам это основание — другой вопрос. До последней минуты мы играем комедию сами с собой, мы маскируем даже свое страдание и, умирая от раны в сердце, жалуемся на зубную боль. Вы, сударыня, знаете, без сомнения, какое-нибудь средство от зубной боли? А у меня была зубная боль в сердце. Это скверная боль, и от нее очень хорошо помогает свинец с тем зубным порошком, который изобретен Бертольдом Шварцем».

О скандале в одном из крупнейших ленинградских издательств он почти ничего не знал. Халдей Халдеевич не счел нужным рассказывать об этом пустом деле. В ответ на настойчивые расспросы Ногина о Кекчееве он сказал кратко:

— Гражданин сей более в издательстве не служит. За неумение держать себя с так называемыми литераторами удален по сокращению штатов. Ему набили морду-с.

Но как и при каких обстоятельствах ему набили морду, этого Ногин от старика не добился. Халдей бормотал, жужжал, отмахивался — быть может, и ничего не знал, а быть может, знал, да говорить не хотел.

Впрочем, Ногин не так уж и настаивал. Все, что произошло до болезни, до постели, на которой он с месяц провалялся в жару, он вспоминал (или старался вспоминать) с любопытством, почти холодным.

Его теперь другое занимало.

11

Для того чтобы стать писателем — так ему казалось в детстве,— вовсе не нужно писать стихи, повести или романы. Достаточно было придумать одно слово, всего лишь одно, но такое, чтобы оно было лучше всего Пушкина, Байрона, Шекспира. В четвертом классе гимназии он даже пытался найти это слово. Одно время ему казалось, что это — «колыбель», потом (начитавшись Майн Рида) он решил, что это — «каррамба».

Мысль о забытых признаках вещей его теперь привлекала. Никто не замечал, что перчатка — это была почти рука, стул — сидящий человек, тонконогий или приземистый, с сутулой спиной или с прямой. Сходство вещей с человеком его поражало.

От пустых петроградских улиц девятнадцатого — двадцатого года, с необыкновенной остротой обнаживших прямолинейную сущность города, у него осталась смутная идея о стране геометриков. Руководителю этой страны он давно придумал имя — Вольдемар Хорда Первый. Очереди запомнились ему правильными кривыми. Похудевшие люди казались не просто похудевшими, но плоскостными, утерявшими третье измерение. Потом это забылось, но он долго носился с мыслью, что искусство должно строиться на формулах точных наук. Что мир вещей, управляемый

формулами, должен под новым углом зрения войти в литературу.

До сих пор он колебался, не знал, стоит ли писать об этом. Формулы были еще гимназией, учебниками, письменными работами. Им не хватало нарушения. На нарушение это (или на то, что показалось ему нарушением) он наткнулся, перелистывая логику, которая осталась не сданной за первый курс.

Он взялся за книгу без малейшего удовольствия. Борода Визеля еще застилала ее страницы. Но, проверяя себя по конспекту, он внезапно наткнулся на вопросительный знак, который был поставлен на полях книги его рукой. Одна страница осталась непонятой при первом чтении курса. Вопросительный знак стоял над теорией Лобачевского о скрещении параллельных линий в пространстве.

Он взял в руки карандаш, перечитал теорию еще раз — и поразился. Как же так?

Стало быть, стоит только одну аксиому подвергнуть сомнению, чтобы вся система, на основе которой работали десятки поколений, была перестроена снизу вверх? Стоило только один раз не согласиться с тем, что параллельные линии параллельны, чтобы на принципе нарушения системы создать новую — и не менее стройную. Вот человек, которого по праву должно было именовать властителем страны геометриков — Вольдемаром Хордой Первым!

Именно так — логикой — и началась эта ночь. Кончилась она прозой.

12

Еженедельно впадавшая в бешенство татарка больше не кричала на своего полумертвого хозяина за стеной. Хозяин умер. Гортанные родичи утащили его труп.

Рано ушедший спать Халдей Халдеевич не жужжал за спиной, не тыкался в углы.

Никого не было в комнате, из которой еще не ушла болезнь. Он был один. Простые вещи стояли вокруг него. Склянки на подоконнике, коробочки с порошками. Лампочка была прикрыта самодельным бумажным колпаком, и бумага покоробилась, пожелтела...

Бумага начала дымиться наконец, когда он бросил карандаш и, взволнованный, прошелся по комнате. Исчеркан-

ная рукопись лежала на столе. Он смотрел на нее искоса, почти со страхом. Она не была еще окончена, он не знал, что это такое. Взглянув на часы, он поразился, увидев, что прошло не более двадцати минут с тех пор, как он взялся за работу.

Папиросы, спрятанные от Халдея, лежали в самом укромном месте письменного стола. Врач запретил ему курить после воспаления легких.

Он сунул папиросу в рот и затянулся жадно.

Оставалось свести параллели. Нужно заставить их встретиться. Наперекор времени и пространству.

Он кусал себе ногти. «Параллели, параллели»,— написал он здесь и там на листе и нарисовал острый профиль с горбатым носом и тонкими губами.

«Нужно заставить их встретиться»,— начертал он крупно-прекрасными арабскими буквами, но по-русски.

Потом написал сразу на всем листе бумаги от края до края:

«Дул ветер, шумела грозно Нева, вздымая свинцовые волны».

13

Очень взволнованный, размахивая рукописью, он побежал будить Халдея Халдеевича.

— Халдей Халдеевич, милый,— сказал он и пошел шарить выключатель.

— Милый,— сказал он и, схватив Халдея Халдеевича за плечо, потряс его и сел на кровать.— Вы взгляните только, что я сделал. Я рассказ написал.

Халдей Халдеевич раскрыл глаза и снова зажмурился. Потом вынул из-под одеяла маленькую ручку и отмахнулся от него.

— Как можно... Как... Как можно,— пробормотал он испуганно.

— Халдей,— торжественно сказал Ногин, забывая, что такого почтенного человека вовсе неприлично звать по прозвищу, а не по имени-отчеству.— Халдей Халдеевич, дорогой, вы только выслушайте меня. Я теорию Лобачевского в литературу ввел. Параллельный рассказ. Я на одном листе два рассказа в один соединил.

Он совал Халдею листки, Халдей все отмахивался, жевал губами.

— Ведь вы же и не поправились еще,— сказал он, начиная жужжать понемногу.— Вам по ночам работать нельзя, нельзя работать.

Ногин осторожно подложил под себя листки, сел на них, чтобы они не разлетелись, и вдруг поцеловал Халдея.

— Папиросу бросить сейчас же. Вам нельзя курить, запрещено,— растерянно пробормотал Халдей.

— Халдей Халдеевич, я брошу папиросу. Но вы посмотрите, что я сделал. Я заставил их на Университетской набережной повстречаться ночью. Они у меня, как старые приятели, разговаривают. Никто не поймет ни черта. Разные эпохи. Разные страны.

Халдей Халдеевич хмуро двигал губами.

— Ночью? Ночью нужно спать, спать нужно-с. Особенно после такой болезни. А не шляться по набережной.

— Халдей Халдеевич, вы тоже ничего не понимаете,— радостно сказал Ногин.— Никто не поймет, это ясно. И я очень рад этому, очень рад. Новые мысли всегда ругали. Галилея чуть не повесили за то, что он вращение Земли открыл.

— Вы написали рассказ? — разобрал наконец Халдей Халдеевич и ужаснулся.— Вы, должно быть, с ума сошли, сошли с ума, вот в чем дело.

— Я не сошел с ума, даю вам честное слово,— счастливо сказал Ногин.— Но мне его прочитать кому-нибудь нужно до зарезу. Если вы не станете слушать, я пойду старуху будить. Старуха по-русски не понимает. Я кого-нибудь с улицы притащу. Дворника. Халдей Халдеевич, милый, четверть часа, ей-богу, четверть часа, никак не больше.

Он с таким жалостным видом смотрел на Халдея Халдеевича, что тот не выдержал наконец.

Хихикнув внезапно, он взбил подушку и сел на кровати, обхватив руками коленки.

— Ну, читайте,— сказал он,— и как прочтете, сейчас же спать, спать, спать. Как можно... Как можно...

14

Вернувшись, он до утра не мог уснуть. Все было ясно до сердцебиения. Это был не рассказ. Это было возвращением пространства. Среди людей, выпавших из времени, он ходил, растерянный и робкий. И вот кончено. Он возвращается. Он все понимает.

Эти люди вдруг предстали перед ним в странном отдалении, в таком, которое нужно, чтобы написать о них. И он о них напишет.

И теперь не нужно будет убеждать себя, что время подождет тех, кто очень занят, кто по целым ночам сидит над арабскими словарями. Он не потерял времени. Он только шел боковой дорогой и теперь возвращается — вооруженный.

Проза. Холод прошел по спине. Так вот на что он променял друзей, сосны в Лесном, детство...

Проза.

Он ходил, легкий, и раскачивал руки.

15

Легки, как в театре, лестницы Публичной библиотеки. Крестообразны, как в монастыре, своды ее плафонов.

Здесь ветхо-угрюмые фолианты в переплетах из дубовых досок.

Здесь Гутенбергова Библия, первая книга в мире.

Здесь молитвенник, с которым вышла на эшафот Мария Стюарт.

И Коран из мечети Ходжа-Ахрар, над которым был убит зять Магомета.

Здесь сжатые металлическими застежками рукописи задыхаются за стеклами, в ясеневых шкафах, наблюдая медленную смену своих хранителей.

Выцветают буквы, желтеет бумага.

Здесь есть книги, купленные и завоеванные, вывезенные из Персии, Турции, Польши.

Добыча войн, мятежей, революций.

Здесь есть книги, выросшие из книг, и книги, изобретенные впервые.

И просто книги.

И еще раз книги.

Здесь есть кабинет Фауста — с красными гербами первых типографщиков.

В нем хранятся инкунабулы — колыбельные книги, первенцы типографского искусства.

Арабский зеленый глобус с астролябией стоит над пюпитром для письма, и книги закованы в цепи.

И на архитраве, над капителями колонн помещена надпись, заимствованная из устава монастырских библиотек:

«Не производите никакого шума, не возвышайте голоса здесь, где говорят мертвые».

Здесь люди ходят тихой поступью, люди, которые относятся к книгам, как к равным.

Они приходят молодыми, уходят стариками.

16

Ничего не изменилось. Все так же стояли вдоль длинных зал стойки с каталогами, и, низко склонясь над ними, с той же неторопливостью писали карточки библиографы.

Были среди них и незнакомые, молодые.

Ложкин спустился в рукописное отделение. Сухая паркетная лестница привычно поскрипывала под его ногами. Никого еще не было, кроме одного из помощников хранителя — молодого англизированного человека, которого он не любил.

Он рано пришел. Но что ему делать одному по утрам в опустевшей квартире?

Книги лежали на том же месте, на его полке, в шкафу постоянных посетителей. В том же порядке лежали они, как он их оставил,— от широкой in folio тихонравовской летописи до маленьких томов погодинского собрания.

Он сел, протирая пенспе, упираясь близорукими глазами в очертания стен, построенных из дерева и переплетов.

«Повесть о Вавилонском царстве», вот она. Какого, помнится, списка ему не хватало?

«И бысть црца южичьская иноплеменница именемъ малъкатьшка. Си пріиде искоусити Соломона загадками и та бе мдра зело».

Он быстро восстановил конъектуру: Малкатшка, Malkat-švo, царица Савская, древнееврейский текст.

Как досадно, что за всеми этими делами он еще не переговорил с гебраистом. И не только Malkat-švo, там было еще какое-то сомнительное слово.

«Она же виде іако въ воде седит царь воздыіа порты противоу ему. Онъ же виде іако красна есть лицем тело же еи волосато бысть іако щеть, власы онеми она оубадаше мужа бывающа съ нею. И рече Соломонъ мдрцем своимъ. Створите кражму с зелиемъ...»

Кражму. Вот этого-то слова и не понял Жданов. А посмотрим, есть ли оно в Пискаревском списке?.. Когда он поднял утомленные глаза от Пискаревского списка, он

услышал оживленный разговор где-то рядом, едва ли не в соседнем пролете рукописного отделения.

— Я ей говорю,— услышал он,— матушка, говорю, моя. У меня вот двое сыновей, начитавшись Майн Рида, в Америку собрались убежать. До Вержболова доехали. Если бы не сыскное — убежали бы. Обратитесь, говорю ей, в сыскное. Найдут... Ну, что ж, пошла она в сыскное — возвращается — плачет. Отказываются, видите ли, искать. На том основании, что это личное дело убежавшего, и будь она ему хоть трижды жена — все равно мешать не имеет права. Ну, что же, подивился я... Философы какие... Индетерминисты. Раньше сыскное отделение было не столь блестяще образованно, но работало куда успешней. И все-таки, говорю, вы бы успокоились. Уверяю вас, что он в какую-нибудь санаторию поехал. Отдохнет и вернется. Но тут она, видите ли, и слова мне сказать не дает. «Мне достоверно известно, говорит, что он не один уехал... Он с аманткой уехал. Он, говорит, франтиться начал, и его завлекли. Вот теперь он в Париж поехал». Я говорю — позвольте, Мальвина Эдуардовна, как же в Париж? Да ведь у него же и паспорта заграничного не было...

Ложкин машинально шарил что-то в карманах пиджака. Карандаш? Футляр от пенсне? Это о нем говорили, о нем. О нем уже рассказывали анекдоты. Как о жене Бляббликова, которая вместо мужа управляла Киевским университетом. Как о слависте, обвиненном прусской Академией наук в плагиате.

Что он искал? Футляр? Платок? Карандаш?

Криво улыбаясь, он встал и, обойдя книжные шкафы, пошел прямо к тому месту, откуда слышен был разговор.

Вязлов сидел там, опираясь локтями о раскрытые книги, касаясь книг длинной табачной бородой. И за ним — гном-академик, исследователь японской литературы, и Жаравов, и еще кто-то.

Пенсне отсвечивало. Он притронулся пальцами к пенсне.

Первым заметил Ложкина гном. Он медленно поднялся. Единственный глаз его моргал тревожно.

За ним поднялись и другие. Недоуменно разводя руками, вскочил Жаравов. Старик хохотун, оказавшийся тут же и улыбавшийся потому, что он всегда улыбался, тихонько перекрестился и тоже встал.

И только Вязлов остался сидеть на своем стуле, хотя именно он-то и уверял несколько минут тому назад, что

Ложкин умер — не просто без вести пропал, но именно умер.

— По-человечеству жаль его. Занимался, разумеется, пустяками, в свое время, кажется, о канонизации Павла Первого хлопотал, но все же хороший был человек. Умер.

И как будто даже не без некоторого удовольствия повторял он это слово:

— Умер!

И он же менее всех смущен был тем, что Ложкин, вопреки его утверждению, оказался жив. Будучи человеком скептического склада ума, он не считал возможным, чтобы привидение могло явиться для научных занятий в рукописное отделение Публичной библиотеки.

Да, впрочем, Ложкин вовсе и не был похож на привидение. Лицо его отнюдь не напоминало чертежа из учебника геометрии, в рассеянности он не вынул вместо часов пригоршню червей из кармана.

Он тихо стоял перед Вязловым и его коллегами — стоял, ничего не говоря, только неловко поеживаясь, двигая плечами, как будто ему узок был пиджак. Все молчали. Кто-то громко зевнул от волнения.

— Степан Степанович,— сказал наконец очень свободно Вязлов и встал, опираясь на палку. Он подошел к Ложкину, обнял его.— Вы ли это? Да ведь мы же вас, страшно сказать, похоронить успели. Панихиду по вам собрались заказывать.

Ложкин громко поцеловал его куда-то мимо, в бороду.

17

С какою, казалось, приязнью встретили они его, как внимательно прислушивались к каждому его слову.

Жаравов — вечный противник его, неутомимый оппонент на каждом ученом собрании — как рассыпался теперь перед ним, с какой угодливостью справлялся о делах, о здоровье.

Как радостно хохотал, заглядывая ему в глаза, рыхлый, похожий на бабу, старик архивист.

И даже гном, с которым Ложкин был почти незнаком, подсел к нему, дружески хлопая по коленке.

Ложкин мало говорил. Слегка жмурясь, он беспокойно трогал пальцами пенсне.

Он знал этой приязни настоящую цену.

Сгорбленный, с серым лицом, вернулся он к своим рукописям. На чем он остановился? Ах да, он сравнивал рассказ Синодальной Палеи с Уваровским списком:

«И рече Соломонъ мудрцемъ своимъ створите кражму съ зелиемъ и помажете тело еіа на отпаденіе власомъ...»

Ничего не произошло. Произошло одиночество. Усталость. Забудут анекдоты о нем, забудут и его самого — вот такого, каким он был сейчас, седоусого, с утомленными старческими глазами.

— Молодость? Вторая молодость? Нет, старость, милый мой. Старость ложится тебе на плечи. Где взять тебе душевную бодрость, чтобы с достоинством перенести ее?

Помнится, студентом, увлекаясь Сенекой, он доказывал, что жизнь, как драгоценная вещь, должна занимать немного места, но стоить дорого. Измеряться не временем, но делами. Какие же дела могли бы измерить его жизнь? Что занес бы он в свои двадцать пунктов, на которых, подводя итоги, помешался покойный профессор Ершов? И сколько лет осталось ему до двадцатипятилетнего юбилея? Как легко было когда-то, словами того же Сенеки, доказывать преимущества человека, свершившего все, предназначенное ему в жизни, но умершего рано,— перед тем, в удел которому досталось только долголетие. Не он ли сам, не профессор ли Ложкин был убежден когда-то, что первый живет и после своей смерти, а второй умирает задолго до ее прихода.

Как дорого дал бы он теперь за то, чтобы с мужеством смотреть на каждый свой день как на последний. Его жизнь. Она похожа на длинную и глупую историю Танузия, прозванную за ничтожество charta cacata! [1]

И решительно все равно — сколько времени он будет сидеть еще над минеями и палеями.

«И помажете тело еіа на отпаденіе власомъ. Хитреци же и книжници молвяхоу, іако совокупляется съ нею. Зачении же отъ него...»

А бунт его! Ведь это ж была просто тоска — тоска по самому себе, обида на то, что не удалась, что зачитана жизнь.

---

[1] Вонючая история *(лат.)*.

Но ничего не начинается снова, время не возвращается обратно. Неуклонное, оно гонит его в гавань тихую и сыроватую — от которой никто не смеет отказаться.

Ну что ж, есть известная доля доблести и в том, чтобы уйти, когда гонят. Нужно только делать вид, что уходишь добровольно.

Вот он не хотел уйти добровольно, он возражал, позабыв о том, что время не слушает возражений. И все-таки он уходит. Он отступает к своим книгам, да простится ему непокорство, да простится ему смерть жены!

«Зачениш же отъ него и иде въ землю свою и роди снъ и сеи бысть Навуходоносоръ».

Он поднял глаза. Приветливый, горбатый на одно плечо старик — хранитель рукописного отделения, неторопливо, плавно приближался к нему, слегка склонив голову набок. Ясное, с голубыми глазами лицо его вежливо улыбалось.

Он радостно поднял руки, узнав Ложкина,— казалось, он приветствовал его от имени всех фолиантов, толпившихся за его спиной. Приблизясь к нему, он приложил руку к сердцу и сказал голосом, детским от учтивости:

— Soyez le bienvenu, monsieur!

19

Черные люди счищали острыми лопаточками грязь с асфальта. Потолок был как в оранжерее. Тележки, запачканные черным маслом, толпились у багажных вагонов, у тупика, из которого не было выхода паровозам. Вокзал был каменный, железный, похожий на самого себя.

На себя самого не был похож Драгоманов.

Равнодушно сунув Верочке руку, ничего не сказав Некрылову, он оставил их на перроне и вернулся в буфет. С буфетчиком он долго торговался. Выбрав большое яблоко, он грубо съел его.

— Вас, кажется, нужно поздравить — медовый месяц, или как там это называется,— сказал он, обчищая языком зубы.— Так вот, я тебя, Витя, поздравляю, а вас, Вера Александровна,— нет. Вас не поздравляю.

От вежливости его и следа не осталось, он уже пальцем чистил зубы. Никого не нужно было поздравлять, даже и показывать не нужно было, что он знает историю этой поездки.

Он был зол, эти женщины вокруг Виктора его раздражали. Юбки, хвастовство.

Некрылов насторожился, засвистал. Что-то переспросил коротко. Потом рассмеялся.

— Он завидует,— объяснил он Верочке,— но мы уже условились с ним. Через две недели он приезжает ко мне в Москву, и я выдаю его замуж, за очень хорошую женщину. Она не очень проказливая, но она... она будет проказливая.

— Через две недели,— размеренно сказал Драгоманов,— я уеду куда-нибудь к чертовой матери. В Бухару, может быть. Или в Персию. Я решил, Витя, перевести весь Узбекистан на латинский алфавит. Может быть, мне удастся устроить им приличную литературу.

— А зачем тебе уезжать? Для биографии? Не уезжай. У тебя университет, наука. Тебя уважают. С кем же я буду браниться, если ты уедешь?

Драгоманов ничего не сказал. Он смотрел на Веру Александровну. У нее было счастливое лицо. Это его раздражало.

— С женой,— сказал он наконец.— Ты будешь браниться с женой. С учениками. Они предъявят тебе счет — за плохие киносценарии, за случайные фельетоны. И ты будешь уничтожать их. У тебя будет дело.

Некрылов недовольно поднял брови.

— Я могу существовать один,— сказал он сердито,— без учеников. Это ты возишься с учениками.

— Боже мой, они уже опять начинают спорить,— с ужасом сказала Вера Александровна.— Сейчас поезд уйдет, носильщик куда-то пропал с вещами. Борис Павлович, ведь вы же умница. Согласитесь с ним, честное слово, мы опоздаем.

Некрылов сделал ей ласковую гримасу.

— Ученики... Ты все рассказываешь им.— Он схватил Драгоманова за рукав.— Ты рассказал им полное собрание своих сочинений. Ты возишься с ними днем и ночью.

— Из уважения к Вере Александровне не смею спорить,— иронически сказал Драгоманов.— Разреши только сказать, что ты за себя слишком спокоен, Витя. Они напишут о тебе много книг, твои ученики. Это будут романы. Они не умеют писать романы, но для того, чтобы вывести тебя, они научатся этому делу. Они проедут на велосипедах по тем местам, по которым ты прошел с барабанным боем.

— Ах, боже мой, куда же все-таки девался этот носильщик? Виктор, взгляните, это не он стоит вот там, у вагона?

Не дождавшись ответа, Вера Александровна отчаянно махнула рукой и побежала к носильщику.

Некрылов не тронулся с места, даже не поглядел ей вслед.

— Почему ты хочешь поссориться со мной за... (он посмотрел на вокзальные часы) за десять минут до моего отъезда? Тебе не удастся поссориться со мной. Учеников не существует в природе. Ты их выдумал, Боря, и на свою голову. Со мной они ничего не сделают. Но тебя они живым положат в сейф. И ты этого, быть может, не заметишь.

А на это Драгоманов ответил уже вовсе странными словами.

— А в сейфе хорошо лежать,— сказал он раздумчиво.— Лежишь себе под замком, и не нужно ежеминутно читать газету, как во сне, или еженедельно лекции в университете. И не нужно удирать в Персию от жены, от друзей, от китайцев. От времени. И не нужно торговать наукой.

Он не успел договорить. Два звонка пробили один за другим. Пора было садиться в поезд. Вера Александровна, обеспокоенная, сердитая, кричала что-то с площадки, делала Некрылову какие-то знаки.

Они обнялись. Поезд тронулся. Некрылов легко вскочил на площадку, рядом с Верочкой.

И, выглянув из-за тупой стены вагона, он в последний раз увидел Драгоманова. Он глазами нашел его на отъезжающем от поезда темноватом перроне и, еще раз прощаясь с ним, приветственно поднял руку. Но Драгоманов не ответил ему. Он стоял, заложив руки в рукава своей драной шинели, поводя вокруг себя туманными, ничего не выражающими глазами. Он был похож на босяка. На перроне он стоял как человек, которому не удалось уехать.

20

И Некрылов продолжал думать о нем.

Когда ночные поля уже начали проходить мимо вагонных окон и все быстрее,

И маленький носач-проводник пришел в купе, чтобы отобрать билеты.

И синяя лампочка зажглась над белыми простынями постелей.

И сонная тишина установилась в вагоне.

Когда оказалось, что мягкий равномерный грохот колес никому не мешает уснуть.

Верочка сидела у окна, усталая, похожая на большеглазую, нерусскую девочку. Он видел, что она стесняется раздеваться при нем,— уже два или три раза она расстегнула и снова застегнула нижнюю пуговочку на кофте.

Она смотрела на него немного пугливо. У нее были худые руки — это он только сейчас заметил — и уморительные, милые плечи. Он дружески поцеловал ее, сказал что-то, вышел.

Шершавая мыслишка, зацепочка осталась у него в голове от спора с Драгомановым — и сама собой пошла дальше. Опровержение себя самого, смутный разговор со своей честностью, с правом своим говорить и поступать так, как он говорит и поступает.

Заложив руки в карманы, он ходил по узкому коридору вагона, ходил и пел или бормотал сквозь зубы. Он больше не льстил себе, не хвастал. Что ж, пора было поговорить с собой начистоту. Спор с Драгомановым — он-то знает, что это не простой спор. Время спорит за них. Время, а не Драгоманов грозит ему учениками. Время напишет о нем роман...

— А пусть-ка оно сперва научится писать романы,— говорит он тихо, или поет, или бормочет сквозь зубы.— Ага, пусть научится. Это не так-то просто.

Но дело не в угрозах. Он не пуглив. Пускай его ученики едут на своих велосипедах по тем местам, по которым он прошел с барабанным боем. Он будет стоять у финиша и махать флагом. Победителю он подарит свою последнюю книгу. С дружеской надписью. Он покажет им, как обращаться с машиной.

Дело в ошибках. Дело в том, как писать. Как использовать время.

Быть может, ошибка, что он пишет книги, а не работает по освоению Сибири, что он пишет книги, а не строит аэропланы, что он породнился с литературой.

Быть может, ошибка, что в его книгах нет людей, а есть только отношения к ним, что он заслоняет собой

людей, которых описывает, что он не может справиться с собой.

— А ведь трудно писать о живых людях,— говорит он, оправдываясь, или поет, оправдываясь, или бормочет сквозь зубы,— ай, как трудно! Не знаешь, что важно, что нет. Что можно. Что нельзя.

Он заглянул в купе. Верочка спала, по грудь закрывшись одеялом. Он первый раз видел ее с косой. Она была милая, очень простая.

Как всегда в поезде, была уже сбита ночная пора, бог весть который шел час, близилось ли утро, много ли станций миновал поезд.

Он снова вернулся в коридор. Проводник-носач прошел мимо него и контролер с дорожным фонариком, с ключами в руках. Длинный ряд дверей, похожих друг на друга, как солдаты, стоял вдоль коридора.

О чем он думал? Он жаловался, жалел о своих ошибках.

— «В слезах моя душа», как сказал Айзман,— пробормотал он.

А вот и еще одна ошибка! Ирония, которая съедает все вещи вокруг него. Мешает ему писать. Которая страшнее для него самого, чем для любого из его противников. Что ему делать с ней? И нужно ли ее обезоружить?

Он остановился.

— Ошибка этого вагона в том, что в коридоре нет вентиляторов,— беспомощно оглядываясь, промычал он сквозь зубы.

В вагоне было жарко.

И снова он принялся ходить, заложив руки в карманы, заглядывая то в одно окно, то в другое и всюду встречая черные пятна деревьев, откосов, полей. Припрыгивая, ходил он, свалив голову набок. Ходил, как клоун, немного заскучавший, не очень уверенный, но все же веселый.

Как в мейерхольдовском «Ревизоре», стоял длинный ряд дверей вдоль коридора.

Да, он был все же весел. Через ошибки, через иронию — кто посмел бы упрекнуть его в том, что он своему времени не нужен?

Вот, Драгоманов... Вот, умник милый!.. Кому это нужно — то, что у тебя вышло? Ты много знаешь — кому это нужно — то, что ты знаешь?

И точно — лучше лечь в сейф, чем быть прапорщиком, который думает, что вся рота идет не в ногу, а только он один в ногу.

И точно — лучше уехать в Персию, чем, как в «Декамероне», рассказывать сказки, чтобы не заболеть чумой.

Время право, что его раздавило.

Так он ходил, весело-несчастливый человек, очень хороший, очень умный.

Потом он вернулся в купе и долго сидел у столика, не раздеваясь, покачиваясь в такт движению поезда, подпирая пальцами подбородок.

Верочка вздохнула во сне. Он вдруг увидел ее. Одеяло сползло с ее плеч. Он заботливо подоткнул одеяло.

И как всегда — когда он долго смотрел на спящего, все вокруг начало становиться страшноватым.

Но на этот раз он не почувствовал себя одиноким. Ему захотелось подразнить ее — а разбудить было жалко.

«Ну, что, что твой Кекчеев? — сказал он про себя, но все равно как бы и вслух и показал ей язык.— Какое ничтожество! Какой канцелярист!»

Он состроил ей веселую рожу.

— Я очень хорошо сделал, что дал ему по морде,— объяснил он ей,— но я должен честно сознаться, что я бил его не за то, что он хотел на тебе жениться. Но за то, что он существует. За то, что его приставили к литературе. Ты понимаешь,— тыльной стороной ладони он вытер рот,— ты понимаешь, у каждого человека свой способ быть нечестным. Его способ не нравится мне. А ты бы его слушалась. Ты бы его уважала.

И Верочка дышала ему в ответ — тихо, очень послушно. Она соглашалась.

Но была ли она ему нужна или нет и зачем он увез ее с собой — об этом он ничего не говорил, не думал. Он знал, что все равно еще придется что-то решать, с кем-то объясняться, в чем-то раскаиваться. Он не мог сейчас раскаиваться, он устал, ему спать хотелось.

Он будет раскаиваться завтра или послезавтра.

А сегодня не стоит тратить времени на то, что можно сделать завтра.

— В сущности говоря,— сказал он и снял пиджак,— я не уверен даже в том, взойдет ли завтра солнце.

21

Он спит в купе, в тесноте, между стандартных стен, которые так непохожи на стены стеклянных комнат, придуманных Велимиром Хлебниковым — гюль-муллой, свя-

щенником цветов. Гюль-мулла полагал, что человечество должно жить в стеклянных комнатах, двигающихся непрерывно.

Он спит, человек, который не боится времени, и город удаляется от него во сне — сонный город, в котором ночь назначает молчание.

И на дне ее, среди покорных книг, мучится бессонницей Ложкин. В старом пальто, превращенном в халат, бродит он по осиротевшей квартире. Бьют часы в столовой, шуршат обоями мыши в кабинете, постель стоит в спальне, пустая, с холодными простынями. Мудрое слово звенит в его голове, как часы. Он устало проводит рукой по лбу. Где прочел он, кто подсказал ему это горькое слово?

— Время проходит, говорите вы по неверному пониманию? Время стоит. Проходите вы.

Дрожа от озноба, он ложится в постель. Стараясь, чтобы все спуталось в голове, он поднимает под веками глаза. Он старается уснуть, он подражает самой последней перед сном минуте.

Он засыпает.

Как доверчивое животное, спит в отцовском доме Кекчеев, сын Кекчеева, внук купцов, трус.

Он только что отпустил проститутку, он еще чувствует во сне теплоту и уют ее тела. Полная белая грудь его ровно дышит под раскрывшейся рубашкой.

Спит весь город, от охтенских рыбаков до острова Голодая. Как сонная рыба, лежит на арктической отмели Васильевский остров — финская Венеция с заливами, засыпанными землей, с бухтами, превращенными в площади и проспекты.

Но не спит Драгоманов.

Пять китайцев-изгнанников сидят напротив него. Он учит их русскому языку.

Китайско-русская грамматика, как камень, лежит в желтых костяных руках. У них сухие, напряженные лица. Родина стоит за ними в иероглифах, просвечивающих сквозь русские буквы.

— В прекрасных занавесях пустота, соловей жалуется, человек в горах ушел, обезьяна удивлена,— важно читает по-китайски Драгоманов.

— Соловей жалуется, человек в горах ушел, обезьяна удивлена,— послушно повторяют китайцы.

1928—1980

* * *

При подготовке настоящего Собрания сочинений автор заново пересмотрел все произведения и внес некоторые изменения.

Хроника города Лейпцига за 18.. год.— Впервые в кн. «Серапионовы братья. Альманах первый». Пг., «Алконост», 1922.

Пятый странник.— Впервые в кн. «Круг». Альманах артели писателей, кн. I. М.— Пб., «Круг», 1923.

Пурпурный палимпсест.— Впервые в сб. В. Каверин, «Мастера и подмастерья». М.— Пб., «Круг», 1923.

Столяры.— Впервые в сб. В. Каверин, «Мастера и подмастерья». М.— Пб., «Круг», 1923.

Бочка.— Впервые в журнале «Русский современник», кн. 2, 1924.

Большая игра.— Впервые в кн. «Литературная мысль. Альманах 3». Л., «Мысль», 1925.

Ревизор.— Впервые в журнале «Звезда», № 6, 1926.

Конец хазы.— Впервые в кн. «Ковш. Литературно-художественный альманах», кн. I. М.— Л., Госиздат, 1925.

Сегодня утром.— Впервые в газете «Ленинградская правда», 27 марта, 1927.

Голубое солнце.— Впервые в журнале «Литературные среды», № 6, 1927.

Друг микадо.— Впервые в журнале «Звезда», № 2, 1927.

Черновик человека.— Впервые в журнале «Звезда», № 11, 1929.

Скандалист, или Вечера на Васильевском острове.— Впервые в журнале «Звезда», № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1928.

СОДЕРЖАНИЕ

Очерк работы 5

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ (1921—1931)

Хроника города Лейпцига за 18.. год 37
Пятый странник (Театр марионеток) . . 63
Пурпурный палимпсест 100
Столяры 111
Бочка (Фантастический рассказ) . . 131
Большая игра (Фантастическая повесть) 155
Ревизор 198
Конец хазы 234
Сегодня утром 328
Голубое солнце 335
Друг микадо 342
Черновик человека 348

СКАНДАЛИСТ, ИЛИ ВЕЧЕРА НА ВАСИЛЬЕВСКОМ ОСТРОВЕ (Роман) 401

Каверин В. А.
К13 Собрание сочинений. В 8-ми т. М.: Худож. лит. 1980.
Т. 1. Рассказы и повести; Скандалист, или Вечера на Васильевском острове: Роман. 1980. 590 с.

В том включены ранние произведения известного советского писателя В. Каверина, созданные им в двадцатые годы. Это рассказы и повести, а также роман «Скандалист, или Вечера на Васильевском острове».

К $\frac{70302\text{-}408}{028(01)\text{-}80}$ подписное 4702010200 Р2